МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА»

На правах рукописи

АТМУРЗАЕВА СОФИЯТ АЛИЕВНА

ЛИНГВОПОРТРЕТИСТИКА И КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ: ГОРОДСКИЕ ОРИГИНАЛЫ В ВЕНСКОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ

Специальность 5.9.8. Теоретическая, прикладная
и сравнительно-сопоставительная лингвистика

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата филологических наук

Научный руководитель:
доктор филологических наук,
профессор Аликаев Р.С.

Нальчик 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ……... 3
Глава 1. ЛИНГВОПОРТРЕТИСТИКА КАК ОСНОВА И ИСТОЧНИК СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВОПЕРСОНОЛОГИИ ……... 12
1.1. Статус лингвопортретистики в системе лингвокультурологических дисциплин ……. 12
1.2. «Городские оригиналы» как объект изучения в лингвопортретистике и смежные феномены …… 22
1.3. Лингвопортретистика и методы исследования венских городских оригиналов …… 38
Выводы ……... 86
Глава 2. ЛИНГВОПОРТРЕТИСТИКА И КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ: ВЕНСКИЕ ОРИГИНАЛЫ И ИХ ДИСКУРСЫ …….. 89
2.1. Афористический дискурс как хранитель и медиум культурной памяти …… 89
2.2. Афористический дискурс П. Альтенберга …….. 101
2.3. Венские оригиналы в интеллектуальном дискурсе оккупированной Австрии ……. 164
Выводы ……... 181
ЗАКЛЮЧЕНИЕ …….. 186
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ …….. 188
ПРИЛОЖЕНИЕ ……. 204

ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемая диссертация обращается к новым аспектам лингвокультурологии, связанным с исследованием феноменов, выходящих за рамки классической лингвоперсонологии и требующих иных методов изучения.

На протяжении последних десятилетий в отечественной лингвистике превалирует антропоцентрический подход к исследованию сущности и миссии языка, что отражается в существенном росте количества и качества публикаций и исследований, посвящённых человеческому фактору в языке, языковой концептуализации мира, выполняемых в рамках речевого потретирования, лингвоперсонологии, лингвокультурологии в целом. Видное место в ряду этих исследований занимает изучение лингвокультурных типажей, рассматриваемых с учетом как собственно лингвистических параметров, так и экстралингвистических данностей. Разработанные и апробированные в многочисленных статьях и диссертациях подходы к поиску и анализу эмпирического материала приобрели исключительное значение для реконструкции национального мировосприятия, этнической логики и языковой картины мира, которые можно считать фундаментальным отличием российской науки о языке от зарубежного, прежде всего, европейского и североамериканского, языкознания.

Лингвоперсонология обрела свой статус в рамках отечественной лингвокультурологии, прежде всего, как научное направление, исследующее типичные для конкретного языкового сообщества феномены, формировавшиеся на протяжении столетий и закрепленные в художественной литературе, афористике, паремиях и фразеологическом фонде языков мира. Эти феномены преодолевают межкультурные границы и оказывают влияние на восприятие связанного с ними этноса носителями иных лингвокультур, не только порождая позитивные и негативные культурные стереотипы, но и поддерживая их живучесть даже в тех случаях, когда стереотипы приобретают исторический и даже архаичный облик. Этим можно объяснить действенность в русско-

язычном культурном круге таких лингвокультурных типажей, как «китайский городовой», «английский денди» или «польская пани».

В этой связи представляется логичным расширить исследовательские горизонты по проблемам языка и культуры, включить в орбиту лингвокультурологии такие феномены, которые выходят далеко за рамки лингвокультурного типажа, оставаясь, тем не менее, живым свидетельством специфики этнической культуры и опираясь на череду реальных представителей этой культуры, которых с полным правом рассматривают как её символы, ярчайшие образцы и типичнейшие примеры. Жизнедеятельность этих представителей, их творчество, коммуникативная специфика, влияние на культурную и в целом интеллектуальную жизнь конкретной нации заслуживают рассмотрения и всестороннего анализа в рамках лингвокультурологии и, более того, её специального раздела, *лингвопортретистики*, обоснованию и методологической апробации которой посвящена предлагаемая диссертация.

Лингвопортретистика рассматривается как своего рода археология знания о значимых реальных персоналиях культуры конкретных стран, что можно рассматривать как развитие лингвокультурологического направления, приобретающего все большую весомость в отечественной лингвистике (см. [Рябова 2010]). Это новое направление в лингвокультурологии отличается от лингвоперсонологии своей ориентацией не на обобщения культурных типажей (как, например, в [Prototypical… 2018]), отражённых, прежде всего, в фразеологическом фонде языков и литературной традиции, а на изучение диссипативных групп, охватывающих личностей, которые можно рассматривать как живые культурные феномены и к которым, вне всякого сомнения, принадлежат городские оригиналы. Их изучение включается в общую тенденцию в отечественном языкознании, которую, вслед за В.В. Дементьевым, возможно обозначить как «содержательноцентричную» [Дементьев 2021].

Таким образом, на фоне непрекращающегося интереса современного общества к взаимосвязи человека, языка и культуры **актуальность** данного исследования обусловлена следующими факторами: 1) необходимостью

углубленного изучения лингвокультурных феноменов, которые опираются на живую прецедентность – особенные лингвокультурные группы, широко распространённые в конкретном языковом сообществе и оказывающие на него постоянное воздействие, обогащающие его интеллектуальный дискурс;
2) недостаточной изученностью городских оригиналов как лингвокультурного феномена и их проявлений в немецкоязычной коммуникации; 3) важностью разработки методологии лингвопортретистики как научного направления, нацеленного на описание релевантных лингвокультурных групп в лингвокультурологическом аспекте.

Объектом исследования в диссертации является интеллектуальный дискурс Австрии в конце XIX–первой половине XX вв. и его проекции в современной немецкоязычной коммуникации.

Предметом исследования служат лингвистические и экстралингвистические особенности, продемонстрированные венскими городскими оригиналами в повседневном общении и литературном творчестве и оказавшие существенное влияние на австрийский и в целом немецкоязычный интеллектуальный дискурс.

Научная новизна работы состоит в комплексном исследовании городских оригиналов как диссипативного лингвокультурного сообщества и их практик; определении репрезентативных характеристик городских оригиналов как специфической лингвокультурной группы на материале немецкого языка; анализе и систематизации речевых и невербальных средств, применявшихся городскими оригиналами для реализации своей культурной миссии; выявлении типологии их речевого поведения и специфики их влияния на культурную ситуацию в Австрии, в том числе посредством литературного творчества (афористики).

В качестве **рабочей гипотезы** выдвинуто положение о том, что городские оригиналы представляют собой, с одной стороны, культурную универсалию, репрезентируемую экстраординарными личностями в различных странах и в разные временные периоды, но, с другой стороны, лингвокуль-

турные характеристики, типы, речевое поведение и экстралингвистические особенности городских оригиналов уникальны для каждой культуры и способствуют яркому проявлению этнического своеобразия, этнокультурного менталитета в повседневной и литературной коммуникации.

Цель диссертационного исследования заключается в раскрытии особенностей коммуникативных практик венских городских оригиналов, существенных для их реализации условий жизнедеятельности, исторических, политических и культурных факторов; анализе и определении параметров городского оригинала как лингвокультурного явления и его роли в интеллектуальном дискурсе эпохи.

Поставленная цель конкретизируется в следующих **задачах** исследования:

– проанализировать современные лингвистические труды, посвящённые изучению лингвокультурологии, речевого портретирования, лингвоперсонологии в отечественной и зарубежной лингвистике;

– систематизировать существующий научный материал, касающийся лингвокультурных типажей, и определить отличительные особенности городских оригиналов как диссипативной лингвокультурной группы;

– изучить лингвистические и экстралингвистические характеристики венских городских оригиналов в повседневной коммуникации конца XIX–первой половины XX вв. на материале немецкого языка;

– исследовать судьбы венских оригиналов в период диктатуры национал-социалистов после «аншлюса» Австрии и установить функции и роль городских оригиналов в рамках интеллектуального дискурса;

– определить специфику афористики как компонента культурной памяти, образующего основу для сохранения влияния оригиналов на интеллектуальную атмосферу австрийской столицы.

Методы, использованные в диссертации, носят комплексный характер на пересечении лингвопортретистики, дискурс-анализа и стилистики. В частности, привлекались систематизирующий метод (для сбора и обработки биографического материала о венских оригиналах), классификационный метод

(для установления общих и особенных личностных, профессиональных и социальных характеристик венских городских оригиналов, распределения их по группам), дискурсивный метод (для выяснения и анализа исторических, политических, культурных условий жизнедеятельности изучаемой лингвокультурной группы, включения этой информации в общий исследовательский процесс), статистический метод (для выявления формальных параметров и определения тематических доминант венской афористики), интерпретативный метод (для осуществления функционального анализа корпуса афоризмов П. Альтенберга), метод контент-анализа (для определения структуры фреймов и слотов исследуемого корпуса афоризмов), метакритический анализ биографической и научной литературы.

Теоретико-методологическую базу проведённого диссертационного исследования составили основополагающие идеи отечественных и зарубежных учёных и исследователей в области:

– культурологии (Бурнашев В.П., Евменова, Л.Н., Евминова С.П., Иовлева Т.В., Карнович Е.П., Маршалл А., Мирошникова В.В., Севостьянов Д.А., Скляренко В.М., Тихонова В.Л., Allmayer-Beck P., Barker A., Lensing L.A., Podgorski T., Vцlker H., Biron G., Horowitz M., Feldner Fr., Forster D., Grieser D., Harten U., Henisch P., Hirschfeld L., Hödl K., Kornberger M., Kraus Fr., Müller H., Polt-Heinzl E., Skocek J., Sprödl H., Veigl H.и др.);

– лингвокультурологии (Алефиренко Н.Ф., Аликаев Р.С., Белякова И.А., Бутенко Е.Ю., Воробьёв В.В., Евсюкова Т.В., Карасик В. И., Маркина Е. В., Маслова В.А., Радченко О.А., Рябова М. Ю., Сабитова З.К., Фёдоров М.А., Харченко В.К., Хроленко А.Т., Utri R.и др.);

– речевого портретирования (Асташова О.И., Крылова М.Н., Макеева С.О., Набиуллина Г.А., Полубиченко Л.В., Чеботарёв И.Г., Шушарина Г.А., Ярышева П.А. и др.);

– лингвоперсонологии (Бабарыкин А.Г., Богатых К.К., Бондаренко Е.Н., Бушуева Л.А., Дмитриева О.А., Донскова Л.А., Дубровская Е.М., Здановская Л.Б., Иванцева И.В., Карасик В.И., Карлик Н.А., Кузина Ю.В.,

Кучерявых Ю.Н., Леонтьев Э.П., Малахова С.А., Мандрикова Г.М., Михайлова С.В., Миронова Ю.А.,Мурзинова И.А.,Непшекуева Т.С., Поспелова Н.В., Сатюкова Е.Г., Чеботарёв И.Г., Шевченко Л.Л., Щербаева А.А., Ярмахова Е.А. и др.);

– дискурс-анализа (Антонова Е.Н., Дмитриева О.А., Иванов Е.Е., Карасик В.И., Набиуллина Г.А., Наличникова И.А., Радченко О.А., Рыбина Е.А., Тарасенко Т.П., Величко М.А., Харченко В.К., Юй Пэн и др.);

– афористики в лингвистическом аспекте (Есмурзаева Ж.Б., Новикова Е.В., Резник В. А., Яковлева И.Ю. и др.).

Материалом исследования послужили мемуарная литература, публикации лингвистов, культурологов, специалистов по изучению афористики, энциклопедические данные, связанные с биографией и творчеством 73 венских оригиналов, биографические публикации, журналистские расследования, труды по лингвокультурологии и тексты, созданные венскими оригиналами, в том числе электронные ресурсы и сборники афоризмов П. Альтенберга (167 микротекстов).

Теоретическая значимость исследования связана с его вкладом в расширение, дополнение и развитие теории лингвокультурных типажей, идей и методов лингвокультурологии на материале немецкоязычной бытовой и литературной коммуникации. В работе городские оригиналы выступают как специфическое явление этнической лингвокультуры, в котором отражаются особенности австрийского (в частности, венского) менталитета.

Практическая значимость диссертационного исследования определяется возможностью применения результатов научной работы в лекционных курсах по основам языкознания, на практических занятиях по лингвострановедению, истории и культуре стран изучаемого языка, в курсе лекций по межкультурной коммуникации.

Положения, выносимые на защиту:

1.Венские городские оригиналы представляют собой особую диссипативную лингвокультурную группу, исследование которой требует выхода за

пределы традиционной лингвоперсонологии и использования методов лингвопотретистики – исследования реальных значимых носителей этнокультур с их судьбами и особенностями, предшествующего лингвоперсонологии в её классическом понимании.

2. Венские городские оригиналы не подпадают под какой-либо лингвокультурный типаж ввиду уникального сочетания качеств, хронотопической привязки и неповторимой судьбы каждого представителя этой идиоэтничной группы. Исследование этой группы требует привлечения мемуарной литературы, публикаций лингвистов, культурологов, специалистов по истории Вены, материалов австрийской прессы, аудио- и видеоматериалов, иных памятников интеллектуальной истории Австрии.

3. Описание венских городских оригиналов следует осуществлять с учётом четырёх базовых параметров: антуража, идиолекта, идиокинем и перлокутем. Это позволяет выявить 12 групп и 4 блока персоналий в этой группе, а также выделить ядерные группы оригиналов, обладающих всеми четырьмя параметрами (экстравагантные личности, актёры-комики), но определить четвёртый блок венских городских оригиналов (поэты и писатели) как наиболее информативный, поскольку его основным параметром является идиолект оригинала.

4. Лингвокультурологическое исследование значимых текстов венских оригиналов, вошедших в фонд австрийской культуры и оказывающих прагматической воздействие на её современных носителей, позволяет исследовать оставленные ими дискурсивные следы, представленные в виде афористического массива, который является важным компонентом культурной памяти австрийцев. Оптимальным исследовательским путём является в данном случае сочетание дедуктивного и индуктивного подходов к анализу корпуса венских афоризмов, реализованное в четырёх этапах: биографической характеристике афористика, статистическом, функциональном и контент-анализе афоризмов с опорой на фреймовую методику.

5. Значительный вклад венских оригиналов в интеллектуальный дискурс Австрии подтверждается исследованием дискурсов, сформировавшихся

накануне и во время нацистской оккупации Австрии: мифологического дискурса, дискурса городского диалектного острословия, антифашистского трансформированного паралингвистического дискурса, провокативного и конфликтного дискурсов, диалектного глумливого дискурса.

Апробация результатов работы. Основные результаты исследования были отражены в статьях и материалах различных конференций общим объемом 4.0 п.л., в том числе 3 работы, включенные в «Перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук». Основное содержание диссертации докладывалось на следующих научных конференциях: II Всероссийская научно-практической конференция с международным участием «Парадигма современной гуманитарной науки и образования: традиции и перспективы», Нальчик, КБГУ, 2024; Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспектива-2024», Нальчик, КБГУ, 2024, а также на заседаниях кафедры немецкой и романской филологии КБГУ им. Х.М. Бербекова.

Цель и задачи исследования предопределили следующую **структуру** работы: введение, две главы, заключение, список литературы и приложение.

Во **введении** обосновываются научная новизна и актуальность темы исследования, указываются методы и теоретико-методологическая база диссертации, определяются предмет и объект диссертации, описывается исследованный материал, формулируются цель и задачи, служащие ее достижению, раскрываются теоретическая значимость и практическая ценность работы, излагаются гипотеза и основные положения, выносимые на защиту.

В **первой главе** «Лингвопортретистика как основа и источник современной лингвоперсонологии» освещаются состав и содержание актуальных для данного исследования базовых терминов, определяется статус лингвопортретистики в рамках лингвокультурологических наук, рассматриваются «городские оригиналы» как категория лингвопортретистики и смежные с ней

феномены, анализируются методы исследования венских городских оригиналов, приводятся их типология и основные характеристики.

Вторая глава «Лингвопортретистика и культурная память: венские оригиналы и их дискурсы» обращается к афористике как хранителю и медиуму культурной памяти австрийского языкового сообщества на примере афористического наследия П. Альтенберга, содержит анализ исторических, политических и культурных факторов, определявших жизнь и творчество венских оригиналов во времена нацистского господства, рассматривает мифологический, острословский, трансформированный паралингвистический, провокативный, конфликтный и глумливый дискурсы, связанные с известными венскими оригиналами К. Сестой, Г. Квальтингером, Б. Трианги и К. Бароном.

В **заключении** подводятся основные выводы по проведенному исследованию и определяются перспективы разработки данной темы.

Структура и содержание работы. Диссертационная работа изложена на 242 страницах и состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, включающего как отечественные, так и зарубежные научные труды, нём содержатся 95 источников на русском, 55 – на немецком и английском языках, а также 18 словарей и справочников, приложения, где размещены биографические материалы (68 сканированных страниц австрийских газет), посвященные венским оригиналам конца XIX–начала XX вв. и использованные в диссертации.

Глава 1. ЛИНГВОПОРТРЕТИСТИКА КАК ОСНОВА И ИСТОЧНИК СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВОПЕРСОНОЛОГИИ

1.1. Статус лингвопортретистики в системе лингвокультурологических дисциплин

Одним из наиболее спорных утверждений относительно состояния современной лингвистики был и остается тезис о господствующей ныне в науке о языке парадигме. Можно лишь согласиться с тем, что для нашей науки характерно «отсутствие единодушия среди лингвистов относительно того, в какой именно научной парадигме мы сейчас живем и работаем. Попытки внедрить представление об «антропоцентрической», «когнитивной», «когнитивно-дискурсивной», «коммуникативно-прагматической», «номинативно-прагматической» и даже «междисциплинарной» парадигмах неизменно наталкиваются на категорическое неприятие исследователей, не причисляющих себя к какой-либо из них» [Радченко, Аликаев 2023: 22]. Тем не менее, на переломе столетий В.А. Маслова, один из авторитетнейших учёных в области современной лингвокультурологии, утверждала, что «идею ***антропоцентричности языка*** в настоящее время можно считать общепризнанной: для многих языковых построений представление о человеке выступает в качестве естественной точки отсчёта» [Маслова 2004: 5]. Это утверждение следует считать основополагающим для предлагаемой диссертации, поскольку она исходит из приоритета языка как носителя, хранителя и медиума концептуализации мира в любом исследовании, касающемся истории и состояния человеческой духовности.

Отмечая фундаментальную важность лингвокультурологии в системе наук о языке, отводя ей центральную методологическую роль при создании концепций, анализирующих человеческий фактор в сотворении культуры, следует обратить внимание и на систематику этого научного направления. Так, к наиболее «культуроносным» (термин В.А. Масловой) исследователями причисляются социальная диалектология и диалектография, этнолингвисти-

ка, стилистика, лексикология, транслятология, этнопсихолингвистика, идиоэтническая философия языка и пр. В то же время ни одна из этих наук не может считаться разделом лингвокультурологии в собственном смысле слова. Ближе к этому статусу находятся лингвострановедение, лингвоперсонология, «лингвокультурология отдельной социальной группы», «диахроническая лингвокультурология», сравнительно-сопоставительная лингвокультурология, контрастивная лингвокультурология, лингвокультурная лексикография, лингвокультурная дискурсология, лингвокультурная концептология (см. [Алефиренко 2016: 17; Белякова 2015; Евсюкова, Бутенко 2014; Воробьёв 2006; Маслова 2004: 28–29; Сабитова 2013; Фёдоров 2015; Хроленко 2009] и др.).

Из перечисленных научных направлений и дисциплин наибольший интерес для данного исследования вызывает лингвоперсонология, понимаемая как «интегрированная область научного знания, основной задачей которой является описание языка как вариативной системы, определяемой качеством языковой способности человека» [Мельник, Савельева 2017: 197].На сегодняшний день в российской лингвистике сформировался целый ряд школ лингвоперсонологии, различающихся по целям и методам исследования (к примеру, выдвигающие на первый план реконструкцию языковой личности в её различных трактовках или речевое портретирование). Из обширной тематики этих научных поисков особое внимание российских учёных привлекает *учение о лингвокультурных типажах*, под коими понимается «концепт, содержанием которого является узнаваемое и широко распространённое преставление об определенном социально-историческом типе личности, символизирующем ту или иную культуру в целом» [Карасик, Ярмахова 2006: 6].

Основоположник этого учения в российской науке о языке В.И. Карасик и его ученики и соавторы противопоставляют при этом лингвоперсонологию конкретно-индивидуальных личностей и обобщённых типажей. Первые «освещаются в научных исследованиях лингвистов не только применительно к языку и стилю известных людей (писателей, политиков, учёных) … и не только по отношению к речи носителей исчезающих диалектов…, но и при описании персонажей художественных произведений» [Карасик, Ярмахова 2006: 26]. Ярки-

ми примерами второй группы являются «русский интеллигент», «немецкий офицер», «американский ковбой», «английский аристократ» [Карасик, Ярмахова 2006: 6]. Чрезвычайно большое количество диссертаций, статей и исследований, посвященных лингвокультурным типажам, заставило на определённом этапе отграничить их от этнокультурных концептов, не обладающих всеми обязательными признаками типажа (в частности, типизируемостью и ценностной составляющей). Примерами таких «квазитипажей» являются «герой», «друг», «бедняга» [Дубровская, Мандрикова 2020: 348].

Лингвокультурные типажи принято классифицировать по нескольким параметрам, которые представляют собой оппозиции: 1) по принадлежности к культуре этноса или социальной группы – этнокультурные vs. социокультурные; 2) по представлению типичных характеристик – яркие vs. неяркие; 3) по оценочности – мелиоративные vs. пейоративные; 4) по степени реальности – реальные vs. фикциональные; 5) по временному признаку – исторические vs. современные; 6) по ассоциативному признаку – фиксированные vs. дисперсные; 7) по степени распространенности – глобальные vs. региональные и пр. [Мурзинова 2021: 114]. В.А. Резник добавляет к этому списку противопоставление социальных, характерных и идеологических типажей в зависимости от их доминанты [Резник 2013].

Несмотря на столь чёткие дихотомии, В.И. Карасик и его ученики, по всей видимости, не усматривают принципиального различия в описании реальных людей и персонажей беллетристики, выделяя, помимо собственно лингвистических, литературоведческие, психологические, социологические и культурологические типажи. Главными критериями определения собственно лингвистических типажей они считают «отношение человека к языку», в частности, владение родным или иностранным языком и его использование в конкретной социокультурной ситуации, уровень языковой и речевой компетенции, использование языковой игры и стилистическую уверенность, принадлежность к элитарной или массовой коммуникативной категории с учётом уровня образованности и соблюдения моральных норм, стиль жизни в целом и пр.

В этой связи они упоминают *маргинальную (экстериальную) языковую личность*, признаками которой являются различные речевые (и, возможно, психические) отклонения, а также *вульгарную языковую личность*, намеренно нарушающую социальные и моральные табу и привносящую в коммуникацию элементы и нормы уголовного арго. Так, маргинальная языковая личность, как полагает В.И. Карасик, включает как минимум три подтипа: 1) человека с низким уровнем интеллекта, не умеющего выражать свои мысли, обладающего скромным лексиконом, не способного к стилистическому варьированию речи; 2) не-носителя данного языка, плохо им владеющего; 3) носителя языка, намеренно нарушающего этические нормы коммуникации, умышленно прибегающего к обсценной лексике (см. [Карасик 2009: 180]). Важно отметить в этой связи, что лишь третий подтип «маргинальной языковой личности» (вульгарная языковая личность), относящийся к дальней периферии лингвоперсонологии, оказывается, напротив, центральным для предлагаемого исследования.

«Поиск тех обобщенных личностей, стереотипное преставление о которых воплощает в себе существенные характеристики той или иной лингвокультуры» [Карасик, Ярмахова 2006: 45] осуществляется в рамках лингвоперсонологии путем выявления «модельных личностей», наиболее ярких представителей лингвокультурных типажей, описание которых требует некоторого отстранения от деталей реальной жизни. Так, невозможно выстроить лингвокультурный типаж «преподаватель конкретного университета», но вполне вероятно выделение обобщённого типажа «профессор», для которого в качестве параметров устанавливаются роль, стереотип, амплуа, персонаж, имидж, речевой портрет [Карасик, Ярмахова 2006: 46]. Это мнение входит в определённый диссонанс с приведённым выше весьма логичным разграничением типажей и квазитипажей.

Методическая схема описания лингвокультурных типажей может быть наглядно представлена на примере реконструкции типажа «английский чудак» в монографии В.И. Карасика и Е.А. Ярмаховой. Эта реконструкция строится на следующей цепочке размышлений:

1) выясняется, как англичане и неангличане понимают и воспринимают английский национальный характер, менталитет, образ жизни;

2) определяется, какие концепты английского культурного мира возможно выделить в этой связи;

3) исследуются данные различных социологических опросов о типичных качествах общественных групп и профессий;

4) изучается, как представления о чудаках и чудачествах отражены в английской классической художественной литературе (в качестве примеров разбираются персонажи произведений В. Шекспира, Г. Филдинга, Л. Стерна, Ч. Диккенса, Дж. Остин, О. Уайльда, Б. Шоу, П.Г. Вудхауза, С. Таунсенд, а также песен группы «Битлз»);

5) далее привлекаются словарные определения различных видов и типов «странных людей» в англо – и русскоязычных словарях, выделяются признаки и атрибуты чудачеств, определяются их основные индексы (в частности, «странность»), описываются лексико-грамматические группы имён прилагательных с семантикой «необычный» в английском языке, английских и русских глаголов со значением «понимать / не понимать» и «испытывать дискомфорт от непонимания»;

6) в дополнение к этому на основании корпусных данных выделяются примеры эксцентричного поведения, которые позволяют понять его разнообразные причины [Карасик, Ярмахова 2006: 152]. При этом речь вовсе необязательно идёт о принадлежности субъектов такого поведения к лингвокультурному типажу «чудак» – это может быть, к примеру, женщина, поглощённая наукой и не обращающая особого внимания на быт. Важно отметить, что источниками этих примеров, помимо художественной литературы, являются в данной работе и иные жанры текстов, включённых в использованный авторами Британский национальный корпус, в том числе публицистика;

7) наконец, проводится опрос среди носителей английской и русской лингвокультур по вопросу о том, кого они представляют себе под «английским чудаком».

В многочисленных диссертациях, статьях и исследованиях лингвокультурных типажей за последние восемнадцать лет наблюдается, как правило, усечение методики предложенной В.И. Карасиком. Так, эти типажи могут выявляться на основе фрагментов произведений художественной литературы и дополняться опросами информантов и анализом данных корпусов (таким образом поступала, например, Е.М. Дубровская в ходе реконструкции типажа «Человек богемы» [Дубровская 2017]) или наоборот (как в исследовании типажа «Юродивый» [Чеботарёв 2014]), опираться на русские и иностранные словари и произведения классической национальной литературы (как в труде Н.В. Поспеловой, посвященном типажу «Петрушка» в англоязычном дискурсе [Поспелова 2021]), сочетать изучение специальной (в частности, религиозной) литературы и классической художественной литературы, лексикографических источников, публицистики и Интернета (как в работах, посвящённых тому же типажу «Юродивого» [Дмитриева 2014]), исходить из исторических справок о конкретном типаже с дополнениями из словарных дефиниций и контекстуальных употреблений соответствующих лексем (как в ходе анализа лингвокультурного типажа «денди» в [Малахова 2013]). Выполняются и сопоставительные исследования лингвокультурных типажей (например, типажа «Деловая женщина» в русской и французской лингвокультурах в [Михайлова 2016]).

Очевидно, что беллетристика играет во всех указанных случаях роль основного источника сведений о конкретном типаже, насколько бы это ни выглядело противоречиво, если это подкрепляется, к примеру, определением лингвокультурного типажа как обобщённого типа личности, «обладающей набором понятийных, образных и ценностных характеристик, в художественном тексте … вследствие преломления через индивидуально-авторское восприятие» [Щербаева 2010: 4]. Понимаемый таким образом типаж на самом деле «актуализирует те из указанных характеристик, которые представляются автору наиболее значимыми, а также приобретает дополнительные устойчивые характеристики, которые кажутся автору приоритетными» [там же]. В таком случае лингвокультурный типаж представляет собой гибрид общекуль-

турных и индивидуально-авторских устойчивых характеристик, дополняемых оценочными приращениями в данном тексте.

Не вызывает сомнений, что источниками лингвокультурных типажей являлись реальные личности, сведения о которых привлекаются в конкретных случаях для исторической справки. Однако сами личности-источники не находятся в центре внимания основного массива лингвоперсонологических штудий, нацеленных на всестороннее описание типажей как результатов культурно-исторической эволюции представлений о некой социальной группе и её специфических признаках (например, обобщённой «французской гувернантке»).Это можно воспринимать как существенную исследовательскую лакуну и предложить для её восполнения обращение к **лингвопортретистике** как специальной дисциплине в рамках лингвокультурологии, которая представляет собой исследование реальных значимых носителей этнокультур с их судьбами и особенностями, предшествующее лингвоперсонологии в её классическом понимании.

Лингвопортретистика – относительно новое направление в отечественной лингвокультурологии, заявленное как термин и впервые охарактеризованное в статье О.А. Радченко несколько лет назад [Радченко 2020]. В его понимании, отличительные особенности этой научной дисциплины заключаются в её «ярко выраженном культурологическом акценте и связанном с ним отборе эмпирического, релевантного лингвокультурологического материала, способах его анализа и предназначении получаемых результатов» [Радченко 2020: 90]. Эти особенности основатель лингвопортретистики демонстрирует на примере исследования *феномена городских оригиналов*, рассматривая их первоначально как «наиболее яркие лингвокультурные типажи немецкоязычного социума». Однако в процессе анализа выявляется тот факт, что эта лингвокультурная группа не предполагает нивелирования личностных характеристик, не подлежит типизации и представляет собой особый предмет, рассмотрение которого выходит за рамки классической лингвоперсонологии. В этой связи следует согласиться с мнением О.А. Радченко, полагающего, что к «лингвоперсонологии как науке о типах языковых личностей,

ориентированной, как представляется, в большей степени на обобщаемые профессиональные либо социальные параметры этих личностей», следует присоединить лингвопортретистику как отдельное направление лингвокультурологических исследований.

Лингвопортретистика является в известном смысле наследницей *речевого портретирования*, перенесённого в лингвистику из литературоведения. Е.Н. Кучерявых полагает, что в основе создания речевого портрета в художественной литературе заложен предпринимаемый автором «сознательный выбор лексических единиц, синтаксических конструкций, невербальных средств, ролей и масок, создающих коммуникативное поведение персонажа» [Кучерявых 2017: 117].Учёный обращает внимание в своих исследованиях на «узкоориентированные» типажи, отражающие специфику языковой личности отдельного человека или нескольких лиц (в частности, их «индивидуально-личные ролевые склонности» [Кучерявых 2017: 118, 120], хотя и здесь возможно усмотреть противоречие между стремлением выявлять национально-специфичные стереотипы и прилагать их лишь к одному или нескольким их потенциальным представителям.

В лингвистике речевое портретирование нацелено на выявление таких особенностей индивидуальной речи, как диалектные, фонетические, орфоэпические, акцентологические, лексические (с особым вниманием к лексике, типичной для социального слоя, к которому принадлежит исследуемая личность), синтаксические, стилистические и пр. Нередко учитываются биография и индивидуальное речевое поведение изучаемых персон [Шушарина 2017: 28]. Большой интерес вызывают в этой связи культурологические портреты в понимании Л.Н. Евменовой и И.Ю. Кудиновой, которые видят в них отражение характера и жизненных ценностей портретируемой личности и привлекают для этого также городские мифы, легенды, символы, полагая следующее: «Культурологический портрет – исторически открытая динамическая система, включающая историко-культурные, семиотические и аксиологические элементы. Ядром этой системы является ценностная сущность артефактов: исторических событий и персон, ландшафтов и архитектуры, названий, текстов о городе (в том числе в мифах и

легендах), особенностях менталитета жителей, в восприятии города» [Шушарина 2017: 29] (см. также [Евменова 2017]).

Существенным для становления речевого портретирования как метода стало разделение языкового и речевого портретирования в рамках теории языковой личности (ЯЛ). Для первого предлагалось с опорой на письменные (в первую очередь литературные) тексты использовать «методики реконструкции ЯЛ (метод структурного моделирования, лингвориторической реконструкции, биографический метод)», которые «предполагают воссоздание компонентов её облика, сведений о которых нет у исследователя (будь-то данные внеязыкового порядка или глубинные характеристики тезауруса и прагматикона)» [Иванцева 2008: 39]. Языковая личность трактовалась чрезвычайно расширительно, совпадая, по сути, с личностью носителя определённой культуры. Второй вид портретирования предусматривал наблюдение за устной речевой деятельностью современного респондента, хотя привлечение других источников аналитического материала не исключалось (см. [Макеева 2014]). В этом случае речь идёт о «единичных речевых портретах» в трактовке М.Н. Крыловой [Крылова 2020: 55].

Чрезвычайно важным для нашего исследования представляется мнение О.И. Асташовой о том, что «лингвистический термин *речевой портрет*, прежде всего, фокусирует свое внимание на способности языкового облика человека отмечать доминантные личностные смыслы» [Асташова 2013: 4]. Эта интерпретация тесно связана с учением А.А. Ухтомского [Ухтомский 1923] о доминанте, однако распространяет его на изучение языковой личности и факторов, определяющих её речевое поведение. Этот акцент важен для изучения феномена городских оригиналов, поскольку их речевой портрет является во многих случаях основным источником аналитического материала, позволяющего понять и оценить роль тех или иных оригиналов в интеллектуальной и культурной жизни европейских городов. В то же время, необходимо отметить, что один лишь речевой портрет крайне недостаточен для полной характеристики конкретных городских оригиналов, поскольку его

необходимо дополнять биографическими и иными сведениями о жизни представителей изучаемой лингвокультурной группы. От целого ряда городских оригиналов не сохранилось аутентичных текстов, позволяющих осуществить надёжное и верифицируемое речевое портретирование.

Как представляется, научные работы, выполняемые в рамках лингвоперсонологии, определяют лингвокультурный типаж как в значительной мере *клишированную языковую личность*, подчиняющуюся определенным правилам и запретам. Более того, речь идёт о *коллективной языковой личности* представленной типичными носителями данной социальной идентичности в изображении мастеров слова (см., например, [Полубиченко 2020]). Существенной чертой лингвокультурного типажа как модельной личности является её маркированность либо подражанием, либо противопоставлением представителей той же культуры [Донскова etal. 2019: 133].Со своей стороны, речевое портретирование концентрируется в первую очередь на речевой специфике конкретного изучаемого лица или персонажа литературного произведения и не предусматривает непременной типизации как итога аналитической работы. В этом смысле между теорией лингвокультурных типажей и речевым портретированием возникает та самая исследовательская лакуна, которую призвано восполнить лингвопортретирование.

Действительно, представляется проблематичным вписать в характеристики типажа *диссипативную* лингвокультурную группу, которую составляют совершенно разные личности, объединяемые только общим «зонтичным брендом». Такой диссипативной группой являются городские оригиналы. Их нельзя рассматривать как некий типаж ввиду того, что каждый оригинал обладал уникальным набором качеств и уникальной судьбой. Им бессмысленно было подражать именно в силу этой уникальности, что объясняет невозможность установления некоего лингвокультурного типажа «городской оригинал». Это тем менее вероятно, если указать не только на их идиоэтничность, но и на уникальную хронотопическую привязку городских оригиналов как их важнейшую характеристику.

1.2. «Городские оригиналы» как объект изучения в лингвопортретистике и смежные феномены

Под *городским оригиналом*(Stadtoriginal) понимается «исторически засвидетельствованная личность с уникальными и отчасти эксцентрическими внешностью и поведением, привлекающими внимание широкой общественности и находящими нередко отражение в художественной литературе» [Радченко 2020: 90]. Среди дополнительных параметров автором упоминаются «эффект контрдетерминации, нагнетание аффектности, выход за рамки обыденного и привычного (а также и приличного)» [там же].

Городские оригиналы представляют собой, прежде всего, примечательную характеристику *городского дискурса Германии*, в частности, как легендарный атрибут городской культуры таких крупных мегаполисов, как Кёльн, Берлин, Гамбург, Бремен, Лейпциг, а также небольших городов как Бонн, Вупперталь, Магдебург, Дюрен и пр. Городские оригиналы – уже исчезнувшее явление в тех городах, которые когда-то входили в немецкоязычный социум (например, Бреслау). 157 наиболее ярких представителей этой особенной группы упоминаются, в частности, на портале [StadtoriginalDeutschland].

Список *швейцарских оригиналов* включает, как минимум, 13 известных писателей, журналистов, пацифистов, мимов, художников, представителей высших кругов и простых жителей Базеля и других швейцарских городов [StadtoriginalSchweiz].

На интернет-порталах можно также обнаружить достаточно неоднородные списки *городских оригиналов Австрии* (в особенности венских). Так, на немецкой версии портала «Википедия» приводится список из 53 венских оригиналов, жизнь и деятельность которых относятся в основном к прошлому столетию [WienerOriginal]. Более редкими (или гораздо менее описанными) оказываются городские оригиналы, жившие в других австрийских регионах. Упоминается, к примеру, «гойзерский оригинал» Йозеф Райзенбихлер (1839–1914), известный как «поющий Вёфё» (singenderWöfö).

Крайне мало информации о городских оригиналах *в странах Европы и Америки*, однако важным обстоятельством является то, что их появление отмечено в Португалии, Словакии, Турции, США и пр.

Это позволяет утверждать, что городские оригиналы могут претендовать на статус *культурной универсалии,* трактуемой как явление, присущее «всем ныне существующим и существовавшим культурам», имеющее физическую, физиологическую или поведенческую предпосылку, находящуюся за пределами человеческой культуры, «обладать достаточно большим значением в обществе (а вернее сказать, во всех обществах)» и феноменологичностью (то есть быть результатом «преломления внекультурных явлений в человеческом сознании и мышлении») [Севостьянов 2021: 7–10]. Все эти характеристики присущи такому явлению, как бытие экстравагантных личностей в человеческой культуре, однако доказательства его присутствия в любой культуре и любые времена ещё предстоит получить.

Признание феноменологичности культурных универсалий провоцирует возможность признать за городскими оригиналами статус *культурного феномена*, тем более что в культурологических исследованиях таким статусом наделяются совершенно разные по степени сложности и значимости явления: текст, искусство в целом, традиции, обычаи, ностальгия, наука, деньги, субкультуры, языковое многообразие, критическое мышление и даже мемы. При этом столь широко понимаемый термин нередко предполагает не только способность феномена быть чувственно созерцаемым и его значимость для общества, но и его редкость и сложность его понимания (см., к примеру, обстоятельный критический анализ используемого в отечественной науке термина «социокультурный феномен» в [Герман 2021]). Не вдаваясь в обширную дискуссию относительно параметров культурных феноменов, их классификации, состава, спорности отнесения к таковым тех или иных явлений, следует отметить, что исследуемые городские оригиналы, несомненно, заметны и значимы для конкретных культур и их носителей, относительно редки (иначе

они не приобрели бы свой оригинальный статус), но всё же представляют собой постижимый предмет научного исследования и могут быть причислены к феноменам лишь в бытовом понимании этого слова.

Культурные универсалии вслед за А.Я. Гуревичем и исследователями французской школы «Анналов» часто рассматривают и как *категорию культуры*, относя к «космическим категориям культуры» пространство, время, изменение, причину и иные большей частью философские категории, а к «социальным» – индивидуум, социум, право, богатство и пр. [Тихонова 2016: 184]. Однако высокий уровень абстрактности этих категорий, а также, как правило, присущая категориям оппозиция двух и более субкатегорий не позволяют отнести к этому разряду рассматриваемых в данной диссертации городских оригиналов: они являются всё же культурным фактом, *специфическим явлением этнокультуры*, представленным реальными персоналиями.

В отечественной научной и энциклопедической литературе встречается описание таких особых личностей, которые, однако, не обозначаются термином «городской оригинал». Оригиналы как явление культуры часто смешиваются с *чудаками, эксцентриками, странными личностями, девиантными персонажами*.

Так, Р. Баландин не разделяет в своей энциклопедии чудаков и оригиналов, предлагая для выделения ста наиболее известных из них следующие параметры: «Разнообразие, типичность, поучительность, незаурядность. Предпочтение – самым самобытным, умным и остроумным. Наиболее подробно сообщать сведения о тех, кто менее известен или заслуживает обстоятельного рассказа» [Баландин 2014]. В итоге он предлагает список «неординарных личностей, интересных, подчас нелепых и смешных, но не глупых, не пошлых и не относящихся к пациентам психоневрологических клиник». Из четырёх предлагаемых Баландиным характеристик две (типичность и поучительность), как представляется, вновь указывают на некий культурный шаблон, а «незаурядность» требует более подробного разъяснения.

Своими литературными предшественниками Р. Баландин считает авторов работ о чудаках и неординарных личностях XIX в. – В.П. Бурнашева, Е.П. Карновича и М.И. Пыляева ([Бурнашев 1875; Карнович 1884; Пылаев 2004]).

Чрезвычайно интересно в этой связи определение *чудака*, которое мы обнаруживаем в книге М.И. Пыляева: «В обыкновенной жизни чудак есть человек, отличающийся не характером, не нравом, не понятиями, а странностью своих личных привычек, образа жизни, прихотями, наружным видом и проч. Он одевается, он ест и пьёт, он ходит не так, как другие; он не характер, а исключение. Замечательно, что в простом сословии, близком к природе, редко встречаются чудаки. Там все растут, воспитываются, чувствуют, мыслят и действуют, как внушила им природа или пример других; но с образованием начинаются причуды, и чем оно выше у народа, тем чаще и разнообразнее являются чудаки» [Пыляев 2001: 14]. Таким образом, неординарность сочетается, в его понимании, с образованностью, социальным статусом и отклонениями от нормативного поведения.

М.И. Пыляев также объясняет причину появления такого феномена: «В старину, даже не более пятидесяти лет тому назад, было гораздо более людей странных, с резкими особенностями, оригиналов и чудаков всякого рода, чем теперь. Такое явление понятно: причудливость есть следствие произвольности в жизни, и чем более произвольность господствует в нестройном ещё обществе, тем более она порождает личных аномалий» [там же].
В качестве примеров такого явления он описывает множество причудливых личностей в российской истории и культуре: эксцентричных военных и поэтов, светских проказников и повес, странности аристократов и помещиков, похождения силачей, загадочных личностей и «исторических самодуров», «замечательных скряг, нерях и врунов», краснобаев и остряков, «любителей печальных церемоний», игроков и кладоискателей и пр. Отдельная глава посвящена чудачествам светских дам (например, «кошколюбивых») [Пыляев

2001: 301–313]. Тем самым, чудаками и оригиналами оказываются исключительно реальные персоны, не подпадающие под какой-либо единый типаж.

Р. Баландин использует менее строгий подход, что вполне согласуется с принципиальной позицией лингвоперсонологии: лингвокультурные типажи могут базироваться как на реальных, так и на вымышленных личностях. К числу чудаков и оригиналов он относит некоторых библейских пророков и апостолов, римских императоров, царей античности, античных поэтов и философов; средневековых путешественников и пиратов; учёных и полководцев эпохи Возрождения и Нового времени; российских императоров; литературных персонажей; придворных шутов; комиков кино; поэтов, писателей, религиозных деятелей, оккультистов и исследователей XVIII–XX вв. и пр. Основным материалом, сопровождающим включение этих лиц в энциклопедию являются исторические анекдоты, воспоминания современников, курьёзные случаи и описания странностей в поведении и характере включённых в книгу персон (см. [Баландин 2014]).

Коллектив авторов сборника «50 знаменитых чудаков» добавляет к перечню Баландина программистов, русских и германских аристократов, художников, современных певцов и певиц, кинорежиссеров и киноактеров, миллионеров, изобретателей и учёных, купцов и меценатов, переводчиков, художников и музыкантов [8]. Основной принцип отбора тот же, что и у М.И. Пыляева, – поведенческая девиация.

В рамках своего анализа лингвокультурного типажа «английский чудак» В.И. Карасик и Е.А. Ярмахова выстраивают собственную типологию чудаков с учетом параметров эксцентричности поведения, отклонения от нормы, проводится различие между чудаками и дураками и пр. Выделенные авторами четыре типа чудаков (эксцентриков с необычными увлечениями, экстравагантных представителей богемы, ненормальных экстравертов и «ботанов») (см. [Карасик, Ярмахова 2001]) при ближайшем рассмотрении не пересекаются с городскими оригиналами, хотя некоторые черты можно усматривать и в них.

Вызывает большой интерес и список реальных британских и американских эксцентриков, приводимый в ходе этого исследования [Карасик, Ярмахова 2001: 202]. Он включает известных поэтов-авангардистов, гениальных ученых, скандальных актеров, бизнесменов и политиков. Отдельного упоминания заслуживает Джошуа Нортон – англичанин, называвший себя императором США и издававший бессмысленные указы [Карасик, Ярмахова 2001: 204]. Этот персонаж приближается к типажу «городской оригинал», важному для предлагаемого исследования.

Однако, в сравнении с оригиналами, чудаки представляют собой все же субъективно формируемый тип, зависящий от интерпретации, мнения и отношения автора литературного произведения, настроя общественных групп или отдельных личностей. Причисление к чудакам требует обстоятельного анализа и доказательства, о чем свидетельствует упомянутое выше масштабное исследование «английского чудака» В.И. Карасиком и Е.А. Ярмаховой. Показательным примером чудака в этом смысле можно считать персонаж Ирины Никитиной из классического советского кинофильма «Весна», которую считали чудаковатой за то, что она не любила шумных компаний и не пела популярных легкомысленных песенок под фортепиано. Однако весь пафос этого фильма заключается, по всей видимости, в борьбе главной героини с попытками причислить её к лингвокультурному типажу (точнее, шаблону) «советская женщина-учёный».

Дополнительными качествами английских литературных чудаков являются их неопасность (см. [Кузина 2016: 44]), экстравагантность, необычный внешний вид, чудаковатость, увлечение чем-либо странным для окружающих, безумие, святость, религиозный фанатизм [Сатюкова 2017: 52], склонность остроумно шутить, не задевая никого, коллекционировать необычные предметы, вести себя сумасбродно и необдуманно, чрезмерно любить животных, драматизировать жизненные ситуации и пр. [Шевченко 2020].

Странности выдвигает на первый план и А. Маршалл, говоря об австралийских чудаках в своем известном эссе. Чудаки непременно «поступа-

ют вразрез с общепринятыми понятиями», в то же время «опыт подсказывает мне, что за странными поступками всегда скрывается какой-либо смысл» [Маршалл 1983]. В качестве примеров он приводит своих знакомых: фермера, непременно покупавшего норовистых лошадей, будучи уверенным, что они будут более трудолюбивы, чем спокойные; владельца коровы, доившего её в удобное для себя время, чтобы молоко не скисало в отсутствие холодильника; любителей подкладывать куриные яйца в сумку кенгуру или прикреплять их к себе для их «вылёживания» и выведения цыплят; старика, любившего раз в месяц залезать на печную трубу из любви к сидению на ней.
В то же время имена и фамилии этих лиц не упоминаются, что вызывает подозрения в фантазийном характере этого эссе, напоминающего известный паноптикум чудаков в романе «Московский чудак» А. Белого [Белый 1926].

Следует разграничивать по этим же причинам городских оригиналов и *чудиков*, поскольку последние – «странные люди, у каждого из них имеется свой неповторимый «пунктик», но всех их роднят общие положительные черты: доброжелательное отношение к людям, любовь к труду, желание изменить в лучшую сторону социальное устройство общества. Порой поступки „чудиков“ создают неудобства для окружающих, но этими людьми неизменно движет доброта» [Эсмаили 2014: 87]. Примерами чудиков являются несостоявшийся учёный-изобретатель вечного двигателя, бытовой философ, странный художник, актёр с причудами, чудик-враль и пр. При этом все они являются персонажами литературных произведений, хотя могут быть основаны и на реальных ситуациях в жизни (см. [Леонтьев 2016: 108]). Э.П. Леонтьев также отмечает специфику коммуникативного поведения чудиков, их коммуникативно-речевую дисгармонию: они «постоянно попадают в ситуации коммуникативного дискомфорта, приводящие их к коммуникативным неудачам и коммуникативным конфликтам. Это отражается в использовании… языковых средств в соответствии с коммуникативной стратегией, в частности, в незнании денотативной отнесенности и семантики слов, в употреблении окказиональных и диа-

лектных единиц, многозначных слов» [Леонтьев 2016: 110]. При всех сходствах такого рода, к примеру, с венскими городскими оригиналами, часто прибегавшими к венскому диалекту, чудики остаются всё же вымышленным феноменом, в то время как их источники – реальные чудаковатые сельчане в случае с рассказами В.М. Шукшина – могли бы быть соотнесены с городскими оригиналами как их своеобразный аналог.

Большей пейоративностью обладает лингвокультурный типаж «дурак», который «обозначается различными лексемами в зависимости от ситуации употребления и отношения говорящего к объекту высказывания. Например, *оригинал, сумасброд, взбалмошный, дурень, эксцентричный, чудак, странный, балбес, идиот, недоумок, чокнутый, помешанный, псих*, *сумасброд, тупица* и т.д. Отсюда следует, что лингвокультурный типаж «дурак» представляет собой обобщённый образ человека, ведущего себя странным образом» [Бабарыкин 2020: 76]. Анализируя этот типаж на материале английских народных сказок, учёный отмечает в итоге, что английскому дураку, помимо глупости, присущи увлечённость, наивность, доверчивость, счастливое бытие в вымышленном мире, доброта, искренность, но также в редких случаях – и острый ум. Если исключить глупость, то это сочетание качеств можно обнаружить в одном из известнейших венских оригиналов первой половины XX в. – Карле Бароне.

Близким по характеристикам к лингвокультурным типажам «дурак», «чудак», «чудик» является *балагурный типаж*, который «представляет собой сложное образование, сочетающее в себе «лицедейство»…, лудические проявления речевой маски…, стремление к коммуникативному успеху (балагур – душа общества)…, прагматизм в поведении, демонстрацию собственного превосходства, самоутверждающиеся речевые тактики… с «творческим взлётом личности, реализацией её «духовного потенциала»…, «нестереотипностью речевой деятельности»…, презентацией стойкости, эмпатичностью, искренностью и ярко выраженной экспрессивно-эмотивной развлекательностью» [Бондаренко 2020: 14]. Столь пёстрый набор качеств, конечно, не

означает их одновременного сочетания в рамках одной и той же личности, но элементы шутовства вполне ожидаемы, если речь идёт об эксцентриках, обладающих городской известностью. Шутовство, эпатаж были присущи, к примеру, «королю золотой чернильной ручки», авантюристу и любителю жёстких розыгрышей Э. Винклеру и писателю, кабаретисту и пранкеру Г. Квальтингеру. Это особенно существенно для понимания «венского характера», юмор которого, как юмор российского пожарного, «превращает в легкомысленное происшествие самую трагическую сцену, делает весёлой самую нудную беседу, заполняет пустоту бессмысленного времяпрепровождения, «карнавализирует» действительность, позволяя сменить ценностные полюсы» [Бондаренко 2020: 17]. Впрочем, если русскоязычные балагуры прибегают чаще всего к побасёнкам и анекдотам, то для городских оригиналов более типичны розыгрыши, шутки и афоризмы.

Балагурство сходно по своим параметрам с англоязычной *буффонадой,* её лингвокультурный типаж buffon «под маской легкомыслия пытается высмеять абсурдность жизни, выдержать тяготы бытия, добиться коммуникативного успеха» [Ярышева 2013: 208]. В качестве специфики этого жанра учёный отмечает ироническую модальность и языковую креативность, исследуя их на материале британской художественной литературы. В отличие от искусственного характера такой буффонады, эксцентричное речевое поведение городских оригиналов носит неподготовленный характер, связано с каламбурами, остротами, афористикой, отраженными postfactum в произведениях тех оригиналов, которые относились к писательской когорте.

Следует также провести разграничение городских оригиналов и *юродивых,* несмотря на известное сходство в их внешних проявлениях. Так,
И.Г. Чеботарёв указывает на целый ряд невербальных характеристик русских юродивых, в частности, их особую кинесику (мимику, позы, взгляды, жесты, походку), манеру одеваться, редкость тактильной коммуникации, специфические запах и зрительное восприятие юродивых, особенности де-

монстрируемой и избираемой ими проксемики, а также многочисленные вкрапления смеха, плача, стонов, вздохов, пауз, использование слов-паразитов [Чеботарёв 2015a]. Многие атрибуты такого невербального поведения можно обнаружить и в конкретных действиях городских оригиналов. Однако принципиальное отличие юродивого от городского оригинала связано с тем, что «стратегией коммуникативного поведения ЛКТ *(лингвокультурного типажа – С.А.)* «юродивый» являлось служение ближним, предупреждение о бедах, помощь людям и забота о них», так что, «следуя этой цели, он старался уберечь человека от греховных мыслей и поступков»[Чеботарёв 2015a: 118]. Только юродивый имел право «ругаться миру, не почитая место и время» [Леонтьев 2016: 108].Связанная исключительно с христианской верой подоплёка жизнедеятельности юродивого детерминировала все его действия, что кардинально отличает этот типаж и его представителей от преимущественно светских городских оригиналов.

Кроме того, исследователь устанавливает особый статус юродивого как фасцинативно-сакральный лингвокультурный типаж [Чеботырёв 2015b: 202]. Под фасцинацией он понимает «специально организованное вербальное (словесное) воздействие, предназначенное для уменьшения потерь семантически значимой информации при восприятии сообщения реципиентами, за счет чего повышается возможность её воздействия на их поведение»[там же]. Средствами фасцинации юродивых являются крик, шум, ругань, хулиганство и драматизация, смена ритма, вариативность речи, богатейшие голосовые модуляции, диссонансы, значимые паузы, повторы и пр. [Чеботырёв 2015b: 203–204].Тем самым юродивые прибегают к сознательной манипуляции слушателями с целью оказания особенного воздействия, усиливающегося молчаливым общественным принятием специфического статуса юродивого, связанного с его внешностью, поведением, определённой репутацией и пр. В отличие от чудаков, городские оригиналы, как правило, не прибегают к подобным риторическим ухищрениям.

Однако определённое сходство обнаруживают перлокутивные эффекты, которые вызывают юродивые и некоторые городские оригиналы: позитивное или негативное волнение, шок и оцепенение, любопытство, радость, потрясение, отвращение и пр. [Чеботырёв 2015с: 209]. В редких случаях наблюдается и сходство в ценностях юродивых и тех оригиналов, которые исповедуют аскетический образ жизни: отсутствие места жительства (жизнь на паперти / в городском контейнере), отказ от комфорта (земных благ / уюта), лишения себя человеческих потребностей (аскеза / добровольная нищета). Отличия обнаруживаются в конкретных ситуациях и условиях жизни оригинала. Интересно отметить, что касается венских городских оригиналов, тот факт, что они «издавна были… зачастую грубы и невоспитанны, но именно это и делает их такими популярными, и что оскорбления даже способствуют развлечению публики» [Kraus 2008: 13]. Эта черта была заметна и у юродивых, хотя о развлечении публики речь, конечно, не идёт.

Описанные различными исследователями характерные качества и параметры необычных персонажей и типажей можно в целом систематизировать, не претендуя по полноту этого списка. Важным представляется также проведение некоторых параллелей между лингвокультурными типажами и реальными городскими оригиналами, которые выявляются при первом знакомстве с особенностями изучаемой лингвокультурной группы (табл. 1).

Как следует из табл. 1, из 59 выявленных параметров необычных ЛКТ шесть присущи всей группе городских оригиналов в целом, а 43 качества демонстрировали лишь отдельные венские оригиналы (некоторые – только один или одна из них). Первоначальное знакомство с биографическими материалами, посвященными венским оригиналам, не выявили сведений о паралингвистических характеристиках их поведения, а три качества (типичность, меньшая известность и глупость) не присущи ни одному из них.

Таблица 1

Сопоставление характеристик ЛКТ
и лингвокультурной группы венских городских оригиналов

	Характерные особенности ЛКТ	Лингвокультурный типаж, отражённый в литературных произведениях	Параллели с венскими городскими оригиналами: – нетипично; + типично (+) типично для отдельных представителей группы (примеры) требует дополнительного исследования
1	2	3	4
Общая характеристика			
1.	Разнообразие	Русский чудак	+
2.	Типичность	Русский чудак	–
3.	Поучительность	Русский чудак, Русский юродивый	(+) П. Альтенберг
4.	Незаурядность, самобытность	Русский чудак	+
5.	Счастливое бытие в вымышленном мире	Английский дурак	(+)
6.	Смешное явление, нелепость	Русский чудак	(+) Б. Трианги
7.	Творческий взлёт личности	Русский балагур	(+)
8.	Отсутствие места жительства, отказ от комфорта, добровольная нищета	Русский юродивый	(+) К. Барон
9.	Стремление манипули-ровать слушателями	Русский юродивый	(+) В. Кухвалек
10.	Неопасность	Английский чудак	+
11.	Меньшая известность	Русский чудак	–
Характерные качества			
12.	Остроумие	Русский чудак	(+) Э. Корнау, М. Блау
13.	Доброжелательное отношение к людям, эмпатичность	Русский чудик, Английский дурак, Русский балагур, Русский юродивый	(+) К. Барон
14.	Искренность	Русский балагур	(+) К. Барон
15.	Любовь к труду	Русский чудик	(+)
16.	Острый ум	Английский дурак	(+)

1	2	3	4
17.	Желание изменить жизнь людей к лучшему	Русский чудик, Русский юродивый	(+) К. Барон, Э. Меркт
18.	«Пунктик»	Русский чудик	(+) П. Витгенштейн, Л. Грубер, Р. Шперлинг
19.	Святость, религиозный фанатизм	Английский чудак, Русский юродивый	(+) Сестра Бирсак
20.	Увлечённость	Английский дурак	(+) А. Хорнер, портной Хоффманн
21.	Наивность	Английский дурак	(+) К. Барон
22.	Доверчивость	Английский дурак	(+) К. Барон
23.	Склонность драматизировать жизненные ситуации	Английский чудак, Русский юродивый	(+)
24.	Глупость	Английский дурак	–
Состояние здоровья			
25.	Сумасшествие	Ненормальный английский экстраверт	(+)
Поведение			
26.	Постоянно попадает в неловкие ситуации	Русский чудик	?
27.	Странность привычек и образа жизни	Русский чудак	(+) В. Цайленталь
28.	Прихоти и увлечения	Русский чудак, английский эксцентрик, экстравагантный представитель английской богемы	(+) А. Курц, С. Грюнвальд
30.	Экспрессивно-эмотивная развлекательность	Русский балагур	(+) Л. Вестергард
1	2	3	4
31.	Сумасбродство, необдуманное поведение	Английский чудак	(+) А. Штернберг
32.	Грубость, использование ругани, хулиганство как средство фасцинации	Русский юродивый	(+) В. Кухвалек К. Катцер, И. Лохнер

1	2	3	4
33.	Прагматизм в поведении	Русский балагур	(+) О. Кобалек, К. Фёлькль, Э. Фрайтаг-Вестхоф, М. Лассен
34.	Демонстрация собственного превосходства	Русский балагур	(+) Б. Трианги, Э. Винклер
35.	Презентация стойкости	Русский балагур	(+) Ф. Квитон
36.	Самоутверждение	Русский балагур	(+) Э. Винклер
37.	Эксцентричность поведения	Английский чудак, Английский «ботан», Австралийский чудак, Русский дурак	(+) Валюлизо, Виннету из Оттакринга, Э. Винклер
38.	Чрезмерная любовь к животным	Английский чудак, «кошколюбивая» русская чудачка	?
39.	Лицедейство	Русский балагур	(+) Ф. Фишер, Кс. Терофаль
40.	Коллекционирование необычных предметов	Английский чудак	(+) Э.К. Гранадиа
Внешность			
41.	Специфический запах	Русский юродивый	(+) К. Барон
42.	Неприятный внешний вид	Русский юродивый	(+) Э. Фрайтаг-Вестхоф, К. Барон, Ранте-Потанте
43.	Необычный наружный вид	Русский чудак, Английский чудак, Русский юродивый	(+) Й. Штайнбах, Г. Ягендорфер, А. Вопичка
Речевые параметры			
44.	Склонность остроумно шутить, не задевая никого	Английский чудак	(+)
45.	Использование окказионализмов, диалектизмов, ошибки в употреблении полисемичных слов	Русский чудик	+
46.	Стремление к коммуникативному успеху	Русский балагур	+
47.	Использование слов-паразитов.	Русский юродивый	(+)
48.	Богатейшие голосовые модуляции	Русский юродивый	(+)
49.	Нестереотипность речевой деятельности, языковая креативность	Русский балагур, Английский буффон, Русский юродивый	(+)
50.	Использование побасёнок и анекдотов	Русский балагур	(+) Г. Айзенбах

1	2	3	4
51.	Использование повторов	Русский юродивый	(+)
52.	Розыгрыши, мистификации, шутки и афоризмы	Русский балагур	(+) П. Альтенберг, Г. Квальтингер, Э. Винклер
53.	Ироническая модальность	Английский буффон	(+) Х. Хорки
Паралингвистические параметры коммуникативного поведения			
54.	Особая кинесика	Русский юродивый	(+) Й. Лукиц
55.	Редкость тактильной коммуникации	Русский юродивый	?
56.	Особая проксемика	Русский юродивый	?
57.	Многочисленные вкрапления смеха, плача, стонов, вздохов, пауз	Русский юродивый	?
58.	Смена ритма речи	Русский юродивый	?
59.	Позитивные и негативные эффекты, производимые на слушателей	Русский юродивый	+

Более того, в отличие от юродивых и иных экстравагантных личностей, городские оригиналы *обладают официальным статусом*, присваиваемым им как локальным знаменитостям и зафиксированным в справочниках, энциклопедиях и официальных порталах европейских городов (см., например, о берлинских оригиналах [BerlinerOriginale]). Оригиналы – это исключительно исторические личности, реально существовавшие и оставившие после себя воспоминания, литературные произведения, анекдоты либо оставшиеся в письменных воспоминаниях современников. Все эти материалы могут служить легитимными источниками сведений о конкретных оригиналах, их жизни, взглядах и поступках. Примером таких источников могут служить подборка документов венского оригинала Петера Альтенберга [Altenberg 2009] и интервью с «Дикой Вандой» Кухвалек и публикации о ней в австрийских медиа [Zacharia 2023].

Оригиналы – *диссипативная группа*, их невозможно классифицировать, типизировать, из их характеристик складывается лишь очень мозаичная картина того, что представляет собой типичный городской оригинал. Если составление лингвокультурного типажа происходит в основном дедуктивно – от постулата о том, что таковые имеются, через анализ лингвокультурного материала к обобщениям и параметризации, то создание лингвокультурного портрета следует *индуктивному принципу* – от конкретных личностей к крайне осторожным выводам общего характера. Это не умаляет их значимости как элементов культурного наследия конкретной страны, что обусловливает их статус как объекта современной лингвокультурологии и лингвопортретистики как её интегрального направления.

В рамках настоящего исследования проводится чёткая граница между реальными городскими оригиналами, с одной стороны, и нестандартными личностями и литературными персонажами (юродивыми, чудаками, дураками, шутами и пр.), с другой. Учитывая упомянутые качества и особенности чудаков и экстравагантных личностей как лингвокультурного типажа, следует более строго очертить поле данного исследования: речь идёт о европейских оригиналах как лингвокультурном явлении особого рода, требующем иных методов изучения, отличных от ставших уже традиционными приёмов лингвоперсонологии.

1.3. Лингвопортретистика и методы исследования венских городских оригиналов

Из элементов лингвоперсонологической методики особой важностью для данного исследования, как представляется, обладает *учёт культурного фона* описываемого феномена, позволяющий определить временные, социальные, культурные, гендерные, юридические и прочие рамки его бытия. Это чрезвычайно существенно, если речь идёт не о фиктивных entia rationis, отражающих некие шаблоны восприятия окружающей действительности, а о живых людях с их судьбами и культурными следами, релевантными для конкретного этноса, в данном случае – венского городского оригинала.

Так, одним из первых оригиналов принято считать «милого Августина» (der liebe Augustin), известного волынщика и повесу, которого в 1679 г., согласно легенде, бросили в яму с умершими от чумы, полагая, что он также скончался. Однако Августин просидел в этой яме всю ночь и спасся от последствий благодаря пению, алкоголю и легкомысленной весёлости, которую австрийцы называют практически непереводимым термином *Schmäh*. Не принимая эту историю всерьёз, Х. Мюллер всё же квалифицирует её как пример типично венского отношения к жизни – серьёзные ситуации следует всегда воспринимать с чувством юмора [Müller 2024].

Венских оригиналов она характеризует всё же как «настоящих личностей в венской повседневности», которых описывают как индивидуалистов, живущих особняком от других, приобретших городскую известность по той причине, что они, с одной стороны, являются ярко выраженными аутсайдерами общественной жизни, но, с другой, обладают харизмой, привлекают внимание окружающих (хоть и не всегда одобрительное), не обращая своего внимания на них. Оригиналы нередко нарушают общественные нормы, игнорируют традиции и приличия, и вокруг них возникают истории и мифы, передаваемые жителями австрийской столицы из уст в уста ради развлечения.

Вне всякого сомнения, первыми признаками оригинала служат *внешность* и *необычное поведение*. Так, в начале XIX века некий Йозеф Кизелак заставил о себе говорить всю Австрию, нацарапав собственную фамилию в

общественных местах бесчисленное количество раз и, якобы, проигнорировав даже увещевания императора Франца Иосифа I. Более того, после его ухода император обнаружил на своём столе вырезанную Кизелаком фамилию.

«Имперская графиня» Трианги, обрядившись в костюмы, изрядно накрашенная и увешанная бижутерией, танцевала в начале XX в. на улицах Вены экзотический, по её мнению, танец «Сладострастие», заключавшийся в том, что, выполнив один неспешный поворот вокруг своей оси, она уверяла раздосадованных прохожих в том, что это был последний из тысячи поворотов, уже совершённых до того. Из современных случаев известен оригинал, опрашивающий каждую даму в венском метро линии U4, не желает ли она выпить с ним пива.

Нонконформизм, владение словом, жажда публичности – эти составляющие городского оригинала в целом проявились во множестве случаев именно в Вене, хотя они и не являются исключительно венским феноменом.

Описание такого оригинала следует вести с учётом различных параметров, из которых особенно показательными представляются четыре:

– **антураж**: внешние особенности городского оригинала, манера одеваться (которые, впрочем, выделяются и в случае построения лингвокультурных типажей);

– **идиолект**: реальный языковой и речевой репертуар городских оригиналов (который реконструируется на основе письменного наследия самого оригинала, а также воспоминаний о нём, репортажей и статей исследователей конкретных персоналий, что отличает такое исследование от реконструкции типажа по материалам беллетристики);

– **идиокинемы**: специфичное поведение, особенности действительно продемонстрированного, а не приписываемого или ожидаемого в соответствии с социальным или культурным шаблоном, поведения;

– **перлокутемы**: специфическое воздействие на локальное сообщество, ставшее причиной наделения конкретной личности статусом оригинала (в частности, зафиксированная в источниках реакция жителей Вены на те или иные поступки оригинала) (подробнее о методах лингвопортретистики см. [Атмурзаева 2023]).

На первый взгляд, этот перечень пересекается с «паспортом лингвокультурного типажа», представленным в монографии О.А. Дмитриевой [Дмитриева 2007], в состав которого автор включает типичные для данного типажа внешний облик, одежду, возраст, гендерную принадлежность, происхождение, место жительства, сферу деятельности, досуг, семейное положение, окружение и речевые особенности [Дмитриева 2007: 87–89]. К этому добавляются прецедентные феномены, которые способствуют закреплению лингвокультурного типажа в сознании социума (например, связанные с «французской гризеткой» или «русским декабристом»). Однако принципиальным отличием городского оригинала является как раз таки отсутствие «типичных» атрибутов.

Выделенные выше четыре параметра обладают также отличительными особенностями, по сравнению с принципами реконструкции лингвокультурного типажа. В особенности существенным является опора на собственные тексты венских оригиналов, тексты воспоминаний о них, аналитические и критические работы, публикации в прессе тех лет, энциклопедические данные в качестве валидного материала исследования. Особого внимания заслуживают первоисточники, поскольку каждый представитель этой чрезвычайно экзотической группы уникален во всех аспектах – профессиональном, бытовом, лингвистическом, экзистенциальном, и многие из них отразили эту экзотичность в собственных текстах. Характеристики городских оригиналов иногда напоминают о «маргинальных» и «вульгарных» языковых личностях в трактовке В.И. Карасика, но в данном случае эти негативные черты представляют собой интегральные характеристики некоторых городских оригиналов и не являются основанием для их маргинализации.

Это же касается и выделенных О.А. Дмитриевой пяти характерных признаков лингвокультурного типажа: социального класса, территориальной характеристики, событийного признака, этнокультурной уникальности и привязанности к определённому историческому периоду [Дмитриева 2006: 285]. Из этих признаков к городским оригиналам приложимы лишь три – все они относятся к группе эксцентриков, живших или живущих в конкретном городе, уникальны и специфичны для этнокультуры, а их жизнедеятельность

очерчена чёткими временными рамками. Это позволяет утверждать о *специфичном хронотопе* каждого городского оригинала. Однако они не принадлежат к одному и тому же социальному слою, не имеют общего образовательного или имущественного ценза, не относятся к той же профессиональной группе или гендерному сообществу, а связанные с ними события образуют, как правило, широкий личностный дискурс.

Изучение такого материала не предполагает по этой причине в качестве основной задачи установление какого-либо лингвокультурного типажа, ведь обобщение уникумов не представляется в принципе ни полезным, ни реализуемым. Задача формулируется скорее как создание галереи портретов необыкновенных людей, ставших символами своей культуры, несмотря на (чаще всего) неблагоприятные обстоятельства своей жизни.

Следуя индуктивному принципу и опираясь на данные, извлеченные из первичных (воспоминания городских оригиналов, их высказывания, созданные ими литературные произведения с элементами автобиографичности) и вторичных источников (описаний, воспоминаний очевидцев, отчетов, документальных текстов и т.п.), возможно составить в качестве первого шага общую характеристику для венских городских оригиналов. В результате изучения научной и мемуарной литературы был установлен существенно уточнённый, по сравнению с различными интернет-каталогами, **список из 73 венских городских оригиналов**, которых целесообразно объединить в 12 подгрупп, разбитых на четыре блока по профессии и/или социальному статусу. Это деление носит во многих случаях условный характер, поскольку в личности одного и того же оригинала могут соединиться, к примеру, поэт, актёр, комик и владелец ресторана. Тем не менее с учётом того занятия, благодаря которому конкретная персоналия заслужила статус оригинала, подобное деление становится возможным и осмысленным.

Среди этих групп выделяется «ядерная» группа оригиналов, демонстрирующих большей частью все четыре параметра, – *экстравагантные личности* (см. табл. 2). Она не является одной из самых многочисленных в общем каталоге венских оригиналов (11 персон), но исторически ранее всех зафиксированной (начиная с XVII в.), хотя подлинность столь древних сведе-

ний вызывает обоснованные сомнения. К этой же группе примыкают и пранкеры, любители публичных розыгрышей и мистификаций (3 персоны), так как наиболее важным параметром этого блока являются всё же *перлокутемы*, результаты воздействия экстравагантного поведения на венскую публику. Эти две группы составляют первый блок венских оригиналов.

Эта группа наименее гомогенна со всех точек зрения, в ней представлены различные социальные слои (бездомные, представители аристократических и богатых буржуазных семей, выходцы из простонародья), профессиональные и квазипрофессиональные сообщества (поэты, чиновники, музыканты, бездельники), возрастные группы (от младенцев до персон, доживших до глубокой старости). О некоторых оригиналах известны только имена или прозвища (Мэди, «Виннету из Оттакринга», «Пассажир метро U4»), нет достоверных сведений об их антураже и идиокинемах (М. Августин, Й. Кизелак, Мэди, А. Штернберг) либо известны отдельные детали, но сохранились фотографии, по которым можно восстановить хотя бы их антураж (В. Цайленталь, Валюлизо, Виннету из Оттакринга), однако они не настолько уникальны либо примечательны, чтобы рассматривать их как присущие только данным персонам. Основанием причислять их к венским оригиналам, по всей видимости, можно считать их необычное или крайне странное поведение (исполнение весёлых песен во время чумы, упорное пристрастие к граффити на памятниках культуры, яростное публичное выражение критики любых политиков и чиновников, публичные истерические восторги в опере, регулярное появление на публике в украшенном орденами генеральском кителе, индейском наряде или белой тоге с оливковым венком, настойчивые вопросы к дамам в метро, а также многочисленные розыгрыши и мистификации) либо признание особых качеств горожанами (необыкновенной сообразительности у новорождённой и пр.).

Сочетанием всех необычных параметров обладали лишь два представителя этой группы – Беатрис Трианги и Карл Барон. Помимо городских легенд, об их влиянии на венскую жизнь свидетельствуют газетные статьи, судебные отчёты, биографии, в которых сохранились их высказывания на разные темы светской и повседневной жизни.

Таблица 2

Блок «Экстравагантные личности и пранкеры» и его характеристики

Фамилия, имя, годы жизни	Время, место и обстоятельства появления в качестве оригинала	Антураж	Идиолект (источники)	Идиокинемы	Перлокутемы
1. Экстравагантные личности					
1. Маркс Августин / Marx Augustin (1643–1685)	1679 г., Вена Бродячий уличный волынщик и пьяница, которого бросили в открытую яму с умершими от чумы около церкви Св. Ульриха, полагая, что он также скончался. Просидел в этой яме всю ночь и спасся от последствий благодаря пению, алкоголю и легкомысленной весёлости.		Поэт-импровизатор. Текст легенды об Августине (автор – Иоганн Константин Файгиус, 1694 г.). Баллада «O, du Lieber Augustin» (конец XVIII в.).		Веселил венцев своими грубоватыми песнями во время эпидемии чумы, за что получил прозвище «милый Августин» (der liebe Augustin).
2.Йозеф Михаэль Кизелак / Joseph Michael Kyselak (1798–1831)	1825 г., Вена Альпинист, чиновник Придворной палаты, изучал философию в Венском университете.		Описал свои путешествия в книге «Skizzen einer Fußreise durch Oesterreich, Steiermark, Kärnthen, Berchtesgaden, Tirol und Baiern nach Wien – nebst einer romantisch pittoresken Darstellung mehrerer Ritterburgen und ihrer Volkssagen, Gebirgsgegenden und	Оставлял свою нацарапанную фамилию на всех известных монументах в Австрии, в том числе на императорском дворце.	В результате стал известен всей стране. С 2010 г. подражатели оставляют граффити с его фамилией там, где он никогда этого не делал.

			Eisglätscher auf dieser Wanderung, unternommen im Jahre 1825» (1829 г.).		
3. Мэди (Адель) / Mdi (Adele)	Начало XX в., пригород Вены, младенец				Венцы восторгались её умом и сообразительностью, приезжали к ней и платили её дяде и матери за возможность увидеть её и поговорить о ней, прозвали её Mädi [Wiener Originale, Teil XXIX].
4. Адальберт Штернберг / Graf Adalbert Sternberg (1868–1930)	Первая треть XX в., Вена. Прозвище «Мончи», Известный публичный агитатор.		Имел визитную карточку с надписью: «Adalbert aus dem urgräflichen Hause Sternberg Geadelt unter Karl dem Großen – entadelt unter Karl Renner» / «Адальберт из древнего графского рода Штернбергов. Возведён в дворянство при Карле Великом – лишён дворянского титула при Карле Реннере».		Крайне резко критиковал императора и предсказывал гибель монархии, но стал яростным монархистом после буржуазной революции.
5. Беатрис Чита Альбано Антония имперская графиня Трианги фон унд цу Лач унд Мадернбург (Антония Беатриса Замек) / Beatrice Cita Albano	1926 г., Вена, певица, музыкант и танцовщица.	«Полная, весело играющая на флейте дама», избыток косметики и экстравагантные одежды.	Высказывания в суде: «Mein Vater war Ritter mit fьnf Zacken in der Krone, mein erster Mann war Graf mit sieben, da habe ich zwei dazu bekommen, mein letzter Mann war Reichsgraf mit neun. Zacken. Wieder zwei dazu.	Комично исполняла музыку на губной гармонике, свирели и флейте, выступала в кабаре, кофейнях и пивных.	Детей пытались перевоспитать ее именем: «Du putzt dich auf wie die Gräfin Triangi, du schmierst dich an wie die Gräfin. Triangi, du bist narrisch wie die Gräfin Triangi». (Ты расфуфырена, как

Antonia, Reichsgrdfin Triangi von und zu Latsch und Madernburg (1868–1940).			Immer zwei Zacken dazu» [Kraus 2008: 39]. (Мой отец был рыцарем с пятью зубцами в короне, мой первый муж был графом, с семью зубцами на гербе, так что я добавила еще два, а мой последний муж был графом с девятью зубцами в короне. Снова два зубца. Всегда добавляются два зубца»).		графиня Трианги, ты штукатуришься, как графиня Трианги, ты дурачишься, как графиня Трианги).
6. Карл Барон / Karl Baron (Baron-karl, Baron Karl, Baron-Karl) (1882–1948)	Накануне и после Второй мировой войны в пределах своего (десятого венского) района Фаворитен. Нищий бродяга, уличный скрипач, алкоголик, «районный Диоген», жил в городских контейнерах для песка и навоза, землянке. Основатель «культуры бомжей в её лучшем понимании» (Sandlerkultur)	«Среднего роста, полноватый мужчина, его лицо обрамляла спутанная борода, вокруг тела был накинут широкий плащ, который он использовал также в качестве спального одеяла, и в его бездонных складках лежали две чистые тарелки, погнутая оловянная ложка,	Устные высказывания зафиксированы на основе воспоминаний очевидцев писателем П. Хенишем в своих произведениях (Von Baron Karl, 1972). Зафиксированные высказывания: «I bin, aber das verstehtr's ihr net, ein armer Reicher… I bin der Liebe Augustin von Favoriten. Und ein einziger Wunsch an das Schicksal ist, daЯ ich einmal gaach in Himmel einiflieg!» (Я ведь, хоть Вы этого и не поймёте, бедный богач… Я милый Августин района Фаворитен. И единственное пожелание судьбе – это, чтобы я ко-	Склонность измерять шагами каждую улицу, которую он проходил.	Венцы охотно покупали у него числа для лотерей, так как считалось, что они счастливые. Его часто видели в окружении детей, которым он «рассказывал о пяти континентах и прекрасном далеком мире». В его честь назван переулок в 10-м районе Вены в 1995 г. На его похоронах присутствовало около 10000 человек. Детям говорили, чтобы они умылись, иначе они будут выглядеть как Барон Карл («sonst schaust bald aus wie der Baron-

		будильник, скрипка со смычком и другие сокровища» [Kraus 2008: 120].	гда-нибудь сразу влетел на небеса!»		Karl»)
7. Пауль Витгенштейн / Paul Wittgenstein (1907–1979)	Первая треть XX в., Вена Бездельник и повеса, двоюродный племянник философа Л. Витгенштейна, признанный врачами непригодным ни к какой профессиональной деятельности	Эксцентрик, маниакально-депрессивное заболевание, необычная внешность	Сборник воспоминаний под ред. К. Шефера, воспоминания К. Шефера «Мания Витгенштейна», аудиозаписи австрийского радио, рассказ Т. Бернхарда «Племянник Витгенштейна – об одной дружбе» («Wittgensteins Neffe / eine Freundschaft»)	Публичные истерические восторги в Венской опере	Яркий риторический талант, неспособность сделать карьеру, «гений без результата»
8.Вильгельм Цайленталь (1921–2011)	Вторая половина XX в., Вена, «гуляка в генеральской униформе»			«Господин генерал десятилетиями гулял в украшенной орденами униформе по Вене».	

9. Валюлизо (Людвиг Викерль Антон Вайнбергер) / Waluliso (Ludwig «Wickerl» Weinberger) (1914–1996)	1970-е гг., Вена, «Экоапостол», сторонник нудизма. До того трудился переплётчиком и художником вывесок.	Носил летом только фартук.	Девиз «За воду, воздух, свет и солнце», устные выступления на политические и религиозные темы в качестве провидца. Высказывание: «Es ist Zeit, dass man aus Heldenplätzen Friedensplätze macht» (Пора переименовать площади героев в площади мира)	Расхаживал по Вене в белой тоге, оливковом венке, с посохом и яблоком	Выступал регулярно перед венцами на площади св. Штефана или на рынке Нашмаркт с проповедями, призывал к разоружению и миру, общался с почетными гостями города.
10. «Виннету из Оттакринга»	1990-е гг., Вена, «индеецрайона Оттакринг»	Типичный индейский наряд		колесил в индейском наряде на роскошно украшенном в стиле вестернов велосипеде по Рингштрассе	Его велосипед был украден в начале 2000 гг., затем найден полностью разбитым. Виннету отказался от предложений подарить ему новый и вскоре после этого исчез.
11. Пассажир в метро линии U4	Начало XXI в.		Назойливо опрашивает каждую даму поезде метро, не желает ли она выпить с ним пива.		
2. Пранкеры					
12. Эрнст Винклер / Ernst Winkler (1886–1974)	Владелец магазина чернильных ручек у Капустного рынка в Вене, авантюрист, мистификатор. Самозванный «король золотой чернильной ручки» (Goldfüllfederkönig)	Появлялся нередко переодетым в аристократов и пр.	Высказывания: «Fьr meine Person bin ich 100 % ig fest ьberzeugt, dass ich auf Grund meiner klassischen Welt-Sensation – sofort – und in der Folgezeit – so wie seinerzeit mein		Развлекал публику «мистификациями» (разыгранными самоубийствами, ложными признаниями в совершении громких преступлений), вывешивал в витрине своего магазина газетные вырезки

			weltberьhmtes Idol – der «Hauptmann von Kцpenick» – … mit Heiratsantrдgen – aus aller Welt ьberschьttet werde! Am meisten wьrde mich naturgemдЯ ein Heiratsantrag von der exzentrischen amerikanischen Milliardдrin Barbara Hutton!!! interessieren! – welche sich soeben von ihrem 7ten Mann! von einem laotischen Prinzen! hat scheiden lassen! und diesem Kerl … 78 Millionen Schilling bezahlte!» [Kraus 2008: 110]. (Со своей стороны, я на сто процентов убежден, что благодаря моей классической мировой сенсации – сразу же – и впоследствии – как и мой всемирно известный кумир – «Капитан Кёпеника» – буду засыпан предложениями о браке – со всего мира! Естественно, меня больше всего за-		со своими проделками, которые совершал под дворянскими фамилиями. В 1911 г. отправился в Дрезден, где у известного ювелира заказал с доставкой по вымышленному адресу в свой «замок» украшения для своей «дочери». Был арестован и приговорен к 6 годам тюрьмы, но в 1914 г. помилован и вернулся в Вену.

			интересовало бы предложение руки и сердца от эксцентричной американской миллиардерши Барбары Хаттон!!!!. – которая только что развелась со своим 7-м мужем! С лаосским принцем! И заплатила этому парню ... 78 миллионов шиллингов!)		
13. Гельмут Квальтингер / Helmut Qualtinger (1928–1986)	1940-е гг., Вена Алкоголик, известный кабаретист и пранкер, «Тиль Уленшпигель Вены». Журналист и актёр студенческого театра, а с 1947 г. актер в скандальном политическом кабаре-ревю «Гримаса».		«Диалоги Травничека», аудиозаписи выступлений, собрание сочинений в 5 томах (1996–1997, издательство «Дойтике», Вена). Создал программы для кабаре «Brettl vorm Kopf», «Blattl vorm Mund» und «Glasl vorm Aug». Писал для радио, телевидения и кино, записал 30 грампластинок, вел в 1955–1965 гг. колонку в газете «Kurier».		Создавал и распространял о себе различные и истории-мистификации. Первое общественное выступление в мае 1945 г. в качестве самозванного «комиссара по вопросам культуры». В 1949 г. – скандальная социально-критическая постановкой «Молодежь у шлагбаума» в Граце. Знаменитые розыгрыши (в 1951 г. – объявление о визите в Вену известного эскимосского поэта, в виде которого он предстал перед репортерами в

					шубе). Любил разыгрывать друзей по телефону, обещая им невероятные призы изменённым голосом.
14. Отто Цокан (Отто Кобалек) (1930–1995)	«пролетарский поэт», нетривиальный исполнитель роли Годо в театре на Лилиенгассе, солист ансамбля «Вьенна Арт Оркестра».		автор острых пародий и оскорбительных замечаний, сохранились всего 6. Одно заканчивалось строками: Und geht die Welt zu Grund – Ich liebe dich und die Partei und den Gewerkschaftsbund. (И даже если мир погибнет, я люблю тебя, партию и профсоюз). Публикации в прессе, воспоминания, аудиозаписи.		Устроитель хэппенингов на улицах Вены, полушутливые поборы в 30 шиллингов (Zwonek) среди посетителей модной пивной Гутруф – «налог Кобалека»,

Чрезвычайно показательно в этой связи использование этими оригиналами венского городского диалекта (Wienerisch), особенно для иронического комментирования связанных с ними событий. Здесь и далее применение венского диалекта выступает как важное свидетельство переключения кодов в случаях, когда требуется более личное, эмоциональное выражение своего отношения к конкретным фактам или обстоятельствам жизни. Диалект, «будучи частью родного языка, … также принимает участие в преобразовании мира в собственность духа, создании картины мира родного языка, используя свои средства и способы. «Диалект есть языковое освоение родных мест» ..., он превращает конкретное экзистенциальное пространство в духовную родину» [Радченко, Закуткина 2004: 31].

Источники информации о специфике идиолектов отдельных оригиналов обнаруживаются в легендах, народных песнях (М. Августин), собственных воспоминаниях и произведениях (Г. Квальтингер), воспоминаниях современников (П. Витгенштейн) и путевых заметках (Й.М. Кизелак), сохранившихся во вторичных источниках высказываниях (Валюлизо), отражённых в художественной литературе.

Второй, наиболее многочисленный, блок составляют *группы оригиналов, принадлежащих к артистической и художественной богеме*: комики, композиторы и музыканты, театральные актёры, певцы и певицы, работники театров и варьете, художники (35 оригиналов) (см. табл. 3).

Особенностью оригиналов второго блока является почти исключительная *опора на их артистическую популярность* в австрийской столице как параметр для их отнесения к этой лингвокультурной группе. Эти оригиналы не обладали запоминающимся антуражем (кроме, пожалуй, Алоизия Вопички), не производили сами по себе какого-либо эффекта на венцев (за исключением тех случаев, когда от них ожидали нарочитой грубости и обижались, не услышав её), не демонстрировали необычных привычек или эскапад. Они покоряли венцев умением подражать известным личностям на сцене, пародировали носителей неизвестных им языков, сочиняли на ходу сатирические куплеты, умело развлекали публику на званых вечерах яркими анекдотами.

Таблица 3

Блок «Представители венской богемы» и его характеристики

Фамилия, имя, годы жизни	Время, место и обстоятельства появления в качестве оригинала	Антураж	Идиолект (источники)	Идиокинемы	Перлокутемы
1. Комики					
15. Франц Фишер / Franz Fischer «Рыбачёк» (Der kleine Fischer) (1856-1934)	Актер-комик. Был учеником в магазине красок, затем его открыл директор Карлова театра, где охотно играл таких же подмастерьев. Позже ушёл со сцены и стал рантье.		Авторы пьес ради него включали роли подмастерьев в свои пьесы.	Любил подражать известным актерам и др.	Ему смотрят вслед на улицах, его называют своим почетным членом многочисленные общества, а заместитель бургомистра Вены признал в связи с его пятидесятилетием его значение для Вены и не только. В зените его славы ему присылали цветы княгиня Меттерних и граф Эстерхази, в его честь устраивали вечера венские общества. Выступал и пел на званых вечерах у кронпринца и графа. Эстерхази. Его рисовал Климт. Почётный гражданин деревни Вайтен в Вахау. «Где бы он ни находился, везде его знают, везде называют его имя. Старые венцы вздыхают, когда его видят,

					и трогательно вспоминают прекрасное время, когда можно было услышать «маленького рыбака в «Фюрсте», а на улицах – милую песенку «Ты маленькая рыбачка» [Wiener Originale, Teil XXXV]
16. Эдуард Корнау / Eduard Kornau (настоящая фамилия – Korngold) (1861–1939)	Конец 1890-х гг., Вена Актер-пародист, писатель.	«Подвижность, его выразительный язык жестов, его симпатичный рот и его ярко выраженный комизм» [Wiener Originale,Teil III. S. 3]. Небольшое косоглазие, которое он также использовал для шуток.	Автор 60 куплетов, нескольких драм и статей сатирического характера для прессы. Он производит впечатление незамысловатым юмором, музыкальными шутками и пародиями.	Требовал от публики абсолютной тишины и внимания, мог отказаться от частного выступления, если ему не нравился хозяин вечера. Не зная ни одного языка. Мог умело пародировать его фонетику.	«Его имя хорошо известно, а его искусство не изменилось, несмотря на изменения в литературе и театральной моде» [Wiener Originale,Teil III. S. 3].
17. Алоизий Вопичка / Aloisius (Loisl) Ungrad (Vopitschka)	Конец XIX в., Вена «Кривой» – «Ungrad» Уличный певец-импровизатор. Сначала зарабатывал на жизнь как уличный торговец-разносчик, потом – как клоун и сценический комик в Пратере.	«Кривой» – это бледный, с метр ростом господин которого зовут вообще-то иначе» [Wiener Originale, Teil XXVII. S. 2].	Сочинял на ходу и исполнял очень популярные сатирические куплеты с критикой известных личностей Вены, слова после исполнения не помнил.	«Маленький горбатый человечек, который доверчиво хлопает глазами» [Müller 1917: 531].	

18. Теодор Воллер / Theodor Woller (1861–1928)	Актёр, певец и писатель, автор юмористических скетчей, с которыми сам выступал.	«У него профиль Левински» (австрийского актёра Йозефа Левински (1835–1907)).	Его книги «Überbrettl», «Zwischenbrettl»		Развлекал гостей на вечеринках. «Человек, огромная голова которого на афише вместе с личной подписью достаточна, чтобы заполнить залы» [Wiener Originale, Teil XII. S. 2]. Его вызывали на бис по двадцать раз.
19. Генрих Айзенбах / Heinrich Eisenbach (1870–1923)	Начало 20 в., завсегдатай кафе «Эдисон», главный представитель будапештского театра «Орфей» в Вене, актер-комического жанра. Был в Будапеште художником, потом быстрым рисовальщиком и клоуном в варьете, заменил заболевшего ведущего актера и стал популярен. В Вене играл в пьесе «Партия в клабриас».	«Классическое спокойствие его лица с приятными подвижными глазами и приплюснутым носом» [Wiener Originale, Teil VI: 3]	«Его самая сильная сторона – анекдоты. Он рассказывает мне о технике готовящегося к представлению анекдота следующее: «Если анекдот должен быть действенным, его нужно рассказывать спокойно, без жестикуляции. Комик, который реагирует на смех публики, отказывается от самой сильной части воздействия. Слова должны	Играет в карамболь с лучшими мастерами. В свободное время скакал на лошади по парку Пратер, затем заходил в жёлтых сапогах из воловьей кожи со шпорами в кофейню.	Его приглашали самые аристократические семьи выступить на званых ужинах, за что он никогда не брал меньше 100 крон.

			произноситься чётко и размеренно, чтобы у публики было время их понять». [Wiener Originale, Teil VI: 4].		
2. Композиторы и музыканты					
20. Карл Катцер / Karl Katzer (1842–1922)	Исполнитель народных песен с международным признанием, выступал в «Синей кошке» в Будапеште, затем хозяин кофейни		Он был известен своей прямотой и грубым, но не хамским, обращением, которого от него всегда ожидали. Песня «Mei´anzige Freud´is mei Bua“		
21. Макс Лассен / Max Lassen (1852–?)	Профессор, виртуоз, композитор. Начал концертировать с отцом в возрасте 12 лет. Учился у А. Рубинштейна в Вене. Посвящал множество гавотов и серенад коронованным особам и оперным певцам.	«Маленький, упитанный господин с широким отложным воротником и хорошо сохранившимся мехом, с особенной предупредительностью приподнимающий цилиндр с изогнутым верхом» [Wiener Originale,Teil VII, S. 3].			Вся Вена отмечала его 25- и 40-летний юбилей творческой деятельности. Играл перед турецким султаном, Наполеоном Третьим и королевой Викторией.

22. Барон Ганс фон Цойс / Baron Hans von Zois (Johann Nepomuk Gustav Adolf Freiherr Zois von Edelstein) (1861–1924)	1890-е гг. Композитор с трагической судьбой, автор опер, оперетт и песен, заслуживших похвалу критиков, но не принесших ему достатка, так как директоры театров считали его музыку несовременной. Начал писать музыку в шесть лет, учился в консерватории, был знаком с Ф. Листом, Брамсом и Массне.	«Причудливая нерегулярность его лица» [Wiener Originale, Teil V], складывал птичьи губы дудочкой, откидывал гриву.		«По-детски растерянная манера» [Wiener Originale, Teil V], жадно поглощал бутерброд в кафе «Гринштайдль», делая наброски на нотной бумаге, тихо поднимая руку, писал быстро, до пяти песен в день, сидя за столом в кафе.	Его музыку высмеивали, издевались над его титулом, его характер считали полным слабостей. Его называли «der narrische Toul” Его дважды считали умершим: в 1887 г., когда он упал в обморок в кафе, узнав о смерти своей матери, и когда у него случился сильный нервный приступ. Его основным меценатом был князь Иоганн фон Лихтенштейн. Был замешан в афере своей жены, имитировавшей рождение наследника состояния его семьи. В декабре 1894 г. был впервые доставлен в психиатрическую клинику. В конце жизни полностью разорился [Kornberger 2022]
23. Фердинанд Ляйхт / Ferdinand Leicht (1870–1922)	Венский композитор в начале XX в. и владелец с 1895 г. ресторана «Zum		Автор популярных венских песен о женщинах, пиве, прекрасном опьянении и далеких планетах (I und der Mond), кото-	Исполнял на пианино свои вальсы и песни для посетителей своего кафе.	«Князья, графы, поющие бесплатно по просьбам окружающих певцы и кучеры фиакров обожают его, насвистывают и наиг-

	schwarzn Tor” в Пратере, который он превратил в ресторан-варьете. Писал в основном по ночам. Был сыном бродячего актера варьете.		рые не приносили ему дохода. Строки самой популярной его песни: «I und der Mond, mir drah’n mitsamm, Er gibt ka''Ruah‘, I gib ke’ Ruah” (Я и Луна, мы вращаемся вместе, Она не дает покоя, я не даю покоя). Он написал «Марш королевы Драги» для королевы Сербии, который был необыкновенно популярен во всей Сербии, исполнялся на каждом концерте и разучивался в школах. Однако после убийства королевы он был запрещен в связи с тем, что заговорщики спели его, сочинив издевательский текст.		рывают его песни и чуть ли не тают от наслаждения, когда они с жёнами за бокалом вина слушают его венские мелодии» [Wiener Originale, Teil ohne Ziffer, 29.10. 1905].
24. Людвиг Грубер / Ludwig Gruber (1874–1964)	Композитор, к январю 1906 г. написал 1000 произведений. Начал сочинять музыку в 13 лет. Сочинял народные песни.				Уже в 14 лет стал почётным членом общества «Hainbacher Bauern»

25. Ханзи Фюрер / Hansi Führer (1876–1955)	Начало XX в., Вена Исполнительница народных песен с часто пикантным содержанием				Пользовалась огромной популярностью перед Первой мировой войной, гастролировала в Германии, США и Кубе.
26. Лусия Вестергард / Lucia Westerguard (1912–?)	2000-е гг., Вена	Пожилая саксофонистка			Играла на саксофоне на улице Грабен в центре Вены
27. Ханс Кристиан Чирич / Hans Christian Tschiritsch (*1954)	1987 г., Вена Музыкант-самоучка, композитор, изобретатель музыкальных инструментов. Начинал в 1970-е гг. как уличный музыкант, акробат на ходулях и актер театра кукол.				Стал известен как изобретатель необычных музыкальных инструментов («поющий пылесос», «ванная-шарманка», швейная машинка-шарманка обертонов», а также ряд инструментов с необычными названиями – Heisere Lunge, Trichtergeige, Tschiritscheridoo, Klangpropeller, Dröhnrad, Klangbett, oder Wehmutswalze и пр.) В честь годовщины со дня смерти Иоганна Штрауса изготовил четырёхметровую скрипку и попал в книгу Гиннеса.

3. Театральные актёры и актрисы, певцы и певицы					
28. Франц Ксавер Терофаль / Franz Xaver Terofal (1862–1940)	Немецкий актёр театра, исполнитель ролей крестьян. Создатель, звезда и с 1905 г. директор Крестьянского театра в Шлирзее, Бавария. В юности обучался профессии мясника, преуспел и арендовал несколько деревенских пивных, в которых устраивал музыкальные и театральные представления. Дебютировал в Мюнхенском государственном театре.	«Видный статный господин». В Вене появлялся в баварском крестьянском костюме с прусским орлом в бриллиантах на заколке для галстука, подаренном германским кайзером за его выступление.	Высказывание о гастролях Крестьянского театра в США: «I war a Bursch, wia man net bald sind. Immer war'n wir eing'laden, bei die Deutschen, bei die Amerikaner, bei die Indianer, es hat uns nia was köst'» (Я был парнем что надо. Всегда нас приглашали немцы, американцы, индейцы, а нам это ничего не стоило)		«Его знают везде, он вполне популярная фигура на наших улицах» [Wiener Originale, Teil XXV].
29. Макс Блау / Max Blau (1870–1931)	Суфлёр Венской придворной опе-	«Маленький, комично идущий вразвалочку человек»	«Лучший рассказчик анекдотов»		«Господа называют его милейшим парнем, а дамы зовут его

	ры, импровизатор, поэт, комик. Соавтор оперетт „Das Marktkind“, „Das Patentnädel“, пьес («Gigerln von Klosterneuburg“)	[Hirschfeld 2020]			Максиком» [Wiener Originale, Teil XXIII]. Его популярность простирается от Вены до Петербурга, от Брунна до Рима.
30. Мориц Весселы / Moritz Wessely («Der Moritz»)	Служитель театра An der Wien, 1880 г., Вена	«Достойный и видный господин»			Работал в театре 25 лет (1905 г.), все театралы знали его. Разносил роли и гонорары актёрам, отвечал за звонки, организацию постановок, спасал постановки в случае болезни актёров и пр.
31. Венцель Зайдль / Wenzel Seidl (1842–1921)	«Рыжий Зайдль»исполнитель народных песен. 1863 г., Вена. Прошёл обучение на официанта, одновременно пел народные песни соло и дуэтом, осо-	«Он уже не юн, но его фигура не потеряла своей эластичности, и он носит жакет в клетку и чёрно-красный жилет столь же легко и с любовью к жизни, как и раньше» [Wiener Originale, Teil XXXIV. S. 3].	Исполнял песни „Der blade Binder“, „Der lange Drexler“, „Das hat ka Goethe g´schrieben“, „Das is dem Weaner sein Schan“.		Его приглашали выступать на званых вечерах аристократии, в пивных и ресторанах, он получил в подарок заколку для галстука с инициалами короля Бельгии Леопольда, кронпринц Австрии пел и свистел вместе с ним.

	бенно с В. Висбергом, с которым он основал совместную фирму.				
32. Луиза Монтаг / Luise Montag (настоящее имя – Aloisia Pintzker) (1849–1927)	Исполнительница народных песен, жемчужное сопрано, великолепно владела техникой йодля (прозвище das Lercherl) 1866 г., Вена. Пела с раннего детства, удивляя своим голосом.		Шлягер «Gut is' gangen, nix is' g'schehn», дуэт с Э. Гушельбауэром «Fiaker und Wäschermädel» Высказывание: «Die Zeit is halt anders g´word´n. Heut´braucht a Madel a Larven und muaß si vur die Leut´hinstell´n. Auf a wirkiche Kinst legt kaner an Wert. Und darum schaut´s a mit´n Nachwuchs „spatni“ aus“. (Времена ведь изменились. Нынче девушке нужна маска, она должна нравиться людям. Настоящее искусство никто не ценит. И поэтому ситуация с новым поколением певиц выглядит плохо) „So viel Gawlier gibt´s		Была необыкновенно популярна как исполнительница йодлей, выступала соло и в дуэтах. На пике карьеры «вся Вена хотела её слушать», шутили про двойной праздник, когда в воскресенье слушаешь Монтаг (понедельник).

			heut´gar nimmer in Wien als wie damals bei die „Fürigipritz´n“, wann i bei die „Engeln“ tagt hab´. A Spalier war´s wie ganze Adelsarchiv; wann aner dö Ahnen hätt´zähl‘n woll´n, heut´wär´er non et firti“ (Столько уха-жёров нынче уже не бывает в Вене, как тогда, когда я бывала в «Ангелах». Стеной стояли все видные дворяне: если бы каждый из них поже-лал перечислить сво-их предков, до сих пор бы не закончил) „Gar nix hab´i dazua tan, die Kehl´n hab´i no so g´fund wie vor dreißig Jahr´und singen kann i den ganzen Tag; dö Sängerinnen, dö so hakli tuan mit´n Schnupftüchel und mit´n Reden, dö haß´n alle nix“ (Совершенно ничего я не делала для этого, горло у ме-ня всё ещё, как трид-		

			цать лет назад, и петь я могу весь день; те певицы, что жеманятся с носовым платочком и речами, ничего не чураются» [Wiener Originale, Teil XIV. S. 2–3].		
4. Художники					
33. Артур Курц / Artur Kurtz (1860–1917)	Художник и писатель, изобретатель «перпетуума мира», «квадратуры круга», «кубика мира» и «абсолютно круглой книги».	«Приятное лицо с беспокойными глазами, волосы искусно зачёсаны вверх, образцово ухоженная борода, подстриженная на полурусский-полуафриканский манер, крепкое телосложение, арабский цвет лица» [Wiener Originale, Teil I].	Пытался доказать тезис о «сердцевине мира, в которой живет любовь к человеку». Переписывался с Э. Махом, который отсоветовал ему публиковать свои философские «открытия». «Я живу у Зернового рынка в Вене, размахиваю утром, идя на работу, кистью во все стороны и научился осознавать, что мне нужно меняться, как рак, обходящий по кругу. Зная это, я сварил себе этого рака и иду, съев его, «вперед» и «назад» одновременно и обретаю таким образом весы во всех ситуациях моей жизни» [Wiener		Его картины не понимали и не принимали художники Сецессиона. Газеты описывали его открытия как дурачества (Narrheiten), ему запрещали выступать с докладами, вызывали на допрос в полицию.

			Originale, Teil I: 3]. Все рисунки подписывал TADC (toujours à Dieu content) – всегда довольствуясь Богом		
34. Йозеф Нигг / Josef Nigg (1783–1865)	Один из важнейших венских художников, рисовал цветы для венской фарфоровой мануфактуры. Его картины выставлены в Вене, Мюнхене, Дрездене.		«Как у настоящего венца, у него рот был на правильном месте» [Neues Fremdenblatt 1866: 5].		Стал знаменит в юном возрасте, создав роспись фарфорового сервиза для императрицы Марии Луизы. Получил приглашение от Наполеона на работу в Севрской фарфоровой мануфактуре, но отклонил его. Перед кончиной получил Золотой крест с короной за заслуги. Известен тем, как выиграл пари с мясоторговцем, приведя в полном парадном облачении трёх его свиней на бал.
35. Макс Шёдль / Max Schödl (1834–1921)	Австрийский художник-реалист, автор натюрмортов с предметами роскоши.		Известен своими комичными высказываниями и ситуациями, описанными М. Елузичем.		

В эту группу входили музыканты-виртуозы, игравшие перед европейскими коронованными особами, композиторы, произведения которых не понимали и не принимали не только критики, но и публика, сочинители и исполнители венских шансонов и народных песен, певицы с фривольным репертуаром, уличные исполнители. Особым успехом пользовались театральные актёры, суфлёры и служители дирекций, а менее заметным – художники-изобретатели странных предметов, авторы натюрмортов и росписей по фарфору, хотя и их имена были прекрасно известны всем жителям не только Вены, но и Австрии в целом.

Как и в случае с первым блоком оригиналов, здесь также обнаруживаются авторы стихотворений (Э. Корнау), импровизаций (А. Вопичка), юмористических скетчей и книг (Т. Воллер), популярных песен на венском диалекте (К. Катцер), исследование которых позволят описать и проанализировать особенности созданных оригиналами текстов и отраженных в них идиолектов.

Третий блок составляют профессиональные группы оригиналов, не принадлежащих к театральной и художественной богеме: спортсмены, владельцы и сотрудники ресторанов, кафе и пивных, полицейские и юристы, коллекционеры редкостей (27 персон) (см. табл. 4).

Значительная часть этих оригиналов вызывает существенные сомнения относительно причин отнесения их к этой лингвокультурной группе. Это в первую очередь относится к спортсменам-силачам конца XIX–начала XX вв., известность которых среди поклонников их спортивных достижений являлась, по-видимому, веским основанием считать их яркими представителями неординарных венцев. Их характеризует скромность идиолектов, о которых можно судить лишь по кратким высказываниям во вторичной литературе. Некоторым исключением можно считать К. Сесту, который приобрёл знаменитость не только благодаря своим футбольным талантам, но и из-за ставших широко известными ярких иронических высказываний на венском диалекте.

Таблица 4

Блок «Представители неартистических профессий» и его характеристики

Фамилия, имя, годы жизни	Время, место и обстоятельства появления в качестве оригинала	Антураж	Идиолект (источники)	Идиокинемы	Перлокутемы
1. Спортсмены					
36. Георг Ягендорфер / Georg Jagendorfer (1849–1913)	1880 г., Вена Атлет, создатель школы атлетов в Вене. Был вначале рабочим на фабрике, затем им заинтересовался маркграф Паллавичини, плативший ему за занятия атлетикой. Он отправился в США, тренировался там.	«Его сила кажется непобедимой. Руки похожи на стволы деревьев, и только глубокие борозды на шее демонстрируют, что он уже несколько не в форме» [Wiener Originale, Teil XIII, S. 2].	Высказывание: „Sagt aner, die Uhr her oder `s Leben, so thuan´s a so, als ob´s Ihner fürchten täten. Dann geh`n`s an Schritt z`ruck and hau´n eahm nacher mit´n Schädel ane auf d´ Nas´n“ (Если кто-то скажет: «Давай сюда часы или прощайся с жизнью», то надо делать вид, что вы очень испугались. Потом отойдите на шаг назад и ударьте его после этого головой в нос).		Был хорошо известен в Вене, мог поднять пушку одним пальцем и слонёнка в воздух. Освоил джиу-джитсу, изобрёл множество снарядов для тренинга. Его школу атлетов посещали аристократы и актёры.
37. Феликс Квитон / Felix Kwieton (1877–1958)	1897 г., Вена Трамвайный кондуктор, известный рекордами бега на средние и длинные дистанции.	«Его внешность указывает на жилистого, загорелого, весёлого человека примерно тридцати лет. Он несётся вперед,			«Его грудь… украшена орденами и наградными цепями, медалями и знаками отличия, а его квартира в том, что касается кубков и статуй, похожа

	Прозвище Lixl	как олень в прыжке. Глаза горят, грудь кажется вдвойне мощной, и сильные голеностопные суставы бросаются в глаза» [Wiener Originale, Teil XXXI, S. 3].			на отдел серебра в хранилище ценностей» [Wiener Originale, Teil XXXI, S. 3]. Участвовал в Олимпийских играх в Афинах (за него болела вся страна), где проиграл марафон.
38. Йозеф Штайнбах / Josef Steinbach (1879–1937)	Конец 1890-х гг. , Вена Атлет-рекордсмен мира, «сильнейший человек в Вене». Родился в германской Богемии в крестьянской семье, был двенадцатым ребенком, начал работать в корчме, где ворочал огромные бочки с вином и занимался тайно атлетикой.	«Ладная, крепкая фигура, огромный бицепс, …свежее, юное лицо» [Wiener Originale, Teil XVII, S. 2].	Высказывание: «I steh’ den ganzen Tag bei der Arbeit, von der Schank geh‘ i und schlag‘ die Rekord‘. Ueben tu i nur zwamal die Wochen» (Я работаю целый день, от стойки я ухожу и бью рекорды. Тренируюсь я только дважды в неделю).		Вскоре после его кончины ему поставили гранитный памятник на средства, собранные атлетами Германии и Австрии.
39. Карл Витцельсбергер / Karl Witzelsberger	Тяжелоатлет. Начинал работать пекарем, грузчиком пивных бочек, затем стал хозяином пивного ресторана на Маргаретенштрассе	«У него красивый, свежий, молодой вид. Скорее стройный, чем полный, без раздутостей, которые присущи нашим тяжелоатлетам» [Wiener Originale,			Признанный чемпион по поднятию тяжестей одной рукой, сильнейший человек Вены.

		Teil XXXIII. S. 2].			
40. Карл Сеста / Karl Sesta (настоящая фамилия – Sestak) (1906–1974)	1928 г., Вена Известный футболист (защитник). Получил профессию кузнеца, одновременно выступал в качестве борца на любительских соревнованиях и исполнял венские народные песни.	Прозвище „Der Blade“ (Толстяк)	Был известен своими ироническими высказываниями о спортсменах и политиках, которые он формулировал на венском диалекте.		Был необыкновенно популярен в 1930-1950-х гг.
2. Владельцы и работники кафе, пивных и ресторанов					
41. Иоганн Лохнер / Johann Lochner	Начало XIX в., Вена С 1800 г. хозяин пивной «Zur heiligen Anna» в венском районе 9 (Бадгассе 29), кличка Narrendattel.			Известен своим грубовато-весёлым обращением с посетителями пивной.	
42. Франц Лахмайер / Franz Lachmayer (?–1902)	Ресторатор в парке Пратер. Упоминание в 1854 г. в связи с назначением его как домовладельца опекуном умалишенного. В 1873 г. стал владельцем ресторана «Zum Tivoli», построил в Пратере впервые велосипед-	«Мужчина с седыми волосами и всегда лихо закрученными усами»			Служил управляющим делами в «Колоссеуме» Швендлера, придумывал различные развлечения, организовал «адские вечера», «балы в обносках» под открытым небом и пр., привлекавшие тысячи человек [Illustriertes Wiener

	ный цирк, карусель с воздушными шарами. Упоминается ещё в 1875 г. в связи с организацией выставки в его ресторане. В 1888 г. получил привилегию от города устанавливать аппараты для продажи сигар и гороскопов.В 1897 г. после смерти первой жены повторно женился и вскоре разорился.				Extrablatt 1902]
43. «Литературный официант» Генрих / Heinrich der Literaturkellner	1880-е гг., Вена Официант в кафе «Гринштайдль»	«Он ни на йоту не изменился, его походка стала несколько более размеренной, чем ранее, когда он спешил от стола к столу, чтобы не потерять ни единой жемчужины, его лицо демонстрирует дружескую полноту, а его			Обслуживал известных писателей в своём кафе (Альтенберга, Шнитцлера, Гофмансталя и пр.), актеров Бургтеатра.

		Служил нос приобрёл красноту, что очень часто считается знаком тайной печали» [Wiener Originale, Teil XXX: 2].			
44. Господин Бради (Brady)	Создатель кафе «Бради» в начале XX в., научил венцев пить шампанское с солёным миндалем. Повысил потребление шампанского в Вене в четыре раза. Начинал парикмахером, затем разучил венские песни и выступал с небольшим коллективом перед аристократами.		Его слова «Drahn m'r um und drahn m'r auf, es liegt nix dran, weil m'r auf der Welt das Geld net fressen kann“ (Как ни крутись, как ни вертись, это бесполезно, так как в жизни деньга жрать невозможно) [Wiener Originale, Teil XXVI]	Пел приятным тенором для гостей своего кафе застольные песни.	За каждый концерт у кронпринца получал 2000 гульденов. Пел перед Иоганном Штраусом и самим императором и заслужил его похвалу.
45. Леопольд Гавелка / Leopold Hawelka (1911–2011)	1930-е гг., Вена				Открыл с супругой Йозефиной в 1939 г. кафе «Гавелка» в Доротеергассе (1 район Вены), которое стало местом встречи венской богемы.
46. Роберт Бёк / Robert Böck (*1942)	1974 г., Вена Старший официант знаменитого кафе «Ландтманн» до 2003 г. В 15 лет стал			Коллекционирует различные типы тракторов.	Известен венцам как «господин Роберт» (Herr Robert). Обслуживал в кафе многих политиков, федераль-

	учеником О. Казерера в области гастрономии самообслуживания.				ных канцлеров Австрии, встречал в кафе М.С. Горбачева [Robert Böck 2014]
47. Хуберт Хорки / Hubert Horky (1943–2016)	Владелец кафе «Урания» на улице Радецкого с 1964 г., унаследовав его от своей матери.		Его чопорно- обаятельный, остроумно-старомодный легкомысленный юмор ценили гости кафе. Он не называл гостей по имени, но использовал особенные обозначения: «der Loungan» для великовозрастных фрилансеров, «Spitzboat» для бородачей, «Doukta» для лиц с высшим образованием, «Frdulein» для дам, а лиц, вызывавших у него подозрения он называл «Schwammerl».	В 19.00 звонил будильник, ровно через 75 минут он открывал свое кафе. Коллекционировал объявления о кончине знаменитых венцов, фуражки для униформ, старые принтеры, вырезки из газет о бывших посетителях, ставших преступниками, но особенно – 4000 чёрно-белых фото парка Пратер.	Многочисленные репортажи и телесюжеты о нем, главы в книгах, например, в «Streifzug durch den Wiener Wurstelprater» Р. Гиртлера. В кафе было снято 30 остросюжетных кинофильмов. К нему приходили посетители разных социальных слоев, студентов привлекали низкие цены за кофе. Разрешалось устраивать вечеринки со своей едой, приносить с собой вина высшего качества (Kreszenzen). Гости устраивали выступления джазовых и прочих музыкантов [Werfring 2016].
3. Полицейские и юристы					
48. Александр барон фон Плаппарт / Alexander Freiherr von Plappart (?–1906)	Придворный и судебный адвокат, которого постоянно назначали ex offo и ему передавали подобные дела все его коллеги.	В присутственные места он всегда являлся в потрёпанном платье, хотя был известен как меценат и обладал приличным состоя-		Он был превосходным музыкантом и постоянно носил с собой нотные листы на все юридические мероприятия, чтобы записывать свои музыкальные озарения	

		нием, которое завещал своей приёмной дочери.		[Innsbrucker Nachrichten 1906].	
49. Йозеф Лукиц / Josef Lukitz (1927–?)	Венский дорожный полицейский в чине Oberwachmann, в 1951-1956 гг. регулировал движение на перекрестке Рингштрассе и Бабенбергерштрассе.	„Toscanini von der Babenberger Kreuzung» (Тосканини бабенбергского перекрёстка)	Регулировал движение криками в адрес водителей «Da komm her!», «Siehst, jetzt fahr weiter!», «Gemma, gemma!».	Регулировал движение транспорта на оживленном венском перекрёстке с помощью большого и указательного пальцев.	
50. Карл Шмальфогль / Karl Schmalvogl (1930–?)	Конец 1950-х гг. Дорожный полицейский, «Караян оперного перекрёстка», муж оперной певицы Любы Велич (1913–1996)	«Симпатичный венский дорожный полицейский»		«Элегантная жестикуляция»	«Он ставил на место пешеходов и автомобилистов. Он пользовался таким уважением, что участники дорожного движения ему даже привозили подарки» [Godala 2013].
4. Деловые люди, бизнесмены					
51. Ранте-Потанте / Rante-Potante	1873 г., Вена Известный всему городу бродячий торговец книгами и алкоголик.	«Потом открывается дверь, и входит человек небольшого роста. Ноги уже немного подкашиваются, бакенбарды седые, на глазах очки с толстыми стеклами, а весь он – человечек в пло-	Он говорил на «жёстком, узнаваемом чешском диалекте».	Показывал в пивных один и тот же фокус с кольцом и платком, используя магическую фразу «Rante-Potante», затем обходил гостей, предлагал им книги и карандаши и собирал небольшую дань, потом ему наливали пива и приносили бесплатно еду.	

		хом кафтане с короткими подрезанными брюками, жилете в пятнах и белой манишкой, на которой видны отметки карандашом. В руке у него маленькая сумка, а на часовой цепочке болтается большая серебряная лошадь» [Wiener Originale,Teil ohne Ziffer, 15.10.1905, S. 3].			
52. Сестра Бирсак / Schwester Birszak	Конец 1860-х гг., Вена. Одна из старейших баптисток в Вене. Изучала религиозные объединения в США. Обратилась в баптизм, овдовев и оставшись с тремя детьми на попечении.	«Достойная матрона. Одетая в чёрно-белое, с простой шляпкой на голове, тонкими изящными руками и большими очками, через которые её глаза видны			Была исключена из баптистской общины Вены за вопросы о судьбе денег. Собиралась основать свою общину.

		как через лупу, она уже издалека походит на доверенное лицо небес» [Wiener Originale,Teil ohne Ziffer, 09.09.1906, S. 3].			
53. Артур Хорнер / Artur Horner	Конец XIX в., Вена Букмекер, нередко принимал ставки на лошадей от влиятельных персон.				Самый популярный букмекер в Вене, о потерях и выигрышах которого на скачках ходили легенды [Wiener Originale, Teil XXVIII, S. 2].
54. Портной Хоффманн / Tailleur Hoffmann	Начало XX в. Король моды	«Он выглядит, как поэт… Его глаза смотрят снизу вверх, он всё время ищет вдохновения, ему есть дело только до себя и своих вещей, до своей моды, а прочие – лишь эпигоны» [Wiener Originale, Teil XVIII: 5].	«Он говорит тихо, обрывает фразы на середине… Его жилет и галстук в голубую полоску сделали бы честь любому представителю рода Ауэршпергов, сюртук притален… Карманный платок величиной с гренобльский орех торчит в рукаве, манжеты скроены по последней моде» [Wiener Originale, Teil XVIII: 5].		

55. Каролина Фёлькль / Karoline Vqlkl	Начало XX в. «Каролин с бегов» (Turf-Karolin'),продавщица цветов в ресторане «Венская Венеция», продавала розы и особенно гвоздики в ресторанах и на бегах, выбирая тщательно клиентов.	Изящная красавица.	Высказывания: «A Nagerl, Herr Graf!» (Гвоздичку, господин граф!) «G'flog'n san die Tausender, Eing'steckt hab' i und «küß d´Hand" hab' i g'sagt"»(Тысячные так и летали, я их засовывала в карман и говорила: «Целую руки»)	Появлялась на бегах всегда в платье цветов фаворита скачек, определяя его по опыту. Если фаворитов было двое, готовила два наряда. В случае победы аутсайдера брала напрокат запасную майку жокея, поздравляла владельца с победой и обнимала жокея, получала от хозяина бегов тысячу гульденов и наряд от победителя дерби в его цветах.	Расцвет её популярности в Вене пришелся на 1880-90-е гг., «на ней были самые элегантные платья, и шампанское она пила кружками» [Wiener Originale,Teil XI. S. 3]. С возрастом ей пришлось уступить свою роль более молодым.
56. Баумгертнер / Baumgdrtner	Начало XX в., директор бального зала Sophiensaal			«В центре бурного веселья – полководец бального зала, директор Баумгертнер: он осматривает украшения зала, он определяет количество столов, устанавливает температуру для вечера и руководит освещением. Гибкость старого господина достойна восторга» [Wiener Originale,Teil XXI. S. 3].	

57. Йозеф Бартке / Josef Bartke (?–1906)	Хозяин фирмы конного извоза, «вечно весёлый человек с никогда не иссякающим юмором», прозвище „der schöne Pepi“ (красавчик Пепи) [Arbeiter-Zeitung 1906: 6].				Оказывал поддержку бастовавшим работникам конного извоза.
58. Хобзик / Hobsik	Заведующий отделением амбулаторной помощи и брандмейстер Майдлингского общества помощи жертвам чрезвычайных ситуаций				Всегда знал чуть ли не заранее, когда случится бедствие, и был на месте, чтобы оказать помощь. Жителям Майдлинга надолго запомнилось выражение „Da wer´n ma halt den Hobsik rufen!“ (Тут надо позвать Хобзика).
59. Ванда Гертруда Кухвалек («Дикая Ванда») / Wanda Gertrude Kuchwalek (1947–2004)	1970-80-е гг., Вена Единственная дама-сутенёр Вены.	Высокая мрачная красавица в мужском костюме, белой рубашке, сапогах и шляпе, вооруженная стальной розгой	Интервью с Австрийским телевидением, публикации в австрийских медиа, заметки о своей жизни для гамбургской газеты		Аресты и заключения, выйдя на свободу, сидела со своей собакой в любимой кофейне
11.Коллекционеры					
60. Эдуард Карл Гранадиа / Eduard Karl Granadia	1880-е гг., Вена Фабрикант шёлка, Собиратель автографов.		«Только тем самым он, впрочем, не был бы оригиналом, но		На стенах его патрицианского салона «висят в огромном коли-

			его успех говорит за себя, и в Вене ныне не найдется второго человека, способного столь мастерски, как Гранадиа, выудить желанное фото с подписью у самого омерзительного врага охотников за автографами» [Wiener Originale,Teil II, , S. 2].		чество фото с автографами, рядом картины и литографии, бронзовые бюсты, ряд книг и ящиков содержат письма и посвящения», в том числе автографы Вагнера, Бисмарка, Мольтке, Эдисона, Дюма, Толстого и пр.
61. Рихард Гронер / Richard Groner (?–1931)	Коллекционер венских достопримечательностей, писатель, инспектор и заведующий бюро государственных железных дорог		Автор книги «Wien, wie es war», для которой он всю жизнь собирал материалы о Вене, её достопримечательностях, строениях, истории и пр.		
62. Альфред Пик / Alfred Pick (?–1937)	Коллекционер курьёзных предметов, юрист (старший советник земельного суда). Сын автора «Песни кучера» Густава Пика.				Собирал старые театральные афиши, трости, перчатки, шляпы знаменитостей, начиная с императора Франца Иосифа и до местных известных лиц.

Более впечатляющими оказываются владельцы и сотрудники пивных и ресторанов, демонстрировавшие, помимо профессиональных навыков, особый стиль общения с посетителями (И. Лохнер, Х. Хорки), певческие данные (господи Бради), коллекционировавшие необычные предметы (трактора – Р. Бёк), общавшиеся со многими знаменитостями («Литературный официант»), придумывавшие и устраивавшие грандиозные публичные балы и увеселения (Ф. Лайхмайер). Особенным идиолектом отличался Х. Хорки, использовавший специальные диалектные обозначения для различных типов своих посетителей (Loungan, Spitzboat, Doukta Frdulein, Schwammerl).

Интересным случаем является включение в число оригиналов двух полицейских-регулировщиков, которым были присущи особенно выразительные жесты и сопроводительная диалектная лексика.

Напротив, не вызывают возражений причины, по которым венскими городскими оригиналами стали некоторые деловые люди, в частности, уличный книготорговец-фокусник Ранте-Потанте, прагматичная цветочница К. Фёлькль, единственная сутенёрша Вены В.Г. Кухвалек, которые обладали всеми четырьмя основными параметрами венского городского оригинала: броским внешним видом, запоминающимся идиолектом, уникальными идиокинемами и безусловной известностью в городе, хотя их репутация не всегда была безупречной. В то же время, большинство деловых людей и коллекционеры скорее заслуживают включения в группу венских знаменитостей, но признаками оригиналов они не обладают.

Четвёртый блок венских городских оригиналов представляет особенную ценность, поскольку основным его параметром является идиолект оригинала: это поэты и писатели (11 персон) (см. табл. 5).

Как следует из материалов табл. 2–4, поэтическое творчество было присуще и представителям других профессиональных групп оригиналов. Однако четвёртый блок включает профессиональных литераторов, занимавшихся написанием поэзии, прозы, сценариев и драматургических произведений в качестве основного занятия. Жанры создававшихся ими творений охватывали тексты популярных и патриотических песен, политические стихотворения на злобу дня, рифмованные загадки и шарады, лирические стихотворения на за-

каз, эротические рассказы, рифмовки-импровизации, ставшую австрийской классикой «литературу кофеен», «поэзию на клочках бумаги», сценарии ток-шоу, иными словами, широкий спектр популярной литературы. Следует отметить активное использование венского диалекта только в творчестве близких к народу «бытовых литераторов» (И. Бихльхофера, Ф. Заутера, Э. Фрайтаг-Вестхоф, Э. Меркта, К. Вальдрингера), в то время как писатели, претендовавшие на серьёзный статус, прибегали к языковому стандарту, хотя и с элементами диалекта (С. Грюнвальд-Церковиц, П. Альтенберг, Х.Л. Зееталер). Примечательно включение в группу оригиналов поэта и художника, не сотворившего ничего примечательного (Х.Ф. Культетера).

Следует в целом отметить, что анализ собранного материала обнаружил в нём существенные лакуны, несмотря на привлечения многочисленных дополнительных источников. Однако в целом он подтверждает характеристику венских оригиналов, данную им О.А. Радченко (городские оригиналы стали таковыми как «объекты публичного поклонения»), но не все они увековечены «в памятниках и других мемориальных формах», и не все венские городские оригиналы обладают той отличительной особенностью, которая включает «преимущественно трагическую окраску жизнеописаний, включающую сюжеты, которые связаны с нищенством, попрошайничеством, алкоголизмом, психическим и физическим нездоровьем» [Радченко 2020: 91].

Из обширного перечня венских оригиналов наибольший интерес вызывают обладатели писательского и поэтического талантов, поскольку результатом их усилий стали значимые тексты, не только вошедшие в фонд австрийской культуры, но и остающиеся важными компонентами интеллектуальной жизни венцев. К числу наиболее явных примет этих венских оригиналов можно отнести их склонность к псевдонимам и мистификациям, их острословие и в целом оригинальный идиолект, оказывающий постоянное прагматической воздействие на носителей австрийской лингвокультуры.

Таблица 5

Блок «Литературные оригиналы» и его характеристики

Фамилия, имя, годы жизни	Время, место и обстоятельства появления в качестве оригинала	Антураж	Идиолект (источники)	Идиокинемы	Перлокутемы
1. Поэты и писатели					
63. Фердинанд Заутер / Karl Willibald Ferdinand Johann Sauter (1804–1854)	1825 г., Вена Был учеником коммерсанта, в Вене работал в писчебумажном магазине, но потерял работу и бедствовал. Стал завсегдатаем пивной “Zur blauen Flasche”. Прославился как создатель политических, меланхоличных стихотворений.	Сломал ногу в 1839 г. и после этого постоянно хромал.	Политические стихотворения во время революции 1848 г. (“Geheime Polizei”). Ставшие знаменитыми его выражения: „Alleweil nobel Schani“, „Der Himmel voller Geigen“, „Verkaufts mei Gwand i bin im Himmel“.		Снискал популярность как народный поэт, писавший для простых людей.
64. Игнац Бихльхофер / Ignaz Bichlhofer (1811–1902)	Поэт, создатель народных танцевальных песен (Schnadahüpfl), чиновник Дунайской пароходной ком-				Сочинял и пел до самой кончины свои танцевальные песни, развлекал шутками и пением компании.

	пании				
65. Рудольф Шперлинг / Rudolf Sperling (1835–1917)	1860-е гг., Вена Немецко-австрийский писатель, поэт, изучал архитектуру и искусство в Берлине, эстетику и историю искусства и литературы в Цюрихе. Работал частным учителем, преподавал в женских школах, был редактором в различных журналах.	«Бодрый, подвижный, белобородый господин»	«Lieder des einsamen Spatzen»		«Rätseldoktor», псевдоним «Doktor Spätzlein», автор многочисленных загадок и шарад, особенно шахматных с использованием коня (Rösselsprünge), «классик раздела загадок вот уже тридцать лет» [Wiener Originale, Teil IX. S. 2].
66. Элизабет Фрайтаг-Вестхоф / Elisabeth Freytag-Westhof (1835–?)	1870-е гг., Вена «Женщина из ратуши» / Rathausweiberl «Последняя народная поэтесса Вены». Получила неплохое образование, осиротев, работала белошвейкой, затем стала писать стихи на заказ (написала сотни стихотворений).	«Бедная, морщинистая старая женщина, правая рука немного дрожит из-за неприятного происшествия, волосы белые, головной платок заплесневел, юбка латаная, а грубая ткань вокруг куртки лишь незначительно защищает от дождя и холода. На этом старом лице живут, од-	«Die Mutterliebe”, “Dragoner und sein Pferd“	Летом сидит под аркадами венской ратуши, вяжет и помогает писать письма неграмотным кухаркам и влюбленным служанкам. Своё прозвище получила от бургомистра К. Люгера.	Была чрезвычайно востребована как сочинительница стихотворений на заказ в 1870-е гг. и позже, но затем разорилась, потеряла жилье, ночевала в тавернах, кафе и на скамейках.

		нако, два свежих, умных глаза… Говорит милым, благозвучным голосом, с верным ударением, и левая рука активно двигается. Только правая не может» [Wiener Originale,Teil XVI. S. 2].			
67. Эдуард Меркт / Eduard Merkt (1852–1908)	1875 г. Вена, «народный поэт», автор слов для более 1000 венских песен. Начинал как официант в столовой, одновременно писал патриотические песни для венских исполнителей.	«Господин Меркт – это тип здорового, упитанного, юморного венского корчмаря. Здоровое, свежее, хорошего цвета лицо, белые усы и крепкие руки способствуют тому, что его никогда не принимают за поэта» [Wiener Originale, Teil X. S. 2].	Первая песня – «Da war´s a Freud´i Wean a Weana z´sein», затем «Wer da net aufdraht», «Die Arten der Liebe», «Aus Lieb' zum vierten Regiment», «Servus Schurl». Песни для Четвёртого пехотного полка (Deutschmeister-Lieder) Слова одной из песен: «Der Wein, der is mei Bruader, Mei Schwester is das Bier, I bin a großes Luader, Da kann i nix dafür. Bei der Gaude am Ruader Sag´i frei überhaps, Mei böse Schwiegermuada		Состоял в многочисленных обществах, его песни пели представители самых разных сословий. Организовал большое количество благотворительных мероприятий.

			Das is für mi der Schnaps» (Вино – это мой брат, моя сестра – это пиво. Я большая стерва, но ничего не могу с этим поделать. Во время веселья на вёслах я говорю всё, как есть. Моя злая свекровь – это шнапс).		
68. Сидония Грюнвальд-Церковиц / Sidonie Grьnwald-Zerkowitz (1852–1907)	1870-е гг. Вена Писательница, поэтесса, переводчица, дизайнер моды, руководитель школы языков и издательница журнала мод. Играла с Листом в четыре руки, когда училась у него. Создательница реформированного платья.	«Вилькириеподобная фигура», «победоносная красота»	Не принадлежит к признанным поэтам, просто пишет и пишет. Её эротические произведения „Gretchen von heute“, “Lieder einer Mormonin“ были запрещены в Австрии при её жизни. Высказывание: «Es gibt keine Uniform in der Frauenkleidung!» (В женской одежде нет униформы!)		«Вся Вена за ней наблюдает и говорит о ней, так как у неё собственные взгляды на людей, моду и поэзию» [Wiener Originale, Teil IV, S. 2].
69. Петер Альтенберг (настоящее имя – Рихард Энглендер) (1859–1919)	1890-е гг., Вена, затем Мюнхен и вновь Вена. Алкоголизм, нервные расстройства.		Классик «литературы кофеен», первый сборник небольших эскизов: «Wie ich es sehe», затем «Ashantee» (1897) и «Was der Tag mir zuträgt».		Постоянно пребывал в венских кофейнях, описывая жизнь города эпохи модерна
70. Франц Карл Вальдрингер / Franz Karl Waldringer	Хозяин пивной и поэт-импровизатор		Импровизация (G’stanzl) по случаю вручения ему премии города в связи с его зо-		«Только так сыплет из рукава своими стихами-импровизациями для

			лотой свадьбой: «Von der Gemeinde 50 Schilling das laЯ I mir gfalln. I hoff, I muss dafьr net Einkommenssteuer zahln» (50 шиллингов от города мне нравятся. Я надеюсь, что мне не придётся платить с них подоходный налог) [Weltpresse 1948: 2].		развлечения гостей его пивной на улице Нойлерхенфельдер-штрассе высмеивает не только события дня, но и самих гостей.
71. Хуберт Фабиан Культерер / Hans Fabian Kulterer (1938–2009)	Поэт и художник, представитель перформанса в изобразительном искусстве. Во время обучения в Венском университете общался в кафе «Гавелка» с художниками фантастического реализма и поэтами Венской группы. Не оставил никаких шедевров после себя.				Обычно спал в ванной, так как кровать служила ему местом хранения его книг. Скончался там же. Участвовал в большом количестве выставок, вернисажей, снялся в двух фильмах.
72. Хермес Феттберг / Hermes Phettberg (настоящее имя – Josef Fenz) (*1952)	Середина 1980 гг., Вена Автор, художник перформанса, писатель, модератор ток-шоу. Начинал как сотрудник банка,				Основал «Садомазохистскую инициативу Вены», проводил соответствующие перформансы в Вене. Вёл колонку в городской газете Вены

	получил теологическое образование. Неимущий. «Некоронованный король Вены», «пионер борьбы за тех, у кого ничего нет».				«Falter» в стиле католических проповедей. С 1994 по 1996 гг. провел 19 ток-шоу, благодаря которым стал очень известен в немецкоязычных странах. В 2002 г. получил премию Вены в области публицистики.
73. Хельмут Леопольд Зеталер / Helmut Leopold Seethaler (*1953)	«Поэзия на записках». Развешивал свои стихотворения на столбах, деревьях, заборах, стенах метро. Оставлял надписи на тротуарной плитке в общественных местах, около музеев и судов. За первые 43 года своей жизни он написал 11400 «стихотворений для сбора».		«Стихотворения для сбора» (Pflьckgedichte), занимают среднее положение между лирикой и афористикой. Его произведения: «An die kommenden Tage», Europaverlag, Wien 974, «Postkartenbuch», 1994, «Das Pflückbuch Nr. 1», Verlag Der Apfel, Wien 1995, «Texte für Denkende + gegen das Denk-Ende», Berlin, hochroth Verlag, 2017.		На него было подано 3300 заявлений о нанесении ущерба внешнему виду зданий, но в 1998 г. решением Верховного суда его публичное творчество было признано искусством, достойным защиты. В отличие от этого, его надписи на тротуаре были признаны нанесением ущерба, ему присуждены штрафы.

Выводы

1. Под венскими оригиналами в диссертации понимаются исторически засвидетельствованные жители Вены, как правило, с уникальными и отчасти эксцентричными внешностью и поведением, привлекавшими внимание широкой общественности и отражёнными в художественной литературе, биографических работах, публицистических исследованиях, архивных материалах и автобиографических текстах. Венские городские оригиналы представляют собой особый предмет исследования, требующий выхода за пределы традиционной лингвоперсонологии.

2. Городские оригиналы обладают официальным статусом, присваиваемым им как локальным знаменитостям и зафиксированным в справочниках, энциклопедиях и официальных порталах европейских городов. Оригиналы – это исключительно исторические личности, реально существовавшие и оставившие после себя воспоминания, литературные произведения, анекдоты, яркие высказывания либо оставшиеся в письменных воспоминаниях современников.

3. Для проведения анализа лингвокультурной группы венских городских оригиналов целесообразно обратиться к методам и инструментам лингвопотретистики как особого интегрального направления в отечественной лингвокультурологии. Лингвопортретистика представляет собой исследование реальных значимых носителей этнокультур с их судьбами и особенностями, предшествующее лингвоперсонологии в ее классическом понимании.

4. Отличия в подходах лингвопортретистики и лингвоперсонологии определяются, прежде всего, диссипативным характером лингвокультурных групп, являющихся основным предметов лингвопортетистики. Такие группы составляют совершенно разные реальные личности, объединяемые только общим «зонтичным брендом». Их нельзя рассматривать как некий типаж ввиду уникального набора их качеств и уникальной судьбы. Важно также указать не только на идиоэтничность таких групп, но и на уникальную хронотопическую привязку как их важнейшую характеристику. Напротив, науч-

ные работы, выполняемые в рамках лингвоперсонологии, обращены на конструирование лингвокультурного типажа как в значительной мере клишированной языковой личности, подчиняющуюся определенным правилам и запретам, коллективной языковой личности представленной типичными носителями данной социальной идентичности в изображении мастеров слова. Кроме того, существенна принадлежность маргинальной (экстериальной) и вульгарной языковой личности, признаками которых являются различные социальные, речевые (и, возможно, психические) девиации, к периферии лингвоперсонологических исследований, в то время как они оказываются в центре внимания, в частности, в рамках изучения городских оригиналов.

5. Отличие лингвопортретистики от традиционного речевого портретирования заключаются в том, что последнее концентрируется в первую очередь на речевой специфике конкретного изучаемого лица или персонажа литературного произведения, в то время как лингвопортретистика также учитывает целый ряд экстралингвистических параметров при исследовании реальных носителей лингвокультур.

6. Исследование столь особенной лингвокультурной группы базируется на сохранившихся произведениях венских оригиналов, посвящённой им мемуарной литературе, публикациях лингвистов, культурологов, специалистов по истории Вены, а также статьях в венской и в целом австрийской прессе. Сведения о современных оригиналах также зафиксированы и сохранены в виде аудио- и видеоматериалов как памятники интеллектуальной истории Австрии. Важным источником информации также являются энциклопедические издания и интернет-сайты, хотя общепризнанного, канонического перечня венских оригиналов не существует. В диссертации предпринята попытка установить такой существенно уточнённый, по сравнению с различными интернет-каталогами, перечень из 73 персоналий, объединённых в 12 групп и четыре блока по их социальному или профессиональному статусу.

7. Создание лингвокультурного портрета следует индуктивному принципу – от конкретных личностей к крайне осторожным выводам общего ха-

рактера. В этой связи в рамках диссертации проводится граница между городскими оригиналами, с одной стороны, и нестандартными личностями и литературными персонажами (юродивыми, чудаками, дураками, шутами и пр.), с другой. Речь идёт о европейских оригиналах как лингвокультурном явлении особого рода.

8.Описание венских городских оригиналов осуществлялось с учётом четырёх базовых параметров: антуража (внешних особенностей, манеры одеваться), идиолекта (реального языкового и речевого репертуара городских оригиналов), идиокинем (специфичного поведения), перлокутем (специфического воздействия на локальное сообщество, ставшее причиной наделения конкретной личности статусом оригинала). В процессе рассмотрения выделенных групп оригиналов были установлены отличия между ними, с точки зрения полноты и валидности информации по каждому из параметров.

Особенную ценность для диссертационного исследования представляет четвёртый блок венских городских оригиналов (поэты и писатели), поскольку основным его параметром является идиолект оригинала. Жанры создававшихся ими творений охватывают тексты популярных и патриотических песен, политические стихотворения на злобу дня, рифмованные загадки и шарады, лирические стихотворения на заказ, эротические рассказы, рифмовки-импровизации, ставшую австрийской классикой «литературу кофеен», «поэзию на клочках бумаги», сценарии ток-шоу. Следует отметить активное использование венского диалекта только в творчестве близких к народу «бытовых литераторов», в то время как писатели, претендовавшие на серьёзный статус, прибегали к языковому стандарту, хотя и с элементами диалекта. Результатом их усилий стали значимые тексты, не только вошедшие в фонд австрийской культуры, но и остающиеся важными компонентами интеллектуальной жизни венцев, оказывающими постоянное прагматической воздействие на носителей австрийской лингвокультуры

Глава 2. ЛИНГВОПОРТРЕТИСТИКА И КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ: ВЕНСКИЕ ОРИГИНАЛЫ И ИХ ДИСКУРСЫ

2.1. Афористический дискурс как хранитель и медиум культурной памяти

Исследование венских оригиналов как лингвокультурного феномена в рамках лингвопортретистики выдвигает на первый план вопрос о релевантном материале, позволяющем полноценно описать роль и сохраняющееся присутствие венских оригиналов в культурной памяти жителей Вены и австрийцев в целом.

Прежде всего, целесообразно обратиться к дефинициям термина «культурная память», являющегося ключевым для определения места и роли венских оригиналов не только в городской культуре Вены, но и в целом в австрийской этнокультуре.

Культурная память как один из базовых терминов направления memory studies приобрела популярность в научных исследованиях на рубеже XX и XXI столетий, наряду с исторической, социальной, публичной, приватной, автобиографической и иными видами индивидуальной и надындивидуальной памяти, и остаётся востребованной и поныне. Её трактуют как тип коллективной памяти, «аккумулирующий в себе коллективные, ценностно значимые воспоминания, намеренно сохраняемые и транслируемые в мифосимволических формах», «коллективный по источнику формирования и социальный по специфике распространения» [Ярычев 2022]; это своего рода «культурная мнемотехника, цель которой заключается в порождении и поддержании несовременности» [Ассман 2004: 23]. Она образует основу всякой этнокультурной идентичности (см. [Ирисметов 2020]). Отечественные учёные полагают, что наиболее продуктивным исследование культурной памяти оказалось в рамках социологии, теории исторического знания и психологии [Буллер, Линченко 2019: 5].

Существенными качествами культурной памяти исследователи считают её консервирующий характер (поскольку она сохраняет важные для сообщества воспоминания о прошлых событиях и личностях), коллективизм (ибо она консолидирует ценностные установки различных социальных групп), символичность (культурная память как совокупность обобщённых конструктов), иррациональность (значимые события получают эмоциональное, далёкое от строгой логики объяснение), письменный характер (поскольку именно письменность позволяет сохранить культурную память для её передачи следующим поколениям), искусственность (ибо её конструируют «различные общественные, государственные, политические силы»), институциональный характер (культурная память поддерживается различными организациями, ведомствами и учреждениями), экспертность (конструирование культурной памяти осуществляют экспертные сообщества, но не все носители культуры), сакральность (к культурной памяти апеллируют в рамках ритуального возвращения к истокам), целенаправленность, многоуровневость, связь с актуальными процессами и ценностями, репрезентацию при помощи мемориальных медиумов (музеев, образования, искусства и пр.), коммуникативный характер (см. [Буллер, Линченко 2019; [Ярычев 2022]).

Если проецировать эти качества культурной памяти на ситуацию с оригиналами, то далеко не все упоминаемые параметры оказываются существенными или вообще валидными при определении соотношения памяти как коллективного культурного феномена и лингвокультурного явления «венские городские оригиналы» как её компонента. В качестве базового атрибута культурной памяти следовало бы выдвинуть на первое место её *идиоэтнический характер*, поскольку она непременно привязана к конкретному языковому и культурному сообществу, опирается на уникальные ценности и не менее уникальную культурную историю этого сообщества и не может рассматриваться в отрыве от него. Не вызывают сомнения в этой связи коллективизм, консервирующая миссия, определённая иррациональность культурной памяти, хотя в случае с венскими оригиналами их возведение в этот ранг

не всегда связано с лишёнными всякой логики порывами. Оно может основываться на вполне рациональном признании их особых заслуг перед жителями Вены и страны в целом (особенно если обратиться к венским оригиналам из числа представителей профессиональных групп). Иррациональность наблюдается лишь в тех случаях, когда венскими оригиналами становятся противоречивые личности, экстравагантные персоналии, вызывающие одновременно не просто одобрение или порицание, но чрезвычайно обширную палитру эмоциональных реакций.

Достаточно сложно вписать культурную память о венских оригиналах в рамки большинства прочих параметров: так, оригиналов в целом и каждого в отдельности нельзя считать обобщёнными конструктами, обращение к ним не носит сакрального характера (исследователями постоянно подчёркивается развлекательность как одна из важнейших характеристик венского оригинала), над созданием имиджа оригиналов не трудятся целенаправленно институты, государственные службы и эксперты (поскольку этот статус оригиналы приобретают в общественном мнении, что лишь постфактум закрепляется в научных и публицистических трудах, литературных произведениях и прочих «мемориальных медиумах, чрезвычайно разнообразных и представляющих информацию об оригиналах в различных объёмах и с разной степенью верифицируемости).

Достаточно проблематично приписать культурной памяти о венских городских оригиналах исключительно письменный характер, так как их репутация, на первый взгляд, складывается поначалу на основе «городской молвы», выглядит как концентрация устных текстов (анекдотов, пересказываемых и комментируемых устных высказываний, импровизаций, новостей и пр.), которые уже на втором этапе получают письменную фиксацию. Однако в целом ряде случаев с оригиналами из профессиональных групп первоисточником «городской молвы» нередко являются журналисты, присваивающие той или иной известной персоналии статус венского оригинала (как, к примеру, «A.D.-G.», автор серии статей об оригиналах, опубликованных в «Новом венском журнале» в 1904–1906 гг.). Как продемонстрировал анализ

биографических публикаций в главе первой, доводы и аргументы «создателей оригиналов» не всегда убедительны, но также верно то, что при выборе кандидатов авторы статей о них принимают во внимание их реальную значимость и известность в Вене.

Письменный характер культурной памяти оказывается первостепенным фактором, когда речь идёт о венских оригиналах, одарённых талантом слова, представителях творческой интеллигенции, писателях и поэтах. Именно их творчество позволяет выделить в качестве компонента культурной памяти *афоризмы,* образующие основу для сохранения влияния этих оригиналов на интеллектуальную атмосферу австрийской столицы, несмотря на то, что их уход из жизни порой отделяют от нашего времени многие десятилетия.

Говоря о важности афористики как одного из ярких результатов деятельности венских оригиналов, следует отдать должное мнению Н.А. Карлик, отмечавшей «неоднозначность интерпретаций афористики в современной лингвистике» и выделявшей, со своей стороны, в качестве релевантных параметров малых текстов афористического типа их *законченность, образность, оценочность и прагматическую направленность*, а также *конденсирование опыта до универсалий* и его *обратное развертывание* до множества частных примеров, равных количеству реципиентов [Карлик 2013: 5]. Особый интерес у учёного вызывает *суггестивность* афористического, малоформатного текста, который «представляет собой не только ёмкую форму для воплощения сентенционного свидетельства о бытии, но и сам является структурой, порождающей афористическую сентенцию, восходящую к языковым и суггестивным планам человеческого сознания» [Карлик 2013: 4].

Известная исследовательница афористики И.А. Наличникова отмечала в своей диссертации важность учета *парадоксальности*, которую она понимает как «способность языковой личности афориста соотносить различные структуры знаний, неожиданным образом и намеренно нарушая привычные связи, ценностные стереотипы и ожидания адресата», а также как «способность адресата, интерпретирующего афоризм, понять и принять авторские

интенции» [Наличникова 2010: 5]. Это объясняет и базовую дефиницию афоризма, предлагаемую ей в связи с исследуемым материалом как «острое, обобщённое и мудрое авторское высказывание (часто парадоксальное и иногда комическое), содержащее опыт и рассуждения, вскрывающее необыкновенную сторону обычного и побуждающее к рефлексии» [Наличникова 2010: 6]. Отталкиваясь от этой трактовки, она предлагает в качестве основных признаков афористичности малого текста *авторство, априорность, необходимость домысливания, парадоксальность, краткость, законченность, субъективность и экспрессивность* [Наличникова 2010: 6].

Подобные перечни можно было бы продолжить с учетом значительного разброса мнений относительно того, какой тип текста считать афоризмом. Это подтверждает обширный каталог дефиниций афоризма в статье И.Ю. Яковлевой, сопоставление и обобщение которых позволили автору выделить ядерные параметры *краткости, завершенности, глубины мысли, нетривиальности, наличия автора,* а также периферийные параметры *философичности, дефинитивности, генерализованного характера семантических категорий.* Совокупность этих параметров позволяет, по её мнению, «свидетельствовать о том, что перед нами *собственно афоризмы»* [Яковлева 2015: 734–735].

То, что и данный перечень не окончателен, доказывает исследование Е.Н. Антоновой, в итоге которого выявлены следующие признаки афористических единиц: *лаконичность, широта распространения, оригинальность внешней и внутренней формы, структурная закономерность, выразительность, цельнооформленность, устойчивость семантики, отражающей вековой опыт и народную мудрость* [Антонова 2020: 7]. Очевидно, не все эти и прочие выделенные выше параметры приложимы ко всем видам и типам афоризмов. Следует отметить, что классификаций афоризмов не меньше, чем попыток перечислить все их характеристики. Если относить к афористическим текстам афоризмы, созданные реальными лицами, – писателями, поэтами, журналистами, то из указанных Е.Н. Антоновой признаков могут оказаться не вполне приложимыми к таким афоризмам *лаконичность* (прежде всего, постулируемое ограничение

афоризма тремя предложениями), *цельнооформленность* (поскольку нередко речь идёт о цитатах, взятых из литературных произведений и бытующих вследствие этого в неких более широких контекстах), а также *отражение векового опыта* и *народной мудрости* (так как в данном случае мы сталкиваемся с отражением индивидуального опыта творческой личности, вовсе не обязательно совпадающего с неким общенациональным стандартом).

Необязательными атрибутами авторских афоризмов могут оказаться *необходимость домысливать* (ибо, как правило, авторы пытаются доходчиво донести свои мысли до широких масс), *парадоксальность* (хотя некоторые афоризмы могут содержать её элементы), в то время как прочие вышеупомянутые параметры могут в различных комбинациях определять специфику афористичности того или иного автора. Не все параметры поддаются при этом объективному измерению, к примеру, суггестивность афоризма, однако мы можем вполне принять за таковую факт присутствия афоризма в культурной памяти языкового сообщества, поскольку только этим можно объяснить передачу афористического наследия из поколения в поколение.

С позиции сопоставительной лингвокультурологии важными параметрами афоризмов оказываются способность передавать определённые культурные ценности, эмоциональный резонанс, авторитетность, запоминаемость и наличие авторства [Юй 2023]. Эти параметры можно отнести лишь к кратким общеизвестным авторским афоризмам, в то время как пространные афоризмы вряд ли могут претендовать на такой набор признаков, за исключением, пожалуй, эмоционального резонанса.

Отсутствие жёсткой регламентации касается и структурных закономерностей, в числе которых, к примеру, называются дефинитивная, атрибутивная, императивная, футуративная, интеррогативная, рифмо-ритмическая и развернутая модели построения афоризмов, их бинарная структура, логические модели конъюнкции, дизъюнкции, отрицания, импликации и пр. [Наличникова 2010: 4, 11]. Столь пёстрый набор моделей не может не привести к мысли о том, что *авторские афоризмы нереккуррентны*.

Е.Е. Иванов справедливо отмечает в этой связи, что «нереккурентными… являются все афористические высказывания, на механизм порождения которых в речи не накладывается никаких внутриязыковых и дискурсивных ограничений, кроме требований нормы. Возможное повторение таких афоризмов в индивидуальных актах речи может носить только случайный характер», что объясняет функционирование конкретного афористического высказывания как автономного текста либо элемента неафористического текста [Иванов 2016: 99]. Именно последний случай – извлечение афоризма из неафористического текста – автор рассматривает как наиболее частотный случай, так что «подавляющее большинство словарей и сборников афоризмов более чем на 90 % состоят именно из единиц, извлеченных из литературных текстов разных жанров» [Иванов 2022: 910] (см. также [Иванов 2020]).

Анализируя многочисленные попытки охватить смысл и описать параметры афористических текстов, приходится согласиться с констатацией, сделанной лингвистами ещё семь лет назад: «Остаются нерешёнными не только дефиниционный аспект афоризма, иерархия его отличительных признаков, но и такой аспект, как возможность афористического дискурса быть средством отражения ментальности, проникновения в сущность языковой картины мира афориста, а при сравнении двух афористических дискурсов, принадлежащих разным культурам, увидеть в этой диаде общее и специфическое отражение информации о постигнутой действительности» [Тарасенко 2017: 171]. Совершенно точно выразила эту идею в своей диссертации Е.А. Рыбина, продвигавшая «необходимость гибкого подхода к описанию афоризмов, а именно представлению их в терминах диффузной категории с незамкнутыми границами и отказа от жесткого противопоставления сходным единицам» [Рыбина 2006: 8]. В качестве решения проблемы она предложила рассматривать афоризмы с точки зрения поля, в ядро которого она помещает «авторские предикативные высказывания нетривиального обобщенного содержания, закрепившиеся в сознании носителей языка как единицы, обладающие относительно высокой степенью устойчивости и цитируемости, зафиксированные в

соответствующих словарях и не требующие контекста для понимания», а на периферию – «афоризмы, близкие к цитатам, либо пословицам, которые могут в большей степени зависеть от материнского контекста, обладать низкой степенью устойчивости и относительно редкой, вплоть до единичной, встречаемостью» [Там же].

В рамках лингвокультурологического анализа афористических текстов венских оригиналов целесообразно придерживаться исследовательского оптимизма, поскольку речь идёт не об обобщениях типа «ментальности нации», а конкретных результатах мыслительной деятельности ярких представителей данной культуры, оказавших и продолжающих оказывать своё воздействие на её носителей.

Афоризмы не существуют в культурном пространстве в изолированном состоянии, они являются порождением талантливой языковой личности, которая трактуется как «закреплённый в языковом сознании национально-культурный прототип носителя определённого языка и ментальности, представляющий собой совокупность социальных, психологических, эмоциональных, прагматических характеристик, реконструированный на основе созданных им афористических текстов, а также характеризующийся умением по-особому взглянуть на определённую ситуацию и вербализовать её в афористичной (часто парадоксальной) форме» [Наличникова 2010: 7]. Отличительными качествами типичного афориста можно считать остроумие и острословие, ассоциативный талант, привлечение отдалённых ассоциируемых понятий, склонность к критике, яркую прагматическую компетенцию [Наличникова 2010: 8]. Естественным качеством афориста можно также считать направленность на конкретные интересующие именно его темы, что объясняет бесконечное тематическое разнообразие афористики в мировой культуре.

На творчество афориста-писателя вполне возможно распространить те характеристики, которые выделены В.К. Харченко в ходе её многолетних наблюдений за эволюцией разговорного креатива. В частности, она отмечает

«творческое начало, эвристичность, противостояние автоматизму, банальности», которые присущи материалу «высказываний и реплик диалогов в спонтанном речевом общении» как единому, цельному и целостному, синтезированному объекту, важному для исследования коллоквиального креатива [Харченко 2012: 147]. Рассматривая афористику как сферу сознательного творчества, отличную от спонтанного разговорного креатива, можно, тем не менее и в ней обнаружить целеполагание, инструментализацию и признаковость, которые В.К. Харченко использует для выделения трёх соответствующих уровней «креатива разговорного дискурса».

Так, целеполагающий уровень афористики отражает, по её мнению, следующие особенности [Харченко 2012: 150–153]:

– позитивность («интуитивный, не всегда даже осознаваемый протест речевому негативу», например, путём включения креативных диминутивов, хотя в случае с венскими оригиналами этот протест может выступать в облачении венского диалекта, а вовсе не непременно с использованием литературно-разговорного регистра);

– перцепцию («преодоление недооценки языка тела по сравнению с языком когниций и эмоций», к примеру, пробуждение в памяти прежних тактильных ощущений, запахов, вкусов и пр.);

– прегнантность (насыщенную образность, использование метафор);

– парадоксальность («альтернативу логики, «примитива», постулат свежести мысли»);

– полидискурсивность («апелляцию к наработкам других дискурсов», в частности, беллетристического, к примеру, посредством цитирования);

– пассионарность («вызов самому себе, аутовоздействие, например, через риторический вопрос»);

– прагматику.

Этому уровню подчинен инструментальный, содержание которого составляют различные приемы и хитрости речевого креатива. С их помощью

реализуются такие его признаки, как экспрессия, эмоциональность, эвристичность (оригинальная парадоксальность афоризма, «результат оригинального, афористического прочтения ситуации, помогающего преодолевать аналогичные ситуации»), эгоцентризм («подчинённость речи сиюминутным интересам говорящего»), эквифинальность (применение стертых креативов), этикетность («проявление вежливости по отношению к окружающим») и эффективность («Все цели и все средства задействованы постольку, поскольку они эффективны для нужд социума») [Харченко 2012: 161–163]. Из этих признаков три последних, по всей видимости, отступают далеко на второй план в венской авторской афористике, поскольку она избегает банального повторения чужих находок, нередко приобретает характер едкой социальной критики и позволяет писателю высветить свою башню из слоновой кости, вступить на подиум, возвышающий его над толпой.

Думается, что наиболее важным результатом деятельности афориста в контексте его культурного влияния становится **афористический дискурс, представляющий собой особое ментальное пространство, зафиксированное в малоформатных текстах и отражающее интеллектуальную деятельность творческой личности по критической переработке собственного и иного опыта восприятия действительности и бытия в ней**. Вместе с тем в представлении этого опыта в виде афоризма заложено определенное противоречие, на которое обращает внимание Е.Е. Иванов: «Текстовая форма афоризма квалифицируется как один из его собственно лингвистических признаков…, поэтому разграничение афоризма как отдельного текста и как части (компонента) иного текста, пусть даже самого малого, имеет в данном случае принципиальное значение. Свойство афоризма порождаться и функционировать в разных видах дискурса в качестве отдельного текста обусловлено ещё одним его признаком – дискурсивной автономностью…, которая присуща всем без исключения афоризмам (как текстам, так и элементам других текстов)» [Иванов 2022: 909]. Тем самым афоризмы способны самостоятельно формировать интеллектуальный дискурс автора либо участвовать в

созидании более широкого, неафористического контекста. В этой связи изучение афоризмов позволяет определить их функции, смысл использования в конкретных типах дискурса. Так, Г.А. Набиуллина выделяет на материале татарских афоризмов 5 основных функций афоризмов внутри художественного дискурса: охарактеризовать качества, интеллектуальный и социальный статус героев; описать связанное с ними событие; повысить выразительность речи персонажей; служить намёком на качество героя или историческую ситуацию; придать тексту пародийный, юмористический, иронический или саркастический характер [Набиуллина 2009: 3].

Однако для целей нашего исследования особое значение приобретает именно дискурсивная автономность афоризмов, и такой автономный афористический дискурс может приобретать различные форматы репрезентации, к примеру, алфавитный, энциклопедический, монографический, генетический, тематический и электронный [см. Наличникова 2010: 4].

Наиболее информативным, с точки зрения лингвокультурной релевантности, из этих форматов можно считать тематический, поскольку в нём возможно выявить тематические блоки, семантические группы, фреймы и слоты, отражающие те или иные интересы афориста, его склонности, черты характера, слабости и недостатки – особенности личности, которые, к примеру, могут существенно дополнить общий портрет венского оригинала и уточнить причины причисления афориста к этой категории культурно-значимых личностей эпохи.

Распределение афоризмов по тематическим группам представляет собой, однако, непростую задачу. Так, И.А. Наличникова отмечает относительно собственных попыток исследовать тематическое распределение афоризмов в конкретном сборнике следующее: «Тематическая классификация позволяет отвлечься от многих необязательных (чисто внешних) элементов афоризма и обратить внимание на более существенное в нём. Однако и эта система не лишена ряда серьёзных недостатков. Во-первых, хотя в афоризмах редко используется переносное значение, бывают случаи многотемности

афоризма, и поэтому они не могут быть «втиснуты» в рамки одной узкой темы. Во-вторых, все предметно-тематические классы, предлагаемые составителями, взаимно перекрещиваются и поэтому не дают (и не могут дать) однозначного решения. Потому один и тот же афоризм как в одном сборнике, так и в разных сборниках может встречаться в различных тематических разделах. И, наконец, в-третьих, сама разбивка на тематические группы весьма произвольна и каждым исследователем и составителем сборника решается по-своему» [Наличникова 2010: 8]. Очевидно, что для установления тематической доминанты афоризма необходимы какие-либо семантические ориентиры, позволяющие объективировать суждение о ней.

Выявление этой доминанты может проводиться дедуктивным путем, когда исследователь в результате первичного анализа материала формулирует общие категории классификации, а уже затем стремится разбить их на подгруппы с опорой на семантические особенности изучаемых афоризмов. Таким способом воспользовалась И.А. Наличникова, установив семь тематических блоков в процессе исследования 2000 афоризмов известных немецкоязычных писателей, поэтов и философов (в том числе К. Тухольского, К. Крауза, А. Шницлера и пр.). Материал извлекался из двенадцати словарей и сборников афоризмов, а также из пяти электронных сборников. В итоге ей удалось определить такие тематические блоки, как «Человеческие слабости и достоинства», «Философская тематика», «Политика», «Отношение к противоположному полу и браку», «Литература», «Религия», «Личность автора» [Наличникова 2010: 8-9]. Представляется, что знание особенностей эпохи позволяет устанавливать подобные тематические блоки априорно, чтобы затем разделить их на более дробные группы с опорой на эмпирический материал.

Противоположным, индуктивным, методом воспользовались Т.П. Тарасенко и М.А. Величко, изучая когнитивно-прагматические особенности афоризмов В. И. Даля и С. Джонсона. Для этой цели они привлекли корпус из более 200 афоризмов каждого автора, проанализировали каждую текстовую группу отдельно с целью выявить в них фреймы и слоты, типичные для данного автора,

и в итоге осуществили сопоставительный анализ фреймовой структуры афористического дискурса, сформированного двумя выдающимися лексикографами.

Правда, точкой отсчета послужила для них научная специализация афористов: «Поскольку речь идёт об афористическом дискурсе языковедов, писателей с мировыми именами, рассмотрим фрейм «Язык» в разноязычных дискурсах. Дадим характеристику слотам, которые содержит этот фрейм, связанный с профессиональной деятельностью учёных» [Тарасенко, Величко 2017: 172]. Внутри постулируемого фрейма были установлены специфические для каждого афориста слоты: у В.И. Даля – «Язык и народ», «Проблемы русского языка», «Язык и мышление», «Язык – отражение принадлежности к народу»; у С. Джонсона – «Язык и мышление» и «Язык – живое явление» [Тарасенко, Величко 2017: 173].

Представляется, что сопоставительный аспект данного исследования позволяет сочетать дедуктивный и индуктивный подходы к анализу материала, однако индуктивный метод всё же превалирует. Этот исследовательский путь следует рассматривать как оптимальный для рассмотрения корпуса афоризмов венских оригиналов-писателей. В качестве этапов анализа полезными представляются четыре: биографическая справка, статистический анализ, функциональный анализ, контент-анализ с опорой на фреймовую методику.

2.2. Афористический дискурс П. Альтенберга

Показательным примером влияния одарённой личности на этнокультуру является афористическое наследие венского оригинала Петера Альтенберга (настоящее имя – Рихард Энглендер) (1859–1919). Интерес и талант к созданию афоризмов тесно связаны с биографией этого оригинала (см. также п. 69 табл. 5 в главе первой).

Родившийся в семье обеспеченного еврейского коммерсанта и получивший хорошее буржуазное воспитание и образование, Рихард Энглендер неудачно пытался стать юристом, медиком и книготорговцем, а затем был

признан врачами неспособным к какой-либо карьере в силу психической неустойчивости. Это подтолкнуло его к богемной жизни, регулярному общению с творческими личностями в венских кафе и превратило его в известного аутсайдера без постоянного места жительства, любителя горячительных напитков, увлекавшегося таблетками и регулярно с 1909 г. попадавшего в различные венские санатории.

Вместе с тем с 1894 г. он неустанно писал и публиковал статьи, прозаические очерки, романы и стихотворения в прозе, а в 1896 г. принял псевдоним «Петер Альтенберг», соединив имя одного из персонажей его романа с местом проживания его семьи. Известная исследовательница биографии и творчества Альтенберга Эвелина Потль-Хайнцль отмечала в качестве характерных особенностей этого оригинала «поэтическую насыщенность» его литературных текстов, склонность к преображению и «выхолощенному гимноподобному пафосу», в особенности при восторженном описании женского пола, и склонность к поучениям и наставлениям [Potl-Heinzl 2011: 53]. Несколько иную характеристику дал Альтенбергу его современник Р. Штайнер: «То, что больше всего интересует человека, погруженного в вечную гармонию мира, кажется ему чуждым. Он поэтически преображает мелкое, незначительное, то, что живет на поверхности вещей. Он неприемлем для философских натур. Ему нечего им сказать. Для них то, о чем он говорит, даже не существует. Для них это случайное, никчёмное, которое их не касается. Свет "вечных идей" не проникает в глаза Альтенберга. Но невечное, случайное сияет под его пером, как в устах Платона "вечные идеи"» [Steiner 1897: 186]. В итоге в изображении Штайнера поэт предстаёт как «комедиант души», кокетливый автор, лишённый «костного остова» духа.

Совершенно иначе оценивали Альтенберга его современники, состоявшие с ним в творческой переписке. Алиса Пильцер писала ему 1 августа 1918 г.: «Однажды я решила, что должна рассказать Вам о том, скажем так, фанатичном восхищении, которое я испытываю перед Вашим гением. Я цитирую Ваши афоризмы, я проповедую их повсюду, но я также живу по ним,

что гораздо важнее. Меня также иногда высмеивают из-за Вас, но я знаю, что это имбецилы, tant pis pour eux. Ибо дела Ваши живут и будут вечно провозглашать свои истины, и, к сожалению, слава Богу, я Вам для этого не нужна» [Barker, Lensing 1995: 45–46]. Макс Брод в своей рецензии «Сказок жизни» отмечал: «Насмешливо-примирительные афоризмы, незлобивый Ницше появляются в странных пересечениях, которые трудно распутать. И хотя всё это не поддаётся теоретическому анализу, оно выглядит свежо и со всей жизненной простотой, представляя факт жизни как самый личный стиль, такой реальный, такой уникальный и точно очерченный со всех сторон. Стиль Альтенберга стал частью нашей культуры, прекрасным нюансом, который нельзя обойти стороной ради собственного удовольствия» [Barker, Lensing 1995: 284]. Теодор Адорно писал в своём отзыве о посмертном издании книг Альтенберга, предпринятом Карлом Краузом в издательстве «Антон Шролль»: «У Альтенберга афоризм, впечатление и эскиз представляют собой со всем своим обликом частного и всем частным, даже эстетическим обликом как физический, жёсткий, отнюдь не нежный черновик будущего. Со временем эти произведения изменятся до основания. То, что сегодня кажется нам фальшивой нежностью, отпадет от подлинной твёрдости, как шутовская маска; нюанс превратится в точную реализацию; поза окажется пародийным намёком на реальные жесты, а выделение в тексте, дезавуирующее художника души, станет разборчивым аляповатым плакатом, благотворно прорывающимся сквозь монологический текст поэта» [Barker, Lensing 1995: 315].

К этому можно добавить и ярко выраженный афористический характер его творчества, отраженный, в том числе в материалах посвященных ему интернет-порталов (см. [Peter Altenberg s.a.]) и сборниках австрийских афоризмов, в которые неизменно включают высказывания этого венского оригинала (см. [Zeller-Zellenberg, Skupy 1983] и др.).

В нашей стране литературное творчество П. Альтенберга представлено многочисленными переводами его эссе и романов на русский язык, а также исследованиями его поэтики [Хвостов 2005], прозаических произведений в

рамках венского импрессионизма [Маркина 2000]. Оно также освещается в научных статьях и учебных изданиях, посвященных истории австрийской литературы XIX–XX вв. Однако в данной диссертации основное внимание уделяется именно тому культурному следу, который оставил венский оригинал в виде афористических высказываний, как изолированных, так и включённых в его художественные тексты.

Обращаясь к форме, избранной Альтенбергом для своих афоризмов, важно исследовать превалирующий стиль его текстов (субстантивный, вербальный, адъективный и пр.), определить степень доступности его языка для целевой группы (венской публики), выделить предпочитавшиеся автором средства выражения мысли. Это позволяет выявить **статистический анализ** совокупного текста (макротекста), составленного из наиболее популярных и ярких афоризмов П. Альтенберга. Привлечённый для этого эмпирический материал, размещённый в виде сплошного списка на сайте афоризмов [Peter Altenberg s.a.] и в сборниках ([Barker, Lensing 1995; Altenberg 2012], не является исчерпывающим, однако отражает наиболее известные афоризмы П. Альтенберга, что само по себе позволяет судить о тех сферах жизни, которые представлялись ему достойными осмысления.

Для проведения статистического анализа привлекались инструменты сайта wortliga.de/textanalyse, предназначенного для количественных подсчётов единиц, использованных в немецкоязычных текстах, а также для определения их соответствия Европейским уровням владения языком (CEFR). Последнее обстоятельство представляется чрезвычайно важным, поскольку выявление соответствия языковой материи текста определённому уровню владения немецким языком может послужить критерием для степени доходчивости, понятности, интеллигибельности афоризмов с точки зрения современного носителя немецкого языка. Это послужит доводом в пользу сохраняющейся у него возможности знакомиться с наследием венского оригинала без необходимости обращения к справочникам или энциклопедиям.

Результаты статистической обработки макротекста, представленные на рис. 1, свидетельствуют о высокой степени доступности исследуемой афористики для современного читателя: установленный уровень текста – B1, степень сложности для чтения с пониманием (Lesbarkeit) невысокая – 79 из 100 баллов, индекс удобочитаемости Флеша-Кинкейда – 69, что соответствует понятности для школьников 13–15 лет. Как представляется, это подразумевает ещё бóльшую интеллигибельность макротекста для венцев-современников Альтенберга, поскольку современному читателю могут быть неизвестны нюансы духовной ситуации того времени.

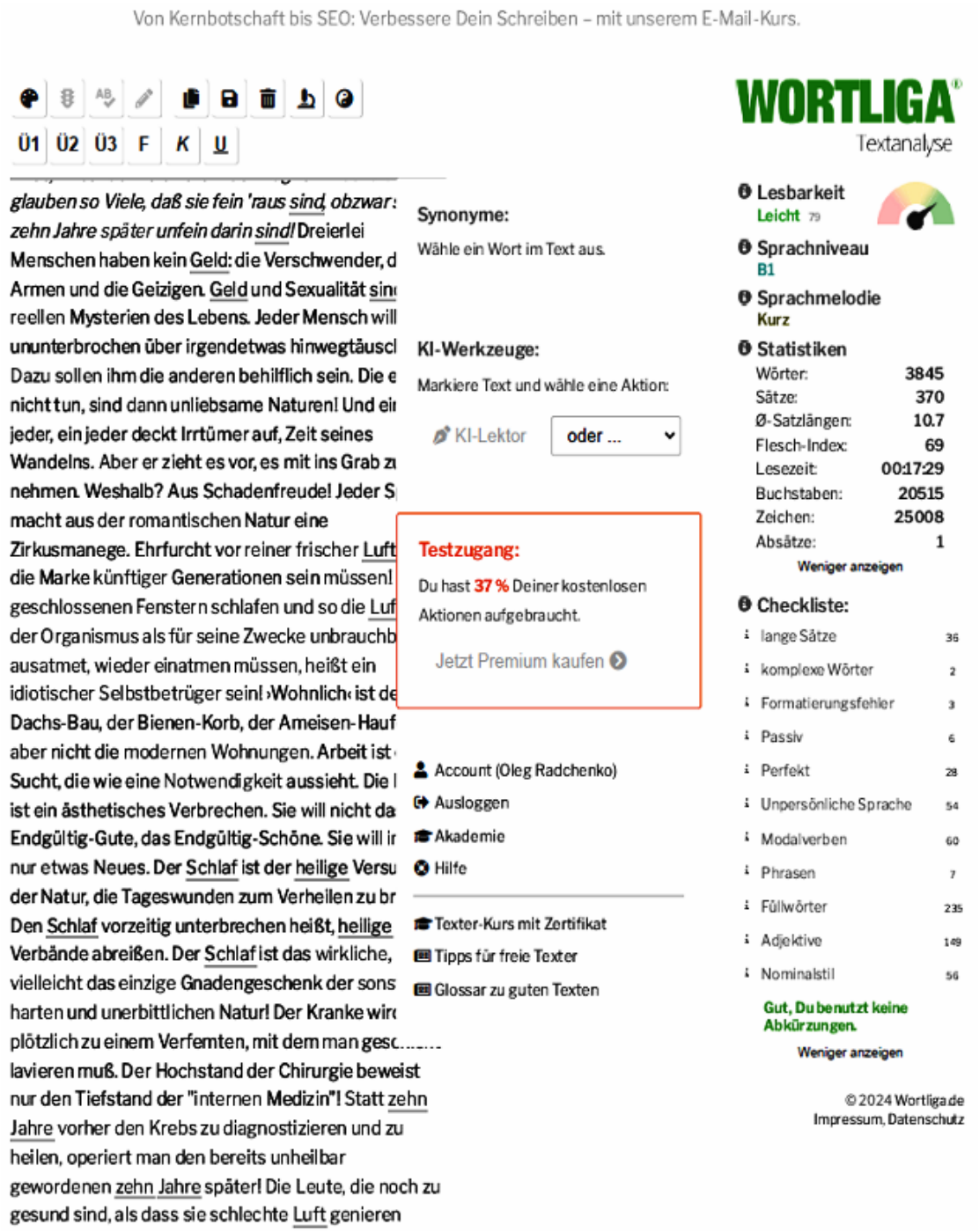


Рис. 1. Результаты статистической обработки
афористического макротекста П. Альтенберга

Макротекст состоит из 370 преимущественно достаточно кратких предложений, что вполне ожидаемо с учётом избранного жанра (средняя длина предложения – 10.7 слова, относительно длинных предложений – 36). Из знаменательных частей речи писатель явно предпочитал имена прилагательные (149 без учёта повторов), демонстрируя тем самым *адъективный стиль изложения*. Вместе с тем он чрезвычайно активно использовал различ-

ные виды частиц (235) и модальные глаголы (60), что свидетельствует о ярко выраженной приверженности автора разговорной речи. Редко строя сложные временные и залоговые конструкции (всего 6 случаев использования страдательного залога и 28 – сложного прошедшего времени), Альтенберг прибегал в 54 предложениях к безличным конструкциям. Эти особенности макротекста могут объяснить высокую степень понятности афористики Альтенберга при всей её философско-созерцательной направленности.

Обращаясь к **функциональному анализу** афористики Альтенберга, отметим, прежде всего, возможность использования уровней, выделенных В.К. Харченко для коллоквиального креатива, с целью создания своего рода *матрицы целеполагания* в каждом конкретном случае. Приложимость этого списка к исследуемому эмпирическому материалу подтверждается следующими примерами:

1. *Цель «позитивность»:* Viele Dinge in diesem Büchlein haben den Charakter von flüchtigem Dilettantismus. Immerhin besser als schwerfälliger Bücherwurmismus! (Многое в этой книге отдает дилетантизмом. Но это все же лучше, чем тягостный книжный червизм[1]). – Афорист прибегает здесь к оригинальному словотворчеству, вызывая комический эффект.

2. *Цель «перцепция»:* Der Schlaf ist der heilige Versuch der Natur, die Tageswunden zum Verheilen zu bringen. Den Schlaf vorzeitig unterbrechen heißt, heilige Verbände abreißen. (Сон есть священная попытка природы залечить дневные раны. Прервать сон раньше времени равносильно тому, чтобы срывать священные повязки). – Данный афоризм апеллирует к неприятным тактильным ощущениям.

3. *Цель «прегнантность»:* Gott denkt in den Genies, träumt in den Dichtern und schläft in den übrigen Menschen. (Господь Бог живет в мыслях гениев

[1] Перевод афоризмов, как и всех цитат в диссертации, с немецкого языка на русский выполнен нами.

и мечтах поэтов, а в остальных людях он лишь спит). – Альтенберг оперирует в данном случае эффектом контрдетерминации.

4. *Цель «парадоксальность»:* Jeder Mensch will sich ununterbrochen über irgendetwas hinwegtäuschen. Dazu sollen ihm die anderen behilflich sein. Die es nicht tun, sind dann unliebsame Naturen! (Всякий желает беспрестанно обманываться в чем-либо. Прочие должны ему в этом способствовать. Тех же, кто отказывается, считают гадкими личностями). – Это целеполагание можно отнести к основным в афористическом дискурсе Альтенберга.

5.*Цель «полидискурсивность»:* Die geschickteste Art, einen Konkurrenten zu besiegen, ist, ihn in dem zu bewundern, worin er besser ist. (Искуснейший способ победить соперника – это восхищаться тем, в чем он вас превосходит). – В данном случае напрашивается параллель с известным парадоксальным афоризмом О. Уайльда «Наилучший способ избавиться от искушения – это поддаться ему».

6. *Цель «пассионарность»:* Peter, Peter, was erwartest Du denn noch ewig von dieser rückständigen Welt?! Mit-Geher, Mit-Wirkende! Armer, armer dummer Peter. (Петер, Петер, чего ты вечно ждёшь от этого отсталого мира? Одни лишь со-путствующие, со-действующие! Бедный, бедный глупый Петер.) – Интенция аутовоздействия в данном примере очевидна.

7.*Цель «прагматика»:* Zeige mir Deine Auserwählte – und ich werde Dir sagen, wer Du bist! Nein, ich werde es Dir nicht sagen, denn ich bin meist zu feinfühlig dazu! (Покажи мне свою избранницу, и я скажу тебе, кто ты! Нет, не стану тебе ничего говорить, для этого я слишком чувствительная натура!). - Этот пример имеет отношение, помимо прагматики, к полидискурсивности, поскольку автор ожидает от читателя «эффекта опознания» источника первой части афоризма.

Рассматривая признаковость как финальный уровень анализа венской афористики, представляется возможным обнаружить четыре признака речевой креативности в исследованном корпусе афоризмов П. Альтенберга:

– *признак «экспрессия»*: Friedvoller Ort! So seien unsere Seelen, morgens, abends – wenigstens morgens, abends! (Умиротворенное место! Таковы и наши души, на заре, по вечерам – ну хотя бы на заре и по вечерам!);

– *признак «эмоциональность»*: Alles, Alles rächt sich erst nachträglich! Deshalb glauben so Viele, daß[2] sie fein 'raus sind, obzwar sie zehn Jahre später unfein darin sind! (Всё, всё когда-нибудь аукнется, но не сразу! Поэтому столь многие полагают, что вышли сухими из воды, хотя десять лет спустя они плюхнутся в неё по самые уши!);

– *признак «эвристичность»*: Die Japaner malen einen Blütenzweig, und es ist der ganze Frühling. Bei uns malen sie den ganzen Frühling, und es ist kaum ein Blütenzweig. (Японцы рисуют цветущую ветку, а видишь весну как таковую.
У нас рисуют весну как таковую, и это не тянет даже на цветущую ветку);

– *признак «эгоцентризм»*: Der Herzog von La Rochefoucauld hat so viele Aphorismen geschrieben, bei denen ich es tief bedaure, dass sie nicht mir eingefallen sind. Aber da seit drei Jahrhunderten dieselben niemandem genützt haben, bin ich doch froh, dass er sich dieser undankbaren Mühe unterzogen hat! (Герцог де Ларошфуко создал столько афоризмов, и я глубоко сожалею, что они не пришли в голову мне самому. Однако, поскольку оные вот уже триста лет никому не приносят пользы, я рад тому, что именно он взял на себя эту неблагодарную миссию!). – Этот пространный афоризм сочетает в себе признаки эвристичности и эгоцентризма, что подтверждает предположение о полипризнаковом характере афористики Альтенберга.

В итоге оказывается целесообразным исключить из предлагаемого В.К. Харченко каталога целеполаганий и признаков элементы, имеющие непосредственное отношение к межличностному общению в разговорном формате; остальные образуют матрицу, приложимую к анализу афоризмов венских оригиналов и могут быть дополнены специфичными для неё элементами.

---

[2] В диссертации все цитаты приведены с соблюдением орфографии, использованной в издании-источнике.

Три предыдущих этапа подготовили необходимый фундамент для осуществления **контент-анализа афористики** Альтенберга, рассматриваемой как в формате целостного макротекста, так и обособленно, но с учётом многотемности каждого афоризма.

С целью общего анализа этой многотемности афористический макротекст был проанализирован при помощи программы текстового анализа MAXQDA Analytics Pro (24.4.1). В итоге было сформировано облако тэгов по частотности всех элементов в данном макротексте (рис. 2).



Рис. 2. Облако тэгов, полученное в результате анализа афористического макротекста в оболочке MAXQDA Analytics Pro (24.4.1)

Полученный результат, как и ожидалось, оказался недостаточно полезным для дальнейшего контент-анализа, поскольку наиболее частотными и, следовательно, заметными в облаке тэгов были служебные части речи, не несущие важной смысловой нагрузки в афоризмах.

Для выявления смысловых доминант макротекст был подвержен процедуре сокращения и нормализации – из него были исключены служебные части речи, функциональные глаголы, местоимения, знаки препинания, а оставшиеся элементы нормализованы (имена существительные переведены в именительный падеж, глаголы – в неопределённую форму, имена прилага-

тельные – в краткую форму и т.д.). Полученный макротекст 2 был проанализирован с целью формирования уточнённого облака тэгов (рис. 3).



Рис. 3. Облако тэгов, полученное в результате анализа макротекста 2

Этот подход позволил выделить смысловые доминанты в общем тематическом пространстве макротекста 2. Для уточнения этой информации применительно к исходному макротексту вновь была использована программная оболочка MAXQDA Analytics Pro (24.4.1), которая установила частотность следующих элементов этого макротекста с привлечением встроенной программы искусственного интеллекта (ИИ):

– «Frau» – более 20 употреблений в макротексте.
– «Liebe» – 10;
– «Mensch» – 10;
– «Leben» – 10;
– «Natur» – 8;
– «Aphorismen» – 6;
– «Seele» – 5;
– «Geist» – 5;
– «geliebte» – 5;

– «schqn» – 4;

– «dumm» – 4.

Данные о частотности глаголов, полученные этой программой, здесь не приводятся, поскольку они оказались нерелевантными для целей контент-анализа (так, наиболее частотной формой оказалась ist – 15 употреблений).

Статистические сведения позволили в итоге составить общую картину тематических доминант в макротексте, однако они не способны установить реальный вес той или иной единицы в тематическом пространстве афористики Альтенберга, учитывая необходимость интерпретации целостных афористических микротекстов, их метафоричность и политематичность. В этой связи был осуществлён *фреймовый анализ* каждого из 167 афоризмов с определением фреймовой характеристики по присутствию и эксплицитной выраженности тематической доминанты.

В результате были установлены 17 фреймов «альтенбергизмов»: 1) мужчина и женщина; 2) судьба; 3) деньги; 4) заблуждения; 5) талант; 6) жизнь; 7) спорт; 8) избитые истины; 9) окружающая среда; 10) толпа; 11) труд; 12) мода; 13) сон; 14) болезнь; 15) Вена; 16) человеческая натура; 17) афоризм.

Для верификации этого перечня макротекст Альтенберга был предложен искусственному интеллекту ChatGPT Plus (полнофункциональная версия), который выделил следующие основные темы афористики Альтенберга, обобщая афоризмы или приводя примеры в переводе:

1. *Возмездие*: всё в конце концов отомстит за себя.

2. *Деньги и бедность*: расточительность, бедность и скупость приводят к нехватке денег. Деньги и сексуальность – настоящие тайны жизни.

3. *Человеческая природа*: люди постоянно обманывают себя и других. Каждый обнаруживает ошибки, но предпочитает унести их с собой в могилу.

4. *Спорт и природа*: любой спорт превращает романтическую природу в цирк. Трепетное отношение к чистому, свежему воздуху должно стать отличительной чертой будущих поколений.

5. *Работа и мода*: работа – это зависимость, которая выглядит как необходимость. Мода – это эстетическое преступление, постоянное стремление к чему-то новому.

6. *Сон и здоровье*: сон – это священная попытка природы залечить ежедневные раны. Пациент становится изгоем. Высокие хирургические стандарты свидетельствуют о низких стандартах внутренней медицины. Пациенты в учреждениях – «ужасные» люди для врачей.

7. *Животные*: кошки – гении в своих движениях и самоисцелении.

8. *Вена*: в Вене вы должны умереть, прежде чем вас будут чествовать. Жить в Вене невыносимо, но столь же невыносимо жить и в других местах.

9. *Любовь и отношения*: любовь – это любительская прогулка по канату без балансировочного шеста и сетки. Мужская любовь – это мир, женский мир – это любовь. Любить – это потребность в скрытых избыточных силах; быть любимым – потребность в недостающих скрытых силах.

10. *Женщины*: женские души скромны, ищут идеальное сочетание в одном человеке. Женщины лучше скрывают свои недостатки, чем мужчины. Отношения с женщинами предполагают взаимные разочарования.

11. *Общество и индивидуальность*: каждый человек должен следовать своему пути. Идеалы важны, и человек должен жить в соответствии с ними.

12. *Культура и мудрость*: на общественное мнение можно повлиять, только противостоя ему. Понимание других ведет к самопониманию.

13. *Такт и этикет*: такт – это умение чувствовать, что другие могут от вас стерпеть. Неосмотрительность возникает из-за отсутствия тем для разговора.

14. *Искусство и творчество*: искусство призвано сделать жизнь более яркой. Настоящее искусство приближает богатство бытия к тем, кто слишком занят, чтобы испытать его.

15. *Образование и воспитание*: воспитывать человека – значит помогать ему стать самим собой. Родительская мудрость должна заменить удобную любовь.

16. *Самостоятельность и аутентичность*: доверяйте себе и своим внутренним голосам. Будьте верны себе и принимайте свою уникальность.

17. *Человеческие недостатки и мораль*: недостатки человечества проявляются в личных взаимоотношениях. Борьба с внутренними слабостями и общественными проступками крайне важна.

18. *Счастье и удовлетворение*: голод и удовлетворение переплетаются со счастьем. Настоящее счастье недостижимо для реализованных людей.

19. *Ревность и страх*: ревность – это глубочайший страх потерять что-то важное. Прикосновение любимого человека придает божественную силу; прикосновение нелюбимого навевает уныние.

20. *Существование и реальность*: жизнь – это бесконечное стремление оставаться живым без ясной цели. Борьба за то, чтобы найти смысл и удовлетворение в повседневном существовании.

Несмотря на совпадение большей части тем с выделенными на основе учёта тематической доминанты, некоторые темы остались за пределами внимания ИИ, в частности, «Избитые истины», «Афоризмы» и «Толпа». В то же время, ему удалось обнаружить частные темы (субтопики) для них по специальному запросу.

Рассмотрение наполнения фреймов открывает путь для их разделения на две группы, с точки зрения возможности выявления слотов в них: однослойные и многослойные фреймы.

К *однослойным фреймам* следует отнести те фреймы, которые представлены лишь одним или несколькими афоризмами и не позволяют выделить более дробные слоты. К этой группе можно отнести следующие фреймы (с выделением в них тематических доминант):

Фрейм 2. *Судьба:*

(2.1)Alles, Alles **rächt sich** erst **nachträglich**! Deshalb glauben so Viele, daß sie fein 'raus sind, obzwar sie zehn Jahre später unfein darin sind! (Всё, всё когда-нибудь аукнется, но не сразу! Поэтому столь многие полагают, что вышли сухими из воды, хотя десять лет спустя они плюхнутся в нее по самые уши!). – Тематическая доминанта выражена через представление о роке, ко-

торый настигает и карает, являясь орудием фатального возмездия. Этот образ создаётся при помощи глагола sich rächen (мстить).

Фрейм 3. *Деньги:*

(3.1) Dreierlei Menschen haben kein **Geld**: die Verschwender, die Armen und die Geizigen. (Три типа людей денег не имеют: транжиры, бедняки и скупердяи).

(3.2) **Geld** und Sexualität sind die reellen Mysterien des Lebens (Деньги и сексуальность суть истинные мистерии жизни). – Второй афоризм демонстрирует политематичность рассуждений Альтенберга, сочетание двух и более тематических доминант, которые он в данном случае равнополагает и выражает с использованием прямой номинации.

(3.3) **Millionäre** trösten uns immer damit, man könne **sich** auch **an Austern "überessen".** Aber in *diesen Zustand*[3] eben einmal zu gelangen, ist ja das Glück! (Миллионеры всегда утешают нас тем, что устрицами можно "объесться". Но достичь такого состояния хотя бы раз — это счастье!) – Отношение к фрейму установлено при помощи косвенного указания на богатство (Millionäre, sich an Austern überessen). Второй, подчинённой, тематической доминантой является «счастье» (Glück), выступающее в функции комментария.

Тем не менее, использование второй доминанты является важным поводом утверждать о существовании **топикальных юнктур** между афоризмами Альтенберга, которые понимаются нами как тематические «мосты» между различными политематическими афоризмами. Помимо опоры на тематические доминанты, выявление юнктур возможно и при помощи ИИ, анализирующего обобщенный смысл афоризма. Так, для темы «Деньги» ChatGPT 4 Plus установил следующие субтопики, помимо описанных выше, которые «охватывают различные взгляды на деньги, подчеркивая их загадочную природу, их влияние на человеческое поведение и критику материалистических ценностей»:

Свобода от денег: Желание денег должно заходить только настолько далеко, насколько это необходимо для освобождения души и разума от жажды денег.

Критика материализма: Критика общественного внимания к материальному богатству и поверхностной ценности денег.

Духовно-философские размышления о более глубоком значении богатства и превалировании духовного и философского богатства над материальным богатством.

Фрейм 4. *Заблуждения:*

(4.1) Und ein jeder, ein jeder deckt **Irrtümer** auf, Zeit seines Wandelns. Aber er zieht es vor, es mit ins Grab zu nehmen. Weshalb? Aus Schadenfreude! (И каждый, каждый обнаруживает ошибки на своем жизненном пути. Но он предпочитает унести их с собой в могилу. Почему? Из чувства злорадства!).

(4.2) Jeder Mensch will sich ununterbrochen über irgendetwas hinweg**täuschen**. Dazu sollen ihm die anderen behilflich sein. Die es nicht tun, sind dann unliebsame Naturen! (Всякий желает беспрестанно обманываться в чем-либо. Прочие должны ему в этом способствовать. Тех же, кто отказывается, считают гадкими личностями). – Для этого фрейма автор прибегает как к прямой номинации, так и к перформативным единицам (täuschen).

Сочетание прямой номинации и перформативов ещё более характерно для *фрейма 6 Жизнь*. ИИ предлагает следующие субтопики для важнейших экзистенциальных рассуждений Альтенберга:

1. *Возмездие*: идея о том, что всё в конце концов отомстит за себя, часто с опозданием.
2. *Деньги и бедность*: различные типы людей, которым не хватает денег – расточительные, бедные и скупые.
3. *Самообман*: человеческая склонность обманывать себя и полагаться на других в этом обмане.
4. *Спорт и природа*: критика того, что любой спорт превращает романтическую природу в цирк.
5. *Свежий воздух и окружающая среда*: важность свежего воздуха; глупо спать с закрытыми окнами.

---

[3] В переводе сохранено авторское выделение курсивом.

6. *Условия жизни*: современные квартиры сравниваются с естественными местами обитания, такими как барсучьи норы или пчелиные ульи.

7. *Работа и мода*: работа как зависимость, которая кажется необходимостью, и мода как эстетическое преступление, которое всегда стремится к чему-то новому.

8. *Сон и исцеление*: сон как священная попытка природы залечить ежедневные раны и вред от его преждевременного прерывания.

9. *Болезнь и медицина*: Высокие стандарты хирургии в сравнении с низкими стандартами внутренней медицины и критика поздней диагностики рака.

10. *Самоисцеление*: способность кошки исцелять себя, даже от отравления, путем голодания.

11. *Общество и изоляция*: пациент в лечебнице как «ужасный человек» и идея о том, что больные должны интернировать здоровых, чтобы те не совершали подлости по отношению к больным.

12. *Вена*: в Вене нужно умереть, прежде чем получишь признание, и парадокс жизни в Вене по сравнению с другими местами.

13. *Любовь и отношения*: различные размышления о любви, например, контраст между мужским и женским взглядами на любовь и природу романтических отношений.

14. *Критика банальной мудрости*: оспаривание общепринятых высказываний и убеждений, таких как «каждый должен идти своим путем» и «то, что приятно на вкус, не может навредить».

15. *Эмоциональные и философские размышления*: размышления о краткости жизни, человеческом желании оставаться в живых и балансе между мечтой и жизнью.

16. *Общественное мнение и идеалы*: влияние общественного мнения, важность идеалов и критика тех, кто к ним не стремится.

17. *Искусство и творчество*: роль искусства в том, чтобы сделать жизнь более яркой, и изображение красоты в повседневных предметах и сценах.

ИИ логично объясняет свой обширный каталог тем, что эти субтопики «исследуют широкий спектр размышлений о жизни, охватывая аспекты человеческого поведения, общества, природы, отношений и личной философии». Вместе с тем он трактует эту тему как суперфрейм, в который включаются, по сути, все выделенные нами фреймы афоризмов.

Если же следовать избранному нами ранее методу включения конкретных афоризмов во фрейм на основе присутствия в них эксплицитно выраженной тематической доминанты, то реальное наполнение **фрейма 6** окажется более скромным (10 афоризмов), и все они соответствуют только одному выделенному ИИ субтопику 15:

(6.1) Der nur das **Leben** träumt, kann mir nicht Leben geben. Und der es lebt, der nimmt mir meinen Traum! In uns allein ist Traum und Leben eines! (Тот, кто только мечтает о жизни, не может дать мне её. А тот, кто живёт ей, отнимает у меня мечту! Только в нас самих мечта и жизнь едины!) – Этот афоризм содержит топикальную юнктуру с темой «Мечта».

(6.2) Das **Leben** ist so kurz, und die Menschen verstehen es nicht einmal, sich aus den doch noch bestehenden vierundzwanzig Stunden ein kleines, feines, flüchtiges Paradies zu machen! (Жизнь так коротка, а люди даже не знают, как сделать из тех двадцати четырех часов, которые еще у них есть, маленький, прекрасный, мимолётный рай!) – На этот раз использована одна из частотных юнктур Альтенберга – «Религия».

(6.3) Das **Leben** ist eine merkwürdige, mysteriöse und eigentlich stupide ewige unentrinnbare Sehnsucht, am Leben zu bleiben, solange als nur irgendmöglich! Wozu, weshalb, niemand weiß es. (Жизнь – это странное, загадочное и на самом деле глупое вечное неизбывное стремление оставаться живым как можно дольше! Зачем, почему, никто не знает.) – В качестве комментирующей тематической доминанты выступает Sehnsucht (тоска, стремление).

(6.4) Mehr Dampf in einer Lokomotive erzeugen, als nötig ist für ihre höchste Bewegung, ist die Tat eines wahnsinnig gewordenen Maschinenführers. So ist der Mensch! Er rast dahin den Weg des **Lebens** und wird zu Brei zermalmt auf seiner Strecke! (Вырабатывать в локомотиве больше пара, чем необходимо

для его максимального движения, - это поступок обезумевшего машиниста. Таков и человек! Он мчится по дороге жизни, и его на этом пути разминает в кашу!) – В данном случае топикальная юнктура не только метафорична, но и приобретает форму соположения целостных метафорических картин.

(6.5) An seinen Idealen zu Grunde gehen können, heißt **lebensfähig** sein! (Быть способным погибнуть из-за своих идеалов – значит быть способным жить!) – Тематическая доминанта «Идеал» использована как комментарий к основной доминанте.

(6.6) **Morgens** die Sonne erwarten, **abends** die Nacht. Das ist alles. (Утром ожидать восхода солнца, вечером – наступления ночи. Вот и вся премудрость). – Тематическая доминанта «жизнь» в этом афоризме обозначена границами суток, что в итоге позволяет использовать простую по форме, но вполне ёмкую по смыслу метафору.

(6.7) **Später** ist zu spät. (То, что будет позже, случается слишком поздно). – Ещё один пример афористической симплификации Альтенберга, при которой тематическая доминанта выражена, тем не менее, метафорически.

(6.8) **Die Zukunft** ist die **Gegenwart** des Voraus-Schauers! (Будущее – это настоящее для провидца).

(6.9) Das **Überflüssige** und das **Notwendige**… Hölle und Paradies! (Излишнее и необходимое… Ад и рай!). – Два следующих друг за другом афоризма основаны на заменяющих прямую тематическую доминанту антитезах, характеризующих жизнь во временном или в материальном отношениях.

(6.10) Ein Teufelssatz: Was einem ***schmeckt***, kann einem nicht *schaden*! Richtiger ist, dass, was einem *nicht* schmeckt, einem nicht schaden kann, denn man lässt es eben stehen! (Дьявольская фраза: То, что нам вкусно, не может нам навредить! Правильнее сказать, что то, что нам невкусно, не может нам навредить, потому что мы просто не станем этого есть!) – Тематическую доминанту репрезентирует один из атрибутов жизни – потребность в еде. Такие случае вполне уместно обозначить как *косвенные тематические доминанты*, в отличие от прямых, выраженных перформативами.

Фрейм 7. *Спорт:*

(7.1) Jeder **Sport** macht aus der romantischen Natur eine Zirkusmanege. (Всякий вид спорта превращает романтическую природу в цирковой манеж). – Критическое замечание о спорте привязано к его «аренам», что позволяет причислить этот афоризм к фрейму Natur или Zirkus. Однако спорт является основной тематической доминантой афоризма, что объясняет его включение в данный фрейм.

Оригинальным фреймом, характеризующим П. Альтенберга как философствующего писателя, являются *«Избитые истины» (фрейм 8).* Для этой темы ИИ устанавливает следующие субтопики (афоризмы, связанные с ними, «критикуют поверхностность банальных истин и подчеркивают необходимость более глубокого осмысления и понимания, выходящего за рамки общепринятых клише»):

Обобщение жизненных уроков, критика клише.

Критика конформизма и идеалов: Идея о том, что стремление к идеалам часто высмеивается как непрактичное или глупое. Представление о том, что идеалы важны и к ним следует стремиться, несмотря на то, что их отвергают как клише.

Общественное мнение и социальное давление: Общественное мнение часто следует банальным истинам, не сомневаясь в их обоснованности. Автор подчеркивает, как важно бросать вызов общественному мнению и не поддаваться поверхностным суждениям.

Упрощённая мудрость: Упрощённые утверждения и общепринятая мудрость подвергаются критике за то, что им не хватает глубины, и они не в состоянии отразить всю сложность жизни. Хотя эти утверждения могут казаться верными, они часто чрезмерно упрощают реальность и препятствуют более глубокому пониманию жизни.

Восприятие против реальности: Разрыв между тем, во что принято верить, и более тонкой реальностью. Призыв смотреть дальше банальных истин и понимать глубинные сложности жизни.

Эти субтопики отражены совокупно в той или иной степени в каждом из шести афоризмов этого фрейма, спецификой которого можно считать то, что тематическая доминанта выражена целостным афоризмом, а не перформативом:

(8.1) "Ein jeder muß eben halt doch seinen Weg gehen", ist ein kompletter, frecher Blödsinn! Wie wenn man sagte: "Ein jeder Hund muß halt ins Zimmer pissen!" ("Каждый человек должен идти своей дорогой" – это полная, наглая чушь! Это все равно, что сказать: "Каждая собака должна писать в комнате!") – Использована топикальная юнктура с темой «Домашние животные».

(8.2) Wohin kämen wir, bitte, wenn wir immer nur Idealen nachhängen würden? Zu den Idealen! (К чему бы мы пришли, позвольте спросить, если бы всегда стремились только к идеалам? К этим же самым идеалам!) – Идеалы критикуются как валидная жизненная цель при помощи катахрезы – отсылки к идеалу как чему-то высшему и недоступному, но достойному стремления, и идеалу как чему-то далёкому от потребностей жизни и бесполезному.

(8.3) Immer wieder auf gewisse Dinge zurückkommen?!? Ja, man kommt immer wieder darauf zurück, daß 2 und 3 5 ergebe. (Надо ли всегда возвращаться к определенным вещам?!? Да, всегда возвращаешься к тому, что 2 плюс 3 равняется 5.) – Банальность высказывания подтверждается отсылкой к тривиальному математическому действию.

(8.4) Wenn jemand gesprächsweise zu mir sagt: "Ich mache Sie darauf aufmerksam, mein Lieber, ich bin streng konservativ!", so kommt es mir vor, wie wenn jemand zu mir sagte: "Ich mache Sie darauf aufmerksam, mein Lieber, ich hab mich seit vielen Monaten nicht mehr gewaschen!" Was, der ganze Schmutz alles Gewesenen pickt noch auf Dir?! Pfui! (Когда кто-то говорит мне во время беседы: "Обращаю ваше внимание, дорогой мой, что я строго консервативен!", мне кажется, будто кто-то говорит мне: "Обращаю ваше внимание, дорогуша, что я не мылся уже много месяцев!" Неужели вся грязь от всего, через что вы прошли, все еще на вас? Омерзительно!) – Автор предлагает своё толкование банальности расхожей фразы сопоставлением с примитивным бытовым поведением.

(8.5) Nichts ist leichter, als erkannte Wahrheiten predigen. Aber sie *nicht zu predigen* ist eine feige Gemeinheit! (Нет ничего проще, чем проповедовать избитые истины. Но не вдалбливать их – это трусливая подлость!) – В афоризме вновь использована катахреза, связанная с коннотациями глагола predigen (проповедовать, читать проповедь в храме; внушать, вдалбливать).

Фрейм 9. *Окружающая среда*:

(9.1) Ehrfurcht vor reiner frischer **Luft** wird die Marke künftiger Generationen sein müssen! (Трепетное отношение к чистому, свежему воздуху должно стать визитной карточкой будущих поколений!)

(9.2) Bei geschlossenen Fenstern schlafen und so die **Luft**, die der Organismus als für seine Zwecke unbrauchbar ausatmet, wieder einatmen müssen, heißt ein idiotischer Selbstbetrüger sein! Спать с закрытыми окнами и при этом дышать воздухом, который организм выдыхает как бесполезный для его целей, значит быть идиотом-самообманщиком!) – В афоризме использована топикальная юнктура с темой «Сон».

(9.3) Wohnlich‹ ist **der Dachs-Bau, der Bienen-Korb, der Ameisen-Haufen**, aber nicht die modernen Wohnungen. ("Уютны" барсучья нора, пчелиный улей, муравейник, но никак не современные квартиры.) – Афоризм, сформулированный на пересечении тем «Окружающая среда» и «Жилище».

Большой интерес, с точки зрения эксплицитных и имплицитных субтопиков в макротексте афоризмов Альтенберга, вызывает тема «Толпа» (*фрейм 10*), точнее, отношения писателя и общества. В результате анализа макротекста ИИ были определены следующие субтопики:

Общественное мнение: Зависть автора к населению Вены за их способность смеяться над ним, пока он смеется над всеми.

Социальные взаимодействия и манеры: Сложность социальных взаимодействий, например, ожидание, что женщина откажется от цветов, предложенных цветочницей в кафе, чтобы ее не сочли частью вымогательства.

Поведение и внешний вид: Наблюдения за внешним видом и поведением мужчин на улице, выделение конкретных деталей, например, элегантной обуви.

Эмоциональное воздействие: Влияние ревности и страха потерять что-то жизненно важное на примере реакции мужчины, увидевшего кого-то в элегантной обуви.

Цинизм и доверие: Утверждение Стриндберга о недоверии любимым женщинам, подчеркивающее глубину человеческого недоверия и эмоциональные последствия предательства.

Ирония жизни: Ирония жизненных обстоятельств, когда обыденные и тривиальные детали могут стать значимыми в социальном контексте улиц.

Очевидно, отношения художника слова и его читателей затрагивает множество фреймов, поскольку эти субтопики «исследуют различные аспекты общественного восприятия, социального взаимодействия, а также эмоционального и психологического воздействия повседневных встреч на улице». Однако непосредственное отношение к общественному восприятию писателя и его творчества имеют, по результатам запроса к ИИ, следующие субтопики (выделение которых можно подтвердить и проиллюстрировать соответствующими афоризмами):

Общественное мнение и влияние: На общественное мнение можно повлиять, только выступив против него. Восприятие общественного мнения и проблема сохранения аутентичности, несмотря на внешнее давление.

(10.1) Die **öffentliche Meinung** kann man nur beeinflussen, wenn man gegen sie ist. (На общественное мнение можно повлиять лишь в том случае, если твоё мнение с ним не совпадает).

Соответствие и индивидуальность: Давление с целью соответствовать общественному мнению и социальным нормам. Борьба за сохранение индивидуальности перед лицом общественных ожиданий.

(10.2) Die **Menschen** zwingen mich liebevoll in das Prokrustesbett ihres eigenen Denkens, und wenn ich dann "Au!" seufze, sagen sie: Undankbarer! (Люди с любовью укладывают меня в прокрустово ложе своего собственного мышления, а когда я говорю со вздохом "Ой!", отвечают: "Неблагодарный!»).

Цинизм и реализм: Критика тех, кто придерживается общественного мнения, не подвергая его сомнению. Ирония общественного восприятия и индивидуальный опыт этого.

(10.3) Die Distanz spüren und einhalten zwischen mir und **euch**, wäre das *tiefs-t*e Zeugnis *eurer* eigenen Kultur! Aber *das* eben könnt ihr euch nicht ausstellen – deshalb klopft ihr mir lächelnd familiär auf die Schulter! Brrr. (Почувствовать и сохранить дистанцию между мной и вами было бы глубочайшим свидетельством вашей собственной культуры! Но вы не можете продемонстрировать это самим себе – поэтому вы похлопываете меня по спине с привычной улыбкой! Бррр.)

Суждение и непонимание: Непонимание и поверхностные суждения общественности. Проблема быть осужденным общественным мнением при стремлении к личной правде и подлинности.

(10.4) Peter, Peter, was erwartest Du denn noch ewig **von dieser rückständigen Welt**?! Mit-Geher, Mit-Wirkende! Armer, armer dummer Peter. (Петер, Петер, чего ты вечно ждешь от этого отсталого мира? Одни лишь сопутствующие, со-действующие! Бедный, бедный глупый Петер.)

Сатира и критика: Сатирические размышления о общественном поведении и мнениях. Авторская критика социальных норм и влияния общественного мнения на отдельные действия.

(10.5) Überall gibt es **Zuschauer**. Das heißt Leute, die sich für etwas interessieren, wofür sie sich gar nicht interessieren. (Повсюду есть зеваки. То есть люди, интересующиеся тем, что им совершенно не интересно).

(10.6) Die **Leute** finden doch immer irgendetwas an meinen "kleinen Sachen". *Ich* finde an ihren großen Sachen gar *nichts*! (Люди всегда находят что-то интересное в моих "мелочах". Я не нахожу ничего интересного в их великих делах!)

Следует отметить, что один субтопик, отражающий позитивное ожидание писателя, не был замечен и выделен ИИ:

(10.7) **Wer** mich versteht, versteht sich selbst! Denn siehe, ich bin nur Euer tönend gewordenes stummes Herz selber. (Кто понимает меня, тот поймёт и себя! Ибо вот он, я, – лишь ваше немое сердце, обретшее звучание).

Все афоризмы этого фрейма строятся на антитезе «я» и «толпа», но тематическая доминанта не выражена напрямую, к примеру, при помощи лексем Menschenmenge, Gewühl von Menschen, Masse, Menschenschar, Pulk и т.п., которые в рамках критического или сатирического афоризма могли сами по себе иметь ярко выраженную негативную коннотацию. Вместо этого автор использует нейтральные лексемы и словосочетания Menschen, öffentliche Meinung, ihr, wer, Leute, Zuschauer, отрицательная коннотация которых в данном случае имплицитна и вскрывается лишь в общем контексте афоризма. Единственный афоризм, в котором гнев автора не ретуширован, включает оценочную характеристику diese rückständige Welt.

Фрейм 11. *Труд*:

(11.1) **Arbeit** ist eine Sucht, die wie eine Notwendigkeit aussieht. (Труд – это мания, внешне похожая на необходимость.)

Фрейм 12. *Мода:*

(12.1) Die **Mode** ist ein ästhetisches Verbrechen. Sie will nicht das Endgültig-Gute, das Endgültig-Schöne. Sie will immer nur etwas Neues. (Мода – это эстетическое преступление. Она не стремится к окончательно-хорошему, окончательно-прекрасному. Она всегда хочет чего-то нового.) – В этом, как и в предыдущем, афоризме Альтенберг использует для обычных человеческих занятий (труд, мода) топикальные юнктуры с «тёмной стороной» человеческой жизни – нездоровыми пристрастиями и преступлениями.

Фрейм 13. *Сон:*

(13.1) Der **Schlaf** ist der heilige Versuch der Natur, die Tageswunden zum Verheilen zu bringen. Den Schlaf vorzeitig unterbrechen heißt, heilige Verbände abreißen. (Сон есть священная попытка природы залечить дневные раны. Прервать сон раньше времени равносильно тому, чтобы срывать священные повязки).

(13.2) Der **Schlaf** ist das wirkliche, vielleicht das einzige Gnadengeschenk der sonst harten und unerbittlichen Natur! (Сон – это настоящий, возможно, единственный дар благодати обычно столь суровой и неумолимой природы!) – Оба афоризма содержат топикальные юнктуры с темой «Природа», однако в первом

также содержится метафорическая топикальная юнктура с «Болезнью», а во втором автор прибегает к достаточно неприятной персонификации природы.

Характеризуя **фрейм 14** *«Болезнь»,* следует обратить внимание на выявленные ИИ субтопики в рамках всего метатекста, которые «исследуют различные аспекты болезни, от социальной и медицинской критики до размышлений о естественном исцелении и влиянии окружающей среды на здоровье». Правильность выводов ИИ подтверждают включенные нами в данный фрейм афоризмы:

Социальная стигма и изоляция:

(14.1) Der **Kranke** wird plötzlich zu einem Verfemten, mit dem man geschickt lavieren muß. (Больной внезапно становится изгоем, с которым приходится умело лавировать).

(14.2) Der Patient einer Anstalt ist der "schreckliche Mensch", der den Arzt Tag und Nacht hindert, ein ungestörtes ödes und friedlich-sattes Familienleben zu führen! (Пациент в лечебном учреждении – это "ужасный человек", который день и ночь мешает врачу вести спокойную, тоскливую, мирную и сытую семейную жизнь!).

(14.3) Die ***Kranken*** sollten die *Gesunden* internieren, damit diese an ihnen keine *Gemeinheiten* begehen können! (Больным следует интернировать здоровых, чтобы те не могли творить над ними всякие подлости!).

Критика медицинской практики: критика задержки в диагностике и лечении рака, что приводит к оперированию неизлечимых случаев вместо раннего вмешательства.

(14.4) Der *Hochstand* der Chirurgie beweist *nur* den *Tiefstand* der "*internen* Medizin"! Statt zehn Jahre *vorher* den **Krebs** zu diagnostizieren und zu *heilen, operiert* man den bereits *unheilbar* gewordenen zehn Jahre *später*! (Высокий уровень хирургии лишь подтверждает низкий уровень терапии! Вместо того чтобы диагностировать и вылечить рак на десять лет раньше, уже неизлечимый рак оперируют на десять лет позже!)

Исцеление и самодостаточность: акцент на естественных процессах и способностях организма к самоисцелению.

(14.5) Die Katze ist, abgesehen von ihrer genialen Bewegungsanmut, ein Genie: Sie heilt sich von jeder **Erkrankung**, sogar von **Vergiftung**, durch *Aushungern*! (Помимо гениальной ловкости, кошка - гений: она излечивает себя от любой болезни, даже от отравления, голоданием!) – Афоризм содержит топикальную юнктуру с темой «Домашние животные».

Влияние окружающей среды на здоровье: Важность свежего воздуха и пагубные последствия сна с закрытыми окнами, повторного вдыхания выдыхаемого воздуха.

(14.6) Die Leute, die noch zu gesund sind, als dass sie *schlechte Luft* genieren könnte, werden später zu **krank** sein, als dass ihnen *frische Luft* noch helfen könnte! (Люди, которые ещё слишком здоровы, чтобы их беспокоил плохой воздух, впоследствии будут слишком больны, чтобы свежий воздух мог им помочь!) – Здесь следует указать на топикальную юнктуру с темой «Окружающая среда».

ИИ также в целом выявляет «философские размышления о болезни: Болезнь как часть более широкой жизненной борьбы и состояния человека. Болезнь как фактор, раскрывающий более глубокие социальные и индивидуальные проблемы, такие как изоляция и потребность в подлинной заботе». Тем не менее, этот фрейм остаётся однослойным, так как тематические доминанты входящих в него афоризмов составляют одно деривационное гнездо, за редким исключением (Vergiftung, Krebs).

В группе однослойных фреймов удивительно присутствие **фрейма 15** *«Вена»,* поскольку такая тема не может не быть центральной для творчества венского оригинала. Впрочем, этот фрейм репрезентируют несколько крайне популярных афоризмов:

(15.1) In **Wien** musst’ erst sterben, bevor sie dich hochleben lassen. Aber dann lebst’ lang. (В Вене надо сначала умереть, чтобы тебя начали прославлять. Но тогда уж будешь жить долго).

(15.2) Das Problem für jeden **Wiener**: Man kann es in **Wien** nicht mehr aushalten, aber woanders auch nicht. (Проблема каждого жителя Вены в том, что жизнь в ней невыносима, однако она невыносима везде).

(15.3) Geliebte **Wiener** Bevölkerung auf allen Straßen, auf allen Plätzen, wie *beneide* ich dich, wenn ich so vorüberwandle! Ihr habt nur über *einen* zu lachen, ich aber über *alle*! (Дорогие венцы на всех улицах, на всех площадях, как я вам завидую, когда вот так прохожу мимо! Вы смеётесь только над одним, а я над всеми!).

Популярность афоризмов вступает в данном случае в конфронтацию с относительной скудностью наполнения фрейма и заставляет задуматься о том, что определяет значимость конкретных афористических фреймов для национальной культуры. ИИ отмечает, со своей стороны, «критический, но в то же время нежный взгляд на Вену, подчеркивающий уникальную культурную и социальную динамику города».

Столь же совершенно гомогенным по характеру тематической доминанты является чрезвычайно показательный для Альтенберга **фрейм 17** *Афоризм*, выделение которого не вызывало у нас в этой связи проблем, но оказалось нерешаемой задачей для ИИ, к которому был сформулирован целенаправленный поисковый запрос.

С точки зрения субтопиков, возможно, вслед за ИИ, отнести следующие афоризмы к частным аспектам представляемой темы:

Цель и природа афоризмов: Афоризмы задуманы как мгновенное просветление подсознания, а не как вымышленные истины. Афоризмы призваны быстро и практично помочь в жизни, а не быть остроумными или глупыми. Эффективность афоризма зависит не от его исторического развития, а от его непосредственного воздействия.

(17.1) **Aphorismen**: Wenn der blitzartig rasche Gedanke richtig ist, bedarf er keiner historischen Entwicklung. Und wenn er unrichtig ist, kann ihn eine langsame, naturgemäße, historische Entwicklung auch nicht verbessern! (Афоризмы: Если молниеносная мысль верна, она не нуждается в историческом развитии. А если она неверна, то и медленное, естественное, историческое развитие не может ее улучшить!).

Происхождение и суть: Истинные афоризмы исходят из жизненного опыта, а не из интеллектуальных построений.

(17.2) Richtige **Aphorismen** kommen nicht aus dem Gehirne, sondern aus dem Leben. (Истинные афоризмы родом не из мозга, а из жизни.)

(17.3) **Aphorismen** sollen nicht ausgedachte Wahrheiten sein, sondern momentane Erleuchtungen aus dem Unterbewußtsein. (Афоризмы – это не выдуманные истины, а мгновенные озарения из глубин подсознания).

(17.4) **Aphorismen** sind doch keine Aphorismen um Gottes willen! Es ist doch nur, um euch im Leben rasch kurz zu helfen. Sie können doch daher weder geistreich noch blöd sein. Wie die Medizinen: die können doch auch weder geistreich noch blöd sein, sondern helfen oder nicht helfen. (Афоризмы не существуют же сами для себя! Они предназначены только для того, чтобы быстро помочь вам в жизни. Поэтому они не могут быть ни остроумными, ни глупыми. Как и лекарства: они тоже не могут быть ни остроумными, ни глупыми, но могут быть полезными или бесполезными.) – Здесь вновь использована топикальная юнктура с темой «Болезнь».

Сравнение с другими формами письма:

(17.5) Ein **Aphorismus** ist etwas, was dem Schreibenden einen Essay als Kommentar erspart, den Lesenden jedoch infolgedessen aufs höchste schockiert. (Афоризм – это то, что избавляет писателя от необходимости создавать целое эссе в качестве комментария, однако в результате этого потрясает читателя до глубины души).

(17.6) Was sind denn meine Skizzen?! Extrakte von Novellen. Was sind denn meine **Aphorismen**?! Extrakte meiner Skizzen. Was ist denn, wenn ich gar nichts mehr schreibe?! Extrakte meines Heiligen Schweigens! (Что такое мои наброски?! Отрывки из новелл. Что такое мои афоризмы?! Выдержки из моих набросков. Что, если я больше ничего не буду писать?! Выдержки из моего Святого молчания!).

(17.7) **Aphorismen** sind das, woraus, wenn es einem anderen einfällt, er einen langen Essay macht! Gott sei Dank fällt es ihm aber nicht ein! (Афоризмы — это то, что, когда кому-то другому приходит в голову, превращается им в длинное эссе! Но, слава Богу, ему это не приходит в голову!).

Воздействие и приём: Афоризмы призваны в значительной степени шокировать читателя, представляя краткие и убедительные идеи. Автор подчёркивает сложность создания афоризмов, которые находят глубокий и широкий отклик.

(17.8) Der Herzog von La Rochefoucauld hat so viele **Aphorismen** geschrieben, bei denen ich es tief bedaure, daß sie nicht mir eingefallen sind. Aber da seit drei Jahrhunderten dieselben niemandem genützt haben, bin ich doch froh, daß er sich dieser undankbaren Mühe unterzogen hat! ((Герцог де Ларошфуко создал столько афоризмов, и я глубоко сожалею, что они не пришли в голову мне самому. Однако, поскольку оные вот уже триста лет никому не приносят пользы, я рад тому, что именно он взял на себя эту неблагодарную миссию!)

(17.9) "Wenn Sie wollen, mache ich solche **Aphorismen** wie Sie, in einer Stunde zwei Dutzend!" "Nein, ich will *nicht*!" («Если хотите, я за два часа сочиню две дюжины таких афоризмов, как у Вас!» - «Нет, совсем не хочу»).

Афоризмы 17.1–17.7 сформулированы как расширенные дефиниции этого жанра текста, включающие его сопоставление с мыслью, истиной, просветлением, лекарством, эссе, новеллой, наброском и даже молчанием, которые можно расценивать как свидетельства соответствующих топикальных юнктур. В двух последних афоризмах Альтенберг использует антитезу «я» - «другой автор» с целью позитивной саморепрезентации.

Таким образом, большинство установленных афористических фреймов является однослойными. К *многослойным фреймам* относятся только три: «Мужчина и женщина», «Талант» и «Человеческая натура», представляющие собой, таким образом, основные темы размышлений П. Альтенберга и ядро его лингвокультурного наследия.

С целью более подробного изучения этих фреймов аналитические запросы формулировались к ИИ относительно входящих в их структуру слотов.

Из многослойных фреймов обращает на себя особое внимание *«вечный фрейм» 1 «Мужчина и женщина»*, который возможно разделить далее на слоты, вновь используя в качестве опоры тематические доминанты Liebe, Frau, Geliebte, Eifersucht, liebeskrank, Treue, Hand и пр., выступающие в функции частных дискурсивных маркеров.

1.1. Слот **Liebe**:

С этим слотом связаны следующие выявленные ИИ субтопики:

Природа любви: любить – это выражение избыточных скрытых сил, а быть любимым – потребность в дополнении недостающих сил.

(1.1.1) Die **Liebe** ist nichts anderes als ein Seiltanz von Amateuren ohne Balancierstange und Netz. (Любовь есть ничто иное, как танец на канате, исполняемый дилетантами без шеста и страховочной сети). – В данном и последующих афоризмах, за исключением одного, тематическая доминанта представлена лексемами одного деривационного гнезда, но здесь также использована топикальная юнктура с темой «Цирк».

(1.1.2) Der Mann hat eine **Liebe**: die Welt. Die Frau hat eine Welt: die **Liebe**. (У мужчины одна любовь: это мир. У женщины один мир: это любовь). – Пример афористической симплификации Альтенберга, использовавшего гендерные обозначения и лексему Welt для комментирования основной тематической доминанты. Такой приём, похожий на расстановку шахматных фигур для оригинальной комбинации, автор использует и в других симплификативных афоризмах.

(1.1.3) **Lieben** wollen ist das Bedürfnis latenter überschüssiger Kräfte unseres Organismus, in andere Organisationen auszuströmen. Geliebt werden wollen hingegen das Bedürfnis mangelnder latenter Kräfte, sich durch andere einströmende zu ergänzen. (Желание любить – это потребность в том, чтобы скрытые избыточные силы нашего организма перетекали в другие организации. Желание быть любимым, напротив, – это потребность в том, чтобы недостаток скрытых сил был восполнен притоком других). – Афоризм содержит топикальную юнктуру с темой «Организм человека» и построен на физиологическом описании любви, которое не носит, правда, такого откровенного характера, как в слоте «Сексуальные отношения».

Выражения и контрасты: контраст между теми, кто вовлечен в любовь, и теми, кто не вовлечен. Доверие и вера в любимого человека, несмотря на возможное злоупотребление.

(1.1.4) So mancher mag in deiner süßen Nähe begeistert sein – mich aber macht erst **liebeskrank** die Ferne! (Пусть иной восторгается твоим сладостным обществом, меня же наполняет любовной мукой разлука).

(1.1.5) Sie gingen selbander. Er sagte: "*Jetzt erst* **liebe** ich dich *ganz*!" Sie erwiderte: "*Jetzt erst* **liebe** ich die Natur *ganz*!" (Они шли вдвоём. Он сказал: "Только теперь я полностью полюбил тебя!" Она ответила: "Только теперь я полностью полюбила природу!"). – Тематическая доминанта основана на антитезе разных видов любви, а также присутствии и отсутствии влюблённости в партнёра. Топикальная юнктура с темой «Природа» служит основой этой антитезы.

(1.1.6) Sie fragen mich: "Soll man also seine zärtlich Geliebte eigentlich *nicht* **liebhaben**?!" O ja, aber immer *noch mehr* die huschende Smaragdeidechse, die tirilierende Lerche, den schweigenden Wald! (Вы спросите меня: "Значит, на самом деле вы не должны обожать свою нежно любимую?" О да, но ещё больше - юркую изумрудную ящерицу, щебечущего жаворонка, молчаливый лес!) – Вновь используется топикальная юнктура с темой «Природа», которая в данном случае служит выражению градации любви.

(1.1.7) **Liebesbrief**: "Oh, ich habe ein so grenzenloses Vertrauen zu Ihnen, dass ich es auch dann nicht verlieren könnte, wenn Sie es missbrauchen würden!" (Любовное письмо: "О, я испытываю к Вам такое безграничное доверие, что не смогу утратить его, даже если Вы им злоупотребите!") – Данный афоризм включает указание на тематическую доминанту лишь в анонсе цитаты, которая представляет собой скрытое побуждение партнёра к желаемому обоими действию («злоупотреблению доверием»).

(1.1.8) Es gibt keinen größeren Gegensatz als die Beurteilung einer **Liebesangelegenheit** von Seiten des Beteiligten und von Seiten des Unbeteiligten. Der eine hat die *Gerechtigkeit* des Herzens, der andere die *Ungerechtigkeit* objektiver Beurteilung. (Нет большего контраста, чем суждение о любовных отношениях со стороны человека, вовлеченного в них, и со стороны человека, не вовлеченного в них. В одном случае действует справедливость сердца, в другом - несправедливость объективного суждения.) – Основная доминанта дополня-

ется комментирующей (Gerechtigkeit/Ungerechtigkeit) и строится на двух антитезах (влюблённые – посторонние лица, сердце – объективная оценка).

1.2. Слот **Frau**:

В процессе анализа альтенбергизмов этого слота представляется целесообразным выделять подчёркиванием, помимо тематической доминанты слота, *субтопикальные маркеры*, уточняющие смысл афоризма и творческую задачу автора, решаемую с его помощью.

Роль женщины в любви: женская скромность и поиск идеальных черт в человеке. Влияние постоянной похвалы на потребность женщины в удовлетворении.

(1.2.1) Die **Frauen**seele ist bescheiden: Sie sucht Jesus Christus und Napoleon, Diogenes und Hölderlin vereint in einem Wesen. (Душа женщины скромна: Она стремится обрести Иисуса и Наполеона, Диогена и Гёльдерлина в одном мужчине). – Афоризм строится как тезис, включающий тематическую доминанту и субтопикальный маркер, и его обоснование. Интерпретация афоризма предполагает определённый интеллектуальный и образовательный уровень читателя.

(1.2.2) Wenn man einer **Frau** es ununterbrochen mitteilt, wie wunderbar schön sie sei, ist sie so befriedigt, daß sie gar nicht mehr "befriedigt" werden will! (Если непрерывно говорить женщине, как она чудесно прекрасна, она будет настолько удовлетворена, что больше не захочет, чтобы её "удовлетворяли"!) – Субтопикальный маркер представлен глаголом befriedigen (удовлетворять), допускающим двусмысленное толкование, на котором основан афоризм.

Отношения и собственный интерес мужчины:

(1.2.3) Mich interessiert an einer **Frau** meine Beziehung zu ihr – nicht ihre Beziehung zu mir! (Что меня интересует в женщине, так это мои отношения с ней, а не её отношения со мной!) – Пример симплификативного афоризма, строящегося вокруг субтопикального маркера Beziehung.

(1.2.4) Im Augenblick, da man eine **Frau** »sein Eigen« nennt, ist sie es schon nicht. (В тот момент, когда называешь женщину «своей собственной», она уже таковой не является). – Тематическая доминанта комментируется субтопикальным маркером, подразумевая юнктуру с темой «Собственность».

Обман и разочарование: женщины прилагают больше усилий и умения, чтобы скрыть свои недостатки. Взаимные разочарования в отношениях с женщинами.

(1.2.5) **Frauen** bemühen sich viel länger und viel geschickter als die Männer, es zu verbergen, daß sie ein großer Mist sind. Jedenfalls haben sie ein größeres Interesse an der Sache. (Женщины гораздо дольше и намного искуснее мужчин пытаются скрыть тот факт, что они большое дерьмо. Во всяком случае, они больше заинтересованы в этом вопросе.) – Все афоризмы этой субтопикальной группы являются примерами мизогинии, в которой обвиняли Альтенберга. Однако в данном случае (персифляжа, двусмысленного комплимента) автор прибегает к прагматической митигации, чтобы снизить агрессивность высказывания. Этот же приём применяется им в следующих трёх афоризмах.

(1.2.6) An der **Frau** erlebt man nicht nur die Enttäuschungen, die sie uns bereitet, sondern auch jene, die wir ihr bereiten. (С женщинами мы переживаем не только те разочарования, которые они приносят нам, но и те, которые мы приносим им).

(1.2.7) Denn sich selbst ist man in Weibes Nähe Phantom, Gespenst, wie ein anderer, der man sonst nicht ist! (Ибо, когда ты рядом с женщиной, ты становишься фантомом, призраком, кем-то, кем ты обычно не являешься!).

(1.2.8) Eine **Frau**, der ich ihr Alles bin – eine nette Idiotin. Nun solltet Ihr einmal schreiben: „Ein Mann, dem ich sein Alles bin – verfluchter Idiot!“ (Женщина, для которой я её всё, – милая идиотка. Теперь вы должны написать: "Мужчина, для которого я его всё, – проклятый идиот!").

Идентичность и самосознание: трагизм женской судьбы с призывом к её принятию или изменению. Отражение характера человека через выбранного им партнера.

(1.2.9) Das Verhängnis, ja die Tragik so manchen **Frauen**schicksals: "Wie ich bin, so bin ich nun einmal! Wem's nicht recht ist, der mache sich's anders (statt: der mache mich anders)!" (Роковая судьба, поистине трагедия многих женских

судеб: "Какая я есть, такая и есть! Кому это не подходит, пусть ищет другую (вместо: пусть сделает меня другой)!") – Иронических характер афоризма подчёркивает комментарий автора в скобках, предлагающий альтернативу «трагизму» женской судьбы.

(1.2.10) Zeige mir Deine **Auserwählte** – und ich werde Dir sagen, wer Du bist! Nein, ich werde es Dir nicht sagen, denn ich bin meist zu feinfühlig dazu! (Покажи мне свою избранницу, и я скажу тебе, кто ты! Нет, не стану тебе ничего говорить, для этого я слишком чувствительная натура!). – Модифицированное высказывание М. де Сервантеса Сааведра («Скажи мне, кто твой друг…») включает косвенное выражение тематической доминанты (Auserwählte) и митигацию основного заявления писателя.

Возраст и привлекательность: Предпочтение красоты в женщинах любого возраста.

(1.2.11) Eine **Frau** ist immer *zu alt*, und nie nie *zu jung*! (Женщина всегда слишком стара, но никогда, никогда не слишком юна!) – Афоризм симплификативного типа, основанный на антитезе субтопикальных маркеров.

(1.2.12) Das Gesetz schreibt uns vor: von vierzehn an! Aber das Gesetz ist nicht von *Künstlern* entworfen. *Unser* Geschmack sagt: In *jedem* Alter, wenn **du** nur sehr *schön* bist! Freilich heißt es da wie in der Bibel: "Er hatte ein *Auge* auf **sie** geworfen!" Aber wirklich nur das *Auge*, dieses *ideale* Lustorgan! (Закон говорит нам: с четырнадцати лет! Но закон разработан не художниками. Наш вкус говорит: в любом возрасте, если только вы очень красивы! Конечно, как в Библии, говорится: "Он положил на неё глаз!". Но на самом деле только глаз, этот идеальный орган вожделения!) – Помимо субтопикальных маркеров, в построении афоризма задействованы топикальные юнктуры с темами «Религия» и «Внешность человека».

Цинизм и доверие: Различные реакции на жесты щедрости или оскорбления.

(1.2.13) An **Fräulein** …: Glauben Sie mir, Sie irren sich, ich kann Ihnen *wirklich* gar nichts bieten! Denn das Bieten hängt *nicht* vom Reichtum des *Gebers*, sondern vom Reichtum des Nehmers ab! (Поверьте, вы ошибаетесь, я действи-

тельно не могу вам ничего предложить! Потому что предложение зависит не от богатства дающего, а от богатства берущего!) – Афоризм представляет собой скрытое обвинение реципиента в отсутствии духовного богатства. Пример иронического афоризма, требующего интеллектуальных усилий для его интерпретации, на которые данный реципиент, по всей видимости, не способен. Афоризм ориентирован тем самым на читающую просвещённую публику.

(1.2.14) Strindberg hatte recht: Man darf geliebten **Frauen** nicht trauen! Aber er fasste es als *Problem,* über das man nachdenkt. Das ist falsch. Man muss es als *unumstößliche Tatsache* fassen, für *ewig*. (Стриндберг был прав: нельзя доверять любимым женщинам! Но он сформулировал это как проблему, над которой нужно поразмыслить. Это неправильно. Вы должны принять это как неопровержимый факт, навсегда.) – Мизогинный афоризм, в котором субтопикальный маркер дополняется антитезой Problem – Tatsache.

(1.2.15) Es gibt kein laues Bad von 27 Grad und keine gute Kernseife, die nicht jede Sünde der **Frau** hinwegwüschen! (Нет такой теплой ванны в 27 градусов и такого хорошего хозяйственного мыла, которые не смыли бы все грехи женщины!) – Мизогинный афоризм, в котором отсутствует субтопикальный маркер. Его функции выполняет текст всего афоризма.

Социальные нормы и поведение: крайние меры, на которые могут пойти женщины ради мнимой пользы.

(1.2.16) ***Sie*** bezahlte Champagner und *beleidigte* mich durch die Art, wie sie es tat! *Ich* zahlte Champagner, und sie *versöhnte* mich durch die Art, wie sie es annahm! (Она заплатила за шампанское и оскорбила меня тем, как она сделала это! *Я* заплатил за шампанское, а она примирила меня тем, как приняла его!) – В данном и следующем микротекстах тематическая доминанта выражена косвенно – с её заменой местоимением или синонимом. Субтопикальными маркерами являются глаголы, обозначающие действия или поступки в ситуациях, которые, по всей видимости, писатель испытал на себе.

(1.2.17) Wenn ein Blumenmädchen in einem Vergnügungslokale an deinen Tisch tritt, dir für deine **Dame** eine Rose anzubieten, so muss die Dame *sofort* erklären, dass sie keine wünsche. Sonst macht sie sich *ebenfalls* einer Erpressung schuldig! (Если к вашему столику в кабачке подойдет цветочница и предложит розу для вашей дамы, та должна немедленно заявить, что не хочет её. В противном случае она будет также виновна в шантаже!).

(1.2.18) Wenn die **Frauen** es *einsähen,* dass *Fasten* eine *Verjüngungskur* sei, würden sie sich zu Tode fasten! (Если бы женщины осознали, что пост – это омолаживающее лекарство, они бы постились до смерти!) – Иронический афоризм, для которого использована топикальная юнктура с темой «Здоровье».

Энергия и воздействие: значительный отток энергии из-за отношений с женщинами. Представление о том, что не потеря любимого человека должна вызывать горе, а скорее горе тех, кто остался.

(1.2.19) **Frauen** nehmen uns drei Viertel unserer Lebensenergien weg. Wenn wir sie aber *nicht* hätten, hätten wir *überhaupt keine* Lebensenergien. Freilich, es gibt noch andere Stimulantien unserer Maschinerie: Eitelkeitsbefriedigungen, Ehrgeiz und Geldsucht. Aber das sind Phantome. Der Leib der Frau ist leider eine Tatsache! (Женщины забирают у нас три четверти нашей жизненной энергии. Но если бы у нас их не было, то не было бы вообще никакой жизненной энергии. Конечно, есть и другие стимуляторы нашего механизма: удовлетворение тщеславия, честолюбие и жажда денег. Но это фантомы. К сожалению, тело женщины – это факт!) – Автор вновь использует митигацию в достаточно мизогинном афоризме.

Физическое и эмоциональное: важность глубокой духовной и эмоциональной связи в физических отношениях.

(1.2.20) Genieße erst eine **Frau**, wenn dich *die Sehnsucht nach ihr verzehrt*! Auch hier gilt das Sprichwort: Hunger ist der *beste Koch!* (Наслаждайся женщиной только тогда, когда тебя истощит тоска по ней! Здесь тоже применима поговорка: голод – лучший повар!).

1.3. Слот **Geliebte**:

Тематическая доминанта слота выражена синонимичными лексемами со значением «любовница» как в высоком, так и в сниженном регистре. Субтопикальные маркеры представляют собой глаголы со значением действий, связанных с ней (потерять, оплакивать, прощать, изменять, оставаться и пр.).

(1.3.1) Nicht um die **Geliebte** weine, die du verloren – um Die weine, die Dir geblieben sind! (Горюй не о той возлюбленной, что ты потерял – о тех горюй, что с тебой остались).

(1.3.2) Wenn meine geliebteste **Geliebte** mich mit Albert Bassermann, mit Puccini, mit Chamberlain betröge – das könnte ich verstehen, verzeihen! Aber wenn sie mich mit S. G. betrügt – das verzeihe ich ihr noch leichter, denn *das* wird sie *bereuen*! (Если бы моя самая любимая любовница изменила мне с Альбертом Бассерманом, с Пуччини, с Чемберленом - я бы понял и простил это! Но если она изменит мне с С. Г. – я прощу её ещё легче, потому что она сама пожалеет об этом!). – Интерпретация этого афоризма требует дополнительной информации об упоминаемых персоналиях – немецком театральном и киноактёре А. Бассермане (1867–1952), итальянском композиторе Дж. Пуччини (1858–1924), британском политике Н. Чемберлене (1869–1940), отличавшихся не только мужской красотой, но и выдающимися талантами в своей области.

(1.3.3) Ich habe eine **Freundin**, die immer eine Ausrede hat, um *dazubleiben*; und eine, die immer eine Ausrede hat, um *nicht* dazubleiben. Jetzt denke ich in einem fort nach, welche mich weniger stört!? (У меня есть подруга, у которой всегда найдётся повод остаться у меня, и подруга, у которой всегда найдётся повод не оставаться у меня. Теперь я всё время думаю, которая из них мне меньше мешает?).

(1.3.4) Zum Beispiel bei einem gefährlichen Straßenübergang, Tramways, Autos, Menschen, da hab' ich **dich** am liebsten, bin zärtlich besorgt. Aber auf der Promenade, was kann **dir** geschehen?! Doch! Einer geht vorüber, hat elegante Lack-Knöpfel-Schuhe an. *Langeweile,* dein Name ist *Treubruch*! (К примеру, на опас-

ном перекрестке, трамвайных путях, около автомобилей, толпы – вот где ты мне дороже всего, я нежно волнуюсь за тебя. Но во время променада что с тобой может приключиться? А всё же! Кто-то пройдёт мимо, в элегантных лакированных туфлях с гетрами. Скука, твоё второе имя – измена!) – Афоризм содержит метафорическую топикальную юнктуру с темой «Мужская обувь».

(1.3.5) *Alles* kann man in der Welt, nur das Eine nicht: einem **Mädel**, dem man einmal zwanzig Kronen geschenkt hat, ein nächstes Mal zehn Kronen geben. *Das* kann man *nicht*! (Вы можете сделать всё на свете, кроме одного: дать десять крон девушке, которой вы уже однажды дали двадцать крон. Это сделать невозможно!).

(1.3.6) *Gefährlich* sind nur *die* Dinge, die du auf die Dauer verträgst! Ein festes Verhältnis, die Ehe und Mehlspeisen! *Fett* und **die *Hure*** sind *ungefährlich*! (Опасны только те вещи, которые вы можете терпеть в течение длительного времени! Устойчивые отношения, брак и пирожные! Жир и шлюха не опасны!). – Данный и предыдущий афоризмы затрагивают тему продажной любви, дополняемой здесь топикальной юнктурой с темами «Брак» и «Питание».

1.4. Слот **Eifersucht**:

(1.4.1) Die **Eifersucht** ist keine Leidenschaft. Es ist eine Furcht! Die tiefste Furcht, die ewige des Lebens, die unentrinnbare organische Furcht, etwas zu verlieren, ohne das man nicht mehr lebendig sein kann – seine Lunge, sein Rückenmark, sein Gehirn, das Herz des anderen, welches unseres geworden ist und welches unseren Blutkreislauf erhält und schützt wie das eigene. (Ревность – не страсть. Это страх! Глубочайший страх, вечный спутник жизни, неизбежный органический страх потерять нечто, без чего более невозможно жить – легкое, спинной мозг, головной мозг, сердце другого человека, ставшие твоими и сохраняющие, и оберегающие твоё кровообращение, как твоё собственное). – Тематическая доминанта комментируется при помощи лексем, создающих топикальную юнктуру с темой «Организм человека».

1.5. Слот **Treue**:

(1.5.1) Es gibt nur einen einzigen wirklichen Größenwahn – der Glaube eines Mannes an die **Treue** einer geliebten Frau. (Существует лишь одна истинная мания величия – вера мужчины в верность любимой женщины).

1.6. Слот **Hand**:

(1.6.1.) Die Berührung einer geliebten **Hand** gibt Götterkräfte. Die Berührung einer ungeliebten Hand macht grämlich! (Прикосновение руки любимой придает божественные силы. Прикосновение руки нелюбимой приводит в мрачное состояние).

(1.6.2) Eine **Hand** wird zusehends schöner, wenn man sie streichelt. (Рука становится заметно красивее, когда вы её гладите).

Слот 1.7. **Sex:**

Тематическая доминанта слота выражена при помощи синонимичных лексем и словосочетаний (Geschlechtsakt, sexuelle Dinge, geschlechtliche Beziehungen, das Nackte). Аналитический запрос к ИИ позволил определить следующие субтопики, связанные с сексуальными отношениями, которые «отражают тонкое исследование сексуальности, подчеркивая взаимодействие между телесностью, эмоциями, доверием и общественным восприятием»:

Физические и эмоциональные аспекты: сексуальный акт описывается как грубый процесс. Представление о том, что обсуждение сексуальных вопросов должно быть естественным.

(1.7.1) Der **Geschlechtsakt** ist ein atavistischer, historisch gänzlich unzulänglicher, roher, seelenloser und schwächlicher Vorgang. (Половой акт - это атавистический, исторически совершенно неадекватный, грубый, бездушный и слабенький процесс).

(1.7.2) **Sexuelle Dinge** nicht besprechen?!? Wie wenn der Botaniker sagte: "Wir wollen uns auf das Wurzelleben der Pflanze nicht weiter einlassen...." (Не обсуждать тему секса?? Это, как если бы ботаник заявил: «Давайте не углубляться в корневую жизнь растения…».) – Афоризм содержит топикальную юнктуру с темой «Природа».

Восприятие наготы: единственная непристойность наготы заключается в том, чтобы считать наготу непристойной.

(1.7.3) Es gibt nur eine Unanständigkeit des **Nackten**… das Nackte unanständig zu finden! (Есть только одно неприличие в обнаженном виде... считать обнаженное неприличным!)

Интимность и привязанность: настоящие сексуальные отношения должны быть кульминацией духовной и эмоциональной связи.

(1.7.4) Die **geschlechtliche Beziehung** sei die Krönung dieses Tempels, "geistig-seelischer Zusammenhang" und erst wenn man alle Zärtlichkeiten eines liebevollen Papas, eines liebevollen Bruders hat, hat man das göttliche Recht, das zärtlich geliebte und romantisch idealisierte Geschöpf in seine Arme zu nehmen! (Сексуальные отношения являются венцом этого храма "духовной и эмоциональной связи", и только когда человек обладает всей нежностью любящего отца, любящего брата, он имеет божественное право принять в свои объятия нежно любимое и романтически идеализированное существо!) – Автор комментирует тему слота с привлечением топикальной юнктуры с «Религией», а также с темой «Семья».

В то же время ИИ выявил шесть субтопиков, имеющих отношение как к сексуальным связям, так и к слотам, рассмотренным ранее, в которых эта тема была представлена второстепенной доминантой (афоризм 2.2) либо выражена имплицитно. В частности, речь идёт о следующих субтопиках:

Природа сексуальности: сексуальность и деньги как настоящие тайны жизни.

Гендерная динамика: у мужчин есть любовь к миру, а у женщин - мир любви. Любовь – это выражение скрытых избыточных сил.

Доверие и предательство: утверждение Стриндберга о том, что нельзя доверять любимым женщинам. Вера в верность любимой женщины как единственное истинное заблуждение.

Влияние женщин на жизненную энергию мужчин.

Такие стимуляторы мужчины, как тщеславие, амбиции и жадность, суть фантомы, по сравнению с реальностью женского тела.

Эмоциональная зависимость: ревность как глубочайший страх потерять что-то жизненно важное. Прикосновение любимой руки.

Эти субтопики представляют большой интерес, с точки зрения выявления топикальных юнктур между афоризмами, имеющих исключительно имплицитный характер и важных для понимания тех взаимосвязей, которые характерны для афористического мышления Альтенберга, равно как и тех проблем, которые представлялись ему существенными.

1.8. Слот **Affäre**:

(1.8.1) Die Hoffnung, mit dem billigsten, was es auf Erden gibt, dem schönen liebenswürdigen Wort, sich aus **der Affäre** zu ziehen, ist größer als der Zwang der Anständigkeit, den die schlichte Wahrheit erfordert. (Надежда выпутаться из интрижки с помощью самого дешевого на свете – красивого, любезного слова – сильнее, чем принуждение к приличию, которого требует простая правда.).

1.9. Слот **Herz:**

(1.9.1) Man *verliert* sein Herz an so vieles, da kann man es doch auch einmal an etwas *gewinnen*! (Вы теряете свое сердце из-за многих вещей, так что вы можете обрести его для чего-то хорошего!)

Фрейм 5. *Талант:*

Для описания и характеристики данного фрейма представляется целесообразным вновь соединить субтопики, выделенные ИИ в ходе анализа макротекста афоризмов П. Альтенберга, с конкретными примерами их реализации.

5.1 Слот **Genius**:

Определение и характеристики: гениальность, возникающая в результате инстинктивного, мгновенного озарения подсознания.

(5.1.1) Gott denkt in den **Genies**, träumt in den Dichtern und schläft in den übrigen Menschen. (Господь Бог живет в мыслях гениев и мечтах поэтов, а в остальных людях он лишь спит) – Второстепенные тематические доминанты – «Бог», «Поэт», «Человек» – использованы афористом для создания контраста с основной доминантой «Гений».

(5.1.2) **Gottbegnadete** haben es nicht nötig, die Bourgeoisie nicht zu kränken. (Обладающие божественным даром не нуждаются в том, чтобы оставлять буржуазию без оскорблений). – В качестве контраста использована тематическая доминанта «Буржуазия».

(5.1.3) Schriftsteller sein *ist,* erst *während* des Schreibens seinen eigenen **geistigen**, seelischen **Kulminationspunkt** erreichen! (Быть писателем – значит достичь своей собственной духовной кульминации только в процессе написания!).

(5.1.4) Nur das, was wir **in uns haben**, können wir auch außer uns erblicken! (Мы способны увидеть вне себя лишь то, что заложено в нас!). Как следует из этих и приводимых ниже примеров, тематическая доминанта представлена не только прямой номинацией, но и синонимами и словосочетаниями, описывающими акты озарения и обладания талантом.

Контраст с посредственностью: разница между гением и обычным человеком (См. также имплицитные топикальные юнктуры с фреймом «Критика»).

(5.1.5) Es ist traurig, eine **Ausnahme** zu sein. Aber noch viel trauriger ist es, keine zu sein. (Печально быть исключением. Однако гораздо печальнее не быть им).

Работа и продуктивность: гениальность предполагает эффективное использование энергии и ресурсов.

(5.1.6) Mit Ersparnissen an Verdauungsarbeiten wird man zum **genialen Menschen**! Das Genie ist nichts anderes als ein natürlicher Akkumulator von ersparter Arbeit im Organismus! (Экономия пищеварительного труда делает вас гениальным человеком! Гений – это ничто иное, как природный аккумулятор сэкономленного труда в организме!) – В афоризме использована топикальная юнктура с темой «Организм человека».

Признание и влияние: признание и непонимание гениев обществом. Влияние общественного мнения на восприятие гениальности.

(5.1.7) Ich bin keine *Krücke* für die *Lahmen,* ich bin ein **Flügel** für die *Gehenden,* dass sie *schweben* können! (*Я* не костыль для хромающих, я крыло для идущих, чтобы они могли воспарить!) – Автор прибегает к лексемам, созда-

ющим юнктуру с темой «Болезнь» и позволяющим построить метафорическую антитезу «обычные люди – люди, способные проявить фантазию».

Критика и самовосприятие: сравнение автором себя с другими гениями и мнения критиков. Самосознание и уверенность гения в своих силах. В афоризмах этого слота критическое отношение к современникам выражено имплицитно, в отличие от слота «Критика», рассматриваемого ниже, однако тематическая связь этих слотов очевидна.

(5.1.8) Viele Dinge in diesem Büchlein haben den Charakter von flüchtigem **Dilettantismus**. Immerhin besser als schwerfälliger Bücherwurmismus! (Многое в этой книге отдает дилетантизмом. Но это всё же лучше, чем тягостный книжный червизм).

(5.1.9) Einer schrieb über mich, ich sei eigentlich das typische "Kaffeehaus-**Genie**". Ja, gegen einen *Knut Hamsun* bin ich es vielleicht, ich sage unbescheiden "vielleicht". Aber gegen den, der das geschrieben hat, bin ich wahrscheinlich noch immer Zeus, Allvater und Gott selber! (Некто написал обо мне, что я на самом деле типичный "гений кофейни". Да, по сравнению с Кнутом Гамсуном, я, наверное, такой, я нескромно говорю "наверное". Но по сравнению с тем, кто это написал, я, вероятно, всё же сам Зевс, Всеотец и Бог!)

Интеллектуальная и эмоциональная глубина: глубина мысли и эмоций, характерная для гения. Способность лаконично и мощно выражать сложные идеи.

(5.1.10) Niemand kann das erträumen, was nicht in ihm bereits **im Keime eingeschlossen** liegt! Man erträumt nur seine eigenen Wirklichkeiten, seine idealen Möglichkeiten! (Никто не сможет представить в своих мечтах то, что ещё не заключено в нем в зачатке! Нам являются в мечтах только наши собственные реальности, наши идеальные возможности!).

Духовные и философские прозрения: философские размышления и прозрения, которые исходят от гения. Взаимосвязь между материальными и духовными аспектами гениальности.

(5.1.11) Unser Organismus ist ein Kapital, mit dem man in Weisheit ein **Rockefeller**-Vermögen machen oder in Dummheit Bankrott machen kann! (Наш ор-

ганизм - это капитал, который можно использовать, чтобы стать Рокфеллером, если действовать мудро, или разориться по глупости!)

В целом тематические доминанты этого фрейма носят синонимичный (Genie, Gottbegnadete, Ausnahme, geniale Menschen, geistiger Kulminationspunkt), антонимичный (Dilettantismus) или метафорический характер (Rockefeller, in uns haben, im Keime eingeschlossen, Flügel)

Важно обратить внимание на три субтопика, выделенных ИИ в связи с темой гениальности, но представленных афоризмами других фреймов и слотов, включающими персоналии значимых личностей в мировой истории и культуре:

Историческое и культурное влияние: продолжительное влияние гениев на культуру и историю. Сравнение с историческими фигурами и их вкладом.

Творчество и оригинальность: истинное искусство как нечто, делающее жизнь более яркой, исходящее из исключительного и соединяющееся с повседневностью.

Художественное самовыражение: искусство и гениальность взаимосвязаны, а искусство делает жизнь более живой. Изображение красоты в повседневных предметах и сценах как художественная деятельность.

Последние два из упомянутых субтопиков представлены слотом «Искусство», включающим семь афоризмов.

5.2. Слот **Kunst**:

(5.2.1) Das ist es! **Kunst** ist etwas, was das Leben lebendiger macht. Denn was wäre es sonst, wenn es, aus Lebendigem entsprungen, nicht lebendiger wäre als dieses? (Вот оно что! Искусство – это то, что делает жизнь более живой. Ибо чем ещё оно может быть, произойдя от живого, если не более живым, чем сама жизнь?)

Искусство как явление, оживляющее жизнь. Оно рассматривается как неотъемлемая часть существования, усиливающая живость, исходящую от живых существ. Многократное обыгрывание субтопикального маркера является основой этого афоризма.

(5.2.2) Wir wollen die **Kunst**, dieses Exzeptionelle, dem Alltage vermählen. Die Hand der Dame R. H. ist ein Kunstwerk Gottes. Oder das im Volksgarten spielende Kind R. O. Oder das Schreiten eines Alt-Aristokraten über die Straße. Der Reichtum des Daseins, nahe gerückt für die, deren notwendige Geschäftigkeit sie hindert, ihn zu erleben! (Мы хотим соединить искусство, эту исключительную вещь, с повседневной жизнью. Рука дамы Р. Х. – это шедевр Господа. Или ребенок Р. О., играющий в саду «Фольксгартен». Или походка потомственного аристократа на другой стороне улицы. Богатство бытия, приближенное к тем, чья вынужденная занятость мешает его ощутить!) – Повседневная эстетика: подчеркивается слияние искусства с повседневной жизнью. Автор использует несколько топикальных юнктур – с темами «Религия», «Вена», «Внешность человека».

(5.2.3) Die Japaner **malen** einen Blütenzweig, und es ist der ganze Frühling. Bei uns malen sie den ganzen Frühling, und es ist kaum ein Blütenzweig. (Японцы рисуют цветущую ветку, а видишь весну как таковую. У нас рисуют весну как таковую, и это не тянет даже на цветущую ветку). – Влияние японского искусства, его точность и минимализм как субтопик данного афоризма поддерживается метонимической парой «весна – цветущая ветка».

(5.2.4) Nichts geht verloren von den Herzens-Kräften. Und das Winseln eines ausgesperrten Hundes kann an das Ohr eines **Musikers** dringen, der es in eine **Symphonie** umwandelt: Treue und Sehnsucht. (Ничто из сердечных сил не пропадает. Даже вой запертой собаки может дойти до слуха музыканта, который превратит его в симфонию под названием «Преданность и тоска».). – Способность музыки трансформировать эмоции и переживания. Афоризм построен на топикальной юнктуре с темой «Домашние животные».

(5.2.5) Der Kirchthurm ragt –. Und wie in Frost erstarrt sind die Geräusche. Da rieselt von überladenen harten Fichtennadeln harter Schnee in Klümpchen ab –. Dann wieder Stille, Stille, Stille –. Und der Dichter sagt: »Ich höre die **Symphonieen** der Stille!« (Возвышается церковная башня. И звуки словно застыли на морозе. Вот с перегруженных жестких сосновых игл сыпятся комочки твердого снега. Потом снова тишина, тишина, тишина. И поэт говорит: "Я слышу симфонии тишины!"). – Тишина как симфония: поэт ценит симфонии, воз-

никающие в тишине и спокойных моментах природы, иллюстрируя художественную ценность неподвижности и природных звуков при помощи соответствующих топикальных юнктур.

(5.2.6) **Porträtkunst** ist, ein Antlitz einemfremden Menschen so plausibel zu machen wie einer liebevollen Mutter, einem liebevollen Bruder, einem liebevollen Verehrer, einem liebevollen Gatten, einem liebevollen Dichter es das lebendige Antlitz selbst macht. Oh, oh, oh, O.K. (Искусство портретирования заключается в том, чтобы сделать лик настолько правдоподобным для незнакомца, насколько сам живой лик правдоподобен для любящей матери, любящего брата, любящего поклонника, любящего мужа, любящего поэта. О, о, о, окей). - Цель портретного искусства – создать изображение так, чтобы оно резонировало с любовью и восхищением, испытываемыми членами семьи и близкими друзьями. Тематическая доминанта дополняется пятикратным повторением субтопикального маркера liebevoll.

(5.2.7) Es gibt zwei Sorten moderner **Musiker** – – – die *Ehrlichen*, das sind die, die den Richard Wagner *bestehlen*! Und die *Unehrlichen*, das sind die, die *originell* sind! (Есть два вида современных музыкантов – честные – это те, кто ворует у Рихарда Вагнера! А нечестные – это те, кто оригинален!). – Честность в современной музыке как субтопик данного афоризма содержит также критику современных музыкантов, тем самым – топикальные юнктуры с темами «Преступление» и «Критика».

В качестве имплицитной топикальной юнктуры слота «Критика» с данным слотом ИИ указывает субтопик «Художественная конкуренция: Лучший способ затмить конкурента – восхищаться его сильными сторонами».

1.3. Слот **Kritik**:

Спецификой этого слота является отсутствие прямой номинации данной тематической доминанты, представленной целостным микротекстом.

(5.3.1) Die geschickteste Art, einen Konkurrenten zu besiegen, ist, ihn in dem zu bewundern, worin er besser ist. (Искуснейший способ победить соперника – это восхищаться тем, в чем он вас превосходит).

(5.3.2) Im Titel liegt das, was man gewollt hat. Und im Inhalt das, was man nicht gekonnt hat. (В названии книги - то, чего хотел добиться автор. А в содержании – то, чего он не смог).

(5.3.3) Sich nicht *wehren* können?! Wir können ja doch *denken* und innerlich *guillotinieren*! Dem Danton, Marat, Robespierre entging vielleicht doch so mancher. *Mir keiner*. (Не иметь возможности защитить себя? В конце концов, мы можем думать и гильотинировать про себя! Дантона, Марата, Робеспьера, возможно, избежали многие. Меня не избежал никто.). – В данном и следующем за ним афоризмах использована топикальная юнктура с темой «Великая французская революция».

(5.3.4) Danton, Marat, Robespierre waren gegen mich gehalten geradezu sanfte Lämmchen! Blut bezeichnete ihren Lebensweg. Den meinen "richtigere Erkenntnisse"! (Дантон, Марат, Робеспьер были прямо-таки нежными ягнятами по сравнению со мной! Их жизненный путь был отмечен кровью. Мой - "более правильными осознаниями"!).

(5.3.5) Jemand sagte zu mir: "Ja, wenn Sie es nicht einmal der Mühe wert finden, mir Ihr neues Buch zu schicken, kann ich es nicht rezensieren!" "*Können* Sie es, wenn ich es Ihnen schicke?!" (Некто заявил мне: "Да, если вы даже не можете потрудиться прислать мне свою новую книгу, я не смогу её рецензировать!" "А Вы в состоянии сделать это, если я пришлю её вам?"). – Основу афоризма составляет игра с полисемией модального глагола können (мочь, иметь возможность; иметь разрешение; мочь, уметь).

(5.3.6) Man ist häufig genötigt, in der guten Gesellschaft das Wort "entzückend" auszusprechen. Ich habe daher im Tonfall dabei bereits so viele Nuancen mir zurechtgelegt, dass eine Dame mir einmal, als ich etwas "entzückend" fand, sagte: "Sie grober unverschämter Kerl! So ekelhaft ist es ja doch nicht, wie Sie es finden!" (В хорошей компании часто приходится употреблять слово "восхитительно". Поэтому я уже выучил столько нюансов для своей интонации, что

одна дама однажды сказала мне, когда я нашел что-то "восхитительным": "Вы грубый, дерзкий человек! Это не так отвратительно, как вам кажется!"). – Автор использует в целях иронии, насмешки интонационные вариации при произнесении одного и того же слова entzückend.

(5.3.7) Die, die *über mich* lachen, werden später *über sich* weinen! (Те, кто надо мной смеётся, будут рыдать над собой!). – Инструментом критического высказывания является в данном случае двойная антитеза «надо мной – над собой» и «смеяться-рыдать».

5.4. Слот **Dumm:**

(5.4.1) Der **Dumme** hat eine Ausrede für sich. Dass er dumm ist. Das ist das Gefährliche. Dass man es für eine *Entschuldigung* hält. Es ist – eine *Anklage*! (У дурака всегда есть отговорка. То, что он дурак. Это-то и опасно. Что подобное считают извинением. Это – обвинительное заключение!). – Афоризм содержит топикальную юнктуру с темой "Юриспруденция».

(5.4.2) Es ist das Schrecklichste, mit einer *dummen* Frau Konversation zu führen. Nicht weil sie ***dumm*** ist! Sondern weil man ihr ununterbrochen beweisen muss, dass man sie für gescheit hält! (Это самое ужасное - вести разговор с глупой женщиной. Не потому, что она глупая! А потому, что вам приходится постоянно доказывать ей, что вы считаете её сообразительной!). – Один из мизогинных афоризмов Альтенберга, строящийся на антитезе «глупая – сообразительная».

5.5. Слот **Dichter**:

Этот слот содержит всего три афоризма, в которых тематическая доминанта выражена при помощи лексем одного деривационного гнезда. В то же время, в ходе анализа макротекста ИИ установил семь субтопиков, из которых афоризмам данного слота соответствуют только три:

Близость с природой: глубокая связь поэта с природой иллюстрируется его глубоким знанием каждой тропинки и травинки.

(5.5.1) "Hier kenne ich jeden Steig!", sagte der Tourist. "Hier kenne ich jeden Grashalm!", sagte der **Dichter**. ("Я знаю здесь каждую тропинку!" – сказал турист. "Я знаю здесь каждую травинку!" – сказал поэт.). – Эмоциональная глубина: Основные элементы поэзии включают в себя и слезы, и смех, подчеркивая эмоциональный диапазон, требуемый от поэта.

(5.5.2) Zum Dichten gehören Tränen. Und Lächeln. Wie wenige können bitterlich weinen und herzlich lachen. Ja, bei einem Begräbnis, und bei "Maran" und "Girardi". Aber so, wegen nichts und wieder nichts?! (Слёзы - это часть написания стихов. И улыбки. Как мало тех, кто может горько плакать и искренне смеяться. Да, на похоронах, и на "Маране", и на "Жирарди". Но вот так, из-за пустяка?).

Роль памяти: память крайне важна для поэзии, поскольку она заставляет вспоминать все стороны жизни.

(5.5.3) Zum ***Dichten*** gehört vor allem *Gedächtnis*! Man muss nämlich an alle *schönen* und alle *hässlichen*, an alle *gemeinen* und alle ungemeinen, an alle *lächerlichen* und an alle *tragischen* Dinge des Lebens *zugleich* denken können! (Поэзия, прежде всего, требует памяти! Надо быть в состоянии одновременно помнить всё прекрасное и всё безобразное, всё обычное и всё необычное, всё смешное и всё трагическое в жизни!)

Не заполнены афоризмами этого слота, но указывают на имплицитные топикальные юнктуры с темой «Жизнь» следующие субтопики:

Реализм против мечтательности: поэт противопоставляет мечтателя, который не может дать жизнь, и того, кто живет, который забирает мечту, подчеркивая баланс между мечтой и жизнью.

Осознание времени: поэт размышляет о краткости жизни и неспособности людей создать маленький, мимолетный рай в пределах своего ограниченного времени.

Философские размышления: размышления о вечном, неизбывном желании оставаться в живых как можно дольше без ясной причины, сравнение человечества с локомотивом, выпускающим ненужный пар.

Фрейм 16 «Человеческая натура»

16.1. Слот **Seele**:

Тематическая доминанта выражена одной лексемой Seele.

(16.1.1) Friedvoller Ort! So seien unsere **Seelen**, morgens, abends – wenigstens morgens, abends! (Умиротворенное место! Таковы и наши души, на заре, по вечерам – ну хотя бы на заре и по вечерам!). – Второстепенные доминанты morgens, abends служат средством топикальной юнктуры с темой «Природа».

(16.1.2) Was die **Seele** betrifft, ist das einzige Prinzip, keine Prinzipien zu haben! (Что касается души, то единственный принцип – не иметь никаких принципов!). – Парадоксальный афоризм, пример афористической симплификации Альтенберга.

(16.1.3) Rastlos aber, vom Satan Gejagten gleich, stürmen die anderen enttäuschungsschwangeren Zwecken entgegen, und ihre **Seele** bleibt ungenützt, verdirbt, schrumpft ein, stirbt ab! Jeder Tag bringt einen Abend, und in der Bucht beim Toscana-Garten steht Schilf, und Weiden und Haselstauden hängen über, ein Vogel flüchtet, und alte Steinstufen führen zu weiten Wiesen. Nebel zieht herüber, du lassest die Ruder sinken, und niemand, niemand stört dich! (Но неуёмно, как будто гонимые сатаной, другие устремляются к целям, беременным разочарованиями, а их душа остается невостребованной, портится, дряхлеет, отмирает! Каждый день наступает вечер, и в бухте у тосканского сада растут камыши, нависают ивы и кусты орешника, вспархивает птица, а старые каменные ступени ведут к широким лугам. Надвигается туман, ты опускаешь весла, и никто, никто не мешает тебе!). – Автор персонифицирует душу и вновь использует в качестве комментария топикальные юнктуры с темой «Природа».

(16.1.4) Die Gier nach Geld darf *nur* so weit gerade gehen, um **Seele** und Geist *frei* zu machen *von der Gier nach Geld*! Also: monatlich 600 Kronen! (Жажда денег должна зайти далеко лишь для того, чтобы освободить душу и дух от жажды денег! Поэтому: надо 600 крон в месяц!). – В афоризме присутствуют две равноположенные тематические доминанты (Seele, Geist), а также топикальная юнктура с темой «Деньги».

16.2. Слот **Takt**:

В отличие от предыдущего, в данном слоте использованы лексемы деривационного гнезда Takt, обороты, а также косвенная номинация тематической доминанты – обороты, имеющие отношение к тактичному поведению. В одном афоризме доминанта выражена всем афоризмом.

Субтопики, связанные с тактом и этикетом, включают:

Инстинкт и чувствительность: чувствительность к эмоциям и границам других людей.

(16.2.1) **Takt** ist, immer instinktiv zu spüren, was die anderen noch von dir vertragen! (Такт заключается в том, чтобы всегда инстинктивно чувствовать, что другие ещё могут от тебя вытерпеть!).

Социальное взаимодействие: бестактность. Важность осторожного управления социальными взаимодействиями.

(16.2.2) Aus Mangel an Gesprächsstoff begeht man die gemeinsten **Taktlosigkeiten** und Indiskretionen. (Люди совершают подлейшие бестактности и неосмотрительные поступки из-за отсутствия повода для разговора.). – Редкий случай, когда тематическая доминанта и субтопикальный маркер представлены одной лексемой.

(16.2.3) Ein plötzliches Verstummen, Erbleichen, kann eine schrecklichere Szene sein als das Abschlachten der armen Desdemona durch Othello! (Внезапное молчание, побледнение может быть более ужасной сцена, чем расправа Отелло над бедной Дездемоной!). – В данном афоризме тематическая доминанта передана при помощи всего микротекста, субтопикальный маркер носит имплицитный характер, извлекается из афоризма путём его интерпретации читателем.

(16.2.4) Nein, das Leben ist **taktlos**, übersieht die feinen Pointen…(Нет, жизнь всё же бестактна, она не замечает тонких нюансов…). – Персонификация жизни создаёт топикальную юнктуру с соответствующей темой.

Выражение мнений: опасность использования фраз, которые проникают глубоко в душу. Необходимость искреннего и уважительного общения.

(16.2.5) Wenn jemand im Gespräche sagt: "**Ohne ihnen *nahetreten* zu wollen** selbstverständlich…", tritt er einem direkt mitten in die Seele hinein! (Когда кто-то говорит в беседе: "Не желая вас обидеть, конечно...", он лезет вам прямо в душу!).

(16.2.6) **Taktvoll** sind Frau K …, Fräulein W …, Frau A …, Frau Fr …! Wie beschämend, dass man in der Lage ist, einzelne zu erwähnen! (Тактичны госпожа К..., мадемуазель У..., госпожа А..., госпожа Фр...! Как стыдно, что возможно упомянуть лишь отдельных людей!). – Субтопикальным маркером является целая фраза.

(16.2.7) Eine Tür sachte schließen oder sie dröhnend ins Schloss fallen lassen, ist schon eine ganze *Biographie*! (Тихо закрыть дверь или дать ей захлопнуться – в этом целая биография!). – Как и в афоризме 16.2.3, здесь тематическая доминанта извлекается из интерпретации всего микротекста, описания ситуации, которая представляется автору проверкой тактичности.

(16.2.8) Wenn in einem Geschäfte eine Kundschaft nach einer Ware sich erkundigt, die nicht vorhanden ist, so haben die Verkäufer nicht *stolz-abweisend* zu erklären: "Nein, das führen wir nicht…!", sondern *zerknirscht-reuevoll*. (Если покупатель в магазине спрашивает о товаре, которого нет в наличии, продавцы не должны гордо и пренебрежительно заявлять: "Нет, такое мы не продаём...!", а скорее сокрушённо и покаянно.). – Иронический афоризм касается такта отдельной профессиональной группы, в общении с которой у автора, по всей видимости, происходили неприятные ситуации. Тематическая доминанта и здесь представлена имплицитно и выявляется из контекста афоризма.

Помимо того, ИИ определил ещё шесть субтопиков, свидетельствующих о топикальных юнктурах со слотом 5.3 «Критика», которые в нём не выражены эксплицитно:

Суждение и восприятие: люди находят мелкие недостатки в «мелочах» автора, в то время как он ничего не находит в их «крупных вещах». Влияние общественного мнения и необходимость оставаться верным самому себе.

Культурные и личные стандарты: необходимость сохранять дистанцию как признак собственной культуры. Борьба с общественными ожиданиями и личной аутентичностью.

Конфликт и разрешение: внутренняя борьба с мыслями и гильотинированием мыслей. Управление конфликтами с помощью чуткости и такта.

Поведение и реакции: важность отказа от осуждающих реакций. Реагировать на ситуации взвешенно и адекватно.

Аутентичность и честность: Поощрение честности и подлинного самовыражения без страха осуждения. Сохранение своего истинного «я» в условиях внешнего давления.

Самоуважение и честность: Важность самоуважения и сохранения своей целостности. Не поддаваться влиянию внешних мнений и суждений.

Социальный этикет: Тонкие нюансы социального этикета, например, использование слова «entzückend» с различными оттенками. Правильное поведение и манеры в различных социальных ситуациях.

16.3. Слот **Ratschläge:**

Данный слот основан на использовании глаголов в повелительном наклонении (лексическое выражение тематической доминанты практически отсутствует) и отражает различные аспекты советов, уделяя особое внимание индивидуальной подлинности, критике общепринятых представлений, а также важности самосознания и эмоциональной устойчивости. В частности, речь идёт о советах и наставлениях писателя в следующих областях:

- Общественное мнение и подлинность: Трудность сохранения аутентичности перед лицом общественного мнения и общественных ожиданий.

(16.3.1) **Sei**, der du bist, nicht mehr, nicht weniger, aber der **sei**! (Будь тем, кто ты есть, не больше и не меньше, но будь самим собой!). – Пример афористической симплификации Альтенберга.

(16.3.2) "*Im Rausch*" verspricht man manches, was man dann "*nüchtern*" nicht halten kann! *Nüchtern* verspricht man manches, was man dann *im Rausch*

nicht halten kann! (С пьяных глаз ты даешь обещания, которые не можешь выполнить на трезвую голову! Когда ты трезв, обещаешь то, что не можешь выполнить, когда ты пьян!). – Данный афоризм можно отнести к периферии слота, поскольку в нём нет лексем, имеющих отношение к тематической доминанте, но описание ситуации имплицирует совет не поступать поспешно.

Самопонимание: важность самосознания и понимания собственных потребностей и желаний, а не полагаться на внешнее подтверждение.

(16.3.3) **Horche** auf dich selbst! **Gib** deinen eigenen Stimmen in dir Gehör! **Habe** kein Schamgefühl vor dir selbst! **Lasse** dich nicht abschrecken durch ungewohnte Laute! Wenn es nur die deinigen sind! **Mut zu** deinen Nacktheiten! (Прислушайся к себе самому! Слушай свои собственные внутренние голоса! Не стыдись себя самого! Пусть тебя не пугают незнакомые звуки! Если только они твои! Имей смелость принять свою наготу!). – Комментирующей доминантой в данном афоризме выступает «нагота», создающая топикальную юнктуру с темой «Организм человека». Такая же юнктура содержится и в следующем афоризме.

(16.3.4) **Zeige**, daß dein Schädel als ein geräumiges adeliges Gefäß für ein Welt-Gehirn intendiert war vom Schicksal und daß dein Antlitz durch die Nase nicht zu einem bekümmert zu Boden gerichteten, sondern zu einem geradeaus in das Leben oder sogar ein wenig in die Sterne blickenden werde! (Покажи, что твой череп предназначен судьбой быть вместительным, благородным сосудом для мирового мозга и что твой лик благодаря носу будет не тем, что печально уставилось на землю, а тем, что смотрит вперед, на жизнь или даже немного вверх, на звезды!).

(16.3.5) **Verlasse Dich** nicht auf die noch so scheinbar liebevolle, aber rücksichtslose Außenwelt, sie hat, sie kann von Deinen Lebens-Mysterien keine Ahnung haben. **Verlasse Dich** auf Dich selbst! (Не полагайся на внешний мир, кажущийся полным любви, но на самом деле безжалостный. Он не может иметь ни малейшего представления о мистериях твоей жизни. Положись на

себя!). – В этом афоризме присутствует топикальная юнктура с темами «Мир» и «Жизнь».

Эмоциональная устойчивость: поощрение оставаться стойким и верным себе, несмотря на суждения и ожидания других.

(16.3.6) Man *säuft* – – – um zu *vergessen*! Ja, aber *was*?! Dass man *nicht* Hofrat geworden ist?! Dass Fräulein *XYZ* uns *nicht* erhört hat?! Dass die Promesse nicht gezogen wurde?! Saufe, *Mensch*, weil ein fremdes uneheliches Mäderl von der Mutter, die einen anderen dann geheiratet hat, zu Tode gemartert wurde! Da ***sauf*e**, um zu *vergessen*! (Пьёшь – – – – – чтобы забыть! Да, но что?! Что ты не стал судебным консультантом?! Что мисс XYZ тебя не услышала?! Что долги не списали?! Пей, парень, потому что чужая незаконнорождённая девочка была замучена до смерти своей матерью, которая потом вновь вышла замуж! Вот когда пей, чтобы забыть!). – Социально-критический афоризм, построенный на противоречивом призыве и юнктуре с темой «Семья».

(16.3.7) **Sei** nicht froh darüber, dass die Menschen dir ununterbrochen Gelegenheit geben, ihre Schändlichkeiten, Eitelkeiten, Hochnäsigkeiten, Vorurteile, Lebenslügen, Stupiditäten zu bekämpfen oder wenigstens lächerlich zu machen…, sondern sei traurig darüber, dass es noch immer so oft *notwendig* ist! (Не радуйся тому, что люди постоянно дают тебе возможность бороться или хотя бы высмеивать их бесстыдство, тщеславие, высокомерие, предрассудки, ложь, глупость..., но огорчайся тем, что это всё ещё так часто необходимо!). – Афоризм основан на антитезе («радуйся – огорчайся») и топикальной юнктуре с «Характером человека».

Духовные и философские идеи: размышления о духовных и философских аспектах жизни, таких как природа счастья, самореализация и состояние человека.

(16.3.8) **Hüte dich** vor dem Imposanten! Aus der Länge des Stiels kann man nicht auf die Schönheit der Blüte schließen. (Остерегайся импозантности! По длине стебля нельзя судить о красоте цветка.). – В качестве комментария использована второстепенная доминанта, связанная с темой «Природа».

(16.3.9) Das Wort ›Prunk‹ darf nie aus der Welt geschafft werden: **prunke** mit Einfachheit! (Слово «роскошь» нельзя истребить: роскошествуй с простотой!). – Автор строит свой афоризм при помощи оксюморона, формулируя очередной остроумный парадокс.

Помимо эксплицитно выраженных советов и наставлений, как показали результаты поискового запроса ИИ, автор дидактически обращается к читателю в следующих случаях:

Критика идеи о том, что каждый должен идти своим путем.

Проблема стремления к идеалам и важность практических подходов к их достижению.

Критика общепринятой мудрости: ставить под сомнение распространенные высказывания и убеждения и подчеркивать необходимость более глубокого размышления над ними.

Слот16.4. **Wissen**:

Данный слот допускает широкую трактовку, включающую различные аспекты знаний: от природы гения и личного потенциала до интеграции искусства в жизнь и критики общепринятых взглядов. Однако опора на эксплицирование тематической доминанты (выраженной здесь лексемами одного словообразовательного гнезда) позволила определить лишь три афоризма, имеющие к ней непосредственное отношение:

(16.4.1) Wenn ein jeder **wüsste**, was er zu wissen hätte, wäre die Welt erlöst! (Если бы каждый знал то, что ему положено знать, мир был бы спасен!).

(16.4.2) **Unwissen** ist die einzige Tragödie des Daseins. Es gibt keine andere. (Невежество – это единственная трагедия бытия. Иной не существует.).

(16.4.3) Wirklich lernen kann man nur das, was man schon **wußte**, bevor man es gelernt hat! Man wird nämlich allmählich ›aufmerksam gemacht‹ im Trubel des Lebens! (По-настоящему можно научиться только тому, что уже знал до того, как начал изучать! Ведь в суете жизни вы постепенно "осознаете" это!).

16.5. Слот **Erziehung**:

Афоризмы этого слота столь же дидактичны, что и микротексты слота «Советы», они отражают не только личное мнение автора о духовных и философских аспектах жизни и о том, как их следует включать в воспитание, но и подчеркивают более широкий, философский подход к нему, акцентируют самопознание, родительскую мудрость и включение повседневной красоты и аутентичности в воспитательный процесс:

(16.5.1) Einen Menschen zu **erziehen**, heißt, ihm zu sich selbst zu verhelfen. Wozu verhilft der gute Gärtner der Rose?!? Zum Rose-Werden! (Воспитать человека – значит помочь ему стать самим собой. В чём помогает розе хороший садовник? Стать розой!). – Метафорическая парная доминанта «садовник-роза» комментирует основную и создает юнктуру с темой «Природа».

(16.5.2) Die Romantik des Alltags ist das vornehmste aller **Erziehungsmittel**. Wir sind nämlich umringt von kostbaren Schätzen, die Tag und Stunde uns freiwillig spenden... (Романтика повседневной жизни – самое благородное из всех средств воспитания. Мы окружены драгоценными сокровищами, которые добровольно дарят нам каждый день и каждый час...).

(16.5.3) An eure Pflicht, **Eltern!** Eltern-Liebe?!? Nein, Eltern-Erkenntnisse! Eltern-Weisheit ersetze endlich die dumme und bequeme Eltern-Liebe! (Принимайтесь за свои обязанности, родители! Родительская любовь?!? Нет, родительский опыт! Родительская мудрость должна, наконец-то, прийти на смену глупой и удобной родительской любви!)

16.6. Слот **Krieg**:

Эту тему писатель затрагивает лишь в двух афоризмах, и только во втором он имеет в виду войну как столкновение армий. Тематическая доминанта представлена одной, но полисемичной лексемой Krieg.

(16.6.1) **Krieg**, **Krieg**! Und **Krieg**! Führen wir doch endlich **Krieg** mit unseren eigenen Miserabilitäten, unseren Schwächen und Unvernünftigkeiten! Den Feind in uns, Stupidität, Gewohnheit, Luxus, Vorurteil, innere Feigheit und Verlogenheit,

müssen wir bekriegen! (Войну, войну! И ещё раз войну! Давайте, наконец, начнём войну против наших собственных убожеств, наших слабостей и неразумностей! Мы должны бороться с врагом внутри нас, с глупостью, привычкой, роскошью, предрассудками, внутренней трусостью и лживостью!).

(16.6.2) Die Rohheit des Menschen zeigt sich nicht erst im **Krieg**, sondern bereits im privaten friedlichen Verkehre! (Грубость человека проявляется в первую очередь не на войне, а в мирном приватном общении!). – Автор призывает в обоих афоризмах к войне с человеческими недостатками, создавая топикальную юнктуру с темой «Характер человека».

16.7. Слот **Gedanken**:

В афоризмах этого слота исследуются различные аспекты мыслей, подчеркивается их практическое применение. Мысли описываются как эффективные, когда они сочетаются с добрыми делами, придающими им смысл. Мысли должны быть краткими и действенными, ведущими к практическим результатам.

(16.7.1) Ich werde immer kürzer in meinen **Gedanken**gängen, und das heißt also immer besser, immer weniger Zeit raubend. Zum Schluß werde ich gar nichts mehr sagen. Das wird das beste sein. (Я всё лаконичнее в своих умозаключениях, а значит, все лучше и лучше, занимая все меньше и меньше времени. В конце концов, я вообще ничего не скажу. Это будет лучше всего).

(16.7.2) Meine ***Gedanken*** sind *gut*! Gebt *ihr* die guten *Taten* dazu! Damit das *Ganze* einen Sinn habe! (Мои мысли хороши! Добавьте к ним добрые дела! Чтобы всё целиком имело смысл!).

В широком смысле мышление представлено и в других фреймах и слотах (например, «Критика», «Талант», «Поэт» и пр.), в которых присутствуют следующие субтопики:

Самообман и рационализация: склонность человека обманывать себя и рационализировать действия мыслями. Задача сохранения честного и ясного мышления среди самообмана.

Критика общепринятой мудрости: ставить под сомнение и оспаривать общепринятые истины и убеждения. Важность критического рассмотрения общепринятой мудрости и не принятия её за чистую монету.

Размышления о природе счастья, самореализации и состоянии человека посредством вдумчивого созерцания. Взаимодействие между мыслями, эмоциями и философскими открытиями.

Роль памяти и опыта: значение памяти в формировании мыслей и важность воспоминания как прекрасных, так и безобразных сторон жизни. Влияние личного опыта на процесс мышления и точку зрения.

Внутренняя борьба и личностный рост: внутренний конфликт между рациональными мыслями и эмоциональными импульсами. Использование вдумчивого размышления для управления личностным ростом и самосовершенствованием.

Общественное мнение и подлинность: влияние общественного мнения на мысли и проблема сохранения аутентичности. Важность оставаться верным своим мыслям, несмотря на внешнее давление.

16.8. Слот **Glück:**

Различные субтопики в афористике Альтенберга исследуют источники человеческого счастья, подчеркивая его преходящий характер, парадокс удовлетворения и взаимодействие между эмоциональными, психологическими и философскими аспектами. В единственном афоризме этого слота, содержащем также топикальную юнктуру с темой «Питание», подчеркиваются парадокс поиска счастья, когда потребности удовлетворены, взаимосвязь между желанием, удовлетворением и переживанием счастья.

(16.8.1) Hungern, hungern, wenn man weiß, man wird *dann* fein zu essen bekommen, ein ***Glück***! Essen, essen, wenn man ausgehungert ist, ein Glück, ein Glück! Aber gegessen *haben, satt* sein, ein *Unglück*! In *dieser* Situation befinden sich alle Glücklichen! Daher sind sie *unglücklich*! (Голодать, голодать, когда знаешь, что тебя потом угостят на славу – счастье! Есть, есть, когда изголо-

дался – счастье, счастье! А вот наесться, насытиться – несчастье! Все счастливые люди оказываются в такой ситуации! Вот почему они несчастны!).

Лексема Glück используется автором ещё только в одном афоризме 3.3. фрейма «Деньги», где она выполняет функцию философского размышления о природе счастья и его роли в жизни человека.

16.9. Слот **Freund**:

На первый взгляд, этот слот должен был бы занимать важное место в жизни писателя, ведущего светский образ жизни в столице империи. Стоило бы ожидать от него в этой связи афоризмов, которые исследуют различные уровни понимания и связи в дружеских отношениях, различия между обычными друзьями и людьми с более глубокими, почти семейными узами. Этой обширной тематике соответствует лишь один афоризм, посвящённый дружбе:

(16.9.1) Ich habe viele ***Freunde***, aber wenig *Brüder*! Freunde sind *die*, die *das noch* verstehen, was sie verstehen *können* an mir! Aber *Brüder* sind *die*, die *auch das noch* an mir verstehen, was sie *nicht mehr* verstehen können! (У меня много друзей, но мало братьев! Друзья – это те, кто ещё понимает то, что может понять во мне! А братья – это те, кто ещё понимает то, что уже не может понять во мне!).

16.10. Слот **Geist**

Анализ макротекста с привлечением ИИ выявил четыре основных субтопика, связанных с «Духом»:

1. *Неэффективность духа*: минимальное воздействие духа, потому что это лишь небольшой фактор в общем организме.

(16.10.1) Weshalb der "Geist" so wenig bewirkt?! Weil er nur ein ganz winziger Faktor im Gesamtorganismus ist. Es sind nämlich noch da: Die Leber, das Herz, der Magen, der Darm, die Niere, die Hoden, die Gebärmutter, die Epidermis, und die *Vorurteile*! (Почему "дух" оказывает столь незначительное влияние? Потому что он является лишь очень крошечным фактором в организме в целом. Есть ещё: печень, сердце, желудок, кишечник, почки, яички, матка, эпидермис и предрас-

судки!). – Автор включает дух в перечень человеческих органов и недостатков, что создает юнктуры с темами «Организм человека» и «Характер человека».

2. *Природа Духа*: Дух описывается как мягкий, понимающий, сострадательный и примирительный, в отличие от более агрессивных и презрительных аспектов, необходимых для общения с массами.

(16.10.2) Der **Geist** muß die Natur in sich besiegen, wie der reife Mensch seine unsinnigen Kindlichkeiten! (Дух должен победить природу в себе, как зрелый человек побеждает своё бессмысленное ребячество!).

(16.10.3) Zwei Kerle wie wir zwei sollten zusammen schreiten, wie *Danton* und *Robespierre,* mit der Guillotine des – –. Du wirst natürlich glauben, des ***Geistes***! Nein. Denn der Geist ist leider immer *milde, verständnisvoll, mitleidig* und *versöhnlich*. Nein. Mit der Guillotine: Hass und Verachtung. *Das* taugt für die Herde! (Два таких парня, как мы, должны, как Дантон и Робеспьер, применять гильотину... Ты, конечно, подумаешь: духа! Нет. Потому что дух, к сожалению, всегда мягок, понимающ, сострадателен и примирителен. Нет. Гильотину ненависти и презрения. Это хорошо для стада!). – В афоризме присутствует имплицитная топикальная юнктура сразу с двумя темами – «Толпа» и «Критика».

3. Дух рассматривается как высшее развитие природы, способное к немедленному творению и пониманию.

(16.10.4) Der **Geist** ist die endentwickelte Natur. (Дух – это природа, развитая до своего предела).

(16.10.5) Frauen *gehen* schwanger – – – aber der **Geist** *ist* es, und gebiert *sogleich*! (Женщины становятся беременными, а дух всегда беремен и рождает сразу же!) – Субтопикальные маркеры в обоих афоризмах дополняются топикальными юнктурами с темами «Природа» и «Женщина».

16.11. Слот **Würde**:

(16.11.1) **Würde**! **Würde** ist nichts anderes, als so viel zu können, dass man's nicht mehr nötig hat, es zu zeigen! (Достоинство! Достоинство есть ничто

иное, как быть в состоянии делать столь много, что уже не нужно этого демонстрировать!). – Парадоксальный афоризм Альтенберга, основанный на антитезе «обладать – демонстрировать». Тематическая доминанта представлена прямой номинацией.

Таким образом, весь афористический макротекст можно визуализировать, с точки зрения наполнения фреймов, следующей диаграммой.

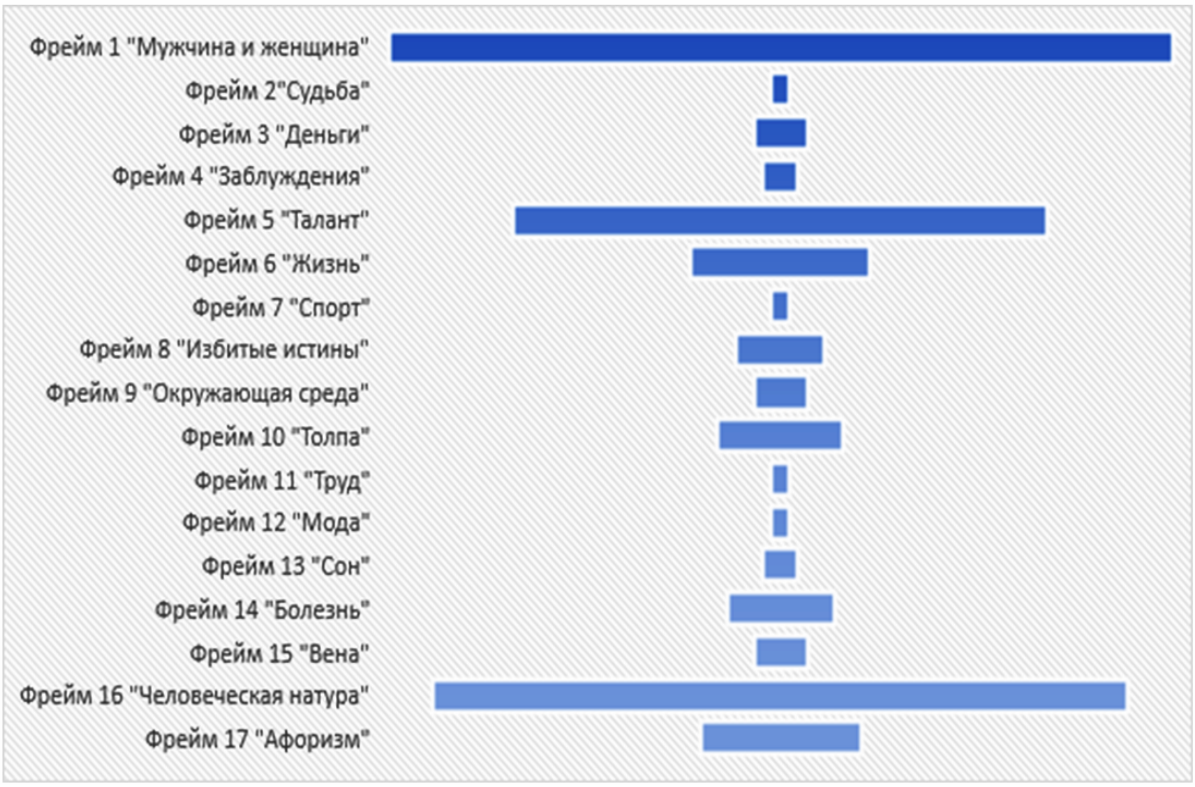


Диаграмма. Распределение афоризмов по фреймам в соответствии с эксплицитно выраженной тематической доминантой

В процессе фреймового анализа 167 афоризмов П. Альтенберга были выявлены топикальные юнктуры между афоризмами одного фрейма / слота и тематикой других. Наиболее часто использовались автором эксплицитные или имплицитные юнктуры с темами «Природа», «Критика» (10 примеров), «Организм человека» (8 примеров), «Религия» (7 примеров), «Мышление» (6 примеров), «Болезнь», «Жизнь», «Характер человека» (4 примера), «Типы художественных текстов» (3 примера). Два примера использования топикальных юнктур относятся к темам «Великая французская революция»,

«Цирк», «Домашние животные», «Преступление», «Внешность человека», «Молчание и тишина», «Питание», «Семья». Лишь по одному примеру отмечено в случае топикальной юнктуры с темами «Идеалы», «Математика», «Сон», «Нездоровые пристрастия», «Окружающая среда», «Истина», «Собственность», «Здоровье», «Мужская обувь», «Брак», «Поэт», «Человек», «Буржуазия», «Вена», «Юриспруденция», «Эмоции», «Мир», «Деньги», «Счастье», «Толпа». Важно отметить, что большая часть комментирующих тем, с которыми устанавливались юнктуры, не были реализованы в виде самостоятельных фреймов или слотов («Организм человека», «Религия», «Характер человека», «Типы художественных текстов», «Великая французская революция», «Цирк», «Домашние животные», «Преступление», «Внешность человека», «Питание», «Семья», «Математика», «Нездоровые пристрастия», «Истина», «Собственность», «Здоровье», «Мужская обувь», «Брак», «Человек», «Буржуазия», «Юриспруденция», «Эмоции», «Мир»), что говорит о второстепенности этих тем для афористики и в целом творческого мышления П. Альтенберга.

Тексты П. Альтенберга являются составной частью афористического дискурса, в который были вовлечены современные ему читатели и комментаторы, писатели и критики. Этот дискурс продолжает оказывать свое влияние на венскую и в целом австрийскую культуру как компонент общего интеллектуального дискурса страны. Он сохраняет в афористической форме те идеи, советы, впечатления и заключения, которые Альтенберг оставил как своё духовное наследие как писатель, философ и венский оригинал.

Однако афористический дискурс – не единственная ценность, которая характеризует вклад венских оригиналов в австрийскую национальную культуру и культуру немецкоязычных стран в целом. Жизнь каждого венского оригинала отмечена яркими дискурсами, исследование которых одновременно позволяет осветить историю интеллектуальной жизни Вены в разные периоды существования страны, в том числе и самые трагичные. Примером

этого могут служить дискурсы, созданные венскими оригиналами в период нацистской оккупации Австрии.

2.3. Венские оригиналы в интеллектуальном дискурсе оккупированной Австрии

Затрагивая специфику *интеллектуального дискурса* в Австрии, важно, прежде всего, определить его не просто как «дискурс интеллектуалов» (к примеру, философский, теологический и т.п.), а как сферу общественной коммуникации о проблемах бытия, охватывающую всевозможные дискурсы, в том числе бытовой, философский, религиозный, публицистический, политический и т.д. Интеллектуальный дискурс выступает как мыслительное пространство для обсуждения важнейших вопросов жизни лингвокультурного сообщества, каковым являлось и является, вне всякого сомнения, сообщество жителей Вены. От интеллектуалов в широком понимании этого слова следует ожидать весомого вклада в этот широкий общественный дискурс, и это вызывает определённые ожидания в отношении венских оригиналов, несмотря на то, что далеко не все они могут быть отнесены к категории интеллектуалов.

Столкновение городского оригинала с реальностью не всегда проходит бесследно, о чем свидетельствует судьба венских оригиналов в Австрии времен «аншлюса». Судьбы венских оригиналов лишь отчасти пересекаются с историческими событиями в Австрии в 1930–1940-х гг. Из 73 зафиксированных нами персоналий в этот период в Вене проживали, как минимум, 19:

– бродяга Karl Baron (1882–1948);

– уличная цветочница Blumen-Toni;

– основатель знаменитого венского кафе «Гавелка» Leopold Hawelka (1911–2011);

– заведующий отделением амбулаторной помощи Майдлингского общества помощи жертвам чрезвычайных ситуаций господин Hobsik;

– актёр оперетты и владелец пивной «Гутруф» Hannes Hoffmann (1918–1988);

– «пролетарский поэт» Otto Kobalek (1930–1995);

– актер театра и кабаре, писатель Helmut Qualtinger (1928–1986);

– «имперская графиня» Triangi (1868–1940);

– поэт-импровизатор и владелец пивной Franz Karl Waldringer;

– пацифист и активист Waluliso (Ludwig "Wickerl" Weinberger) (1914–1996);

– авантюрист, известный как «король золотой чернильной ручки», Ernst Winkler (1886–1974);

– эксцентричный страховой агент Paul Karl Heinrich Justus Wittgenstein (1907–1979);

– «господин генерал» Wilhelm Zaillenthal (1921–2011);

– звезда футбола Karl Sesta (1906–1974);

– трамвайный кондуктор и бегун-рекордсмен Felix Kwieton (1877–1958);

– уличная саксофонистка начала нашего столетия Lucia Westerguard (1912 – ?);

– исполнительница венского шансона Hansi Führer (1876–1955);

– пародист Eduard Kornau (1861–1939);

– композитор Ludwig Gruber (1874–1964).

История Австрии как «Восточной марки», части «третьего рейха», до сих пор представляет собой сложную историческую проблему как для историографов двадцатого века, так и для австрийцев в целом [Kastner 2019].
В беседах с жителями Вены нередко проскальзывает идея о том, что Вторая мировая война окончилась для Австрии не в 1945 г., а лишь в 1955 г. вместе с завершением раздела и оккупации страны союзными войсками.

Сложные ассоциации вызывают и кадры кинохроники, демонстрирующие воодушевление австрийцев при вступлении германских войск во время «аншлюса» 12 марта 1938 г. и их восторженную реакцию на речь «фюрера», произнесённую им с балкона дворца Хофбург тремя днями позже.

1 мая 1939 г. в «присоединённой» Австрии вступил в силу закон «О структуре управления Восточной маркой», который разделил бывшую Ав-

стрию на «имперские области» (Reichsgau). Впоследствии даже «Восточная марка» (Ostmark) не устраивала нацистов как географический термин и была заменена ими в 1942 г. на «Альпийские и дунайские имперские области». Гауляйтерами (партийными и административными главами) этих областей назначались исключительно выходцы из «исконного рейха» (Altreich), что порождало ещё большее недовольство населения. Так, в конце 1940 г. имперским наместником и гауляйтером Вены стал Бальдур фон Ширах, организовавший массовую депортацию венских евреев. Но до того, ещё в период с марта 1938 г. по май 1939 г., из Австрии в Ригу и Минск депортировали 130000 лиц «еврейской расы», а в ходе последней депортации 1942 г. 65000 человек были отправлены в концлагеря Освенцим и Терезиенштадт. Осенью 1941 г. по распоряжению Имперского управления безопасности (РСХА) была проведена массовая депортация еврейского населения в Лодзь, куда прибыло 20000 человек. В связи с преклонным возрастом большинство прибывших было признано непригодным к работе, перевезено в Хельмно и истреблено в передвижных газовых камерах. Лишь 34 из них дожили до окончания войны и освобождения. С апреля по июнь 1942 г. из Вены в Польшу (Избицу под Люблином) были отправлены 4000 евреев, никто из них не выжил [Kraus 2008: 76–77].

Практически сразу же после «присоединения» Австрии начались еврейские погромы (крупнейший – 9–10 ноября 1938 г. в Вене). С конца 1938 г. осуществлялась «аризация» (Arisierung) предприятий и бизнеса, принадлежавших евреям, которые были вынуждены спешно продавать их одобренным властями новым «арийским» владельцам. «Аризации» были также подвергнуты более 50000 венских квартир.

С началом войны был организован регулярный призыв жителей Вены на фронт, были введены карточная система и обязательное затемнение. С 1940 г. в городе спешно строились бункеры, а в 1942–1944 гг. – башни ПВО. С сентября 1944 г. Вена стала регулярно подвергаться бомбардировкам, а 12 марта 1945 г. во время самой массированной бомбардировки были

значительно повреждены здание Венской оперы, собор Св. Стефана, Бургтеатр и другие знаковые достопримечательности столицы [NS-Zeit, s.a.].

Как складывалась жизнь простых австрийцев, что происходило в Вене в те годы, правы ли сторонники нарратива об Австрии как жертве национал-социализма, – эти вопросы долгое время рассматривались в австрийском обществе как табу и лишь в последние годы стали предметом беспристрастного анализа историков [см., например, Botz 2018]. В то же время, не вызывает сомнений и тот факт, что далеко не все австрийцы приняли новый режим. В этой связи важным является вопрос, относятся ли венские оригиналы к этой категории.

Примером того, как по-разному складывались судьбы венских оригиналов, является биография **Карла Сесты (1906–1974)** (Karl Sesta, настоящая фамилия Сестак). Сесту в Вене называли «der Blade» (Толстяк), так как при росте 165 см он весил 84 кг. Он считался воплощением «наглого венского болтуна», но сделал при этом блестящую футбольную карьеру в качестве нападающего, а позже – защитника. Кроме того, он занимался борьбой, водными лыжами и мотоспортом.

Сеста поначалу получил профессию кузнеца, но одновременно выступал в качестве борца на любительских соревнованиях и исполнял венские народные песни. По выражению известного австрийского медиа-эксперта и историка спорта Маттиаса Маршика, Сеста довольно-таки преуспел «за столом в винной таверне и пабе, а также на футбольном поле» [Forster et al. 2009].

Известность этого яркого венского оригинала стала причиной интереса к нему со стороны национал-социалистов, стремившихся вскоре после присоединения Австрии расположить к себе местных футбольных фанатов. В официальном органе НСДАП «Фёлькишер беобахтер» писали: «Нужно ли доказывать тем, кто говорит об исчезновении «самой приятной спортивной нации в мире», что венцы сохранят своего «бумажного» нападающего Синделара, своего Карли Шефера (*знаменитого фигуриста – АС*), своего «толстяка» Се-

сту? Или что венский футбол вымирает не больше, чем венский вальс?» [Forster et al. 2009]. В результате Сесту стали использовать в пропагандистских целях: он мелькал в кинохронике во время референдума о присоединении к Германии 10 апреля 1938 г. и в качестве рабочего на уборке урожая.

Однако есть сведения, что ещё в марте 1938 г. Сесту стали вытеснять из активной политической жизни, поскольку он был неприемлем для нового режима. В то же время, 19 марта 1938 г. газета «Neue Wiener Abendblatt» сообщила, что Сеста временно возглавил состав футбольной сборной Австрии. В конце декабря 1938 г. во время гостевого матча «Австрии» против берлинской «Герты» произошла драка при «сенсационных обстоятельствах» в духе «хулиганских боксёрских матчей». За неё Сеста сначала был дисквалифицирован на шесть недель, однако затем спортивный лидер рейха Ганс фон Чаммер унд Остен лично «пересмотрел» это решение и удвоил наказание. Эту дисквалификацию часто связывают, якобы, с имевшей место так называемой «цитатой Гётца фон Берлихингена», непристойным пожеланием, которое Сеста высказал в адрес главного тренера Рейха Хербергера или даже самого «спортивного лидера».

Данный пример характеризует основную вербальную специфику, особенное *дискурсивное проявление личности* [см. Карасик 2016] этого венского оригинала, вокруг которого, благодаря его несдержанности, постепенно сложился не только культ талантливого футболиста, но и *мифологический дискурс,* постоянно пополнявшийся различными анекдотами и полуправдами о его встречах с влиятельными персонами и скандальными историями. Согласно одной из них, во время матча против клуба «Лацио» в Риме, когда Сеста собирался пробить угловой, на него сквозь решётку ограждения футбольного поля обрушились палочные удары итальянских болельщиков. В ответ Сеста нокаутировал ближайшего болельщика, так как его брат обучал его основам бокса. В другой ситуации, в январе 1923 г. в Париже перед матчем с французской сборной Сеста вместе со всей командой оказался в варьете, где в ответ на вы-

зов выступавшего на сцене силача сдвинуть его перетягиванием каната с места за 1000 франков не только сделал это, но и вытащил его за канат на улицу.

Помимо этого, сам Сеста активно формировал *дискурс городского диалектного острословия*, который можно визуализировать следующим примером: 7 декабря 1932 г. перед матчем со сборной Англии Сесту представили младшему сыну короля, принцу Георгу, который решил пошутить насчет первоначальной профессии Сесты (кузнечного дела). В ответ на реплику принца о том, что у венского игрока, по слухам, есть прекрасное ремесло, Сеста отреагировал фразой на венском диалекте: «Oba ihna Hockn is a ned die Schlechtaste» («Однако у Вас тоже нехилое дельце»).

Сеста прекрасно исполнял австрийские народные песни (в 1932 г. в Лондоне ему вручили золотую грампластинку за его записи венских песен) и даже некоторое время обучался пению. Зная об этом, капитан австрийской сборной Гуго Майзль часто заставлял его петь для команды во время длительных турне. Сеста отомстил ему, заявив на одной из пресс-конференций в ответ на упоминание того, что Майзль владеет множеством языков: «Unser Teamchef böhmakelt in vierundzwanzig Sprachen» («Наш тренер богемничает на двадцати четырех языках») [Karl Sesta…, s.a.]. В этой фразе Сеста использовал ироническое (если не сказать, издевательское) слово *böhmakeln*, означающее «говорить по-немецки с большим количеством чешских заимствований»; так характеризовали речь чешской прислуги (используя иногда также столь же иронический термин *Kuchldeutsch* – «кухонный немецкий»).

Острословие имело у Сесты подчас и инвективный характер, что только придавало ему ещё больший ореол простого парня, не обращающего внимания на условности. К сожалению, Сеста не оставил собственных мемуаров, которые позволили бы более обстоятельно и аутентично охарактеризовать те дискурсы, в которые он вольно или невольно внес свой вклад.

22 апреля 1938 г. было принято решение о ликвидации профессионального футбола в «Восточной марке», что означало увольнение австрийских

футболистов (в том числе и Сесты). Но нацистские чиновники постарались трудоустроить их в других местах. Так, Сеста стал коммерсантом: 13 сентября 1938 г. он подал заявление в так называемое Управление по сделкам с недвижимостью с целью «аризации» филиала пекарни «Хаммерброт» в девятом районе Вены. Это предприятие принадлежало венскому еврею Йозефу Бранду, который был вынужден отказаться от ведения дел в конце апреля 1938 г. и бежать из страны. 23 сентября 1938 г. его брат продал пекарню Карлу Сесте за 5 % реальной стоимости, за «аризацию» этой пекарни Сеста заплатил 500 рейхсмарок. Помимо «доказательства происхождения», которое выдающийся футболист так и не смог предоставить, для «аризации» требовалась оценка его политических взглядов. В заявлениях окружного руководства НСДАП от 31 октября и 14 ноября 1938 г. говорилось, что о Сесте «ничего плохого» не известно. Однако в досье Управления имущественных сделок содержится окончательная политическая оценка кадрового управления региона от 16 января 1939 г., составленная вскоре после берлинского скандала, в которой говорилось, что «вышеупомянутый вёл себя при прежней власти индифферентно» по отношению к национал-социализму.

После призыва в вермахт Сеста продолжал активно играть в команде спортивного клуба BBC, который в 1943–1944 гг. выступал в высшем дивизионе с участием нескольких бывших профессионалов. С 1941 г. он провёл в общей сложности три международных матча за сборную Германии. После 1945 г. футбольная карьера почти 40-летнего Сесты окончательно завершилась, ему пришлось также отчитываться перед городскими властями Вены о присвоенном еврейском имуществе. В октябре 1953 г. ему удалось достичь мирового соглашения с бывшими владельцами пекарни: Бранд вернул себе свой бизнес и отказался от выплаты доходов, полученных после «дееврeизации».

Однако моральная проблема, связанная с деятельностью яркого венского оригинала, осталась неразрешённой: как полагают исследователи биографии Сесты, «отмена профессионального футбола в 1938 г. не оправдывает, с

моральной точки зрения, «аризацию» еврейских предприятий Синделаром, Сестой и, вероятно, рядом других профессиональных футболистов, но она имеет структурное объяснение. Именно австрийская склонность к поклонению героям и историческим анекдотам, вероятно, является причиной того, что тёмные стороны этой ситуации игнорировались, а Сеста, умерший в 1974 г., предпочитал, чтобы его помнили как «венского оригинала, которого не смогли заставить замолчать даже нацистские методы» [Skocek et al. 2004].

Противоположным примером можно считать венского оригинала, театрального и киноактёра, кабаретиста, чтеца **Гельмута Густава Фридриха Квальтингера (1928–1986).** В данном случае особое значение приобретает исследование зафиксированной в источниках биографии этого выдающегося венского литератора, выполняемое в рамках нарративной историографии (см. пример в [Radchenko et al. 2017]).

Квальтингер вырос в венской семье, принадлежавшей к обеспеченному среднему классу и образованной буржуазии. Его отец, Фридрих Квальтингер, гимназический учитель математики, физики и химии, был ярым сторонником национал-социализма, а мать Ида (урожденная Ладштеттер) – простой домохозяйкой. Поступив в университет, Квальтингер изучал медицину и журналистику, но затем бросил учёбу и увлекся актерским мастерством. Он стал посещать венский театральный семинар Макса Райнхардта (1873–1943), однако его первые театральные пробы в Вене и Граце закончились неудачей [Helmut Qualtinger s.a.].

«Мы были грязными детьми», – с иронией вспоминает актриса Эрни Мангольд о своей ранней и очень близкой дружбе с Квальтингером, с которым она познакомилась в венском районе Леопольдштадт незадолго до окончания войны [Bartl et al. 2011]. Они любили проводить время в угольных подвалах, на развалинах города; несмотря на то, что все было разрушено, они надеялись на то, что на развалинах может возникнуть что-то новое. Мангольд и Квальтингер придерживались антифашистских взглядов. После окончания

войны они устраивали обструкции бывшим нацистам: так, однажды они самовольно заняли виллу, принадлежавшую бежавшему из Вены нацисту, и проводили на ней непрерывные праздники и вечеринки.

Нацистский террор, который Квальтингер видел своими глазами, стал средоточием его критического творчества. В конце жизни он выступил с серией публичных разоблачительных чтений выдержек из гитлеровской «Майн кампф». Австрийский художник, писатель, поэт и актер Андре Хеллер писал: «Хельмут обладал тем, что я очень редко видел столь ярко выраженным у людей, не ставших жертвами национал-социализма: почти бешеным отвращением к фашизму и убийственной гитлеровской грязи. Он мучительно страдал из-за своего отца-нациста и стал первым радикалом-шестидесятником задолго до 1968 года» [Bartl et al. 2011]. Декламирование оригинальных текстов позволяло Квальтингеру формировать *антифашистский постмодернистский текст, трансформированный паралингвистический дискурс,* что можно считать отличительной характеристикой этого оригинала.

Первый сольный проект Квальтингера после распада его творческой группы в 1960 г. – радикальный монолог "Господин Карл" (“Herr Karl”), написанный совместно с Карлом Мерцем, стал также его величайшим триумфом. Показанная в 1961 г. в формате телеспектакля в постановке Э. Нойберга, жизненная исповедь бывшего лагерного рабочего вызвала огромный зрительский резонанс. То, как герой проходит через череду обостряющихся кризисов - межвоенный период, нацистский режим, годы оккупации – как предатель, мошенник и плут, было встречено и возмущением, и аплодисментами [Rathmanner 2011].

В начале 1975 г. неофашистская организация ANR (Aktion Neue Rechte) развязала террор в Венском университете: её головорезы избивали студентов с левыми взглядами, срывали их мероприятия, приглашали известных неонацистов в качестве ораторов и скандировали нацистские лозунги. В ответ Коммунистический студенческий союз (KSV) организовал 12 мая 1975 г. крупное антифашистское мероприятие, и Квальтингер сразу же согласился принять

в нём участие. Мероприятие называлось «Коллаж Зойфера», так как основным его мотивом стали тексты антифашиста Юры Зойфера (1912–1939), погибшего в Бухенвальде. Квальтингер читал отрывки из давно забытого романа Зойфера «Так начиналась партия», в котором острой критике подвергалось руководство социал-демократов, капитулировавшее в итоге перед нацистами. Квальтингер всю жизнь симпатизировал прогрессивному движению и ненавидел нацистов всех оттенков и буржуазию с её культурными установками.

К его несомненным заслугам относится то, что молодой поэт Юра Зойфер не был забыт. Квальтингер использовал свою известность для популяризации литературного творчества Зойфера, устраивая чтения его произведений. «Он так подробно разбирал различные темы, что мог создать у своих знакомых достоверное впечатление, будто он сам был там и лично знал того или иного человека», – утверждал его издатель, профессор Ульрих Шуленбург [Bartl et al. 2011]. Несмотря на то, что Квальтингер неоднократно утверждал, что был лично знаком с Зойфером, это маловероятно: Зойфер был арестован в марте 1938 г. при попытке нелегально пересечь швейцарскую границу и отправлен в концентрационный лагерь Дахау, а Квальтингеру в то время не было и десяти лет.

Однако Квальтингер был известен и провокационными театральными выступлениями (как в 1949 г. на премьере пьесы «Молодежь у шлагбаумов» в Граце), и скандальными пранками (первый из которых представлял собой его появление на публике со звездой на груди в роли «комиссара по культуре» с подложным мандатом городских властей на реквизицию виллы для организации театра левого толка, за что он был на три месяца арестован советской военной администрацией), и собственными текстами, в том числе на венском диалекте. Изучение его наследия как отражения яркой языковой личности – задача будущего исследования.

Венский оригинал с трагической судьбой, женщина, ставшая жертвой национал-социализма, – имперская графиня **Беатрикс (Беатрис) Трианги**

фон унд цу Латш унд Мадернбург (урожденная Замек) родилась в Брюнне (теперь – Брно) в 1868 г. и стала известна как эстрадная певица и танцовщица, комедиантка и флейтистка-любительница. Свои титул и сложную фамилию она получила после третьего брака с газетным издателем, но до этого она, дочь еврейского фабриканта шёлка, была замужем за венским фабрикантом и болгарским коммерсантом.

Четырежды за пять лет она меняла вероисповедание, была иудейкой, католичкой, сербо-православной, а с 1899 г. – протестанткой. Овдовев в 1926 г., она стала устраивать званые вечера в своем венском доме, а затем начала демонстрировать в кабаре, барах и кинотеатрах свои вокальные, танцевальные и исполнительские таланты, которые, правда, оставляли желать лучшего. Трианги играла на губной гармонике, пианино и флейте в различных кабаре, пригородных пивных и небольших театрах.

Однако постепенно она приобрела популярность, особенно после создания своего оригинального танца «Wollust» («Сладострастие»). Известно, что негативная реакция публики нередко приводила её в ярость, а её агрессивное поведение становилось предметом судебных исков. Одетая в яркие наряды и носившая броский макияж в преклонном возрасте, игравшая на флейте смешные мелодии для прохожих, она постоянно подвергалась насмешкам венцев, однако никто не сомневался в её статусе венского оригинала.

Собственно, антураж и идиокинемы Трианги являлись, как представляется, яркими элементами *провокативного дискурса*, намеренной карнавализации собственной жизни, которая в целом характерна для многих венских оригиналов. Так, в процессе исполнения единственного произведения на флейте Трианги часто не попадала в ноты и могла просто отложить в сторону инструмент и насвистеть трудное место. Исполнение этого произведения ей не давали никогда закончить. Свои вокальные выступления на сборных концертах она могла завершить, срывая с себя и топча окутывавшие её шали под восторженный рёв публики.

Интересна и реакция венской публики, постоянно устраивавшая ей скандалы, прерывавшая полупрофессиональное исполнение единственного в её репертуаре произведения на флейте едкими замечаниями (в особенности касательно её претензии считаться «лучшей флейтисткой столетия»), во время её выступлений в кафе и кинотеатрах публика переворачивала столы, взрывала хлопушки, устраивала короткие замыкания, кричала ей хором всякие непристойности. Если она играла на рояли, то на струнах оказывались ложки, бокалы и прочая кухонная утварь, так что первые удары по клавишам вызывали невероятные звуки. Ей постоянно представляли, якобы, присутствующих на её концертах знаменитостей – М. Ганди, К. Ататюрка, Б. Муссолини и пр., и она приветствовала их, как если бы верила в то, что её не обманывают.

Известна история, когда публика привязала верёвки к ножкам рояля, на котором она должна была играть, и постепенно оттаскивала рояль от увлечённой пианистки, однако та продолжала играть в воздухе [Kraus 2008: 49]. Перлокутемы Трианги стали заметным компонентом в её городской мифологии, долго сохранявшейся в памяти венцев, с младенчества слышавших фразу «Глупый, как Трианги!».

Тем не менее, графиня неплохо зарабатывала, собирая щедрую плату за свои выступления лично прямо у входа в зал. Как-то одному из присутствовавших она заявила касательно насмешек публики, прибегнув к родному диалекту: „Dö Leut´ merken´s gar nöt, daß sie selber die Gepflanzten san! I´sag` Ihna nur des ane, dö is´ g´scheiter, wie mir alle miteinander!“ (Эти люди совершенно не замечают, что их околпачили! Я скажу Вам только одно: это более умно, чем все они вместе взятые!) [Kraus 2008: 51].

Однако идиолект, вербальная характеристика Трианги вписываются уже в другой – *конфликтный дискурс*, непосредственно примыкающий к провокативному дискурсу в её случае: судебные заседания с участием Трианги вызывали огромный интерес и нередко требовали присутствия полиции. Сенсацией стало знаменитое разбирательство по взаимным искам о защите чести и достоинства между Трианги и ещё одним оригиналом –

Эрнстом Винклером, самозванным «королем золотой чернильной ручки», в 1933 г., в начале которого судья велел очистить здание суда от жадной до развлечений местной публики [Kraus 2008: 11]. Поводом к этому судебному процессу стало шутливое стихотворение Винклера, в котором он предлагал Трианги пожениться, на что она ответила, что скорее даст себя взорвать, расчленить и застрелить. На суды она являлась в бальной робе, приводила в качестве доводов своё высокое положение в обществе и особенно свои непревзойдённые таланты. Это вполне можно рассматривать как «знаки статусного позиционирования» в трактовке В.И. Карасика, по поводу которых он утверждает следующее: «Эти знаки являются индикаторами неравноправия участников дискурса, публика заведомо признается интеллектуально несостоятельной. Такое неравноправие наблюдается в разных видах дискурса – педагогическом, религиозном, административном, военном, юридическом» [Карасик 2019: 89].

Первые два судебных разбирательства случились ещё в 1913 г., оба в связи с исками к Трианги о защите чести и достоинства со стороны оскорблённых ей литераторов: в первом случае поэту Артуру Братичу, выступавшему в кафе «Зиллер» с сатирическими стихами, она заявила, что он отсидел десять лет в тюрьме в Аграме; второй процесс затеял Лео Шляйн-Савиль, которому она, по его уверениям, посылала открытки с «уничижительным содержанием» и грозила ему проклятием, которое будет преследовать его даже на том свете [Kraus 2008: 46-47]. О том, как проходили эти судебные процессы к огромному удовольствию публики, свидетельствует следующий диалог:

Richter: Wie lang wird Ihre Verantwortung beiläufig dauern? Meine Zeit ist beschränkt, und ich habe heute auch noch andere Verhandlungen. (Судья: Кстати, как долго будут длиться Ваши показания? Моё время ограничено, и у меня сегодня есть ещё и другие заседания).

Angekl. (sich verbeugend): Alles verstehen heißt alles verzeihen. Ich werde mich in meinen Ausführungen möglichst beschränken und hoffe… in zwei bis drei Stunden mit meiner Verantwortung fertig zu sein…. (Подсудимая (с поклоном):

Всё понять – значит всё простить. Я максимально ограничу мои показания и надеюсь… за два-три часа управиться с ними.)

Richter: Vielleicht werden Sie sich in Ihren Ausführungen noch mehr einschränken. (Судья: Может, Вы ограничите Ваши показания ещё больше?)

Angekl.: Marquis Posa ruft in Don Carlos: Geben Sie Gedankenfreiheit! Ich sage: Geben Sie Redefreiheit! (Подсудимая: Маркиз Пока восклицает в «Дон Карлосе»: «Дайте свободу мыслей!». Я говорю: «Дайте свободу слова»!)

Участие Трианги в процессах всегда широко освещалось в прессе, каждое её появление активно комментировалось журналистами и обсуждалось публикой, являясь гарантом того, что зал будет полон. Именно поэтому её приглашали на свои спектакли известный венский оперный певец Лео Слезак (она должна была исполнить одну из ролей в опере «Аида»), кабаретисты Карл Фаркас и Фритц Грюнбаум; представитель «новой деловитости», художник Кристиан Шад написал её портрет [Kraus 2022].

Важно отметить, что уже в июне 1933 г. намечается конфликт Трианги с национал-социалистами. На одном из процессов она заявляет: «Daß ich keine Freundin der Nationalsozialisten bin, erklärt sich dadurch, daß ich fromme Christin bin» (То, что я не дружу с национал-социалистами, объясняется тем, что я верующая христианка) [Kraus 2022: 69]. Комментарий национал-социалистической газеты «Der Stürmer» по этому поводу был достаточно красноречивым: «Имперская графиня Трианги, урождённая Замек, … ломала руки, как её расовые товарищи у стены плача… Однако выступления, которые устраивает известная всему городу «имперская графиня» с ярко выраженным семитским носом, её вечные важничанье с её титулом имперской графини, полученным в результате замужества, … вне всякого сомнения, являются одним из крайних издевательств над старым австрийским дворянством Впрочем, в нём виновато оно само, и случай с Трианги является, к сожалению, лишь титульной иллюстрацией отвратительной, но довольно пространной главы из истории еврейско-аристократических смешанных браков» [Там же].

Её повышенная эмоциональность во время выступлений, грубости в адрес публики и драки с ней (Трианги время от времени била самых нахальных комментаторов её творчества по щекам) стали поводом для лишения её юридической вменяемости. Так, на одном из вокальных концертов, когда её пение полностью заглушили скандалившие зрители, она заявила: „Heute scheint hier der Abschaum der Menschheit versammelt zu sein! Ich habe sonst immer die höchsten Persönlichkeiten in meinen Konzerten, aber heute ist die Hefe des Volkes hereingekommen, obwohl ich meine Zuhörerschaft sehr gewissenhaft zu sieben pflege; Leute wie die Jeritza dürften mir hier nicht hereinkommen, und wenn die mir Millionen für einen Sitz bezahlen wollte…, aber heute sind auf unerklärliche Weise Elemente hereingekommen, zu denen ich nur sagen kann: Pfui“ (Ныне здесь, кажется, собрались подонки человечества! У меня на концертах бывают, как правило, высочайшие личности, но сегодня сюда пришли дрожжи простонародья, хотя я имею обыкновение тщательно просеивать свою аудиторию; личности типа Йеритцы[4] нельзя, по моему мнению, сюда впускать, даже если бы она захотела заплатить мне миллионы за место в зале, … но сегодня сюда по непонятным причинам пробрались такие субъекты, которым я могу лишь плюнуть в лицо).

После вторжения нацистов в Австрию Трианги пыталась получить от Имперской палаты по делам культуры разрешение на продолжение своих выступлений, но ей было отказано. Начались антисемитские нападки на неё как во время выступлений, так и в партийной печати. В 1939 г. она попала в поле зрения следователей криминальной полиции Вены, а 5 декабря того же года была вызвана в гестапо для проверки личности и взятия отпечатков пальцев. 15 февраля 1940 г. она была арестована гестапо почти на два месяца, а через полтора месяца после освобождения её обнаружили в полном умственном помешательстве в её квартире, откуда её перевели в дом для престарелых «Ам Штайнхоф». 28 апреля 1940 г. она скончалась в этом доме [Harten 2023].

[4] Мария Йеритца (1887–1982) – знаменитая сопрано, примадонна Венской государственной оперы.

Не менее известному, хотя и в районном масштабе, венскому оригиналу **Карлу Барону**, который также не был сторонником нацистов, повезло значительно больше.

Он родился в 1882 г. в Богемии, вырос в семье каменщика и был старшим сыном, которому отец передал любовь к музыке (Карл обучался игре на скрипке, играл на губной гармонике, виолончели и флюгельгорне). В конце XIX в. семья переехала в Вену. Пройдя четырёхлетнее обучение, Карл начал работать плотником по мебели, но в мае 1905 г. получил травму на работе, упал в обморок, после чего совершенно изменился. Он отказался работать, решив заняться исключительно музыкой, что привело к конфликтам с отцом.

В 1915-1918 гг. он воевал на русском фронте, заболел тифом и оспой, в конце войны дезертировал и был признан негодным к строевой службе. После войны он некоторое время помогал семье, оборудовал столярную мастерскую в подвале своего дома и собирался жениться, но получил категорический отказ. Семейные и личные переживания подтолкнули его к бродяжничеству, уличному музицированию, жизни в ночлежках. С этого времени он становится известным в 10-м районе Вены (Фаворитен), оборудует себе землянку, собирает окурки и остатки пива из бочек у пивных, готовит еду на буржуйке, а днём играет на скрипке на улицах Вены. Все попытки его сестры Розы вернуть его в семью, даже наладить его быт и снять ему комнату оказались напрасными: Карл никогда не закрывал двери на замок, так как не понимал, зачем это делают другие, и его трижды обворовали. После этого к обычной жизни он больше не возвращался.

В парках района Фаворитен его всегда окружали дети, которые никогда над ним не подшучивали. Он играл им на скрипке и рассказывал истории, матери доверяли ему своих детей на время, несмотря на его неряшливый вид. Если около Карла Барона останавливались взрослые, он просил у них подаяния, чтобы купить продукты или сладости для нищих детей [см. Kraus 2008: 119].

Время нацистской оккупации ему удалось пережить без ареста, несмотря на то, что лица без определенного места жительства, как правило,

оказывались в тюрьмах или концлагерях. В его случае это особенно удивительно, так как спецификой этого оригинала в период нацизма был *глумливый дискурс на основе венского диалекта*, который он адресовал, в частности, гауляйтеру Вены Бюркелю. Он нередко использовал издевательскую анаграмму Bierleiter Gaukel в его адрес. Широко известным стало высказывание Барона: „Wenn einer dumm ist, geht er zum Militär, dort kann er Spieß werden, und wenn er noch dümmer ist, wird er Gauleiter.“ (Если человек глуп, он идёт в военные, там он сможет стать ротным фельдфебелем, а если он ещё глупее, он становится гауляйтером). В ответ на обещание гауляйтера жителям Вены «вернуться, когда зацветёт сирень», Барон заметил: «Seither schneiden die Wiener die Fliederbam ab» (С тех пор венцы обрезают сиреневые кусты) [Sprödl 1988: 12].

Единственным известным наказанием Барона стал его домашний арест в ночлежке в переулке Гензбахергассе, где ему пришлось день и ночь клеить бумажные пакеты. После освобождения он пел и танцевал с детьми на улицах, и с ним праздновали венцы, ведь «Барон-Карл стал символом. Освобождённый Барон-Карл означал свободу для всех» [Kraus 2008: 121]. Он помогал расчищать оставшиеся после войны руины в своём районе за еду. 13 октября 1948 г. его переехал грузовик, Карл Барон скончался на месте. Он был похоронен на общественные средства, собранные жителями района, на Центральном кладбище в присутствии около 10000 человек.

Исследование роли венских оригиналов в лингвистическом и культурном наследии Австрии неотделимо, тем самым, от тёмных страниц истории этой страны. Изучение текстов оригиналов, их современников, посвящённых их жизни, проливают свет на то, как по-разному складывались их судьбы в период нацистского господства и насколько им удавалось противостоять его террору. Это позволяет рассмотреть детали этого уникального для Вены лингвокультурного феномена, но также и экстраполировать выявленные характеристики оригиналов на подобные феномены в других немецкоязычных странах, рисуя широкую панораму «экзотических» персоналий в культуре Европы.

Выводы по главе 2

1. Лингвокультурологическое исследование феномена венских оригиналов непременно обращается к оставленным ими дискурсивным следам, представленным в случае П. Альтенберга в виде афористического массива, который является важным компонентом культурной памяти австрийцев. Применение комплексного подхода к этому материалу позволяет выявить специфику целеполагания, инструментария и параметров афоризмов, установить их фреймовую принадлежность, соотнести их с особенностями личности венского оригинала-афориста и тем самым выявить его значимость для лингвистического и культурного наследия Австрии. Этот исследовательский путь можно рассматривать как один из возможных ключей доступа к раскрытию столь сложного, многоаспектного явления, каким представляется венский городской оригинал.

2. В качестве базового атрибута культурной памяти в диссертации признаётся её идиоэтнический характер, она непременно привязана к конкретному языковому и культурному сообществу, опирается на уникальные ценности и не менее уникальную культурную историю этого сообщества и не может рассматриваться в отрыве от него. Прочие важные параметры коллективной памяти (коллективизм, консервирующая миссия, определённая иррациональность и пр.) нуждаются в коррекции применительно к лингвокультурной группе венских оригиналов. Так, их нельзя считать обобщёнными конструктами, обращение к ним не носит сакрального характера, созданием имиджа оригиналов не занимаются государственные и общественные структуры.

3. Достаточно проблематично приписать культурной памяти о венских городских оригиналах исключительно письменный характер, так как их репутация складывается поначалу на основе «городской молвы», выглядит как концентрация устных текстов (анекдотов, пересказываемых и комментируемых устных высказываний, импровизаций, новостей и пр.), которые уже на втором этапе получают письменную фиксацию. Однако письменный характер культурной памяти оказывается первостепенным фактором, когда речь

идёт о венских оригиналах-писателях и поэтах, творчество которых позволяет выделить в качестве компонента культурной памяти афоризмы.

4. Афоризмы образуют основу для сохранения влияния венских оригиналов на интеллектуальную атмосферу австрийской столицы. Критический анализ научной литературы по афористике показал, что лаконичность, цельнооформленность, отражение векового опыта и народной мудрости, запоминаемость, необходимость домысливать не относятся к обязательным параметрам афоризмов венских оригиналов, в то время как им присущи парадоксальность, наличие авторства, эмоциональный резонанс. Не все параметры поддаются объективному измерению, к примеру, суггестивность афоризма, однако её признаком может считаться факт присутствия афоризма в культурной памяти языкового сообщества, поскольку только этим можно объяснить передачу афористического наследия из поколения в поколение.

5. Афористический дискурс как результат творческой деятельности писателя-афориста представляет собой особое ментальное пространство, зафиксированное в малоформатных текстах и отражающее интеллектуальную деятельность творческой личности по критической переработке собственного и иного опыта восприятия действительности и бытия в ней. Для целей диссертационного исследования приобретает особое значение дискурсивная автономность афоризмов, и такой автономный афористический дискурс может приобретать различные форматы репрезентации.

6. Наиболее информативным, с точки зрения лингвокультурной релевантности, можно считать тематический формат, поскольку в нём возможно выявить тематические блоки, семантические группы, фреймы и слоты, отражающие те или иные интересы афориста, его склонности, черты характера, слабости и недостатки – особенности личности, которые, к примеру, могут существенно дополнить общий портрет венского оригинала и уточнить причины причисления афориста к этой категории культурно-значимых личностей эпохи.

7. Оптимальным исследовательским путём в рамках диссертации признано сочетание дедуктивного и индуктивного подходов к анализу корпуса

венских афоризмов, реализованное в четырёх этапах: биографической характеристике афориста, статистическом, функциональном и контент-анализе афоризмов с опорой на фреймовую методику. Биографическая характеристика позволила выявить место и качество афористики П. Альтенберга в его литературном творчестве. Статистический анализ макротекста, составленного из наиболее популярных и ярких альтенбергизмов, который осуществлялся инструментами сайта wortliga.de/textanalyse, продемонстрировал высокую степень доступности исследуемой афористики для современного читателя, что подразумевает ещё бóльшую интеллигибельность макротекста для венцев-современников Альтенберга, его приверженность адъективному стилю изложения. В ходе функционального анализа было определено соответствие афоризмов семи видам целеполагания и четырём признакам речевой креативности по В.К. Харченко и установлены нерелевантные для венской афористики цели и признаки. Эти три этапа подготовили необходимый фундамент для осуществления контент-анализа афористики Альтенберга, рассматриваемой как в формате целостного макротекста, так и обособленно, но с учётом многотемности каждого афоризма.

8. С целью общего анализа этой многотемности афористический макротекст был проанализирован при помощи программы текстового анализа MAXQDA Analytics Pro (24.4.1), в итоге были сформированы два облака тэгов по частотности всех и наиболее значимых элементов в данном макротексте, а также установлен статистический перечень наиболее частотных лексем с привлечением встроенной программы искусственного интеллекта. Статистические сведения позволили в итоге составить общую картину тематических доминант в макротексте и осуществить фреймовый анализ каждого из 167 афоризмов с определением их фреймовой характеристики по присутствию и эксплицитной выраженности тематической доминанты. В результате были установлены 17 фреймов «альтенбергизмов», разделённых на две группы, с точки зрения возможности выявления слотов в них: однослойные и многослойные фреймы. К однослойным относится большинство выделенных фреймов, которые

представлены лишь одним или несколькими афоризмами и не позволяют выделить слоты. М*ногослойными* являются только три фрейма: «Мужчина и женщина», «Талант» и «Человеческая натура», представляющие собой тем самым основные темы размышлений П. Альтенберга и ядро его лингвокультурного наследия.

9. Тематические доминанты фреймов и слотов выражены в исследуемом материале путём прямой номинации, при помощи перформативных единиц, лексемами одного деривационного гнезда, а также целостным афоризмом. Были выявлены случаи сочетания двух и более равноположенных тематических доминант, использования основной и комментирующей (вторичной) тематической доминанты, репрезентации тематической доминанты при помощи одного из её признаков (косвенные тематические доминанты).

10. Использование комментирующей доминанты является основанием утверждать о существовании топикальных юнктур между афоризмами Альтенберга, которые понимаются как тематические «мосты» между различными политематичными афоризмами. Наиболее частотные топикальные юнктуры связывают афоризмы Альтенберга с темами «Природа», «Критика», «Организм человека» и др. В некоторых случаях топикальная юнктура имеет метафорический характер и приобретает форму соположения целостных метафорических картин.

11. Помимо опоры на тематические доминанты, выявление юнктур возможно и при помощи искусственного интеллекта, анализирующего не только эксплицированные доминанты, но и скрытые смыслы афоризмов. Для этой цели, а также для верификации каталога фреймов и слотов и установления подтем основной темы многослойного фрейма (субтопиков) применялся ИИ ChatGPT Plus (полнофункциональная версия).

12. Выявленные субтопики подтверждались или опровергались в анализируемом материале путём определения субтопикальных маркеров, уточняющих смысл афоризма и творческую задачу автора, решаемую с его помощью. В качестве субтопикальных маркеров могли выступать, к примеру, глаголы со значением действий, связанных с тематической доминантой фрейма. Субтопики представляют также большой интерес в случаях выявле-

ния топикальных юнктур между афоризмами, имеющих исключительно имплицитный характер и важных для понимания тех взаимосвязей, которые характерны для афористического мышления Альтенберга, равно как и тех проблем, которые представлялись ему существенными.

13. Характерными особенностями афористики П. Альтенберга, помимо несовпадения каталога субтопиков с материалом фреймов и слотов, устанавливаемых преимущественно по наличию эксплицитно выраженной тематической доминанты, являются афористическая симплификация, персифляж, прагматическая митигация, использование культурно-нагруженных антропонимов, требующих от читателя определённого образовательного уровня.

14. Тексты П. Альтенберга являются, таким образом, составной частью афористического дискурса, который продолжает оказывать свое влияние на венскую и в целом австрийскую культуру как компонент общего интеллектуального дискурса страны. Интеллектуальный дискурс выступает как мыслительное пространство для обсуждения важнейших вопросов жизни лингвокультурного сообщества. Он охватывает и другие виды дискурсов, созданных венскими оригиналами, в том числе и в сложные исторические периоды.

15. В диссертации в этой связи рассматриваются дискурсы венских оригиналов, сформировавшиеся накануне и во время нацистской оккупации Австрии: мифологический дискурс и дискурс городского диалектного острословия К. Сесты, антифашистский трансформированный паралингвистический дискурс Г. Квальтингера, провокативный и конфликтный дискурсы Б. Трианги, диалектный глумливый дискурс К. Барона. Изучение текстов оригиналов, воспоминаний их современников, проливают свет на то, как поразному складывались их судьбы в период нацистского господства. Это позволяет рассмотреть детали данного уникального для Вены лингвокультурного явления и экстраполировать выявленные характеристики оригиналов на подобные феномены в других немецкоязычных странах, рисуя широкую панораму «экзотических» персоналий в культуре Европы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленная диссертация преследовала цель изучить особую лингвокультурную группу – венских оригиналов, представляющих собой одну из ярких составляющих австрийской национальной культуры и объединяющую представителей широкого социального и профессионального спектра. Под венскими оригиналами в диссертации понимаются исторически засвидетельствованные жители Вены как правило, с уникальными и отчасти эксцентричными внешностью и поведением, привлекавшими внимание широкой общественности и отражёнными в художественной литературе, биографических работах, публицистических исследованиях, архивных материалах и автобиографических текстах. Венские городские оригиналы представляют собой особый предмет исследования, потребовавший выхода за пределы традиционной лингвоперсонологии и обращения к методам лингвопортретистики как нового направления в отечественной лингвокультурологии. Венские оригиналы частично пересекаются с маргинальными (экстериальными) и вульгарными языковыми личностями, относящимися к периферии лингвоперсонологических исследований, но не исчерпываются этими характеристиками.

Исследование этой лингвокультурной группы отталкивалось от тщательной поисковой и аналитической работы с сохранившимися произведениями и текстами венских оригиналов, посвящённой им мемуарной литературе, публикациями лингвистов, культурологов, специалистов по истории Вены, статьями в австрийской прессе, обращениями к аудио- и видеоматериалам, энциклопедическим изданиям и интернет-сайтам. В результате был представлен каталог из 73 персоналий, объединённых в 12 групп и четыре блока по их социальному или профессиональному статусу.

В рамках диссертационного проекта оказалось сложным и даже невозможным подробно исследовать каждого венского оригинала, в том числе и в связи с отсутствием верифицируемых и достоверных материалов о них. Для последующего анализа были отобраны пять оригиналов и созданные ими специ-

фические дискурсы, позволяющие оценить их вклад в интеллектуальную жизнь австрийской столицы в первой половине XX в. Это открывает перспективы дальнейшего изучения избранной темы и её расширения путём включения в орбиту научного поиска городских оригиналов других стран Европы и мира.

Это лингвокультурологическое исследование будет обращено к оставленным оригиналами дискурсивным следам, которые являются важным компонентом культурной памяти народов. Применение комплексного подхода к этому материалу позволит выявить специфику целеполагания, инструментария и параметров созданных оригиналами дискурсов, соотнести их с особенностями личности оригиналов и тем самым выявить их значимость для лингвистического и культурного наследия их стран. Данный исследовательский путь можно рассматривать как один из возможных путей к раскрытию столь необычного явления, каким представляется венский оригинал – писатель, мыслитель, философ, сочетающий в себе несомненное дарование с непритязательными потребностями и неспособностью жить, как все.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка. – 5- е изд. – М.: Флинта, 2015. – 288 с.

2. Антонова Е.Н. Афористическая интертекстуальность в дискурсе русской поэзии // Теория языка и межкультурная коммуникация. – 2020. – № 3 (38). – С. 1–11.

3. Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 368 с.

4. Асташова О.И. Речевой портрет политика как динамический феномен: автореф. дисс… канд. филол. наук (специальность 10.02.01) – Екатеринбург, 2013. – 23 с.

5. Атмурзаева С.А. Лингвопортретистика как основа и источник современной лингвоперсонологии // Вестник Пятигорского государственного университета. – 2023. – № 2. – С. 88–94.

6. Атмурзаева С.А. Лингвопортретистика и археология знания: венские оригиналы в интеллектуальном дискурсе оккупированной Австрии // Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык. – 2020. – № 3. – С.167-178.

7. Атмурзаева С.А., Аликаев Р.С. Лингвопортретистика в коллективной памяти: венские оригиналы и их афористический дискурс // Вестник Пятигорского государственного университета. – 2024. – № 1. – С.92-98.

8. Атмурзаева С. А. К вопросу о соотношении лингвоперсонологии и лингвопортретистики в лингвокультурологии // Парадигма современной гуманитарной науки и образования: традиции и перспективы: материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием / под ред. Р.Б. Кенетовой и др. Электронные текстовые данные– 2024. – 234 с. – С. 91–94.

9. Атмурзаева С.А. Венские оригиналы и национал-социализм // Перспектива–2024: материалы Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых Перспектива-2024. Нальчик: КБГУ – 2024. – С.9-13. (Электронное издание).

10. Бабарыкин А.Г. Понятийно-дефиниционные и образные характеристики лингвокультурного типажа «English fool» // Наука и инновации – современные концепции: сборник научных статей Международного научного форума. Т. 2. – М.: Инфинити, 2020. – С. 75–79.

11. Баландин Р.К. 100 великих оригиналов и чудаков. – М.: Вече, 2014. – 432 с.

12. Белый А. Московский чудак: первая часть романа «Москва». – М.: Круг, 1926. – 253 с.

13. Белякова И.Е. Контрастивная лингвокультурология: лингвокультурный концепт и методы его исследования. – Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2015. – 40 с.

14. Богатых К.К., Гурина Е.Н. Обособление понятия «лингвокультурный типаж» в ряду смежных понятий // Проблемы современной экономики и прикладные исследования: молодёжные проекты. – Владимир: Аркаим, 2023. – С. 33–38.

15. Бондаренко Е.Н. Лингвокультурный типаж пожарного-балагура // Lingua Academica: Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики: материалы V Всероссийской научно-практической конференции / под ред. Н.А. Крашенинниковой. – Ульяновск: УлГУ, 2020. – С. 13–35.

16. Буллер А., Линченко А.А. Культурная память как предмет философского осмысления // Диалог со временем. – 2019. – Вып. 66. – С. 5–18.

17. Бурнашев В.П. Наши чудодеи. Летопись чудачеств и эксцентричности всякого рода. – СПб.: Типография Тушнова, 1875. – 276 с.

18. Бушуева Л.А. Лингвокультурный типаж «плут» // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2019. – № 2. – С. 148–151.

19. Воробьёв В.В. Лингвокультурология. – М.: РУДН, 2006. – 330 с.

20. Герман О.Г. Социокультурный феномен: к вопросу о терминологии // Наука, культура, искусство: актуальные проблемы теории и практики. Т. 1. – Белгород: Белгородский гос. ин-т искусств и культуры, 2021. – С. 238–243.

21. Дементьев В.В. О некоторых содержательноцентричных тенденциях в современной отечественной лингвистике // Вестник Томского государственного университета. Филология. – 2021. – № 72. – С. 42–73.

22. Дмитриева О.А. Лингвокультурные типажи России и Франции XIX в.: монография. – Волгоград: Перемена, 2007. – 307 с.

23. Дмитриева О.А. Лингвокультурологический анализ текста в процессе моделирования лингвокультурного типажа // Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе. – 2006. – Вып. 4. – С. 284–291.

24. Дмитриева О.А. Плач как одна из форм проявления коммуникативного поведения юродивого // Актуальные проблемы современного языкознания и методики преподавания языка: сборник материалов Всероссийской конференции, посвященной 115-летию со дня рождения профессора И.А. Фигуровского. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2014. – С. 122–128.

25. Донскова Л.А., Здановская Л.Б., Непшекуева Т.С. Лингвокультурный типаж «эстет» в английской лингвокультуре // Научный журнал «Эпомен». – 2019. – № 27. – С. 130–141.

26. Дубровская Е.М. Лингвокультурный типаж «человек богемы»: динамический аспект: дисс… канд. филол. наук (специальность 10.02.01). – Омск, 2017. – 230 с.

27. Дубровская Е.М., Мандрикова Г.М. Типажи и квазитипажи: о развитии теории лингвокультурных типажей // Пушкинские чтения–2020. Художественные стратегии классической и новой словесности: жанр, автор, текст. – СПб: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2020. – С. 344–350.

28. Евменова Л.Н., Кудинова И.Ю. Культурологический портрет как понятие и метод исследования города // Политематический журнал научных публикаций «дискуссия». Вып. № 10(40). 2013. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http.://journal-discussion.ru/publication.php (дата обращения 01.07.2024).

29. Евсюкова Т.В., Бутенко Е.Ю. Лингвокультурология. – 2-е изд. – М.: Флинта, 2014. – 480 с.

30. Зурабова Л.Р. Переключение кодов в условиях языкового контакта в провинции Нью-Брансуик, Канада (на материале субдиалекта шиак): дисс… на соиск. уч. ст. канд. филол.н. (специальность 10.02.19 Теория языка). – М.: Московский гор. пед. ун-т, 2021. – 245 с.

31. Иванов Е.Е. Афоризм в кругу малых текстовых форм в устном, письменном и электронном дискурсах // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. – 2022. – Т. 13, № 4. – С. 898–924.

32. Иванов Е.Е. Афоризм как объект лингвистики: основные признаки // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. – 2020. – № 11 (4). – С. 659–706

33. Иванов Е.Е. Лингвистика афоризма. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2016. 1 электрон. опт. диск (CD-R).

34. Иванова С.В., Чанышева З.З. Лингвокультурология: проблемы, поиски, решения. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2010. – 366 с.

35. Иванцева И.В. Проблемы формирования методологических основ лингвоперсонологии // Вестник ТомГУ. Сер. Филология. – 2008. – № 3(4). – С. 27–43.

36. Ирисметов Б. Культурная память как основа этнокультурной идентичности // Культура в евразийском пространстве: традиции и инновации. – 2020. – № 1(4). – С. 20–24.

37. Карасик В. И. Дискурсивное проявление личности // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. – 2016. – Т. 20, № 4. С. 56–77.

38. Карасик В.И. Лингвокультурный типаж // Язык. Текст. Дискурс. – 2007. – № 5. – С. 86–89.

39. Карасик В.И. Политический эксперт как лингвокультурный типаж // Актуальные проблемы стилистики. – 2019. – № 5. – С. 87–95.

40. Карасик В.И. Языковая личность как предмет изучения антропологической лингвистики // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2011. – № 8 (62). – С. 109–115.

41. Карасик В.И. Языковые ключи. – М.: Гнозис, 2009. – 406 с.

42. Карасик В.И. (ред.) Аксиологическая лингвистика: лингвокультурные типажи: сборник научных трудов. – Волгоград: Парадигма, 2005. – 310 с.

43. Карасик В. И., Ярмахова Е.А. Лингвокультурный типаж «английский чудак». – М.: Гнозис, 2006. – 239 с.

44. Карлик Н.А. Теоретические основы выявления суггестивного потенциала малоформатных афористических текстов: автореф. дисс. … д-ра филол. наук (специальность 10.02.19 – Теория языка). – СПб: СПбГУ, 2013. – 28 с.

45. Карнович Е.П. Замечательные и загадочные личности XVIII и XIX столетий. – СПб.: Изд-во Суворина, 1884. – 520 с.

46. Костева В.М. Лингвистика тоталитаризма в лингвофилософской парадигме XX века: дисс. ... д-ра филол. наук (специальность 10.02.19). – Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2019. – 398 с.

47. Крылова М.Н. Речевой портрет как объект исследования в современной лингвистике // Вестник Донского государственного аграрного университета. – 2020. – № 3–2 (37). – С. 53–60.

48. Кузина Ю.В. Сопоставительное исследование лингвокультурного типажа «английский чудак» в сказочной повести Л.Ф. Баума «The Wonderful Wizard of Oz» и её русскоязычных аналогах // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. – 2016. – № 35. – С. 41–51.

49. Кучерявых Ю.Н. Семантическая аппликация как проявление речевых склонностей и особенностей языковой игры лингвокультурного типажа «чудаковатый интеллигент-неудачник», воплощённого в образе главного героя романа А.Т. Аверченко «Шутка мецената» // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2018. – № 2 (125). – С. 116–121.

50. Леонтьев Э.П. Лингвокультурный типаж «чудик» и его воплощение в рассказах В.М. Шукшина // Вестник ТГПУ. – 2016. – № 7 (172). – С. 107–112.

51. Литус Е.В. Основы лингвокультурологии. – М.: Флинта, 2023. – 252 с.

52. Макеева С.О. Речевой портрет в круге смежных понятий // Актуальные проблемы германистики, романистики и русистики: материалы и тезисы докладов ежегодной международной конференции. Ч. 3. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2014. – С. 79–85.

53. Малахова С.А. Лингвокультурный типаж «английский денди»: лексико-семантический аспект // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2013. – № 9 (84). – С. 34–37.

54. Маркина Е. В. Венский модерн: Творчество Петера Альтенберга и проблема литературного импрессионизма рубежа веков: дисс. … канд. филол. наук (специальность 10.01.04). – М., 2000. – 198 с.

55. Маршалл А. Австралийские чудаки // Иностранная литература. – 1983. – № 6. – С. 231–232.

56. Маслова В.А. Лингвокультурология. – 2-е изд. М.: Академия, 2004. – 208 с.

57. Мельник Н.В., Савельева И.В. Лингвоперсонологические стратегии восприятия текста (на материале интернет-комментариев к политическим статьям) // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2017. – № 4. – С. 197–204.

58. Мирошникова В.В., Иовлева Т.В., Скляренко В.М., Евминова С.П. 50 знаменитых чудаков. – Харьков: Фолио, 2007. – 510 с.

59. Михайлова С.В., Миронова Ю.А. Лингвокультурный типаж «деловая женщина» как конструкт медиакоммуникации // Гендер и проблемы коммуникативного поведения. – 2016. – С. 147–151.

60. Мурзинова И.А. Критерии классификации лингвокультурных типажей // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Филологические науки. – 2021. – № 6 (159). – С. 114–117.

61. Набиуллина Г.А. Афоризм как тип текста в аспекте интертекстуальности (на материале татарского художественного дискурса) // Исследовательский проект № 18-7(Г)/2009Г. Казанский федеральный университет. – 2009. – С. 1–4.

62. Наличникова И.А. Когнитивно-прагматические особенности афористического дискурса: автореф. дисс. … канд. филол. наук (специальность 10.02.04 – германские языки). – Уфа: БГУ, 2010. – 21 с.

63. Новикова Е.В., Есмурзаева Ж.Б. Когнитивно-прагматические особенности немецких афоризмов экологической тематики // Вестник ЮУрГУ. Серия «Лингвистика». – 2018. – Т. 15, № 2. – С. 27–31

64. Полубиченко Л.В. Речевой потрет коллективной культурно-языковой личности как проблема художественного перевода // «Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». – 2020. – Т. XVII. – Вып. 1. – С. 20–24.

65. Поспелова Н. В. Панч как лингвокультурный типаж в британской культуре // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Вып. 10. – 2021. – Т. 14. – С. 3112–3116.

66. Пыляев М.И. Замечательные чудаки и оригиналы. Редакция текста, вступительная статья, именной указатель и составление А.Л. Никитина. – М.: Три века истории, 2001. – 359 с.

67. Радченко О.А. Венские оригиналы: современные технологии лингвопортретистики // Человек и его дискурс – 6. Дигитализация коммуникативных практик. – Волгоград: ИЯ РАН, ВГПУ, 2020. – С. 90–97.

68. Радченко О.А. Метакритика в лингвофилософской концепции Ю.С. Степанова // Критика и семиотика. – 2021. – № 1. – С. 10–24.

69. Радченко О.А., Аликаев Р.С. Профессиональная картина мира лингвиста в свете концепции П. Бурдьё // Организационная психолингвистика. – 2023. – № 4(24). – С. 10–34.

70. Радченко О.А., Закуткина Н.А. Диалектная картина мира как идиоэтнический феномен // Вопросы языкознания. – 2004. – № 6. – С. 25–48.

71. Резник В.А. Лингвокультурный типаж в системе смежных понятий // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2013. – Т. 15, № 2 (2). – С. 481–484.

72. Рыбина Е.А. Афористические выражения в интертексте (сравнительный анализ русского и английского газетно-публицистического дискур-

са): автореф. дисс… канд. филол. наук (специальность 10.02.20). – М., МГЛУ, 2006. – 26 с.

73. Рябова М. Ю. Национальный язык и культура как объекты лингвокультурологии // Сибирский филологический журнал. – 2010. – № 2. – С. 197–205.

74. Сабитова З.К. Лингвокультурология. – М.: Флинта, 2013. – 524 с.

75. Сатюкова Е.Г. Лингвокультурный типаж «английский чудак» в рассказе Грэма Свифта «Антилопа Хоффмайера» // Гуманитарные исследования. – 2017. – № 1 (61). – С. 51–54.

76. Севостьянов Д.А. Универсалии культуры как основы культурологического знания // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. – 2021. – № 3 (42). – С. 5–12.

77. Тарасенко Т.П., Величко М.А. Когнитивно-прагматические особенности афористического дискурса (на материале афоризмов В.И. Даля и С. Джонсона) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2017. – № 3(69). – Ч. 3. – С. 171–175.

78. Тихонова В.Л. Специфика содержательного аспекта понятия «культурные универсалии» / «категории культуры» в рамках антропологических и культурологических исследований // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2016. – № 7 (69). – Ч. 1. – С. 183–185.

79. Ухтомский А.А. Доминанта как рабочий принцип нервных центров // Русский физиологический журнал. Вып. 1–3. – 1923. Т. 6. – С. 31–45.

80. Фёдоров М.А. Основные понятия лингвокультурологии. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского гос. ун-а, 2015. – 96 с.

81. Хайруллина Р.Х. Сопоставительная лингвокультурология. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2015. – 97 с.

82. Харченко В.К. Креатив разговорного дискурса // Лингвистика креатива. – Екатеринбург: УГПУ, 2012. – С. 147–164.

83. Хвостов Б.А. Поэтика Петера Альтенберга: дисс. … канд. филол. наук (специальность 10.02.03). – М.: МПГУ. 2005. – 268 с.

84. Хроленко А.Т. Основы лингвокультурологии: учебное пособие. – М.: Флинта, 2009. – 184 с.

85. Чеботарёв И.Г. Невербальная коммуникация в речевом портрете лингвокультурного типажа «юродивый» // Альманах современной науки и образования. – 2015a. – № 1 (91). – С. 116–121.

86. Чеботарёв И.Г. Перцептивно-образная характеристика лингвокультурного типажа «Юродивый» в современном коммуникативно-массовом сознании // Гуманитарные и социальные науки. – 2014. – № 2. – С. 675–679.

87. Чеботарёв И.Г. Фасцинация в структуре лингвокультурного типажа «юродивый» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2015b. – № 2 (44). – Ч. I. – С. 201–205.

88. Чеботарёв И.Г. Ценностные характеристики фасцинативного лингвокультурного типажа «юродивый» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2015c. – № 2 (44). – Ч. II. – С. 208–211.

89. Чукшис В.А. К вопросу о лингвистическом и социокультурном статусе венского диалекта // Язык и культура. – 2021. – № 53. – С. 120–132.

90. Шевченко Л.Л. Преломление лингвокультурного типажа oddity в творчестве Айрис Мердок // Язык. Культура. Личность: сборник научных трудов, посвященный юбилею доктора филологических наук, профессора Л.А. Козловой. – Барнаул: АлтГПУ, 2020. – С. 147–162.

91. Шушарина Г.А. Портретирование как метод изучения языковой личности // Учёные записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. – 2017. – № II-2 (30). – С. 27–30.

92. Щербаева А.А. Лингвокультурные типажи «Учитель» и «Врач»: общекультурные и индивидуально-авторские характеристики: автореф. дисс. … канд. филол. наук (специальность 10.02.01). – Ставрополь: КГУ, 2010. – 21 с.

93. Эсмаили С. Художественный конфликт в малой прозе В.М. Шукшина (структура, типология): дисс. … канд. филол. наук. – М., 2014. – 147 с.

94. Юй Пэн. Лингвокультурологический потенциал афористических выражений в убеждающем дискурсе // Аксиология филологического образо-

вания в контексте подготовки педагога будущего: материалы II Международной научно-практической конференции. – Минск: Изд-во Белорус. гос. ун-та, 2023. – С. 268–271.

95. Яковлева И.Ю. Иерархия в англоязычной афористической парадигме: полевой аспект // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2015. – Т. 17, № 1(3). – С. 732–736.

96. Ярмахова Е.А. Лингвокультурный типаж «английский чудак»: автореф. дисс. … канд. филол. наук (специальность 10.02.19 – Теория языка). – Волгоград, 2005. – 19 с.

97. Ярычев Н.У. Культурная память как понятие и явление: основания концептуализации // Культура и искусство. – 2022. – № 12.

98. Ярышева П.А. Языковая специфика британского речевого жанра «buffoonery» // Теоретические и прикладные аспекты изучения речевой деятельности. – 2013. – Т. 8, № 1. – С. 208–211.

99. Allmayer-Beck P., Podgorski T., Vцlker H. «Das Gutruf». Ein Hinterzimmer wird 100. – Wien: Bibliophile Edition, 2006. – 202 s.

100. Altenberg P. Die Selbsterfindung eines Dichters. Briefe und Dokumente 1892–1896. Hrsg. und mit einem Nachwort von Leo A. Lensing. – Göttingen: Wallstein, 2009. – 210 s.

101. Altenberg P. Was der Tag mir zuträgt. Auswahl aus seinen Büchern. Hrsg. v. Karl Kraus. – Wiesbaden: marixverlag, 2012. 478 s.

102. Barker A., Lensing L.A. Peter Altenberg: Rezept die Welt zu sehen. Hrsg.: Wendelin Schmidt-Dengler. – Wien: Braumüller, 1995. – 437 s. (Untersuchungen zur österreichischen Literatur des 20. Jahrhunderts; Bd. 11)

103. Bartl A. Der Heilige Trinker. – 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.profil.at (дата обращения 01.07.2024).

104. Berliner Originale [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.berlin.de/tourismus (дата обращения: 01.07.2024).

105. Biron G. Quasi Herr Karl. Helmut Qualtinger – Kultfigur aus Wien. – Wien: Braumьller Verlag, 2011. 219 s.

106. Botz G. Nationalsozialismus in Wien. – Wien: Mandelbaum, 2018. – 728 s.

107. «Da wer'n ma halt den Hobsik rufen!» // Das kleine Volksblatt. – 1938. – № 198. – S. 6.

108. Der «Stegreifwirt» feiert goldene Hochzeit // Weltpresse. – 1948. – № 32. – S. 2.

109. Ein Wiener Original // Arbeiter-Zeitung. – 1906. – № 335. – S. 6.

110. Ein Wiener Original gestorben // Innsbrucker Nachrichten. – 1906. – № 258. – S. 20.

111. Feldner Fr. Wiener Originale und andere nicht ganz Normale. – Wien: Hunns, 1962. – 69 s.

112. Forster D. Ein echter Wiener geht nicht unter / D. Forster, G. Spitaler // DerStandard – 2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.derstandard.at/story (дата обращения: 01.07.2024).

113. Godala E. Wien wirklich // Kurier. – 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kurier.at/freizeit (дата обращения 01.07.2024).

114. Grieser D. Verborgener Ruhm: Österreichs heimliche Genies. – Wien: Amalthea Signum, 2004. – 280 s.

115. Harten U. Triangi von und zu Latsch und Madernburg (geb. Samek), Beatrix (Beatrice) Reichsgräfin // Österreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung: 4.4.2023). – 2023. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dx.doi.org (дата обращения: 01.07.2024)

116. Henisch P. Baronkarl alte und neue Peripheriegeschichten. – Weitra: Verlag Bibliothek der Provinz, 1993. – 184 s.

117. Helmut Qualtinger // Austria.Forum [Электронный ресурс]. – режим доступа: https://austria-forum.org (дата обращения: 01.07.2024).

118. Hirschfeld L. Wien. Der beliebteste Reiseführer der 1920er Jahre. Mit einem Nachwort von M. Amanshauser. – Wien: Milena Verlag, 2020. – 256 s.

119. Hödl K. Zwischen Wienerlied und Der Kleine Kohn. Juden in der Wiener populären Kultur um 1900. – Vandenhoek&Ruprecht, 2017. 207 s.

120. Horowitz M. Wiener Originale. Prägende Persönlichkeiten einer Stadt. – Wien: Carl Ueberreuter Verlag, 2023. 208 s.

121. Huppert R. Theater in der Vorstadt // Radio Wien. – 1931. – Jg. 7. – Heft 31. – S. 4–5.

122. J. Wiener Plaudereien // Neues Fremden-Blatt. – 1866. – S. 4–5.

123. Josef Lukitz // Der Spiegel. – 1956. – № 17. – Artikel 52.

124. Karl Sesta im Wiener Stadt- und Landesarchiv [Электронный ресурс]. – Режим дсотупа: https://presse.wien.gv.at/2008 (дата обращения: 01.07.2024).

125. Kastner G. Gruß aus Hitler-Deutschland. Der NS-Terror in Österreich 1933–1938 und seine Opfer. – Wien: New academic press, 2019. – 472 s.

126. Kornberger M. Hans von Zois: der vergessene steirische Komponist // DerStandard. Biografieblog. – 2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.derstandard.at/story (дата обращения: 01.07.2024).

127. Kraus Fr. Die Gräfin Triangi: ein Wiener Original der Zwischenkriegszeit // DerStandard. Blog. – 2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.derstandard.at/story (дата обращения: 01.07.2024).

128. Kraus Fr. Wiener Originale der Zwischenkriegszeit. Diss. Universität – Wien, 2008. – 242 s.

129. Müller H. Auf der Suche nach dem Wiener Original // Alexandria. – 2024 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.alexandria-magazin.at/magazin (дата обращения: 01.07.2024).

130. Müller H. Das neue Buch // Donauland. – 1917. – Bd. 1. – H. 5. – S. 528–531.

131. NS-Zeit [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/NS-Zeit (дата обращения: 01.07.2024)

132. O.M.F. «Wien, wie es war», oder: ein Mann rettet Wien // Der Wiener Tag. – 1934. – S. 7.

133. Oberlandsgerichtsrat Alfred Pick gestorben // Kleine Volks-Zeitung. – 1937. – № 296. – S. 6.

134. Peter Altenberg. Aphorismen [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.aphorismen.de (дата обращения: 01.07.2024).

135. Polt-Heinzl E. Peter Altenberg und die zeitgenössische Bildproduktion – Mythen, Legenden und blinde Flecke // Innerhofer R., Polt-Heinzl E. Peter Altenberg – prophetischer Asket mit bedenklichen Neigungen. [Vorträge im Wiener Rathaus am 21. Dezember 2009]. – Wien: Picus 2011 (Wiener Vorlesungen im Rathaus, 155). – S. 11–42.

136. Prototypical layer of a concept: the English culture type “Private Detective” / T. Tameryan. R. S. Alikaev., A. Sabanchieva, M. Mukova, R. Efendieva // Amazonia Investiga. – 2018. – Vol. 7. – Iss. 13. – P. 322–330.

137. Qualtinger H., Merz C. Das Qualtinger Buch. – Frankfurt am Main. u.a.: Ullstein, 1990. – 219 s.

138. Radchenko O.A., Vetrinskaya V.V. Gender Literature: How much is it underpinned by authors’ private life? // Training, Language and Culture. – 2017. – Vol. 1. – Iss. 4. – P. 56–67.

139. Rathmanner P. Helmut Qualtinger: «Er war eine grantige Instanz» // Wiener Zeitung. – 2011.

140. Robert Böck (Oberkellner) // Stadt Wien Archiv vom 12.08.2014. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wien.gv.at/video (дата обращения 01.07.2024).

141. Skocek J., Weisgram W. Das Spiel ist das Ernste. Ein Jahrhundert Fußball in Österreich. – Wien: Echomedia Verlag, 2004. – 367 s.

142. Sprödl H. Baron Karl – ein Favoritner Original // Favoritner Museumsblätter. – 1988. – Nr. 12. – S. 5–15.

143. Stadtoriginal Deutschland [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://de.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 01.07.2024).

144. Stadtoriginal Schweiz [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://de.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 01.07.2024).

145. Steiner R. Ein Wiener Dichter [Peter Altenberg] // Magazin für Literatur. – 1897. – № 66. Jg. – Nr. 28. – S. 185–190.

146. Tameryan T., Alikaev R.S., Sabanchieva A., Mukova M., Efendieva R. Prototypical layer of a concept: the english culture type «private detective» // Amazonia Investiga. – 2018. – Vol. 7, № 13. – P. 322–330.

147. Utri R. Sprachwitz in den Texten österreichischer Kabarettisten // Glottodidaktica. – 2011. – Vol. XXXVIII. – P. 53–62.

148. Veigl H. Einzelgänger & Exzentriker. Außenseiter wider den Zeitgeist. – Wien: Böhlau Verlag, 2008. – 267 s.

149. Werfring J. Wiener Kaffeesieder-Legende verstorben // Wiener Zeitung. – 2016. – № 16. – S. 3.

150. Wie Franz Lachmayer gestorben ist // Illustriertes Wiener Extrablatt. – 1902. – № 198. – S. 4.

151. Wiener Original [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://de.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 01.07.2024)

152. Wiener Originale // Neues Wiener Journal. Teil I, 2. Oktober 1904. – S. 2–3; Teil II, 16. Oktober 1904. – S. 2–3; Teil III, 30. Oktober 1904. – S. 3–4; Teil IV, 6. November 1904. – S. 2–3; Teil V, 27. November 1904. – S. 3; Teil VI, 1. Januar 1905. S. 3-4; Teil VII, 12. Februar 1905. S. 3-4; Teil VIII, 19. Mдrz 1905. – S. 3; Teil IX, 26. Mдrz 1905. – S. 2–3; Teil X, 14. Mai 1905. – S. 2; Teil XI, 4. Juni 1905. – S. 3–4; Teil XII, 6. August 1905. – S. 2–3; Teil XIII, 27. August 1905. – S. 2–3; Teil XIV, 10. September 1905. – S. 2–3; Teil der Serie "Wiener Originale" ohne Ziffer, 15. Oktober 1905. – S. 2–3; Teil der Serie "Wiener Originale" ohne Ziffer, 29. Oktober 1905. – S. 4; Teil XVI, 12. November 1905. – S. 2–3; Teil XVII, 26. November 1905. – S. 2–3; Teil XVIII, 03. Dezember 1905. – S. 4–5; Teil XX, 7. Jдnner 1906. – S. 2–3; Teil XXI, 28. Jдnner 1906. – S. 3; Teil XXII, 11. Mдrz 1906. – S. 2–3; Teil XXIII, 8. April 1906. – S. 3; Teil XXIV, 13. Mai 1906. – S. 2–3; Teil XXV, 24. Juni 1906. – S. 4; Teil XXVI, 1. Juli 1906. – S. 3; Teil XXVII, 15. Juli 1906. – S. 2–3; Teil XXVIII, 29. Juli 1906. – S. 2–3; Teil XXIX, 19. August 1906. – S. 2–3; Teil XXX, 26. August

1906. – S. 2–3; Teil der Serie "Wiener Originale" ohne Ziffer, 9. September 1906. – S. 3; Teil XXXII, 23. September 1906. – S. 2–3; Teil XXXIII, 7. Oktober 1906. – S. 2–3; Teil XXXIV, 14. Oktober 1906. – S. 3.; Teil XXXV, 18. November 1906. – S. 3.

153. Zacharia E. Die Geschichte der Wilden Wanda // Wiener-Online. 23. – 2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://wiener-online.at/2023 (дата обращения 01.07.2024).

154. Zeller-Zellenberg W., Skupy H.-H. Цsterreich-Brevier. Aphorismen und Zitate von Altenberg bis Zweig. – Amalthea-Verlag, 1983. – 207 s.

Словари и справочники

155. Ammon U. Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. – Berlin, New York: de Gruyter, 1995. – 575 s.

156. Ammon U., Bickel H., Lenz Alexandra N. Hrsg.). Variantenwörterbuch des Deutschen. Die Standardsprache in Österreich, der Schweiz, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol sowie Rumänien, Namibia und Mennonitensiedlungen. 2., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. – Walter de Gruyter, Berlin 2016. – 916 s.

157. Brauer A. Wienerisch für Fortgeschrittene. 2. Aufl. – Wien, Amalthea Signum, 2020. – 128 s.

158. Das kleinste und witzigste Wien-Lexikon aller Zeiten. Gebunden mit Lesebдndchen und mit zahlreichen Abbildungen illustriert, durchgehend zweifarbig gedruckt. – 2010. Thiele&Brandstдtter. – 128 s.

159. Ebner J. Österreichisches Deutsch. Wörterbuch der Gegenwartssprache in Österreich. 5., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage. – Dudenverlag, Berlin 2019. – 512 s.

160. Hornung M., Grüner S. Wörterbuch der Wiener Mundart. – Wien, ÖBV Pädagogischer Verlag, 2002. – 806 s.

161. Österreichisches Englisch-Wörterbuch Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch. – Langenscheidt, Berlin, 2010. – 1440 s.

162. Markhardt, H. Das Österreichische Deutsch im Rahmen der EU. – Frankfurt am Main, Wien: LANG, 2005. – 380 s.

163. Muhr, R., Schrodt R., Wiesinger P. (Hrsg.). Österreichisches Deutsch: linguistische, sozialpsychologische und sprachpolitische Aspekte einer Nationalen Variante des Deutschen. – Wien: Hölder-Pichler-Tempsky, 1995. – 405 s.

164. Österreichisch [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ostarrichi.org (дата обращения 01.07.2024).

165. Österreichisches Biographisches Lexikon. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biographien.ac.at (дата обращения 01.07.2024).

166. Pabst Christiane M. (Red.) et al. Österreichisches Wörterbuch. Herausgegeben im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Vollständige Ausgabe mit dem amtlichen Regelwerk. 44., aktualisierte Auflage. – Wien: öbv, 2022. – 1055 s.

167. Panagl O., Gerlich P. (Hrsg.): Wörterbuch der politischen Sprache in Österreich. öbv. – Wien, 2007. – 520 s.

168. Sedlacek R. Österreichisches Deutsch. – Wien: Ueberreuter, 2004. – 512 s.

169. Wiesinger, P. (Hrsg.). Das Österreichische Deutsch. – Wien, Köln, Graz: Böhlau, 1988. – 281 s.

170. Wiesinger, P. Das österreichische Deutsch in Gegenwart und Geschichte. – Wien: LIT Verlag, 2006. – 428 s.

171. Wintersberger A. Wörterbuch Österreichisch-Deutsch. – Residenz, 2024. – 120 s.

172. Zauner Th., Schierer A. Sprechen Sie Österreichisch: ein Sprachführer für Einheimische und Zugereiste. – Wien: Ueberreuter, 2022. – 112 s.

Приложение

БИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ О ВЕНСКИХ ОРИГИНАЛАХ

Bierumlagengesetz wird die Bestimmung enthalten, daß wenn der Staat die Biersteuer an sich ziehen sollte, diese dem Lande nach dem letzten Jahreserträgniß ersetzt wird. Gegenwärtig besitzen alle Kronländer außer Niederösterreich entweder bereits die Landes-Bierumlage oder ist deren Einführung schon im Werke.

Für den 4. October hat Dr. Pacak sämmtliche czechischen Landtagsabgeordneten zu einer Conferenz nach Prag einberufen.

Ein Kuttenberger Blatt theilt mit, daß Abgeordneter Holansky die Aufforderung des jungczechischen Executivcomités, er möge, nachdem er aus der Partei ausgetreten ist, seine Mandate niederlegen, mit der Erklärung beantwortet, er werde die Mandate behalten. Das Blatt erzählt, der Austritt Holansky's aus der Partei sei kein freiwilliger gewesen. Das Executivcomité der Partei habe bereits vor längerer Zeit ein Ehrengericht gegen Holansky eingesetzt, welches sich mit der Art befassen sollte, wie der Abgeordnete sein Mandat ausübe. Nach den Erhebungen soll der Referent den Antrag vorbereitet haben, Holansky sei aus der Partei auszuschließen. Einem definitiven Richterspruche entzog sich Holansky durch seinen Austritt aus der jungczechischen Partei.

Aus Sofia wird gemeldet: Der neuernannte österreichisch-ungarische diplomatische Agent Freiherr v. Braun traf gestern hier ein und stattete dem Minister des Aeußern seinen ersten Besuch ab. Sein Vorgänger Graf Forgach reist heute ab.

Städtische Angelegenheiten.

Hauptrechnungsabschluß pro 1903.

Der Hauptrechnungsabschluß der Gemeinde Wien für das Jahr 1903 ist in der Magistratssitzung vom 29. v. M. erledigt worden. Das Gebarungsergebniß ist ein recht günstiges. Veranschlagt waren:

Die ordentlichen Einnahmen mit	125,877.560 Kr.
die außerordentlichen Einnahmen mit .	15,311.740 „
die ordentlichen Ausgaben mit	118,070.770 „
die außerordentlichen Ausgaben mit . .	23,034.930

Thatsächlich betrugen:

die ordentlichen Einnahmen	127,985.088 Kr.
die außerordentlichen Einnahmen	40,771.418 „
die ordentlichen Ausgaben	119,254.113 „
die außerordentlichen Ausgaben	46,702.119 „

Bei der Gegenüberstellung der thatsächlichen Einnahmen und Ausgaben ergibt sich ein Einnahmeüberschuß von 2,800.275 Kronen.

Unter den außerordentlichen Ausgaben sind hervorzuheben die Ausgaben zum Ankauf von Realitäten zur Straßenverbreiterung mit 3,118.901 Kronen, zum Ankauf von Realitäten für andere Zwecke 704.056 Kronen, für Schulbauten 3,051.554 Kronen, für den Bau eines Polizeigefangenhauses 304.178 Kronen, für die Ausgestaltung der Gaswerke 746.258 Kronen, für die Ausgestaltung der Elektricitätswerke 4,848.502 Kronen, für den Um- und Ausbau der städtischen Straßenbahnen 2,526.208 Kronen, außerordentliche Neupflasterungen mit 925.707 Kronen, Einrichtungen zur Straßensäuberung 693.608 Kronen, Wienflußregulirung 628.317 Kronen, Errichtung von Gartenanlagen 683.856 Kronen, Ergänzung der ersten Hochquellenleitung 989.685 Kronen, Bau der zweiten Hochquellenleitung 1,043.931 Kronen, Ergänzung der Wienthalleitung 238.153 Kronen, Bau von Sammelcanälen und Bacheinwölbungen 746.552 Kronen, Investitionen zu Marktapprovisionirungszwecken 440.307 Kronen, für Friedhoferweiterungen 234.313 Kronen, für die Errichtung des neuen Versorgungsheims 4,662.020 Kronen.

Das Stammvermögen der Gemeinde hat sich durch Vermehrung der Activa und Verminderung der Passiva um 12,879.727 Kronen, das currente Vermögen um 1,735.687 Kronen, der Werth des Gemeindegutes um 7,539.800 Kronen vermehrt.

(Sitzungen im Rathhause.) Der Gemeinderath hält in der kommenden Woche keine Plenarsitzung ab. — Stadtrathssitzungen finden am Mittwoch, Donnerstag und Freitag um 10 Uhr Vormittags statt.

(Vereinigung der Stadt Klosterneuburg mit Wien?) Aus Klosterneuburg wird uns gemeldet: Laut der neuen Gemeindewahlordnung haben auch in der Stadt Klosterneuburg die Neuwahlen für die Gemeindeverwaltung innerhalb eines Jahres stattzufinden. Diese dürften nun im Frühjahr bereits vollzogen sein und sieht man denselben mit großem Interesse entgegen. Den Hauptprogrammpunkt der Christlichsocialen in der kommenden Wahlcampagne der Stadt Klosterneuburg bildet die Vereinigung Klosterneuburgs mit Wien, in welchem Sinne bereits jetzt namentlich publicistisch lebhaft agitirt wird.

(Vorläufige Beibehaltung der alten Schutzvorrichtung.) Die vielfachen Erprobungen, die mit nicht weniger als neun verschiedenen Schutzvorrichtungssystemen von der Direction der städtischen Straßenbahnen vorgenommen wurden, dürften mit einer vorläufigen Beibehaltung — des alten Schutzrahmens enden. Keine einzige der bekannten Schutzvorrichtungen hat nämlich bisher eine entsprechende Gewähr bei Unfällen geboten. Als Hauptursache der Schwierigkeiten, die sich der wichtigen Reform der Schutzvorrichtung entgegenstellen, werden die schlechten Pflasterverhältnisse angegeben. Von Seite der Fachleute im Trambahnwesen wird nunmehr der Schwerpunkt der Schutzmaßregeln in der Vervollkommnung des Bremssystems erblickt.

(Eine verschwindende Altwiener Gasse.) Eines der ältesten und verstecktesten Gäßchen Altwiens, der sogenannte „Auwinkel" wird der in großem Zuge durchzuführenden Regulirung des Aspernplatzviertels schon demnächst zum Opfer fallen. Der „Auwinkel" bildete noch vor wenigen Jahren den letzten Rest der alten „Biberbastei", einer grasbewachsenen Böschung, die, mit uralten Häusern besetzt, den östlichsten Ausläufer der alten Stadtbefestigungen bildete und nunmehr einigen neuen Zinspalästen gewichen ist. Der Auwinkel grenzte an das mächtige Laurenzergebäude und wurde wegen seiner besonderen Unreinlichkeit früher mit dem drastischen Namen „Sauwinkel" belegt. Nach durchgeführter Regulirung des Stadttheiles dürfte auch der historische Name des Auwinkels durch eine andere Straßenbezeichnung ersetzt werden.

(Der Wiedener Wählerverein) veranstaltet am Montag den 3. d. M. um 1/2 8 Uhr Abends in den Sälen „Zu den drei Engeln" IV., Große Neugasse 36, eine Vollversammlung mit folgender Tagesordnung: „Ueber gewerbliche Angelegenheiten"; „Das Handwerk in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft"; Discussion zu Punkt 1 und 2.

Tagesneuigkeiten.

Kranke Feldherren.

Sanitätsberichte aus dem russischen Kriegslager.

Aus glaubwürdiger chinesischer Quelle.

Die russische Regierung hat beschlossen, dem commandirenden General Kuropatkin einen gleichgestellten Collegen in Person des Generals Grippenberg nachzusenden. Die Biographien des neuernannten Commandanten berichten über dessen hervorragende, im langjährigen Frieden erworbene kriegerische Verdienste und fügen en passant bei, daß der jetzt in der Mitte der Sechzig stehende General im Vorjahre vom Schlag getroffen wurde. Dieser Umstand gibt zu denken. Gewöhnlich pflegt man Generale, die gesundheitlich so schlimm daran sind, in Pension zu schicken. In Rußland aber schickt man sie als Feldherren in den Krieg. Vielleicht erfolgt die Ernennung gerade dieses Generals aus zarter Rücksicht für die Gefühle Kuropatkin's, dem man zu verstehen geben wollte, daß es nicht gerade japanische Schläge sein müssen, die als Befähigungsnachweis für Feldherrntalente gelten.

Auch ein anderer Patient sucht in Ostasien Lorbeeren, General Stackelberg. Von ihm wird berichtet, daß er so magenleidend ist, daß er sich ausschließlich von Milch ernähren könne. In seinem Lager wird daher stets eine eigene Kuh als Kriegsmilchlieferantin mitgeführt, was bei den ostsibirischen und mandschurischen Verkehrsverhältnissen mit ziemlich großen Schwierigkeiten verbunden ist. Kühe sind eben auf dem Kriegsschauplatze gesuchte Werthobjecte, während es im russischen Hauptquartier an Ochsen durchaus nicht fehlt.

Der leidende Gesundheitszustand der beiden erwähnten Generale ist notorisch, denn die diesbezüglichen Mittheilungen stammen aus russisch-officieller Quelle. Fast interessanter noch sind aber ähnliche Daten, die der Correspondent des von uns jüngst schon citirten „Daily Liar" (Amerika, Wildwest) seinem Blatt aus Ostasien kabelt:

„Von unserem glaubwürdigen Chinesen in Tschifu, dessen Angaben auch von dem rühmlichst bekannten Dschunkenführer aus Port Arthur bestätigt werden, erfahre ich soeben, daß der hartnäckige Widerstand, den die Festung leistet, auf den Umstand zurückzuführen ist, daß Commandant General Stössel an totaler Taubheit leidet. Wenn japanische Granaten in seiner Nähe einschlagen, pflegt er dem neben ihm stehenden Officier ein höfliches „Zur Genesung" zuzurufen. Das Krachen der platzenden Geschosse dünkt ihm eben als Geräusch des Niesens. Eine Folgeerscheinung seines Leidens ist es auch, daß er allen Vorschlägen betreffs Capitulation gegenüber taub bleibt."

* * *

„Von den in den letzten Wochen nach Ostasien commandirten Officieren leidet ein großer Theil an constantem Stockschnupfen. Dieses Leiden bringt es mit sich, daß sie kein Pulver riechen können. Ziemlich häufig tritt sowohl im Officierscorps als auch in der Mannschaft hochgradige Wasserscheu auf, deren Consequenz regste Nachfrage nach Wutky ist. Auch eine Abart der Wassersucht, die gebrannte Wassersucht, herrscht im russischen Lager."

* * *

„Der Gesundheitszustand des Vicekönigs Alexejew ist auch nicht der beste. Er ist ungemein nervös und blutscheu. Es äußert sich dieses Symptom keineswegs bei Operationen, die an politischen Sträflingen oder an russischen und japanischen Truppenkörpern vorgenommen werden, sondern nur seinen eigenen Körper betreffend. Er kann eben unter keinen Umständen sein Blut fließen sehen und hält sich daher stets in angemessener Entfernung von dem Schauplatz etwaiger Zusammenstöße. Bierotechnisch ausgedrückt: „Er meidet unbedingt das Lager und ist stets für Abzug."

* * *

„Ein jugendlicher Großfürst, der, begleitet von den Segenswünschen der kaiserlichen Familie und von einigen Damen des kaiserlichen Ballets, auf den Kriegsschauplatz eingerückt war, wurde durch hohen Befehl seiner weiblichen Garde du corps beraubt. Die Damen mußten nach Rußland heimkehren, der arme Prinz aber leidet seither an haremlosem Trübsinn."

Robert.

Wiener Originale.

I.

Maler Arthur Kurtz.

Drei Treppen hoch in einem altmodischen Haus mit enger Stiege und wenig Sonne. Eine zirpende Glocke von einstmal und ein Blättchen Papier mit dem eigenhändigen Namenszug „Arthur Kurtz". Die einzelnen Buchstaben künstlerisch verworren und halb grotesk: kein schweres Bild für die Kunst der Graphologen.

Ein kurzes Gespräch mit der liebenswürdigen Hausfrau und dann tritt Maler Kurtz, von dem ich bisher nur gehört und gelesen hatte, in den Thürrahmen. Eine ganz fremdartige und fesselnde Erscheinung: ein hübscher Kopf mit unruhigen Augen, die Haare künstlerisch aufwärts strebend, der Bart genau gepflegt, halb russisch, halb afrikanisch gestutzt, die Gestalt kräftig, der Teint arabisch. Ein rother Malerkittel hebt das Düstere des Ensembles ins Dämonische. Und jetzt erkenne ich ihn, den wackern Nelusco aus der „Afrikanerin", der mit schönem Bariton Adamastor den König der Wellen zu beschwören hat. — Ich trete ins Atelier: da sieht es hübsch und bunt aus, die Fenster sind durch Verhüllung der unteren Scheiben zu künstlichem Oberlicht verleitet worden, an den Wänden und auf den Staffeleien gibt es unterschiedliche Bilder, hübsche Frauen, die sich im Aether spiegeln, Heilandsköpfe, Porträts und Sonderbarkeiten. Zeitweilig sehe ich Tabellen mit geheimnißvollen Zeichen und unendlichen Zahlenreihen. Sie sind zwischen den Bildern vertheilt, Sonnensysteme kreisen in leuchtenden Farben auf diesen Papieren und unzählige von Milliarden sind da ziffernmäßig nebeneinander gestellt. Das ist die astrologisch-mathematische Abtheilung im Atelier. Ich gleite über diese Tabellen hinweg und sehe nach den Zimmerecken; da finden sich Kästen mit großen und kleinen Würfeln, vielfach bemalt, Kugeln und Stäbe, Cartons und Hefte und Bücher. Der flüchtige Blick möchte hier einen Spielereiwaarenkram oder einen Jurbazar erschauen, aber es wird später Jedermann klar, daß dies die Erfindungen des Malers sind, jene Erfindungen, von denen wir in den Redactionen längst schon wissen, die wir aber ungern dem Publicum preisgeben.

---

senkten Hauptes die Entscheidung des Gerichtes abzuwarten und seinen Gläubigern das Geld zu überlassen, das ihm noch geblieben. Erst als er festgestellt hatte, daß die Antheilsquote seiner Clienten nur ganz minimal sein würde, entschloß er sich, das Geld mit sich zu nehmen. Noch am Morgen peinigten ihn die Gewissensbisse, und er fühlte, wie sich sein Herz zusammenkrampfte, als er die Vorbereitungen zur Abreise traf.

Er trat in den kleinen Clubsaal, in welchem sich die ernsteren Mitglieder, Geschäftsleute oder Rentiers, die dem Baccarat nicht huldigten, für gewöhnlich aufhielten. Hier wurde an isolirten Tischen zumeist Piquet oder Ecarté gespielt. Einige begnügten sich damit, in einem Winkel zu plaudern. Hier fühlte man sich wie zu Hause, und es herrschte hier eine lebhafte geistige Familiarität.

Chambon's Blick fiel sofort auf Emil Belin, eines der ältesten Clubmitglieder, der ebenfalls zu seinen Clienten zählte. Er war gerade im Begriff, Karten auszutheilen, und als er Chambon gewahrte, rief er ihm lächelnd zu:

„Wollen Sie auch ein Spielchen machen?"

Emil Belin, ein ziemlich reicher Mann, der sich ohne Unfall von den Speculationen zurückgezogen, setzte jetzt nur noch von Zeit zu Zeit in „sicheren Geschäften", wie er sagte, sein Geld aufs Spiel. Er war stolz auf seinen Ruf, eine besonders feine Nase zu haben und sich nie umwerfen zu lassen. Oft, wenn er spürte, daß ein Börsenspeculant im „Glücke" saß, zögerte er nicht, ihm mäßige Capitalien anzuvertrauen, und bis jetzt war er dabei niemals schlecht gefahren. Mit Vorliebe wählte er hiezu Anfänger. Das nannte er dann die Jungen protegiren.

Chambon flößte ihm Sympathie ein und mit ihm war er intimer geworden als mit jedem Anderen. Auch schätzte er seine besonderen finanziellen Eigenschaften.

Nachdem Chambon auf die Uhr gesehen, nahm er seinem Clienten gegenüber Platz.

„Ich habe noch Zeit genug," dachte er bei sich. „Das wäre drollig, wenn ich ihm vor meiner Abreise noch einige Louisdor abgewänne."

Beim Kartenmischen indes gewann sein gutes Herz wieder die Oberhand und er sagte sich:

„Der arme Belin! Er dauert mich. Nein, wirklich, ich möchte lieber ein wenig verlieren; er wird morgen noch genug Unangenehmes erfahren müssen."

Er hatte jedoch gerade heute unerhörtes Glück, und nach einer Weile erhob sich Belin, der im rechten Moment aufzuhören verstand, und sagte:

„Genug verloren für heute."

„Mit mir hat er entschieden Pech," dachte sich Chambon, und die gewonnenen Goldstücke und Banknoten zu sich steckend, empfahl er sich auf „englisch" aus dem Club.

Eine Stunde blieb ihm noch bis zum Diner, und obwohl er keinen Appetit verspürte, trat er in ein vornehmes Restaurant am Boulevard ein, das er häufig aufzusuchen pflegte. Der Oberkellner, der ihn sofort erkannte, kam auf ihn zu.

„Gnädiger Herr speisen heute Abends gar früh," sagte er lächelnd.

„Ich will mich noch umkleiden, um ins Theater zu gehen. Ich habe übrigens wenig Hunger. Lassen Sie rasch auftragen."

Er bestellte sein Menu, und während er apathisch ein Stückchen Brot mit Butter bestrich, kam ihm der ganze Ernst seiner beklagenswerthen Situation zu Gedächtniß. Morgen also würde der Oberkellner und mit ihm sein ganzer Kellnerstab wissen, daß er, Chambon, sich auf der Flucht befinde, nachdem er auf der Börse unglücklich speculirt. Der ganze Boulevard würde es in Erfahrung bringen, die Journalisten würden es mit Verachtung festnageln, Artikel würden über ihn und den finanziellen Schwindel erscheinen! Er würde allenthalben als Gauner gebrandmarkt sein! Und was würde erst Belin, der arme Belin, dazu sagen? Er verliert am meisten bei dem Bankerott. O, Chambon durchlebte jetzt peinliche Momente!

Der Kellner servirte ihm eine Schnepfe.

„Ei, Sie bringen mir eine Schnepfe? Hatte ich denn eine bestellt? Ich weiß es wirklich nicht mehr."

Er aß Schnepfen für sein Leben gern, wie er denn überhaupt ein großer Feinschmecker war. Er verzehrte den größten Theil des köstlichen Wildes und trank einen schweren Burgunder dazu. Eine Tasse heißen Kaffees, ein starkes Schnäpschen und eine Cigarre seiner Lieblingsmarke verscheuchten gar bald die trüben Gedanken, die sein Hirn marterten. Eine behagliche Wärme, die vom Magen, dem Vater aller Philosophie, ausging, durchströmte alle seine Glieder.

Nach der Mahlzeit zahlte er, ließ ein reichliches Trinkgeld zurück und entfernte sich festen Schrittes aus dem Local. Wenn er es recht betrachtete, war seine Lage eigentlich gar nicht so schlecht. Er hatte schon weit schrecklichere Zeiten mitgemacht, Zeiten der Entbehrung und des Elends. Er war jetzt vierzig Jahre alt, kerngesund und hatte ein paar schöne Tausender bei sich.

„Der Abschied von Paris wird mir gar nicht schwer," sagte er sich. „Paris wird immer ungemüthlicher."

Er rief nach einem Wagen, der langsam herangefahren kam.

„Was für abscheuliche Wagen!" brummte Chambon ärgerlich.

Anton war bereits auf dem Bahnhof.

„Das Reisebillet für Sie habe ich schon gelöst, gnädiger Herr, aber Reisegepäck brachte ich nicht mit, da Sie es nicht wünschten."

„Ich kaufe mir schon Alles, was ich brauche, unterwegs. In drei bis vier Tagen schreibe ich Dir und dann kommst Du mir nach."

„Ich sehe mit Vergnügen," bemerkte Anton, „daß der gnädige Herr wieder bei ganz guter Laune sind."

Chambon lächelte.

„Ich habe Ihnen einen Eckplatz reserviren lassen."

„Schön. Also auf Wiedersehen!"

Damit reichte er seinem Diener die Hand, die dieser respectvoll ergriff. Nachdem sich Anton entfernt hatte, machte sich's Chambon im Waggon bequem.

Ihm gegenüber saß ein Herr, ungefähr in seinem Alter, ebenso wie er in einen Pelz gehüllt. Eine einfache Decke bildete sein ganzes Reisegepäck.

„Wer weiß, am Ende ist das gar ein College von mir," dachte Chambon belustigt.

Und dieser Gedanke half ihm angenehm über die ersten Stunden seiner Reise hinweg.

Wer nun noch im Unklaren über die Persönlichkeit des Herrn Arthur Kurz ist, dem sei mitgetheilt: Er ist ein braver und tüchtiger Maler, dem sie in der Genossenschaft und in der Secession seine Bilder zurückschickten, weil sie ihn nicht verstanden haben. Außerdem hat Kurz das Weltperpetuum gefunden, die Quadratur des Zirkels, den Friedenswürfel und das allrunde Buch. Erstere Dinge schon vor Jahren, letzteres erst vor zwei Monaten.

Ich stehe vor einem Bild, das eine hübsche Heilige in losem Gewand zeigt. Sie bewegt sich auf der Erdkugel, die von einer Brillenschlange bewacht wird. „Das ist ein aufgeklappter Strahl," sagt Maler Kurz, „aber um das zu verstehen, muß ich Ihnen den Mittelpunkt der Kugel erklären; wollen Sie Platz nehmen." — Und er schließt die Ateliertür, ruft seiner Gattin zu: „Niemand soll hereinkommen, es wird lange dauern," und ich sitze nun vor ihm, der einen auseinandergeschnittenen und mit Papier verklebten Gummiballen hervorzieht.

„Das ist die Kugel," sagt er, „da leben wir Alle miteinander, aber auf Eines haben sie Alle miteinander vergessen, der Pythagoras, der Archimedes, auf den Mittelpunkt."

Und er öffnet den Ballen und zeigt mir diesen Mittelpunkt und erklärt mir, daß dies der Inbegriff aller Erfindungen sei. Vor Allem kenne der Mensch nun seine Seele, dann sei es Jedermann leicht, das lenkbare Luftschiff zu ersinnen und dann könnte jeder Mensch augenblicklich in Australien sein. Er erzählt mir noch viel vom runden, allzurunden Buch. So zum Beispiel hat er auf dem Gummiballen sechs Himmelsgegenden, er sagt: „Sie kennen Osten, Westen, Süden, Norden, aber schauen Sie einmal her, da ist ja was vergessen: Vorwärts und Rückwärts."

Und er zeigt mir auch diese neuen Weltgegenden auf seinem Ballen, allzurundes Buch genannt.

„Ich muß offen gestehen, daß mir Ihre Erfindungen nicht ganz klar sind, wollen Sie mir vielleicht freundlichst einen praktischen Zweck nennen."

Er sagt: „Der Krieg ist aus. Rußland und Japan schließen Frieden miteinander, wenn der Zar und der Mikado den Mittelpunkt der Kugel erkennen. Die Menschen sind dann glücklich und lieben einander. Begreifen Sie denn das nicht, wir haben ja den Mittelpunkt!" — Und er wird dringlicher und beweist es mir am Papier durch die Ur-Ur-Urzahl 81, welchen Werth der Mittelpunkt hat. Er schließt und öffnet den Ballen und fragt: „Da draußen ist Kampf und Krieg, da drinnen der Weltfriede. Wo möchten Sie sein, drinnen oder —"

„Draußen!" ist meine Antwort. Aber er macht mir das Unbillige meiner Antwort schon begreiflich.

Ob er sich nicht bemüht hat, dem Zaren oder dem Mikado vom gefundenen Mittelpunkt Mittheilung zu machen? Herr Kurz wird ärgerlich. Als ob das so leicht möglich wäre! Schreiben nutzt nichts, sprechen muß man. Eine halbe Stunde Audienz beim russischen Kaiser, und der Krieg ist aus. Japaner und Russen fallen einander in die Arme und wenn weiter gerauft wird, so geschieht's aus Hetz und nicht im Ernst. Der Fürst von Bulgarien kennt übrigens die Geschichte vom Mittelpunkt. Maler Kurz hatte in Marienbad Gelegenheit, einige Stunden mit dem Secretär des Fürsten über die Erfindung zu sprechen. Und der Fürst hat's von ihm erfahren, denn der Secretär war ganz Feuer und Flamme für den gefundenen Mittelpunkt und versprach, dem Fürsten von der Sache augenblicklich zu berichten. Als dann eine persönliche Rücksprache hätte erfolgen können, war Fürst Ferdinand just abgereist. Es hätte Bulgariens politischer Bedeutung wirklich nichts geschadet, wenn der Fürst den Krieg zwischen Rußland und Japan durch den Mittelpunkt der Kugel beendet hätte.

Anderen Herrschern konnte der Maler-Philosoph von seiner Erfindung keine Mittheilung machen, denn Schreiben hilft nichts und dem Sprecher versperren die Hofschranzen immer den Weg.

„Durch den gefundenen Mittelpunkt wird man namenlos glücklich," sagt Kurz, „und hauptsächlich heiter. Sie werden sehen, wie lustig Sie fortgehen. Und ist das nicht heiter, ich sage dem Einen Majestät, dem Anderen Excellenz, dem Dritten Hoheit, dem Vierten schamster Diener; ist das nicht heiter?" — Ich blicke nach dem Manne, aber er ist ernst geblieben und so habe ich denn nur mit dem Kopfe zu nicken, denn das Verneinen will er nicht.

Mühsam und nur durch eherne Energie bringe ich ihn von der Kugel weg zu seinen Gemälden. Es sind Dinge darunter, die über dem Durchschnitt stehen. Eine Heilandsfigur mit wunderbar mildem Antlitz, die der Kaiser im Atelier des Malers Kurz vor einigen Jahren besichtigte, dann ein Gott-Vater-Antlitz, die „Allmacht" zeichnend, schließlich das Porträt König Eduards, in Marienbad aufgenommen. Der König saß dem Maler zu seiner Skizze und gab ihm wiederholt Zeichen der Anerkennung. Bemerkenswerth ist noch eine „Entstehung des Chaos", die Lenbach zu schmeichelhaften Worten bewegte. Die neueren Arbeiten stehen schon im Zeichen des erfundenen Kugelmittelpunktes, wilde Kreise schlingen sich um die Bilder und ein schöner Frauenkopf ist über und über mit Ziffern bedeckt. Schließlich stehe ich wieder vor der Frau auf der Erdkugel, die den zerlegten Strahl bedeutet und jetzt erfolgt bedingungslos die Fortsetzung der Mittelpunktstheorie. „Das ist Maria oder Eva, wie Sie wollen," sagt er, „und überall finden Sie die zweitheilige Einheit und den Mittelpunkt. Alle Menschen sind Eins, und der Bürgermeister hat das Bild gekannt, als er beim Preßcongreß von Brüdern und Schwestern sprach! Es regt sich schon und man versteht mich schon, wenn auch die Zeitungen schweigen."

Mit sanfter Gewalt führe ich ihn vom allzurunden Buch. Ob er die Philosophen kennt? Gewiß, sie sind ihm nicht fremd, er nennt sie: Kant, Schopenhauer, Fichte, Hegel, Spinoza. Aber sie sagen ihm nichts Neues, er begreift sie nach den ersten Zeilen, die er gelesen hat. Ob ihn seine Erfindungen lange schon quälen? Ja, denn er hat sich immer mit der Natur und ihren großen Dingen beschäftigt. Als Kind erinnert er sich an eine Scene nächst seinem Dorf. Da stieg der Vater angesichts des glühenden Sonnenballes am Morgen vom Wagen zu Boden nieder und sprach sein Vaterunser. Die Natur war seine Kirche, und so wurde auch er, der Sohn. Das erzählt der Maler in sehr hübschen, sympathischen Worten, aber bald holt er wieder Würfel und Kugel hervor. — Ob er nicht seine Theorien einem Gelehrten anvertraute? Herr Kurz gibt mir einen Brief, den ihm Ernst Mach schrieb, einen langen, interessanten Brief, in dem der berühmte Gelehrte dem Maler an der Hand von großen Beispielen Irrthümer nachwies. Herr Kurz gibt mir die Erlaubniß zur Reproduction des Schreibens nur unter der Bedingung, daß ich den Umstand erwähne, daß Professor Mach den Brief schrieb, ehe er noch die Kugel und die Entdeckung des Mittelpunktes kannte. Am Schlusse des Schreibens heißt es:

„Ihr Würfel ist ein anmuthiges Spiel. Die Gestalten, die Sie combiniren, sind das Eine und Ihre Deutungen sind das Andere. Das Eine hat aber mit dem Anderen so wenig zu thun, daß ich mir ganz gut denken kann, daß von zehn Menschen, die die Gestalten sehen, vielleicht einer gerade die der Ihren entgegengesetzte Auslegung gibt. Ich möchte Sie ehrlich und aufrichtig warnen, in dem Spiel einen wissenschaftlichen Fund zu sehen oder dasselbe gar in diesem Sinne bekanntzugeben. Seit Pythagoras sind fast zweieinhalb Jahrtausende verflossen und die Welt hat durch vielfache Enttäuschungen den Geschmack und das Verständniß für phantastisch-wissenschaftliche Constructionen verloren. Dr. Ernst Mach."

Ein interessantes Document für die Größe und Güte des Gelehrten. Es ist gar schön von einem solchen Herrn, so menschlich mit Herrn Arthur Kurz zu sprechen.

Mit der großen Welt verträgt sich der Maler-Philosoph nicht. Die Zeitungen nehmen seine Erfindungen als Narrheiten und seine Vorträge gestattet man nicht. Im Vorjahre hat er über Friedenswürfel und dergleichen sprechen wollen, da hat man ihn zur Polizei gerufen, hat ihn hochnothpeinlich befragt, was er arbeite, und als er davon erzählte, daß der Kaiser in seinem Atelier war und daß der König von England ihm gesessen sei, da fragten einige Herren: „Welcher Herr Kaiser? Welcher Herr König?" und kritzelten seine Antworten aufs Papier. Im Ganzen machte die Geschichte auf Herrn Kurz den Eindruck, als sei man geneigt, ihn für verrückt zu halten.

An was er jetzt arbeitet?

An dem Sieden des Wendekrebses. Er gibt mir einen seiner blau gepausten Zettel und auf dem Papier steht Folgendes:

„Ich wohne Getreidemarkt Wien, schwinge Morgens, zur Arbeit gehend, den Pinsel nach allen Seiten und lernte einsehen, daß ich wandeln muß, wie der Krebs den Kreis abläuft. Und weil ich dies nun weiß, hab' ich mir den Krebs gesotten und gehe, da ich ihn gegessen, „vor" und „rück" zugleich und finde so die Waage in allen Lagen meines Lebens."

Arthur Kurz zeigt mir noch sein Zeichen, das er auf jedes Bild setzt, ein „TADC", das toujours à Dieu content bedeutet, und dann versuche ich schüchtern nach meinem Ueberrock zu langen. Es gelingt nicht, denn eine Frage, den Mittelpunkt betreffend, konnte von mir nicht präcise beantwortet werden. Da nahm sich der Maler gütigst die Mühe, mir nochmals die Kugel an der Hand des Gummiballens zu expliciren. Der Vormittag hatte bis gegen 2 Uhr gedauert, und da ich um diese Zeit speise, verstand ich jetzt sehr bald. In liebenswürdigster Weise geleitete mich Herr Kurz in den Vorraum, der mit Lenbach, Menzel, Bismarck und erzherzoglichen Unterschriften kostbar decorirt wird. Ich versprach bezüglich des allzu runden Buches nächstens auf einen ganzen Nachmittag zu kommen; der Meister rief mir das nochmals ins Gedächtniß und dann stand ich auf dem Gang. Ich schritt langsam über den Ring, sah feurige Kreise am Himmel und Kinderballen in der Luft, und hatte den Schädel ganz rund, rund, rund, rund, rund.

A. D-G.

Dreißig Jahre aus dem Leben eines — Spielers.

(Wie vor fünf Jahren. — Das Contrastbild. — Sechs Kilo. — Die neue „Tell"-Scenirung. — „Cousin Thimig." — Der Gabillon-Ulk. — Die Aufzugmaschine. — Das Pech des Landsknechtes. — Baumeister's 77. Geburtstag. — Das „Thimig-Museum". — Der Souffleur von Mannheim. — Die „Jausen" bei Therese Krones. — „Nulli", der Dackel. — Vom Komödianten zum Bourgeois. — Thimig und Schöne. — „Wenn man Gallensteine hat." — Ein Brief Schöne's. — Keine Komikerregel ohne Ausnahme.)

Ein Spieler, so mit Leib und Seele bei der Sache, so eingefleischt darein, so leidenschaftlich, wenn auch bei äußerer Ruhe, die Chancen verfolgend, wie der Held der alten Komödie, deren Titel da oben steht — nur daß das Spiel ein anderes ist, bei dem das Geld zwar auch just keine Nebenrolle hat, wobei es aber denn doch um anderen, reputirlicheren Gewinn geht, kurz ein Theaterspieler ist's und Hugo Thimig heißt er. Gestern sind es dreißig Jahre geworden, daß er dem Burgtheater angehört, er selbst hat keine Notiz von dem Tage genommen, so wenig wie von dem ja doch gewöhnlich für obligat geltenden fünfundzwanzigsten Jahrestage vor fünf Jahren, er ließ den gerade so unbeachtet vorübergehen, er ist einer der unverbesserlichsten Nichtjubilanten, und ich habe mich darum wohlversehen, erst heute von dem Gestern zu sprechen, da verschlägt's ihm hoffentlich nichts mehr. Aber auf eine der merkwürdigsten und interessantesten Entwicklungen und Wandlungen einer Künstlerschaft lenkt dieser Tag wieder den Blick, die zu den drastischsten Gegensätzlichkeiten des Bühnenlebens gehört, zu den anregendsten für den Theaterbeobachter.

Selten ist der Uebergang aus einer jugendlichen Sprung- und Schwungkomik, die von clownhafter Behendigkeit war, zur ernsten Gesetztheit, nicht blos des Menschen, sondern auch seiner Kunstbethätigung, in so eclatantem Bilde vors Auge getreten, wie wenn man den Thimig vor dreißig Jahren in der Erinnerung mit dem gegenwärtigen zusammenhält. Gestern wohl, als ich ihn während der „Tell"-Probe in den Bühnengängen zum erstenmale seit den Ferien wiedersah, wurde ich durch die Schlankheit und Raschwendigkeit in Gang und Haltung und dem ganzen Wesen wieder einmal an den neunzehnjährigen Thimig gemahnt, da er seine ersten „Evolutionen" in der Wirbelkomik auf dem Burgtheater machte. Es ist ihm nämlich während der Ferien großes Heil widerfahren — er hat um sechs Kilo abgenommen. Durch keinerlei Entfettungscur, sondern durch das einfachste Recept von der Welt, er hat sich wochenlang der Mehlspeisen, der Kartoffeln und des Bieres enthalten — und seine ehedem „sprunghafteste" Rolle, der immer nur in Luftsätzen über die Bühne schnellende Truffaldino im „Diener zweier Herren" brauchte heute kaum eine Veränderung in der Darstellung zu erfahren. Der Ernst aber, der nunmehr über ihn gelagert ist, hat keine sechs Kilo verloren. Mit welcher Intensität des Regieeifers und der strengen Zielbewußtheit er von der im Zuge befindlichen großen Regiearbeit spricht! Mit einem plastischen Worte bezeichnet er Intention und Ziel der neuen Scenirung: „Wir wollen einen „Tell" und eine Schweiz hinstellen, wie Schiller sich sie in Wahrheit gedacht haben mochte, nicht aber, wie es bis jetzt die Scenirungsmethode zu sein pflegte, im Stil und nach den Vorstellungen der Schweizer Touristen." Das Programm also ist da, klar und präcis, man darf auf die Ausführung begierig sein. Er selbst spielt nur das kleine Röllchen des Leuthold, und das potenzirt nur noch den Eindruck dieser eigenthümlichen Contrasterscheinung: der Komiker als Regieleiter der großen Dramen.

Wieder huscht der Thimig von einstens vorm Auge vorüber. Wer das damals aus dem hutscheligen und rutscheligen Lustigmacher herausprophezeit hätte! Der Kobold des Coulissenulks war er, und ein Spaßvogel traf das Richtige, als er einmal den Spitznamen „Cousin Thimig" für ihn fand — nach dem Circuslexikon: „Eh là, cousin!" Sehen mußte man ihn, wenn er als „Zimmerherr" und Hauscollege in der Hartmann'schen Villa auf den Ruf über die Treppe voltigirend herabsauste, oder wenn er hinter den Coulissen mit dem Recken Gabillon, seinem liebsten „Opfer", Muthwillen trieb und dem nach ihm langenden Rächerarme lachend entschlüpfte. Einmal sogar mit Hilfe der dazu „dressirten" Aufzugsmaschine, welche im gefährlichsten Augenblick, als der wirklich erzürnte Gabillon ihn schon zu halten glaubte, ihn rettend erfaßte und gegen den Schnürboden empor entschweben ließ, von wo er mit kränkender Geberde des Verfolgers spottete. Ein anderesmal brauchte er keinen solchen Rettungsapparat, denn das Verfolgen war überhaupt ausgeschlossen. In der „Zauberin am Stein" hatte er in der Wirthshausscene dem grimmen Landsknecht Mathias, der eben der grimme Gabillon war, den Sessel mit Pech bestrichen und es gab für den wilden Kriegstürmer kein Loskommen. Die Nachwirkungen solchen Ulks blieben nicht auf die Coulissen beschränkt, sie drangen ins Publicum und trugen — mag man darüber noch so vornehm die Achsel zucken — zur Popularisirung des jungen Komikers Manches bei, wie die lustigen Streiche des jungen Baumeister nicht wenig geholfen haben, seinen Namen populär zu machen. Das stak damals so in der Wiener Theateratmosphäre, die seitdem freilich eine ähnliche Wandlung erfahren hat, wie die muthwilligen „Jungen" von damals. Baumeister hat am Mittwoch, leider wieder in der Abgeschiedenheit des Patiententhums, seinen 77. Geburtstag begangen und ist ein zu Zeiten gar nicht gutlauniger, stiller Herr geworden, wenn er auch dann gleich wieder sich emporrafft und wieder forsch dreingeht. Thimig ist aus dem Komikerthum seiner Rollen — das heißt neben demselben, denn Komiker ist er ja doch geblieben — in das Regiethum des classischen Dramas hineingerathen.

Allerdings hatte der „Ulkobold" auch vor dreißig Jahren schon seinen Ansatz zu „ernsten Passionen". So hatte damals schon seine Sammelpassion ihre Anfänge und zwar ganz planmäßige, denn sie irrlichterte nicht hin und her, sondern concentrirte sich auf ein Gebiet, auf dem sie bis heute verblieben ist. Materiale zur Geschichte des deutschen Theaters holte er mit erstaunlichem Geschick und Glück zusammen, so daß heute von einer Art „Thimig-Museum" gesprochen werden könnte, dessen Katalog bis an die zehntausend Nummern geht. Und welche wahrhaftige Raritäten trifft man da! Um nur eine der erquisitesten zu nennen: das Tagebuch des Souffleurs des Mannheimer Theaters aus den Jahren 1775—1820. Ein Datum darin: „13. Jänner 1781 — „Die Räuber". Die erste Aufführung. Keine Bemerkung dabei, die kurze trockene Verzeichnung des Datums. Der brave Mann hatte keine Ahnung, was dieses Datum für die Geschichte des deutschen Volkes bedeuten sollte. Desto lauter, wie Kanonenschläge laut, ist die Stimme der Geschichte aus einer anderen Notiz vernehmbar. Eine Aufführung der „Medea" wird im zweiten Act unterbrochen, weil die Soldaten der französischen Republik die Stadt soeben zu bombardiren anfangen. Auch ein paar denkwürdige Schiller-Ziffern finden sich da, Stückehonorare: Für die „Jungfrau von Orleans" 107 Thaler, für die „Braut von Messina" nur 100 Thaler — um sieben Thaler höher wurde also die „Jungfrau" in der Theaterwirkung taxirt. Was Hauptmann und Sudermann zu diesen Einnahmen sagen würden! Unter den Viennensia der Sammlung findet sich ein wohl einziges Gesammtexemplar der „Wiener Theaterzeitung" von der ersten Nummer 1806 angefangen bis zur letzten 1860. Keinen ernsteren, aber einen um so pikanteren Werth der Curiosität hat ein Päckchen Briefe der Therese Krones, darunter eine Einladung an den unheimlichen, bald als Raubmörder entlarvten „Grafen" Jarosinsky zu einer „Jausen", wobei ihm die Gesellschaft von „sechs wunderhübschen Madeln" in Aussicht gestellt wird. Dann aus dem Nachspiel der grauenhaften Blutkomödie eine Quittung der Krones an die Polizeibehörde, worin sie bestätigt, den Schmuck zurückbekommen zu haben, der auf den Verdacht, vom Jarosinsky'schen Raube herzurühren, mit Beschlag belegt worden war. Daran reihen sich Unica höheren Calibers, wie das Original des für die Entwicklung des Wiener Theaters entscheidend gewordenen Memorandums Sonnenfels' „In theatralibus". Es ist, wie gesagt, hier ein Sammlungsschatz beisammen, dessen Inhalt und Charakter nicht unter die Rubrik „Sammelsport" rangirt, sondern Einheitlichkeit des Zieles und der Bestimmung hat. So ganz und gar „ulkig" war also der Ulkjüngling nie zu nehmen gewesen.

„Sie sind Mann, mehr noch, Sie sind Juwelier, fassen Sie sich!" — den bekannten Wortscherz Nestroy's möchte man auf Thimig variiren: „Der Sammler hat sich selbst gesammelt." Ein Gepräge äußerer und innerer Sammlung ruht auf ihm und dem ganzen Hausstand — in welchem es nur ein einziges nicht zufriedenes Geschöpf geben mag, dem das Gleichgewicht des Gemüthszustandes ein bißchen grausam gestört worden ist, dem's vor fünf Jahren viel, viel wohliger und behaglicher war. Das ist „Nulli", der Dackel. Denn seit damals ist ihm seine Herzensfreundin entrissen worden, die Hauskatze, mit der er eine charmante Widerlegung des von den Menschen erfundenen verleumderischen Sprichwortes darstellte: „Wie Hund und Katz' miteinander leben." Wie lebten die Zwei miteinander — was war das für ein reizendes Thieridyll! Aber eines Tages war die Genossin seines häuslichen Glückes verschwunden und blieb's, sie war vermuthlich das Opfer eines meuchlerischen Attentats geworden. Und ins Theater darf er auch nicht mehr mit dem „Herrl", wie vor sechs und fünf Jahren noch, trotzdem er sich drinnen immer als „denkender" Hund erwiesen und sich danach benommen hatte. Er hätte vielleicht dem „denkenden Hans" seinen Berliner Ruhm streitig machen können, denn ohne jedwede höhere Anleitung kannte er offenbar das ganze Repertoire seines Herrn und wußte genau, wie viele Acte jede Vorstellung hatte. Bis zum letzten Act blieb er ruhig in der Garderobe liegen und harrte ohne Zeichen der Ungeduld des Schlusses. Wenn der Herr aber zum letztenmale die Garderobe verließ, um auf die Scene zu treten, begann „Nulli" unruhig und aufgeregt zu werden und blieb es, bis wirklicher Schluß und Zeit zum Nachhausegehen war. Er zählte also entschieden die Acte bis zum vorletzten ab — während dem „klugen Hans" dramaturgische Kenntnisse gänzlich abgehen. Doch mit ihrer Verwerthung ist's nun für „Nulli" vorbei — ein drakonisches Hausgesetz des Burgtheaters verwehrt ihm nunmehr den Zutritt, und er mag daheim an den Abenden,

seit geraumer Zeit nicht so regelmäßig wie in diesem Jahre eingelaufen. Die Gebarung im laufenden Jahre wird, dank der Opferwilligkeit der Skupschtina, welche den 40%igen Steuerzuschlag bewilligt hat, zuverlässig ohne Deficit schließen. Das neue Budget, welches man für das Jahr 1905 zusammengestellt, wird ins Gleichgewicht auch ohne diesen Zuschlag gebracht werden. Schließlich widersprach General Gruic der Behauptung, daß die Verschwörerfrage wieder acut geworden sei, indem er ausführte, daß die Nischer Affaire noch unter dem Ministerium Avakumovic ausgetragen worden sei und die Gemüther sich seither zunehmend beruhigt (?) haben. Es sind keine Erscheinungen zu verzeichnen — so schloß Ministerpräsident Gruic —, welche die oberwähnte Behauptung begründet erscheinen ließen. — Herr Gruic sollte sich eigentlich um die Stelle eines Directors in einer großen — Schönfärberei bewerben! Die Befähigung hiefür hat er in diesem Interview erwiesen.

Städtische Angelegenheiten.

(Sitzungen im Rathhause.) Der Gemeinderath hält in der kommenden Woche am Dienstag um 5 Uhr Nachmittags eine Plenarsitzung ab, die eventuell als Nachtsitzung in Aussicht genommen ist. Stadtrathssitzungen finden am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag um 10 Uhr Vormittags statt.

(Der sechzigste Geburtstag des Bürgermeisters.) Am Donnerstag den 20. d. M. werden alle Bezirksvertretungen Wiens Festsitzungen abhalten, deren ausschließlichen Zweck die Ehrung des Bürgermeisters Dr. Lueger anläßlich seines sechzigsten Geburtstages bildet. Die Festsitzungen finden Vormittags statt und werden zu denselben die Functionäre der Bezirke rc. erscheinen.

(Eine Lehrerbeeidigungsrede des Bürgermeisters.) In feierlicher Weise nahm gestern Mittags 12 Uhr der Bürgermeister Dr. Lueger im Gemeinderathssitzungssaale die Beeidigung von 231 neu ernannten, beziehungsweise beförderten Lehrpersonen vor. Bürgermeister Dr. Lueger hielt an die Versammelten eine Ansprache, in der er sagte, daß es die Hauptaufgabe der Schule sei, die Kinder zu praktischen, tüchtigen Männern heranzubilden. Soll nun ein Mann oder eine Frau den Kampf im Leben bestehen, dann müssen sie die nöthigen Waffen in der Hand haben, um sich gegen ihre Feinde zu wehren. Die besten Waffen sind die genaue Kenntniß der Muttersprache, die genaue Kenntniß im Rechnen und Schreiben. Derjenige, der gut lesen und schreiben kann, wird nicht so leicht von irgend Jemandem betrogen werden können, er wird auch Ordnung halten in allen seinen eigenen Geschäften; der gut rechnen kann, wird immer sein Fortkommen finden, er wird imstande sein, seine Thätigkeit in rationeller Weise zu entfalten. Ich lege daher auf den Unterricht in diesen Gegenständen das größte Gewicht. Ich werde dafür von einigen besonders aufgeklärten Geistern als ein sogenannter Rückschrittler bezeichnet. Ich erkläre, daß Diejenigen, welche in der Schule Spielereien treiben, statt mit vollem Ernst auf die Erziehung der Kinder in der angedeuteten Weise zu wirken, gar nicht würdig sind, in der Schule als Lehrer aufzutreten. Ich hoffe, daß Sie bei Ihrer Thätigkeit sich auch immer vor Augen halten, daß nur durch gegenseitige Eintracht etwas erzielt werden kann. Ich bin überzeugt, daß Sie den Kindern nie das Schauspiel eines Streites bieten werden, sich fernehalten werden von jeder persönlichen Gehässigkeit; Sie werden den Kindern durch Ihr eigenes Leben ein gutes Vorbild geben. Der Eid, den Sie ablegen, enthält nur Dasjenige, was die Pflicht eines jeden anständigen Menschen ist. Es ist nichts Außerordentliches, was von Ihnen verlangt wird, denn die Befolgung der Gesetze, die Treue zu Kaiser und Reich muß Jeder haben, der in Wien wirkt, und weil sie Jeder haben muß, bin ich ein ausgesprochener und erklärter Gegner jener Personen, welche Parteien angehören, die die Treue zu Kaiser und Reich, die Treue zur Monarchie verletzen. Das ist allgemein bekannt und ich werde auch deswegen als ein sogenannter Rückschrittler verschrien. Aber ich werde mich nie von meinem Standpunkte abbringen lassen, weil ich der Meinung bin, daß die Schule dazu da ist, die Kinder zu tüchtigen, braven Oesterreichern heranzubilden. Der Eid, den Sie heute ablegen, ist nicht vielleicht eine leere Formel, wie das gewisse Individuen behauptet haben. Ein Mensch, der erklärt, daß der Eid eine bloße Formalität ist, ist ohne Ehre und Gewissen, dem der Eintritt in die Schule unter jeder Bedingung untersagt werden soll. — Hierauf verlas Commissär Paul die Eidesformel.

(Ehrengrab für Hugo Wolf.) Donnerstag den 20. d. M. um 11 Uhr Vormittags findet die Enthüllung des Grabdenkmals des Tondichters Hugo Wolf statt. Hugo Wolf ruht in dem Ehrengrab Nr. 10, Gruppe 32 a im Centralfriedhofe. Die Feier wird vom Hugo Wolf-Verein in Wien veranstaltet.

(Die Commune gegen die Dampftramway.) Bekanntlich hatte die Commune auf Grund eines Gemeinderathsbeschlusses an das Eisenbahnministerium eine Eingabe gerichtet, in welcher unter Hinweis auf den schlechten Oberbau und die zahlreichen Entgleisungen auf der Dampftramway Hietzing—Mödling und Hietzing—Ober-St. Veit um Einstellung des Betriebes auf den im Wiener Gemeindegebiete befindlichen Linien der Dampftramwaygesellschaft Krauß & Comp. gebeten wurde. Das Eisenbahnministerium hat jedoch in einer Zuschrift an die Commune dieses Begehren abgelehnt. Der Stadtrath hat daraufhin den Magistrat beauftragt, einen Bericht über die in den letzten zehn Jahren auf den Linien der genannten Dampftramwaygesellschaft vorgekommenen Unfälle vorzulegen. Der Magistrat hat nun dem Stadtrathe ein stattliches Verzeichniß über die Unfälle auf der Dampftramway während des letzten Decenniums vorgelegt. Der Stadtrath fand aber auch diese „Unglücksliste" noch zu klein und leitete dieselbe an den Magistrat mit dem Auftrage zurück, „vorerst noch weitere Erhebungen bei der Polizei (Exposituren) zu pflegen, da das vorgelegte Verzeichniß offenbar unvollständig ist". Es bleibt abzuwarten, ob diese Liste von Dampftramwayunfällen mehr Eindruck auf das Eisenbahnministerium machen wird. Die Commune hat bekanntlich auch beschlossen, eine elektrische Straßenbahnlinie nach Lainz neben den Geleisen der Dampftramway sowie eine Straßenbahnlinie nach Floridsdorf, abzweigend von der bereits verstadtlichten Straßenbahn Praterstern—Kagran, auszubauen. Hiedurch werden zwei wichtige Linien der Dampftramwaygesellschaft von der „Elektrischen" concurrenzirt werden.

(Die neue Dienstmänner-Genossenschaft) wird am Dienstag den 18. d. M., ½6 Uhr Abends, in der Volkshalle des neuen Rathhauses die constituirende Versammlung, welche am 13. d. M. in vorgerückter Stunde wegen Stimmenzersplitterung bei der Vorsteherwahl geschlossen wurde, fortsetzen. Hiebei wird vor Allem die engere Wahl für die Genossenschaftsvorstehung vorgenommen werden. Bei der Vorsteherwahl dürfen nur Stimmzettel, lautend entweder auf Josef Schwarz (Nummer 473) oder auf Josef Herlitzka (Nummer 615) abgegeben werden. In die engere Wahl hinsichtlich der zwei Vorsteher-Stellvertreter-Stellen kommen Anton Habitzl (Nummer 34), Ignaz Weiß (Nummer 266), Joachim Schatmüller (Nummer 71) und Ferdinand Chramosta (Nummer 154). Zutritt haben nur concessionirte Wiener Dienstmänner, welche mit ihrer Schildnummer versehen sind.

Tagesneuigkeiten.

Ehen auf Zeit.

Eine Rundfrage.

Ein englischer Romancier, Mr. George Meredith, hat jüngst den eigenartigen Vorschlag gemacht, die Gesetzgebung möge eine neue Institution schaffen: Eheverträge mit Kündigungsfrist. Nach zehn Jahren soll es Eheleuten gestattet sein, ohne erst um gerichtliche Scheidung einzukommen, ihre Verbindung zu lösen und neue Ehen einzugehen.

Schon haben sich verschiedene Stimmen „für" und „gegen" erhoben. Jüngst erst haben wir Marcel Prévost's Commentar und Glossen zu dem Project wiedergegeben, nun veröffentlichen wir auch das Ergebniß einer Rundfrage in dieser Angelegenheit:

„Ich bin gegen jede Art kriegerischer Verwicklung und daher auch ein principieller Gegner der Ehe überhaupt."

Ein Friedensfreund.

* * *

„Nur keine Milde und keinen Humanitätsdusel! Zehn Jahre sind gar nichts. Wer eine leichtsinnige Handlung begeht, soll lebenslänglich büßen. Ich halte es in meiner Praxis stets so."

Ein Schwurgerichtspräsident.

* * *

„Von mir aus kann eine Ehe mit zehnjährigem oder mit lebenslänglichem Contract geschlossen werden. Das ist ganz egal. Wenn mir die Behandlung oder das Spielhonorar nicht paßt, breche ich sie doch — die Verträge natürlich."

Ein Tenorist.

* * *

„Ehen werden im Himmel geschlossen und sind etwas Herrliches. Es ist geradezu lächerlich, daß man sich nicht auf ewig binden soll, wenn sich das Herz zum Herzen findet. Ich spreche aus Erfahrung. Morgen trete ich mit meinem Karl vor den Traualtar."

Mizzi X., Braut.

* * *

„Eine Ehe gestaltet sich entweder verträglich oder unverträglich. Verträgliche Ehen bedürfen keines Vertrages, unverträglichen aber hilft keiner."

Ein resignirter Ehemann.

* * *

„Daß Ehen nach zehn Jahren gelöst werden können, hat gar keinen praktischen Werth für Wiederverehelichung. Denn ein vernünftiger Mann, der einmal zehn Jahre verheiratet war, heiratet sicher niemals wieder. Und was Narren betrifft, ist es aus verschiedenen Gründen besser, wenn sie ledig bleiben."

Ein verbitterter Ehemann.

* * *

„Die Ehe ist eine so erhabene und ehrwürdige Einrichtung, daß sich dieses Gebiet nicht zu einer öffentlichen Discussion eignet."

Louise von K.

„Das schreibt meine Frau! Ist diese Dame bei Verstand? Urtheilen Sie selbst!"

Philipp v. K.

* * *

„Ehen gleich auf zehn Jahre abschließen?! Wo findet man heutzutage Gatten, die so lange aushalten?!"

Exprinzessin Chimay.

* * *

„Die Ehe gleichgesinnter Gatten ist naturgemäß unlöslich. Wir werden sicher unser Schicksal lebenslänglich theilen und sogar bis zum Tode (durch den Strang).

Joh. H. Klein und Elisabeth geb. Braun.

* * *

Eine Anfrage an Mr. George Meredith: Bitte schön, was geschieht mit den Kindern, die aus einer Ehe entstammen, deren Partner nach zehn Jahren friedlich auseinander gehen? Werden die zwischen den scheidenden Gatten „ausgezipfelt", oder wird deren Existenz — gleich der der Ehe — einfach rückgängig gemacht?

Robert.

Wiener Originale.

II.

Eduard Granadia.

Ein Wiener Bürger, der seit zwanzig und etlichen Jahren den Sport betreibt, Autogramme zu sammeln. Damit allein wäre er nun freilich kein Original, aber der Erfolg spricht für ihn und es wird heute wohl in Wien keinen Zweiten geben, der es so meisterhaft wie Granadia versteht, den abscheulichsten Autographenägerfeinden das gewünschte Bild mit Unterschrift zu entreißen. Seine Technik ist meisterhaft, seine Briefschreibekunst bewunderungswürdig, und mit den bloßen Auslagen für recommandirte Briefe hat sich der Mann eine Sammlung angelegt, deren Werth nach vielen Tausenden bemessen werden muß. Den vielen Freunden von Autogrammen und den noch zahlreicheren einer Gratissammlung sei im Nachfolgenden eine Schilderung der Granadia'schen Methode geboten. Sie bildet wohl einen Leitfaden in der Kunst, Sommitäten jeder Facultät herumzukriegen.

Der Salon des Herrn Eduard Granadia, der ansonst ein braver Patrizier vom Brillantengrund ist, kann getrost als eine Wiener Sehenswürdigkeit aufgefaßt werden. An den Wänden hängen dichtgedrängt Photographien mit Unterschriften, daneben Bilder und Stiche, kostbare Büsten in Bronze, und eine Reihe von Büchern und Kästen enthalten Briefe und Widmungen. Da fehlen Richard Wagner so wenig wie Bismarck und Moltke, Edison, Dumas, Tolstoi und Behring. Da sind Bilder von Vautier, Makart, Grützner und Menzel, Kunstschätze, wie sie nur in wenigen privaten Salons aufbewahrt werden. Und mag es auch schönere Sammlungen geben, eine billigere als die des Herrn Granadia ist mir noch niemals zu Gesicht gekommen.

Ich brenne vor Begierde, Näheres von der Technik Granadia's zu erfahren, denn ich kenne viele Leute, die Excellenz Menzel ein Dutzend recommandirter Briefe schreiben würden, um ein Bild von seiner Hand zu bekommen. Herr Granadia sagt: „Meine Methode scheint wirklich unfehlbar zu sein, und ich glaube, daß nur die Form und der Inhalt meiner Briefe den Erfolg ausmachen. Im Allgemeinen befolge ich die nachstehenden Regeln: Ich schreibe einen sehr liebenswürdigen Brief, nenne mich einen begeisterten Verehrer des Künstlers, lege eine Photographie des Schauspielers, Dichters oder Componisten bei und bitte um eigenhändige Widmung. Das Schreiben geht recommandirt ab; gewöhnlich erhalte ich im Verlaufe von vier bis fünf Tagen Antwort, das heißt meine Photographie mit der gewünschten Widmung oder einen Brief."

In wie viel Fällen vom Hundert Herr Granadia abblitzt?

Er sagt: „Ich weiß mich überhaupt nur an drei Refus zu erinnern. Der Battenberger, Paul Krüger und Leo XIII. fanden keine Autogramme, sonst hat Alles meine Wünsche erfüllt. Und von diesen Dreien ließen sowohl der damalige Fürst von Bulgarien als auch Krüger durch ihre Secretäre schreiben, daß sie principiell keine Photographien zu unterschreiben geneigt seien, nur der Papst sandte keine Nachricht, der Brief mochte wohl gar nicht in seine Hände gelangt sein."

Herrn Granadia's Plan ist ein guter. Vorerst wird der angebohrte Künstler durch den recommandirten Brief aufmerksam gemacht, dann sieht er die Photographie, die er ja eigentlich nicht behalten darf, da sie doch des Absenders Eigenthum ist, und so kommt es eben häufig vor, daß die Berühmtheiten dieser Welt

für dahin, ihre Lebenskraft verströmend, während sie mit der Arbeit ihrer Hände verdienen mußte, Tag und Nacht verdienen, damit es mit der kärglichen Pension des gelähmten Mannes ausreiche, die Familie vor dem Hungertode zu schützen. Und hatte er nicht auch verdienen müssen, war er nicht als 16jähriger Gymnasiast, in dessen Brust das Ideal wissenschaftlichen Forschens glühte, von der Lateinschule genommen worden, um als Praktikant in der Halthuber'schen Fabrik zu verdienen? Und als welches Glück war es nicht gepriesen worden, daß ihm ein alter Gönner des Vaters diesen Posten „durch Protection" verschafft hatte! Und Marie, seine blasse Schwester, sank sie nicht in ein frühes Grab, weil ihre schwache Brust es nicht ertrug, gleich der Mutter Tag und Nacht über die Nähmaschine gebeugt zu sitzen? Und der gelähmte Mann überlebte die Tochter und überlebte die Liebe seiner Frau, und das eine starre Auge, das so entsetzlich blickte, hatte es nicht diesen Ausdruck des Entsetzens angenommen, weil er in der Seele seines Weibes las, das er ihr nichts mehr sei als eine furchtbare, eine widerwärtige Last? . . . . Und jetzt sollte sich diese Tragödie wiederholen. Seine arme Hedwig, sein heißgeliebtes Weib, sollte werden wie seine Mutter, die Ernährerin der Familie, in deren Brust langsam des Lebens Noth die Liebe in Haß und Widerwillen verwandeln würde. Widerwillen gegen den lebenden Leichnam von Mann, und sein blonder Junge, sein Ernst, sollte auch er hinausgeworfen werden aus der Laufbahn, die er erstrebte. Die Technik wollte er besuchen, ein berühmter Ingenieur werden, und statt dessen sollte er auf alle schönen Hoffnungen verzichten, um den Vater, vor dem ihm sicher grauen würde, müßte er seinen langsamen Verfall beobachten, ernähren zu helfen. Denn um den Knaben studieren zu lassen, reichte unmöglich die kleine Gnadengabe, die die Firma Halthuber & Co. dem Vater etwa bewilligen würde. Dem Weibe, dem geliebten Weibe zur Last fallen, dem Sohne ein Gegenstand des Grauens werden . . . Roller blieb stehen und athmete mühsam.

Nein, es gab einen anderen Ausweg. Er war ja versichert, hoch versichert, diese Versicherung zu zahlen war ja sein innerer Halt und Stolz gewesen, wenn er an die Zukunft dachte. Bei seinem Ableben erhielt seine Frau ein kleines Vermögen, das ihr ein bescheidenes Dasein und dem Sohn die Studienlaufbahn sicherte. Sollte er als ein jahrelang Dahinsiechender daliegen und auf der Stirne seiner Frau angstvoll den Gedanken erraten: „O, wäre das Elend schon zu Ende, dann erhielte ich wenigstens die Versicherungssumme." Roller machte sich Vorwürfe, daß er sein eigenes treues, gutes Weib so verdächtigt, aber er gedachte seiner Kindheit. Das Elend macht schlecht und die Noth gebiert schlimme Gedanken. . . .

Bah, es war so einfach, dem Allen ein Ende zu bereiten. Seine Polizze galt ja auch für den Selbstmord all, längst waren die drei Jahre der Selbstmordclausel verflossen. . . .

Ein Knabe rannte in diesem Augenblick fast an Roller an. Ein blauäugiger Junge von etwa zwölf oder dreizehn Jahren. Roller stöhnte laut auf. Aehnelte dieser Junge nicht ganz seinem Ernst? Und von Ernst, von seiner Hedwig mußte er fort, fort — nie mehr wieder sollte er in die schönen Augen seines Weibes blicken, nie mehr die Arme des Knaben um seinen Hals geschlungen fühlen.

Roller schloß die Augen und lehnte sich an die Balustrade des Quais.

War das Opfer vernünftig? Armes Weib, armer Junge; wurde nicht ihr Leben für immer verdüstert durch den Gedanken an dieses Opfer, von dem sie ja erfahren mußten! Und das Weib, der Sohn des Selbstmörders . . . Die Vorurtheile der großen Menge . . .

Roller starrte nach den Hügeln, die sich bereits in violette Schatten zu hüllen begannen. Plötzlich richtete er sich stark auf. „Willy Ferner," murmelten seine Lippen. War es mehr als ein Zufall, daß er sich heute Willy Ferner's und dessen Todes im Hochgebirge erinnert hatte? . . .

Fast heiter betrat Roller seine Wohnung. Unter Scherzworten erzählte er seinem Weibe, das ihm mit besorgten Blicken in das bleiche Antlitz sah, daß der Doctor ihn beruhigt habe. „Nichts als ein leichter Rheumatismus." Am besten thäte eine Luftveränderung. Gott sei Dank, der Urlaub währt bis in den Juni. Zum Abschluß des Urlaubes werde ihm am besten eine kleine Bergpartie bekommen. Ins Gebirge würde er fahren, sich Kraft und Luft holen für die dann folgenden Strapazen des Sommers in der Fabrik. Ueberhaupt seit Jahren habe er den edlen Bergsport zu sehr vernachlässigt. „Ja, so wird man seßhaft bei Weib und Kind!" Und er nahm Frau Hedwig um die runde Hüfte, daß sie wie ein Mädchen erröthete . . . Und dabei durchzog ein entsetzlicher Schmerz das Herz Roller's. Wenn Hedwig nach seinem Tode einem Anderen . . . Aber der Willensstarke überwand sich und scherzte wieder. Also Anfang Juni laufe ich mir in den gottgesegneten Bergen die Beine wieder stark!" . . .

Und als jetzt Ernst ins Zimmer stürmte und ihm zwei funkelnagelneue „Vorzüglich" auf seinen Schularbeiten vorwies, da leuchteten Roller's Augen, wie die Augen eines glücklichen Menschen . . .

Die nächsten Wochen erfüllte Roller sein Haus mit einem wahrhaft sonnigen Humor, wie ihn die Seinen eigentlich nie an ihm gekannt hatten und Anfangs Juni trat er sichtlich bei gutem Befinden, die Schwäche in den Beinen schien durch die Cur, die er beim Arzt durchmachte, fast geschwunden, seine Tour in die Berge an. Der Arzt erfuhr allerdings nichts von seinem Vorsatz, sondern hörte nur von einer Geschäftsreise . . .

An Frau Hedwig und den blonden Ernst kamen reizende Ansichtskarten von Roller's Reise. Und dann, dann traf die Nachricht von dem Furchtbaren ein. Roller war vom Hochthor abgestürzt . . . Die Zeitungen raisonnirten wieder über führerlose Touren und in der Halthuber'schen Fabrik sagte man: „Der arme Roller muß wieder ganz gesund gewesen sein, daß er sich eine solche Partie zutraute, und gerade da kommt das Unglück. Seine arme Frau und sein armer Junge. Na, Gott sei Dank, er soll ja durch eine sehr hohe Versicherung für sie gesorgt haben. Das muß man sagen, er war das Muster von einem Gatten und Vater" . . .

Der Doctor und alte Schulfreund Roller's war sehr blaß geworden, als er vom Tode seines Patienten erfuhr. Er rieb die Gläser seiner Brille — das that er immer, wenn er nachdenklich war — und murmelte vor sich hin: „Herrgott, der arme Roller, Seelenstärke hat er gehabt! Nicht Jeder bringt in seiner Lage das Opfer des Lebens" . . .

die vor ihren Secretären noch kleinere Leute sind als vor ihren Kammerdienern, den Auftrag ertheilen, ausnahmsweise diesem Briefschreiber das Gewünschte zuzusenden.

Allen Leuten, denen Herr Granadia schrieb, haben seine Briefe gefallen, nicht so gut erging es ihm mit den Photographien. Diese erregten oft den Unwillen der Künstler und sie gaben diesem Gefühle Ausdruck, indem sie Herrn Granadia eine andere Photographie einsandten. Das thaten beispielsweise Jules Verne, Dumas, Henrik Ibsen, Edison, Tolstoi und Robert Hamerling. Die meisten gefielen sich nicht auf den eingesandten Bildern und schickten charakteristischere. Robert Hamerling war besonders entrüstet und schrieb unter die Photographie, die ihm Granadia geschickt hatte, folgende Zeilen: „Unter dieses Bild kann ich meinen Namen nicht setzen, denn dasselbe ist eine kecke Mystification des Publicums. Angeblich ist es nach einem Gemälde von Hader. Der Maler hat aber jedenfalls nach flüchtigen Augenblicken ein durchaus willkürliches Bild gepinselt, eine jüdische Physiognomie, in welcher nicht eine Spur von meinem Wesen ist, wie Jeder sieht, der einen flüchtigen Blick auf eine wirkliche Photographie von mir wirft." — Und auf ein zweites, allerdings charakteristischeres Bild hat Robert Hamerling seine volle Unterschrift hingesetzt.

Wie höflich die um Autogramme Gebetenen sind, das beweist wohl der Brief Dumas' an Granadia, den ich hier in deutscher Uebersetzung gebe: „Mein Herr! Ihr Brief ist mir zugekommen, als ich in der Schweiz war. Wenn ich zögerte, zu antworten, so war das nur, um Ihnen eine bessere Photographie als die mir geschickte anzubieten, die ich nicht ähnlich finde. Es ist nun eine neue Photographie von mir erschienen. Sie sehen also den Grund, warum ich nicht früher schrieb. Anbei sende ich Ihnen auch das erste Bild. Entschuldigen Sie, daß ich nicht gleich geantwortet habe. Mit der Versicherung meiner ergebensten Gefühle. A. Dumas."

Canon bittet gleichfalls in einem Schreiben um Vergebung, daß er nicht postwendend geantwortet hat. Seine Frau war aber schwer krank und nun benützt er den ersten freien Augenblick, um den Wunsch des Autographensammlers zu erfüllen. — Hans Dahl schreibt aus Düsseldorf: „Meinen besten Dank für Ihren so freundlichen Brief, welchen ich erst heute Zeit finde, zu beantworten, bitte Sie deswegen, gütigst zu entschuldigen, daß ich durch so vieles unumgänglich Nöthige daran verhindert wurde, früher zu schreiben. Es hat mich sehr gefreut, aus Ihren Zeilen zu sehen, daß das, wonach ich gerungen habe, zum Ausdrucke gekommen ist, daß Sie mein Grundgefühl so verständnißvoll haben erfassen können. Beiliegend erlaube ich mir Ihren Wunsch zu erfüllen." Und legt richtig noch eine kostbare Skizze bei!

Und noch ein Brief: Friedrich Mitterwurzer wird um ein Autogramm ersucht. Er schickt es und schreibt: „Besten Dank für Ihre freundliche Meinung; das Gedenken macht mir Freude und ich freue mich aufrichtig, wenn meine Leistung — irgend eine — Ihnen Eindruck macht über die kurzen, flüchtigen Stunden hinaus. Es würde mich freuen, Ihre persönliche Bekanntschaft zu machen, vielleicht führt Sie Ihr Weg einmal Vormittags gegen 10 Uhr ins Café Landtmann beim Burgtheater. Anbei das gewünschte Bild mit bestem Gruß dazu."

Ich frage Herrn Granadia nach den versteckten Feinden des Autographensammlers, aber er sagt: „Vor mir hält Keiner stand. Tolstoi ist ebenso ein Feind der Autogramme wie es Brahms war. Und Wilhelm Jordan schrieb eines Tages in der „Gartenlaube" ein wüthendes Gedicht gegen die Autographensammler. Es heißt darin:

Schmeichelspeck und Bettelköder
Nehmen diese Mameluken
Desto dicker stets, je spröder
Man's verschmäht, ihr Lob zu schlucken.
Mich auch halten diese Schlauen
Also für den Einfaltspinsel,
Dieses faustische Gewinsel
Nicht als List nur zu durchschauen.
Als ein Schelmstück, als gerieb'nes
Kniffchen, wie ein Blatt Geschrieb'nes.
Mittels solcher Doctorthesen
Abzuschwindeln ohne Spesen.

Granadia faßte das von der richtigen Seite auf, sandte Jordan einen Brief, in dem er von dem Poëm entzückt war, und erhielt prompt Photographie und persönliche Widmung!

Er hat mit Sonnenthal angefangen und zählt das ganze alte und neue Burgtheater zu seinen Wandschmückern. Da fehlt Keiner. Besonders interessant ist eine Schrift La Roche's, der Verse wiedergibt, die Goethe an ihn persönlich geschrieben hat. Die Dichter sind vollzählig da, Gabriel Seidl, Marlitt, Hermann Lingg, Bodenstedt, Ebers, Daudet, Ohnet, Victor Hugo, dann Sudermann, Björnson, Ebner-Eschenbach, Hauptmann. Hawel hat eine Vorderseite seines Buches sogar mit Poesie erfüllt. Dann von Curiositäten: Lesseps, der seine aus dreizehn Köpfen bestehende Familie im Bild übersendet und darunter die Worte schreibt: „Ma petite famille!" Virchow schickt einen langen Spruch. Dann General Boulanger, der in seiner Glanzepoche, Herrn Granadia auf einen Brief antwortend, seine Photographie mit der Unterschrift: „A un Viennois ami de la France!" sandte. Brahms schreibt unter sein Bild: „Unter und neben Anderen bittet um einen Platz und um freundliche Gesinnung Johannes Brahm's." Von Musikern findet man hier noch stattliche Widmungen von Gounod, Verdi, Mascagni, Strauß, Millöcker, Suppé und hundert Anderen.

Dombaumeister Schmid schreibt: „Sie erweisen mir zu viel Ehre, doch freut es mich, Ihrem Wunsch hiemit willfahren zu können. Hochachtungsvoll Ihr ergebener Schmid." Und gehorsam setzt er unter das eingesandte Bild den Spruch: „In jedem Bauwerk spiegelt sich der Geist der Zeit, in welcher es erbaut wurde."

Doch nun zu diesen wundervollen Briefen Granadia's, die die härtesten Herzensrinden so siegreich zu durchbrechen vermochten, daß Alles ihm willfährig wurde. Ich habe mir einige Proben von diesen Schreiben abgenommen, sie sind interessant und mögen als Muster der Briefschreibekunst für Sammler gelten. Vor Allem ist Granadia immer ein ausschließlicher Bewunderer der Person, der er schreibt. Ist es ein Schauspieler, dann hat ihm sein Spiel „die Höhen einer idealen Auffassung der Kunst erschlossen, die vor ihm Keiner noch zu offenbaren vermochte". Ist es ein Dichter, dann „strömt aus seinem Werk der Born echten quellenden Lebens unausschöpfbarer tiefer Herzenspoesie". Ist es General Boulanger, dann ist Granadia „ein Freund jenes herrlichen Volkes, das im Kraftgefühl stolzer Unbesiegbarkeit große Männer gebiert", und ist es der Papst, dann blickt der Briefschreiber „in einer glaubensarmen Zeit, die ein nach materiellen Gütern haftendes Geschlecht erzeugt, nach jenem herrlichen Rom, das die Gestalt des Heiligen Vaters umgeben vom Glorienschein zeigt".

An Frau Cosima Wagner schrieb Herr Granadia: „Hochgeehrte Frau! Verzeihen Sie, daß ich es wage, zu einer Zeit, da kaum die Klage über den großen Todten verstummt ist, die Ruhe Ihres von der erhabenen Erinnerung an den strahlenden Genius geweihten Witwensitzes zu stören." Und so fort. Effect: Ein liebenswürdiger Brief der Frau Cosima und ein Brief aus dem Nachlaß Wagner's. Leider hat sie nicht mehr „Erinnerungen" zur Verfügung. — Moltke wurde angebohrt und sandte Photographie und Widmung. Daraufhin ging es Bismarck an den Kragen. Folgendes Schreiben wurde abgefertigt: „Eure fürstliche Hoheit! Man sagt, daß Glück den Menschen übermüthig macht, und Eure fürstliche Hoheit werden mir diese Bitte verzeihen, die die Freude über mein Glück der Ehrerbietung vor dem größten Mann des XIX. Jahrhunderts abgetrotzt hat. In glühender, tiefer Bewunderung für den Genius jener Männer, die das tausendjährige Deutsche Reich aus morschen Trümmern zu einem erhabenen Glanze wachgerufen, hat der ehrfurchtsvoll Gefertigte es gewagt, an Se. Excellenz den Herrn Generalfeldmarschall Moltke die ehrfurchtsvolle Bitte zu richten, sein theures, von einer großen Nation in aufrichtiger Liebe verehrtes Bild mit seinem Namen zu zeichnen." — An diese Mittheilung schließt Herr Granadia das nicht minder herzliche Ersuchen, Bismarck möge Bild und Widmung senden. Zum Schluß heißt es in diesem Briefe: „Es ist nicht ein Sammler von Autogrammen, der diese Bitte wagt, der mit prunkendem Stolze das Errungene ausposaunt, um beneidet zu werden, es ist ein echter, treuer Deutscher, der die Größe seines Volkes vor Allem liebt, der in den theuren Namen Bismarck und Moltke die Wiedergeburt seines Volkes feiert." — Und Bismarck hat den Wunsch erfüllt. So wird's gemacht.

Auf die Idee, Bilder zu sammeln, ist Herr Granadia später gekommen, aber nicht zu spät. Auch die Plastiker liebt er. Tilgner hat ihm eine Wolter-Büste gesandt, Hellmer ein kleines Modell und Benk den ersten Entwurf seiner „Schönheit". Uebrigens ist Herr Granadia wählerisch, er würde nicht Jedermann in seine Sammlung aufnehmen: die Secessionisten mag er nicht und gewisse nationalistische Dichter gleichfalls. Was in seinen Salons liegt, steht, hängt und pickt, ist ihm ans Herz gewachsen, und dieses Herz ist groß und aufnahmsfähig, denn Richard Wagner, Goldmark, Hamerling, Fulda, Boulanger und Bismarck spielen bunte Reige.

Sein Stolz ist das Bild von Menzel. Das begreift man und es ist doch auf einen freundlichen Brief Granadia's geschickt worden. Allerdings hat er zwei Jahre lang auf die Antwort warten müssen, aber dann kam vor einiger Zeit ein Paket aus Berlin und darin befand sich ein Menzel, der den Neid aller Künstler und Kunstfreunde erregt.

Herr Granadia sammelt noch immer, er findet in der heutigen Welt freilich keine solchen Sterne mehr wie einst, aber er hofft, es wird wieder besser werden. Seine kostbare Sammlung gedenkt er unter keiner Bedingung zu veräußern, obwohl ihm schon horrendes Geld geboten wurde. Wer ihn beneidet, der möge es ihm nachmachen; er verdankt seine Schätze nur seiner Schreibsamkeit. Uebrigens hat die Methode auch eine Gefahr: Ich stelle es mir riesig peinlich vor, wenn er die Briefe an Bismarck und General Boulanger verwechselt hätte. A. D.-G.

Politische Bühnenspiele.

(„Der todte Löwe" und „Maria Magdalena". — Der „Salon der Verbotenen". — Der „Wald-" und der „Fabriks-Bismarck". — Das Couplet vom „Teufel". — Das Doppelschicksal von „Mönch und Soldat". — Metternich auf dem Burgtheater. — „Ein neuer Mensch." — Die „Naderer" und „Gegen-Naderer" in Wien. — Die „Lästerschule". — Das Kaiser Franz-Monument. — Das Radetzky-Festspiel in der Hofoper. — Mißliebige Friedensklänge. — Die ungeschriebene Tragikomödie.)

Die Berliner Theatercensur hat sich in ihrer Haltung gegen das spanische Bismarck-Stück Oskar Blumenthal's fein manierlich vor boshaften Anzüglichkeiten und schnöden Witzeleien sicherzustellen gewußt, sie hat dem „Todten Löwen" keinen „Fußtritt" gegeben, sondern im Gegentheil ihm die allerwirksamste Reverenz erwiesen und das Möglichste gethan, ihn vor geringschätziger Einscharrung zu bewahren — sie hat ihn für Berlin verboten. Blumenthal erfreut sich der gleichen Schicksalsgunst, die Paul Heyse mit seiner „Maria Magdalena" beschieden gewesen — der Strahl der Censur, der nicht als tödtender Blitzstrahl, sondern als belebender Sonnenstrahl wirkt, waltet mit gleicher Fürsorge über Heiliges wie Profanes. Ueberhaupt, wenn es in jenen lichten Höhen irgendwo einen „Salon der Verbotenen" gäbe, was Die einander mit seligem Lächeln über die Gnadenwirkungen der Censurverbote zu erzählen hätten und wie viele Segenssprüche für das undankbar verlästerte Amt den verklärten Geistern entquöllen! Wenn Otto Ludwig, der allerdings nie ein Verbotener war, zufällig zu der Gesellschaft stieße, der hätte sein apartes Lächeln dabei, denn wäre sein „Erbförster" nicht schon vor länger als einem halben Jahrhundert gedichtet worden, wäre er in die Neunzigerjahre hineingerathen, wie leicht hätte es ihm passiren können, daß aus dem eisern starren Graukopf mit seinem Wahne der Unabsetzbarkeit und der Alleinberechtigung, weil der Alleinbefähigung, der „Bismarck im Walde" herausgedeutet worden wäre. Verboten wäre er allerdings ebensowenig worden, wie der „Fabriks-Bismarck" im „Erbe", von dessen bürgerlicher Einkleidung sich die doch genug derb angefaßten politischen Gewalten und Staatsautoritäten nicht besonders empfindlich getroffen fühlten. Hier scheinen wirklich für die Censurauffassung Kleider Leute und Königsmäntel Könige zu machen — nur der sichtbare Königsmantel scheint das Verfängliche zu sein und als das nicht Zulässige befunden zu werden, wie eben in dem Schlüsselstücke Blumenthal's.

Die politischen Empfindlichkeiten der „maßgebenden Stellen" in Bezug aufs Theater sind in ihren Gradmessungen und in der Fixirung des Gesichtswinkels kaum berechenbar. So mußte es zum Beispiel geradezu unerklärlich erscheinen, daß schon nach Verhängung des Belagerungszustandes über Wien, in den Tagen der Militärherrschaft, noch immer im Theater an der Wien in der Elmar'schen Zauberposse „Des Teufels Brautfahrt" eine Couplet-strophe von Karl Treumann gesungen werden konnte, welche in die Refrainzeile ausging: „Da kann der Teufel nur ein Schwarzgelber sein!" Man weiß, welcher Inbegriff von knechtischem Sichducken, von tyrannischem Druck und finsterstem Freiheitshasse sich damals in den Begriff „Schwarzgelber" zusammendrängte. Und dennoch. Es war in jenen Reactionsanfängen, als hätte die Censur den Revolutionsschreck noch immer nicht aus den Gliedern gekriegt, als traute sie der Solidität des Belagerungszustandes noch nicht recht und wollte noch immer nicht allzuviel riskiren. Heutzutage ist das „Schwarzgelb" allerdings in ganz anderem Sinne verfänglich geworden, als zu „gesammtstaatlich", als Schlagwort für die Bekämpfung auseinanderstrebender „Autonomieen", für die schon Nestroy die Parole vom „Sichauseinanderalliiren" und „Zusammensepariren" ausgab, und es könnte leicht geschehen, daß irgend ein kronländisch-föderalistischer Censor das „Schwarzgelb" etwa gar striche, als „provocirend" und „die öffentliche Ruhe bedrohend". Alles im Leben ist ja doch so wandelbar — und die censurlichen Standpunkte sind es gar erst recht. Da war ein noch stärkeres Beispiel dafür in selbigen Zeiten Friedrich Kaiser's „Mönch und Soldat", worin die Berufswahl zwischen Soldatenuniform und Mönchskutte gegen diese entschieden wurde und ein verkappter Jesuit das böse Element vertrat. Das Stück wurde am 6. October 1849 — also gerade am Jahrestage der so blutig niedergeschmetterten und so gründlich ausgetilgten Octoberrevolution — im Carl-Theater mit stürmischem Beifalle gegeben und fünfzigmal hintereinander gespielt. Wie war das möglich? Die Erklärung dieses räthselhaften „Liberalismus" der Militärcensur lag ganz einfach in der Machtconcurrenz der Militärgewalt gegen die, nach der Uebermacht und der Vorherrschaft strebenden, clericalen Mächte. Man lauerte eifersüchtig aufeinander und schlug gerne einander ein Schnippchen. So wurde denn „Mönch und Soldat" von der, noch die Oberhand behauptenden, militärischen Autorität als ein neckischer Trumpf gegen die geistlichen Machtfactoren freigegeben. Als aber sieben Jahre darauf, im Jahre 1856, das Stück wieder ins Repertoire aufgenommen werden sollte und ahnungslos angekündigt wurde, da es ja doch mit der Censur nichts mehr zu schaffen hatte, war die Direction nicht wenig durch die behördliche Intimirung überrascht, daß die Wiederaufführung unterbleiben müsse. Das Concordat war nämlich seither abgeschlossen worden, der Krummstab hatte dem Säbel den Rang abgelaufen und nun war er es, der die großen und kleinen Trümpfe ausspielte. So spiegelte sich im Possenspiel der Bühne drastisch genug das Wechselspiel der großen Staatskomödie.

Man kann von diesen Beziehungen zwischen Politik und Theater, speciell dem Wiener Theater nicht sprechen, ohne immer wieder, ob man auch schon des Oefteren hierüber geredet hat, auf die in ihrer Art einzige, für die politische Naturgeschichte als unaufgeklärtes Phänomen zu betrachtende Abnormität zu kommen, daß im vormärzlichen Oesterreich der irdische Vertreter der himmlischen Vorsehung, der weltliche Papst mit dem politischen Unfehlbarkeitsdogma, Fürst Metternich, auf der Bühne des Burgtheaters in eigenster Person, in höchst durchsichtiger Verkleidung so persiflirt werden konnte, wie es in Bauernfeld's zweiactiger Komödie „Großjährig" geschah. Zum Gaudium von ganz Wien, über das bereits ein erster fahler Schein der Erkenntniß einer neuen Zeit hinzudämmern begann. Angenommen selbst, daß der sich allmächtig fühlende Kanzler den Regierenden sogar und dem Blaublut unbequem und durch seine Uebergewalt choquirend zu werden anfing und man ihm gerne eine kleine Bosheit anthat, den verwegenen dramatischen Spötter gerne in Schutz nahm, so ist denn doch nicht zu erklären, daß die officielle Hoftheatercensur kein Härchen darin fand und der Staatskanzler selbst den kecken Spaßmacher gewähren ließ. Fühlte er sich zu stark und sicher, um sich durch solche Bagatellen auch nur im Mindesten alteriren zu lassen und gönnte er den ohnmächtigen Neidern und „Palastintriganten" das unschädliche Vergnügen — oder war auch er schon von unbestimmten Ahnungen umdämmert und wollte nicht durch das Verbot eines „unbedeutenden Schwankes" der Sache erst recht ein Relief geben und den geheimen Schadenfreudlern die Genugthuung, daß er sich nicht für unangreifbar und unverwundbar halte? Von irgend welcher tieferer Bedeutung war ja der Lustspielscherz in der That nicht — eine einfache, philisterhaft bürgerliche Komödie, in deren Gewand sich da die über alle Maßen wienerisch gemüthliche Satire hinein versteckt hatte, leicht herauszufinden zwar, aber keineswegs eine allzu stachelbesetzte Pritsche schwingend. Wie schwach es mit ihrer inneren satirischen Gewalt bestellt war, das erwies sich ja auch deutlich genug, als nach dem März 1848 der Dichter einen zweiten Theil darauffolgen ließ: „Ein neuer Mensch" — von denselben Darstellern gespielt und den, durch eine häusliche Märzrevolution zu neuem Leben gekommenen Helden vorführend. Hier zeigte sich, daß die Gewalt einer großgestalteten Satire dem Lustspielbildner der satirischen Nippesfigürchen versagt war — dieses zweite politische Lustspielchen verschwand nach wenigen Vorstellungen. Hatte ja doch auch dem ersten nur das vormärzliche Datum seine Wirkung und seine Bedeutung gegeben.

Als Randbemerkung muß dabei in Erwähnung gebracht werden, welches scharfe Witterungsvermögen für solche versteckte Satiren diese vormärzlichen Wiener hatten, wie wenig ihre Abscheu vor „Naderern und Spitzeln" — den polizeilichen Aufpassern und Aushorchern — sie darin beirrte, selbst diese Ausspürungsmethode zu betreiben, gewissermaßen „Naderer des Witzes und der geheimen Verspottungen" zu sein und boshafte Deutungen und Bezüglichkeiten herauszustöbern, woran schwerlich Jemand gedacht hätte. So wurde in den Vierzigerjahren einmal — vor 1848 notabene — am Namenstag einer hohen Dame, deren durchdringende Geistesschärfe mit einer entsprechend scharfen und gefürchteten Zunge begabt war, im Burgtheater zufällig das alte Lustspiel des Engländers Sheridan „Die Lästerschule" gegeben — und sofort war der respectlose Wiener Witz daran, einen Zusammenhang zwischen dem Tag und dem Stück herauszudestilliren, mit der Glosse, die „Lästerschule" sei zur Feier dieses Namensfestes angesetzt worden. Von welcher Verlegenheit dieser vormärzliche Wiener Witz war, trotz Metternich und seinem Grafen Sedlnitzky und ihrem ganzen Polizeiapparat, dafür noch eine andere, nicht theatralische Stichprobe. Als das Monument des Kaisers Franz im inneren Burghof enthüllt, da fand die kecke Wiener Zunge, ohne dabei den Respect vor dem Monarchen außeracht zu lassen, eine doppelte Erklärung dafür, daß sein Standbild der Uhr im Burghofe den Rücken zukehrt. Die erste Erklärung ging dahin, daß der dem Metternich'schen System starr und unbeugsam ergeben gewesene Kaiser „das Fortschreiten der Zeit nicht sehen wolle" — während die andere Erklärung besagte, daß es ihn geärgert hätte, immer den „Elfer" vor sich zu haben." (1811, das Jahr des Staatsbankerotts und der berüchtigten „Bancozettel".)

Mit welchen Imponderabilien der Stimmungen und Auslegungen, der Geneigtheiten und Widerstrebungen man zu thun

zeichnete Dr. Ofner die große Schädigung, welche in den christlichsocialen Schulanträgen für jede freiheitliche Bethätigung liegen. Abgeordneter Poelll, welcher mit stürmischen Heil-Rufen begrüßt wurde, gab der Ueberzeugung Ausdruck, daß die neuen Schulgesetze die Sanction nicht erhalten werden, wenn die große Mehrheit der Bevölkerung öffentlich gegen dieselben Stellung nehmen werde. Dem Ministerpräsidenten müsse man das tiefste Bedauern aussprechen, wenn er diese Gesetzesvorlage, welche die Volksinteressen so tief schädigt, zur Sanction unterbreiten würde. Herr v. Koerber würde damit nur beweisen, daß ihm die wichtigsten culturellen Fragen gleichgiltig sind, daß er nur ein Geschäftsmann, aber kein Staatsmann und kein Patriot sei. Abgeordneter Poelll schildert nun die Nachtheile, welche darin liegen, wenn auch die Schule der Demagogenpartei ausgeliefert würde. Gemeindeausschuß und Obmann des Hausbesitzervereines Harkurs, der das Werk der christlichsocialen Partei einer scharfen Kritik unterzogen hatte, beantragte eine Resolution, die sich in schärfster Weise gegen die erwähnten Beschlüsse des Landtages wendet. — Der Gemeindeausschuß von Herzogenburg hat in einer einstimmig angenommenen Entschließung gegen dieselben Landtagsbeschlüsse Stellung genommen. — Auch der Gemeinderath von Melk hat sich bereits mit der Schulvorlage beschäftigt und beabsichtigt, die Entschließung, welche in St. Pölten gefaßt wurde, zu der seinigen zu machen. Aehnliche Entschließungen wurden von den Gemeinden Weitra, Reichenau, Arnoldstein, Allentsteig und Stein gefaßt und an den Abgeordneten Poelll gesendet. — Die Gemeindevertretung der evangelischen Gemeinde A. B. in Wien hat in ihrer letzten Sitzung einstimmig den Beschluß gefaßt, gegen die Bestimmungen in den Abänderungen des Volksschulgesetzes für Niederösterreich, soweit sie sich auf die evangelische Kirche beziehen und dieselbe herabzusetzen beabsichtigen, Stellung zu nehmen und im gesetzlichen Wege dagegen vorstellig zu werden. Zugleich wurde beschlossen, alle Presbyterien der evangelischen Pfarr- und Filialgemeinden Niederösterreichs aufzufordern, sich diesem Einspruche anzuschließen. Viele dieser Presbyterien haben bereits aus eigenem Antriebe gleichlautende Beschlüsse gefaßt.

Tagesneuigkeiten.

Admiral Roschdestwensky's seltsame Reiseabenteuer.

Ein moderner Seeroman.

Ein anonymer Autor bietet soeben dem „N. W. J." den ersten Abdruck seines neuen Seeromans an, von dem er selbst schreibt:

„Mein von der ersten bis zur letzten Seite spannender Seeroman behandelt mit unerreichter Lebenstreue und vollendeter Meisterschaft die seltsamen Abenteuer der glorreichen baltischen Flotte Rußlands.

Wenige moderne Autoren werden in gleichem Maße wie ich berufen sein, einen modernen Seeroman zu creiren. Nicht nur die Thatsache, daß ich fast sämmtliche Romane des Capitän Marryat als Gymnasiast gelesen habe, bürgt für meine treffliche Schulung. Ich habe nämlich in jüngster Zeit sogar „Waterkant" und „Das nasse Abenteuer" behufs Vollendung meiner theoretischen Studien angesehen, ferner aber auch praktische Erfahrungen über das Seemannsleben aufzuweisen, da ich viele Jahre lang an den Gestaden des Traunsees den Sommer verbrachte, endlich auch wiederholt das unendliche, herrliche Weltmeer — auf der Strecke Fiume—Abbazia — durchschiffte."

Nach weiteren Worten warmer Anempfehlung schließt der erwähnte Autor sein Begleitschreiben und legt einige Probecapitel aus seinem Werke bei, aus dem nachstehend einige Stellen reproducirt werden.

* * *

Capitel III.) **An Bord S. M. Kriegsschiff „Wutky".**

Draußen heulte der Nordwest,[1] drinnen in der Cajüte das Officierscorps. Eben war eine neue Runde Grog — echter steifer Seemannsgrog — auf die Officierstafel gestellt worden.

Da erhob sich ein alter Capitän, dessen gutmüthiges Gesicht durch einen mächtigen Vollbart umrahmt war und begann: „Ja wohl, Jungens, genau in so einer Nacht war's, wie in der heutigen, als ich den Klabautermann[2] das erstemal erblickte!"

„Ich höre immer gerne zu, wenn Capitän Kornschnapski sein Garn spinnt,"[3] warf der blutjunge Schiffsfähnrich Gregor Gregorowitsch ein.

„Ruhig, Sie Gelbschnabel!" schaltete der Erzähler ein und bestellte einen steifen Grog. Die älteren Officiere gaben ihrer Zustimmung Ausdruck, indem sie einen steifen Grog bestellten, die jüngeren aber waren über die rauhe Behandlung ihres Kameraden so empört, daß sie auch steifen Grog bestellten.

Draußen heulte der Nordwest, in der Kajüte das Officierscorps immer mehr. Der alte Kornschnapski aber spann munter sein Garn weiter. Da plötzlich wurde die Kajütenthür aufgerissen und schreckensbleich stürzte der Steuermann hinein: „Der heilige Nikolaus steh' uns bei, ich habe in der stockfinsteren Nacht die Richtung verloren! Ich habe keine Ahnung, wo wir uns befinden . . ."

Alexander Michaelowitsch, der die Kriegsschule in Petersburg absolvirt hatte und als der theoretisch am besten geschulte Officier des Schiffes galt, meinte: „Es wäre doch gut gewesen, wenn wir nicht in Kronstadt unseren Compaß vergessen hätten. Aber warten Sie, lieber Feodor, wie viel Knoten[4] machen wir in der Stunde?"

„Keine Ahnung!"

„Das macht nichts. Aber meiner Berechnung nach können wir nach fünf Tagen Fahrt noch unmöglich an der japanischen Küste sein!"

In diesem Momente stürzte der zweite Steuermann in die Cabine: „Feind in Sicht!"

Blitzschnell sprangen alle Officiere auf, tranken rasch den steifen Grog aus und eilten auf das Verdeck.[5]

„Wie viel Glas[6] haben wir?" brüllte Capitän Kornschnapsky.

„Herr Capitän haben ungefähr 32 Glas Grog und 17 Wutky," antwortete der Steward.

„Sie sind ein Dummkopf,"[7] entgegnete der Capitän und blickte gespannt nach Steuerbord.[8] „Ha . . . . zwei feindliche Torpedoboote!"

„Ich sehe nur einen kleinen Fischerdampfer," bemerkte ein Unterofficier schüchtern, der schon lange im Verdacht stand, Antialkoholiker zu sein.

„Nimm das, Du Vaterlandsverräther, für Dein subordinationswidriges Anblicken!" rief der alte Capitän und jagte dem Unterofficier eine Kugel durch den Kopf. Beifällig murmelnd warfen die Matrosen den Leichnam über Bord.

„Also zwei Torpedoboote! Und ringsherum Dschunken. Wir sind offenbar schon vor Port Arthur. Der heilige Sergius hat ein Wunder gethan. Nicht umsonst habe ich ihn vor der Abfahrt aus Kronstadt angerufen. Er mag unsere Kessel mit himmlischer Kohle geheizt haben, — die irdische ist uns ja ohnehin gleich nach der Ausfahrt ausgegangen. — Kurz und gut, wir sind am Ziele unserer Fahrt angelangt. An die Geschütze, Jungens! Denkt an die armen Kameraden in Port Arthur, die nach Erlösung schmachten, brennt den Kerls einige Achtundvierzigpfünder in die Seite . . ."

[1] Ein Wind.
[2] Soviel wie Matschakerl.
[3] Fachmännischer Ausdruck.
[4] Angeblich ein Längenmaß.
[5] Die obere Seite des Schiffsplafonds.
[6] So viel wie Stunde. Auf Schiffen wird nach einer Sanduhr die Zeit gemessen.
[7] Historisch!
[8] Rechts oder links, je nachdem man in der Richtung oder gegen die Richtung der Fahrt steht.

Zwei Stunden lang donnerten die Geschütze. Als der Morgen hereinbrach, war vom Feind nichts mehr zu sehen als die Trümmer einiger armseliger Fischerbarken.

Capitän Kornschnapsky aber telegraphirte anderen Tages nach Petersburg: „Feindliche Torpedoboote in ganz unbestimmter Anzahl griffen S. M. Kriegsschiff „Wutky" an, wurden aber durch unsere Wachsamkeit rechtzeitig entdeckt und vernichtet."

* * *

(Capitel 4.) **Das Unterseeboot.**

An Bord des Admiralsschiffes herrschte trotz der vorgerückten Nachtstunde noch reges Leben. Admiral Roschdestwensky hatte aus sicherer Quelle erfahren, daß ein nächtlicher Angriff auf sein Schiff geplant sei.

„Wenn jetzt diese verf . . . . gelben Kerls sich nicht bald zeigen, geh' ich schlafen!" fluchte der Admiral und schoß aus Nervosität einen Schiffsjungen vom Mastbaum herab. „Sehen Sie noch immer nichts?" herrschte er einen Unterofficier an, der mit einem Feldstecher gegen Norden ausblickte.

„Dort, Excellenz, einige große Delphine!" meldete der Unterofficier.

Admiral Roschdestwensky nahm selbst das Fernglas zur Hand und wollte es anfangs gewohnheitsmäßig zum Munde führen, dann entsann er sich aber und hielt es vor die Augen: „Ha, ha!" brüllte er heiser vor Aufregung. „Ha, ha! Delphine?! Abgeschossene Torpedos sind es!"

„Entschuldigen, Excellenz, aber ein abgeschossenes Torpedo kann doch nicht von Zeit zu Zeit aus dem Wasser heraussspringen und mit dem Schwanze wackeln?"

Excellenz überhörte diesen immerhin begründeten Einwand und winkte seinem Adjutanten, dem Corvettencapitän Dummiansky: „Sie haben scharfe Augen, lieber Capitän: sehen Sie absolut nichts?"

„Nichts, Excellenz, soweit das russische Auge reicht!"

„Nichts? Gar nichts! Das ist sehr verdächtig! Ich hab's! Ich weiß, daß feindliche Schiffe uns auflauern. Ich sehe diese feindlichen Schiffe aber nicht, somit ist es ganz klar . . ."

„Daß Excellenz falsch berichtet waren!"

„O, Sie — beinahe hätte ich etwas gesagt! — Also somit ist es klar, daß die feindlichen Schiffe eben unsichtbar, daß es Unterseeboote sind!"

Mächtige Bewegung ergriff die ganze Umgebung des Admirals, dessen Scharfblick begeistert gepriesen wurde.

„Und wie sollen wir dieser Gefahr begegnen, Excellenz?" erlaubte sich ein Schiffslieutenant zu fragen.

„Durch Vorsicht und Klugheit! Wir lassen jetzt alle Geschütze zwei Stunden lang scharf feuern. Die Granaten müssen so hageldicht in das Wasser einschlagen, daß sich kein Unterseeboot dem Schiffe nähern kann!"

„Ausgezeichnet, Excellenz! Aber, wie wenn wir bei dem Geschützfeuer irgend ein Handelsschiff treffen und vernichten?"

„Nur keine kleinlichen Bedenken, meine Kameraden! Gottlob haben wir mit unseren Projectilen noch nie etwas getroffen!"

Robert.

Wiener Originale.

III.

Eduard Kornau.

Ich könnte mir viel leichter ein vornehmes Souper ohne Verdammungseis oder selbst ohne Eidamer vorstellen, als einen Elite-Vereinsabend oder eine noble Soirée ohne Kornau. Er ist nun seit fünfzehn Jahren ein unentbehrlicher Rathgeber bei Jours, Festen und Hochzeiten. Seine Name ist von gutem Klang und seine Kunst hat trotz veränderter Literatur und Schauspielbedürfnissen keine Wandlung erfahren. Sie hat im Bestand ihre Stärke und sie ist unlösbar verknüpft mit den künstlerischen Anschauungen der ersten Salons ohne Unterschied der Confession.

Er hat mit der Copie begonnen zu einer Zeit, da er damit noch ein Original war, und dann brachte ihn die Noth an brauchbarem Vortragsmaterial zur Schriftstellerei. Heute braucht er die großen Dichter der heiteren Vorträge nicht mehr, er hat eine Reihe von zündenden Werken verfaßt und sich als Autor selbständig gemacht. — Im Verlaufe seiner langjährigen, von Erzherzogen, Aristokraten, Diplomaten und den ersten Finanzsalons anerkannten Thätigkeit hat es sich gezeigt, daß der Parodist sein Vorbild überlebt und überdauert, kein Mensch würde sich heute mehr für die „Gigerln von Wien" interessiren, von Kornau aber verlangt man noch immer den „Vereinsabend" oder die „Cavalleria". Und so hat er keine Schwankungen zu fürchten, es seien denn die der Börse, die sich unfehlbar in der Honorirung der Soir emitwirkenden ausdrucken.

Bei einer Betrachtung seiner Aeußerlichkeit muß ich Kornau's Beweglichkeit, seine ausdrucksvolle Fingersprache, sein sympathisches Organ und seine stark ausgeprägte komische Art hervorheben. Einen kleinen Augenfehler, über den er selbst viele Scherze macht, muß man nicht bemerken, da er die Gewohnheit hat, sich im Profil zu geben.

Ich will nun von seinen Lehr- und Meisterjahren sprechen, und wie er von einem bescheidenen kleinen Schauspieler zum Salonhumoristen wurde. Camillo Walzel hat ihn in seiner Eigenart entdeckt, und nachdem er im Carl-Theater nicht zu Worte kam, sah er ein, daß er sich auf eine Specialität werfen müsse. Und das gelang ihm. Den Schauspieler glaubte man ihm nicht, und der Humorist, der in Einlagen brillirte, fand allabendlich Beifall. So wurde er Concert-, Vereins- und Hauskomiker und erzielte Gagen, wie sie ihm auf der Bühne niemals regulär zutheil geworden wären. Er liebt den Salon als Vortragsort. Man hat dort den richtigen Contact mit dem Publicum und Kornau erzählt mir, daß er sein Programm genau nach dem Publicum richtet, vor dem er spricht. Er verlangt dreierlei: gute Zuhörer, gute Behandlung und gutes Honorar. Findet sich das zusammen, dann kann er sehr nett sein und gibt fünfundzwanzig bis dreißig Piècen zu. Ich bitte ihn, mir diese drei Vorbedingungen seiner guten Laune näher zu erklären. Er sagt: „Ich verlange unbedingte Aufmerksamkeit: ist das Publicum nicht ruhig, dann verschaffe ich mir schon Respect. Einmal sprachen in einem Salon die Börseaner von Cursen, da unterbrach ich meinen Vortrag und griff nach einem Curszettel: den las ich laut vor und gab meiner Meinung Ausdruck, daß dies vielleicht mehr interessire. Und ein anderesmal, als die Leute zu unruhig waren, sprach ich meine Pièce im Flüsterton. Daraufhin wurden die Leute still und ich sagte: „So, jetzt werde ich wieder lauter sprechen." Er läßt sich nichts bieten. Im Pilsener Theater haben sie einmal demonstrirt, weil er ein Couplet böhmisch parodirte, Kornau aber erklärte den Zischern von der Bühne aus: „Ich habe die fünf Weltsprachen genommen, nun sehe ich, daß Sie das Böhmische nicht als Weltsprache betrachten." Ging ab und ließ die Czechen in maßloser Bestürzung zurück.

Und nun das Capitel: „Gute Behandlung." Da ist Herr Kornau eine Mimose. Er geht weg ohne das beste Souper oder ein Honorar genommen zu haben, wenn ihm die Nase des Hausherrn nicht gefällt. Er will als Gast respectirt werden und als Künstler und verlangt, daß man in ihm nicht die bezahlte Kraft sieht. Stellt sich ihm ein Gast nicht vor, so spricht er ihn mit „Herr Mayer" an und erst wenn der Betreffende sagt: „Ich bin ja der Bankdirector X.", dann sagt er: „Pardon, das wußte ich nicht, Sie haben sich mir ja nicht vorgestellt, ich bin der Schauspieler Kornau." Er erzählt: „Je besser der Kreis ist, in dem man verkehrt, desto mehr anerkennt man den Künstler auch gesellschaftlich. Die Prinzessin Croy nimmt mich unter dem Arm und stellt mich der Gesellschaft vor, Graf Kielmansegg singt mit mir Duetten, Prinz Liechtenstein ist die Liebenswürdigkeit selber und so geht das fort. In einem Speisesalon aber sah ich, daß eine bekannte Wiener Schauspielerin abseits von den Geladenen ihr Souper einnahm. „Wie kann man so taktlos sein?" fragte ich den Hausherrn, der aber antwortete: „Ich kann doch keine Theaterdame zu meinen Gästen setzen." — Kornau erzählt bei dieser Gelegenheit viel von den liebenswürdigen Sitten der Granden des Reiches. Prinz Heinrich Liechtenstein sprach zu ihm, als er sich wegen seines stets gleichbleibenden Programms entschuldigte, die historischen Worte: „Kommen Sie nur mit Ihren alten Sachen, Sie haben doch stets die beste Wirkung." Und ein anderesmal wurde Kornau in dem gleichen Salon als japanischer Gesandter vorgestellt. Viele Excellenzen von der Diplomatie und eine ledhaftige Prinzessin aus Egypten interessirten sich für ihn, aber Keiner verstand ihn. Schließlich klärte der Hausherr den Ulk auf. Auch Graf Kielmansegg ist, wenn ihm sein Posten die nöthige Ruhe gönnt, ein Freund solcher Spaßhaftigkeiten. Im Salon des Statthalters sprach Kornau mit allen Gesandten in ihrer Sprache. Niemand verstand ihn, bis Excellenz Reverseau ganz erstaunt erklärte: „Jetzt ist das aber schon zu bunt, ich verstehe von seinem Französisch kein Wort." Unter allgemeinem Lachen sagte nun Graf Kielmansegg, daß Kornau die Gabe habe, ohne eine Sprache zu verstehen, ihren Charakter so zu erfassen, daß Jeder getäuscht werden müsse. Kornau hat auch mit dem Statthalter Duette vorgetragen. Er copirte den Lewinsky und Graf Kielmansegg parodirte Goldschmidt's „Gäa". Kornau rühmt übrigens neidlos das starke Talent des Statthalters im Vortragen von Couplets. Nicht minder freundlich war Baron Rothschild, der zu Lebzeiten der Baronin sich für Kornau interessirte. Kornau erzählt mir, daß der Baron besonders die Copien von berühmten Schauspielern gern hörte. Einmal war Kornau schon ganz erschöpft, Baron Rothschild aber bat stets, „noch eine Imitation". Kornau betheuerte, er habe keine mehr, aber als der Hausherr noch dringlicher wurde mit seinem Verlangen nach einer Imitation, griff Kornau nach seiner Weste und gab dem Baron — seine Kette.

Schlagfertigkeit und Takt gelten ihm als die wichtigsten Behelfe, um sich im Salon populär zu machen. Johann Strauß weinte helle Thränen des Vergnügens, wenn Kornau bei ihm war. Er sandte ihm auch sein Bild mit der Widmung: „Welch herrliches Talent, die Menschen so zu erheitern, wie Sie es imstande sind."

Alles kann man von ihm haben für Geld und gute Worte, nur Zote und Pikanterie hat er aus seinem Repertoire ausgeschaltet. Er wirkt mit anspruchslosem Humor, mit Kinderscherzen und Parodien. Verlangt man von ihm trotz der Anwesenheit von Damen und mit deren Zustimmung pikantere Vorträge, so lehnt er erröthend ab und verweist auf die Institution der Herrenabende. — Erzherzog Karl Ludwig ließ ihn in die Villa Wartholz bitten, der Abend kam aber in letzter Stunde nicht zustande, die Fürstin Metternich bekam ihn von ihrer Tochter als Geburtstagsgeschenk servirt und was im Lande Namen und Geld hat, freute sich, Eduard Kornau zum Nachtisch zu haben. Er hat oft bedrohliche Situationen durch seine Geistesgegenwart gerettet. Im Militär-Casino spielte einmal Alfred Grünfeld die „Frühlingsstimmen". Dann trat eine Sängerin auf und sang wieder die „Frühlingsstimmen". Die Laune der Gesellschaft war flau, und viele wollten gehen. Kornau erkannte die schlimme Situation, trat auf und begann mit — den „Frühlingsstimmen". Allgemeines Lachen und Bravo-Rufe, der Abend war gewonnen. Er erzählte mir noch unzählige seiner guten Einfälle, aber ich habe keinen Platz für sie. „Einer meiner Verehrer" sagt Kornau „war Johannes Brahms, er ist der Vater meiner Cavalleria-Parodie. Brahms hörte mich oft in Ischl und sagte mir einmal: „Sehen Sie, lieber Kornau, diese Cavalleria sollten Sie einmal parodiren, das wäre etwas." Ich fragte ihn, wie das zu machen wäre, und er sagte: „Nehmen Sie mal das Intermezzo." Und die Idee Brahms' trug mir einen Schlager ein."

Ich komme nun auf die Honorare. Herr Kornau sagt: Man muß sich so theuer als möglich verkaufen, jeder Opernsänger, jeder Virtuose hat seine Taxe. Meine ist für bürgerliche Verhältnisse zehn Ducaten. Das ist ein Minimum. Was ein guter Salon ist, sendet nicht unter sechshundert Kronen Honorar, manchmals erhalte ich aber noch mehr. In Deutschland erhalte ich im Engagement dreitausend Mark pro Monat. Billiger geht's nicht. Und wenn mir einmal ein Honorarcouvert nebst dem Dank des Hausherrn zu wenig Geld birgt, dann wird Beides retournirt und der Sender auf die Taxe verwiesen." — Das Geschäft, andere Leute zu unterhalten, bietet also, wie man sieht, einen sehr guten Unterhalt. Kornau denkt auch sehr lange nach, ehe er mir einen Hofschauspieler nennen kann, mit dem er tauschen möchte.

Schließlich stelle ich ihm noch die Frage, wie sich die copirten Künstler zu ihm und seiner Kunst stellen. Er sagt, daß das sehr verschieden ist. Lewinsky hat es gern, wenn er copirt wird, und windet sich vor Lachen, wenn ihn Kornau imitirt. Sonnenthal ist nicht erbaut, hüllt sich aber in Schweigen, auch Hartmann ist undurchdringlich. Zu den Leuten, die sich sehr über ihre Copie ärgern, gehört Frau Hohenfels. Kornau weiß davon zu erzählen, daß sie einmal vor Jahren, als er sie im Josefstädter Theater copirte, höchst aigrirt ihre Loge verließ. Der wüthendste Gegner von Kornau's Copien war aber Knaack. Er sandte ihm ein Bild mit folgender „Widmung": „Mit der Zeit wird Sie ja doch einmal der Schlag treffen. Der edlen Kunstrichtine Kornau gewidmet." Blasel läßt eine Copie kalt, er fragt höchstens, „ob er denn wirklich so blöd daherred't", und Girardi unterhält sich immer, wenn er copirt wird. Auch Leute, die copirt werden wollen, gibt es. Sie ärgern sich sogar, daß es nicht geschieht. Die Wolter bat Kornau einmal in einer Gesellschaft, sie zu copiren. Kornau erklärte, er sei das nicht imstande. Daraufhin wandte sie sich indignirt ab, Kornau aber versöhnte sie mit den Worten: „Frau Gräfin, Sie sind unnachahmlich." Minder höflich war Kornau dem uncopirbaren Ferdinand Bonn gegenüber. Er sagte ihm einfach: „Sie sind keine Individualität, Herr v. Bonn, und nur solche können copirt werden."

Kornau hat eine ganze Reihe von witzigen Einfällen gehabt, über die man in Wien gelacht hat. Er stellt sie mir dutzendweise zur Verfügung. Ich will noch den Inhalt eines pneumatischen Briefes wiedergeben, den ich eben von ihm erhielt. „Den besten Witz habe ich Ihnen zu erzählen vergessen. Als ich im Volksgarten vor Jahren spazieren ging, bat mich ein junges Mädchen

um meine Protection. Sie wollte zum Chor eines Theaters. Das Mädchen hatte denselben kleinen Augenfehler wie ich und darum sagte ich zu ihr: „Protegiren kann ich Sie nicht, aber wenn Sie wollen, können Sie meine „Schtelerin" werden!" Die Dame ist heute im Burgtheater engagirt und schielt noch immer. — Schließlich bitte ich auch zu bemerken, daß man mich copirt. Ein Einziger aber kann das, der Schauspieler Straßny vom Josefstädter Theater. Hochachtungsvoll Kornau."

Und nun warte ich nur noch, daß mir Herr Straßny mittheilt, wer ihn copirt. A. D.-G.

Studentenstücke.

(„Der Müller und sein Kind" als Studentenstück. — Der Geisterulk. — Studenten überall. — Die von 1848 in Wien. — Gymnasiastenleid. — „Das bemooste Haupt" und „Der lederne Herr Papa". — Die Geschichte vom „langen Israel" und seinem Wichsier. — Das Duell „im grünen Baum zur Nachtigall". — Ein Studentenstück aus der Polenzeit. — Die Wiener und die Polen. — Ludwig Dessoir. — Die „Doppelspieler". — Wilhelm Kunst, Eduard Jerrmann, Edwin Booth. — Der verkleidete Burschengeist. — „Flotte Bursche" und Anna Grobecker. — „Ein Fuchs." — Die Sachverständigen und „Alt-Heidelberg".)

Ein Vorschlag zur zeitmodischen Auffrischung von „Müller und sein Kind", womit es dermalen etwas wackelig bestellt scheint. Nicht mehr als elf Aufführungen des obligaten Allerseelenstückes sind von Sonntag bis Mittwoch an sämmtlichen Wiener Bühnen zusammenzuzählen — das ist gegen die sonstige Gepflogenheit recht spärlich. Wie wär's nun, wenn mit einiger Adaptirung ein — Studentenstück daraus gemacht würde? Konrad brauchte nur kein Müllerbursche, sondern kurzweg ein „Bursch'" zu sein, gegen den sich Papa Reinhold doch gewiß ebenso stemmen würde, wie gegen den armen Müllergesellen. Und aus der Friedhofsscene mit dem „Geisterzug" würde ein grausiger Studentenulk. Die Collegen Konrads arrangiren ihn, den abergläubischen Geizkragen zu schrecken und die gruselige Maskerade leistet den nämlichen Dienst, wie die bisherigen „wirklichen Geister" — mit Maeterlinck'scher Symbolistik aber erscheint als letzte Gestalt zum erstarrenden Grauen für Alle, der „wirkliche Geist" der ihrem Geschicke verfallenen Marie. So hätte auch das Allerseelenrepertoire sein Studentenstück.

Denn ohne ein solches scheint ein heutiges Repertoire nicht mehr denkbar — der „akademischen Jugend", oder, richtiger gesagt, der ulkenden Kneipjugend gehört momentan die Theaterwelt. Schade, daß „Jung-Heidelberg" nicht mehr auf der Variétébühne gegeben wird — sonst hätten wir am Donnerstag drei Studentenstücke auf den Wiener Theaterzetteln gesehen so gab's nur zwei, Hartleben's Stück im Burgtheater und „Alt-Heidelberg" im Deutschen Volkstheater — aber wenigstens wurde gleichzeitig berichtet, daß für die letztere Bühne auch schon wieder eine neue Studentenkomödie, „Alma mater", angenommen worden ist. Die Theatermuse gefällt sich nun einmal darin, das Cerevis aufzustülpen und den Salamander zu reiben — und, wehren wir uns nicht dagegen, dem verkalktesten Philister zwängen sich doch immer ein paar Tropfen Burschenblut durch die enggewordenen Adern, und was auch hinterher die Vernünfteleien der „praktischen Wohlehrbarkeit" dagegen vorbringen mögen, die „alte Burschenherrlichkeit" mit ihren anheimelnden Reizen ist noch immer nicht wegzuklügeln, und all ihre Entartungen und Entgeistigungen haben noch nicht allen Schimmer von Poesie verscheucht, der sich verklärend um sie gewoben hat.

Nimmer vergißt der Wiener, der als Junger im Frühjahre 1848 zum erstenmale diesen Zauber empfunden, wie das ganze Wien, Alt und Jung, Groß und Klein, Mann und Weib — und die Mädchen nun gar, ach, die Mädchen — davon gefaßt war, als man die Federn auf den ersten Studentencalabresern flattern sah, als die ersten Schläger über das Straßenpflaster klirrten und die ersten Ziegenhainer geschwungen wurden. Dieser Resignationsschmerz der Gymnasiastenseele, weil das Recht, den Studentenrock und den Schläger zu tragen, unbedingt an die akademische Zuständigkeit zur Universität geknüpft war! Aber den Calabreser aufzusetzen und den Ziegenhainer in der Faust zu führen, dazu doch brauchte es nicht erst den akademischen Befähigungsnachweis und in diesen bescheidenen Surrogaten der ausgereiften Burschenherrlichkeit durfte die Gymnasiastensehnsucht schwelgen. Und als nun das erste Studentenstück auf dem Theater erschien, jenes damals allgespielte „Bemooste Haupt" oder „Der lange Israel" des braven Burschenphilisters Roderich Benedix, der, wie schon erzählt worden, den ersten Unterricht der Wiener in der edlen Straßenkunst der Katzenmusiken vermittelte — was für ein lustiges Sturmesecho hallte davon der Straße ins Theater zurück! Alle Werkelmänner spielten, Buben- und Mädchenkehlen sangen auf den „entersten" Gründen draußen mit der gleichen furiosen Beharrlichkeit, wie den wienerischesten Gassenhauer, das

Was kommt dort von der Höh'?
Was kommt dort von der Höh'?
Was kommt dort von der ledernen Höh'?
Es ist der Herr Papa —
Es ist der Herr Papa —
Es ist der lederne Herr Papa . . .

Dem Lied war so wenig auszuweichen, wie alsdann dem „Ach, Herr Jegerle", oder dem „Nur ka' Wasser nöt" — oder heute dem „Kinder, wer ka' Geld hat, der bleibt z'Haus".

Wenn man jetzt diese damals zu einem politischen Sensationsereignisse gewordene eigentliche Studentenphilisteriade liest, wird man sie selbstverständlich über alle Maßen naiv, geradezu kindisch finden: Eine schurkische, geldgierige „Präsidentenswitwe" — aus der Rangordnung der Iffland'schen Diätenclassen — die sich durch ihren Einfluß in den Aemtern nicht nur Geld, sondern sogar einen zweiten Mann erpressen will, einen tapferen Hauptmann, der sich mit all seiner Tapferkeit ihrer nicht erwehren kann, obwohl er eigentlich die Nichte liebt — und als Allhelfer nun in diesen grausamlichen Herzenscomplicationen, als Strafrichter für das böse Weib der „Held" im Flausrock, das „bemooste Haupt" mit der akademischen Glorie seiner „fünfzehn Semester", der sich mit seinem Ziegenhainer in den Salon hinpflanzt und da seine Moraldonner losläßt, um schließlich als wohlbestallter Pastor auf dem Gute des durch ihn erlösten Hauptmann-Patronatsherrn mit seiner geliebten kleinen Näherin ein legitim zusammengenähtes Eheglück zu führen und die Schäflein der Patronatsheerde zu behüten. Natürlich auch der treue „Wichsier" dabei mit seiner rührenden Pudelanhänglichkeit, noch dazu von Karl Rott, dem Komiker-Star des Theaters an der Wien gespielt — das Stück wirkte also auf die damaligen Empfänglichkeiten ganz enorm. Was der Erinnerung daran in diesem Augenblick eine noch specielle Pointe gibt, das ist das Zusammentreffen in einem Detail mit der Situation des jungen Helden der Hartleben'schen Komödie: „Im grünen Baum zur Nachtigall". Studiosus Düring geräth da in Gefahr, sich mit einem Manne schlagen zu sollen, der ihm durch Herzensrücksichten unverletzlich erscheinen muß — und in eine ähnliche, allerdings nur flüchtige Gefahr versetzt Benedix seinen „langen Israel", dem es passiren könnte, wegen jener abscheulichen „Präsidenter" mit seinem theuersten Freunde, dem Hauptmann eben, auf den Duellplatz treten zu sollen. Was nicht etwa besagen soll, daß an dem biederen Benedix auch nur mit einem Strichelchen ein Plagiat begangen worden sei — wer nur ein bißchen die Zufälle der scenischen Einfälle kennt, der weiß, was für geradezu verblüffende Aehnlichkeiten es da oft gibt. Ich selbst erinnere mich eines Komödienentwurfes vor mehr als dreißig Jahren, der freilich nie über den Entwurf hinauskam und worin das militärische und das akademische Zerrbild des Ehrbegriffes einander gegenübergestellt werden sollten, um sich ineinander zu spiegeln. Damals aber hat Hartleben schwerlich noch ans Komödienschreiben gedacht.

Ein sehr, sehr altes Studentenstück, das in verdeckter Weise lange vor 1848 schon auf politische Stimmungen reflectirte, lernten die Wiener in flüchtiger Begegnung nur durch einen berühmten Gast aus Deutschland in den Fünfzigerjahren kennen. Es war ein zweiactiges Schauspiel „Der alte Student" von Freiherrn v. Maltitz, aus der Zeit stammend, als die Polen die Sympathien der ganzen liberalen Europa für sich hatten und ihr Freiheitsmuth von keinem Schlackenbeisatz angedunkelt erschien. Das Stück brachte dem Verfasser im Jahre 1828 sogar die Ausweisung aus Berlin. Jene Sympathien waren auch in Wien mit 1848 wieder lebendig geworden, denn die Polen im Reichstag, mit Smolka's historischem Blondschnurrbart, als einer Art Freiheitssymbol, gehörten ja zur demokratischen Linken und ihr General Bem commandirte auf den Octoberbarricaden und ihr General Dembinski stand hierauf bei den ungarischen Insurgenten und er befehligte in der Schlacht bei Kaschau, die den „Eroberer Wiens", den Fürsten Windisch-Graetz zum Rückzug zwang und seine alsbaldige Abdankung herbeiführte. So gab es wenigstens einiges sympathische Verständniß für das, an sich schon zu jener Zeit recht veraltete Stück mit seinem die „polnische Saite" berührenden Studio Helden, als Ludwig Dessoir, der Tragöde des Berliner Hoftheaters, der auf den altclassischen Stil schon moderne Lichter aufsetzte, zu längerem Gastspiel ins Carl-Theater kam und da auch den „alten Studenten" gab. Noch eine interessante Darbietung war dem Programm des Abends beigefügt, eine jener schauspielerischen Liebhabereien und Kunststückchen, in denen sich ernsteste Künstler mitunter gefallen — das Spielen einer Doppelrolle, und zwar in keiner blos zu theatralischem Effect gezimmerten Verkleidungskomödie, sondern gerade in der großen Tragödie. Den Karl und Franz Moor, die ja nie auf der Scene zusammentreffen, an einem Abend zu spielen, war lange Zeit so ein Lieblingskraftstückchen, und Wilhelm Kunst, der gewaltige Coulissenstürmer, und Eduard Jerrmann, seines Zeichens eigentlich „Intriguant", waren die bekanntesten „Doppelspieler" der „Räuber". Edwin Booth, der durchgeistigte amerikanische Bühnenkünstler mit dem geschichtlich verhängnißvollen Namen — sein Bruder war bekanntlich der Mörder Abraham Lincoln's gewesen —, spielte zwar nicht, als er in Laube's Stadttheater gastirte, eine derartige Doppelrolle am selben Abend, wohl aber an zwei unmittelbar aufeinander folgenden: zuerst den Othello und am nächsten den Jago. Ludwig Dessoir nun hatte sich für sein Doppelexperiment den „Faust" ersehen — fragmentarisch nur, nicht heute Faust und morgen Mephisto, sondern Faust und Mephisto am gleichen Abend, und zwar sprach er den großen Faust-Monolog des ersten Actes und ließ darauf die Schülerscene des Mephisto folgen. Und selten wohl kam die innere Zusammengehörigkeit der beiden Gestalten als Avers- und Reversseite des Seelenbildes, zu so eindringlicher Anschaulichkeit, wie in dieser Verkörperung durch den einen Schauspieler, der mit zusammenfassender Kunst die Einheit des Doppelwesens zu formen wußte. Und mit Faust und Mephisto war „Der alte Student" der Dritte im Bunde.

Der Student ist von der deutschen Bühne untrennbar, wie vom deutschen Volksleben. Denn das kann man wohl sagen, daß kein anderes Volk die Gestalt des „Burschen" so aus dem Gemüthe herausgearbeitet und ins Leben hingestellt und sie wieder so ins Gemüth geschlossen hat — darum hat auch das Theater keiner anderen Nation eine Studentenfigur gleich der des deutschen „Burschen". Aber nicht der „brave Student" ist der Lieblingsgegenstand dieser Zuneigung, nicht er ist in und außer dem Theater mit Vorliebe gesehen, nein, der trotzige Unabhängigkeitssinn, der ja doch, trotz aller staatsbürgerlichen und sonstigen Correctheit, in Deutschen steckt und sich nur im praktischen Leben zumeist fein bedächtig versteckt, erlabt sich, wenn Bruder Studio gegen seine Herren Professoren ein bißchen rebellt und thuen möglichsten Aerger bereitet. So erreicht auch „Der lange Israel" den Höhepunkt seiner dramatischen Studentenglorie darin, daß er von dem hochmögenden akademischen Senat relegirt wird, und der Verherrlichung der „Relegirten Studenten" hat der Autor des „Bemoosten Hauptes" im Jahre 1839 sogar ein ganzes Lustspiel gewidmet, das im Burgtheater mit Baumeister und Sonnenthal, als den Hauptrelegirten, 25 Aufführungen erlebte. Sonst hat das Repertoire des Burgtheaters bis jetzt kein eigentliches, ausschließliches „Studentenstück" zu verzeichnen gehabt — der Student tauchte nur hie und da als Einzelfigur auf.

Das populärste, freilich auch das in der Charakterwesenheit inhaltloseste der ehemaligen Wiener Studentenstücke, das den Studenten überhaupt nur die Rolle dienstbarer Geister der Frau Musica zuwies, war wohl Suppé's Operette „Flotte Bursche", worin zudem der deutsche Burschengeist es sich gefallen lassen mußte, als verkleidetes Mädchen aufzutreten und sich zu einer weiblichen „Hosenrolle" machen zu lassen. Die Wiener aber, und nicht sie allein, scherten sich wenig um solche „Declassirung" der „alten Burschenherrlichkeit" durch eine Schaar junger schöner Mädchen und ließen sich die hellen Stimmen der anmuthigen „Burschinnen" wohl gefallen. Die Eine, die Führerin der munteren Schaar — das heißt, pardon, der Führer — wurde dieser Tage gerade aus Kärnten zu Besuch in Wien erwartet, um der Enthüllung des Grabdenkmals von Marie Geistinger anzuwohnen: Anna Grobecker, die Gutsherrin von Althofen. Das war allerdings ein so virtuos unmerkbarer Tausch der Geschlechter, daß wohl keine Burschenschaft Bedenken getragen hätte, diesen Commilitonen aufzunehmen. Und auch „Ein Fuchs" des Carl-Theaters könnte jetzt als „alter Herr" seinen fünfzigjährigen Erinnerungscommers begehen, wenn er's über eine zwar lustige, aber kurze Lebensdauer hinausgebracht hätte und nicht ins Theaterarchiv relegirt worden wäre. Karl Treumann spielte diesen „Fuchs" im Jahre 1854.

Lange Jahre waren die Studentenstücke wie verfehmt. Kam wer mit so einem Vorschlag, so zuckten die „Sachverständigen" die Achsel mit jener untrüglichen Unfehlbarkeit, welche der Ruhm der Sachverständigen auch so mancher anderer Kategorien geworden ist, und meinten: „Abgethan — abgebraucht — man ist das immerwährende „Juvivallera" satt geworden." Da kam mit einem Male Einer, der sachunverständig genug war, es trotzdem wieder mit dem „Juvivallera" zu riskiren und nicht einmal neue Variationen dafür zu suchen, sondern das alte Studentenstück mit seiner alten Burschikosität, aber auch Rührseligkeit zu schreiben — wie wenn's der theaterfeste Benedix heute geschrieben hätte — und er nannte es „Alt-Heidelberg". Und nun können die Leute wieder die Studentenstücke nicht satt kriegen und jedes Theater glaubt, das seine haben zu müssen. Nochmals, Müller Reinholds Marie würde klug daran thun, ihren Müllerburschen laufen zu lassen und sich um einen Studenten umzusehen. S. S.

Die „private Auskunft".

Darlehensschwindler und Consorten. — Die verläßliche Auskunft. — Eine Existenz vernichtet um zwanzig Kronen. — Die Auskunft, die der Rentier erhielt. — Die zwei Kinder des Bräutigams. — In den Tod getrieben. — Der Rechercheur, der Trinkgeld nimmt. — Er beschwindelt lieber sein Bureau. — Die Erfindung eines Amerikaners. — Indiscretion ausgeschlossen. — Information durch Rundfrage. — Vermeidung von Bankkrachen. — Der Fragebogen. — Eine sichere Grundlage für Creditgewährung. — Weg mit der „privaten Auskunft"! — Wer für den Rechercheur ein Ehrenmann ist.

In eine Kategorie mit der großen Zahl von „soliden" Darlehensvermittlern, von „reellen" Heiratsbureaux und Anderem gehören auch eine ganze Reihe von Auskunftsbureaux, die Jedem, der es wünscht, über den Nebenmenschen, dessen Vermögenslage und Charaktereigenschaften Auskünfte geben. Desgleichen dienen sie mit Creditrecherchen über Firmen. Auf den Krebsschaden dieser Bureaux, sofern sie nicht langjährig auf ihre Solidität erprobt sind, ist lange schon hingewiesen worden, und die großen Insolvenzen einerseits, die Gerichtsfälle der letzten Tage andererseits unterrichten davon, was man von der Vertrauenswürdigkeit vieler solcher Institute und ihrer Rechercheure zu halten hat. Gegen Geld ist Jedermann in Wien in der Lage, sich eine Auskunft über eine beliebige Person zu verschaffen. Wir sind also stets von Privatdetectives umgeben, von einer Galerie von Spionen, die nicht nur unser Einkommen taxiren, sondern auch um unsere privaten Beziehungen wissen oder wissen wollen. Denn es gibt Bureaux, die von vorneherein erklären, daß ihre Auskünfte absolut verläßlich sind, und daß sie Auskunft über Jedermann zu ertheilen in der Lage sind. Würden die Anfragenden den Auskünften den richtigen Werth beimessen, dann könnte man sich diese Privatspionage noch als Harmlosigkeit gefallen lassen, in vielen Fällen aber — und die wenigsten kommen zu Gericht — gilt die Auskunft als „verläßlich", und zahllose Existenzen sind den rücksichtslosen Rechercheuren und ihren schwindelhaften Auftraggebern zum Opfer gefallen. Will irgend ein besorgter Vater aus der Provinz seine Tochter verheiraten, so wendet er sich leider zumeist an ein Auskunftsbureau und gibt den Namen des jungen Mannes an, der ausgekundschaftet werden soll. Gegen Erlag von zwanzig Kronen für die Recherchen und weiteren vier Kronen für die Auskunft erhält er eine „private Information", das heißt, es wird ihm vertraulich mitgetheilt, welchen Tratsch der gewissenlose Schnüffler aufgelesen hat. Vor nicht allzulanger Zeit ereignete sich folgender Fall: Ein Rentier in Ungarn wollte seine einzige Tochter an einen jungen Wiener Arzt verheiraten. Er schlug den von uns bezeichneten Weg ein und ließ recherchiren. Die „private Information" lautete folgendermaßen: „Doctor E. ist ein sehr leichtsinniger Mensch, hat für zwei Kinder zu sorgen, genießt wenig Credit und hat sich seine Patienten durch Leichtsinn verscherzt."

Der alte Herr zeigte die Auskunft seiner Tochter. Alles wäre ihr recht gewesen, aber die beiden Kinder brachen ihr das Herz. Das Mädchen wurde krank und der besorgte Vater eilte nach Wien. Er überzeugte sich, daß Doctor E. ein hochanständiger junger Mann sei, viel Praxis und keine Kinder habe. Die Auskunft ging, wie sich später herausstellte, einen anderen Arzt gleichen Namens an!!!

Das ist die Arbeitsmethode der Rechercheure. Ihr einziger Weg ist der Hausbesorger, und der Leser kann selbst beurtheilen, in wie viel Fällen der Charakter einer Person von des Portiers Haß oder Gunst entstellt in der Geschichte schwankend gezeichnet wird. Auch tragische Fälle sind schon heraufbeschworen worden. Ein junges Mädchen, gleichfalls aus der Provinz, erhielt auf ihr Verlangen Auskunft über einen jungen Beamten, der ihr die Ehe versprochen hatte. Es hieß darin: „N. N. wird im nächsten Monat mit der Tochter des Herrn Soundso den Ehebund schließen." Das arme Geschöpf, Mutter eines Kindes, dessen Vater der Untreue war, suchte den Tod und schrieb dem Beamten einen Brief, in dem sie ihm verzieh. Erst lange nachher erfuhr der Wiener, was die Arme in den Tod getrieben hatte. Es war ihm nie eingefallen, eine Andere zu heiraten oder sich zu verloben. Leider erfuhr er den Namen des Bureaus und des Rechercheurs nicht. Die Arme hatte Alles vernichtet, ehe sie die Phosphorlösung getrunken hatte.

Gutmüthiger, aber nicht minder moralisch sind die Recherchen, in denen der wackere Nachfrager durch ein Douceur zu einer beliebigen Auskunft bestimmt werden kann. Das ist besonders bei Fällen beliebt, in denen es sich um Creditgewährungen handelt. Mann kennt die Sorte von Ehrenmännern. Sie finden es für besser, ihre Institute zu beschwindeln als den Creditsucher und nehmen dankbar die Trinkgelder entgegen, die für eine sich selbst ertheilte, also gute Auskunft reichlich fließen. — Solche Fälle förderten die letzten großen Insolvenzen, die unsere Banken so stark tangirten, zutage, die Firmen hatten sich selbst eingeschätzt, und somit konnte über ihre Bonität gar kein Zweifel sein.

Aber auch wenn die Auskunftsuchenden durchaus reell vorgehen, sind schwer schädigende Irrthümer fast nicht zu vermeiden. Eine Firma ist — nehmen wir ein Beispiel — gut für hunderttausend Kronen. Diese Auskunft wird von drei Personen, die Einblick in die Verhältnisse haben, gegeben. Die Bank erkundigt sich und gewährt den Credit. Eine andere Bank fragt wieder nach und erfährt: Gut für hunderttausend Kronen. Die Bank nimmt also keinen Anstand, diesen Credit zu bewilligen, ohne zu wissen, daß dieser Credit erschöpft ist, und solcherart kommen die Millionendeficite heraus.

Wie es möglich ist, das Auskunftswesen, so weit es den Credit betrifft und also nothwendig ist, zu regeln?

Städtische Angelegenheiten.

(Sitzungen im Rathhause.) Der Gemeinderath hält in der kommenden Woche am Dienstag den 8., 5 Uhr Nachmittags eine Plenarsitzung ab, die als Nachtsitzung in Aussicht genommen ist. Auf der Tagesordnung stehen bis jetzt 25 Geschäftsstücke, darunter das Referat über die Vereinigung der Gemeinde Floridsdorf und der Nachbargemeinden mit der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien und Abänderung einiger Bestimmungen des Wiener Gemeindestatuts. Stadtrathssitzungen finden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, 10 Uhr Vormittags statt.

(Der XXI. Bezirk.) Gestern Mittags fand im Stadtrathssitzungssaal des neuen Rathhauses unter dem Vorsitze des Bürgermeisters Dr. Lueger eine Conferenz der Vertreter der einzubeziehenden Gemeinden statt. Vertreten waren die Gemeinden Floridsdorf, Groß-Jedlersdorf, Leopoldau, Kagran, Stadlau, Hirschstetten, Aspern, Lang-Enzersdorf, Strebersdorf, Stammersdorf, Breitenlee und Groß-Enzersdorf. Von Seiten der Gemeinde Wien waren außer dem Bürgermeister Magistratsdirector Dr. Weiskirchner, Stadtbaudirector Berger und einige andere Beamte anwesend. Bürgermeister Dr. Lueger eröffnete die Versammlung mit der Mittheilung über die Ergebnisse der am 2. d. M. im Ministerium des Innern stattgefundenen Verhandlung mit der Regierung. Seitens jener Gemeinden, welche vollständig einbezogen werden sollen, wurden durchwegs zustimmende Erklärungen abgegeben und die Fassung diesbezüglicher Ausschußbeschlüsse für die nächsten Tage in Aussicht gestellt. Nachdem in letzter Zeit als nördliche Grenze des neuen Gemeindegebietes die nördliche Einlösungsgrenze des künftigen Donau-Oder-Canals in Aussicht genommen war, müssen auch Theile der Gemeinden Lang-Enzersdorf, Strebersdorf und Stammersdorf einbezogen werden. Die erschienenen Bürgermeister dieser Gemeinden nahmen diese Mittheilung zur Kenntniß und verpflichteten sich, diese Angelegenheit den betreffenden Gemeindeausschüssen vorzulegen. Eine principielle Einwendung gegen die Einbeziehung dieser Gemeindetheile wurde von den einzelnen Vertretern nicht erhoben. Die Gemeinde Stammersdorf verlangte nur als Entschädigung die Zuweisung jenes Gebietes der jetzigen Gemeinde Groß-Jedlersdorf, welches nördlich des künftigen Donau-Oder-Canals liegt. Bürgermeister Dr. Lueger gab die Erklärung ab, daß er dieses Verlangen beim Gemeinderathe befürworten werde. Die Gemeinde Groß-Enzersdorf verlangt einen Ersatz für den durch die Abtrennung der Lobau erwachsenden Entgang von Gemeindeumlagen. Bürgermeister Bauer von Leopoldau wiederholte die seinerzeit von seiner Gemeinde aufgestellten Bedingungen, welche in folgenden Punkten gipfeln: Erbauung städtischer Straßenbahnen, Canalisation, Wahrung des ländlichen Charakters und Belassung des Gemeindestieres. Bürgermeister Dr. Lueger erklärte, daß den beiden ersten Punkten nach Möglichkeit Rechnung getragen werde und daß gegen die Erfüllung der übrigen Punkte kein Anstand obwalte. Im Sinne dieser Verhandlungen wurde ein Protokoll verfaßt, welches von sämmtlichen Anwesenden gezeichnet wurde. Die Vertreter der auswärtigen Gemeinden verpflichteten sich, über diese Angelegenheit Ausschußbeschlüsse einzuholen und dieselben bis längstens Mittwoch den 9. d. M. der Gemeinde Wien zu übermitteln. Das Gemeindegebiet von Wien, welches heute rund 17.800 Hektar umfaßt, wird durch diese Einbeziehung um nicht weniger als rund 9400 Hektar vermehrt; dieses neue Gebiet umfaßt rund 52.000 Einwohner mit 2370 Häusern.

(Lueger-Bankett auf der Landstraße.) Zu Ehren des Namensfestes des Bürgermeisters Dr. Lueger veranstaltete vorgestern Abends der dritte Bezirk, der Wahlbezirk des Bürgermeisters, in Dreher's großem Saale ein Festbankett. Die Begrüßungsansprache hielt Bezirksvorsteher Spitaler. Er sagte unter Anderem: Von diesem Saale aus beginnt die Laufbahn Dr. Lueger's. Hier stand die Wiege unserer heute so großen Partei. In diesem Saale haben die großen Redeschlachten stattgefunden, welche von bedeutenden Erfolgen gekrönt waren. Redner schloß mit einem dreifachen Hoch auf Dr. Lueger. Bürgermeister Dr. Lueger sagte in seiner Erwiderung: Dr. Lueger ist als Bürgermeister genau derselbe geblieben, der er früher war. Es wäre auch sehr traurig, wenn ich mich verändert hätte. Ich bin doch durch Sie, meine sehr geehrten Herren, Bürgermeister geworden, und es wäre der größte Undank von mir, wenn ich mich nun aufs hohe Roß setzen und aller Jener vergessen würde, die meine besten Freunde und Mitkämpfer waren und wohl noch sind. Ich meine, daß man sich in der Sache immer gleich bleiben muß, gleichgiltig, ob ich Bürgermeister bin oder nicht, oder ob ich noch etwas werde, was ich noch nicht weiß. Was ich versprochen, habe ich zum allergrößten Theile bereits gehalten und verspreche, auch in Hinkunft ein treuer Freund und Kamerad der Landstraßer zu bleiben. (Beifall.) Schließlich toastirte der Bürgermeister auf die Landstraßer Bürger und Bürgerinnen, womit der officielle Theil des Banketts erledigt war.

(Ausbau der städtischen Elektricitätswerke.) In der letzten Sitzung des Stadtrathes legte Stadtrath Hraba ein Programm für den Ausbau der städtischen Elektricitätswerke in den Jahren 1905, 1906 und 1907 vor und beantragte dem Gemeinderath zu empfehlen, vorläufig dem vorgelegten generellen Project und Kostenanschlage für die im Jahre 1905 auszuführenden Arbeiten, welche eine Summe von 6,170.000 Kronen in Anspruch nehmen werden, die Zustimmung zu ertheilen. Der Antrag wurde angenommen.

(Wiener Theater-Localcommission.) An Stelle des Magistratssecretärs Karl Pawelka, dessen Bestellung als Vorstand der Magistratsabtheilung für Steuer- und Wahlangelegenheiten wir vor einigen Wochen gemeldet haben, wurde der Magistrats-Obercommissär Dr. Josef Ebermann als Ersatzmann in die Wiener Theater-Localcommission berufen.

(Oberlehrerin-Installation.) Gestern Vormittags 11 Uhr fand die Installation der neu ernannten Oberlehrerin Gabriele Walter in der Mädchenvolksschule, VIII., Albertgasse, statt.

(Beisetzung des Generals Sommariva.) Donnerstag den 10. d. M., 1/4 10 Uhr Vormittags, findet die Wiederbestattung des bisher im Schmelzer Friedhofe ruhenden Generals der Cavallerie und Theresien-Ordensritters Hannibal Marquis Sommariva in dem von der Gemeinde Wien gewidmeten Ehrengrabe an der Friedhofmauer im Wiener Centralfriedhofe statt.

Tagesneuigkeiten.

„Horridoh!“

(Also sprach Kaiser Wilhelm.)

Kaiser Wilhelm, der Beredte, hat, wie aus Berlin gemeldet wurde, bei der Enthüllung der Jagdgruppen im Thiergarten einen gar eigenartigen Toast auf die Jagd ausgebracht, der mit den Worten schloß:

„Wir Alle folgen dem einen schönen Grundsatz, Unser Wild zu hegen und zu pflegen, es weidmännisch zu jagen und in ihm, dem Geschöpf, den Schöpfer zu ehren... Horridoh!“

* * *

Dieser Trinkspruch verdient dank seiner Eigenart besondere Aufmerksamkeit. Zum erstenmale wird von hoher Stelle die Jagd als eine Art des Gottesdienstes bezeichnet. Die meisten Jäger dürften bisnun keine Ahnung davon gehabt haben, daß sie eigentlich Acte der Frömmigkeit begehen, wenn sie einen Sechzehnender weidmännisch erlegen und siebenundzwanzig Hasen das Lebenslicht ausblasen.

Nun wird auch die oft verspottete Institution der Sonntagsjäger in ein ganz neues Licht gerückt. Die wackeren Herren, die während der Werktage im Comptoir oder im Bureau beschäftigt sind und die dann Sonntags schmucke Jägertracht anlegen, sind zuweilen arge Pharisäer, die statt höchstpersönlich Wildpret zu erlegen und hiedurch — nach dem Kaiserworte — den Schöpfer zu ehren, es vorziehen, den Erfolg ihrer weidmännischen Thätigkeit durch Einkäufe beim Wildprethändler zu sichern.

Mögen diese Schwindler auch ihre Frauen gründlich täuschen, echte und wahre Befriedigung, wie sie jedes gute, Gott wohlgefällige Werk dem Herzen bereitet, bleibt ihnen versagt. Das Weidmannsheil beim Wildprethändler widerspricht den frommen Jagdanschauungen des Kaiser Wilhelms in grober Weise.

* * *

In weiterer Consequenz der Kaiserrede dürfte sich vielleicht auch eine Aenderung des althergebrachten Jagdgrußes empfehlen. Viel sinniger als das einfache „Weidmannsheil!“ und dem Charakter der königlich preußischen Jagdtheorie entsprechender, wäre der einfache gemüthvolle Jägergruß: „Seelenheil!“

* * *

Auch in oratorischer Beziehung könnte die jüngste Horridoh-Leistung in Berlin bald Nachahmung finden. Besonders bei der Justiz, die ja mit dem Jagdvergnügen viel gemeinsam hat. Wie wäre es, wenn zum Beispiel demnächst ein Staatsanwalt mit Bezug auf eine Angeklagte plaidiren wollte:

„Wir Alle folgen dem schönen Dichterworte: „Ehret die Frauen . . .“ und darum wollen wir die Angeklagte möglichst lange hegen und verpflegen und in ihr die ganze Frauenwelt ehren. Wir haben diese Frau endlich auf die Strecke gebracht, lassen Sie sie daher möglichst lange — der Paragraph des Strafgesetzes gestattet bis zu fünf Jahren — in unserer Obhut! Horridoh!“

* * *

Oder ein humaner Gerichtspräsident würde in der Begründung eines Urtheils gegen unreife Burschen erklären, warum er die jungen Leute entgegen anderweitigen Intentionen nicht der Begnadigung empfehle:

„Wir folgten eben dem schönen Bibelspruch: „Lasset die Kleinen zu mir kommen!“, und wollen sie daher einige Wochen lang nicht aus unserem grauen Hause entlassen. Horridoh!“

* * *

Die Feldherren in Ostasien aber haben jetzt ein gar prächtiges Vorbild für klingende, fromme Tagesbefehle und anfeuernde Proclamationen.

Kuropatkin: „Wir Alle folgen dem einen schönen Grundsatz, die Menschen zu hegen und zu pflegen, sie kriegsmännisch abzuschlachten und in ihnen, den Geschöpfen, den Schöpfer zu ehren. . . .

Auf, Kameraden, zu dieser Ehrung des Schöpfers!

Keiner von den gelben Feinden darf lebend die Mandschurei verlassen oder Keiner von Euch lebend vom Schlachtfelde zurückkehren.

Hunderttausend Leichen müssen Zeugniß ablegen von unserem frommen Sinne, von der Innigkeit unserer religiösen Empfindung.

Auf, Kameraden, zum

Offensiv-Feldgottesdienst!

Horridoh!“

Robert.

Wiener Originale.

IV.

Frau Grünwald-Zerkowitz.

Es duftet nach fauligen Aepfeln in der Stube. Bücher, Bilder, Pianino, Staffeleien, der Ausblick auf nebelfeuchte Dächer und ein Schreibtisch, beladen mit Heften und Schriften. Da dürfte jeden Moment ein schmächtiges Dichterlein eintreten, um mit langem Haar und strahlendem Aug' heute längst ungiltige Poesien zu verfertigen. Aber der Jüngling kommt nicht; an seiner Stelle erscheint Frau Grünwald-Zerkowitz, und die ist nicht schmächtig und kein Dichterlein. Ich muß mich nicht mit ihrer Erscheinung befassen. Man kennt sie und ihre Toiletten vom Ballsaal und von der Ringstraße. Seit Jahren ist sie mit ihrer walkürenhaften Figur populär, und da ganz Wien sie betrachtet, und über sie spricht, da sie ihre eigenen Anschauungen über Menschen, Mode und Dichtung hat, kann ich mir kein besseres Original vorstellen. Das will ich gleich vorausschicken. Die Schriftstellerin Grünwald-Zerkowitz zählt keineswegs zu den Anerkannten. Sie hat viele Gegner und noch mehr Spötter, aber sie macht sich nichts daraus, sie dichtet wacker darauf los und der kaufmännische Engros-Grundsatz gilt auch bei ihr: Die Masse muß es bringen. Schließlich haben ihr auch bedeutende Menschen mündlich und schriftlich viele Complimente gemacht, der wackere Wurzbach vor Allen, der ihr acht Spalten widmet, was er sonst nur bei Goethe und Consorten that.

Es ist eine interessante, geistreiche Frau, die ich dem Leser vorzuführen gedenke, ihre sieghafte Schönheit wurde von vielen Dichtern und Granden bewundert und ihr Leben birgt reiche Erinnerungen, denn das Schicksal führte sie an Königen vorüber, solchen, die auf dem Thron sitzen, und solchen, die es wirklich sind, wie Liszt und Wagner. Ihr Haupt schmückte eine Fürstenkrone und zwischendurch dichtete sie und verbesserte sie die Welt. Heute bereut sie nur Eines: so viele köstliche Zeit müßig verloren zu haben. Aber sie holt's nach, sie ist die Frau dazu, und versagt ihr die Welt die Anerkennung, dann wird sie sie erzwingen.

Ich sehe viele Porträts historischer Persönlichkeiten in ihrem Salon, theils bedeutende, theils schöne Männer. Die meisten wollten ihrem Herzen nahe stehen und grämten sich zu Tode, da dies Ziel unerreichbar war. So der ungarische Poet Toth Kalman, der sie bis zu seinem Ende liebte. Frau Grünwald zeigt mir ein Bild Liszt's und einen trockenen Blumenstrauß, den sie einst von ihm erhielt. Er war ihr Lehrer in Budapest und sie spielte mit ihm vierhändig. Ihr Clavierspiel gefiel dem Meister, am liebsten aber küßte er das junge, frische Mädchen, von dessen Schönheit ganz Budapest schwärmte. Die Person Liszt's steht der Dame lebhaft in Erinnerung; überlang und hager machte er ihr als Mensch keinen besonderen Eindruck, auch war er sprunghaft und nicht gründlich. Niemals sprach er ungarisch, sein Französisch war von der vornehmsten Qualität. Im Clavierspiel aber kannte er nicht seinesgleichen, es erhob ihn über sich selbst. Im Salon Liszt's lernte sie Richard Wagner und Frau Cosima kennen. Wagner sagte ihr nicht zu, er war ihr zu klein, wenn sie auch zugesteht, daß sein Profil nicht uninteressant war. Und ebensowenig wie Wagner gefiel ihr Brahms, der sich lebhaft für sie interessirte. Sie sagt: „Er war klein und hatte einen großen Bauch, ich hätte ihm keinen Kuß geben mögen.“ Sie bemißt die Männer nach der Elle. In dem Punkte ist sie ganz unerbittlich, Dichter unter dem Militärmaß sind für sie keine.

Und da kommt Frau Grünwald gleich auf das schwache Männergeschlecht von heute. Sie ist empört über die Degenerirung und kein Beiwort ist ihr zu gering, um die Herren der Schöpfung zu geißeln. Schließlich sind auch die Frauen bei ihr nicht besser daran. Sie verhöhnt die Kleinen, Dickbäuchigen, die erst über die von ihr ersonnenen Moden spotteten und sich dann nach ihrem Recept fliegende Aermel an- und große Hüte aufsetzten. Als ob man dazu nicht ihre Figur brauchte! — Von dem Modethema bringe ich Frau Grünwald wieder zu ihren Jugenderinnerungen. — Die Eigenart ihres Wesens und der Ruf ihrer Schönheit waren so groß, daß König Ludwig II. von Baiern sich für sie interessirte. Das junge Mädchen kam nach München und sollte Schauspielerin werden. Sie schildert den großen Eindruck, den der schöne liebenswürdige König auf sie machte. Sie wurde von Schwärmerei für ihn ergriffen und freute sich, als Schauspielerin vor ihm Gnade zu finden. Da kam ein junger Fürst, Enkel des suzeränen Herrschers der Moldau und Walachei, und verlangte sie als Gattin. Frau Grünwald gab seinem Drängen nach, umsomehr, als Intendant Baron Perfall ihr sagte: „Es ist besser, eine Fürstin zu sein, als eine Rachel zu werden.“ Und

---

Endlich noch das letzte Gefecht; da hieb er drei von den kleinen, wilden Kerlen nieder, und eben wollte er das Gewehr wieder heben, da kam ihm der Gedanke: Warum bist Du eigentlich noch nicht draufgegangen? Hm, das ist doch sehr merkwürdig!

Und just jetzt fuhr ein Schlag nieder und traf ihn auf den Kopf. Da fiel er ganz ruhig aufs Gesicht und dachte nichts mehr. Als er erwachte, glaubte er am Ufer des Flusses zu liegen und eine Kugel im Kopfe zu haben. Aber da er aß und trank, konnte es nicht so schlimm sein. Und der Schnaps mundete ihm sogar besser als früher. Er wurde entlassen, und das wunderte ihn sehr, denn die Anderen, die mit ihm zogen, hatten entweder Fuß oder Hand verloren, oder Leides.

So kam der arme russische Soldat zurück in seine Heimat, in sein trübseliges Dorf, und was hinter ihm lag, das war Mord und Kampf, und was vor ihm stand, das war Arbeit und Sorge. Er wußte nicht, daß er in den Augen von so Vielen ein Held war, der für's Vaterland gekämpft hatte, und ebensowenig wußte er, daß ein Dichter seines Volkes ihn thöricht nannte, weil er gemordet hatte, ohne zu wissen warum.

Einige Stunden von seinem Dorfe traf er einen Bauer, der ihn nicht erkannte. Aber er nannte ihn beim Namen und sie gingen jetzt eine Strecke miteinander. Ob denn das wahr sei, daß diese Japaner Teufel wären, die beliebig unter die Erde sinken oder in der Luft verschwinden könnten? Das war seine erste Frage. Lange ließ er sich davon erzählen, dann sprach er von den Vorgängen im Dorf. Zwei Familien waren davongezogen und der Herr habe auch fremde Knechte im Dienst. Dann daß sein Weib todt sei und seine Hütte anderweitig verpachtet — aber das müsse er ja schon wissen. Nichts wußte er, gar nichts. Aber das kleine Weib war ja sehr schwach gewesen und habe stark gehustet, da sei das doch nicht wunderzunehmen. — Und daß der Herr die Hütte an andere Feldarbeiter vergebe, das sei doch ganz selbstverständlich. Der Bauer fragte sehr viel, besonders nach den übrigen Burschen vom Dorf. Da konnte ihm der Soldat nicht genug erzählen. Der Eine war todt, der mit ihm beim Fluß gestanden war und nicht auf den Feind achtete, weil er immer nach Hause wollte, zu seinem Weib. Da lachte der Bauer und erzählte von dem ältesten Sohn des Grundherrn, der oft die junge Frau besuchte und sie stets fragte, was sie von ihrem Mann für Nachrichten bekomme. Von den anderen Männern, die der Bauer kannte, die aus dem Dorf und aus der Umgebung waren, wußte der Soldat nichts. Möglich, daß sie todt waren, möglich, daß sie im Spital lagen, möglich, daß sie ein Kreuz für ihre Tapferkeit bekommen hatten. Und wie lange es wohl dauern würde? Der Soldat hatte gehört, unter zehn Jahren dürfe es nicht zu Ende sein. Da nickte der Bauer oft mit dem Kopf und sagte, er habe das auch gehört.

Sie trennten sich dann, denn der Bauer ging abseits und der Soldat schritt nach seinem Dorf. Er marschirte an seinem Haus vorbei, aber er sah gar nicht nach der Thür, denn er wußte ja, daß er dort nichts mehr zu suchen hatte. Aber in das kleine Häuschen seines Freundes trat er, nachdem er fürsorglich den Staub von den großen lehmigen Stiefeln geschüttelt hatte. Da saß die hübsche Witwe und hatte ein kleines Kind an der Brust. Als er sagte, wer er sei, nickte sie ihm zu und fragte nach ihrem Gatten. Das Kind sah mit großen Augen nach dem fremden Mann, die Mutter aber lallte ein paar Töne, um das Kind wieder zu beruhigen. „Todt ist er,“ sagte die Frau, „das hat mir der Herr immer gesagt, von Zehnen kommt nur Einer zurück und dann ist's ein Wunder.“

Der Soldat legte den heiligen Iwan auf den Tisch und entschuldigte sich, daß er die Geldstücke ausgegeben und die Zwiebeln verzehrt habe. Die Frau sagte nur: „Es ist gut,“ und dann sprach sie freundlich mit dem Kind, das nicht trinken wollte. Der Soldat zog weiter. Ein weißer Hund mit hängenden Ohren kroch winselnd auf der Dorfstraße. Der erkannte ihn. Er eilte auf ihn zu und schnappte nach ihm. Der Soldat sah kurz auf das Thier, der Hund roch abscheulich, er mußte krank sein. Und da er nicht vom Schnappen lassen wollte, traf ihn der Mann mit dem schweren Absatz hart auf den Kopf, und nun lag er, ohne sich zu rühren, in einer Pfütze.

Der Soldat zog nach dem Herrengebäude, um mit dem Verwalter wegen einer Beschäftigung zur Zeit der Frühsaat zu sprechen.

das junge Mädchen zog nach Athen und wurde Fürstin. Aber die Zeit dieser Ehe ist ihr in trauriger Erinnerung, und sie bittet mich, über dieses Thema rasch hinwegzugehen. — Frau Grünwald hat weite Reisen unternommen, Ihre interessantesten Studien machte sie in Konstantinopel. Als Bekannte Osman Paschas kam sie in die ersten Kreise und bummelte durch die Harems, die sie sehr anziehend zu schildern vermag. Sie nennt die Türkinnen moralisch und klug und bedauert nur die geringen Sprachkenntnisse der vornehmen Haremsfrau. Die Türkin macht mit Vorliebe Besuche bei Freundinnen: auf der Straße ist sie nur in der vorgeschriebenen Tracht zu sehen, in den Frauengemächern aber gibt sie sich in pariserischer Toilette von erlesenem Geschmack. Die Tochter Osman Paschas, eine wunderschöne Frau, deren schleierlose Photographie mir Frau Grünwald im Album zeigt, ist übrigens längst schon so emancipirt, daß sie, wenn ihr Gatte Besuch hat, sich ganz europäisch mit unverhülltem Gesicht zeigt. Frau Grünwald hat in ihrem Salon die Gesandten, den Großvezier und als gelegentlichen Besucher den König Alexander von Serbien kennen gelernt. Alle waren vom Charme der Türkin entzückt; es mußte aber in Konstantinopel geheimgehalten werden, daß die Tochter Osman Paschas so civilisirt war.

Wir kommen auf die Wiener Mode, und Frau Grünwald zeigt mir ein Ehrendiplom von der Musik- und Theaterausstellung, eine goldene Medaille und eine Reihe von Broschüren. Sie hat das Reformkleid schon vor vierzehn Jahren erfonnen und das Wort: „Es gibt keine Uniform in der Frauenkleidung!" stammt von ihr. — Das secessionistische Kleid hat sie erfunden und die Mode, die man an ihr oft spöttelnd bemerkte, ist heute die anerkannte. Von dem Toiletteverständniß der Wienerin hat Frau Grünwald keine hohe Meinung, sie nennt sie eine sklavische Nachbeterin der Pariserin, die geduldig harrt, bis eine Mode Sanction erhält. Auf der Bühne läßt sie nur eine einzige Schauspielerin mit Geschmack gelten: die Odilon. Frau Grünwald will schon vor zwölf oder vierzehn Jahren auf einem Ball der Stadt Wien ein Reformkleid getragen haben, sie hält diese individuelle Mode für die wichtigste, aber ein Mieder muß sein. Und pfadfinderisch war sie auch als Dichterin. Ihr „Gretchen von heute" nenne ich eine Vorläuferin der Vera-Literatur. Aber sie fertigt mich gleich ab: „Sie urtheilen zu rasch, Sie vergessen an den Dichter: „In die Tiefe mußt Du steigen!" — Keinen Vergleich mit Vera. Sie ist Dichterin und nicht Nachahmerin. In liebenswürdigster Weise händigt sie mir ihre gesammelten Werke ein. Erst wenn ich sie gelesen habe, bin ich genügend in die Tiefe gestiegen. Max Nordau hat sich über sie in begeistertster Form ausgesprochen, des leichen Brandes und viele andere Dichter erkannten sie als zur Zunft gehörig. Aber diese Arbeiten waren nur Vorläufer. Zur Zeit hat sie sechs dramatische Arbeiten unter der Feder, sie werden auf Wiener Bühnen kommen und dann wird man erst den reinen Eindruck von Frau Grünwald haben. Vorwurf: Reform auf allen Gebieten, besonders auf dem der Ehe. Sie sagt: „Ich hätte das schon längst schreiben sollen, denn es muß mir von der Seele, aber ich habe leider zehn Jahre für Herrn Grünwald die Bücher und Correspondenzen geführt und da blieb mir keine Zeit. Aber mehr noch als der Beruf der Schriftstellerin hätte mich der der Schauspielerin erfüllt, doch dazu ist's leider zu spät."

Frau Grünwald zeigt mir das Bild eines schönen Mannes auf der Staffelei, sie sagt: „Das war der Einzige, den ich geliebt habe von Kindheit an, den ich bis zum heutigen Tag liebe, obwohl er nun schon lange todt ist. Aber wir konnten nicht zu einander kommen, unsere Neigung war nur seelisch, und diese Liebe machte mich zur Dichterin. Er war der Sohn eines der größten Männer Ungarns, sein Bild lebt ewig in meinem Herzen, und in seiner Nähe möchte ich begraben werden." Dann erzählt sie mir die wunderbare Geschichte, wie ihre Tochter ganz dem geliebten Manne gleicht, wie sie durch ein Spiel der Natur die Züge des Todten trägt. Und ich neige mein Haupt und sage: Also hat der Herr Geheimrath Goethe doch recht gehabt."

Frau Grünwald kommt wieder auf die Männer. Sie ist eine gute Mutter und wird genau darauf achten, daß ihre Tochter keinen kränklichen oder abgelebten Gatten bekommt, sie denkt an die Zukunft, an die Race. Geld braucht er keines, ihr Schwiegersohn, aber ein Mann muß er sein und sie wird sich auch seine Sippschaft erst ansehen, ehe sie zustimmt. Die Dame ist Landwirthin und sie gibt mir ein Beispiel aus dieser Branche, der ich kann es leider nicht wiedererzählen.

Im Empfangssalon sitzt ein schönes, volles, junges Mädchen vor einer prachtvollen Harfe. Das sieht wunderhübsch aus, wenn sie mit den runden Armen über die Saiten streift. Und die Töne, gut gemeistert, klingen wie Liebesseufzer durch den Raum. Ich glaube nicht, daß die junge Dame warten wird, bis Mama den Mann der Theorie gefunden haben wird.

A. D.-G.

Zu Purzel's Regierungsjubiläum.

(Die Tannhäuser-Parodie und ihr Componist. — Bei Anna Grobecker. — Die Dichterin und der Componist des „Vergißmeinnicht". — Suppé und der Musikverleger. — Aus den Regierungsanfängen des Landgrafen Purzel. — Die Trinkmesse in der Rothenthurmstraße. — „Die schöne Helena" als Trauergenius. — Anna Grobecker als Hausmutter. — Die Contraste des Theaterlebens.)

Seine lustige Majestät, Landgraf Purzel, erlebt heute die wohl von keinem anderen Kronenträger in den Gebieten der Musikparodie erreichte Huldigung, auf derselben Bühne, auf der er zum erstenmale die Sängerkriegsgefährten des „Tannhäuser" grüßte, sein fünfzigjähriges Jubiläum gefeiert zu sehen. Ein halbes Jahrhundert — das bedeutet für ein parodistisches Werk, wenn es sich auch noch so sehr an eine andere Unsterblichkeit anlehnt, doch immerhin ein gut Stückchen eigener, selbständiger, von dem Ruhme des parodirten Originals unabhängiger Unsterblichkeit. Ob der Wagner-Tannhäuser längst schon selbst aus der „Zukunftsmusik" für den ausgereiften Wagner-Begriff eher Vergangenheitsmusik geworden — die Parodie behauptet heute noch ihr Gegenwartsrecht, und ihr Componist, weiland der flottlebige Karl Binder mit dem Künstler- und auch dem Zecherzug der „Boheme" wäre vielleicht der Einzige gewesen, der sich als Deutscher auch an die Freiheiten des Offenbach'schen Göttergesindels hätte heranmachen können. Suppé hat wohl mit seiner „Schönen Galathee" auch nicht übel Aehnliches getroffen — erstens aber hatte er nicht deutsches, sondern welsches Blut in den Adern und dann stak ihm trotzdem eine gute Dosis wahrhaftig deutscher Sentimentalität im Blut, daß es ihn bei dem „absolut Frivolen" in der Musik nicht recht litt. So ganz ohne Anhauch davon, wie in der Tannhäuser-Parodie, das hätte ihm eine Ueberwindung gekostet. Mit welcher Passion dieser „Welsche" gerade nach einfachsten deutschen „Gemüthspoesien" griff, um sie zu „vertonen"!

Dieser Tage eben kam bei Anna Grobecker, welche die vorige Woche in Wien zugebracht hat, die Rede darauf. Die muntere Greisin, die es gar nicht so komisch unfaßbar zu finden braucht, daß sie dereinst das „kleine Schreiberlein Friquet" gewesen, hat nämlich auch zu den Textdichtern Suppé's gehört. Er hatte sie einmal, in solcher Anwandlung der Lust am deutschen Liede, gefragt, ob sie nichts Passendes für ihn wisse und sie hatte die Courage zusammengefaßt, ihn zu fragen, ob er etwas von ihr selbst componiren wolle? Sie hatte ihm darauf das Gedicht „Vergißmeinnicht" gebracht, und dieses gefiel ihm so, daß er, obwohl man sich just zur „Jause" setzen wollte, in sein Zimmer zum Clavier ging und, ehe noch die Frauen die erste Schale Kaffee absolvirt hatten, mit dem fertigen Liede herauskam, das eine so enorme Popularität erlangte. Zur schmerzlichen Ueberraschung eines bekannten deutschen Musikverlegers, der sich zuerst um das Lied beworben, es aber nach Durchsicht desselben höflich abgelehnt hatte, weil er sich keinen Erfolg davon versprach — nicht so viel, die Verlagskosten zu decken. Als ein Anderer dann mit dem „Vergißmeinnicht" ein kleines Vermögen profitirt hatte, dann freilich schmeckte das Nachsehen und die Reue bitter genug. Was auch zum Capitel von den „Sachverständigen" und „Fachmännern" gehört. Freilich, allzustark hätte sich Suppé über den Mann nicht lustig machen dürfen, wenn damals schon seine „Fatinitza" existirt hätte. Denn als diese einstudirt wurde, wollte der Componist eine Nummer weglassen, oder wenigstens umarbeiten, die ihm durchaus mißfiel und ihn einen üblen Ausgang befürchten ließ. Nur Jauner's entschiedene Einsprache rettete die von dem eigenen Urheber beinahe schon zu den Todten geworfene Nummer, die keine andere war, als — der „Fatinitza"-Marsch.

Noch am Tage vor dem Purzel-Jubiläum mußte die 75jährige Grobecker, Unwohlseins wegen, in ihre heimatliche Ruhe nach Althofen zurück. Sie hätte sonst gewiß bei dieser Gedenkaufführung nicht gefehlt, die ihr alte Wiener Erinnerung von dazumal vor Augen bringen mußte. Wie lebendig wurde im Gespräche mit ihr das Alles, diese „Tannhäuser"-, diese Nestroy-, diese Treumann- und allererste Offenbach-Zeit, von deren künstlerischer Gemeinde nur sie noch übrig geblieben ist und die hier lebende Emma Zöllner, die herzige Volksstückspielerin, der eine böse Bühnenfee nur eine Gabe aus der Wiege wegescamotirt hatte, die Gabe des Gesanges, mit der sie unbedingt erstrangig für die Volks- und Operettenbühne geworden wäre. Von der ersten „Tannhäuser"-Besetzung ist ja nicht der kleinste Chorist mehr vorhanden, der von diesem Glanze komischer Scenenkunst als Mitbetheiligter sprechen könnte. Welcher Witz nur in den Decorationen und welcher Jubel des Publicums über die stumme Lustigkeit der Grottenwände des Venusberges und der Sängerhalle der Wartburg! Der erste Eindruck des Hirtenknaben Knaack, Purzel-Nestron's in seinem „farbenkönig-lichen" Aufzug,*) des abendsternlich melancholischen, dickbäuchigen Grois-Dreschenbach, Karl Treumann's in Tannhäuser's Ritterwams und Pilgermantel, und der grotesken Brauneder-Schäfer mit dem sich über die ganze Bühnenlänge hinwindenden tragischen Strickstrumpfe der Elisabeth! In ein paar Tagen war Wien durchschwirrt von geflügelten „Tannhäuser"-Worten. Jene große „ewige Wahrheit", die Tannhäuser im Venusberg ausspricht, als das hinabdringende Gebrülle des irdischen Rindviehs seine Sehnsucht nach der Erde und den Menschen wieder weckt: „O, welche Ochsen gibt es auf der Erde!" Der hervorquellende Neid des Landgrafen, da ihm der Tannhäuser von den sündigen Wonnen des Venusbergs Kunde gibt: „Unserans kommt zu so was nie!" Seine plastische Ausdrucksweise beim Ansichtigwerden des Deserteurs aus dem Venusberg: „Hier liegt ein Wanderer spazieren." Ja, nicht blos „geflügelte Worte", sondern auch „geflügelte Geberden" gingen sofort in den Besitzstand des gesellschaftlichen Verkehrs über. So die ungemein beredte, das Gesammtresultat sittencommissioneller Erhebungen in sich schließende Drohung mit dem Finger, womit der Landgraf die zwischen ihren beiden Kindern einherschreitende Norma empfängt — das Drohen mit dem Finger bei zweideutiger Situation gehörte alsbald zu dem ABC der Wiener Geberdensprache. Offenbach's „Orpheus in der Unterwelt", der etwa fünf Jahre später kam und worin Nestroy mit dem Jupiter das heidnische Seitenstück zu seinem christlichen Purzel schuf — die Parodie der Mythologie zur Parodie der Legende — hatte bei seiner ersten Aufführung keineswegs die elektrische Momentwirkung des „Tannhäuser". Die Wiener mußten hier erst „auf den G'schmack'n kommen", wie sie sagen, während die „Tannhäuser"-Parodie auf den ersten Blick ihnen einleuchtete und mit dem erstmaligen Hören sich ihrer bemächtigte. Drum ist diese Gedenkaufführung etwas wie ein theatergeschichtliches Datum, wenigstens für die Geschichte der Parodien, die kaum ein Beispiel von gleicher Langlebigkeit aufzuweisen hätte. Nur um zwei Tage früher hätte die Namenstagsfeier des Componisten — Karl — zugleich damit begangen werden können. Er liebte diesen Tag zu feiern, aber nicht mit Theateraufführungen, sondern anderwärts mit guten Freunden, oder auch nur mit einem, wie es Suppé war, in irgend einer gemüthlichen Trinknische einer anheimelnden Weinstube. Die Geheimchronik so einer Trinknische, einer der gemüthlichsten, der Schneider'schen in der Rothenthurmstraße, wo sich jetzt ungemüthlicher Schaufensterprunk breit macht, weiß von einer solchen Namenstagsfeier zu erzählen. Da waren die Zwei am Tage des heiligen Carolus um die neunte Morgenstunde hineingekommen, zu einem Namenstagstrunk, und am nächsten Morgen zur selbigen Stunde saßen sie noch immer alldorten — — —

Nicht zur Purzel-Feier aber, nicht zu diesem fröhlichen Act einer „Weihe des Hauses", worin sie zur Künstlerin geworden und als Gewordene sich des Theaterruhmbesitzes gefreut hatte, war die Grobecker diesmal nach Wien gekommen, die Pietät künstlerischer Kameradschaft hatte sie hiehergeführt — bei der Enthüllung des Grabdenkmals ihrer Freundin Geistinger wollte sie sein. Auch ein theatergeschichtliches Datum, wenn man will, diese Enthüllung und mehr noch die Aufrichtung gerade dieses Denkmals. Gibt's da oben in den olympischen Höhen auch so etwas wie eine Künstlerkneipe und sitzen zufällig gerade Offenbach und Karl Binder in einer Trinknische beim Nectar beisammen, so mögen sie sich weidlich erlustigen an den gar seltenen und kaum erhofften Ehren, die ihnen gleichzeitig beinahe in diesem humorgesegneten Wien zutheil geworden. Denn nicht nur zur Zustandebringung so einer halbhundertjährigen Unsterblichkeit einer Musikburleske gehört eine Anhänglichkeit des Humors — etwas von solcher burlesker und parodirender Treue des Humors steckt auch in dem Einfall, die verwegenste Gestalt verwegensten musikalischen Bühnenwitzes — wie es ja doch die „Schöne Helena" ist — in die doch nur mit ehrfürchtigem Schauer zu betretenden Grabesbilderreihen eines Friedhofes hineinzupostiren. Die „Schöne Helena" als „Trauergenius" — das Schweigen des Grabes durchbricht ein silberhelles Lachen, das offenbar von unten durch die Sargesdeckel heraufklingt. Die „Schöne Helena" da unten mag's auch nicht wenig erlustigen, daß sie da oben als Grabesfigur melancholische Empfindungen rege machen soll. Und diese schalkhaften „Metamorphosen des Todes" gehen so weit, daß sich die kecke Poesie wohl der keckften Scene dieser sündigsten aller Offenbachiaden, der Traumscene, in todesphilosophische Grabespoesie umwandelt. In den Steinkranz des Denkmals sind die Worte der „Schönen Helena" aus jener mit der Sünde poetisch spielenden Decolletirungsscene eingemeißelt: „Es war ein Traum, ein süßer, schöner Traum." Das will an dieser Stelle wohl nur besagen, daß das stolzeste Künstlerleben mit allem Schönen, was es der Welt bietet, nichts als ein schöner, süßer Traum ist — aber die Gedanken sind nun doch einmal von dem Urbegriffe der „Schönen Helena" nicht wegzubringen und die weichen weit ab von Grabestrauer und ehrfürchtigem Grabesschauer. Ein einfaches Weib, das als Neugierige aus einiger Entfernung die Enthüllungsfeier mitangesehen hatte, hörte man fragen: „Ich bitt', nit wahr, dös ist die schöne Helena, die Figur — ich bitt', hat sie unten das Gewand auch hinaufgeschlitzt, wie auf'm Theater?" Die Frage war eine charakteristische Illustration.

Ganz unbemerkt war Anna Grobecker in der Schaar der Trauerfeiergäste gestanden und in keiner „Liste der Anwesenden" ist sie genannt worden. „Es hat mich vermuthlich Niemand gekannt," sagt sie im Tone einer selbstverständlichen Anspruchslosigkeit, in die sich auch nicht ein Hauch von dem häufigen „Unvergeßlichkeits"wahne gewesener „Lieblinge" mischt. Wie Louise Neumann, hat auch sie von dem Momente an, als sie dem Theater entsagte — das sind nun beinahe schon 34 Jahre — gründlich und auf Lebenszeit allem Wunsche entsagt, sich der Welt weiter bemerkbar zu machen. Umso bemerkenswerther ist das bei ihr, weil sie der Passion für's Theater selbst treu geblieben ist und als „Präsidentin des Verschönerungsvereines von Althofen" alljährlich für den Hilfsfonds desselben Dilettantenvorstellungen arrangirt, bei denen sie selbst aber nur als Lehrerin und Regisseurin mitthut. Sie ist ganz und gar „Bürgerin und Mitbürgerin" geworden und — Hausmutter vor Allem, auch ohne eigene Kinder gehabt zu haben. Das Schicksal hat ihr Ersatz dafür geboten, indem es ihr vor langen Jahren schon die vier gänzlich verwaisten Kinder ihrer verstorbenen Schwester zuwies, deren jüngstes damals sechs Jahre alt war. Sie hat mit aller Muttersorge ihrer gewartet und hat dafür erfreulichen Lohn in „Ziehmutterfreuden" gefunden. Bei ihrer diesmaligen Anwesenheit in Wien gerade hat der Augenblick ihr eine solche „Mutterfreude" beschert, als zwei von diesen Schwesterkindern sich ihr präsentirten, zwei Hauptleute erster Classe vom jüngsten Avancement, der eine beim Generalstab, der andere beim Geniecorps.

Wenn das Leben an und für sich schon sich in Contrasten und Ueberraschungen gefällt, in umso grelleren das Theaterleben. Das „kleine Schreiberlein" findet sein Altersglück in der Bemutterung ausgewachsener Hauptleute, die „schöne Helena" verklärt sich zum „Trauergenius" und verlegt die Scene aus ihrem lockenden Boudoir in die Ruhegemächer des Todes, und ein Musikscherz, den wohl der Componist selbst nur für einen flüchtigen nahm, gedeiht zu Purzel's fünfzigjährigjährigem Regierungsjubiläum.

S. S.

*) Dieses erste Tannhäuser-Costüm Nestroy's befindet sich im Besitze Girardi's, der es unter seinen Theaterreliquien aufbewahrt.

Die Vorgänge in Innsbruck.

(Original-Bericht des „Neuen Wiener Journal".)

Die Aufregung der deutschen Bevölkerung Innsbrucks hält an, und auch der gestrige Tag brachte wieder eine Reihe von ernsten Demonstrationen.

Die Centralregierung steht auf dem Standpunkte, eine Sistirung der italienischen Rechtsfacultät nicht vorzunehmen. Gestern fand im Ministerium des Innern ein Ministerrath statt, in welchem die nothwendigen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Ordnung erörtert wurden. Hierauf begab sich Ministerpräsident Dr. v. Koerber zum Kaiser, um dem Monarchen ausführlichen Bericht zu erstatten und um die Ermächtigung zur Ausführung der Beschlüsse des Ministerrathes einzuholen. Später erschien der Ministerpräsident nochmals beim Kaiser. Die Regierung wird — wie erwähnt — die italienische Rechtsfacultät nicht sistiren und vorläufig nur jene Vorkehrungen in Angriff nehmen, die zur Aufrechterhaltung der Ordnung und der Ruhe sich als nothwendig erweisen. Uebrigens kann vorläufig der Beschluß der Regierung, von einer Sistirung der Facultät abzusehen, nur von theoretischer Bedeutung sein, da sich der größte Theil der italienischen Hörer in Haft befindet und andererseits durch die vollständige Devastirung des Gebäudes, in welchem sich die Facultät befand, ohnedies eine Abhaltung der Vorlesungen unmöglich erscheint.

In den deutschen Kreisen Innsbrucks wird erklärt, daß man gesonnen ist, falls die italienische Facultät in Innsbruck belassen werden sollte, sie neuerlich zu demoliren. Obgleich die gestrige Nacht, der man mit Bangen entgegengesehen hatte, ruhig verlief, ist die Situation noch immer ernst genug. Gestern Mittags kam es neuerlich zu einer ernsten Demonstration, die die Gendarmerie veranlaßte, die Demonstranten mit gefälltem Bajonette zu zerstreuen.

Im Nachstehenden die Telegramme über die letzten Vorfallenheiten:

Der Ministerpräsident an Bürgermeister Greil.

Innsbruck, 5. November.

Der Ministerpräsident Dr. v. Koerber hat an den Bürgermeister von Innsbruck folgendes Telegramm gerichtet:

„Ich beklage tief nicht nur die Opfer, sondern auch die Excesse selbst, deren Schauplatz die sonst so friedliche Stadt geworden ist und halte es für die erste Pflicht der Regierung, vor Allem die volle Ruhe wieder herzustellen. Ich rechne dabei auf die Mitwirkung des Gemeinderathes wie auch auf die Einsicht aller besonnenen Bewohner."

Pflanzenstück.

Der Veilchenfresser — Lorbeerbaum und Bettelstab
Die Kameliendame — Rosenmontag — Narciß
Die Blumenmary und Das bemooste Haupt.

Militärstücke:

Ihr Korporal — Die Uhlanen — Husarenblut
Zwei Mann von Heß — Die Deutschmeister
Die Tochter des Regiments — Der lustige Krieg
Das Garnisonsmädl — Der wilde Rittmeister
Zapfenstreich — Der Major auf Urlaub
Die Dragoner und Der Pumpmayor.

Bekleidungsstücke:

Die rote Robe — Rosa Dominos — Der letzte Knopf
Letzte Masken — Mein neuer Hut — Das grobe Hemd
Der schwarze Schleier — Samt und Seide
Drei Paar Schuhe und Der Biberpelz.

Farbenstücke.

Weiße Dame — Schwarze Domino — Rosa Domino
Im grünen Baum zur Nachtigall — Blaubart
Rote Robe und Violetta.

Italienische Geographie.

Karneval in Rom — Nacht in Venedig — Pfingsten in Florenz
Braut von Messina — Fiesko, Verschwörung zu Genua
Stumme von Portici — Fechter von Ravenna
Sänger von Palermo — Geigenmacher von Cremona
und Julian von Tarent.

Familientitel.

Vater der Debutantin — Mutter Sorge — Bruder Martin
Onkel Toni — Er und seine Schwester — Familie Schimek
Zärtliche Verwandte — O diese Schwiegermutter
Tochter des Herrn Fabrizius — Die Herren Söhne
Leontinens Ehemänner — Kinder der Exzellenz
Ein Rabenvater — Die Geschwister
Seine offizielle Frau und Sohn der Wildnis.

Zahlenstücke:

Man lebt ja nur einmal — Zwei Mann von Heß
Die dritte Eskadron — Das vierte Gebot — Das fünfte Rad
Der sechste Sinn — Die sieben Schwaben — Alle Neune!
Zehn Mädchen in Uniform — Das elfte Gebot
300 Tage — s' Nullerl und Halbe Menschen.

Titel schmähenden Inhalts.

Die Vagabunden — Die Landstreicher — Die Räuber
Die Lügnerin — Der Heiratsschwindler — Tartuffe
Der Dieb — Lumpengesindel — Der Meineidbauer
ferner Die Politiker.

Schlafstücke.

Ein Traum, ein Leben — Des Löwen Erwachen — Traumulus
Gute Nacht, Herr Pantalon — Nachtlager von Granada
Nach Mitternacht — Nachtasyl — Der Schlafwagenkontrollor
und die meisten Novitäten dieser Saison.

Robert.

Wiener Originale.

V.

Baron Hans v. Zois.

Vor zwölf und fünfzehn Jahren sah ich ihn schon, wenn ich ehrfurchtsvoll beim Café Griensteidl vorüberschritt: die bizarre Unregelmäßigkeit seines Gesichtes, das knabenhaft unbeholfene Gehaben und die hungrige Hast, mit der er sein Butterbrot verzehrte, ließen ihn mir als großen Künstler erscheinen. Neben sich hatte er stets Notenblätter liegen, und während drinnen gelärmt, gespielt und diskutiert wurde, bedeckte er die Blätter mit Notenzeichen, hob leise die Hand, spitzte die Vogellippen und strich dann die Mähne zurück. Diese Art des Schaffens vor aller Welt war für uns das sicherste Kennzeichen des Genies.

Und nun ist das Kaffeehaus längst in Staub versunken, die Jungen von damals sind zu Männern geworden und die Männer zu Alten. Könnten sie heute noch mit dem gleichen Feuergeist zusammentreffen, sie würden wie damals versprechen, die Welt aus den Angeln zu heben, die Komponisten den Mozart, die Dichter den Schiller, die Maler den Rubens. Sie würden wieder „im Begriffe" sein, Unsterbliches von sich zu geben, und wären so unvermögend, so grenzenlos arm wie einst.

Nun habe ich ihn vor wenigen Tagen wieder gesehen, den Baron Zois vom Griensteidl. Und ich wunderte mich nicht wenig, daß er noch immer knabenhaft und bizarr aussieht und die gleiche Künstlermähne trägt. Fast scheint es, daß die Zeit an ihm spurlos verflogen ist. Und es sind ja fünfzehn Jahre seither, und der Baron muß hoch in den Vierzig sein! Aber diese bartlosen Gesichter sind in der Nähe schrecklich anzusehen, da gewahrt man verdreifacht die Wucht der Zeichen, die die Jahre gegraben haben, die Not und der Kummer, und da sieht man auch die Spuren der Stiefelabsätze von Menschen, die ihn übertreten haben und dann weiterzogen.

Da ich dem Baron davon spreche, daß er — auf den ersten Blick — wenig verändert erscheint, sagt er: „Ich weiß es, wenn ich auf der Straße gehe, bleiben die Leute noch immer stehen und flüstern sich zu: „Das ist der Narr, der Komponist, ich weiß nur nicht, wie er heißt!"

Er hat viele Wunden erlitten, der arme Hans v. Zois, es ist ihm nichts erspart geblieben an Bitterkeiten, die das Leben zu vergeben hat. Rastlos schreitet er weiter und nur zeitweilig, wenn ein Griff mißlingt, wird er zum Verzweifelten. Dann glaubt er talentlos zu sein und will das Leben von sich abschütteln. Aber das hat er auch verwunden, Frau und Kind zuliebe, die ihm vertrauen. — Seine Werke wurden verspottet, sein freiherrlicher Titel gab Anlaß zu Ulken, seinem Charakter heftete man unverzeihliche Schwächen an, und selbst den Tod würde man ihm nicht glauben, denn zweimal schon hieß es, er sei gestorben, einmal, als er im Kaffeehaus bei der Nachricht vom Tode seiner Mutter in Ohnmacht fiel, und ein zweitesmal, als ihn ein schwerer Nervenfall auf der Stelle niederwarf.

Hans v. Zois ist ein ernster Musiker. Opern und Operetten, die seiner Hand entstammen, gaben davon Zeugnis, und in seinen Liedern hat er die Anerkennung großer Meister und berufener Kritiker gefunden. Damit könnte er beruhigt verhungern. Und ein wahres Wunder ist es, daß er noch nicht verhungert ist. Die Theaterdirektoren sagen ihm: „Es ist nichts Modernes, was Sie schreiben, das Publikum will Flüssiges."

Und die Verleger sagen: „Geld ist jetzt sehr knapp. Wenn Sie aber einmal einen Bühnenerfolg gehabt haben, dann steht ihnen unsere Kassel zur Verfügung." — Aber Zois hat einen Mäcen gefunden, einen großherzigen Menschen, der nie mit einer schlechten Sache zu vereinen war: Johannes von Liechtenstein. Seit vielen Jahren gewährt der Fürst dem Componisten eine Unterstützung, die vollkommen ausreicht, ihn vor Brotsorgen zu bewahren. Das gibt ihm die Existenzmöglichkeit.

Seine Wohnung zeigt eine gewisse phantastische Bequemlichkeit. Zois muß weder Lorbeer noch Büste in seinem Heim entbehren und hier im Familienkreise gewinnt er an Sicherheit, seine heisere Stimme wird heller, das wirre Spiel der Finger hört auf und in das harte, häßliche Gesicht kommt ein Zug von Zärtlichkeit. Es ist nur ein schlechtes Leihklavier, auf dem er komponiert, aber Zois ist ganz beglückt von dem Behagen, das dieses Heim ausströmt. Er hat's ja lange genug schlechter gehabt.

Nun erzählt er mir von einem Gespräch mit Hugo Wolf im Café Griensteidl. Wolf wollte von Gelderwerb, von Anerkennung des Publikums nichts wissen. Diese Dinge schienen ihm nebensächlich, nicht vergleichbar mit der Arbeit aus innerer Ueberzeugung. Aber Zois folgte ihm nicht. Er entschuldigt sich, daß er Opern und Operetten komponierte, daß er Verleger sucht und konzertieren will; daß er noch lebt, während der große Wolf tot ist. In der Zeit, da Baron Zois bei Kräften ist und Ruhe von den Nerven hat, ist er von großem Fleiß. Von seinen Werken wurden „Colombine" im Carl-Theater aufgeführt. „Der Diamant des Königs", die „Jakobiner" und andre. Die Oper „Der Venetianer" wurde in Graz gesungen und nun sind „Die wilden Frauen" fertig, die Oper „Salamanca" und das Ballett „Erlkönig". Aber seine Stärke ist in Liedern, sein sehnsüchtigster Wunsch ist es, im Ausland durchzudringen. Dem Erfolg in Wien hat er entsagt.

In jungen Jahren hat Zois begonnen; seine erste Komposition reicht in sein sechstes Lebensjahr zurück. Am Konservatorium lernte er unter dem alten Hellmesberger und rühmt die strenge Zucht und die gute Schule. Dann lernte er Franz Liszt kennen. Eine junge Dame führte ihn beim Meister ein, der spielte vierhändig mit ihm, hatte große Freude an den Kompositionen des jungen Mannes und schrieb ihm: „Sie haben ein seltenes Talent; es ist Pflicht, dieses Talent auszubilden." Brahms, dem Zois vorspielte, sagte ihm auch freundliche Worte: „Ihre Sachen stecken zwar noch in den Kinderschuhen aber es ist das Zeug dazu da. Ich werde zu Ihnen schon noch Kollege sagen." — Herrn Massenet besuchte Zois im Hotel Sacher; der Franzose war sehr liebenswürdig und billigte es sofort, daß Hans v. Zois in Paris seine weitere Ausbildung suche. Auch wollte der Maëstro ihn persönlich in die Schule nehmen. Wieviel man dazu an Geld brauche, um in Paris zu lernen und zu leben? „Fünfhundert Franks monatlich," sagte Massenet. Das ging aber nicht, denn der steirische Landtag hatte Herrn v. Zois zu diesem Zweck im Ganzen zweihundert Gulden bewilligt.

Baron Zois möchte gern eine Kunstreise in Deutschland unternehmen, er hat sogar schon einen Impresario. Dieser besteht aber auf zweitausend Kronen, um für das erste Konzert gedeckt zu sein. Zois haftet nach dieser Summe, denn er verspricht sich viel von dieser Tournee, aber er hat keine Aussicht. Ein aristokratischer Salon, der sich seiner annimmt, veranlaßte kürzlich sogar einen Appell an das Publikum. Ich glaube, es wäre viel besser gewesen, wenn die Herrschaften diese Summe aus Eigenem beigestellt hätten. Wahre Kunstfreudigkeit zeigt sich nicht nur im Lancieren von Zeitungsartikeln.

Der Baron spricht hoffnungsfreudig von der Zukunft. Er ist nämlich Majoratsherr und wird dereinst fürstlich leben können. Aber ich glaube nicht an diese Güter und Schlösser. Es gibt zu viele freundliche Herren in und um Wien, die einen künftigen Erben vor Hunger schützen und ihm zu bequemlichem Leben verhelfen, wenn er Aussichten hat. Das Majorat liegt im Monde. — Auch hofft Zois einmal mit einer Operette Glück zu haben. Er hat davon gehört, daß man in diesem Genre viel verdienen kann. Ihm selbst ist es bisher freilich nicht geglückt. Und er will's auch nicht machen wie die Modernen: „Fledermaus" und die Offenbachschen Werke sind ihm Leitmotive. Ueber sein ernstes Streben haben ihm Hanslick, Speidel und Kienzl viel Lob gespendet und darum will er kein andrer werden, denn der rechte Pfad ist es, wenn auch nicht der des Erfolges.

Baron Zois ist glücklich im Familienkreis. Seine Frau singt seine Lieder, und sein kleines Mädchen gibt den Takt. „Das ist der Grund," sagt er manchmal, „daß ich nicht Hugo Wolfs Rat befolgen kann: Lieber zu Grunde gehen, als haarbreit von der eignen Individualität etwas abgeben."

Es sind viele Klaviere in dem Haus; aus verschlossenen Fenstern dringt der Walzerrhythmus und frische, fröhliche Mädchenstimmen singen den Text. Hans v. Zois nennen sie im Umkreis den „narrischen Toni". Er macht sich nichts daraus, er hat sich mit dieser Liebenswürdigkeit abgefunden. Sie haben Ludwig II. als Narren erklärt, weil er sich in Wagners Musik eingesponnen hat, und sie sagten von Nietzsche, der von Schmerzen gequält aufschrie: „Das Wetter wird sich ändern, der Professor brüllt". — Sie haben darum das unbestrittene Recht, irgend einem armen Teufel von hoher Begabung die Tatsache klar zu machen, daß es auch eine Tragödie der persönlichen Erscheinung gibt.

A. D.-G.

„Der ..." und „Die ...".

(Wiener Blut und Pariser Blut. — „Der" und „Die" hier und dort. — Tewele in Berlin und in Wien. — Das „Reinmenschliche" im Theatertratsch. — Das Geheimnis des alten Burgtheaters. — Das Carl-Theater als „geschlossene Gesellschaft". — Girardi und sein Couplet. — Der neueste Wohltätigkeitskult. — Girardi und Kainz. — Die Verphilisterten. — Girardi auf der Tramway. — Was der Niese zur Gallmeyer fehlt. — Kainz als „Familienstück". — Die „Meblmesserin" vom Burgtheater. — Der Baumeister von einstens. — Gallmeyer-Worte. — Die protokollierten Witzfirmen. — Wenn Nestroy kein Schauspieler gewesen wäre. — Die Wiener Spezialität.)

Kaum in einer andren Theaterstadt üben „Der ..." und „Die ..." dermaßen die beherrschende Macht ihrer Persönlichkeit aus, konzentrieren in sich alles Interesse der jeweiligen theatralischen Darbietungen und schieben sich, oder werden vielmehr von dem Publikum geschoben, vor die Autoren, literarische und musikalische hin, die hinter ihnen verschwinden. „Der ..." und „Die ..." — ihre Namen wechseln mit dem Wechsel der Zeiten und der Bühnen, auch die Etikette, die sie führen — Tragöde oder Komiker, Heroine oder Possensoubrette — aber das Bezeichnende ihrer Erscheinung bleibt, daß sie nämlich dem Theaterinteresse ihre persönlichste Note geben. Einen „Der ..." oder eine „Die ..." hat Wien immer gehabt und auch immer haben müssen, manchmal auch die zwei gleichzeitig, um sich so recht für das Theater zu interessieren, einen „Liebling", den zu sehen und zu hören man sich drängen mochte und von dem man sich wohl auch außerhalb des Theaters und der Theaterstunden unterhalten konnte. Kam da mitunter ein bißchen ein Skandälchen hinzu, das die Unterhaltung aufmischte, desto besser — so was erhöht ja das „künstlerische" Interesse. Nur dem, ja ohnehin mannigfach verwandten „Pariser Blut" ist das „Wiener Blut" darin vergleichbar — auch Paris hat wohl zu jeder Zeit seine „Lieblinge" vom Theater gehabt, nicht bloß zum Bühnen-, sondern auch zum Privatgebrauch, nicht bloß, um die Kritiker, sondern auch die Tageschronik zu beschäftigen. Dabei aber hat es die unvergleichbar weitere, reichere und buntere Gestaltung des Pariser Gesellschaftslebens mit sich gebracht, daß der Bedarf für die Tagesunterhaltung, für die Gier nach Pikanterien nicht ausschließlich vom Theater hergeholt werden mußte, daß jede gesellschaftliche Sphäre Erscheinungen liefert, die imstande sind, das Tagesgespräch von „Tout-Paris" zu beherrschen. In Wien haben von jeher beinahe ausschließlich „Der ..." und „Die ..." dazu herhalten müssen. In unsrer Zeit hat es allerdings etwas nachgelassen, das „Auge der Oeffentlichkeit" begleitet den Schauspieler denn doch nicht gar so sehr auf Schritt und Tritt bis ins innerste Lebenskämmerlein hinein — aber es ist noch immer genug davon geblieben, um Wien, in dieser Beziehung wenigstens, oder, wenn man schmeichlerischer sein will, auch in dieser Beziehung, den Rang der „ersten deutschen Theaterstadt" zu sichern.

Ob's den Bühnenkünstlern so oder so lieber ist? Ob sie es für angenehmer und wünschenswerter halten, in beständiger Sicht zu sein, oder in der Menge unbemerkt seiner Wege ziehen zu können? Ich erinnere mich eines Wortes von Tewele aus der Zeit seines Berliner Engagements: „Ich fühle mich hier ganz anders als in Wien," sagte er, „denn man kümmert sich hier um uns Schauspieler außer dem Theater nicht mehr, als um jeden andren Menschen, den man persönlich kennt, oder nicht kennt. Wenn ich in Wien in der fernsten Vorstadt gegangen bin, habe ich sehen müssen, wie Leute nach mir zeigen und hab' gehört: „Da geht der Tewele." Hier in Berlin kann ich am hellen Mittag Unter den Linden gehen und keine Katz' schaut nach mir." Das war damals gewiß ganz ehrlich gesagt, wohliger aber wurde es ihm doch, als er dann wieder in dem lieben Wien herumging, und er ließ es sich mit ganz behaglicher Resignation gefallen, wenn er auf der Straße sagen hörte: „Da geht der Tewele" und wenn die stereotypen Späße über seine Nase sich wieder meldeten. Und mehr oder weniger ergeht's jedem, wenn er recht aufrichtig gegen sich selbst sein will. Aber Unrecht täte man doch, wenn man so was auf die alleinige Rechnung der, sich nur in verhätschelnder Umschmeichlung wohlfühlenden, Künstlereitelkeit setzen wollte — es ist auch ein gut Stück allgemein menschlichen, gar nicht zu mißachtenden Empfindens dabei? Ist's denn nicht jedem recht, den einen und den andern Brummbären und sauertöpfischen Gesellen abgerechnet, wenn man sich um ihn kümmert und ganz fremde Personen ihm Interesse bezeugen? Selbst in dem sogenannten „Theaterklatsch", wo es sich um die „Lieblinge" dreht, steckt ein guter Beisatz von neugieriger wirklicher Teilnahme an ihrer Lebensführung und ihren Tagesschicksalen. Darin lag ja zum meisten Teil das Geheimnis der Familientraulichkeit zwischen Publikum und Schauspielern des alten Burgtheaters — man gehörte auch außer dem Theater einigermaßen zusammen, es war wie ein geschlossener Kreis, der alle umfing. Es hat auch für den Zusammenhang von Bühne und Zuschauerraum seine Vorteile, wenn sich derartige Vertraulichkeitsbande hinüber und herüber spannen und der Erzielung immer Wirkungen, die auf verständnisvoll raschem Erfassen der Nuance beruhen, kommt es wohl zustatten. Das erwies sich im Burgtheater nicht allein, wo die Bestände solcher Intimitäten in der Zeit von langen Jahrzehnten sich hatten heranbilden können — sondern überraschender noch im Carl-Theater unter Karl Treumann, Ascher, Jauner, wo in nur beinahe so vielen Jahren sich Aehnliches herausgestaltet hatte. Ein Theater der Stammgäste war da geworden, die sich mit denen auf der Bühne oben völlig als eine geschlossene Gesellschaft zusammenfühlten und so kam's, daß der einfachste „Gesellschaftsspaß" verfing, während sonst zwischen einem solchen und der Wirkungsfähigkeit des Bühnenscherzes ein himmelweiter Unterschied ist.

Wir haben ja seit vier Wochen etwas Aehnliches vor uns in der Sensationswirkung, die Girardi im „Garnisonsmädel" mit dem, ja doch auch nur den Charakter des „Gesellschaftsscherzes" tragenden Coupletrefrain: „Was sagen Sie zu meiner Frau?" erreicht hat. Alle Welt im Theater, die Autoren mit eingeschlossen, waren darüber einig, daß einen Effekt dieses Grades zu erzielen nur einem Komiker gelingen konnte, der mit seinem Publikum so ineinander gewachsen ist, daß er von jedem einzelnen gewissermaßen als persönlicher lieber Bekannter betrachtet wird, mit dem zusammenzutreffen man sich freut, weil es da immer allerlei Kurzweil gibt. Auf solchen persönlichsten Zusammenhängen zwischen „Lieblingen" und Publikum, wie sie nur in Wien dermaßen zu treffen sind, beruht ja auch der neueste Wohltätigkeitskult, der in Vorbereitung ist: die Nebeneinanderstellung von Girardi und Kainz im szenischen Rahmen, der physiognomische Aehnlichkeitsscherz, für parodistische Allotria verwertet. Seitdem Kainz in Wien ist, jagten schon die Wohltätigkeitsimpresarii nach dieser „Sensationsnummer", der sich aber eine Kontraktsklausel wehrend entgegenstellte — diese Klausel untersagte es nämlich Kainz, sich in den „Wohltätigkeitsstrudel" zu stürzen, um seine Kraft ganz und gar für seine kontraktlichen Verpflichtungen zu konservieren. Erst der zähen Beharrlichkeit der Patronesse der Vereines für Eisenbahnbeamtentöchter, der Schwester des Eisenbahnministers, gelang es, die feindliche Klausel für den einen Fall zu beseitigen. Und so werden denn die Wiener ihren Spaß daran haben können, Girardi als Hamlet und Kainz in einer kleinen Girardi-Szene zu sehen. Ein Ulkpflänzlein, das eben den Wiener Boden braucht.

Da haben wir also die „Der ..." und „Die ..." nach dem Theaterherzensbedürfnisse der Wiener. „Der Kainz" — „der Girardi" — „die Niese". Nur das zeigt von dem Wechsel der Zeiten und mit ihnen auch der Menschen, daß im Grunde sehr wenig Anlaß gegeben ist, sich mit all den „Der" und „Die" außer dem Theater „lohnend" zu beschäftigen. Sie selbst lassen es sich gar so wenig angelegen sein, die Stofflieferungen für das Stadtgespräch zu besorgen. Sie „verphilistern"

stand vielfacher Diskussionen, und manche davon, wie insbesondere der Erlaß vom Jahre 1887 über die Restriktion der Mittelschulen, welcher von den Tschechen lebhaft bekämpft wurde, wurden vom Unterrichtsminister selbst im Laufe der Zeit wieder rückgängig gemacht. Im Jahre 1889 war Dr. v. Gautsch in den Freiherrnstand erhoben worden. Aufsehen erregte seine Haltung gegenüber dem klerikalen Ansturme bezüglich des Erlasses des Bezirksschulrates im dritten Wiener Bezirke in der Kreuzzeichenfrage und seine im Laufe der verschiedenen Budgetdebatten abgegebenen Erklärungen über den nationalen Besitzstand in der Schule. Gautsch war während seiner ganzen Ministerlaufbahn bemüht, jeden Konflikt mit der klerikalen Partei zu vermeiden und den Wünschen derselben nicht unzugänglich, wie namentlich die von ihm im Herrenhause eingebrachte Schulnovelle bewies, deren Erledigung durch den Sturz des Ministeriums Taaffe vereitelt wurde. Dagegen setzte er allzuweitgehenden klerikalen und nationalen Forderungen passiven Widerstand entgegen. Von den Tschechen wurde er lange Zeit wegen des Mittelschulerlasses heftig angefeindet. Den Slowenen gegenüber zeigte er sich willfährig und setzte für sie das Cillier Gymnasium durch. Nach seiner Enthebung vom Ministerium wurde Baron Gautsch am 14. Dezember 1893 zum Kurator des Theresianums ernannt und am 15. Jänner 1895 in Herrenhaus berufen, wo er sich der Mittelpartei anschloß. In dieser Stellung verblieb er jedoch nur während der Regierung des Kabinetts Kielmansegg. Am 30. September 1895 trat er neuerlich als Unterrichtsminister in das Kabinett Badeni ein. Am 27. Februar 1896 hielt er die Rede über die Zulassung von Frauen, die im Auslande das Doktorat erworben hatten, zur Nostrifikation, und durch Gestattung der Maturitätsprüfung für weibliche Kandidaten ermöglichte er die Zulassung derselben zu den Universitätsstudien. Im November 1896 vertrat er die Maßnahme der Verstaatlichung der Kollegiengelder an den Hochschulen anläßlich der Vorlagen über die Regelung der Professorengehalte. Am 28. November 1897 wurde Freiherr v. Gautsch als Nachfolger des Grafen Badeni zum Ministerpräsidenten ernannt und am 30. November war bereits sein Kabinett gebildet, dem unter anderen Dr. v. Koerber als Handelsminister angehörte. Eine der ersten Regierungshandlungen des Freiherrn v. Gautsch als Ministerpräsident war die Verhängung des Ausnahmszustandes über Prag. Da das Parlament bei seinem Amtsantritte nicht versammelt war, publizierte er die programmatische Erklärung seines Ministeriums in der halbamtlichen „Wiener Abendpost". Die wesentliche Stelle lautet: „Die aus der kaiserlichen Machtvollkommenheit berufene Regierung werde unter allen Umständen und mit allen Mitteln ihre Aufgabe erfüllen." Am 29. Dezember verfügte er die Schließung des Reichsrates, wodurch die Lex Falkenhayn hinfällig wurde. Am 24. Februar erschienen die neuen Sprachenverordnungen, die am 5. März veröffentlicht und am 15. März in Kraft traten. Die Gautschschen Sprachenverordnungen schränkten wohl teilweise die Badenischen Sprachenverordnungen ein, befriedigten aber weder die Tschechen noch die Deutschen, welch letztere die völlige Aufhebung auch dieser Verordnungen forderten. Dem Ministerium Gautsch war es gar nicht beschieden, sich dem Parlament vorzustellen, da es vor Zusammentritt des Reichsrates (am 10. März) schon am 5. März 1898 demissionierte. Die plötzliche Entlassung war eine große politische Ueberraschung und wurde zu mitternächtiger Stunde mittels offiziösen Communiqués der Presse mitgeteilt. Sein Sturz hing mit den Ausgleichsverhandlungen mit Ungarn und den Schwierigkeiten zusammen, die ihm der damalige ungarische Ministerpräsident Baron Banffy bereitete. Freiherr v. Gautsch war schließlich Präsident des Obersten Rechnungshofes.

Minister des Innern Artur Graf Bylandt-Rheidt.

Der neue Minister des Innern Artur Graf Bylandt-Rheidt ist ein Sohn des am 21. Februar 1891 verstorbenen ehemaligen Reichs-Kriegsministers gleichen Namens und der Sternkreuz-Ordensdame Gräfin Marie Bylandt-Rheidt, geborenen Gräfin von Harbuval, Chamaré genannt. Am 3. Februar 1854 in Prag geboren, trat Graf Bylandt-Rheidt nach Beendigung seiner juridischen Studien am 8. August 1876 bei der Statthalterei in Brünn als Konzeptspraktikant ein, wurde aber bereits am 14. August 1878 zur Dienstleistung ins Unterrichtsministerium berufen und am 21. Oktober zum Statthaltereikonzipisten ernannt. Am 20. Februar 1879 zum provisorischen Ministerialkonzipisten befördert, wurde er bereits am 9. Juni 1879 in dieser Eigenschaft definitiv ernannt. Am 2. Dezember desselben Jahres trat er in das Ministerium des Innern ein und rückte am 23. Oktober 1881 zum Sekretär in der Statthalterei in Brünn vor. Als solcher wurde er am 10. Dezember 1882 zum Leiter der Bezirkshauptmannschaft Gaya ernannt. Seine Ernennung zum Bezirkshauptmann ließ kaum ein Vierteljahr auf sich warten. Lenkte schon dieses ungewöhnlich rasche Avancement die öffentliche Aufmerksamkeit auf den jungen Grafen, so war dies umsomehr der Fall, als er schon nach relativ kurzer Dienstzeit ins Unterrichtsministerium berufen wurde. In raschem Schritte hat er die weiteren Stufen der Beamtenleiter erklommen: 1895 noch unter den Ministerialräten des Unterrichtsministeriums dem Dienstrange nach der Fünfte, hatte er bereits 1896 den Titel und Charakter eines Sektionschefs.

Im Ministerium Gautsch war Graf Bylandt bereits Ackerbauminister und im Ministerium Thun Unterrichtsminister. Graf Bylandt-Rheidt ist seit 29. Jänner 1883 mit der Gräfin Franziska von Saint-Genois verheiratet. Er ist als ein Mann von konservativer Gesinnung bekannt, ohne jedoch bisher politisch irgendwie hervorgetreten zu sein.

Der Leiter des Justizministeriums Dr. Klein.

Geheimer Rat Sektionschef Dr. Franz Klein vollendete im April 1904 sein 50. Lebensjahr. Er ist in Wien geboren und absolvierte auch hier seine juristischen Studien. Nach einjähriger gerichtlicher Praxis war er sieben Jahre lang Advokaturskonzipient, wurde dann Privatdozent an der Wiener juristischen Fakultät, später Direktor der Universitätskanzlei und trat dann ins Justizministerium ein, in dem er verhältnismäßig rasch Karriere machte. Als Verfasser zahlreicher rechtswissenschaftlicher Abhandlungen erwarb er sich einen geachteten Namen als Rechtsgelehrter. Bekannt ist seine hervorragende Betätigung bei der Schaffung der neuen Zivilprozeßordnung. Die Advokaten sahen lange Zeit in ihm einen erbitterten Gegner ihres Standes, doch trat nach einer Rede des damaligen Sektionschefs Klein im Parlament im Mai 1902, in der er seine loyale Gesinnung gegenüber dem Anwaltstande betonte, eine versöhnlichere Stimmung ein, die auch bei dem Kommers der Wiener Advokatenkammer im Jänner 1904 Ausdruck fand. Ihm galt als Schöpfer der Zivilprozeßreform ein Trinkspruch des Vizepräsidenten der Advokatenkammer. Der neue Leiter des Justizministeriums genießt den Ruf eines vorzüglichen Redners, dabei gilt er als ein überaus schneller Sprecher, dem nur gewandte Stenographen folgen können.

* * *

Das Handschreiben an Dr. v. Koerber.

Die heutige „Wiener Zeitung" veröffentlicht das folgende kaiserliche Handschreiben:

Lieber Dr. v. Koerber! Zu Meinem lebhaften Bedauern finde Ich Mich bestimmt, Ihrem durch ernste Gesundheitsrücksichten veranlaßten Ansuchen um Enthebung von Ihren dermaligen Funktionen zu willfahren.

Indem Ich Sie sonach von der Stelle Meines Ministerpräsidenten, sowie von der Leitung Meiner Ministerien des Innern und der Justiz in Gnaden enthebe, kann Ich nicht unterlassen, Ihnen für die ausgezeichneten Dienste, welche Sie in diesen Stellungen durch fast fünf Jahre in aufopfernder und hingebungsvoller Weise Mir und dem Staate geleistet haben, Meine volle Anerkennung und Meinen aufrichtigen Dank auszusprechen. Ich gebe zugleich der Hoffnung Ausdruck, auf Ihre ferneren Dienste auch in Hinkunft zählen zu können.

Wien, am 31. Dezember 1904.

Franz Joseph m. p.

Tagesneuigkeiten.

Der sprechende Kalender.

(Tägliche Lebensweisheit.)

Neujahr! Mit diesem Worte sind einige Vorstellungen untrennbar verbunden. So: Glückwünsche . . . Trinkgelder . . . Kalender . . . u. s. w. Seit der Kalenderstempel gefallen ist, hat die Kalenderproduktion namhaften Aufschwung genommen. Wenigstens quantitativ. Jeder bessere Gemischtwarenhändler schon schickt seinen Kunden einen mehr oder minder (meistens minder) schön ausgestatteten Abreißkalender ins Haus.

Diese Zeitanzeiger bieten zuweilen ziemlich reichen Inhalt. Nebst dem Datum und gewissenhaften Angaben über Sonne, Mond, historischen Erinnerungstagen ꝛc. findet sich als Randglosse auch ein Stück Lebensweisheit auf jedem einzelnen Blatte des Blockes angebracht. Der Sprichwort- und Zitatenschatz sind geplündert, um 365 — heuer waren es gar 366 — „goldene Worte" an die Wand hängen zu können.

Vielen mag's dabei ergehen, wie's mir erging. Erst schaut man die bescheidenen Zeilen überhaupt nicht an, dann wirft man hie und da einen spöttischen Blick auf die jeweilige Tagesweisheit des Datumblattes, später gewöhnt man sich daran und zum Schluß ist man schon fast neugierig, was der stumme Redner an der Wand für eine Parole ausgibt. Wenn man ein bißchen abergläubisch ist, schon gar.

Welche Gefühle da oft irgend ein Losungswort auslösen mag, läßt sich vorstellen. Einmal lag ich zu Bette. Influenza, Zahnschmerz und noch einige andere kleine Annehmlichkeiten hatten mich gleichzeitig überfallen. Dazu lag dringende Arbeit zu erledigen vor. Eine jener niedlichen Situationen, in denen man wirklich nicht weiß, wo einem der überdies schmerzende Kopf steht. Mein liebes Datumblatt aber kündet:

Der Leiden bester Arzt ist Arbeit.

Na, ich danke schön für den Doktor.

Als ich ein andermal — wieder war viel zu arbeiten — mich glücklich verschlafen hatte und zu sehr vorgerückter Stunde erst aufwachte, stand pünktlich im Kalender:

Morgenstund' hat Gold im Mund'l

Am niederträchtigsten benahm sich aber diese abreißbare Lebensweisheit an dem Tage, da ich eben einen Schwank vollendet hatte. Klar und deutlich stand zu lesen:

Wer schwankt, kann leicht fallen!

Mit ein wenig Phantasie kann man sich ausmalen, welch liebenswürdig aktuellen Wert diese harmlosen Abreißblättchen unter Umständen gewinnen können. Zum Beispiel:

Einer, der sich soeben bei der Auserwählten einen ausgiebigen Korb geholt hat, findet den Trost:

„Glücklich allein ist die Seele, die liebt!"

Ein zum Nachtdienst vom Schicksal verdammter Eisenbahnbeamter:

„Jeder Tag hat seine Plage und die Nacht hat ihre Lust!"

Ein russischer Feldherr nach einer Schlacht, die ihn zur eiligen Rückwärtskonzentrierung zwingt:

„Wer nicht lauft, gelangt nie ans Ziel!"

Ein armer russischer Soldat, der von der polnischen Grenze Marschorder nach Ostasien erhält:

„Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
Den schickt er in die weite Welt!"

Ein Wiener Fleischhauer, der auf dreißig Deka Fleisch siebzig Deka Zuwag gibt:

„Wer wagt, gewinnt!"

Ein Kaufmann, der am Ultimo vor großen Verbindlichkeiten steht:

„Ein jeder Wechsel schreckt den Glücklichen."

Ein derzeit in Amerika weilender ehemaliger Gerichtssekretär:

„Dem Helfer hilft der gute Mut,
Der Schwache stärkt und Wunder tut!"

Ein strebsamer Industrieller, der große Opfer gebracht hat, um kaiserlicher Rat zu werden, und nur den „Kommerzialrat" erhielt:

„Guter Rat ist teuer!"

Oskar Blumenthal am Tage seiner jüngsten Premiere:

„Besser ein lebendiger Hund als ein toter Löwe."

Ein ehrgeiziger Polizeibeamter an einem Tage, da noch (mangels glücklicher Zufälle) einige große Verbrecher unentdeckt waren:

„Vigilando ascendimus."
(„Durch Wachsamkeit steigen wir empor.")

* * *

Dr. v. Koerber in der Demissionsstunde:

„Allen Leuten recht getan,
Ist eine Kunst, die keiner kann!"

* * *

Die Parteien nach dem Abschied des Ministers Doktor Ernst v. Koerber:

„Das Schlimmste oft ist es in schweren Stunden,
Daß man den rechten Ernst nicht hat gefunden."

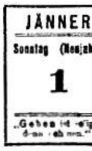
* * *

Die Parlamentsmitglieder vor jedem Sitzungstage:

„Wenn gute Reden sie begleiten,
So fließt die Arbeit munter fort."

* * *

Am heutigen Tage aber, wenn wir die Glückwünsche von 67 freundlichen Neujahrsgratulanten glücklich „saldiert" haben, wird es jeden freuen, wenn der stumme Weise an der Wand kündet:



Robert.

Wiener Originale.

VI.

Heinrich Eisenbach.

Er zählt zu den allerpopulärsten Köpfen, ist damit freilich auf gewisse Bezirke angewiesen, hat aber eine große Zahl von Lachern für sich. Und da Bürgertum wie hoher Adel ihm ihre Anerkennung nicht versagen, muß er verdientermaßen unter den originellen Figuren der Stadt seinen Platz finden. Ich finde ihn im Café Edison, wo er zu den Zierden der täglichen Stammgesellschaft gehört; er ist hier im vertrauten Freundeskreis, spielt seine Karambolpartie mit den Meistern des Faches und diese sind sehr erfreut, wenn er ihnen die Partie abgewinnt, denn „mit euch Herr Doktor zu spazieren, ist ehrenvoll und bringt Gewinn". Wenn man ihn ansieht, gewinnt man an Heiterkeit, denn die klassische Ruhe seines Gesichtes mit den hübschen beweglichen Augen und der eingedrückten Nase stimmt auch den Nüchternsten sonnig.

In einer Ecke vor einem Berg von Zeitungen spreche ich mit ihm über die bedeutenden Fragen seiner Kunst und der Kunst überhaupt. Herr Eisenbach, der Hauptrepräsentant der Budapester Orpheumkunst in Wien, ist ein denkender Schauspieler, der sich vom Augenblick nicht beirren läßt, sondern, mitten im Erfolg stehend, weiter denkt. Das ist sein Faible. Er ist trotz seiner überragenden Position nicht mit sich zufrieden, denn er weiß, daß Publikum und Presse seine Kunst nicht hoch genug schätzen, weil sie von einer eigenartigen Tribüne sich präsentiert. Und doch ist es seiner Ansicht nach die gleiche Komik, die von den großen Bühnen herab serviert wird, er würde sich's ohneweiters getrauen, im Carl-Theater oder im Theater an der Wien aufzutreten und die Lacher auf seiner Seite zu haben.

Er erzählte mir vom Anbeginn seiner Karriere. Er war Maler, dann führte ihn diese Kunst aufs Variété, wo er als Schnellzeichner und Clown die ersten mageren Lorbeeren errang. Durch Erkrankung eines ersten Schauspielers in Budapest bekam Eisenbach eine tragende Rolle und war nunmehr ein gemachter Mann. In Wien festigte die „Klabriaspartie" seine Position, er zählte zu den Stützen des Repertoires und nun wird er täglich von seinem Publikum so oft gerufen wie Kainz und Sonnenthal zusammen.

Was er am liebsten spielt?

Herr Eisenbach sagt: „Am liebsten spiele ich Individualitäten, Leute, die irgend einen Charakter haben, die wirklich existieren können. Darum konnte mich die Klabriaspartie nicht befriedigen, denn diese Gestalten sind willkürlich kombiniert, ein solches Kaffeehaus gibt es nicht, wie es in der Klabriaspartie geschildert wird, und solche Menschen würden nie in ein Kaffeehaus eingelassen werden." Auf meine schüchterne Bemerkung, daß die Klabriaspartie doch ein gutes Werk sei, schüttelt er lachend das Haupt und er hat recht, das muß er in der Tat besser verstehen.

Wie er mit seinem Publikum zufrieden ist? — Nicht ganz, o, sie verstehen ihn und begreifen ihn, aber er sagt: „Ich habe es mit feinen Scherzen versucht, mit aktuellen Späßen und politischen Dingen. Sie überhören alles, sie suchen die Zote, wollen die Zote, und wenn sie sie nicht finden, dann kombinieren sie Zoten, wo gar keine vorhanden sind." Immerhin nennt er das Wiener Publikum ein sehr kunstverständiges. Er urteilt in verächtlichster Weise über die Budapester, die ins Variété kommen ohne Verständnis für besseres Repertoire, denen auch ein Dienstmann gefällt, wenn er nur recht derb wirkt. Als Schauspieler leidet er sehr unter Nervositäten, es ist nur sein Ehrgeiz, der ihn immer ins Lampenfieber treibt, denn seines Publikums ist er sicher. „Ich müßte kein Wort von meiner Rolle erlernt haben," sagt Herr Eisenbach, „und hätte großen Erfolg." Die Lieblinge, die sich die Wiener erkoren haben, sind dauerhaft, ihnen kann nichts mehr Schaden bringen, da sie in der Gunst des Volkes festsitzen. Die Bühne ist für ihn lebenspendende Sonne. Er erzählt mir, daß alle Mißstimmungen schweigen, wenn er die Leute vor sich sieht, und er gewinnt auch vor dem Publikum erst jene Geistesgegenwart, die ihn so sehr auszeichnet. Im Leben trocken, ist er auf dem Brettel ein Held des Extempores. Vorher weiß er nichts zu sagen, aber auf der Bühne kommen die Ideen Blitz auf Blitz, er trifft immer das Richtige, und viele Possen sind erst durch seine am Abend eingefügten „Schlager" zu historischen Tatsachen geworden. — Nun kommt er aufs Couplet, da ist er sehr kritisch. Nicht alles, was auf dem Theater gefällt, behagt ihm, er liebt es, literarische Stoffe auszuwählen, denn wenn er ein Couplet bietet,

dann muß es was Außerordentliches sein. Seine stärkste Seite aber ist der Witz. Er erzählt mir über die Technik des vorzutragenden Scherzes folgendes: „Soll der Witz wirksam sein, dann muß er ganz ruhig, ohne Geste gebracht werden. Der Komiker, der sich durch die Heiterkeit des Publikums bewegen läßt, verzichtet auf den stärksten Teil der Wirkung. Das Wort muß deutlich sein und gemächlich vorgetragen werden, damit das Publikum Zeit hat, zu verstehen."

Er erzählt mir seine beiden besten Scherze, die Tausende von entzückten Zuschauern ergötzt haben, sie sind wirklich vorzüglich, aber mimischer Schwierigkeiten halber nicht wiederzugeben. Da ich ihn über Psychologie des Publikums befrage und Kontakt mit demselben, sagt er: „Ich und mein Publikum, wir verstehen uns seit Jahren, ich weiß genau, wann ich gefalle: immer. Unzählige Beweise sind mir zuteil geworden, daß die Leute oft nur meiner Nummer zuliebe ins Theater kommen und weggehen, wenn sie hören, daß ich mein Pensum absolviert habe. Das macht mich aber nicht eitel, als Regisseur unterordne ich mich dem gemeinen Wohl und nehme ganz gern die zweite oder dritte Partie, wenn sie meiner Individualität entspricht." Von der Qualität seines Publikums weiß er viel Rühmenswertes. Es befinden sich viele Aristokraten unter ihnen, die zu den Stammgästen gehören und die Logen füllen. Als stolzen Namen nennt er mir den „Herzog von Parma", der lauter als die übrigen lacht, wenn Herr Eisenbach in einer recht drastischen Figur draußen steht. Gesellschaftlich ist der Komiker mit seiner Position sehr zufrieden. Er kommt in die feinsten aristokratischen Familien, wird zum Souper geladen und hat das Prinzip, unter seine Mitwirkungstaxe von hundert Kronen niemals herunterzugehen. Handelt es sich um eine Wohltätigkeitsvorstellung, dann fühlt er sich mit dem Schauspielerstande identisch. Bei einer vorjährigen Vorstellung im Deutschen Volkstheater widmete er aus eigenem Antrieb sein Honorar der Pensionskasse dieses Instituts, da er erfuhr, daß das Fest zur Stärkung dieses Fonds veranstaltet wurde.

Von Künstlern, mit denen er im Kontakt steht, brachte ihm besonders Georg Engels viel Sympathie entgegen. Er erschien oft im Theater und beglückwünschte den Komiker zu seiner Darstellung. Zu seinen näheren Bekannten zählt er Tewele, für den er schwärmt, aber auch Reimers und Zeska kommen zu den Budapestern und klatschen Beifall, wenn Eisenbach erscheint. Dafür revanchiert er sich und verbringt seine dienstfreien Stunden im Burg- und Volkstheater. Oft schon dachte er daran, sich der Bühne ganz zuzuwenden, aber immer überlegte er sich's, denn ohne materielle Sicherung und erste Position könnte er nirgends verweilen. Die Amerikaner boten ihm für eine zweimonatliche Tournee zehntausend Dollars, er blieb im Lande, denn seine Kunst nährt ihn auch hier ganz redlich.

Er ist in seiner Mußestunde auch Sportsmann. Zu früher Morgenstunde besteigt er sein Reitpferd, galoppiert durch den Prater und kommt dann mit gelben Juchtenstiefeln, sporenklirrend ins Kaffeehaus. Die Leute bleiben auf der Straße stehen und einer sagt es dem anderen: „Das ist der Eisenbach, haben Sie ihn schon in „Me schießt" gesehen?" — Sein Reittier liebt er so sehr, daß er um das Pferd ein Stück schreiben ließ, in dem er sehr gefiel. Er sinnt immer nach neuen Ideen, nach Tricks und nach Figuren. Echte Menschen sucht er stets. „Das Genre muß ein bißchen literarisch sein," sagt er. So hatte ich den Eindruck, einen Künstler von Ambition kennen gelernt zu haben, der gewiß auch in einem anderen Rahmen seinen Platz ausgefüllt hätte. Seine Lieblingsstücke sind „Freund Fritzl" und „Das Modell". „Solche Stücke werden heute nicht mehr geschrieben," sagt er. Und mit diesem pessimistischen Ausspruch, der bezeichnend für den Niedergang in allen Zweigen der Literatur ist, empfahl ich mich von ihm und einer Dame in grüner Kravatte mit rosafarbenem Hutband, die als stumme Zuhörerin während unseres Gespräches an dem Tische Platz genommen hatte. Man mag über die „Klabriaspartie" und deren Folgestücke denken wie immer, es haben sie doch mehr Leute gesehen, als den „Götz", „Egmont" oder den „Wallenstein". A. D.-G.

Stammbaumkomödien.

(Das bürgerliche Geschäft mit den Stammbäumen. — Adelskomödien und bürgerliche Tantiemen. — Kadelburg und sein „Familientag". — Das dramatische „tägliche Brot". — Die übeltraktierten Aristokraten. — Dingelstedt und die Logengräfin. — Der „Pariser Taugenichts" auf dem Burgtheater. — Bauernfelds „Aus der Gesellschaft" und eine Kritik des Grafen Leo Thun. — Einiges vom fürstlichen Hause Liechtenstein. — Beleidigte Deputierte. — „Kabale und Liebe". — Die Stücke des alten Iffland. — Die „gemütliche" Adelskomödie. — Die „Liebe zum Volke". — Artikel II der Kremsierer Verfassung. — Die Bretter, welche nicht die Welt bedeuten.)

Alte Stammbäume, die mit kahlgewordenen Aesten in die neue Zeit hereinragen — in die alte neue Zeit schon, die mit der französischen Revolution anhub —, haben vielfach die üble Nachrede erfahren und argen Spott, daß sie ihre Kahlheit gern mit bürgerlichem Edelmetalle überziehen und aus den plebejischsten Geldtruhen heraus frisch vergolden lassen. Am liebsten und verzeihlichsten freilich durch kleine, feine, zierliche Mädchenhändchen, denen dafür ein schmaler Reif an das Ringfingerlein angesteckt wird — es haben aber mitunter geradeso recht derbprotzige, goldstrotzige Weiberfäuste das Geschäft besorgt. Dagegen muß nach Recht und Wahrheit desgleichen einbekannt und konstatiert werden, daß auch bürgerliche Kassen gar keine schlechten Geschäfte mit den alten Stammbäumen gemacht haben — zum Beispiel gleich, um auf unser Thema zu kommen, die Honorar- und Tantiemenkassen bürgerlicher Dramatiker.

Der neueste Beleg dafür befindet sich in den Einnahmsverzeichnissen Herrn Kadelburgs — Rubrum: „Der Familientag." Tantiemenstatistiker wollen ausgerechnet haben, daß, was an bisherigen Erträgnissen dieser gemütlichen Stammbaumpersiflage für den bühnenbehaglichen Autor bereits erzielt worden und was als so gut wie bereits „bar in der Kasse liegend" in nächste Aussicht zu stellen, eine Weihnachtsbescherung von etwa 80.000 Mark repräsentieren dürfte. Hat doch der Weihnachtstag den veröffentlichten Ausweisen nach dreißig oder vierzig gleichzeitige Premieren der, aus einem lockeren Verhältnisse Thalias mit Merkur entsprossenen, Komödie an den diversen Bühnen gebracht, so daß man wohl sagen könnte, daß, wenn mit dem 1. Jänner 1905 das Schiller-Jahr eintritt, sein Vorgänger 1904 mit dem Dezember als Kadelburg-Jahr geschlossen hat. Wobei ich mich aber ganz entschieden dagegen verwahre, als solle in diese Bemerkung irgend ein hämischer oder nörgelnder Akzent gelegt werden, eine hyperästhetisch krittelnde Minderschätzung des für die Theaterhauswirtschaft so sicher beihelfenden Autors und der Klasse der Theaterstücke, die er bedeutet und ohne die eine, an 300 Abenden im Jahre spielende Bühne einfach nicht existieren könnte. Man mag sich vom „höheren Standpunkte" über „Das weiße Rößl" lustig machen, wie man will, unbestrittene Tatsache ist es darum doch, und zwar eine, die ihre Berechtigung in sich und in der Menschennatur des lieben Publikums findet, daß das muntere Rößlein bei der Bespannung des Thespiskarrens dem „Pegasus" recht wackere und schwer zu entbehrende Beihilfe geleistet hat. Die Lieferanten des „täglichen dramatischen Brotes" sind nun einmal nicht zu missen — die Birch-Pfeiffers und Mosenthals waren in ihrer Zeit geradeso unentbehrlich, was auch von den literarischen Ketzerrichtern gegen sie gezetert und über die „Waise von Lowood" und „Die Grille", über „Deborah" und den „Sonnwendhof" an Schauffement geleistet wurde. Derjenige, der das am meisten zu würdigen verstand, war kein übler Kenner des Theaterbedarfes — Heinrich Laube.

Doch nicht um diese altbackene Theaterweisheitslehre geht es ja, sondern um das durch den „Familientag" angeregte Stammbaumthema und dessen dramatische Verwertung. Es ist da nämlich eine der interessantesten und für die lebenspraktische Bedeutung der Bühne lehrhaftesten Wahrnehmungen festzustellen, die einem anderen als Dogma völlig beglaubigten Theatersatze total widerspricht, dem Satze, daß „die Bretter die Welt bedeuten". Denn in der ganzen Wirklichkeitswelt zusammengenommen, alle parlamentarischen Deklamationen und alle gedruckten Expektorationen mit eingerechnet, hat der Adel schwerlich seit Menschengedenken so viele Grobheiten zu hören bekommen, wie auf dem Theater, Grobheiten feinsten und derbsten Kalibers, in sämtlichen Tonarten der Lustspielsatire, des Possenulkes oder der sentimentalen und pathetischen Rührstücksprache. Und was das Merkwürdigste, das Hoftheaterrepertoire hat da keine Ausnahme gemacht, das Logen-Blaublut ist nicht davor geschützt gewesen, sich auch da alle erdenklichen Unschmeichelhaftigkeiten ins Gesicht sagen zu lassen. Die alte Gräfin, die Logennachbarin Dingelstedts, brauchte nicht gar so überrascht entrüstet zu sein über die sardonische Abfertigung, die sie von dem Rücksichtslosen mit der verbindlichen Miene und dem einschmeichlerischen Hofmannstone erfuhr, als sie ihn bei der ersten Aufführung von Klapps „Rosenkranz und Güldenstern" ihre Bedenken gegen die Figur des Fürsten Liebenstein äußerte. Sie fand darin eine „Karikierung des Adels" — worauf Dingelstedt mit seiner unnachahmlichen Grazie des blutigen Spottes und einer tückischen Naivetät die Replik gab: „Wirklich, gnädigste Gräfin, diesen Eindruck macht's auf Sie? Und ich habe es für eine Idealisierung des Adels gehalten!" Wie gesagt, da hatten Logengräfinnen viel früherer Jahrzehnte, in der Zeit des Vormärz noch, da also gewiß kein Mensch noch daran dachte, an die Geburtsprivilegien, vor allem an das Privilegium des „untertänigsten Respekts" zu tasten, kurios stärkere Sachen von der Hoftheaterbühne herab zu hören bekommen.

Eine derbzüngigere, immerhin auch warmblütige und temperamentvolle, Losstürmerei gegen die „Hochgeborenen" ist wohl nicht leicht denkbar, als der „Pariser Taugenichts" sie bietet, die alte, von der napoleonischen Legende durchzuckte Boulevardkomödie des braven, kecken Burschen, der den gräflichen Betörer seiner Schwester samt dessen fürnehmer Sippe herzhaft abkanzelt. Das lustige Freskobild, das mehr als seine drei Vierteljahrhunderte hinter sich hat, ist auch der Theaterwelt von heute bekannt geblieben, weil es eine gar so prächtige „Hosenrolle" hat, die zuletzt von der Petri im Raimund-Theater gespielt wurde. Vor 67 Jahren aber, also in der „guten alten Zeit", wo die Einladungen zu öffentlichen Produktionen noch einem „hohen Adel und verehrten Publikum" gemacht wurden, hatte die robuste Proletarierkomödie ihre Premiere im „k. k. Hofburgtheater" vor besagtem hohen Adel, wurde da ein starkes Repertoirestück, mit der zeitweiligen Verschärfung auch noch, daß die den vornehmen Leuten zugeschleuderten Sottisen sogar einmal einen männlichen Sprecher hatten und nicht von den zarten Lippen einer „Hosenträgerin" kamen, was immerhin die Schroffheiten ein bißchen mildert, weil sie aus weiblichem Munde weicher und, vor allem, mit einem versöhnlicheren Beisatze von Komik klingen. Ein sehr ausgewachsener Herr Theodor Wagner, seines Zeichens „Naturbursche", spielte den zungenfertigen Jungen, der mit ganz gehöriger „Männlichkeit" das dramatische „Geburtsprivilegium" des jugendlichen Lustspielhelden ausübte, den „Privilegirten von Geburt" in Logen und Parkett die ausgiebigsten Saftigkeiten anzuhängen. Ein „hoher Adel" aber reagierte nicht im mindesten dagegen — weil die Geschichte ja nur in Paris spielte und nur den napoleonischen Adel anging.

Empfindlicher war man schon im „nachmärzlichen" Wien und im „neuen" Oesterreich gegen ein viel sachteres und in gewählterer Mundart sich abspielendes „Stammbaumstück" — Bauernfelds „Aus der Gesellschaft". Nicht der mindeste vehemente Angriff gegen die Geburtsaristokratie, alles fein manierlich — aber es wurde, von der einen Seite abwehrend, von der anderen, der bürgerlichen, entzückt akklamierend, ein Wesen daraus gemacht, als wäre damit irgend eine gewaltige Aktion schöpferischer Gesellschaftsreform in Szene gebracht worden. Wie man weiß, besteht die „soziale Kühnheit" des Schauspiels darin, daß eine Minister-Durchlaucht ein bürgerliches Gesellschaftsfräulein zur Frau Fürstin macht, trotz aller Ober- und Unterströmungen dagegen. Ein „Erzaristokrat" allerdings, kein anderer, als der „Konkordatsgraf" Leo Thun, ließ sich durch die wenig revolutionierende Bauernfeldsche „Gesellschaftsrevolution" durchaus nicht alterieren, sondern in seinem Organ, dem feudalklerikalen „Vaterland", nur die eine Folgerung daraus ziehen, daß der Dichter eine ganz unrichtige Kenntnis der aristokratischen Kreise, der österreichischen wenigstens, bekunde, weil die Vorgänge seines Stückes nicht derartige seien, in der wirklichen Blaublutsphäre eine dermaßen heftige Emotion zu erzeugen. Der gewiß rangesbewußte Zeitungsherausgeber hielt in seinem Redaktionszimmer auch eine Art mündlichen Lehrvortrages darüber, worin er als „Illustrationsfaktum" in Erinnerung brachte, daß schon mancher österreichische Kavalier eine Nichtebenbürtige geheiratet habe, ohne daß die aristokratische Welt darum aus den Fugen zu gehen gedroht habe. In der Tat hat ja auch, um nur ein Beispiel zu geben, eines der hervorragendsten österreichischen Fürstenhäuser, das der Liechtensteine, zwei „Mesalliancen" in seinen Familienregistern zu verzeichnen gehabt, beide mit Bühnenkünstlerinnen: Im Jahre 1848 wurde die Sängerin Sophie Löwe, die Nichte Ludwig Löwes, die Gattin des Fürsten Friedrich Liechtenstein; ein anderer Liechtenstein vermählte sich in den Siebzigerjahren mit der Wiener Hofschauspielerin Hedwig Stein, und beide Damen nahmen ihren Rang in der Gesellschaftssphäre der fürstlichen Gatten ein.

Der Name Liechtenstein erinnert dabei an eine Minutenepisode aus den Tagen der ersten Wiener Landtagswahlen nach Wiederherstellung des Verfassungslebens im Jahre 1861. Die Episode hat zwar mit dem Bühnenthema hier direkt nichts zu schaffen, steht aber doch in innigem Motivenzusammenhange mit demselben, weil die lebhafte Empfindlichkeit des Volkssinnes bei dem leisesten Konflikt mit dem Aristokratentum darin zum Ausdruck kam. In der Stadt wurde plötzlich das Gerede laut, ein Fürst Liechtenstein habe die neugewählten Wiener Deputierten beleidigt. Was war es? Auf der Ferdinandsbrücke, war erzählt worden, habe der Fürst eine Wählergruppe schmunzelnd, durchaus nicht geringschätzig, sondern mit einer vielleicht nicht am richtigen Platze angewendeten Jovialität der Wiener scherzweise gefragt: „Na, habt's schon eure fünf Lumperln gewählt?" Wie gesagt, taktvoll, auf Ort und Zeit und Stimmung bemessen, mochte die spaßige Erkundigung nicht gewesen sein, arg gemeint und eine übermütige Aeußerung bösartigen Kavaliershochmutes war sie in keinem Fall. Aber es brauchte eine Weile, bis die Erregung der Gemüter über das „Attentat" auf die Ehre der Volksvertretung sich gelegt hatte.

Die „historische" Anekdote soll eben nur als ein Beweis mehr dafür gelten, auf welche lebhafte Empfänglichkeit im „Volke", wozu hier auch die „Bourgeoisie" zu rechnen ist, die dramatischen Streif- und Feldzüge gegen die „Vorrechte" und „Vorurteile" des Adels zu zählen haben. Es war und ist eigentlich ein permanenter Bühnenkrieg, der in Deutschland sogar noch vor der französischen Revolution seinen Anfang nahm, so ziemlich gleichzeitig mit dem Aufflattern der revolutionären Lustspielschwalben des Beaumarchais in Paris. Denn Schillers „Kabale und Liebe" war doch der grimmigste Sturmangriff gegen die Despotismen der Adelsherrschaften. Und bei all ihrer Spießbürgerlichkeit sind Ifflands Schauspiele doch immer auch nur Auflehnungen gegen die Ungleichheit und die unnatürlichen Bevorzugungen der Klassen und Kasten. Eine Riesentheaterbibliothek ließe sich füllen einzig und allein mit den Stücken, in denen es gegen den Adel hergeht seit den anderthalb Jahrhunderten, welche die Geschichte des organischen deutschen Theaters umfassen.

Allerdings ist das „große Publikum" ebenso leicht für die „gemütlichen Ausgleiche" zu haben und wird bald gerührt, wenn sich ein „großer Herr" zum Volke „herabläßt". Der „demokratische Kavalier" ist darum eine ebenso erfolgssichere Gestalt, wie der karikierte und satirisierte. Da gab's im Theater an der Wien zum Beispiel im Jahre 1849, unter dem Belagerungszustande schon, ein trotzdem noch von scharfen Nachklängen der Revolutionsstimmungen durchzogenes Volksstück „Die Liebe zum Volke" von Elmar, worin Wilhelm Kunst, der sonstige „Ritterstuckspieler", im Frack erschien als Baron oder Graf „in den besten Jahren", der sich in ein „Mädchen aus dem Volke" verscharmeriert, mit der Kleinen auch liebelt und die Sache auch als nicht wahr behandeln möchte, von dem Bruder der Uriva aber, einem „Theaterzwillig" des „Pariser Taugenichts", zu tugendsamen Entschlüssen bekehrt wird, so daß er schließlich das Mädchen heiratet. Der letzte Trumpf des nach den damaligen Effektbegriffen konstruierten Stückes bestand nun darin, daß der stark „gereifte" Kavalier dem sechzehnjährigen Jungen die Hand hinstreckte mit den Worten: „Herr Schwager!" Darauf Beifallsdonner und diese Schlußszene zumeist machte die „gemütliche" Komödie zum Kassestück. Es wehte ja auch damals die politische Luft von Kremsier herüber, wo der dorthin verlegte Reichstag mit dem einmütigen Votum von Deutschen und Tschechen unter — Ladislaus Rieger's führendem Impulse, den zweiten Artikel des neuen Verfassungsentwurfes genehmigt hatte, womit Titel und Vorrechte des Adels als abgeschafft erklärt wurden. Rieger ist bekanntlich als Baron gestorben.

Allerdings spielt der Adel auf der Bühne auch genug „schöne Rollen" — es sollte hier nur, wie bemerkt, die interessante Wahrnehmung fixiert werden, daß der Adel auf der Bühne von jeher viel weniger geschont und gehätschelt wurde und Privilegien genoß — als in der Wirklichkeit des Lebens. Die Bretter also bedeuteten da nicht immer die Welt. S. S.

Stein.

Ein Tag in der Männer-Strafanstalt.

Von
Alfred **Deutsch-German.**

Der schwere Kerker. — Rund um die Strafhausmauer. — In der Einzelzelle. — Der Hochwald. — Der stille Maler. — Ein vergilbtes Bild. — In der Korrektion. — Gewalttäter und ihre Strafen. — Tabak und Karten. — Bei den „Hirschen" und in „Grad". — Geld im Strafhaus. — Nationalitätenstreit. — Was niemand zu entdecken vermag. — Die Aufseher. — Im Hof. — Ein furchtbarer Reigen. — Mörder oder Irrsinniger. — Allein in der Zelle. — Eine Szene im Spital. — Der Raubmörder Eichinger. — Ein Opfer seines Berufes. — Julius Cäsar im Gefängniß. — Die Bibliothek. — Bücher als Rettung vom Wahnsinn. — Ein Sprechzimmer für Menschen. — Sträflingspoesie. — Reformen.

Nun hab' ich ihn wirklich gesehen, den erbarmungslosen schweren Kerker, habe seine Schrecknisse auf mich wirken lassen, habe mir nichts erspart und das Gruseln pünktlich erlernt. Denn das ist ein ganz anderer Ort als Wiener-Neudorf; das stille, weltabgeschiedene Kloster mit den geduldigen frommen Frauen ist dem Blick entschwunden und die graue Mauer, die Leben unerbittlich von Leben scheidet, tritt in ihr Recht.

Als ich die Bahnstation in Krems verließ, zog vor mir ein Trupp von Männern, denen einige Gendarmen beigegeben waren. Es waren fröhliche Burschen, die militärisch Schritt hielten und den Vorübergehenden frech ins Gesicht schauten. Jeder trug irgend ein kleines Paket in der freien Hand, die andere hing schlaff nieder. Man muß aufmerksam hinsehen, um die Fesseln zu erkennen, mit denen sie aneinander gekettet waren. Ein kleiner Kerl, der hinkend in der letzten Reihe ging, suchte nach einer Melodie, es war nur wie ein heiseres Krächzen, aber der Soldat winkte ihm streng, und da schwieg er und beschleunigte das Tempo seines Schrittes.

Die Dienstmädchen öffneten rasch die Fenster, als die Galgenvögel vorüber kamen, und das Wort „Steinbrüderln" hörte ich zu verschiedenenmalen. Das quittierten die Verbrecher wie einen Ausdruck der Ehrung.

liehene doppeltgroße Salvator-Medaille. Auf die Anrede des Bürgermeisters Dr. Lueger erwiderte der Feldbischof unter anderem: „Seit 25 Jahren habe ich ununterbrochen meinen Wohnsitz in Wien; ich habe immer mit größtem Interesse die innere und äußere Ausgestaltung, den inneren und äußeren Fortschritt der Stadt Wien verfolgt. Wenn ich bemerkt habe, daß sie sich gedeihlich entwickelt, habe ich mich gefreut; wenn ich den Niedergang gesehen habe, habe ich mit allen Wohlgesinnten getrauert. In der letzten Zeit habe ich gejubelt über das Emporblühen, über die Ausgestaltung, über die Pracht und Herrlichkeit, die jedem in der Stadt Wien entgegentritt. Es ist das zum größten Teil Ihr Verdienst, Herr Bürgermeister, und das Verdienst Ihrer Parteigenossen. Diese äußere Pracht blendet mich jedoch weniger, vielmehr freue ich mich noch darüber, daß der Bürgersinn immer mehr zunimmt, daß auf Grundlage der christlichen Religion die Biederkeit, der bürgerliche Schaffungsgeist, die Arbeitsamkeit, das Streben, weiter zu schaffen, zur Ehre der Stadt immer mehr erstarkt. Ich wünsche Ihnen, Herr Bürgermeister, daß Sie noch recht lange an der Spitze der Stadt Wien stehen, daß es Ihnen vergönnt sei, das, was Sie begonnen, weiter auszubauen und zu vollenden. Möge die Stadt nicht bloß äußerlich sich immer mehr entwickeln, möge auch in der inneren Solidarität, im Bürgersinn, in der christlichen Gesinnung ein stets größerer Fortschritt wahrzunehmen sein. Zum Schluß überreichte der Bischof dem Bürgermeister Dr. Lueger 1000 Kronen für die Dr. Karl Lueger-Stiftung.

(Das historische Museum der Stadt Wien) bleibt heute (Sonntag) wegen der Vorbereitungen für den Ball der Stadt Wien geschlossen.

Tagesneuigkeiten.

Aus dem Familienleben.

Königliche Tagebuchblätter.

Brüssel, 1. Februar 1905.

Man sollte es nicht glauben, was man mit seinen Töchtern für ein Kreuz hat! Mit meiner ältesten, der Luiserl, bin ich doch seit Jahr und Tag böse. Die Sache ist ja bekannt — daß Sie ihrem Manne durchgegangen ist, hätte ich ihr verziehen. Das kommt ja in den besten Familien vor. Daß sie dann absolut nicht irrsinnig sein wollte, kann ich ihr auch nicht verdenken. Ich habe ja ein Herz für meine Kinder. Aber daß ich ihr Geld herauszahlen soll, ein angebliches Erbteil von meiner verblichenen Gattin, das geht denn doch über die königliche Hutschnur . . .

Und die Steffi glaubt auch, daß sie Ansprüche an meine Kasse zu stellen hat. Ich möchte mich ganz gern mit ihr aussöhnen, schon der Außenwelt wegen, aber die Sache ist mir zu teuer. Wenn sich die Steffi billig ausgleichen wollte . . . vielleicht . . . aber so, wo sie gleich zu Gericht läuft und mich einklagt . . . justament nicht. Es gibt noch königlich belgische Richter. Ich kann mich auf sie verlassen.

Die ganze Affäre ist mir recht peinlich gewesen. Der Wert der Brüsseler Spitzen der Gesellschaft wird durch solche Vorfälle keineswegs gehoben und der Export meiner landesväterlichen Erzeugnisse gehemmt.

Jetzt beginnt die Jüngste, die Tini, auch schon stützig zu werden. Ich habe ihr mit großen materiellen Opfern eine gediegene Erziehung zuteil werden lassen; sie hat Stenographieren, Maschinschreiben und doppelte Buchhaltung gelernt . . . ich habe sie als meine Privatsekretärin angestellt . . . sie kriegt 250 Franks monatlich . . . und jetzt macht mir das Mädel plötzlich Geschichten.

Ich habe das meiner Freundin Cleo geklagt. Sie meinte, daß Tini vielleicht verliebt ist. Das wäre wirklich zu dumm. Wenn ich denke, was so eine Heirat für Geld kostet . . die Ausstattung . . das Hochzeitsmahl . . dann gar noch die Mitgift! . ., wird mir ganz schlecht.

Na, wir werden ja sehen.

Brüssel, 3. Februar.

Cleo hat recht: Tini liebt. Sie ist ganz zerstreut, wenn ich ihr Briefe diktiere. Gestern schrieb sie „königliche Zivilliste“ mit kleinem Anfangsbuchstaben, während sie doch wissen muß, daß das ein Hauptwort ist. Bei mir besonders.

Tini hat auch einige Rechenfehler gemacht. Sie hat mein Privatkonto mit Ausgaben für den Kongostaat belastet. Sie könnte wirklich schon wissen, daß ich nur mit den Eingängen aus dem Kongostaate privat zu tun haben will, daß ich aber die Auslagen für meine lieben Kongoneger von meinen nicht minder lieben Belgiern einheben lasse. Das ist denn doch nationale Ehrensache! Meine Gerechtigkeitsliebe läßt es auch nicht anders zu. Weshalb sollen meine afrikanischen Untertanen etwas vor den europäischen voraus haben? Ich meine die schwarze Farbe. So ist es denn nur recht und für mich billig, daß die Belgier Steuern schwitzen, bis sie auch schwarz werden. Pereat mundus, fiat justitia!

Also, um auf Tinerl zurückzukommen, das Mädel ist verliebt. Bin gespannt, was da herauskommen wird. Eines steht fest. Ich kann sie nicht verhindern, zu heiraten, aber sie wird auf eines verzichten müssen: entweder auf meinen väterlichen Segen oder auf das mütterliche Erbteil!

Brüssel, 6. Februar.

Die Bombe ist geplatzt. Tini meldete sich heute in der Früh bei mir, als ich noch im Schlafzimmer war, zur Privataudienz an. Ich fühlte mich zwar noch ganz merode — ich hatte abends vorher bißchen in Paris gedreht, ein Fremder von Distinktion hatte alles gezahlt —, aber — mon Dieu — endlich mußte ich ja doch mit dem Kinde sprechen.

Klementine teilte mir also mit, daß sie sich verlobt hätte.

„Aber, Tinerl, du bist ja noch viel zu jung zum Heiraten —!“

„Ach, Papa, ich war ja schon vor vier Jahren . . . genau neunundzwanzig.“

Wie die Zeit vergeht! Mit der großen Jugend war also nichts zu machen.

„Wer ist dein Erwählter eigentlich?“

„Viktor Napoleon.“

„Die Familie Napoleon kenne ich! Die sind ganz parterre. Der letzte Chef der Firma hat ja vor ein paar Jahren Konkurs gemacht, wenn ich nicht irre. Bei Sedan . . . scheint es mir. Kind, das ist keine Partie für dich. Such' dir irgend einen aufrechten Geschäftsmann aus, aber so einen verkrachten Schwiegersohn will ich nicht.

„Aber Viktor liebt mich und ich ihn.“

„Das ist Nebensache. Uebrigens hat gerade Viktor Napoleon keinen besonderen Ruf. Er steht in Verbindung mit der Theaterwelt . . .“

„Pardon, Papa, du dürftest Viktor Napoleon mit Viktor Leon verwechseln . . .“

„Nein, nein . . ich meine schon den Pariser Prinzen. Nun . . du bist ja schon ein erwachsenes Mädchen . . .“

„Leider, leider, Papa . . .“

„Man kann dir also alles sagen. Viktor Napoleon hat ein Verhältnis . . . weißt du, was das ist?“

„O ja, Papa; so wie zum Beispiel: — — —“

„Mit einer kleinen Tänzerin, einer Balletteuse — —“

„So wie zum Beispiel: — — —“

„Laß mich doch ausreden. Er hat vier Kinder mit seiner Freundin — — —“

„Was will ich mehr . . .?“

„Du möchtest also mit einem Manne vor den Altar treten, der mit so losen Grundsätzen ausgerüstet ist?“

„Lassen wir das, teurer Papa, was gehen dich unsere Familienverhältnisse an. Du hast ja deine eigenen! . .“

„Aus den Augen, ungeratene Tochter. Du vergißt den Respekt, den mir jedes Kind schuldig bleiben muß! Nie und nimmer werde ich einwilligen, einen Viktor Napoleon Schwiegersohn zu nennen. Und ganz Europa wird mir recht geben, daß ich diese Mesalliance nicht zugeben darf.“

Klementine verließ mich nach dieser Entscheidung. Ich sandte sofort Briefe an alle Verwandte, daß sie sich gegen das Heiratsprojekt aussprechen mögen.

Brüssel, 12. Februar.

Aus Rom, aus Berlin, aus allen Hauptstädten antworten mir meine Verwandten, daß gegen die Heirat nichts einzuwenden sei. Man kann sich wirklich auf seine Verwandten nicht verlassen.

Ich wollte noch eine politische Affäre daraus machen, aber auch Loubet beißt nicht an. Er äußerte sich: „Viktor Napoleon tritt so wenig prätendentiös auf, daß er sich mit der Republik prächtig verträgt.“

Ich werde also die Ehe nicht verhindern können. Aber Rache ist süß! Ich lasse mich auf Zahlung der Mitgift einklagen. Wenn mich ein belgischer Richter respektwidrigerweise verurteilen sollte, dann bin ich imstande und lege einen Manifestationseid ab. Im schlimmsten Falle ziehe ich mich gänzlich vom Geschäft zurück und verbringe meine alten Tage im Kreise meiner diversen Lieben in Paris.

Ich fühle mich sowieso krank. Ich leide an Cleoptomanie.

Robert.

Wiener Originale.

VII.

Professor Max Lassen.

Sieht man auf der Straße einen kleinen, gutgenährten Herrn, mit breitem Umlegkragen und gut erhaltenem Pelz, mit besonderer Zuvorkommenheit den geschweiften Zylinderhut schwingen, dann ist es Professor Max Lassen. Sieht man in Konzerten einen Herrn, der nach Leibeskräften applaudiert und persönliche Bravos laut werden läßt, dann ist es wiederum Professor Max Lassen, und geht man auf Korsowegen über Ring- oder Kärntnerstraße, dann kann man ihn wieder treffen, den beliebten und bekannten Professor Max Lassen. Er tut aber auch etwas für seine Popularität. Ich glaube, es müssen einige Dutzend Schnellpressen damit beschäftigt sein, Kopien der Professor Lassenschen Konterfeis herzustellen. Das macht er aber nicht aus Eitelkeit, sondern nur zu dem Zwecke, um gewisse Unterschiede festzustellen. Doch davon soll der geneigte Leser später erfahren, bis ich ihn mit der interessanten Person des Herrn Professor Lassen näher vertraut gemacht habe.

Ich sah ihn sehr oft in unserem Bureau, wenn er den Konzertreferenten oder dessen Stellvertreter sprechen wollte, und sein interessanter Kopf, seine stark geprägten Züge haben mich immer sehr gefesselt. Auch weiß er sich sehr plastisch in Szene zu setzen. Seine Bilder zeigen ihn im Astrachanpelz, den er nur ungern ablegt; er paßt ihm aber auch vorzüglich, er gibt der ganzen Person etwas Künstlerisch-Fürstliches. So oft ich ihn sehe, denke ich: Was macht der Mann im Sommer?

Doch genug von Aeußerlichkeiten. Ich hatte unlängst das Vergnügen, ein Plauderstündchen mit dem Virtuosen und Komponisten zu verbringen und muß vorausschicken, daß ich niemals noch zu einem Porträt so viel gedrucktes Material herausgeliefert bekam als diesmal. Ein ganzer Pack von Zeitungen spricht von seinen erfolgreichen Konzerten, und eine Unmenge von Drucksorten künden seinen Ruhm, an denen nie die Bemerkung fehlt, daß ausführliche Biographien des Meisters in Dr. Ludwig Eisenbergs Künstler- und Schriftstellerlexikon, I. Band, Seite 303 und im internationalen Komponisten- und Tonkünstlerlexikon, Verlag Leipzig, enthalten sind. Professor Lassen hat sein fünfundzwanzigjähriges und sein vierzigjähriges Künstlerjubiläum mit Aplomb gefeiert. Ganz Wien stand bei dieser Gelegenheit auf dem Kopfe, und wer den Namen Lassen bislang nicht gekannt hatte, was doch eigentlich schwer anzunehmen ist, der mußte im Jubiläumsrummel die Popularität des Künstlers anerkennen.

Der kleine Herr mit dem bartlosen, scharf markierten Gesichte spricht sehr temperamentvoll von sich und seiner Vergangenheit. In zartem Alter galt er schon als Wunderkind und mit seinem zwölften Jahre unternahm er Tourneen in Begleitung seines Vaters, der das anerkannte Talent des Jungen in bares Geld umzuwandeln bemüht war. Weit in die Welt führten den kleinen Lassen diese Wanderzüge und sie brachten ihm die stärksten Triumphe. Lassen hat da einige hübsche Erinnerungen und ich verlasse mich auf sein Gedächtnis.

Er spielte vor dem Sultan Abdul Asis. Da er ein ganz kleiner und ausnehmend herziger Junge war, nahm der Großherr keinen Anstand, seine Damen zu dem Konzert zu laden. Sie erschienen alle tief verschleiert, klatschten aber, besonders nach den Mozart-Stücken, lebhaft Beifall und am begeistertsten war der Sultan selbst. Eine Brillantnadel war das sichtbare Zeichen seiner Huld. „Ein Orden wäre mir sicher gewesen, aber ich war dazu leider noch viel zu klein,“ sagte Professor Lassen.

In London war der kleine Virtuose zu einem Hofkonzert der Königin Viktoria geladen. Er bestritt damals fast das ganze Programm. Die Damen nahmen ihn auf den Schoß und reichten ihm Zuckerwerk und fanden es besonders komisch, daß der kleine Künstler, der mit den Füßchen nicht bis zur Erde reichte, einen Begleiter neben sich sitzen hatte, dem die Aufgabe zufiel, bei den wichtigen Stellen die Pedale zu treten.

Ein anderesmal war Lassen bei Napoleon III. in Paris zu Gaste. Der ganze Hofstaat nahm teil und der Prunk blendete das Kind. An den Herrscher hat er keine genauen Erinnerungen; er weiß nur, daß ihm nach Absolvierung seiner Piecen rauschender Beifall zuteil wurde.

In Wien wurde Anton Rubinstein der Lehrer Max Lassens. Der Künstler spielte damals dem großen Meister sein ganzes Repertoire vor, und Rubinstein wurde nun sein Führer und Förderer. Lassen nennt ihn den Gott des Klaviers und schildert in den begeistertsten Ausdrücken den großartigen Eindruck seines Spieles, seiner Tonfärbung, seiner elementar wirkenden Leidenschaft. Liszt, den Lassen in Weimar aufsuchte und dessen wunderbares Klavierspiel er gleichfalls rühmt, hatte auf ihn doch nicht den ungeheuren Einfluß, den Rubinstein auszuüben vermochte.

Von Wien zog Lassen nach Paris, um dort seine Vervollkommnung zu gewinnen. „Ich spielte schon in jungen Jahren im Musikleben der französischen Hauptstadt eine gewisse Rolle,“ sagte Professor Lassen. „Ich erhielt einen Napoleondor für die Stunde und hatte Verkehr mit all den Granden, vor allem mit Saint-Saëns, der wirklich ein Meister im Lisztschen Stil genannt werden kann. An der Pariser Musikakademie erhielt ich den Titel eines Professors der Musik. Durch Empfehlungen Rubinsteins hatte ich in der allerersten Gesellschaft Zutritt. Speziell die österreichische Kolonie nahm sich meiner an, und voll Dankbarkeit muß ich des Grafen Beust gedenken, der es niemals unterließ, mich zu seinen Soireen zu laden, und es sich zum Vergnügen machte, mich jederzeit auszuzeichnen.“

Seit seiner Rückkehr von Paris ist Professor Lassen ganz der unsere und ist in der besten Gesellschaft berühmt als einer der eifrigsten Widmer. Es kann nicht bald einen Komponisten geben, der so zahlreichen und so hohen Persönlichkeiten seine Lieder und stets ehrfurchtsvoll gewidmet hat. Darüber klärt seine Visitkarte auch den minder Informierten auf, durch sie erfahre ich, daß Professor Lassen seine Stephanie-Serenade der Kronprinzessin Stephanie, seine Luisen-Gavotte der Prinzessin Luise von Sachsen und eine Unmenge von anderen Serenaden und Gavotten an Gräfinnen, Exzellenzfrauen, Hofopernsängerinnen und Kammersänger gewidmet hat.

Wie die Leute diese Widmungen aufnehmen?

Professor Lassen sagt: „Sie bedanken sich höflich und diesen herrlichen Ring erhielt ich von der Prinzessin von Coburg als Revanche.“ Er zeigt mir einen wirklich wunderbaren Diamanten in schwerem Goldreifen, und die so stark gehäufte Schuldenlast der armen Frau wird mir begreiflicher. Widmungen an Sänger und Sängerinnen haben auch ihren guten Zweck. Solch ein Kammersänger ist dann bemüßigt, sich für die Widmung in der Art zu bedanken, daß er die Lieder öffentlich singt, und da er dies sonst doch niemals getan hätte, kommt der Maëstro auf seine Spesen.

Wir sprechen vom Wiener Musikleben. Professor Lassen rühmt das musikalische Verständnis der Wiener über alles. Er selbst hat als Musikpädagoge und Lehrer für Berufsmusiker festgegründeten Ruhm und erklärt mir, gegen eines meiner letzten Porträts polemisierend, daß es gar nicht nötig sei, nach Berlin zu gehen, um große Erfolge zu erringen. Er sagt sehr einfach und sehr bescheiden: „Wer einmal ein Liebling der Wiener ist, der kann ruhig hier bleiben, die Wiener vergessen niemanden.“ Dieser Wahrheit darf man sich nicht verschließen, umsomehr, da mir seinerzeit Girardi und Kainz beiläufig dasselbe gesagt haben.

Mit der vornehmen Wiener Gesellschaft ist Professor Lassen selbstverständlich auf bestem Fuße. Bei Konzerten, welche die Fürstin Metternich oder Graf Kielmansegg veranstalteten, fehlte er nicht, und was in Wien Namen hat in Kunst und Theater, das kennt er. Er rühmt seine guten Beziehungen zu allen Redaktionen und er kennt Godowsky, Sauer, Rosenthal, Grünfeld, d'Albert und Bussoni, die er als die ersten Pianisten der Welt bezeichnet. Seiner Ansicht nach ist Paris der Mittelpunkt der musikalischen Welt. In Berlin wird der größte Trubel gemacht, aber in Wien haben sie am meisten Gemüt und verstehen gute Musik. Professor Lassen unterrichtet nach der auf ihn überkommenen Rubinsteinschen Methode. Er unterrichtet nur Schüler von großem und anerkanntem Talent, aber er kann mir zu seinem Bedauern nicht einen einzigen nennen, der die großen Versprechungen gehalten hat. „Sie müssen alle auswärts sein,“ sagt Professor Lassen.

Da ich von der möglichen Verwechslung mit Eduard Lassen, dem feinen Komponisten des „Allerseelen“ spreche, sagt Max Lassen: „Da haben Sie den Grund, warum ich mein Bild auf meine Visitkarten und Programme drucken lasse. Ich will jeder Verwechslung vorbeugen.“

---

glänzend, mit neuem Sattel, der Kutscher hielt es am Zügel. Felix wurde gerufen und kam ahnungslos zu uns. Wir hatten ihn in dem entscheidenden Augenblick in einem auf der anderen Seite des Hauses gelegenen Zimmer zurückgehalten, um die Ueberraschung voll gelingen zu lassen. Wir hörten ihn kommen, sahen ihn stehen bleiben, mit großen, verwunderten Augen erst das Pferd, dann uns ansehend.

Ich hatte mir vorbehalten, ihm zu sagen: „Das Pferd ist dein.“

Ein Jubelruf als Antwort. Mit einem Sprunge ist er im Garten, um von seinem Eigentum Besitz zu ergreifen, das heißt, die Zügel dem Kutscher aus der Hand nehmen, sehen, fühlen, bewundern, streicheln, dann die Treppe wieder herauf, in meine Arme, dankend und jubelnd, dann zu Georg.

Stolz und glückberauscht besteigt der kleine Reiter sein Roß und reitet, von Lucies Jauchzen begleitet, langsam den breiten Weg auf und ab.

Am selben Tage, nach dem Mittag, steht der Junge an meiner Tür. Ganz erschreckt sehe ich ihn an, das eben noch vor Glück strahlende Gesicht sieht unglücklich und kummervoll aus.

„Was ist dir, mein Sohn? Komm zu mir.“ Ich strecke ihm die Hand entgegen, aber er bleibt zögernd an der Tür stehen. Was kann es sein, das ihm solche Ueberwindung kostet, mir zu sagen?

Wie nach einem schwer erkämpften Entschluß kommt er zu mir, legt seine Hand in die meine und sagt:

„Mama, jetzt verstehe ich.“

„Was verstehst du, mein Kind?“

„Ja“, sagt er und sieht mir fest in die Augen, „daß du fortreisen willst, das ist, daß du sterben wirst.“ Und als ich ihn wortlos an mich drücke, fühle ich, wie sein ganzer Körper von unterdrücktem Weinen bebt.

Daß das Leben nach einer kurzen Spanne Glück eine solche Fülle von maßlosem Kummer geben kann!

Lange noch sitzen wir zusammen, mein Sohn und ich, und als er gegangen, bleibe ich allein und denke voll Schmerz an die, die einsam ihre Wanderung fortsetzen müssen, nachdem ich vom Wege gewichen.

Lassen hält jetzt bei op. 48, aber er hofft es mit Beihilfe der ihm so gut gesinnten Kritik noch weit zu bringen. Für „Tannhäuser“ und „Lohengrin“ interessiert er sich sehr, und nur dem Wagner der „Götterdämmerung“ vermag er keinen Geschmack abzugewinnen. Aber unsere Oper ist ihm im allgemeinen sehr sympathisch.

Seine nächste große Arbeit ist eine Operette, die er im heurigen Sommer fertigstellen will. Sie soll fürs Theater an der Wien bestimmt sein und sich durch feine Musik und graziöse Erfindung auszeichnen.

Ich spreche von der gelungenen Karikatur Lassens, die im Künstlerhause zu sehen war, und er sagt: „O meine Popularität in Wien ist wirklich unheimlich. Schließmann hat mich in den Schattenbildern gezeichnet, die seinerzeit in der Musik- und Theater-Ausstellung gezeigt wurden, auf der Gasse kennen mich alle Leute und ich habe gar nichts anderes zu tun, als zu grüßen und zu danken.“

Herr Professor Lassen jagt nicht nach Orden und nach Titeln. Immerhin findet er es sonderbar, daß seine Vaterstadt bei seinem vierzigjährigen Jubiläum keinen weiteren Anlaß nahm. Auch erzählt er mir von einer projektierten Tournee nach Rumänien.

„Soll ich Ihnen die Vereine nennen, für deren wohltätige Zwecke ich gespielt und komponiert habe?

Es folgt ein Griff in die Brusttasche, aber ich weiß schon, daß sie gespickt ist mit Zeitungsnotizen, und die Wohltätigkeit Professor Lassens, der in uneigennützigster Weise überall mitwirkt, ist mir zur Genüge bekannt.

Schließlich noch eine kleine Milieuschilderung: Der Maëstro hat sich eine sehr geschmackvolle Behausung erwählt. Seine Wohnung starrt vor Kränzen und Schleifen und ganze Zeitungsberge sprechen von seinem Ruhm. Es müßte eine aufreibende Arbeit von Jahren sein, die ergebenen Inschriften all dieser Schleifen aufzuzählen. Aber ich muß sagen: Bei keinem Künstler noch traf ich so vielen Lorbeer an.

Da stehen auch zwei Büsten. Wir verweilen vor ihnen und Professor Lassen sagt: „Nun, sehen Sie?“

Aber ich sehe nichts, nur zwei Büsten, von denen eine mir bekannt ist.

Professor Lassen wendet mir darauf sein Profil zu und wird dringender: „Nun, sehen Sie noch immer nichts?“

Ich werde etwas befangen, denn ich sehe noch immer nichts. Da sagt der Hausherr: „Das ist doch Mozart, dem sehe ich doch frappant ähnlich.“ Und Professor Lassen hat recht. Seine Büste ist von Tilgner und die andere ist ein Gipsguß. Wer in die Wohnung des Maestro kommt, möge sich's merken: der rechts ist der Mozart.

Professor Lassen erzählt mir von seinem ruhigen, glatten, nur von stetigen Erfolgen und Anerkennungen unterbrochenen Leben.

„Das hat mich auch so jung erhalten,“ sagt er, „ich habe noch kein einziges graues Haar und von einer Glatze ist keine Spur. Sie werden auch nicht viel Falten bemerken. Wenn Sie mich schildern, werden Sie zugestehen müssen, daß ich für meine Dreiundfünfzig sehr jugendlich aussehe.“

Der Mann mit dem Charakterkopf hat recht. Er ist ein liebenswürdiger, ein populärer Künstler, ein Wiener Liebling; seine Haare sind von beneidenswerter Fülle und er wird wohl als Siebziger noch so frisch und stramm durch die Straßen marschieren. Mozart, dem er so ähnlich sieht, hatte zwar auch viel Erfolge, aber daneben auch Kummer und starb schließlich, kaum sechsunddreißig Jahre alt.

A. D.-G.

Von den „Schlimmen Buben“ zu „Traumulus“.

(Das pädagogische Repertoire. — Väter und Söhne. — Die Bestimmung des „Herrn Lehrers“. — „Der Dorflehrer“ und „Der alte Magister“ — Nestroys „Schlimme Buben“. — Willibald und die Autorität der Wissenschaft. — Der komische Professor. — „Das Gefängnis.“ — „Die Hochzeitsreise.“ — Der Lebemann als Pädagog. — „Schulstücke.“ — Die „Schule der Philister“. — Das „Lehrer- und Professorenstück“ von heute.)

Wie die Studentenstücke, zeitweilig zum mindesten, Mode geworden, erhält das „pädagogische Repertoire“, das den „Herrn Lehrer“ oder „Herrn Professor“ zum Mittelpunkt hat, Zuwachs um Zuwachs. Zweifachen binnen 48 Stunden. Am Donnerstag ist das „Fräulein Lehrerin“ im Raimund-Theater dazu gekommen und gestern im Burgtheater der idealisch verträumte „Traumulus“. Nur haben die „Lehrerstücke“ von heute ein ganz anderes Aussehen und tendieren nach einer ganz anderen Richtung hin als ehedem, zuzeiten der „Schlimmen Buben“ etwa.

So alt wie sein mögen, der Schulrange bleibt doch in jedem von uns stecken und guckt und zuckt, wo die Gelegenheit ist, immer wieder hervor. Der würdigste Herr Papa, zu dem die „Herren Söhne“ längst emporgewachsen, ihm wohl auch über den Kopf gewachsen sind, mag sich eines Schmunzelns nicht entschlagen, wenn die jungen Herren im behaglichen Familientischgeplauder ihre Schulerinnerungen auskramen und manches verspätete Bekenntnis ablegen, welche Streiche sie damals, vor zehn und mehr Jahren, getrieben, wie sie auf dem Gymnasium noch den einen Herrn Professor geuzt, dem anderen den und jenen Schabernack gespielt — wobei er, der gestrenge Herr Papa, ja doch selbst immer indirekt mitgeuzt und gefoppt worden. Aber er lächelt doch mit bei den nichtsnutzigen Erinnerungen, denn vermutlich tippen sie mit keckem Finger an sein eigenes Gedächtnis und der Schulrange dämmert in ihm auf. Die Lehrer und Professoren sind ja nicht zu dem alleinigen Zwecke geschaffen, die Schüler zu instruieren, sondern sie auch zu amüsieren und ihnen zur Kurzweil zu dienen, zur Schärfung des kindlichen und jugendlichen Witzes. So hatte sich ihrer denn das Theater bemächtigt und stehende komische oder halbkomische Figuren aus ihnen gemacht. Höchstens allenfalls, daß aus einem armen „Dorflehrer“ eine sentimental „rührende“ Gestalt gemacht wurde, wie Mosenthal es einmal im Burgtheater mit einem einaktigen Schauspiele dieses Titels versuchte, das aber, trotzdem Laroche die Titelrolle spielte, nicht verfangen wollte. Ebensowenig wie das größere Schauspiel „Der alte Magister“, ein gefühlseliges Rührstück von Benedix, dem aber Laroches Ungleichlichkeit im derartigen Genre ebensowenig aufzuhelfen imstande war. Der Gestalt des Lehrers etwas Imponierendes oder doch mannhaft Erfrischendes und Packendes zu geben, das schien den dramatischen Autoren, die für den „praktischen“ Bühnenbedarf arbeiteten, gar nicht beizukommen — der „Lehrer“ wurde von ihnen am liebsten als komischer Behelf herangezogen.

Darum gewann die Nestroysche Posse „Die schlimmen Buben“ in der Knappheit ihres einaktigen Rahmens eine geradezu typische Bedeutung, man möchte sagen, wenn's nicht gar zu großtönig klänge, etwas Kulturgeschichtliches, weil sich der landläufige Zug der Persiflage eines ganzen Standes darin ausdrückte — und zugleich etwas unverbesserlich Menschliches, das „ewig Schulbübische“ in uns. Nach einer französischen Farce „Le maître d'école“ gearbeitet, an die kein Mensch denkt und von der schwerlich mehr ein Exemplar aufzutreiben wäre, ist sie unter den Händen des Wiener dramatischen Aetzkünstlers eine der schärfsten und dauerndsten Groteskfiguren geworden, die besonders in der Zeit ihres Entstehens, einer Zeit ärgster Geistesknebelung, etwas wie einen Stich ins Revolutionäre hatte. Denn wenigstens wurde eine Autorität darin lächerlich gemacht, die des Lehrers — und die autoritäre Wissenschaft fing auch etwas davon ab. Wenn der zu einer Art Unsterblichkeit gediehene Frechling Willibald auf die Frage des Lehrers: „Ist der Mond bewohnt?“ mit einem von keinem Zweifelshauch angeblasenen bezidierten „Ja“ antwortete, und dann auf die schüchtern vorgebrachte Verklausulierung des ängstlichen Schulmeisterleins: „Das heißt, man glaubt es,“ in demselben Tone unfehlbarster Gewißheit ennzierte: „Ich weiß es!“ — so traf der freche Spott die ganze Wissenschaft, mitsamt dem Lehrertum, und allen Autoritätsdünkel des Menschengeistes überhaupt. Und daß Nestroy aus dem Komplex der menschlichen Unbotmäßigkeiten und Auflehnungsinstinkte gerade dieses „ewig Schulbübische“ herausgriff, daß er die „Opposition gegen den Lehrer“ bei ihren Uranfängen, in den alleruntersten Schulklassen packte, daß er den gewöhnlichen „Schulbuben“ zum Träger seiner Satire machte, darin erwies sich das richtige Blicken und Zielen und Treffen des sich tief einbohrenden Spottgeistes. Geradeso wie er in dem nicht umfangreichen Zerrbilde „Zwölf Mädchen in Uniform“ die militärische Autorität aufs Korn nahm und sie schärfer traf, als es mit wuchtigsten Wurfgeschossen hätte geschehen können.

Der „Lehrer“ also, der ja doch im Leben eine genugsam gedrückte und armselige Rolle spielte, wurde demgemäß auch auf dem Theater nicht viel anders behandelt — und sein höherer akademischer Genosse, der „Professor“, war auch gerade nicht besonders in Ehren gehalten. Wenn's allenfalls ein „junger Professor“ war, so mochte er sich wenigstens zum brauchbaren „Liebhaber“ fürs Lust- und Schauspiel qualifizieren — der alte Professor aber gehörte nachsichtslos in das Fach der „komischen Alten“, als Brummbär, Pantoffelsklave oder Vorbild des „zerstreuten Professors“. Höchstens, daß sie zur burschikosen Ungelenkigkeit und einem Anflug von Liebenswürdigkeit herangebildet wurden, um auf diese Weise eine dem akademischen Stande entsprechendere, komische Wirkung zu erzielen. Denn die war und blieb die Hauptsache. So in dem „Gefängnis“ von Benedix — dem nie ehrlich einbekannten Urbilde der „Fledermaus“ mit ihrem kopierten „fidelen Gefängnis“ —, so „Die Hochzeitsreise“ von dem nämlichen Autor und der nämlichen Qualität, worin die Unbehilflichkeit des Professor-Ehemanns das komische Element bildet, der den jungen, schüchternen Famulus bei der Neuvermählten Stubenmädchendienste verrichten lassen will, weil der ahnungslose Bücherwurm so wenig Begriff davon hat, daß zum Toilettendienst bei einer jungen Frau doch nur weibliche Assistenz zulässig ist. Wie man sieht, eine recht primitive Komik, allerdings mit einem operettenhaft lüsternen Beisatz, von dem aber der brave, ehrsame Benedix mit seiner strengbürgerlichen Anständigkeit so wenig eine Ahnung hatte, wie von der Tragweite des zweideutigen Wortes am Schlusse seines „Doktor Treuwald“, das, wie schon einmal erzählt worden, einen solchen Sturm verhängnisvoller Heiterkeit im Burgtheater auflegte. Er hatte nichts als die „unschuldige“ Komik der professorlichen Lächerlichkeit im Auge gehabt. Und an diesen komischen Lustspielprofessoren behagte sich das damalige Publikum Jahre und Jahrzehnte lang, ebenso wie an den Lachkabinettsfiguren der armen „Lehrer“, der „Volksschullehrer“, die den Possendichtern überlassen waren, weil sie nicht für lustspielfähig gehalten wurden und nur für die derbe Komik passend erschienen. Jedenfalls galten Lehrer wie Professoren für einigermaßen vogelfrei auf dem Theater — das heißt der beliebigen komischen Behandlung, oder Mißhandlung freigegeben. Ernste, höhere, in die Gesellschaftsorganisation eingreifende Tendenzen mit ihren Gestalten zu verbinden, darauf reflektierte das „pädagogische Repertoire“ nicht.

Als allgemein zu empfehlende, richtunggebende Idee hätte auch schwerlich der kecke Einfall lebemännischer Pädagogik gefaßt werden können, der in dem Lustspiel „Man sucht einen Erzieher“ zu munterer Darstellung kam. Die zweiaktige Komödie gehörte dem älteren französischen Repertoire an und illustrierte den immerhin riskanten Lehrsatz, daß man einen unerfahrenen jungen Menschen keinen sichereren und besser lenkenden Händen zur Weitererziehung anvertrauen kann, als einem emeritierten Lebemann, der alles durchgekostet, dabei die genügenden Erfahrungen gemacht hat und deshalb am besten in der Lage ist, den Zögling auf die Fährlichkeiten des Lebens aufmerksam zu machen und ihm zu zeigen, wie man auf schlüpfrigen Wegen selbst sich vor dem Ausgleiten schützt. Das Stück war im Burgtheater wie im Carl-Theater, wo Anton Ascher den kuriosen pädagogischen Heiligen spielte, sehr beliebt und hatte unverkennbare Ideenverwandtschaft mit dem späteren „Rosenkranz und Güldenstern“. Aber der „pädagogischen Abteilung“ der Bühnenstücke war es kaum zuzuweisen.

Höchst ernstgemeinte „Schulstücke“ freilich hatte das alte Repertoire, aber nur im Sinne der diversen „Schulen des Lebens“, die darin exemplifiziert wurden. Im Verzeichnis der Burgtheaterstücke allein finden wir eine „Schule der Frauen“ — „Schule der Liebhaber“ — „Schule der Alten“ — „Schule der Reichen“ — „Schule der Väter“. Die der „Alten“ und der „Reichen“ scheinen die frequentiertesten gewesen zu sein — nach der Zahl der registrierten Aufführungen bemessen. Den meisten Zulauf hatte aber entschieden die — „Lästerschule“, in der von Lernlustigen des Faches sehr beflissen studiert worden sein muß, denn an 176 Abenden okkupierte sie die Bühne des Burgtheaters. Einen bemerkenswerten „Schulabend“ hatte das Theater an der Wien im Herbst des Jahres 1848 mit der „Schule der Philister“ von Karl Elmar, bei der es einen gar kläglichen und spektakulösen Schulschluß gab vor der Zeit — mitten drin mußte der Vorhang 'runter, weil das Publikum gegen die politische Tendenz des Stückes rebellierte. Es war einer der stürmischsten Theaterabende des Sturmjahres, und der im Herzensgrunde gewiß gleich „revolutionäre“ Volksdichter war über diese insultierende Verkennung und Mißdeutung seiner Ideen so empört, daß er auf der Bühne herumtobte und sich heilig verschwor, mit einem so „undankbaren, stupiden Publikum“ nie mehr etwas zu schaffen haben zu wollen. Was ihn natürlich nicht behinderte, sich von diesem „stupiden“ Publikum alsbald die schönsten Erfolge bereiten zu lassen.

Das moderne „Lehrerstück“, das den Volks- und Jugendbildner, den „Säemann der Zukunftskernen“ der wechselnden Generationen in die Front der dramatischen Menschheitshelden hat rücken lassen und ihn in die Mitte zeitbewegender Aktionen stellt, ist eigentlich die auch auf der Bühne sich vollziehende logische Betätigung und Ausgestaltung jenes bekannten Preußenwortes von 1866, daß „bei Königgrätz der Schulmeister gesiegt“ habe. Der „Schulmeister“ hat seine Kampfesposition auch auf dem Theater bezogen und führt, je nach Umständen, die Klinge oder haut auch wohl mit dem Kolben drein, wie der junge Katheder-held in „Flachsmann als Erzieher“, mit dem verglichen sein Kollege, der „Probekandidat“, eine feine Damaszenerklinge schwingt. Lehrer, Professoren und Studenten machen das Theater beinahe schon der Soldatenuniform das Terrain streitig — mehr als auf dem Welttheater.

S. S.

Gräfin Montignoso.

Aus der großen Menge der offiziellen und privaten Meldungen über die jüngste Affäre ist es nicht leicht, sich ein Bild der tatsächlichen Umstände zu formen, doch wird man vielleicht nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daß die ganze Sache in tendenziöser Weise weitaus übertrieben worden ist. Die Meldungen, die an der Behauptung festhalten, daß Gräfin Montignoso sich neuerlich gegen ihre Frauenwürde vergangen habe, werden immer spärlicher und in ihrem Tone weniger bestimmt. Fast macht die ganze Sache den Eindruck, als ob hier Domestikengeschwätz von gewissen Kreisen gründlich ausgenutzt worden wäre. Eine als „Spitzel“ aufgestellte Bonne der kleinen Prinzessin Monika soll nämlich die Urheberin der ganzen Affäre sein und auf Grund ihrer Aussage soll der Hof seine Maßnahmen getroffen haben. Man dachte, daß nun der richtige Moment gekommen sei, den langersehnten Wunsch, der ehemaligen Kronprinzessin auch ihr jüngstes Töchterchen abzunehmen, in Erfüllung gehen zu lassen. Tatsache scheint es zu sein, daß diese Bonne, eine Frau v. Moreno, die Tochter eines Ministerialbeamten der argentinischen Republik, als Werkzeug benutzt worden ist, und daß dieser Frau auch die Mission übertragen wurde, über den Lebenswandel ihrer Gebieterin zu wachen. Allerdings muß auch diese Anschauung vorläufig mit großer Reserve aufgenommen werden, denn — wie schon gesagt — positive, vor allem objektive Daten fehlen noch darüber.

Bemerkenswert ist die Mitteilung einiger Florenzer Blätter, die angesichts des Umstandes, daß Graf Guicciardini den verbreiteten Gerüchten energisch entgegentritt und erklärt, die Gräfin Montignoso nie gesprochen zu haben, die Behauptung aufstellen, daß eine Verwechslung mit einem anderen Grafen dieses Namens vorliege. Das Liebesverhältnis selbst wird als unzweifelhafte Tatsache hingestellt.

Ueber die letzten Ereignisse wird aus Florenz unterm 11. d. M. telegraphiert: Gestern vormittags wurde Gräfin Montignoso in das deutsche Konsulat geladen und erschien auch daselbst. Justizrat Körner verlas der Gräfin hier einen Befehl des Königs von Sachsen, der dahingeht, sein Kind auf Grund des seinerzeitigen Vertrages vom Jahre 1904 herauszugeben und dem Justizrat Körner zu überliefern. Gräfin Montignoso erklärte, sie wisse, daß der König als gesetzlicher Vormund und Vater nach dem Vertrage das Recht habe, das Kind zu verlangen. Sie verweigere trotzdem die Herausgabe auf das entschiedenste. Diese Erklärungen wurden in Anwesenheit des deutschen Konsuls, des Sekretärs der Gräfin und des Justizrates Körner protokolliert. Justizrat Körner reiste hierauf auf 24 Stunden nach Rom, um mit dem Ministerium zu verhandeln. Eine Auslieferung der Gräfin, respektive des Kindes ist staatsrechtlich unmöglich, eventuell wäre geltend zu machen, daß der König von Sachsen nach dem sächsischen Hausgesetze das Recht auf das Kind habe. Justizrat Dr. Körner erklärte, daß von einer guten Aufführung der Gräfin nicht die Rede sein könne und sie stehe nicht als Märtyrerin da. Ein Einschreiten sei unbedingt notwendig, da die Gräfin Montignoso keinen geziemenden Lebenswandel führe. Sie sei nicht geeignet, die kleine Prinzessin zu erziehen; er verlange daher die Herausgabe der Prinzessin.

Gräfin Montignoso selbst weist nach wie vor jeden Vorwurf, der ihren gegenwärtigen Lebenswandel treffen könnte, energisch zurück. So erklärte sie unter anderem einem Interviewer: „Ich habe nichts zu bereuen und nichts zurückzunehmen. Ich habe niemandem weh' getan, trage niemandem etwas nach, habe nie ein böses Wort über den König gesprochen. Als ich vor zwei Jahren von ihm ging, wollte ich mir meine Ruhe retten. Man hat mir alles genommen. Auf alles verzichte ich mit Freuden, wenn man mich nur die Kinder sehen läßt. Ich erhalte amtliche Mitteilungen, worin gesagt wird, dieser Prinz habe fleißig gelernt, jener entwickle sich kräftig. Daß es sich um meine Kinder handelt, wird mit keinem Worte gesagt. Kein Herzenston dringt von ihnen zu mir, von mir zu ihnen hinüber. Und nun soll ich auch mein letztes Gut der kalten Staatsvernunft überlassen. Das vermag ich nicht, das ist zu viel. Aber damit nicht genug! Man dichtet mir Beziehungen zu einem Manne an, den ich als edlen, warm fühlenden Menschen schätzen und achten gelernt habe. Was man Schlechtes darüber sagt, ist falsch und erlogen. Hätte ich den Schein, den man mir vor acht Tagen vorlegte, unterfertigt, so wäre mir dieses häßliche Aergernis erspart geblieben. Man wollte sich schriftlich verpflichten, ab und zu die Kinder zu mir zu führen, wenn ich mich für den Fall meines Wiedererscheinens ins Sachsen eine Konventionalstrafe von 300.000 Mark zu zahlen und auf das sächsische Staatsbürgerrecht zu verzichten verpflichtet hätte. Dazu wollte und werde ich mich nicht verstehen. Daß man aber um dieser Weigerung willen eine so häßliche Rache gegen mich ersinnen könnte, habe ich allerdings nicht für möglich gehalten.“

* * *

Die Auffassung in Salzburg.

Aus Salzburg wird uns geschrieben: In den hiesigen toskanischen Familienkreisen hat die Art und Weise der Behandlung, welche Gräfin Montignoso in den jüngstvergangenen Tagen von seiten der Beamten des sächsischen Hauses erfahren hat, geradezu Entrüstung hervorgerufen. Man hat sich hier dem Glauben

Als feiner Kopf und gediegener Kenner der ostasiatischen Verhältnisse wird Großfürst W. gepriesen. Schon vor Jahren zählte er zu den ständigen Besuchern des Aquariumtheaters, so oft „Geisha“ oder „Mikado“ auf dem Spielplan stand.

Großfürst W. zählt übrigens zu den enragiertesten Vorkämpfern der Kriegspartei. Nach dem unerwarteten Hinscheiden des Großfürsten Sergius wurde er von eigentümlichen nervösen Zuständen befallen und hütet seither das Haus. Zum Leidwesen vieler Untertanen weigert er sich energisch, in die Luft zu gehen ...

Auf seinen Wunsch wird die Abreise auf den Kriegsschauplatz streng geheim gehalten. Im Kreise vertrauter Freunde äußerte sich übrigens Großfürst W. dahin, er fühle sich schöner Erfolge in Ostasien sicher; nach anderer Version habe die Aeußerung gelautet, er fühle sich in Ostasien sicherer ...

Natürlich treten die exportfähigen Großfürsten ihre Reise in einem Extrazuge an. Ueber die Fahrtdauer herrscht noch Ungewißheit. Vorläufig ist es nicht ausgeschlossen, daß Charbin die Endstation bilde, doch wird auch die Eventualität erwogen, daß der Kriegsschauplatz (zur Bequemlichkeit der Großfürsten) aus dem „fernen Osten“ in den näheren Osten verlegt werde. Es hängt dies davon ab, ob die Japaner auch in den nächsten Wochen so entgegenkommendes, ja sogar zuvorkommendes Benehmen zeigen, wie bisher.

Im ganzen Bahnbetrieb zeigen sich jetzt schon die umfassenden Vorbereitungen für die Reise der Prinzen. Der Transport von Proviant und Munition für die Armee wurde bis auf weiteres sistiert, da sämtliche Lastzüge das großfürstliche Gepäck zu befördern haben. Zwei Waggons französischer Champagnerfirmen zeugen für den Ernst der Lage. Kolossale Bestellungen wurden bei ausländischen Konservenfabriken gemacht. Voll patriotischer Opferwilligkeit haben nämlich die abreisenden Prinzen beschlossen, während ihrer Kriegstätigkeit fast ausschließlich von Konserven zu leben. So werden denn namhafte Quantitäten konservierter Pasteten, Hummer, kalifornischer Früchte ꝛc. ꝛc. sowie zahlreiche brillant konservierte französische Lebedamen als Bagage mitgeführt.

Die patriotische Bevölkerung begleitet die ausziehenden Prinzen mit frommen Segenswünschen und fleht, daß es ihnen anders ergehen möge als dem unglücklichen Kuropatkin. Jeder treue Russe hat nur einen Herzenswunsch:

> Nikolaus, Wladimir, Kyrill!
> Kehret n i ch t zurück!
> Dann kann noch alles
> gut werden.

R o b e r t.

Wiener Originale.

VIII.

„Der Moritz“.

Wir Wiener verstehen es, unsere Lieblinge zu schätzen. Sonderlich, wenn sie auf dem Theater sind. Auf die große Stellung kommt es nicht an; einmal ist es der Herr Hartmann und einmal der Herr Petza, einmal der Herr v. Sonnenthal und diesmal „Der Moritz“. Der Moritz ist nämlich fünfundzwanzig Jahre beim Theater, er agiert nicht, er singt nicht, er ist bloß Theaterdiener. Aber seine Popularität ist darum nicht minder groß. Fünfundzwanzig Jahre dient der Mann dem Theater an der Wien, da ist es begreiflich, daß die Wiener ein bißchen aus dem Häuschen geraten, daß sie dieses Jubiläum mitbegehen wollen, daß am Ehrentag des Moritz kein Wiener von Bedeutung, kein wahrer Theaterfreund wird fehlen dürfen.

Der Moritz — der Vollständigkeit halber erwähne ich, daß er Moritz Wessely heißt — ist gekannt im theaterfreundlichen Wien; seine Gönner und Vorgesetzten nennen ihn beim Vornamen, aber auch die Fremden und die unter ihm stehenden Choristen und Statisten wissen ihn nicht anders als „Moritz“ zu benennen, nur setzen sie wohlweislich ein „Herr“ vor die Anrede. Und so ist sein ehrlicher Zuname ganz in Verfall geraten, obwohl ja eine Wessely schon einmal auf dem Theater diesen Namen zu Ehren brachte.

Ich treffe Moritz in seinem Bureau im Theater an der Wien, man muß ihn nur hier betrachten, wenn man ein volles Bild des Mannes und des Amtes, das er verwaltet, bekommen will. Er leitet den Parteienverkehr, aber durch seine Würde wächst er in den Augen des Besuchers und das simple Vorzimmer wird zum Audienzsaal. Besser als viele Worte wirken einige Momentbilder, die ich festzuhalten bemüht war.

E i n F r e m d e r: „Ich möchte gern den Direktor sprechen.“

M o r i t z: „Ja, was wollen Sie denn, wer sind Sie?“

D e r F r e m d e: „Es ist eine Privatsache, Herr Sekretär.“

M o r i t z: „Ich bin nicht der Sekretär, weshalb kommen Sie her?“

D e r F r e m d e: „Offen gestanden, ich bin ein armer Teufel, Herr Regisseur.“

M o r i t z: „Was? Regisseur? Sprechen Sie deutlicher.“

D e r F r e m d e: „Es wäre wegen einer kleinen Unterstützung, Herr Direktor.“

Der arme Moritz hat die Hände voll zu tun; er versorgt den Telephondienst, er trägt die Rollen aus, er zahlt die Gagen, er sieht alles, er weiß alles. Der Direktor fragt ihn, ob ein rekommandierter Brief schon fort ist, der Tenorist fragt ihn, ob morgen Probe ist, der Kapellmeister fragt ihn, ob das Duett schon probiert wird, die Soubrette fragt ihn, ob die X. in der Reprise der nächsten Operette mitwirkt, und ein Statist fragt ihn, ob die Vorschüsse schon liquidiert sind. Und so geht das fort. Moritz, kannst du zaubern, Moritz, kannst du hexen? Die Götter haben vor den Ruhm den Schweiß gesetzt, und beim Theater muß man sich plagen, ehe man ein Liebling wird.

Moritz ist ein würdiger und repräsentativer Herr, er hat viel gesehen und viel mitgemacht. Sieben Direktoren diente er, und stets war seine Position unerschütterlich. Er blieb als der feste Pol, er wurde übernommen mit dem Fundus. Der Moritz war immer das erste und notwendigste Requisit des neuen Mannes. Seiner Pflichttreue und seiner Fachwissenschaft verdankt er seine Anerkennung; da ist es wohl begreiflich, daß sie für seinen Ehrentag — Montag, der siebenundzwanzigste März ist es — große Vorbereitungen treffen.

Moritz ist kein Vielredner, er hebt seine Verdienste nicht in den Himmel, er ist ein Feind von Indiskretionen. Ich habe immer den Eindruck: Der Mann weiß viel, aber er hütet sich, alles zu sagen. Da ich mit ihm vom Wiedener Theater vor 25 Jahren spreche, erinnert er mich an die Gallmeyer. Er kennt die Leute nicht so sehr vom Theater als intim, im Negligé etwa, und da sind sie wohl oft viel echter als auf der Bühne. Die Gallmeyer kam ihm immer liebenswürdig entgegen, er rühmt sie als brave, gute Person, die Rollen nahm sie freundlich entgegen und nur einmal gab es einen Krach. Die O. F. Bergsche Posse „Die Böhmin“ sollte gegeben werden. Moritz kam, um die Künstlerin, die just nicht in Laune war, abzuholen. „Schau'n S', daß abfahr'n“, war die Antwort. Moritz war gekränkt und ging, das mußte sich ein Mann in seiner Stellung nicht gefallen lassen. Er sandte den Dichter. Aber der arme O. F. Berg wurde noch viel unsanfter behandelt, der Moritz erzählt es mit stillem Vergnügen. Und seit diesem lang verjährten Vorfall ereignete sich eigentlich nichts Besonderes, obwohl Moritz das gefährliche Amt des Rollenaustragens innehat.

„Ich gib nur die Rollen ab,“ sagt er, „zurücknehmen tu' ich's nicht.“ Das ist die Stärke seiner Stellung. Er bringt die Rollen; werden sie gewogen und zu leicht befunden — was manchmal sich ereignen soll — dann steht es dem Schauspieler frei, sie zurückzusenden, aber Moritz tut's nicht. Er ist nur Ueberbringer des Urteils, die Folgen interessieren ihn nicht.

„Und die Herrschaften nehmen das so ruhig hin?“ bemerke ich, „Sie Armer, da werden Ihnen oft leise Flüche nachgesendet.“

Er antwortet: „O nein, die Herrschaften genieren sich nicht, es sind laute Flüche, aber die Rolle pickt, mich geht's weiter nix an!“ — Schließlich kennt Moritz die Bühnengrößen von der sympathischesten Seite, sie werden alle gut gestimmt, wenn sie ihn sehen, denn er bringt ihnen das Spielhonorar in die Garderobe. — Da gibt es allerdings auch Melancholiker, die gleichmütig bleiben, aber die meisten vergessen ihre Nervosität beim Geldnehmen und werden gut gelaunt, mag auch die Rolle, die sie just spielen, noch so elend sein. Nur Schweighofer mußte vorsichtig behandelt werden, der war auch bissig, wenn ihm Moritz das Geld in die Garderobe brachte.

Der Liebling des braven Moritz ist Alexander Girardi. Er rühmt seine Freundlichkeit, seinen Humor. Bringt er ihm die Gage, was auf Wunsch Girardis seit Jahren in alltäglicher Verrechnung geschieht, dann ruft Girardi gleich: „Geb'n S' 'hn her, 'n Macherlohn.“ Und beim Fortgehen sagt er: „Waßt, Moritz, du bist mir do der Liabste.“ Und obwohl Moritz weiß, daß dieses Wohlwollen ein wenig auch seinem Amte gilt, so freut es ihn doch von Herzen.

Gar manche hat der Moritz gesehen, die klein anfingen und zu Größen wurden. Da war der Meister Millöcker, dessen er sich jetzt erinnert. Millöcker war Kapellmeister im Theater an der Wien und erhielt täglich als Dirigiergeld zwei Gulden. Im Zwischenakt sah er sich schon um, ob Moritz noch nicht im Sehbereich sei und dann stürzte er ihm entgegen und nahm das Geld. Später, als aus dem kleinen Dirigenten der große Maëstro geworden war, sagte er oft mit schmerzlichem Lächeln zu Moritz, wenn dieser mit dem Geld kam: „Ja, mein lieber Moritz, heute hab' ich's Geld, aber heute bin ich krank, heute freuen mich die Tausender nicht so, wie damals die zwei Gulden, die ich zum Nachtmahl gebraucht habe.“

Unter sieben Bühnenleitern hat Moritz gedient. Er hat sich mit allen vertragen, mit denen, die verdient haben, und mit denen, die nichts verdient haben. Seine Blütezeit fällt in das Regime der Frau Schönerer. Da war er das richtige Faktotum, hielt ihr alle Sorgen fern, empfing an ihrer Stelle die Besucher, war bei den Proben anwesend und sein Rat galt der Direktorin hoch. Da sie fortging, verabschiedete sie sich brieflich von ihrem Personal, nur Einen ließ sie persönlich berufen: den Moritz. Von ihm empfahl sie sich, ihm dankte sie und der Umstand, daß er ein kostbares Geschenk erhielt, erhöht noch die Rührung, mit der Moritz jenes wehmütigen Abschieds gedenkt.

Das Schicksal des Theaters liegt Moritz sehr am Herzen, er freut sich, wenn ein Stück geht und er liest am frühen Morgen alle Kritiken. Die jungen Komponisten tröstet er, wenn sie aufgeregt sind und den Theaterzettel der ersten, fünfundzwanzigsten und fünfzigsten Vorstellung überreicht er ihnen mit taktvollem Glückwunsch zur geneigten Danachrichtung. Der liebste ist ihm noch immer Johann Strauß. Den hat er persönlich gekannt, hat er doch wiederholt die Kompositionen von ihm geholt, ja sie ihm fast unter den Händen entwinden müssen. Und er hört den großen Meister noch immer, wie er ihm liebevoll sagte: „Kommen Sie morgen wieder, Herr Moritz, dann bekommen Sie einen hübschen Walzer.“ — Ueber den Erfolg eines Stückes kann er nach der Probe noch nicht urteilen, er meint, daß dies auch Berufsmäßigeren nicht möglich sei. Schweighofer hat bei der sechzehnten Probe der „Gipsfigur“ gesagt: „Ein solcher Skandal, wie dieser Schmarrn, war noch nicht da, keine fünfmal geht's.“ Und er irrte sich dennoch gründlich.

Einer der Lieblinge unseres Moritz war der alte Friese. Dem legte er immer mit Vergnügen seine dreiundzwanzig Gulden hin, bis Friese einmal das Kuvert verlor, und seit dieser Zeit gibt es kein Kuvert mehr. Moritz zählt das Geld in Barem vor. Auch darüber fühlen sich Leute beleidigt. Die Geistinger beispielsweise war stets verletzt, wenn sie das nackte Geld bekam. Aber sie ist die einzige geblieben und auch die hat sich daran gewöhnt.

Der arme Moritz hat auch schwere Tage hinter sich, das sind die, an denen es Absagen gibt. Daran erkennt man erst seine Tatkraft. Da trommelt er die Remplacanten zusammen, laviert herum, stellt schöne Rollen in Aussicht und ruht nicht, bis die Vorstellung steht. „Einmal bei der Schönerer,“ erzählt er, „hab' ich erst um ½7 Uhr abends die Vorstellung z'sammenbracht, das war der schwerste Tag meines Lebens.“

Auch aktuelle Sorgen hat der Jubilar. Wird Girardi bleiben, geht er?

Ich befrage ihn über dieses Thema. Aber er verhüllt sich in schleierhaftes Schweigen. „Mir wär's recht, wenn er bleibet,“ sagt er schließlich, und ich glaube aus dieser Aeußerung entnehmen zu dürfen, daß die Chancen für ein Wiederengagement Girardis nicht ungünstig stehen. — Von seinen jetzigen Direktoren wird der wackere Moritz sehr geschätzt, der eine liebt ihn als den braven Moritz Wessely, der andere als den guten Wessely Mór.

Wien rüstet zur Jubiläumsfeier. Da bin ich glücklich, ein bescheidenes Blättchen zu seinem Ruhmeskranz beitragen zu dürfen.

A. D.-G.

Verwehte Namen.

(Die Namensliste der „Räuber“. — Wie es L a u b e damit erging. — Die „Amalien“. — Fräulein S e m m l e r mit dem Fragezeichen. — Der Vater der Debütantin. — Die tragische „kühle Blonde“. — Die Anderen. — „Station Kosinsky.“ — Einer, der einen fremden Namen sucht und seinen eigenen findet. — K a r l S o n t a g. — Der erste „Schweizer“ und die „gesetzten“ Räuber. — Die „Roller“ und „Schufterle“. — Ein Vorgänger des „Frosch“ in der „Fledermaus“. — Grabeselegie.)

Eine gar wehmütige, von zerstiebenden Hoffnungen, zerflatternden Illusionen, verfliegenden Ruhmesträumen singende und sagende Theaterelegie in einer statistisch trockenen Namensliste. Anläßlich der Neuszenierung der „R ä u b e r“ im B u r g t h e a t e r ist eine Liste all der Darsteller veröffentlicht worden, die in dem halben Jahrhundert, seitdem die Schillersche Jugendtragödie überhaupt für das Wiener Hoftheater existiert, bei den 155 bisherigen Vorstellungen einander abgelöst haben. Denn man weiß ja, daß es erst L a u b e gelungen war, den Bann zu heben, den eine verständnislose Zensur gerade auf dieses eine, vermeintlich allergefährlichste Schiller-Stück gelegt hielt — als ob „Kabale und Liebe“ für die entzündliche Publikumsmasse nicht viel „gefährlicher“ und „aufreizender“ wäre. Dieses „bürgerliche Trauerspiel“ aber war nie auf gänzlich abwehrende Zensurbedenken geflochten und nur Papa Präsident hatte sich gefallen lassen müssen, in einen Onkel Präsidenten verwandelt zu werden, weil Ferdinands Respektswidrigkeiten sonst gar zu sehr gegen das vierte Gebot verstoßen hätten und er denn auch folgegerecht „eine Stelle in seinem Herzen haben“ mußte, wohin, nicht der Name Vater, sondern „der Name Oheim noch nicht gedrungen“. Aber der Name „Räuber“ hatte nun einmal nicht in das k. k. Hoftheater hineindringen dürfen, er klang gar zu schrecklich, und es war in der Tat eine verblüffende Kraftprobe der imponierenden Autorität L a u b e s den, von ihm völlig eingeschüchterten, Machthabern gegenüber, daß er dem Erstlingsdrama Schillers das Recht errang, endlich doch, als das letzte, im Schiller-Repertoire des Burgtheaters erscheinen zu dürfen. Und es muß, obwohl früher schon einmal erzählt, doch auch diesmal wieder in Erinnerung gebracht werden, zu welchem Privatzugeständnis sich L a u b e dabei bequemen mußte, erstens, weil die Erinnerung stets mit der gleichen Komik wirkt, und dann, weil sich's dabei gar so drastisch erweist, in welche Zwangssituationen und zu welchen Konzessionen selbst ein so knorriger Kerl, wie L a u b e, geraten kann, sobald er sich einmal entschlossen hat, Hoftheaterdirektor zu sein. Dem „Theaterhofrat“ R a y m o n d mußte er das Versprechen leisten, dem Sonntagspublikum die „Räuber“ vorzuenthalten — nicht, weil die Sonntagsgemüter empfänglicher für die verderblichen Wirkungen des „abscheulichen Stückes“ sein konnten, sondern weil die Söhne des Hofrats an den Sonntagen immer aus dem Pensionat nach Hause kamen und in die väterliche Loge mitgenommen wurden, und die Knabenseelen hätten „verdorben werden“ können. Der Pakt wurde auch gewissenhaft eingehalten und lange Zeit dauerte es, bis das Sonntagspublikum ein so prädestiniertes „Sonntagsstück“ zu sehen bekam.

Nun aber von der Satire weg zur Elegie, den zerflatternden Illusionen und den verfliegenden Ruhmesträumen.

Da stoße ich zum Beispiel in besagtem Namensverzeichnis auf eine Amalia, deren Namen im ersten Augenblick selbst mir, bei meinem im Ganzen und Großen doch ziemlich guten, Burgtheatergedächtnis doch fremd und wie niemals vernommen erschien. Fräulein S e m m l e r. Ich konnte mich eine Weile absolut an kein Fräulein S e m m l e r erinnern. Endlich dämmerte es in mir. War das nicht eine junge, schlanke Brünette mit fein und doch energisch geschnittenen Zügen und dunklem Glutauge, die im Elternhause freilich auf einen anderen Namen gehört hatte — auf den Namen B r e i e r? Die Tochter eines Wiener Volksromanciers, der lange Zeit in immenser Popularität gewesen, E d u a r d B r e i e r s, einstigen „Bombardiers“, der von der Kanonenlaffette weg sich an den Schreibtisch gesetzt hatte und dessen mit starker Erfindungsphantasie und einem gewissen historischen und Lokal-Kolorit geführten Romane heute noch in den Volksleihbibliotheken ihre begierigen Leser finden mögen. Er, A n t o n L a n g e r, und T h e o d o r S c h e i b e beherrschten bis zu den Siebzigerjahren hin den Feuilletonroman der Volksblätter. Dabei ein überzeugter, sinnesehrlicher Anwalt freisinniger Ideen, die er in einer damals nicht minder populär gewordenen Wochenschrift „Der g'rade Michl“ versocht — und überdies auch, da es ein Glücksstern so zu wollen schien, zärtlicher „Vater der Debütantin“. Wie der brave, in seiner Wohlbeleibtheit doch eidechsenartig bewegliche Mann mit beweglicher Rede von Redaktion zu Redaktion lief, die Kritiker für die Debüts seiner H e r m i n e zu interessieren! Sie war auch in der Tat ganz interessant mit ihrem ersten Versuch bei L a u b e im Stadttheater, mit der „Waise von Lowood“, deren kindhafter Mädchentrotz besonders in dem dunklen Wesen der jugendlichen Debütantin zu beredtem Ausdruck kam. Und s i e ist es, die mein Gedächtnis unter dem Pseudonym S e m m l e r vermutet. Nur vermutet eben — denn sollte es eine Irrung sein, so würde ich's meinem Erinnerungsvermögen gar nicht übelnehmen und nur eine Tonverstärkung der Elegie darin erkennen. Was war das für ein hellstrahlender Aufstieg eines zur Sonnenhöhe empor wollenden Talents, welcher Ruhmesrausch des jungen Geschöpfes, welcher Glückesstolz des beseligten Vaters — und verweht, verschollen, eine unerreicht gebliebene Zukunft, der kaum eine kurze Gegenwart vorausgegangen. Nichts davon geblieben, als ein zufällig aufgestöberter Name mit einem mächtigen Fragezeichen daran.

Ein anderer Name steht dabei in der Liste: S ch ä f e r. Deren entsinne ich mich wohl: L i n a S ch ä f e r, eine etwas „kühle Blonde“, sehr stilgerecht, sehr korrekt, eine „denkende Schauspielerin“ — was bekanntlich noch schrecklicher ist, als der „denkender Schauspieler“. Ihr Bild aber ist darum doch von der gleichen Melancholie umwoben. War nicht das in jenen Zeiten stolzeste Ziel erreicht? Erste tragische Liebhaberin der ersten deutschen Bühne — für die Dauer eines Moments. Und nur, um den raschen Zusammenbruch der Glückseligkeit desto schmerzlicher zu empfinden und niederzutauchen ins Nichts einer raschen Vergessenheit!

Fräulein S t e i n ist auch da verzeichnet, Hedwig Stein, die ebenfalls jäh dem Theater und seinem Gedächtnis entschwunden — aber um sich in die erfreulich lebendige Vergessenheit eines fürstlichen Eheidylls, als Fürstin L i e ch t e n s t e i n, zurückzuziehen. Und neben ihr I r m a J e l e n s k a, die „schöne Serbin“, deren kurzen Künstlerroman ich einmal an dieser Stelle erzählt habe, die vom Belgrader Nationaltheater über Wien und Prag ans Stuttgarter Hoftheater geratene Slavin, die ihr frühes

Ergebnis geführt. Die darauf bezüglichen Bemühungen werden jedoch fortgesetzt, zumal man auf deutscher Seite bei einem genügenden Entgegenkommen seitens der Regierung und der Tschechen nicht abgeneigt ist, von der Obstruktion abzulassen. Die Deutschen stellen die gewiß berechtigte Forderung auf, sie vor einer Majorisierung in nationalen Angelegenheiten zu schützen, was allerdings erst in einem späteren Zeitpunkte im Gesetzeswege geschehen kann. Inzwischen aber verlangen sie von der tschechisch-feudalen Majorität, beziehungsweise vom Präsidium, daß dieses die Geschäfte des Landtages in Hinkunft stets im Einvernehmen mit den Deutschen führe. Das Organ der Deutschfortschrittlichen in Prag, die „Bohemia", formuliert die Forderungen der Deutschen folgendermaßen: Die Deutschen können von dem Oberstlandmarschall die Zusicherung fordern, daß die Zusammenstellung der Tagesordnung nur mit der Zustimmung der Vertreter sämtlicher Parteien des Hauses erfolgen könne. Bisher stand es dem Oberstlandmarschall frei, die Tagesordnung nach eigenem Gutdünken festzustellen. Auf diese Weise konnte es geschehen, daß die Beratung der Vorlage über die Aenderung der Gemeindewahlordnung ohne Vorwissen der Deutschen auf die Tagesordnung gelangte. Bekanntlich gab gerade diese Vorlage den Deutschen den Anlaß, mit der Obstruktion einzusetzen. Weiter wird es Sache der Regierung sein, gleich zu Beginn der bevorstehenden Landtagssession jene Vorlagen einzubringen, deren Annahme ebenfalls die Deutschen vor der nationalen Majorisierung schützt. Es sei vor allem hingewiesen auf die Errichtung von Wahlkurien, welche es den Deutschen ermöglichen würden, selbständig ihre Vertreter in den Landesausschuß und in die Landtagskommissionen zu wählen und darin nicht von der Gnade der übrigen Parteien abhängig zu sein. Auch die bereits längst angestrebte Bildung nationaler Kurien mit dem Vetorechte müßte sobald als möglich den Gegenstand der Landtagsberatung bilden. Von dem Verhalten der tschechischen Abgeordneten diesen Fragen gegenüber wird es nun abhängen, ob der nächste Landtag arbeitsfähig sein wird, oder nicht. Jedenfalls wird vor dem Zusammentritt des Landtages eine Versammlung der Abgeordneten sämtlicher deutscher Parteien stattfinden und man ist überzeugt, daß in dieser wichtigen Frage ein einheitliches Vorgehen erzielt werden dürfte.

Tagesneuigkeiten.

Die ungarische Krise.

Ein neuer Wunschzettel der Koalition.

Budapest, März 1905.

Im Gegensatze zu den kursierenden Gerüchten, denen zufolge die Verhandlungen zwischen der Krone und der koalierten Opposition fast aussichtslos seien, erfährt Ihr endesgefertigter, außergewöhnlicher Korrespondent, daß die Führer der 48er Parteien sich im letzten Moment entschlossen haben, ein neues, und zwar so bescheidenes Programm aufzustellen, daß sie der Anerkennung aller friedliebenden Zisleithanier sowie der Zustimmung der höchsten Instanz sicher seien. Sollte auch dieses Ultimatum zu keiner befriedigenden Lösung führen, dann freilich seien schwere Konflikte unvermeidlich.

Ueber die Details des neuen Versöhnungsprogramms erfahre ich folgendes:

Das Zollgebiet wird nur in der Weise getrennt, daß österreichische Artikel bei der Einfuhr nach Ungarn einer Besteuerung unterliegen, daß anderseits ungarische Waren, die nach Oesterreich exportiert werden, eine Ausfuhrsprämie erhalten. Die dem ungarischen Staate hiedurch erwachsenden Kosten werden durch eine Erhöhung der Einkommensteuer in Oesterreich aufgebracht, deren Ertrag vom österreichischen an den ungarischen Finanzminister abzuführen ist.

Die ungarischen Patrioten verschließen sich nicht länger der Einsicht, daß eine verschiedene Kommandosprache und verschiedene Embleme in der Armee deren Wert im Ernstfalle nicht erhöhen würden, sie verzichten daher auf diesen Wunsch der Nation und sind bereit, in Zukunft für die unteilbare Einheit des gemeinsamen Heeres einzutreten, unter der einen selbstverständlichen Bedingung, daß als gemeinsame Kommandosprache die ungarische und als gemeinsames Emblem die ungarischen Farben bestimmt werden.

Als Entschädigung für dieses weitgehende Entgegenkommen in den wichtigsten Punkten fordert die vereinigte Opposition hingegen einige Konzessionen finanzieller und repräsentativer Natur.

Oesterreich verzichtet auf seine Vertretung in den gemeinsamen Ministerien und im Auslande, wogegen Ungarn seinen Anteil an den gemeinsamen Staatsschulden an Zisleithanien abtritt.

Der derzeitige Minister des Aeußern wird im Amte belassen, hat jedoch in seiner bekannten Amtstracht insofern eine Aenderung vorzunehmen, als er in Zukunft an seine historische Schlafhaube eine Quaste in rot-weiß-grüner Farbe anbringen muß.

Die Hofburg in Wien, sowie die Schlösser in Schönbrunn, Lainz, Ischl etc. etc. haben ihre bisherigen Bezeichnungen abzulegen und führen den Titel: „Hotels Imperials", um auch nach außen hin zu dokumentieren, daß die Burg in Ofen und die Schlösser in Gödöllö etc. als Stammsitze des ungarischen Königs zu betrachten sind, der nur vorübergehend als Gast im österreichischen Ausland weilt.

Die Hoftheater in Wien verlegen ihren Sitz nach Budapest. Die Mitglieder des Burgtheaters haben bei Dienstesentlassung binnen sechs Monaten ungarisch zu lernen. Die Sänger und Sängerinnen der Oper sind von dieser Verpflichtung entbunden, da es einerlei ist, in welcher Sprache sie singen. Verstanden werden sie ja so wie so nicht.

Um aber auch loyalerweise die österreichische Landeshauptstadt nicht aller ihrer vornehmsten Kunstinstitute zu berauben, wird die Budapester Orpheumgesellschaft in Wien belassen, der gleichzeitig eine staatliche Unterstützung und eine Subvention aus der königlichen Privatschatulle behufs Förderung ungarischer Dichtung und Eigenart zuerkannt wird. Als nationaler Intendant der Budapester Orpheumgesellschaft ist der bisherige Direktor eines anderen Wiener Kunstinstitutes, Karczag Vilmos, in Aussicht genommen.

Selbst chauvinistische Oesterreicher werden schließlich zugeben, daß Wien keinerlei Anrecht darauf hat, ein Wahrzeichen zu führen, das den Namen des ungarischen Landespatrons, des heiligen Stephan trägt: den Stephansturm. Aus Rücksicht für die langjährige Tradition und unter Erwägung der technischen Schwierigkeiten verzichten dennoch die Führer des ungarischen Volkes vorläufig auf eine Uebertragung dieses Bauwerkes nach Budapest und behalten sich definitive Beschlüsse diesbezüglich noch vor.

* * *

Dies sind einige Details des jüngsten unabhängig-ungarischen Programms.

Eine Deputation der koalierten Opposition will diese versöhnlichen Vorschläge demnächst dem König unterbreiten. Sie hat bereits um eine Audienz für nächsten Samstag (1. April) angesucht.

Dieses Datum kann für Ungarn-Oesterreich von historischer Bedeutung werden.

Robert.

Wiener Originale.

IX.

Der Rätsel-Doktor.

Lebt da irgendwo in der Welt ein alter Herr, der Rudolf Sperling heißt oder auch Doktor Spätzlein und seit mehr als Menschenalter Rätsel schmiedet ohne Unterlaß. Magische Quadrate, Rösselsprünge, Schiebrätsel und Charaden. Die kennen wir nun seit unzähligen Jahren. Einmal sah man sie in der „Gartenlaube", einmal in der „Neuen Illustrierten Zeitung", einmal in „Ueber Land und Meer" und einmal in der „Leipziger Illustrierten", und wo der Name Doktor Spätzlein darunter stand, da war's Bürgschaft für die klassische Form des Rätsels; eine schwere Nuß, eine Nuß, die mit guten Zähnen, aber auch mit Verstand geknackt werden mußte. Die Rösselsprünge waren sonderlich seine Lust. In Feierstunden sammelten sich die Familienangehörigen um seine Rätsel-Ecke, wie's in den alten deutschen Hauszeitschriften auf der Titelseite abgebildet ist, und dann war Doktor Spätzlein der Held des Tages. Seine Probleme zeigten Grazie und Präzision, er machte die hübschen Gedichtlein selbst und niemals ließ er sich die Gelegenheit entgehen, ein historisches Ereignis, einen Tageshelden oder einen Gedenktag in den Rösselzügen des Schachbrettes mit einem sauber komponierten Poem zu feiern. Das traf er bald so meisterlich, daß er der unumschränkte Beherrscher des Rösselsprunges wurde und den Namen eines Rätseldoktors taxfrei bekam. Er hat ihn bis zum heutigen Tage als einer der wenigen Diplomierten seines Faches behalten.

Der alte brave Rätseldoktor, der uns so viele Freude gemacht hat, wenn wir ihm irgendwo in einer Zeitschrift begegneten, ist nun siebzig Jahre alt geworden. Gestern war sein Jubeltag, und da suchte ich ihn in seiner Werkstätte auf, um Einblick in dieses Menschenleben zu bekommen, das ganz erfüllt ist von Problemen, von Kombinationen, von arithmetischen Figuren und von den Sprüngen des Rätsels. Frisch erhält's, dieses Metier, das muß man sagen, denn es ist ein rüstiger, beweglicher, weißbärtiger Herr, der mir in seiner bescheidenen Klause hoch oben, nahe dem Dache, entgegentritt. Von seinem Kämmerchen sieht man in einen kleinen Hof, aber der blaue Frühlingshimmel spannt sich greifbar fast zu seinen Häupten, und seine Namensvettern, die Sperlinge, flattern über die Simse und tun so vergnügt, als fänden sie überall liebevolles Futter. Da findet Herr Rudolf Sperling Muße und Stimmung zu seinen schönen kleinen Liedern, die weit über das Maß des Gewöhnlichen reichen, und dann zwingt er sie in die Figuren des Springens, ersinnt artige Zeichnungen und grübelt über neuen Motiven. — Froh und ungestört haust er da droben, ein einsamer Spatz, der so lange Rätsel spann und sann, bis er darüber siebzig Jahre alt wurde. — Sein Alter drückt ihn nicht, macht ihn nicht mißmutig und sein Bett diente ihm bisher nur zum Schlafen, nie zum Kranksein. Dazu ließen ihm seine Rätselnüsse keine Zeit.

Man wird nicht leicht zum Rätsel-Doktor. Wie zu jeder Vollkommenheit, führen schwere Pfade auch zur Höhe auf diesem Gebiet. Rudolf Sperling erzählt mir davon. Mit großen Hoffnungen trat er in die Welt, Theodor Vischer und Johannes Scherr waren seine Lehrer, lasen seine Dichtungen und mit kühnen Würfen wollte er das Leben gewinnen. Ueberreich kamen die Enttäuschungen. Erst versuchte er es mit Dramatik, dann mit Lyrik, aber das reichte nicht aus für's tägliche Brot, so kam er durch die Not auf die Vervollkommnung des Rösselsprunges und seit mehr als dreißig Jahren ist er nun der Klassiker der Rätselecke. Anfänglich wurden seine zierlichen Rätselpoesien glänzend gezahlt, die deutschen Familienzeitschriften honorierten die Rösselsprünge mit zwanzig Mark pro Stück, und Sperling, der das so populär gewordene Pseudonym Doktor Spätzlein erwählt hatte, konnte gar nicht den Bestellungen nachkommen. Aber auch auf diesem Abzweiglein der Literatur machte sich die Konkurrenz geltend. Später gingen die Preise auf zehn Mark und fünf Mark herab, und heute ist Doktor Spätzlein froh, wenn er seinen Rösselsprung zu zwei Mark placieren kann. Das bekümmert ihn aber nicht, die vielen Jahre haben ihn seinen Broterwerb lieb gemacht, und nun sitzt er schon über Osterliedern und Pfingstgedichten und sinnt nach neuen Formen für den Rösselsprung. „Die Not hat mich zum Rätselonkel gemacht," sagt er, „und nun kommen sie von allen Seiten und wollen nicht glauben, daß ich ein Siebziger bin." — Ob ihn die Probleme nicht verirren, ob er in seinen Träumen nicht die Reiter sieht, die Figuren, die zerhackten Silben?

Ei ja freilich, das Rössel begleitet ihn schon durchs Leben, aber diese ewigen mathematischen Studien freuen ihn, diese Zeichnungen geben dem Sein Inhalt. Er hat sich's freilich anders vorgestellt, dieses Leben als Jüngling, aber da ihm die Ideale geraubt wurden, ist er auch mit seinem jetzigen Los zufrieden. Er erinnert sich deutlich an seine Studentenzeit. Theodor Vischer verehrte er, und als er eines Tages zu ihm in die „Arche Noah",

---

abgewickelt worden. Abenteuer, Romantik schienen Robert zu fliehen, und manchmal ärgerte er sich bei dem Geflüster seiner Kollegen von galanten Abenteuern ein wenig über seine eigene Hausbacken- und Philisterhaftigkeit, obgleich er genau wußte, daß drei Viertel dieser Geschichten erlogen waren.

Es war etwa acht Tage nach dem Begräbnis. Herr Paul Ehlwers war nach längeren Konferenzen mit dem alten Herrn Wigand wieder nach Paris abgereist — da ließ Herr Wigand Robert eines Abends zu sich bescheiden und teilte ihm in seiner murmelnden, trockenen Weise mit, daß die verwitwete Frau Gustav Ehlwers den Wunsch ausgesprochen habe, daß einer der Herren des Kontors ihr bei der Durchsicht der großen Haushaltungsbücher und Privatkontos behilflich sein möge, die der Verstorbene stets persönlich in seiner genauen, pedantischen Weise geführt hatte. Herr Wigand beurlaubte Robert auf die Dauer zweier Wochen für die Nachmittage, damit der junge Buchhalter die Prüfung dieser Bücher in der Privatwohnung des Verstorbenen vornehme. Robert war es zufrieden und hatte dabei die stille Hoffnung, etwas früher zu den Seinen heimzukommen; ohnehin hatte er Frau und Kind jetzt nur noch wenige Tage daheim, dann begaben sie sich wie alljährlich, zu den Schwiegereltern nach Steiermark in die Sommerfrische. Einen Landaufenthalt nächst Wien konnte Robert mit seinem Einkommen noch nicht erschwingen. Er lebte dann zwei lange Sommermonate als Strohwitwer, bummelte vom Kaffeehaus ins Gasthaus und umgekehrt und tröstete sich mit dem Gedanken an die vierzehn Tage Urlaub, die er stets bei den Seinen verbrachte, die dann mit ihm in die Stadt zurückkehrten.

In der Wohnung des verstorbenen Herrn Gustav Ehlwers, die Robert bei Lebzeiten des Chefs nie betreten hatte, schien ihm noch ein betäubender Geruch von Weihrauch und Blumen die Luft in den prächtig ausgestatteten Räumen zu erfüllen. Ganz besonders schien dieser sonderbare fade Geruch sich nicht aus Herrn Gustav Ehlwers' Arbeitszimmer vertreiben lassen zu wollen, obwohl Robert beide Fenster, die in den Garten hinabgingen, aufriß, als er zum erstenmal das Gemach betrat, in dem er arbeiten sollte. Das kam wohl daher, daß hier in diesem Zimmer die Leiche aufgebahrt gelegen hatte. Das Arbeitszimmer des Verstorbenen war übrigens ein wahres Schmuckkästchen künstlerischen Geschmackes. Der große Schreibtisch war ein wahres Meisterstück der Holzschnitzkunst, an den Wänden hingen ausgezeichnete alte und moderne Bilder. Ein herrlicher Diwan war mit einem wundervollen Eisbärfell überdeckt. Gerade über dem Diwan hing an der Wand ein von Meisterhand gemaltes Porträt der Frau Agnes Ehlwers in Soiréetoilette. Robert starrte, als ihn der Diener zum erstenmal in das Zimmer geführt hatte, fast verwundert nach diesem Bildnis, nach dem herrlichen Frauenkopf mit den seelenvollen Augen und dem wundervollen Blondhaar, nach diesen prachtvollen Schultern, die aus der zarten Spitzenrobe hervorwuchsen, nach dem klassischen Nacken und der lebensvollen Büste. Der Diener räusperte sich und Robert schrak errötend zusammen. Dann nahm er an dem Schreibtisch Platz und vertiefte sich in die ihm vorgelegten Bücher. Von Zeit zu Zeit blickte er nach dem Porträt und murmelte dann wohl ein leises „Donnerwetter!" vor sich hin. In derselben Weise gab er seinen Gefühlen Ausdruck, wenn er in den Büchern, die er überprüfte und mit den Rechnungen verglich, auf die Toilettenausgaben der schönen Frau Agnes stieß. Er wurde Mitwisser aller Toiletteintimitäten der schönen Frau, denn Herr Gustav Ehlwers war wirklich ein Pedant gewesen in allem und jedem.

Wenn aber Robert gehofft hatte, daß er früher aus dem Kontor würde heimgehen können, so hatte er sich gründlich getäuscht. Er wurde mit seinem Tagespensum — Frau Agnes wollte alles geordnet haben, bevor sie zu ihrer Erholung von den tiefen Gemütsaufregungen, die der Tod des Gatten mit sich gebracht hatte, nach dem Süden verreiste — oft erst um neun Uhr oder noch später abends fertig. Frau Agnes ließ ihm stets Tee und einen Imbiß servieren. Sie selbst entschuldigte sich und er bekam sie erst am fünften Tage zu sehen, seit er in dem Gemach ihres Gatten arbeitete. Sie erschien in Begleitung einer alten Dame, ihrer Tante, die eingetroffen war, um die junge Witwe zu trösten, und dankte mit einer tiefen, wundersam klingenden Stimme dem jungen Buchhalter für seine Mühe. Sie trug ein schwarzes, bis oben geschlossenes Trauerkleid und die wundervollen Haare, die in schweren, zusammengesteckten Flechten ihr in den Nacken fielen, waren mit einem Trauerflor durchflochten. Ihr Gang war ein seltsam schwebender und Robert lehnte sich tief aufatmend zum Fenster hinaus, als die schöne Frau verschwunden war, und trank den Lindenduft des Gartens in vollen Zügen. Die Brust war ihm beklommen und mit dumpfem Kopfschmerz setzte er sich wieder zur Arbeit. Es mußte der fade Weihrauchduft sein, der nicht aus diesem Zimmer weichen wollte, der ihm auf Kopf und Herz zu drücken schien.

Daheim fand Erna ihren Gatten blaß und überarbeitet. Aber er lachte sie aus, plauderte von der bevorstehenden Abreise nach Steiermark und blickte nur manchmal, plötzlich im Gespräch innehaltend, vor sich hin, als tauche vor ihm eine Vision auf. Frau Erna blickte ihren Mann verwundert an, aber da lächelte er wieder . . .

Manchmal kam Frau Agnes Ehlwers auch ohne die alte Tante, die leidend war, in das Zimmer, wo Robert über den Büchern saß und rechnete und notierte. Sie beaufsichtigte den Diener beim Servieren des Imbisses, füllte selbst die Teeschale mit dem goldigen Trank. Schwebte leise durch das Zimmer oder ließ sich auf das Eisbärfell sinken, sprach mit müder Stimme von dem Verstorbenen, von ihrer Fahrt nach dem Süden, von dem Geschäftshaus und vom Juniabend und dem Duft der Linden. Und Robert antwortete ihr mit einer Stimme, die gar nicht den Klang hatte wie die Stimme, mit der er zu Erna sprach. Er wunderte sich selbst darüber. Uebrigens auch von seiner Erna und der kleinen Liane war die Rede. Frau Agnes hatte sich freundlich nach seinen Familienverhältnissen erkundigt. Und noch immer war der seltsam betäubende Duft nicht aus dem Arbeitszimmer des verstorbenen Herrn Gustav Ehlwers gewichen . . .

Und eines Abends — am nächsten Tage früh morgens sollte Erna mit dem Kinde zu den Schwiegereltern reisen, es war ein schwüler Juliabend und der Duft der Linden zog berauschend durch die Fenster in Gustav Ehlwers Arbeitszimmer hinein und vermengte sich mit dem Weihrauchduft, der sich nicht vertreiben ließ aus dem Gemache, in dem der Tote aufgebahrt gelegen war — da geschah es, da hatte Robert, wie von Raserei überkommen, das schöne blonde Weib des Toten an sich gerissen, da hatte Robert Gustav Ehlwers Witwe in den Armen gehalten . . .

Als Robert heimkam, war Erna noch mit dem Packen für die bevorstehende Reise beschäftigt und sah nicht, wie bleich ihr Gatte war und wie in seinen Augen ein Schimmer von heißem Glück und verzehrender Glut flackerte . . .

Robert lag die ganze Nacht wach und starrte ins Dunkel, er hörte nicht die ruhigen Atemzüge seines schlafenden Weibes, er sah vor sich ein berauschend schönes Weib voll heißer Leidenschaft, er sog den Duft flutender Haarwogen ein, er brannte wie im Fieber und plötzlich fiel es ihm ein, er hatte sein Abenteuer gehabt. Ein wirkliches Abenteuer . . .

Am nächsten Vormittag — er hatte Erna, Liane und das Dienstmädchen zur Bahn begleitet und den Kopf geschüttelt und gezwungen gelächelt, als Erna ihm zärtlich zuflüsterte: „Du siehst blaß aus, ich wollte, du hättest schon Urlaub!" — fand er im Kontor auf seinem Pult die Privatbücher Gustav Ehlwers', und Herr Wigand teilte ihm in seinem gewöhnlichen Ton mit, daß Frau Agnes Ehlwers mit einem plötzlichen Entschlusse heute bereits nach dem Süden abreise, er möge die Arbeit mit den Büchern jetzt im Kontor beenden, es habe keine Eile. Herr Wigand murmelte noch

seinem Lieblingsgasthaus, ging, las er ihm sein Drama „Nausikaa" vor. „Viel Talent, sehr viel Talent," sagte der Alte, „aber da gibt es noch viele Härten," und dann wies er ihm Verse, die seinem Geschmack nicht entsprachen. Sperling schildert Theodor Vischer als trockenen Gelehrten, der seine äußere Erscheinung arg vernachlässigte und nur einen haßte: seinen Kollegen Johannes Scherr. Der vergalt ihm die Feindschaft reichlich. Sahen sie sich auf der Straße, dann wandten sie sich unter Zeichen des Unwillens ab und einmal spien sie in Zürich vor einander vor allen Leuten aus.

In Wien suchte Sperling, der viele Stücke geschrieben hatte, bei Laube unterzukommen. Einmal überbrachte er ihm ein Werk und erhielt den Bescheid, sich in acht Tagen Antwort zu holen. Sperling kam in seine Wohnung, aber Laube wurde kotzengrob, erklärte, er sei nicht dazu da, alle Stücke zu lesen, und verwies den eingeschüchterten Autor an die Kanzlei des Theaters, das Stück warf er ihm nach. Später bereute er und schrieb Sperling viele Briefe, in denen er die Vorzüge des Stückes anerkannte. „Ich führ's auf," sagte er, „aber es muß tragisch enden." Sperling wollte nicht, er gab kein Haarbreit nach, und als er Laube später einmal im Prater traf, sagte dieser: „Nun? Haben Sie sich's überlegt? Lassen Sie sie sterben (die Hauptpersonen), und das Stück wird gespielt." Der halsstarrige Dichter aber antwortete: „Sie bleiben am Leben und es wird nicht gespielt."

Fehlschläge mancherlei Art folgten, die „Lieder des einsamen Spatzen" erschienen, brachten Ehre, aber wenig Geld, und Sperling wurde unter Beihilfe Balduin Grollers, der ihm die „Neue Illustrierte Zeitung" erschloß, der Rätsel-Doktor, der er bis heute hors concours geblieben ist. Tausende von Rösselsprüngen hat er ersonnen und Hunderte von lustigen Liedlein gemacht, aber zeitweilig erinnert er sich doch, daß er ein einsamer Spatz ist, und dann passen seine Reimereien wenig zu dem von ihm erwählten Metier, die Alten und die Jungen in Feierabendszeit zu zerstreuen. Da singt er:

Wenn ich begraben einst in fremder Erde
Und Tausend nahen mit Gebet und Klage
Die Gräber ihrer Toten zu bekränzen —
Wer schmückt m e i n Grab am Allerseelentage?!

Genug, genug, wenn von den vielen Tausend
Ein Wesen nur, von Mitleid still bewegt,
Ein „Ruhe sanft!" spricht und im Weiterwallen
Auf meinen Hügel eine Blume legt.

So ist er der alte, einsame Spatz, wechselnd in seinen Stimmungen, aber immer frisch und rüstig. Die Frauen liebte er stets, und da er ihnen allen zugetan war, konnte er sich nicht dazu bewegen, e i n e zu nehmen. Mit der modernen Literatur steht er auf dem Fehdefuß; so lange er, der alte Rätseldoktor, am Leben ist, wird in seinen Blättern niemals ein „moderner Rösselsprung" zu lesen sein; bis in diesen Winkel wird sich die Kunst der Reimlosigkeit nicht verirren.

Das Interesse an dem schwierigen, geistreichen Rätsel ist sehr in Abnahme begriffen. Herr Sperling erzählt mir von der goldenen Epoche des Rösselsprunges, da er die Spitzen der Wiener Bevölkerung zu seinen Mitarbeitern zählte. Eine sehr populäre Exzellenz von der Diplomatie sandte ihm fast täglich geschickt gemachte Arbeiten und unter einem Pseudonym dichtete die Fürstin Pauline Metternich Rösselsprünge und philosophische Rätsel, die in der Form glänzend waren, deren Abdruck ihm stets Vergnügen machte. Heute sind die Rätselrubriken verflacht, die Zeitschriften, die bei Doktor Spätzlein die Rösselsprünge bestellen, zu zwei Mark das Stück, sind sehr selten. — Er lebt behaglich in seinen vier Wänden nahe dem Dach. Da hat er seine Tierbilder, Skizzen seines berühmten Bruders, des Malers Heinrich Sperling, und seine Bücher, in denen er sich über nahende Gedenktage informiert. An seinem Jubeltag haben sie zahlreich seiner gedacht, die Freunde des braven, guten alten Rätselonkels, und das hat ihn herzlich gefreut. Er ist zeitig auf den Beinen gewesen, ging in sein Stammcafé und zog wie gewöhnlich Papier und Blei hervor. Das Wetter war herrlich und er sah den Strom entlang nach den scharfen Konturen des Leopoldsberges. Da schrieb er Verse. Denn das müßte kein wahrer Dichter sein, der nicht an seinem siebzigsten Geburtstag der drei poetischen Schönheiten dieses Lebens gedenkt: Jugend, Frühling und Frauen.

A. D.-G.

„In den Strudel 'nein."

(Kunstdenkmal und Zeitdenkmal. — „Pariser Leben" in Wien. — Baron Gondremark und sein Lied als Prophet des „volkswirtschaftlichen Aufschwungs". — Die Wiener Première. — Der Operettenstil von damals und der „Einlagen"-Stil von heute. — Die Ueberlebenden. — Die „Müller-Nettl". — Fräulein F o n t e l i n und ein Wort der G a l l m e y e r. — Die „kleine Handschuhmacherin". — Das Wienerisch-Pariserische. — Der schlecht übersetzte M a t r a s. — Der Gesangsapostel der „neuen Aera", Wilhelm K n a c k.)

Nicht jedes Zeitdenkmal ist zugleich auch ein Kunstdenkmal, wie es ja doch verpfuschte und liederliche Monumente genug gibt. Das nichtsnutzigste aber bleibt darum doch ein „Zeitmonument", bei dessen Anblick der Hauch der Tage sich verspürt, an die es erinnert, und ein Gewimmel wird rund herum wieder wach, das sich damals im Leben tummelte. Im Wiener Leben, das sich so vergnüglich lüstern an Offenbachs „P a r i s e r L e b e n" ergötzte, obwohl es weder in Wort noch in Musik ein besonderes Uebermaß der Offenbachschen Wonnigkeit aussprühte und obwohl seine Lüsternheit heute, wo wir es darin „so herrlich weit gebracht", sich zahm und tugendsam ausnimmt, daß ein modernes Pensionatsfräulein höchst geringschätzig darüber lächeln würde. Technisch betrachtet, ist es eine recht saloppe Stückelarbeit der in ihrer Art sonst doch, sozusagen, klassischen Pariser Librettisten und wie auf momentane Bestellung in momentaner Hastigkeit zusammengestoppelt — ebenso hält die Musik, obwohl sie unbestreitbar viel der zierlichsten und sogar entzückendsten Schmucksächelchen bietet, gewiß nicht den Vergleich mit Offenbachs großen Operetten-Gaminerien aus. Aber trotzdem, wie gesagt, hat dieses „Pariser Leben" das Aroma jener daseinsfreudigen und allerdings übermütig gewordenen Wiener Zeitepoche eingesaugt und bewahrt, und so oft er wieder einmal auf dem Theaterzettel erscheint, wie in diesen Tagen eben, wirkt's auf die Jungen wie eine prickelnde Tradition und prickelt's in der Erinnerung der Alten.

Ein Wort und ein Typus haben damals dem leichtfertigen Ding gewissermaßen Bedeutung für Wiens Gesellschaftsleben gegeben — das Wort war eine Parole, der Typus eine Gesellschaftsfigur: der „Blitzmajor", mit dem die richtige Bezeichnung für einen vielpraktizierten gesellschaftlichen Existenzbetrieb gefunden war und den man von da an in allen möglichen Varianten agroszierte und danach traktierte. Der „Blitzmajor", der auch auf das Zivilschmarotzertum angewendet wurde, verblieb der Galerie der stehenden Figuren, mehr noch des Lebens, als des Theaters. Gab's und gibt's doch kaum einen größeren Kreis, der nicht seinen „Blitzmajor" in irgend welcher Gestaltung und Gewandung hätte. Das Losungswort aber war die im Sprachgebrauch der „Verfluchter Kerl"-Weise verbliebene Refrain-Devise des Baron Gondremark: „Ich stürz' mich in den Strudel 'nein." Wien war gerade in der rechten Disposition, „sich in den Strudel 'neinzustürzen" — nicht um sich zu „betäuben", wie man heute affektiert, sondern in dem gar nicht maskierten, frei und unverhüllt d'raufstostreibenden Verlangen, vermeintlich überwundene Trübseligkeiten aus dem Gedächtnis zu merzen und eine Lebensüppigkeiten versprechende Zukunft zu eskomptieren. Die Katastrophe von 1866 und die ihr vorangegangenen Regierungsmiséren schienen so rasch verschwunden, als sie hereingebrochen waren, und die „neue Aera" — die dritte seit dem März 1848 — die sich mit dem „Bürgerministerium" auftat, eröffnete dem sanguinischen Blicke eine weite Perspektive, nicht bloß politischer, sondern auch wirtschaftlicher Wohllebigkeit, Frühlingslüfte eines kommenden Nationalreichtums strichen durch Stadt und Land und, ohne sich darüber klare Rechenschaft geben zu können oder überhaupt zu wollen, war man von dem begehrlichen Gefühle durchdrungen, „sich etwas gönnen zu dürfen", weil die Mittel dazu da sein würden — unbestimmt noch, woher — und eine Lust des Genießens fing an, der allerdings alsbald herankommenden Genussesempfänglichkeit der goldströmenden „Gründungsära" vorzugreifen und vorzuarbeiten. Und in diese begehrliche Stimmung hinein sang der mit neugierig lüsternen Lippen schmatzende Vergnüglingsdilettant Baron Gondremark sein unternehmendes Lied: „In den Strudel 'nein." Nun hatte Wien sein Schlagwort, es sang aus allen Kehlen mit, weil alles, der eine so, der andere so, „in den Strudel 'nein" wollte. Gewiß nicht wie eine Kunstoffenbarung schaute sich das „Pariser Leben" da an, nicht einmal wie eine Kinematographie „in Lebensgröße", denn es war doch nur ein recht leichtsinniges Zerrbildchen eines recht fragwürdigen Ausschnittes des großen Pariser Lebens und jeder der ausgelassenen Schwänke, die das Josefstädter Theater heute aus Paris bezieht, gibt ein großzügigeres Bild davon. Aber wie eine Verheißung unbändiger Lebensfreudigkeit klang's nun einmal heraus in die Wiener Ohren und in die Wiener Gemüter, die für solche Verheißung gerade recht präpariert waren und sie mit froher Gier in sich aufnahmen. Und so gewann dieses an und für sich nicht besonders charakterreiche „Pariser Leben" hier in Wien den Charakter eines tönenden „Zeitstimmungsbildes" und so hat es ein, man dürfte beinahe sagen, historisches Plätzchen in der Wiener Theatergeschichte okkupiert.

Am 31. Jänner 1867 wurde „Pariser Leben" im Carl-Theater zum erstenmal aufgeführt, drei Monate nach der Pariser Première — einen Monat nachdem das Bürgerministerium ins Leben getreten war, also im dulci jubilo der „freiheitlichen" Flitterwochen. Demnach ein, nach der eben gegebenen Momentschilderung, zu lebhaftester Empfänglichkeit gestimmtes Publikum und allerdings auch eine, für den Offenbach-Stil trefflich zusammengestimmte Darstellung. Auf diesen vibrierend eleganten Stil waren ja damals überhaupt die beiden Wiener Operettenbühnen gestellt, auch wenn nicht gerade Offenbach gespielt wurde. Selbst in einer derbsten Drastik, deren ja wahrhaftig der „Orpheus" so wenig wie „Die schöne Helena" entbehren konnte, schlug doch immer das Zierliche vor, ein Parfüm von Grazie und Noblesse des „Liederlichen" durchwehte alles und vor allem störten keine Vordringlichkeiten von „Einzelnummern" mit der Manier willkürlicher „Einlagen", wie sie heute als Unentbehrlichkeiten der Operette gelten, die Harmonie des Ganzen. Die Musik hatte ihr dramatisches Gepräge, die Gesangsstücke trugen die bestimmte Physiognomie der einzelnen Personen und ein beliebiges Changez-passez, wie es in unseren dermaligen Operetten ein geläufiges Auskunftsmittel ist, daß nämlich eine Gesangspiece aus der einen Rolle in die andere verlegt wird, wäre bei dieser aufs Einheitliche und vor allem, wie gesagt, auf die musikalische Charakteristik gerichteten Faktur eine untunliche Absurdität gewesen. Nicht bloß des Textes, sondern ebenso des individuellen musikalischen Ausdruckes wegen, der immer einer bestimmten Person angepaßt war. Auch in der Operette eben war die geschlossene Kunstform die vorherrschende.

Drei von den ersten Darstellern sind noch lebende Zeugen dessen, der eine, T e w e l e, noch in frischester Agilität, die beiden anderen in behaglichem „Ruhestande": A n n a G r o b e c k e r, die das Stubenmädchen Pauline gab, und dann die zierliche Melitta A n n a M ü l l e r, die Witwe des erst letzthin erwähnten „schönen L a n d v o g t", jugendlichen Liebhabers im Burgtheater und späteren Berliner Restaurateurs, die einstige „Müller-Nettl", die den ähnlichen Uebersprung vom Hofopernballett zum Schauspiel gemacht hatte, wie Fräulein R e i n g r u b e r ihn vor den Augen des heutigen Publikums mit Glück gewagt hat. Auch bei der „Müller-Nettl" hatte ihr Glück den Sprung mitgetan und war ihr ins Carl-Theater gefolgt, ebenso wie ihre Gönner und Freunde vom Ballett, Herren aus dem high-life, die nunmehr die Allergetreuesten des Carl-Theaters wurden und eine vornehme Geleitschaft mit hinüberbrachten. Sie bildeten einen ganz ansehnlichen „Stock", auf den sich A n t o n A s c h e r, der dramatische Cicerone der scharmanten Ueberläuferin vom Ballett, wohl stützen konnte, als er dann selbst die Direktion übernahm. Er wandte ihr denn auch in Anerkennung ihres Wertes für sein Theater die lebhaftesten Sympathien zu, wie er ja gerne unumwunden zugestand, daß ihm eine junge, hübsche Schauspielerin immer lieber sei, als der gefeiertste „gereifte Künstler", wobei er sich selbst nicht ausnahm. Die „zweiten Ichs", die sein Schönheitsgeschmack mit gutem Blick zu wählen verstand, waren ihm immer lieber als sein erstes Ich. Aber auch das Publium hatte an der „Müller-Nettl" seinen Gefallen, und sie qualifizierte sich zu einer wirklich sympathischen und gern gesehenen „Salonliebhaberin".

Den eigentlichsten Pariser Timbre in der Erscheinung und ihrer ganzen Art und Weise hatte die Darstellerin der Baronin Gondremark, Fräulein F o n t e l i v e, eine überschlanke Gestalt von feinster und für ihren Gesundheitszustand beunruhigender Durchsichtigkeit — „ätherisch" hätte man sagen mögen, wenn nicht dieser Lebe- und Bühnenkreis da zu sehr gegen den „poetischen" Klang des Wortes kontrastiert hätte. Der schrankenlose Witz ihrer Kollegin G a l l m e y e r prägte ein anderes Wort dafür, als die „transparente" Dame, die das Geheimnis besaß, „wie man Männer fesselt", F ü r s t i n T h u r n u n d T a x i s wurde — es war ein Wort von einem, förmlich in den Gebeinen der lieben Kollegin herum „stierenden", Zynismus, der es unwiedergebbar macht, woran sich aber das Carl-Theater- und Gallmeyer-Wien weidlich ergötzte. Der Ausdruck „distinguiert" paßte auf die Haltung und die Darstellungsart dieser Schauspielerin wohl am besten, wenn es auch eine Distinguiertheit war, die den schärferen Blick etwas von den Fleckchen der Dumasschen „Pfirsiche" erkennen lassen mochte. Der „Kameliendame" konnte sie das ent- und ansprechendste Air geben. Bei allen Anregungen des Empfindens, die sonst von ihr ausgehen konnten, war ein Zug in ihr, der das Mitleid rege machte, weil sie wie vom Flügel des Todesengels gestreift und leise von ihm gezeichnet erschien. Sie ist auch nicht ins Alter hineingelangt, sondern von der Höhe des Lebens in raschem Niedergleiten ins Grab gesunken.

Neben ihr aber die G a l l m e y e r als Gabriele, die „kleine Handschuhmacherin". Die geniale Person hatte die merkwürdige Gabe, bei aller doch eigentlichen Unwandelbarkeit ihrer Person — sie blieb ja immer und in jeder Rolle nicht bloß die Lokalwienerin, nein, speziell die Gallmeyer — sich doch alles so anzupassen, daß man's akzeptieren und glauben mußte, was sie aus der Rolle machte, könne absolut gar nicht anders sein und könne gar nicht anders gespielt werden. Und so mußte sich auch die Pariser Handschuhmacherin dazu bequemen, die Physiognomie der Gallmeyer anzunehmen und sich mit ihr dermaßen zu identifizieren, daß Offenbach selbst in ihr seine „echteste Gabriele" fand, wie er „sich sie gedacht", und daß diese, ja doch pariserischst gemeinte Rolle eine von jenen wurde, die für die Wiener unlösbar an den N a m e n der Gallmeyer gebunden erschienen.

Während aber die Gallmeyer derart die innerlichen Zusammenhänge des „Wienerischen" mit dem „Pariserischen" gewissermaßen mit Doppelwirkung dartat, nahm sich der in Verbildlichung und „Vertonung" des Wiener Gemütshumors gewiß unvergleichliche M a t r a s als „Pariser Lebemensch" recht kurios — einseitig aus. Wie ein in das ungeschickteste Französisch übersetzter Urwiener nämlich — auch ein nachhaltig geltender Beweis, daß auch die vermeintlichen „glänzendsten" Besetzungen von „früher" nicht gar so vollkommen glänzend und ohne Gebrechen waren und daß man darum mit manchem Urteil über Gegenwärtiges milder sein darf. „Mit Wasser gekocht" ist seit des Urahn Thespis Zeiten in allen Theaterküchen worden, auch in den Hoftheaterküchen, wie in der französisch-wienerischen „Offenbach-Kuchel".

Als markanteste Figur der männlichen Darstellung prägte sich den Wienern nicht der Träger der Hauptpartie, der vierfachen Verkleidungsrolle, Karl T r e u m a n n ein — er war eben auch da der längstgewohnte Fregoli-Treumann mit seiner Verwandlungsfähigkeit und nur sein „Blitzmajor" blieb haften, weil's eben keine bloße Theater-, sondern eine allgültige Gesellschaftsfigur — aber Wilhelm K n a a c k als Baron Gondremark blieb den Leuten im Gedächtnis, weil er ihnen eben das Losungswort des Tages und der Epoche vorgesungen hatte: „In den Strudel 'nein".

S. S.

Ist das wahr?

Von besonders geschätzter Seite erhalten wir folgende Zuschrift:

Wir haben einen Kinderhilfstag in Sicht. Eine hübsche Anzahl von Vereinen ist bemüht, die Mißhandlung, die Vernachlässigung jedes einzelnen Kindes zu bekämpfen. Zuweilen nimmt sogar der Eifer, den Kindern beizustehen, kindische Formen an, aber niemand mag den unleugbar guten redlichen Willen tadeln, der einer so heiligen, schönen Idee gewidmet ist. Warum sollen wir denn nur einmal im Jahre wie zu Weihnachten fühlen? Ist nicht jedes Kind uns ein Erlöser aus dem trostlosen Philisterium des Alltags — sollen wir nicht dankbar jedem Kinde die Erlösung von allem oder doch wenigstens von einigem Uebel bringen? Wir, das heißt, wir Privatleute, wir einzelne, wir Leute, die zu zahlen und nicht zu reden haben. Die großen Körperschaften, der Staat als Vorbild, scheinen von der Begeisterung für das Kind noch nicht genugsam ergriffen zu sein.

Da liegt ein Aufruf vor mir, mit Namen unterzeichnet von ganz glaubwürdigen Leuten — und ich lese:

---

etwas wie: „Weiberlaunen!" dann rieb er sich die Stirn und sagte: „Ja, die Frau Ehlwers bedankt sich schriftlich bei Ihnen in diesem Briefchen und sendet hier" — dabei nahm er ein Etui hervor — „zum Dank für Ihre Bemühungen ein kleines Geschenk an Ihre werte Frau Gemahlin."

Herr Wigand lächelte väterlich, überreichte Brief und Etui Robert und ging in sein Kontor zurück. Er bemerkte gar nicht, daß Robert totenblaß geworden war. So etwas bemerkte der alte Herr mit dem schönen weißen Bart überhaupt nicht, das lag nicht in seiner Natur.

In dem Etui lag eine wunderschöne kostbare Smaragdbrosche, in dem Briefchen eine aschblonde duftende Haarsträhne und eine kleine Visitkarte mit den Worten „Leben Sie wohl!" in einer steilen Damenschrift. — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — —

Robert wurde diesen Sommer von seinen Kollegen viel gehänselt, weil er melancholisch herumstrich und sehr schlecht aussah. Sie nannten ihn nur den „Unglücklichsten aller Strohwitwer", einen „Mustergatten" und ähnlich, mit wenig Witz und viel Behagen.

An Sonn- und Feiertagen schritt Robert einsam durch den Wienerwald und sann mit einem wehmütigsüßen Gefühl darüber nach, daß er, er, der nüchterne, so gar nicht romantische Robert, ein wirkliches Abenteuer gehabt habe.

Langsam aber wurde er wieder der alte, wackere Kontormensch. Und als er zu seiner Frau und Liane nach der Sommerfrische in Steiermark kam, sah er wieder ganz vortrefflich aus.

Und als über Jahr und Tag aus Aegypten die Nachricht kam, Frau Agnes Ehlwers habe sich mit einem englischen Bankier verlobt und kehre nicht mehr nach Wien zurück, und Frau Erna, die die Nachricht aus der Zeitung vorlas, lebhaft ausrief: „Nein, wie rasch die ihren Mann vergessen hat!" da strich Robert ruhig lächelnd seiner lebhaften kleinen Frau die Haare aus der Stirn und küßte sie auf ihre frischen, roten Lippen . . .

Er hat ihr aber niemals etwas erzählt von der aschblonden Haarsträhne in dem Briefchen mit den drei Wörtchen: „Leben Sie wohl!", dem Briefchen, das er ganz zu unterst verwahrte in der Kassette, in der die wenigen Lose liegen, die er Erna oder Liane zu ihren Geburtstagen geschenkt hatte. Und er wird ihr auch niemals davon erzählen, daß er ein Abenteuer gehabt hat, ein wirkliches süßes Abenteuer, einmal, weil er seine kleine Frau nicht kränken will, und dann, weil ihm sein Abenteuer wie ein süßes, geheimnisvolles Traumbild, das ein lauter Zuruf für immer verscheuchen könnte, hineinleuchtet in sein ehrbares, wackeres Leben.

Städtische Angelegenheiten.

(Aus dem Rathause.) Der Gemeinderat hält in der kommenden Woche Dienstag nachmittags 5 Uhr eine Plenarsitzung ab. Stadtratssitzungen finden statt Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. — Dienstag vormittags um 9 Uhr wird die feierliche Enthüllung der ornamentalen Kandelaber vor dem Opernhause, ein Geschenk der Herren Böhler, stattfinden.

(Die neue Realschule im Bezirke Josefstadt.) Im Stadtrate berichtete Stadtrat Tomola über die provisorische Beistellung von Schullokalitäten an die Unterrichtsverwaltung zur Eröffnung der neuen Realschule im VIII. Bezirke und stellte folgenden Antrag: Der Unterrichtsverwaltung sind zum Zwecke der Errichtung einer neuen Realschule im VIII. Bezirke auf die Dauer von vier Jahren vom Schuljahre 1905/06 ab im Gebäude der städtischen Knaben-Volksschule Josefstädterstraße 93 die erforderlichen Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.

(Elektrischer Schnellverkehr Wien—Baden.) Im Stadtrate legte Stadtrate Schreiner gestern das Projekt der Aktiengesellschaft der Wiener Lokalbahnen für die Einführung des ektrischen Schnellverkehres auf der Strecke von Wien (Operngasse) nach Baden vor. Nach dem Antrage des Berichterstatters wurden die Vertreter der Gemeinde ermächtigt, bei der kommissionellen Verhandlung die vom Magistrat aufgestellten Bedingungen vorzubringen.

Tagesneuigkeiten.

Theaterverträge.

Reformpläne.

Alljährlich, wenn die Schwalben wiederkommen und die Theaterbesucher ausbleiben, also im wunderschönen Monat Mai, beginnt sich sonderbarerweise das Interesse für die Bühnenweltereignisse neu zu beleben. Wenigstens bei uns in Wien. Man spricht nämlich von der nächsten Saison. Nicht etwa davon, was dort oder da gespielt werden wird, sondern davon, wer dort oder da nicht mehr spielen wird.

Jedes Theater, das bißchen auf Reputation hält, muß doch ein oder anderthalb Lieblinge haben. Jeder Liebling aber hat anstandshalber während der Saison einige kleine „Krisen" und vor Saisonschluß einen „Riesenkrach". Das ist einmal so Sitte. Zwischen Faschingdienstag und Ostersonntag werden zumeist einige feierliche Gelübde abgelegt, nie wieder unter gewissen Direktionen gewisse Bühnen zu betreten. Gewöhnlich löst sich aber die bitterböse Feindschaft in süßen Frieden auf. So war es bei — nomina sunt odiosa — unzähligen Lieblingen des Publikums, die aber keineswegs zu den Lieblingen ihrer Direktoren zählen. Man wirft den Herrschaften Unverträglichkeit vor. „Vertragen" kommt von „Vertrag". An den Verträgen liegt also die Schuld, an der sogenannten Unverträglichkeit. Die Verträge müssen reformiert werden. Von beiden beteiligten Kreisen wird an solchen Reformen gearbeitet, von den Kunstarbeitgebern und von den Kunstarbeitnehmern.

* * *

Seitens der Direktoren wird, wie wir von nicht unterrichteter Seite erfahren, an den Entwurf eines Normalvertrages gedacht, der nur wenige neue Paragraphen enthält, unter anderem:

§ 4. Jedes engagierte Mitglied ohne Unterschied des Alters und Geschlechtes hat sich im Umgange mit den Direktoren der größten Höflichkeit und der vorzüglichsten Hochachtung zu befleißigen. Zuwiderhandelnde werden mit Geldstrafen bis zur doppelten Höhe einer Jahresgage bestraft.

§ 6. Die Zuteilung der einzelnen Rollen bleibt einzig und allein dem künstlerischen Ermessen der Direktion überlassen. In zweifelhaften Fällen werden die Rollen vor der ersten Probe ausgewürfelt. Die Ablehnung einer zugefallenen Rolle wird mit (siehe oben) bestraft.

§ 9. Urlaub während der Spielzeit gibt es nicht. Erkrankungen sind nur im Einvernehmen mit der Direktion gestattet.

Weitergehende Anträge einzelner Direktoren, die auf Einführung körperlicher Strafen rc. drangen, sollen von der Mehrheit der Bühnenleiter dermalen abgelehnt worden sein.

* * *

Weit komplizierter als die erwähnten Vorschläge der Direktoren ist der Entwurf eines Mustervertrages, den ein bedeutender Künstler mit Hilfe dreier Rechtsfreunde aufgesetzt hat und demnächst sämtlichen Wiener Direktoren zur Annahme vorlegen will.

§ 1. Der Gefertigte verpflichtet sich, gegen ein Spielhonorar von 1000 Kronen, vierzigmal monatlich garantiert, in der Zeit vom November 1905 bis März 1906 im N-Theater als Ehrenmitglied zu figurieren.

§ 2. Findet sich in einem der von der Direktion angenommenen Stücke eine ihm zusagende Rolle, so gibt er für diesen Fall die allerdings nicht bindende Zusage, persönlich aufzutreten. Für jede ihm zur Durchsicht übersandte Rolle hat die Direktion ihm ein Einreichungshonorar von 2000 Kronen im vorhinein zu erlegen.

§ 3. Der Direktor oder die Direktoren verpflichten sich, während der Proben eines Stückes, in dem er auftritt, weder auf der Bühne, noch im Zuschauerraum, noch im Umkreise von drei Kilometer vom Theater zu erscheinen. Dagegen steht den Direktoren das Recht zu, sich während der Vorstellung im Zuschauerraume aufzuhalten.

§ 4. Der Gefertigte hat das Recht, den gleichen Vertrag gleichzeitig mit mehreren Direktionen abzuschließen. Er verpflichtet sich dagegen, allabendlich spätestens um 1/2 7 Uhr mitzuteilen, an welchem Theater er an diesem Abende aufzutreten gedenkt.

§ 5. Bei Abschluß dieses Vertrages hat die Direktion einen Vorschuß in der Höhe von 40.000 Kronen an den Gefertigten auszuzahlen. NB. Das Geld für gelöste Verträge wird unter keinen Umständen zurückerstattet.

Robert.

Wiener Originale.

X.

Volksdichter Eduard Merkt.

Der Schiller-Rummel ist im Abflauen. Man kann sich nun wieder ein bißchen den heimischen Größen widmen. Da hat vor wenigen Tagen der bekannte Wiener Volksdichter Eduard Merkt sein dreißigjähriges Volksdichterjubiläum gefeiert. Ganz Wien war dabei, es brachen fast der Bühne Stützen beim Weigl. Und das ist auch keine Kleinigkeit: dreißig Jahre Wiener Lieder dichten!

Es wird viele Literaten geben, die ihn nicht kennen, den populären Eduard Merkt, die die Nase rümpfen, daß man von seiner dreißigjährigen Berufstätigkeit so viel Aufhebens macht. Aber das tut seiner Popularität keinen Abbruch. Er ist ein echtes Wiener Kind, singt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, und was er gedichtet hat, das singen die Wiener an allen Orten, wo wienerischer Humor üppig ist, beim Heurigen, beim Brady und in den Salons unserer volkstümlichen Aristokratie. Der Deutschmeister, wenn er Sonntags den Prater besucht, der Fiaker, wenn er einen soliden Fahrgast hat, der Herr Göd, wenn sein Firmling gesättigt ist, sie alle finden in einem Wiener Lied von Merkt ein schönes, ein erhebendes Vergnügen.

Das ist auch so eine Eigenart der Volksdichter, daß sie schon im Aeußeren keine Aehnlichkeit mit den übrigen Poeten haben. Herr Eduard Merkt ist die Type des kernigen, reschen, humorvollen Wiener Wirtes. Das gesunde, frische, gutgefärbte Gesicht, der weiße Schnauzer und die solid gefügten Arme tragen dazu bei, daß er niemals für einen Dichter gehalten wird. Er erzählt mir auf meine Bitte von seinem Beginn als Dichter, von seinem Werdegang, von seiner Position.

Im Jahre 1875 hat er begonnen. Damals war er Kantinenkellner, aber schon erfüllte glühender Patriotismus und schöne Liebe für sein Volk sein Herz. Er begann für Volkssänger zu schreiben; seine Lieder wurden gesungen und die bekanntesten Sänger der damaligen Zeit suchten seine Werke und brachten sie unters Volk. So wurde er Kellner und Poet dazu. Denn von der Dichtkunst ließ sich niemals allein leben. Auf Honorar verzichtete der junge Mann gern, es machte ihm Spaß, seine Lieder vertont zu sehen. Seine erfolgreichste Epoche brachte die Zeit der Deutschmeisterlieder. Er dichtete sie und im Brucker Lager wurden sie dem Erzherzog Wilhelm vorgetragen, der Merkts Schöpfungen sehr lieb gewann und sich alle neuen Deutschmeisterlieder in der Musikalienhandlung kaufte. Das war eine flotte Zeit. Ziehrer begleitete irgend einen sangeskundigen Deutschmeister auf der „Klampfen" und bald sang das ganze Lager den „Deutschmeister-Franzl", den „Vater des Regiments" oder das populäre Lied „Dort, wo der Steffel kerzeng'rad' als Spleni Posten steht".

Was sich in der Zeit seines dreißigjährigen Wirkens im Wiener Volkslied verändert hat?

Herr Merkt meint, daß die Liebe an patriotischen Gesängen ein wenig schwächer wurde, daß Sentimentalitäten aber noch heute kurant sind. Neu sind die aufjauchzenden Wein- und Bierlieder. Sie entsprechen der Stimmung beim Heurigen, bei den Gesangsquartetten, grundfalsch aber sind die Zoten, die nun langsam in das Volkslied einzudringen versuchen. Sie werden weggefegt werden und auch die Vorliebe für Operettenmusik kann nicht von Dauer sein. Beim Heurigen soll man Heurigenlieder singen und in der Operette Operettenlieder, jedes an seinem Ort. — Er erzählt mir lächelnd, daß er für gar manche Operette das wienerische Couplet gemacht hat, aber er verrät davon nichts — der Kundschaft wegen. Das Wienertum ist ein Ding, das sich nicht anerziehen läßt, und er zitiert mir eine ganze Reihe von Texten, in denen die Librettisten ein falsches Wienerisch in Vertrieb setzten.

Wie ein Volksdichter erfindet?

Die Methode ist sehr volkstümlich. Herr Merkt, der im Volke lebt, geht zum Heurigen, erkennt die Stimmung der Leute, hört irgend ein populäres Wort ausflattern und daran knüpft er sein Lied. Da gibt's keinen „Schimmel", keine sorgsam gewogenen Verse, da wird nach der Natur gedichtet und nach der Natur komponiert. Ins Ohr gehen muß es. Der Volksdichter sucht sich passende Reime und gangbare Worte; nach dem Reim wird der Text gestellt, die wirkungsvolle Strophe kommt als letzte, und das Lied ist fertig. So entstand eine seiner letzten Schöpfungen:

Der Wein, der is mei Bruader,
Mei Schwester is das Bier,
I bin a großes Luader,
Da kann i nix dafür.
Bei der Gaude am Ruader
Sag' i frei überhaps,
Mei böse Schwiegermuada
Das is für mi der Schnaps.

Wir sprechen von Wiesberg, den Merkt den größten Volksliederdichter nennt, der traf den Wiener Ton wie keiner, als er „Das hat ka Goethe g'schrieb'n" sang. Ihm zur Seite darf der Komponist Hans Schrammel genannt werden, ein Meister im kleinen, dessen „Vindobona, du herrliche Stadt" und der „Schwalbe Gruß" gewiß nicht so leicht der Vergessenheit anheimfallen können. Und der Nachlaß Schrammels, der noch viele Kostbarkeiten enthält, ist um vierzig Gulden verschleudert worden.

Ich frage Herrn Merkt um die Ursachen des Niederganges im Volkssängertum. Er gibt den Quartetten schuld, die allerdings Ausgezeichnetes leisten. Hans Schrammel hat in Nußdorf das erste Gesangsquartett offiziell ins Leben gerufen, und nun findet man sie überall, und überall darf man mit ihren Darbietungen zufrieden sein.

Herr Merkt hat viele Größen des alten Wien gekannt. La Roche, Wagner, Meixner und Rettich. Sie kamen ins Lothringer Bierhaus und kneipten dort. Desgleichen taten O. F. Berg, Langer und Kaiser bei den „Drei Hackeln". Ueber Eigenheiten künstlerischer und literarischer Art weiß sich Herr Merkt leider nicht zu erinnern, denn mit den Burgschauspielern wie mit den Schriftstellern hatte er nur die bescheidenen Berührungspunkte eines bierbringenden Piccolo.

Ist auch der Volksdichter hoch in der Gunst der Menge, kennt und schätzt man ihn überall, sein Verdienst steht nie im Einklang mit seiner Popularität. Zehn Gulden beträgt sein Honorar in den meisten Fällen und da muß er natürlich noch mit dem Komponisten teilen! Aber es gibt auch noblere Kundschaften und da gibt es fünfzig und sechzig Gulden. Das Geschäft macht in der Regel der Verleger. Immerhin hofft Herr Merkt, daß er von seinen Schöpfungen künftighin eine bescheidene Rente haben wird. Und das ist gewiß erfreulich.

Das Dichten macht dem braven Jubilar noch heute Spaß. Er erinnert sich voll Vergnügen an das erste Lied, das er als Kantinenkellner im Allgemeinen Krankenhause schrieb: „Da war's a Freud', in Wean a Weana z'sein", und der beliebte Kwapil sang es mit größtem Erfolg. Seine Lieder haben Ziehrer, Lehar, Schrammel, Kratzl und viele andere in Musik gesetzt.

Seine Stärke aber waren immer die Inszenierungen von patriotischen Festen. Zurzeit schreibt er ein volkstümliches Buch „Was das Volk vom Kaiser Franz Josef erzählt", und auch die „Elisabeth-Ruhe" auf dem Kahlenberg entstand auf seine Anregung. Daß ein solch patriotischer Mann Ehrenmitglied und Mitglied vieler Verbände ist, wird einen nicht wundernehmen. Auch zum Strauß-Lanner-Denkmal gab er mit Ziehrer gemeinsam den ersten Anstoß, und so würde es Spalten füllen, wenn man die Arrangements Merkts für Deutschmeisterverbände, Fiaker-, Athleten-, Kranken- und Leichenvereine aufzählen würde.

Merkts Biograph Volkmar Waldeck schreibt über ihn in der eben erschienenen Festbroschüre: „Er wird zum Bildner seines Volkes, er klärt auf und weiß mit eingestreutem Humor interessant zu machen, was in anderer Darstellungsweise klanglos, farblos erscheinen würde. Und mit welchen Mitteln hat er es getan? Mit den denkbar einfachsten und doch wieder mit so starken, echt dichterischen. Die echte Wiener Natürlichkeit, gepaart mit gesundem Blick, gaben ihm seine Kraft, die ihn als Kerndichter seines Volkes nicht verlassen durfte."

Der Mann lebt bescheiden unter uns und ist in seinen Mußestunden Geschäftsführer eines großen Restaurants. Bei seinem Jubiläum aber hat sich's gezeigt, was er uns ist. Da darf man doch ruhig mit dem in diesen Tagen vielgenannten Schiller ausrufen: „Ihr, ihr dort draußen in der Welt, die Nasen eingespannt!"

A. D.-G.

Stille Wirkungen.

(„Modern" rechts, „Modern" links, die „Neuvermählten" in der Mitten. — Ueber die silberne Hochzeit hinaus. — Laubes Stellung zur „Natürlichkeit". — Die stillen „Wirkungen" von damals. — Das Ensemble der „Neuvermählten". — Kathi Schratt, Nina Weisse, Karl Bukovics, Luise Schönfeld, Hermann Glitz. — Die Porträts der Fünfe. — Glitz, der Minneheld, und sein tragisches Ende. — Die „stillen Wirkungen" des alten Burgtheaters. — Gedankenspiele mit Rollenbesetzungen.)

Die Berliner vom „Neuen" und neuesten Theater haben in ihr Wiener Gastspielrepertoire zwischen die „Elektra" und den „Graf von Charolais", also zwischen die „Moderne" im antiken und die „Moderne" im romantischen Gewande, das durchaus nicht „modern" gewandete Björnsonsche Familienstück „Die Neuvermählten" hineingestellt. Sie wollen daran ihre Kunst in den „stillen Wirkungen" erweisen, jene Kunst des sich aus unmerkbaren Strichelchen und Pünktelchen zusammenfügenden, fast lautlos daherkommenden Effektes, aus dem der Erfolg so manches „Milieustückes" erwachsen ist, ja, worin die szenische Gewalt eines solchen wurzelt. Nun sind indes „Die Neuvermählten", wie man weiß, keine Novität für Wien und auch keine von den jüngsten Bekanntschaften, sie hätten lange schon in Wien selbst die silberne Hochzeit feiern können — es sind gut drei Jahrzehnte her, daß

„Aus Augenblicken setzt sich das Leben zusammen."

„Auch das Leben vorüber, Harting."

Er stand vor ihr, leicht über sie geneigt, seine nervösen Finger ballten sich zusammen und lösten sich wieder, als koste es ihn Mühe, nicht die Arme zu umklammern, die sie jetzt wie müde hatte sinken lassen.

Sie schüttelte leicht den Kopf. „Ich will Ihnen die Wahrheit sagen, Harting, das bin ich mir und Ihnen schuldig. Sie wissen, wie es um mich steht — — —"

„Marianne!" — er streckte die Arme aus, aber sie wehrte ab.

„Sie, der Frauenkenner! Und ich spiele so schlecht Komödie! Ich weiß nicht, wodurch Sie Gewalt über mich gewannen, genug. Sie haben sie. Aber ich bin im Grunde ein schwerfälliges Geschöpf, ich komme darüber nicht hinaus: mein Mann ist Ihr Freund, er vertraut Ihnen, er vergöttert mich; für Sie bin ich „auch eine!" Eine, die Sie länger reizte, weil sie schwerer zu erobern ist; eine Episode. Ich will nicht! Ich will nicht! Sie brauchen die Treue nicht — er braucht sie! Und — ich brauche sie. Ich kann mich nicht selbst verlieren. Ich kämpfe so schwer, Kurt, so furchtbar schwer. Es reißt mich haltlos von ihm zu Ihnen, stößt mich von Ihnen zu ihm."

Sie warf den Kopf zurück und sah mit ihren großen, grauen Augen in sein blasses, zuckendes Gesicht, das sich über sie neigte.

„Es ist Frühling, Kurt, Frühling . . das ist alles . ."

„Marianne!" Er wollte sie an sich reißen, aber sie stemmte ihre Arme gegen seine Brust, und tonlos, während ihre Lippen zuckten, wie die eines Kindes, das das Weinen unterdrückt, sagte sie:

„Sie müssen mir helfen, Kurt. Sie — der Starke! Sie müssen gehen, weit, weit fortgehen, ich will Sie nicht mehr sehen! Ich fühle, daß ich keine Kraft mehr habe, aber ich weiß auch, daß ich ein unseliges Geschöpf werde, wenn ich unterliege! Sie müssen mir helfen, Kurt — und gehen!"

Er umschränkte ihr Gesicht mit seinen beiden Händen und bohrte seine Blicke, in denen jetzt ein heißes Lodern aufglomm, tief in ihre flehend auf ihn gerichteten Augen.

„Kannst du das von mir fordern? Das? Jetzt? Traust du mir die Kraft zu?"

„Mute ich mir weniger zu? Es ist etwas anderes bei uns, es war Freundschaft zwischen uns, Kurt, ehrliche, warme, achtende Freundschaft, bis — der Frühling kam mit seinem Blütenduft, mit seiner Lebenskraft, die nichts Halbes duldet, nur Ganzes fordert! Freundschaft zwischen Mann und Weib ist das Halbe, Liebe das Ganze — ich weiß! Aber — er geht vorüber, der Frühling, und ich will um eines Augenblicks, auch wenn er köstlich wäre, nicht mich, Sie — und ihn verlieren! Ich will nicht — ich will nicht!"

„Sie fordern das von mir, Marianne?" Er stand vor ihr, die Arme schlaff herabhängend, ein ungläubiges Staunen auf dem blassen Gesichte.

„Ich — bitte — dich," wie ein Hauch drang's an sein Ohr.

Er neigte den Kopf; ohne die Blicke von ihr zu lassen, ging er langsam, Schritt um Schritt, unsicher, tastend nach rückwärts, der Türe zu.

Sie stand aufrecht. Ein Sonnenstrahl hatte sich in ihrem blonden Haare verfangen und huschte dann schmeichelnd über ihr weißes Gesicht. Starr hefteten sich ihre Augen auf ihn, ihre Zähne gruben sich in die Unterlippe, ihre Hand krampfte sich um die Lehne ihres Stuhles. Man hörte nichts als das laute, stoßweise Atmen der beiden Menschen und das leise Rauschen der vom Winde bewegten Blätter.

Er ist an der Tür; schwer, langsam hebt er die Hand nach der Klinke — ein Zucken fliegt über das starre Gesicht des Weibes, über die fest zusammengepreßten Lippen gleitet ein leiser Laut der Qual — im nächsten Augenblick ist sie bei ihm, sie umklammert seinen Hals, ihre Lippen pressen sich in leidenschaftlicher Glut aufeinander — minutenlang. Dann — mit einer Kraft, die er ihr niemals zugetraut, stößt sie ihn von sich — und öffnet die Tür.

Entsetzt blickt er in ihr totenblasses, verzerrtes Gesicht — sie richtet sich hoch auf und weist nach der Tür, es liegt ein stummes Flehen in den grauen Augen — und er geht hinaus, langsam — zögernd Schritt für Schritt.

Sie schließt die Tür! Einen Augenblick steht sie, den Kopf zurückgeworfen — und atmet tief auf.

Siegerin!

Im nächsten aber sinkt sie in die Knie und preßt die Hände vor die Augen. Ein mühsam unterdrücktes Schluchzen schüttelt sie.

— — — Siegerin!

Leise und lautlos wirbeln weiße Blüten, vom Lufthauch bewegt, zu Boden. Blütenschnee.

Städtische Angelegenheiten.

(Aus dem Rathause.) An die neugewählten Gemeinderäte des XXI. Bezirkes gingen gestern Schreiben hinaus, in welchen sie verständigt werden, daß das Plenum des Gemeinderates ihre Wahl in der vorgestrigen Sitzung anerkannt hat. Gleichzeitig werden sie aufgefordert, binnen acht Tagen zu erklären, ob sie die auf sie gefallene Wahl anzunehmen gesonnen sind oder nicht. Nach Einlangen dieser Erklärung wird dann der neue Gemeinderat zur nächsten Sitzung, welche in der Woche nach Pfingsten, wahrscheinlich am 16. d. M. stattfinden wird, eingeladen. In dieser Sitzung wird der Bürgermeister die Angelobung der neuen Gemeinderatsmitglieder vornehmen. In der Sitzung danach wird dann die Wahl der Stadträte stattfinden. Schreiben ähnlichen Inhaltes ergehen auch an die neuen Bezirksräte des XXI. Bezirkes und nach Einlangen der Annahmeerklärungen kann dann die Konstituierung der Bezirksvertretung Floridsdorf erfolgen. — In der nächsten Woche hält der Gemeinderat keine Sitzung ab. Stadtratssitzungen finden Mittwoch, Donnerstag und Freitag 10 Uhr vormittags statt. — Donnerstag den 8. d. M. vormittags nimmt der Bürgermeister die allmonatlich wiederkehrenden Vorstellungen, Beeidigungen, Angelobungen, Ueberreichung von Auszeichnungen ec. vor. An diesem Tage wird er um 12 Uhr mittags dem Oberinspektor der städtischen Feuerwehr, Willibald Chitil, das diesem vom Kaiser in Anerkennung seiner vorzüglichen Haltung bei der großen Zelluloidexplosion in der Schottenbastei verliehene Ritterkreuz des Franz Josefs-Ordens in feierlicher Weise überreichen. Dem Volksschuldirektor Karl Brisching und dem Oberlehrer Josef Schleinz wird die Ehrenmedaille für vierzigjährige treue Dienste, der Armenrätin Rosalia Gias und der Oberschwester Antonia Fellerer, Vorsteherin der Kinderbewahranstalt „Karolinum" im V. Bezirke, die goldene Salvatormedaille überreicht werden. — Montag den 5. d. M. um 7 Uhr abends empfängt der Bürgermeister die Mitglieder des Internationalen Fischereikongresses im Rathause. Am 15. Juni werden in feierlicher Weise die Mitglieder des Internationalen botanischen Kongresses und am 17. Juni die Mitglieder der Association de la meunerie française im Rathause empfangen werden.

(Gründung des Allgemeinen Wiener Hausbesitzervereines.) Seit geraumer Zeit hat sich im Kreise der Wiener Hausbesitzer das Bestreben gezeigt, durch eine von jeder Politik freistehende Organisation ihre wirtschaftlichen Interessen vertreten zu lassen. Die Gründung des Allgemeinen Wiener Hausbesitzervereines, dem außer Hausbesitzern und Hausinspektoren auch in Wien bestehende Hausbesitzervereine beitreten können, entspricht diesem Bedürfnis. Als Präsident des Allgemeinen Wiener Hausbesitzervereines wurde bei der kürzlich stattgefundenen konstituierenden Versammlung Herr Universitätsprofessor Dr. Johann v. Komorzynski, als erster Vizepräsident Herr Hofrat Dr. Rudolf v. Schwabe, als Schriftführer Herr Josef Gerhold, als Schriftführer-Stellvertreter Herr Georg Schöls, als Kassier Herr Josef Gehringer, als Kassier-Stellvertreter Herr Emil Bouvard, ferner als Präsidialräte die Herren Eduard Basch, Finanzrat Artur Feitl, Gustav Gloßy, Gemeinderat Karl Mayer, Gustav Nedwid, Oberrechnungsrat Adolf Prinz, Adolf Vetter, Hans Roth und kaiserl. Rat Karl Weinwurm gewählt. — In der Vereinskanzlei, welche bis zur Miete eines geeigneten Stadtlokales im XII. Bezirke, Bendlgasse 4, provisorisch errichtet wurde, nimmt Herr Josef Gerhold jederzeit Beitrittserklärungen entgegen.

(Türkenschanz-Parkfest.) Der Stadtrat hat nach einem Berichte des Stadtrates Tomola beschlossen, dem Festausschusse des achten Türkenschanz-Parkfestes (Mitglieder des Ortsschulrates und der Lehrerschaft des achten Bezirkes) diesen Park für ein am 24., eventuell am 28. Juni abzuhaltendes Wohltätigkeitsfest unter den bisherigen Bedingungen zu überlassen.

(Städtische Uebernahmsstelle.) Die städtische Uebernahmsstelle für Vieh und Fleisch hat am 1. Juni ihre Tätigkeit begonnen. Dieselbe hat ihren Sitz im Zentralviehmarkt zu St. Marx im neuen Parteigebäude; zum Vorstande wurde Magistratskommissär Karl Schwarz bestellt.

(Neue Gassenbezeichnung.) Der Stadtrat hat nach einem Berichte des Stadtrates Weitmann die Breitegasse im Bezirke Neubau nach dem am 5. Jänner l. J. verstorbenen k. k. Hof- und Kammer-Klavierfabrikanten kaiserlichen Rat Karl Schweighofer mit „Karl Schweighofergasse" benannt.

(Städtisches Donaubad.) Das städtische Donaubad, II., Erzherzog Karl-Platz 4, bei der Kronprinz Rudolf-Brücke wird heute den 4. d. M. wieder eröffnet.

Tagesneuigkeiten.

Das Leben für den Zaren!

Blätter aus dem Tagebuche des Admirals Nebochantow.

Petersburg.

Wurde zum Kommandanten des dritten Geschwaders ernannt und soll meinem Freunde Roschdestwensky nachfahren. Wenn ich ihn nur noch rechzeitig erreiche, bevor er den Japanern den Garaus gemacht hat. Mit ihm ist nicht zu spaßen.

Er ist mit den Engländern bei Hull fertig geworden, er wird auch mit den kleinen, gelben Kerlen drüben fertig werden.

Ich betrachte die lange Seereise als Erholungsurlaub.

Mein Flaggschiff ist als schwimmendes Sanatorium eingerichtet. Ich habe übrigens eine Kur dringend nötig. Ich bin nämlich hochgradig nervös. Der Arzt hat mir jede Aufregung streng verboten.

Kronstadt.

Der Zar hat mich, mit zahlreichen Segenswünschen und Heiligenbildern versehen, huldvoll verabschiedet und entließ mich nach einer langen, gnädigen Ansprache.

Ich werde sein Geschwader hoch halten. Mein Leben gehört dem Zaren. Für das Vaterland zu sterben, ist süß.

Bei der Ausfahrt aus dem Hafen donnerten die Geschütze. Das Schießen regte mich wieder schrecklich auf. Ich hasse alle lärmenden Unterhaltungen.

Auf hoher See.

Der drahtlose Telegraph brachte mir heute einen Befehl Roschdestwenskys. Er gab mir ein Rendezvous in der Sundastraße. Ich weiß gar nicht, in welcher Gegend diese Straße liegt. Meine bisherigen Rendezvous hatte ich stets auf dem Newsky Prospekt oder in der Nikolaistraße.

Von der russischen Armee in der Mandschurei erhalten wir schlimme Meldungen. Ja, diese Landratten! Wenn wir nicht wären, stünde es schlecht um unsere Siegesaussichten. Ich kenne keinen Rückzug. Meine Parole ist und bleibt: Mit Volldampf vorwärts.

Um meinen Siegesdurst zu stillen, leerte ich gestern einige Bullen Sekt. Natürlich französischen. Ich weiß, was ich unseren Alliierten schuldig bin. Wenn ich nicht irre, 1480 Franks für die letzte Sendung aus Reims.

Nachher hatte ich plötzlich das Gefühl einer drohenden Gefahr: Herzbeklemmungen, Blutandrang zum Kopfe, dabei sah ich immer Mäuse und Ratten. Ich eilte auf Deck.

Von unbestimmten Ahnungen erfüllt, griff ich zum Fernglas. Richtig erblickte ich in der nächsten Nähe ein verdächtiges kleines Schiff. Offenbar ein Unterseeboot, denn es tauchte wiederholt unter die Wasserfläche. Ich ließ ein Geschütz gegen den Feind richten und verstopfte mir rasch die Ohren. Als das Boot wieder auftauchte, kommandierte ich Feuer. Diese Maßregel hatte vollen Erfolg. Das feindliche Schiff wurde zwar natürlich nicht getroffen, ergriff aber schleunigst die Flucht, indem es noch einen mächtigen Wasserstrahl ausstieß und mit den Schwanzflossen gewaltig um sich schlug.

Einige ältere Offiziere wollen aus diesen Symptomen schließen, daß es gar kein Schiff, sondern ein großer Walfisch gewesen sei. In so feine Distinktionen lasse ich mich nicht ein.

In der Sundastraße.

Mein Schiffsarzt ist mit meinem Befinden nicht zufrieden. Die sitzende Lebensweise sei mir ungesund. Er hat mir den Sekt und alle Arten von Süßigkeiten streng verboten.

Ich befolge seine Anordnung, denn mein Leben gehört dem Zaren. Ich ertränkte aber meinen Aerger über diese peinlichen Diätvorschriften in einigen Gläschen Wutky. Natürlich übte ich die Vorsicht, ihn nur aus Wassergläsern zu trinken.

Dann eilte ich wieder auf Deck. Welch freudige Ueberraschung! Ich sah eine Unmenge russischer Schiffe um mich. Mindestens doppelt soviel, als mit denen ich ausgefahren war. Ich glaubte zu träumen, dann blitzte es in mir auf. Ich war offenbar zu Roschdestwenskys Geschwader gestoßen.

Ich fluchte, weil man mir das nicht gemeldet hatte, aber der Schiffsarzt beruhigte mich und ließ mich zu Bette bringen, denn die Aufregung könnte mir sonst schaden. Ich folgte, denn mein Leben gehört dem Zaren.

Am nächsten Tage umgab mich wieder nur mehr die frühere Anzahl von Schiffen. Wohin die anderen gekommen waren, weiß der Teufel. Ich will die Offiziere nicht fragen, ich scheue nämlich die Aufregung und habe den Eindruck, als ob die Herren gestern abends total bekneipt gewesen wären.

Vor der Koreastraße.

Bin nun seit einer Woche mit Roschdestwensky glücklich vereint. Er ist des Lobes voll über die Gastfreundschaft der Franzosen.

Nachmittags hatte ich eine Riesenfreude. Ein französischer Dampfer meldete uns nämlich durch drahtlose Telegraphie, daß wir gestern einen großen Sieg über die japanische Flotte erfochten hätten. In russischen und französischen Blättern stünden ausführliche Berichte.

Ich wollte Roschdestwensky nicht um Details fragen, denn von Rechts wegen sollte ich ja davon wissen. Die letzten vierundzwanzig Stunden war ich aber in festen Schlaf versunken. Ich hatte meinen Geburtstag vorgestern festlich begangen, ein kleines Bankett gegeben ... na und die Seeluft macht so müde.

Am 25. Mai.

Mit der gewonnenen Seeschlacht war es nichts. Oder richtiger noch nichts. Ich habe nur eine Angst: daß uns der Togo ausweicht und wir ohne Kampf nach Wladiwostok kommen.

27. Mai.

Roschdestwensky und ich veranstalten heute eine festliche Maifahrt. Er fährt rechts, ich fahre links, die alten Schiffe in der Mitte. Nimmt sich imposant aus. Schade, daß das Wetter ungünstig ist. Nebel und Wind. Man sieht kaum zwei Knoten weit.

* * *

Kanonendonner! — — — Ich bin wieder furchtbar nervös. — — — Ich bleibe in meiner Kajüte und nehme einige Maß Beruhigungswutky zu mir. — — — Auf mich wird es nicht gerade ankommen. — — — Wenn nur diese dumme Schießerei nicht wäre. — — — Es ist mir totenübel — — — aber ich halte es mit der alten Garde: „Ich übergebe mich nicht!"

* * *

Ich hielt es unten nicht mehr aus. Ich stehe jetzt auf dem Verdeck — — Wir haben uns von der übrigen Flotte getrennt — — In der Ferne sehe ich feindliche Schiffe — — Ich lasse meine Flagge herunterholen — — Diese gelben Kerle brauchen ja nicht wissen, daß ich auf dem Schiffe bin, ich bleibe lieber inkognito — — ich kommandiere: „Mit Volldampf vorwärts! — — Aber der Feind kommt näher — —

„Fürs Vaterland sterben ist süß!" Aber der Arzt hat mir ja alle Süßigkeiten verboten, Und mein Leben gehört dem Zaren — — Ich darf also nicht sterben — —

So bringe ich denn das schwere Opfer: „Die weiße Flagge hoch! Die Waffen nieder!"

* * *

In Hakodate.

Ich habe mein Schiff dem Admiral Togo übergeben. Natürlich nur gegen Empfangsbestätigung, sonst glaubt man in Petersburg, ich habe es unterschlagen. Ich habe mich mit Ergebung in meine Ergebung gefügt.

Togo hatte einige anerkennende Worte für mich. Als er mich in Hakodate aufsuchte, meinte er: „Wenn alle Russen so wären, wie Sie, gäbe es längst keinen Krieg mehr zwischen uns! Ich bedaure sehr, daß wir gerade Sie gefangen nehmen mußten. Ich beneide Rußland um diesen Erfolg. Noch solche Verluste an Flottenführern, und Rußland hat gesiegt!"

* * *

Zum Schlusse teilte er mir mit, man wolle mich sofort freilassen gegen die ehrenwörtliche Verpflichtung, noch in diesem Kriege ein neues Kommando zu übernehmen!

Ich werde mir die Sache überlegen. Robert.

Wiener Originale.

XI.

Die Turf-Karolin'.

Die Nacht sinkt nieder, der Prater taucht in lüsternes Schweigen und bei den Grinzingern in „Venedig" ersteht das Leben, das mit Brady erst vor kurzem verschwand.

Lärm und Absammeln und Erdbeerbowle. Dazwischen auch hie und da einige Brocken eines Tenors, der den Ehrgeiz hat, gehört zu werden. Oder auch die feine Stimme einer Violine, der man für Sekunden lauschen möchte. Lustige Gesellen gibt es da im Uebermaß, sie singen zur Musik, sie tun ganz wienerisch und freuen sich ihres Temperaments. Viele Offiziere, Schauspieler und Schauspielerinnen, Lebemänner und ihre Damen sind hier das Stammpublikum. Um sie scharen sich Freunde, Bewunderer und üppige Weiblichkeiten.

Spät fängt's an und früh hört's auf. Wer Champagner trinkt, ist ein Mensch erster Ordnung, wer Bowle verlangt, passiert, die Leute mit Weißwein sind die Declassés. Ein Herr mit einem Teller naht, darauf eine saubere Serviette; sie hat eine Falte, und das ist für die Musik. Was einer gibt, verschwindet gleich. Nickel, Silber, Gold, Papier. Das ist so, als ob sie sagen wollten: Wir nehmen schon für unsere Kunst gezahlt, aber wir schämen uns. Oder deutlicher: Da ist ein Gast, der ein Zwanzig-Heller-Stück auf die Serviette legt. Das muß sein Nachbar nicht sehen, denn böse Beispiele verderben gute Sitten.

„Blumen gefällig? Eine schöne Rose für die Dame?"

Zwanzig sagen nein und einer kauft eine Rose. Fragt, was sie kostet, wenn er ein Schmutzian, und legt eine Krone hin, wenn er ein Geizkragen ist. Es gibt da der Blumenmädchen mancherlei, ältere, jüngere, rot- und weißgeschminkte, diskrete und zutrauliche. Und Chefesse ist Fräulein Karolin Völkl, oder Doyenne.

Fräulein Karoline Völkl ist aber niemand anderer als die Turf-Karolin, die mit zu den alten Wahrzeichen unserer Wienerstadt gehört. Zurzeit ist sie Blumenmädchen in „Venedig in Wien". Dienstzeit von elf Uhr nachts bis vier Uhr früh.

Am Sonntag ist das Derby.

Das sind fünf Worte, in denen just keine allzu originelle Idee steckt. Aber sie sind zu rechter Zeit gesprochen worden. Haben Sie schon einmal den militärisch erzogenen Ackergaul beobachtet, wenn ein Kavalleriesignal ertönt?

Und so ist über die feinen, vom Leben freilich angegriffenen Züge der Turf-Karolin freudiges Leben gezogen, da ich des sportlichen Festes Erwähnung tat. Die roten Rosen und die gefüllten Nelken blieben in ihrer hübschen Hand, ihre Mienen nahmen den Flug ins Ironische und einen Moment vergaß sie den Text: „Eine schöne Rose für die Dame?" Statt dieser Bemerkung tat sie eine andere: „Jessas, heutzutag' a Derby!"

Ich nahm die Sache sportlich und replizierte: „Patience" gewinnt doch ein schönes Rennen!" — Aber die Turf-Karolin ist anderer Ansicht. „Das Derby ist stier und „Patience" ist eine „Katz'"." — So urteilt sie über den Favorit, der am Montag in den Wiener Tagesblättern sicher vierzigmal als „Wunderstute" bezeichnet werden wird.

Der Sport ist also im Niedergange?

Fräulein Völkl ist davon überzeugt. Wo ist „Kincsem", wo ist „Zsupan"? Sie sagt das so schmerzberührt, als spräche sie von ihrer eigenen Ahnengalerie. Und dann erstehen vor ihrem Auge die heiteren Bilder ihres jungen, wohlangewandten Lebens. Die Freudenau im Erblühen und die alten Kavaliere jung und der Hunderter Kleingeld und die Krone ungeboren.

Da sah man sie an jedem Renntage, die hübsche, zierliche Turf-Karolin mit dem eleganten Profil und dem berühmten Mundwerk. Sie unterhielten sich alle gern mit ihr, mochten sie nun an den Stufen des Thrones stehen, neunfach gezackt sein oder über Millionen gebieten, für die Turf-Karolin hatten sie gute Worte und für ihre Blumen Geld. Nelken waren ihre Spezialität, und wenn sie sagte, „A Nagerl, Herr Graf!" so war das eine Auszeichnung, eine Ordensverleihung, denn die Karolin war in ihrer Glanzzeit wählerisch und am Derbytag mußte man so viel Ahnen haben wie zur Kämmererwürde, wenn man vor ihr dekoriert werden wollte.

Sie erzählt, daß es dann in den letzten Jahren schlimmer wurde. Sie ist ein wenig ins Volk herabgestiegen, und ihre Nelken kamen unter die wohlsituierte Kaufmannschaft. „Tax für an' besseren Menschen war a Fünfer," sagt sie. Ihr stolzester Tag aber war immer der Tag des Derby. Da erschien die Turf-Karolin in den Farben des Derbysiegers.

Wie sie das vorausahnen konnte?

Sie antwortet etwas überlegen. Ob man denn Jahrzehnte auf dem Turf weilt, um nicht präzisen Einblick zu gewinnen, um nicht das beste Pferd herauszufinden? Und sie, bei ihren Beziehungen gar! Nein, nein, die Turf-Karolin verstand schon etwas vom Rennen. Das Kleid in den Farben des Favorits war vorbereitet. Gab es zwei Favorits, dann wurden zwei Toiletten fertiggestellt, und kam ein Outsider, dann lieh sich Fräulein Völkl vom Jockei die Reservebluse aus, bekränzte das Pferd, gratulierte dem Eigentümer, umarmte den Jockei. Das waren Leistungen, die vom Rennstallbesitzer mit der Einheitsmünze von tausend Gulden honoriert wurden. „G'flog'n san die Tausender, eing'steckt hab i s' und „küß d' Hand" hab' i g'sagt." Außerdem bekam die Turf-Karolin dann noch eine feine Toilette aus einem ersten Atelier auf Kosten des Derbygewinners, in dessen Farben sie oft auf dem Rennplatze erschien.

Kavaliere waren sie alle vom Rothschild abwärts und aufwärts, und unter dem obligaten Tausender hat sich keiner aus der Affäre gezogen. Einmal hat sie zu sicher auf einen Favorit gerechnet; die Toilette war vorbereitet, und das Derby gewinnt ein Outsider, dessen Chef von den Sitten am Turf nicht die richtige Vorstellung hatte. Die Turf-Karolin war in höchster Gefahr, das Derby zu den verlorenen zählen zu müssen. Da erschien der Besitzer des verkrachten Favorits, reichte ihr den Tausender zusammengefaltet und sagte: „Aber liebe Karolin, es ist doch genug, wenn einer von uns zwei Pech gehabt hat!"

Ihre gesellschaftliche Position auf dem Gebiet der Pferdezucht?

Einfach nobel. Soupers, Diners, das gab's nicht ohne sie. Sie wußte sich schon zu benehmen, sie blieb keine Antwort schuldig und schön war sie auch. In Krakau bei der Einweihung des Rennplatzes wurde sie vom Grafen Potocki feierlich geladen, hatte ihren Ehrenplatz und trank auf das Gedeihen der neuen Bahn. Erschien sie beim Rennen, dann stellte man ihr hochsportliche Fragen, die sie genau zu beantworten wußte. Die Ahnentafeln der Pferde hatte sie im Kopf und beim ersten Herbstrennen fragten sie Graf Baltazzi, Anton Dreher und Baron Nathaniel Rothschild: „Wer gewinnt das Derby?" Sie kam nicht so leicht in Verlegenheit, und als ihr einmal ein hoher Herr sagte: „Nächstes Jahr in meinen Farben, liebe Karolin'," da antwortete sie gleich: „Aber, Herr Fürst, mit dö Krampen!"

Beim Blumengeschäft ist sie aufgewachsen und ihr Trick in der Freudenau war folgender: Als sie schon ins Volk hinabgestiegen war, steckte sie irgend einem Ahnungslosen eine Nelke ins Knopfloch und ging fort. Der Ausgezeichnete mußte diese Vertrauenskundgebung umso höher schätzen, als sie ihm ja das Air eines Freudenauer Stammgastes gab. Beim nächsten Rennen fand er sich sicher ein und gab der Karolin doppelt so viel, als sie beim normalen Verlauf erzielt hätte.

Das waren ihre Glanzzeiten. Da reichte ihre Popularität über ganz Wien, da hatte sie das eleganteste Zeugel und den Champagner trank sie nur aus Wassergläsern.

Nach ihr kam die Sintflut. Die Turf-Karolin wurde ausrangiert und man nahm eine junge, aber sie rühmt sich dessen, daß nie eine Bouquetière so hoch im Ansehen stand, daß keine

hrer Nachfolgerinnen jenen liebenswürdigen Ton fand, mit dem man die geistreichen österreichischen Kavaliere fesselt. Ja, das Derby! Heute ist es ihr gleichgültig. „Die Leut' sind keine Leut' und die Pferd' sind keine Pferd' mehr.“ So begnügt sie sich denn, mit dem schönen Rigo zu den Attraktionen von Venedig zu zählen.

Ich sehe sie von Wehmut erfüllt und noch einmal nennt sie mir die großen Namen ihrer Vergangenheit „Kincsem“, „Zsupan“ ... Sie hat das Geschäft für wenige Minuten vernachlässigen müssen, nun greift sie wieder nach einer Nelke. „Katzen san j' heut' alle“, schließt sie, „ob S' es glaub'n, i waß gar net, wie die „Patience“ steht.“ Nur leise vermag ich mich des Schauderns über diese Tatsache zu wehren.

Fräulein Völkl aber zwingt sich gewaltsam ein Lächeln ab, so als wollte sie sagen: „Lache, Bajazzo“. Und dann neigt sie sich zu einem jungen Menschen, der nach nichts aussieht und eine Dame in reiferen Jahren neben sich hat: „A Nagerl, Herr Graf!“ Sie legt die Nelke neben sein Glas. Dann verschwindet sie. Der junge Herr kramt im Portemonnaie herum. Er ist gar kein Graf, aber da er die Marken- und Portokasse bei sich hat, so überlegt er, ob er die lumpigen paar Gulden heute mit seiner Duenna oder morgen beim Derby placieren soll. A.-D.-G.

Jung-Mägdelein.

(Zur Statistik der Mädchenseele. — Die drei Grade der Erkenntnis. — Die Abstimmung in der Mädchenschule. — Was jeder beim „Wilhelm Tell“ am besten gefallen hat. — Die fünf ahnungslos ahnungsvollen Engel. — Tells Pfeile. — Das Regietalent der Frauen. — Die Vorstellung im Mädchenpensionat. — Kinder des Burgtheaters. — Das Kind im modernen Stück.)

Eine interessante kleine statistische Tabelle liegt vor mir, ein Stückchen „Statistik der Mädchenseele“, sozusagen, und zwar aus jenem dämmerigsten und umschleiertsten Stadium, in welchem die durchdringendste und scharfblickendste Forschung nicht über das Ahnen und Vermuten hinauskommt und sich immer auf die verblüffendsten Ueberraschungen gefaßt halten muß: aus der Kinderzeit und jenen, kaum mit dem Sekundenzeiger zu markierenden, Vorwärtsbewegungen der Seelenuhr, in denen das Kind ins Mädchentum hinübergleitet. Denn drei Steigerungsgrade der Schwierigkeiten hat die Erforschung und Erkenntnis der weiblichen Seele, die aber nicht mit den aufsteigenden Altersgraden Schritt halten, sondern sich nach der entgegengesetzten Richtung abmessen. Verhältnismäßig am leichtesten noch ist die, aus der Mädchenschaft bereits herausgetretene, F r a u zu durchschauen, weil die Erfahrung hier viel mithilft, weil der Werdegang des Charakters bis dahin wenigstens einige Anhaltspunkte bietet und weil die Frauen, bei allem Nuancenwechsel der Individualitäten, sich doch in Kategorien einteilen und einreihen lassen. Schwerer schon ist das M ä d c h e n zu diagnostizieren — am allerschwierigsten aber Jung-Mägdelein als K i n d und gar erst an jener geheimnisvollen, mit bewaffnetstem Auge kaum wahrnehmbaren Grenze zwischen Kindheit und erwachender Jungfräulichkeit. Jedes „Kind-Mädchen“ ist ja für den Beobachter etwas total Neues, mit nichts zu Vergleichendes, an nichts anderem zu Bemessendes und aus nichts anderem heraus zu Erklärendes, als an dem individuellen Ich und aus demselben heraus — dieses Ich ist aber doch erst ins Leben getreten und beginnt erst, die noch mühsam zu deutenden Fingerzeige für die Lösung seines Seelenrätsels zu geben. Am „Kind-Mädchen“ können sich die eingebildetsten Psychologen mit ihrer Seelenanalyse zuschanden mühen.

Die statistische Tabelle, von der hier die Rede ist, kommt aus einer Mädchenschule, deren Schülerinnen zur Schiller-Feier in die Festvorstellung des „Wilhelm Tell“ im Deutschen Volkstheater geführt worden waren und die darauf von der Lehrerin aufgefordert wurden, schriftlich anzugeben, was jeder in dem Stücke am besten gefallen habe. Diese Bekenntnisse der empfangenen Eindrücke hat die Lehrerin zusammengestellt, weit über hundert, rangiert und klassiert und daraus das übersichtliche Zahlenbild gefügt, das so manchen lehrreichen Zug darbietet und so manches Deutungsvolle zu erraten gibt. In der Ueberzahl offenbart sich wohl das Neutrum, das noch Geschlechtslose des Kindes, das sich vom Sinnfälligen am lebhaftesten getroffen gefühlt und von dem, was sein eigenstes kindliches Gefühl und Interesse berührt, ohne Unterschied noch, ob Bub' oder Mädel. 89 von den kleinen Kritikerinnen — die aber gerade so gut Buben hätten sein können — gaben ihr Votum für die Apfelschußszene, die Kinderherzen hatten sich wohl am mächtigsten von dem Schicksal des Kindes ergriffen gefühlt, nach dessen Haupte vom eigenen Vater gezielt werden muß. Den nächststärksten Eindruck, gleichfalls einen noch „geschlechtslos“ neutralen, hatte der Schwur auf dem Rütli geübt, der vierzig von den jugendlichen Enthusiastinnen ganz besonders gepackt hatte, während fünfunddreißig der Ermordung des Tyrannen Geßler am wärmsten zujubelten. In anderen fünfunddreißig aber regt sich schon Hausmütterchen, das den Mann hübsch daheim bei sich behalten will, denn sie erklären die Heimkehr Tells für das Schönste im Stücke — und eine gar ist besonders gerührt, in der Vorahnung weiblichen Zukunftsempfindens, durch die Worte des weichherzigeren der beiden Knaben: „Mutter, ich bleibe bei dir!“ Eine dagegen nimmt den Schwung zur politischen Begeisterung, denn ihr gilt als das Schönste: „Der Schluß, die Freiheit und Freude des Volkes“ — eine andere wieder läßt die künftige Lehrerin ahnen in der Vorliebe fürs Didaktische, ihr gefällt am meisten die geographische Exkursion Tells im Gespräche mit Walter: „Die Belehrung auf die Frage, ob es Länder gibt, wo keine Berge sind.“ Jedenfalls ein mehr aufs Kontemplative als aufs Empfindsame gerichteter Mädchensinn. Um so empfindsamer mag es sich in einigen anderen dieser Jung-Mägdeleins zu rühren anfangen und von all den abgegebenen Stimmen sind diese wohl die verräterischsten — und darum interessantesten. Fünf nämlich erkennen den Preis der Szene zwischen Bertha und Rudenz zu, das heißt, der einzigen Liebesszene des Schauspiels. In diesen Fünfen also vibriert schon etwas Leises, Unbewußts, noch Wesenloses, was ihnen aber die instinktive Fühlung gerade für diese eine Szene gibt. Und einer noch Weiterfühlenden gar erscheint der Hochzeitszug im vierten Akte als das Allerschönste. Das Neutrum nähert sich da bereits, vielleicht noch ahnungslos, vielleicht schon ahnungdurchschauert, der magischen Grenzlinie.

Neben dem aufs „Psychologische“ gehenden Beobachter aber, der dabei so blamabel leicht irre geht, kann der Theatertechniker hier bei Jung-Mägdelein seine erstaunlichen Wahrnehmungen machen. Allerdings nur insoferne erstaunlich, als es überhaupt merkwürdig ist, welche Schärfe des Blickes Frauen, wenn sie mit Theatersinn begabt sind, für das Szenische und das ganze Bühnengetue haben. Das regt sich denn auch oft im Kinde schon. Eines von den Mädchen hat richtig bemerkt, daß Geßler auf dem Theater nicht wirklich von dem dahergeschwirrt kommenden Pfeile Tells durchbohrt wird, sondern daß er — der Schauspieler nämlich — den Pfeil in der eigenen Hand parat hält und im Moment, wo's nötig ist, selbst in die Brust steckt. Und daß das arme Weib, die Armgart, sich vor Geßler niederwirft und Alles in Alarm bringt, geschieht auch nur — so erklärt die völlig theaterraffinierte Kleine weiter — damit das Publikum nur auf sie aufpaßt und nicht auf den Geßler sieht, wie der sich den versteckten Pfeil eigenhändig appliziert. Und sofort ist auch eine Kollegin mit der anderen Entdeckung da, daß in der Apfelszene der Apfel ebensowenig vom Pfeile Tells getroffen wird, sondern das spitze Holzstäbchen habe sichtlich schon drinnen gesteckt, als der Apfel vom Baume genommen und dem Knaben auf den Kopf gelegt wurde. Ja, so ein Kindesblick kann recht, recht unbarmherzig sein — unbarmherzig wie ein Mädchenblick, unbarmherzig wie ein Frauenblick. Gut nur, daß in diesem Alter die Illusion darum doch nicht verloren geht — den zwei scharfäugigen Zukunftsregisseurinnen hat der „Tell“ darum doch Freudengenüsse beschert.

Ich habe des öfteren schon in Erwähnung gebracht, wie viel Regietalent in den Frauen steckt — abgesehen von ihrer bewunderungswürdigen Inszenierungskunst in der Lebenskomödie — und welche eminente Regisseurinnen das Burgtheater, zum Beispiel, in der Gabillon, der Wolter, der Hartmann besessen hat. Die Frauenbewegung und Gleichberechtigungsagitation, habe ich dabei bemerkt, sei schwerbegreiflicherweise vor den Theaterpforten stehen geblieben und habe dort, wo Regiekollegien bestehen, noch nicht begehrt, daß auch den Frauen darin Sitz und Stimme eingeräumt werde, da es ihnen wohl leicht fallen würde, den Befähigungsnachweis beizubringen. Es gibt auch unter ihnen geborene Regietalente. Ich erinnere mich, vor Jahren einmal einer kleinen Theatervorstellung in einem Mädchenpensionat beigewohnt zu haben, deren künstlerischer Aufwand ausschließlich von den Zöglingen bestritten wurde. Man spielte natürlich nichts „Modernes“, sondern den höchst unmodern unschuldigen Scherz „Der Vetter“ von Körner, wobei es allerdings auch nicht ohne das Thema von der „Liebe“ abgeht und wo es sogar zwei eifersüchtige Rivalen gibt, zwischen denen ein unschuldig-kokettes Jung-Mägdelein seines natürlichen Berufes waltet, sich mehr oder minder über die beiden Nebenbuhler lustig zu machen. Da gab es denn ein allerliebstes Tableau, wie nämlich die kleine Kokette — die Darstellerin mochte dreizehn oder vierzehn Jahre zählen — im nicht allzu tiefen Hintergrunde am Spinnrade sitzt und schelmisch lächelnd nach den, im Vordergrunde mit einander streitenden, beiden Verehrern blickt, sich auch durch eingeworfene Reden in ihren Streit mengt. Die Szene war so herzig arrangiert, daß nicht der erprobteste Regisseur es sinniger hätte treffen können. Auf die Erkundigung aber, ob der Lehrerin, als Leiterin der Vorstellung, das Verdienst des anmutigen Arrangements zukomme, wie es die natürlichste Voraussetzung war, erfuhr der Frager zu seiner Ueberraschung, daß nur die Selbstregie der jugendlichen Dilettantin gewaltet hatte. „Die Lehrerin“ — plauderte sie — „hatte mir bei der Probe den Platz zwischen den zwei Streitenden angewiesen, wo ich stehend die Szene durchmachen sollte. Ich hab' aber gespürt, daß das nicht geht, wenn ich so eingeengt dastehe, ich hätte die Zwei und sie hätten mich geniert. Indes wollte ich nicht mit der Lehrerin streiten und hab' mich also auf der Probe genau nach ihrer Angabe gehalten; abends, hab' ich mir gedacht, mach' ich's dann, wie ich es fürs beste halte, und ich hab's so gemacht.“ Ich gestehe, daß ich nicht wenig frappiert war von diesem szenischen Selbstbestimmungsinstinkt des, kaum dem Kindesalter entwachsenen, Mädchens und ich sagte mir: „Ob die eine gute Schauspielerin wird, ist nach der einen Probe nicht unbedingt zu behaupten, aber das Zeug zu einer guten Regisseurin verrät sich unbedingt.“

Freilich ergeht es mit den „Theaterkindern“ — sie brauchen nicht just beim Theater geboren zu sein, es sind die gemeint, die überhaupt zum Komödiespielen geboren zu sein scheinen — wie mit den Wunderkindern im allgemeinen. Sie „verlieren sich“ zumeist mit den Jahren und erfüllen nur in den seltensten Ausnahmsfällen die hochgespannten Erwartungen, die ihre Anfänge in den Kinderschuhen rege zu machen pflegen. Und dies betrifft zumeist „Jungmägdelein“ auf dem Theater, weil Kinderrollen, auch die der Knaben, ja doch in der Regel von kleinen Mädchen dargestellt werden. Dazu befähigte Knaben im entsprechenden Alter sind selten zu haben — was wiederum auf reichlichere und häufigere schauspielerische Begabung Jungmägdeleins, im Vergleiche mit Jungbüblein, hinzuweisen scheint, also auf eine überwiegendere dramatische Begabung des weiblichen Geschlechts. Worauf natürlich sofort der „misogynische“ Spott mit der Schlußfolgerung bei der Hand sein wird: „Die Weiber sind eben geborene Komödiantinnen — vom Jungmägdelein angefangen.“

Die Monographie des „Theaterkindes“ ist noch nicht geschrieben, aber gerade diese allerersten Entwicklungsstadien ergäben des Interessanten genug für die künstlerisch-psychologische Beobachtung und die kritische Zeichendeuterei. Ich vergesse nicht den spannungerregenden Eindruck der dunklen Rätselblicke, mit denen ein kindlich scheues Mädchenauge an einem Burgtheaterabend von der Bühne aus ins Publikum hineinblickte. Es war in dem Schauspiel „Die Valentier“ von Gustav Freytag, worin ein Harfner, ein Straßenmusikant, mit seiner kleinen Begleiterin auftritt. D i e war's, die durch ihre rätselbergende Augensprache die Aufmerksamkeit auf sich lenkte, so daß ich eine Stimme neben mir — es war wiederum eine weibliche — mit der Ueberzeugungssicherheit richtigen Erkennens sagen hörte: „Der sieht man's auf den ersten Blick an, auf i h r e n ersten Blick, daß aus ihr etwas wird.“ Und es wurde in der Tat etwas aus ihr, wenn auch nicht im Schauspiel, sondern auf der Musikbühne — A n t o n i e L i n k hieß sie. Das gleiche Prognostikon hätte man einer ihrer kleinen Schwestern stellen mögen, da diese als „Irrlicht“ in der Wilbrandtschen Vollszenierung des „Faust“ geradezu eine Ueberraschung bot durch die charakteristisch scharfe Behandlung der für ein Kind gewiß schwer zu fassenden Verse. Das „Irrlicht“ aber gedieh nur zu mäßiger Kunstkraft und erlosch alsbald. Ein drittes „Kind des Burgtheaters“ hat sich „recht gesund entwickelt“, auf dem Burgtheater selbst, ein vielleicht einziges Beispiel künstlerischer Seßhaftigkeit, sich an der künstlerischen Geburtsstätte in ununterbrochenem Verbleiben vom Kind zum Mädchen, vom Mädchen zur Frau entwickeln zu können: das ist A n n a K a l l i n a. Ein anderes Burgtheaterkind auch, die „kleine S p i e l m a n n“, die lebhaft fortgearbeitet hat, in Sicht zu bleiben, hat es kürzlich sogar als Schriftstellerin versucht. Auch sonst haben Kinder und Jungmägdleins vom Theater zahlreich von sich sprechen gemacht — ihr Weitergedeihen zur Vollkünstlerschaft gehört aber in der Regel zu den Ausnahmen von der Regel.

Die Aufgaben des „Theaterkindes“ aber sind mit dem Weiterausschreiten des modernen Stückes — nicht zu reden von Ausschreitungen — eine viel erhöhtere und kompliziertere geworden. Wie es im Leben in immer prononcierterer Weise „keine Kinder mehr gibt“, so wird auch dem Kind auf der Bühne immer mehr zugemutet, schrecklich viel zu „denken“ und Subjekt oder Objekt psychologisierender Probleme zu sein. Ist ja bereits das „Kind als dramatischer Held“ in Schönherrs erschütterndem kleinen Schauspiel „Karrnerleut'“ bis zum Selbstmord avanciert. Und wie keine Kinder mehr, wird's bald auch keine Jungmägdlein mehr geben, im heiter-schönen Sinne des Dichters. S. S.

Die Hochzeit des deutschen Kronprinzen.

Der Einzug der Braut.

(Privat-Telegramm des „Neuen Wiener Journal“.)

B e r l i n, 3. Juni.

Der Einzug der Herzogin Cäcilie in Berlin hat unter der lebhaftesten Teilnahme der Bevölkerung stattgefunden. Ganz Berlin drängte sich — trotz der enormen Hitze — auf den Straßen, und es fehlte auch nicht an zahlreichen, glücklicherweise jedoch meist nur leichten Unfällen, welche bei solchen Massenansammlungen unvermeidlich sind. Die Einzugsstraße prangte in herrlichstem Schmuck. Grünes Laub und rote Rosen bildeten den Grundcharakter der Dekoration. Auch die Palais des Kaisers Wilhelm I. und des Kaisers Friedrich I. zeigten nach vielen Jahren zum erstenmal wieder prächtigen Schmuck. Ein vieltausendköpfiges Publikum füllte die Feststraße. Die Kähne an der Schloßbrücke trugen reichen Flaggenschmuck.

Die Ankunft in Berlin.

Herzogin C ä c i l i e ist vormittags hier eingetroffen, nachdem sie in Wittenberge den mecklenburgischen Sonderzug verlassen hatte und im Namen des Kaisers durch den Hofmarschall begrüßt worden war. Im Bahnhofe zu Wittenberge hatte eine Ehrenkompagnie des mecklenburgischen Infanterie-Regiments Nr. 24 mit Fahne und Musik Aufstellung genommen. Von dort erfolgte die Fahrt mit einem preußischen Sonderzuge. Im Lehrter Bahnhofe wurde Herzogin Cäcilie vom Oberstallmeister des Kaisers und dem Gouverneur von Berlin empfangen. Der Kommandant von Berlin und der Polizeipräsident geleiteten die Herzogin durch das mit Rosen geschmückte Portal zur Galakarosse.

Die Spalierbildung durch die Korporationen.

Auf dem Platz in der Nähe der Feststraße sammelten sich die verschiedenen Vereine und Korporationen, um sich in geschlossenen Zügen unter Vorantritt der Musikkapellen auf ihre Plätze im Spalier zu begeben. Die Kriegervereine — 6000 Mann —, teils in Zivil teils auch in Uniform, nahmen auf der Charlottenburger Chaussee zwischen Brandenburger Thor und Siegesallee Aufstellung. Eine andere Gruppe von fünfhundert Mann bildeten die Brauer. Vor dem Bismarck-Denkmal scharte sich die Tischlerinnung um ihre alte Holzfahne. Die Schlächtermeister setzten sich hoch zu Roß nach dem kleinen Reitweg in Bewegung, wo die Kavalkade das Heranrücken des Brautzuges erwartete, an dessen Spitze sie sich nebst den Postillonen setzte. Die Vertreter des Rudersportes nahmen an der Schloßbrücke neben den Offizieren der kaiserlichen Marine ihren Platz im Spalier ein. Von jedem Ruderverein waren zehn Mann erschienen. Je zwei trugen bekränzte und mit Blumen geschmückte Riemen. Außerdem war eine große Anzahl von Flaggen und Bannern vertreten. Die Ruderer erschienen in ihrer kleidsamen Sporttracht mit weißen Hosen und dunklem Jacket und Sportmütze, andere in Kniehosen und Sweater. Auf beiden Seiten standen je 150 Mann.

Um 4 Uhr waren bereits alle Plätze an den Fenstern, auf den Tribünen und selbst auf den Dächern dicht besetzt.

Der Einzug.

Um 5 Uhr setzte sich der Brautzug vom Schloß Bellevue aus in Bewegung. Als er die Linden erreichte, war es $^{1}/_{2}$6 Uhr. Vorne Postillone zu Pferd, dann eine Kapelle im Kostüm Seydlitzscher Reiter, weiter die Mitglieder der Berliner Schlächterinnung, die ihr altes Privileg, eine Hohenzollernbraut hoch zu Roß einholen zu dürfen, mit ersichtlicher Genugtuung ausübten. Gardedragoner folgen. Dann zeigen sich in den ersten drei Galawagen, Sechsspänner, die Herren vom kronprinzlichen Hofe. Und jetzt die Prinzessin! Hell klingt es ihr aus tausenden Kehlen entgegen. Die acht Rosse halten auf einen Ruck, die den in Gold glänzenden, über hundert Jahre alten Wagen eskortieren. Der Wagenschlag wird geöffnet. Neben der Kaiserin, in dekolletiertem Silberbrokatkleid, das Haupt mit einem funkelnden Diadem geschmückt, und gegenüber ihrer Oberhofmeisterin Freifrau v. T h i e l e-W i n k l e r wird jetzt die Herzogin Cäcilie sichtbar. Alle Blicke ruhen auf ihr. In ihrem glatten Rosakleide, das unter dem Ausschnitt mit weißen, myrtengrün durchstickten Spitzen bedeckt ist, über der edelgeformten weißen Stirn im dunkeln hochfrisierten Haar ein zartes Filigrandiadem, sieht die Braut reizend aus.

Die Begrüßung durch den Oberbürgermeister.

Nur einige wenige Augenblicke schweift ihr Blick rührend und dankbar über die Reihen der Umstehenden, über die Ehrenjungfrauen hinauf zu den Tribünen. Dann beginnt Oberbürgermeister K i r s c h n e r zu sprechen. Mit redegewandter Sicherheit und mit einem unverkennbar herzlichen Grundton beglückwünscht er die Herzogin zu ihrem Eintritt in Berlin und weist sie auf jenen hohen, an Ehren und Würden reichen Platz und auf eine glückverheißende, hoffnungsreiche Zukunft hin. Der Einzug der Prinzessin rufe die Erinnerung an die Königin L u i s e wach, die, ebenfalls eine Fürstenbraut aus mecklenburgischem Fürstengeschlechte und gleichfalls die Braut eines deutschen Kronprinzen, vor mehr denn hundert Jahren in dieser Stadt ihren Einzug gehalten habe und deren Andenken in dem dankbaren Volke noch heute fortlebe. Zum Schlusse sagte Oberbürgermeister Kirschner: „Mit Rosen ist der heutige Weg Ihrer Hoheit geschmückt. Rosen bitten wir ehrerbietig als Willkommgruß der Stadt Berlin huldvollst entgegenzunehmen.“ Der Oberbürgermeister schloß mit einem dreifachen Hoch auf die Kronprinzenbraut.

Kaum war das Hoch von den Zuhörern aufgenommen und wieder verklungen, als die Herzogin, sich vorbeugend, mit lauter und fester Stimmer etwa das folgende sagte: „Hochverehrter Herr

sequenz führen, daß sich der Klub in wahrhaftigsten und entschiedensten Widerstand gegen eine Regierung stellen muß, welche sich das „Einvernehmen der Parteien“ und „die selbständigen Entschließungen“ auf diese Weise vorstellt. Diese Stellungnahme ist der Klub seiner Ehre, den tschechischen Interessen schuldig und er muß die weiteren Beziehungen mit einem System abbrechen, welches weit ärger ist als dasjenige des Dr. v. Koerber. Dem Abgeordneten Hruby konnte Baron Gautsch „beruhigende Erklärungen“ geben, dem Tschechenklub wird dieses Vergnügen wohl nicht mehr zuteil werden, weil dem Baron Gautsch nicht mehr Gelegenheit geboten werden darf, die tschechischen Abgeordneten weiter anzuschmieren. Wenn das Präsidium des Tschechenklubs aus der Troppauer Affäre diese Konsequenzen nicht ziehen sollte, wird es der Regierung nicht wahrhaftesten und entschiedensten Widerstand leisten: wenn es insbesondere nicht seine famosen Situationskonferenzen mit dem Ministerpräsidenten sistiert, dann können wir bereits heute erklären, soweit wir die Gesinnungen der jungtschechischen Abgeordneten aus Mähren kennen, daß der Tschechenklub noch heuer gesprengt werden wird, daß ein Teil der Abgeordneten, welcher weniger von den Reizen des Baron Gautsch geblendet ist, seine eigenen Wege gehen wird. Es ist schwer, im politischen Leben Erfolge zu erreichen, weil sie die Welt nicht immer anerkennt. Aber es ist besser, keine Erfolge zu erreichen, als von Mißerfolg zu Mißerfolg zu schreiten. Die Troppauer Affäre hat unserer Geduld den Boden ausgeschlagen und das tschechische Volk ist mit dem Baron Gautsch fertig. Hier hilft dem Baron Gautsch nicht einmal das Wohlverhaltungszeugnis, das ihm der Herr Abgeordnete Hruby ausgestellt hat.“

Wie man der „Pol. Korr.“ aus Paris meldet, bezeichnen es dort eingetroffene Berichte aus Christiania als unwahrscheinlich, daß die Lösung der nordischen Krise mit der Umgestaltung Norwegens zu einer Republik abschließen werde. Der Stand der öffentlichen Stimmung deute vielmehr darauf hin, daß der in Christiania gleichzeitig mit der Trennung von Schweden kundgegebene Wunsch nach Uebernahme der norwegischen Krone durch den zweiten Sohn des Königs Oskar schließlich doch durchdringen werde. Obgleich diese Neuregelung der Angelegenheit bisher beim König auf Widerstand stößt, habe man doch Anhaltspunkte für die Annahme, daß diese Haltung des schwedischen Herrschers nicht unerschütterlich bleiben dürfte.

Städtische Angelegenheiten.

Die Fleischverteuerung.

Errichtung von Detailverkaufsständen.

Der Stadtrat hat gestern zur Hintanhaltung der Fleischverteuerung beschlossen, der Großschlächterei-Aktiengesellschaft aufzutragen, mit der Errichtung von Detailfleischverkaufsständen in den einzelnen Bezirken, in erster Linie im X., XVI. und XX. Bezirke, ehestens vorzugehen. Vielleicht liegt in diesem Beschluß noch immer nicht jene Energie, die man von der Stadtverwaltung in dieser Lebensfrage der Bevölkerung erwarten sollte. Es ist nicht einzusehen, weshalb nicht in allen Bezirken zahlreiche Detailverkaufsstände errichtet werden. Die Fleischverteuerung betrifft nicht nur die Bezirke mit der am mindesten bemittelten Bevölkerung, sie ist auch für den Mittelstand aller Bezirke bereits unerträglich.

Im nachstehenden der Bericht über die Stadtratssitzung:

Der Stadtrat hielt gestern vormittags eine Sitzung ab, in welcher nach Erledigung einer größeren Anzahl von kurrenten Geschäftsstücken zu der in der letzten Zeit stattgefundenen neuerlichen Steigerung der Fleischpreise Stellung genommen wurde.

Den Vorsitz führte Bürgermeister Dr. Lueger, welcher seinen Urlaub wegen dieser Angelegenheit unterbrochen hatte und bei seinem Erscheinen im Sitzungssaale von den versammelten Mitgliedern des Stadtrates lebhaft begrüßt wurde.

Der Beratung waren als Experten beigezogen: Reichsratsabgeordneter Gemeinderat Axmann als Mitglied des Verwaltungsrates der I. Wiener Großschlächterei-Aktiengesellschaft, ferner Magistratsdirektor Dr. Weiskirchner, Magistratsreferent Dr. Schaad und der derzeitige Leiter des Marktamtes Marktinspektor Schwarz.

Stadtrat Wessely erstattete einen ausführlichen Bericht, welchem wir entnehmen, daß bereits im April und Mai dieses Jahres die Preise für Rindfleisch im Detailverkaufe eine Steigerung erfahren haben. Nach den Berechnungen des Marktamtes betrug diese Steigerung durchschnittlich fünf Heller per Kilogramm. Im Monate Juni sind dann 196 Verkaufsstellen mit einer Preiserhöhung vorgegangen, und zwar in solchen Betriebsstätten, welche an der Preiserhöhung im April und Mai nicht beteiligt waren. Die Preiserhöhung betrug zumeist 8 bis 10 Heller per Kilogramm. Anfang August ließen mit einemmale und ganz unerwarteter Weise weitere 226 Fleischhauer, beziehungsweise Fleischverschleißer in allen Bezirken Wiens mit Ausnahme des III. und XIX. Bezirkes eine Erhöhung der Fleischpreise eintreten. Auch diesmal waren es zumeist solche, welche im heurigen Jahre die Preise noch nicht erhöht hatten. Die Preissteigerung bewegte sich bis zu 20, 30, ja sogar 40 Heller per Kilogramm. Es kann angenommen werden, daß die im heurigen Jahre erfolgten Erhöhungen der Rindfleischpreise teilweise mit den Auftriebsverhältnissen und der Preisbewegung am Zentralviehmarkte im ursächlichen Zusammenhange stehen. Der Viehmarkt zeigt momentan einen Tiefstand an Viehzufuhr in quantitativer Beziehung, welcher zum Teile auf die vorjährige Futternot zurückzuführen ist. Hauptsächlich dürfte jedoch die geringe Beschickung des Viehmarktes mit dem in den letzten Jahren gesteigerten Schlachtviehexport über die Grenze Oesterreich-Ungarns begründet werden. In dieser Hinsicht dürfte zu erwägen sein, daß der neue Zoll auf Rinder nach Deutschland, welcher am 1. März 1906 in Kraft treten soll, um zirka 30 Mark gegen früher höher ist und daß hienach auf eine Verminderung des Exports nach Deutschland gerechnet werden kann. Auch dürfte bei günstigeren Ernteaussichten wie im Vorjahre ein besserer Auftrieb an Mittelware im kommenden Jahre zu gewärtigen sein. Nichtsdestoweniger ist nach den Mitteilungen der Vertreter der Ersten Wiener Großschlächterei A.-G. eine Erhöhung der Fleischpreise in dem Umfange, wie sie jetzt erfolgt ist, nicht begründet und wäre für jene Fleischhauer zu vermeiden, welche sich entschließen wollten, ihren Bedarf bei der Großschlächterei zu decken.

Nach eingehender Beratung, an welcher Bürgermeister Dr. Lueger, Vizebürgermeister Dr. Porzer sowie die Stadträte Gräf, Knoll, Grünbeck, Oppenberger sowie Reichsratsabgeordneter Gemeinderat Axmann, Magistratsdirektor Dr. Weiskirchner und die Experten des städtischen Approvisionierungsdepartements sich beteiligten, wurde folgender Beschluß gefaßt:

1. Die Großschlächterei-Aktiengesellschaft wird aufgefordert, mit der Errichtung von Detailfleischverkaufsständen in den einzelnen Bezirken, in erster Linie im X., XVI. und XX. Bezirke, ehestens vorzugehen, und wird die Gemeinde die erforderlichen Plätze gegen den üblichen Pachtzins zur Verfügung stellen; 2. der Magistrat wird beauftragt, mit jenen Fleischhauern und Fleischverschleißern, welche ihre Stände auf Gemeindegründen betreiben, zu verhandeln, damit keine ungerechtfertigten Preiserhöhungen von denselben vorgenommen werden, und über das Ergebnis an den Stadtrat zu berichten; 3. der Magistrat wird beauftragt, nach den einzelnen Bezirken namentliche Verzeichnisse der Fleischhauer und Fleischverschleißer anzulegen und bei jedem anzugeben, ob eine ungerechtfertigte Preiserhöhung des Fleisches in seinem Verkaufsstande vorgenommen wurde oder ob die Preise konstant geblieben sind.

(Sitzungen im Rathause.) Der Stadtrat hält in der kommenden Woche am Freitag 10 Uhr vormittags und 4 Uhr nachmittags Sitzungen ab.

(Bohrstudien.) In der gestrigen Stadtratssitzung brachte Stadtrat Gsottbauer folgenden Antrag ein: Durch die bedeutenden Fortschritte auf dem Gebiete der Bohrtechnik sind jetzt die Kosten für Tiefbohrungen so gering, daß es mit wenigen Mitteln auch jedem Grundeigentümer leicht möglich ist, die Beschaffenheit seines Eigentums bis zu den größten Tiefen zu erforschen. Wertvolle Ueberraschungen hat die Bohrtechnik erzielt und manches Naturprodukt zu Tage gefördert, von welchem man vorher keine Kenntnis hatte. Es ist wohl auch ein Vorteil, wenn bei größeren Bauausführungen durch Bohrungen die Fundierungsverhältnisse mit größter Sicherheit beurteilt werden können. Daß dieser Umstand allein sehr beachtenswert ist, wird durch einen Fall, wo bei einem öffentlichen Bau die Fundamente mit zirka 12 Meter angenommen, mit zirka 24 Meter ausgeführt wurden bestätigt. Die Konsequenzen, welche ein solcher Fall im Gefolge hat, sind unberechenbar. Bei Förderung von Kunst und Wissenschaft nimmt die Stadt Wien einen hervorragenden Rang ein. Durch die vorangeführte Darlegung handelt es sich darum, auch Bestrebungen zu fördern, welche nicht nur wissenschaftlichen Forschungen dienen würden, sondern auch materielle Vorteile erhoffen lassen. Es wird daher der Antrag gestellt: Es werde in das jährliche Präliminare ein angemessener Betrag eingestellt, damit unter entsprechender fachmännischer Leitung und nach einem festzustellenden Programm auf dem städtischen Grundbesitze Tiefbohrungen vorgenommen werden können. Der Antrag wurde der geschäftsordnungsmäßigen Behandlung zugewiesen.

Tagesneuigkeiten.

Opfer der Hitze.

Schreckliche Folgen der Temperaturexzesse.

Die Qual der letzten Tage ist zu groß. Von allen Seiten laufen Klagen über die Ausschreitungen der Temperatur ein. Die armen zu sommerlicher Großstadt Verurteilten jammern ob ihres Geschickes und beneiden die glücklicheren Sommerfrischler. Die draußen aber schimpfen, daß auch sie nur den Sommer gar gewaltig, von der Frische aber nichts spüren.

Der Wetter- und der Tagesbericht verzeichnet die meteorologischen Erscheinungen der Hundstage und die Witterungskatastrophen, aber viele Konsequenzen der Sonnenglut bleiben verschwiegen. Nachstehend einige Klagen unglücklicher Opfer:

Ein Wiener Lebemann, der mehr Bedürfnisse hat, als seinen Revenuen entspricht, klagt, daß in den letzten Tagen alle vermögenden Freunde und alle Geldgeber Wien verlassen haben. Er konstatiert als bemerkenswerte Erscheinung, daß infolge der abnormen Hitze in Wien sogar alle Geldquellen versiegt sind.

Ein strebsamer Jüngling beklagt den Verlust der Zuneigung eines mitgiftigen Mädchens, mit dem er sich demnächst verloben sollte. Die junge Dame fand seine Werbung zu heiß und stellte ihn daher kalt! Auch ein Opfer der Temperatur.

In den meisten Sommertheatern bereitet das Publikum allen Novitäten, um sich zu erfrischen, eine äußerst kühle Aufnahme.

Die Direktoren müssen sogar bedacht sein, nur mit solchen Kräften zu spielen, die das Publikum unbedingt kalt lassen. Ein besonders findiger Theaterleiter will sogar die Stücke seiner Bühne so miserabel besetzen und inszenieren, daß in seinem Theater alles bisnun Gebotene tief in den Schatten gestellt wird. Alles mit Rücksicht auf die Sonnenhitze.

Die wärmsten Freunde meiden sich natürlich. Feurige Brünette finden keinen Anschluß bei Strohwitwern, die kühlen Blonden allein haben Chancen.

Ein armer Teufel, der sich an einen wohlhabenden Gönner mit der Bitte wandte, ihm durch ein kleines Darlehen aus einer peinlichen Situation zu helfen, erhielt die Antwort: „Sie werden mir bei der Hundstagshitze nur dankbar sein, wenn ich Sie im Wasser lasse!“ Die Absage wirkte wirklich wie eine kalte Dusche.

In Rußland ist man gleichfalls bestrebt, die unerhörte Hitze zu bekämpfen. So hat man — dem Vernehmen nach — die ganzen Reformpläne wieder aufs Eis gelegt. Ob sich die Pläne frisch halten werden, weiß man aber nicht, denn sie standen schon jetzt in schlechtem Geruche.

Nur in einem Lande Europas wird die ausgebrochene Hitze als Bundesgenosse behufs künstlicher Erzeugung von Tollwut freudig begrüßt. Dort wird auch bei vierzig Grad im Schatten noch geschürt — — —

Das schöne Land, ich wag' es nicht zu nennen, ist ja stolz auf seine Heißsporne, auf seine feurigen Weine und auf seinen scharf brennenden Paprika.

Aber auch in jenem hitzigen Lande wird nicht alles so heiß gegessen als es gekocht wird. Eljen! Robert.

Wiener Originale.

XII.

Theodor Woller.

Der gefeierte Held der Herrenabende, der Sieger im gemischten Familienprogramm, der Liebling der unterspickten Muse. Der gefährlichste Konkurrent Kornaus in Vereinen, bei Aristokraten und in den Kreisen jener Gesellschaft, wo man sich frei und gut unterhalten will. Kurzum, eine interessante Wiener Figur, ein populärer Name, ein Mann, dessen lebensgroß affichierter Kopf nebst eigenhändiger Unterschrift genügt, um Säle zu füllen, die mit Goethe, Baumbach und Beethoven nie zu füllen gewesen wären.

Er hat immer Saison. Im Winter regiert er in der Residenz; Taxe fünfzig Kronen ohne Souper und Wagen. Im Sommer sieht man ihn in den Kurorten; Taxe nach Uebereinkommen.

Ich sah ihn in vollem Glanze. Er wurde eben von einem distinguierten Publikum zum zwanzigstenmal hervorgejubelt. Er kam lächelnd und gab immer wieder zu, denn das ist seine Force; er allein vermag es, ein Programm zu bilden, und dann gibt es keine Götter neben ihm.

Wir lassen uns unweit des „Künstlertisches“ nieder. Denn ohne Künstlertisch geht's nicht. Hier ist Gelegenheit, das freie Souper in Ehren einzunehmen, hier finden sich immer noch die enthusiastischen Frauen und Männer, deren Geschmack in die Nähe der Kunst drängt. Einmal ist's eine verkrachte Harfenistin, einmal eine sommerliche Azuzena und einmal ein gelockter, greisenhafter Wunderknabe. Aber sie sind begeistert. Und am nächsten Tage: „Wir haben gestern beim Künstlertisch soupiert, ich bitt' Sie, das sind doch andere Leute!“

Woller geht nicht zu den anderen Künstlern, er läßt die bewundernden Blicke an sich herabgleiten und ist Star für sich selber. Vorerst verschweigt er nichts von seiner Biographie. Sie gipfelt darin, daß er bei Gänsbacher lernte, im Carl-Theater neben Wittels und im Wiedener Theater als Gast das Repertoire beherrschte. Schließlich sah er, daß dem Theater durch die viele Konkurrenz der goldene Boden entzogen sei, schrieb einige Witzbücher und machte sich selbständig. Herr Woller ist nämlich ein „selbstverfaßter“ Humorist. Er arbeitet seine Vorträge persönlich aus und seine Scherze und hat besonders die „Mit Respekt zu melden-Literatur“ erheblich zu bereichern verstanden.

Seine Bücher „Ueberbrettl“, „Zwischenbrettl“ ꝛc. haben ganz enorme Auflagen erzielt, er bezieht horrende Verlagshonorare, er ist der festen Ueberzeugung, daß er auch als Schriftsteller leben könnte, wenn er nicht zufällig auch Rezitator und Mimiker wäre. Das ist immer erfreulich, wenn man's in Oesterreich so weit bringt.

Wodurch er so gute Wirkungen erzielt?

Er erzählt davon, daß er zwei Seelen in seiner Brust berge. Vor allem ist er Familienhumorist, dann können ihm die englischen Fräuleins zuhören, und in zweiter Linie ist er der Mann der Herrenabende. Da ist er hors concours. Seine Kunst ist es, daß er diese beiden Personen genau auseinanderhält. Freilich ist es ihm schon häufig vorgekommen, daß er im Salon, nachdem sich die Damen diskret zurückgezogen haben, zum Umsatteln ge-

---

würde er sie sehen. Und solche Träume erpreßten ihm einen tiefen Seufzer. Die Baronin aber meinte, er strenge sich mit dem Rudern zu sehr an, und lächelte und sagte ernst mit ihrer tiefen, klingenden Stimme: „Heini, du ruderst ja wie ein Mann, ruhe dich aus, mein Kind, jetzt will ich dich fahren.“ Und der Heini wurde dann furchtbar rot. Und wieder wußte er nicht weshalb, und die schöne Baronin Eugenie wußte es auch nicht. Und sie ruderte ihren Pagen auf dem See umher.

— — — — — — — — — — — — —

Der Baron, der junge Diplomat, war angekommen. Die ganze Damenwelt hatte sich überzeugt, mit welcher Zärtlichkeit sich die junge Frau auf dem Bahnhofe in seine Arme geworfen hatte. Es war wirklich verdrießlich, die Baronin schien ja in ihren Mann verliebt wie eine Braut, und er war ein bildschöner, stattlicher Mann mit vornehm-freundlichem Gesichtsausdruck, der sein junges Weib mit glücklichem Stolz ansah.

„Rührend!“ sagte die boshafteste Zunge, aber man mußte anerkennen, es war ein stattlich-schönes Paar, das da Arm in Arm der Villa am See zuschritt, unbekümmert um die Blicke der Beobachter und Beobachterinnen, versunken in das Glück des Wiedersehens.

Heini aber, der kleine Page, der ein herrliches Gewinde von Alpenblumen als Willkommgruß über der Tür der Villa befestigt hatte, blickte mit seltsamen starren Blicken auf die schöne Frau, die sich an die Schulter des hochgewachsenen Mannes schmiegte, dann sprang er fort und lief das Seeufer entlang bis zu einer stillen, schilfumsäumten kleinen Halbinsel, dort warf er sich zu Boden und schluchzte bitterlich . . .

Am Nachmittag fragte er in der Villa an, ob die Baronin seiner zum Rudern bedürfe. Kein Mensch sah dem Jungen an, daß er vor einigen Stunden so bitterlich geweint hatte. Er erhielt die Auskunft, daß der Herr Baron von nun an die Frau Baronin selbst auf den See hinausrudern werde. Er nickte und ging davon . . .

— — — — — — — — — — — — —

Der junge Morgen beleuchtete die Bergspitzen und ein violetter Nebelschleier begann sich vom See zu heben, da trat aus der Tür, die vom Schlafgemach auf die Seeterrasse hinausführte, die Gestalt der Baronin. Die schöne Frau hatte nur ein Negligée übergeworfen und in herrlichen Wellen floß das Haar über ihren stolzen Nacken hinab. Eine weiche Müdigkeit lag über der wundervollen Gestalt und in den träumerischen Augen lag ein Ausdruck eines süßen, tiefen Glücksgefühls. Baronin Eugenie sog begierig die kühle Morgenluft ein. Ihr Blick fiel auf einen mächtigen Strauß Alpenrosen und Edelweiß, umsäumt von dunkel blauendem Enzian, der dicht an der Schwelle des Schlafgemaches auf der Terrasse lag.

Ein Gruß vom Heini. Er mußte nachts die Blumen vor die Schwelle gelegt haben. Eine heiße Röte stieg dem schönen Weibe ins Angesicht . . .

Langsam ihre Wangen mit den taufeuchten Blumen kühlend, trat Baronin Eugenie an die Balustrade der Terrasse.

Jetzt schritt jemand schweren Schrittes aus der Tiefe des Gartens gegen das Ufer des Sees. Plötzlich ertönt ein lauter Schrei: „Jesus, Maria, der Heini! . . .“

Das ist die Stimme des Gärtners; eine plötzliche Ahnung lähmt die Gräfin, sie bringt keinen Laut aus der Kehle hervor, sie ist von jähem Entsetzen wie an den Boden gebannt. Dann löst sich die furchtbare Erstarrung, sie eilt die Stufen der Terrasse hinab zu der Stelle am Ufer, wo der Gärtner zwischen den Binsen steht und sich zu Boden beugt. Sie stößt den alten Mann zur Seite — sie weiß, welcher Anblick ihrer harrt, sie weiß — als ob sie plötzlich alles wüßte, wie dieser Knabe um ihretwillen zum Grat des Felsens geklettert, wie er sein Leben eingesetzt hatte um ihretwillen, wie er sie geliebt hatte mit der heißen, der unbewußten Liebe des Kindes, das zum Manne wird, wie er in bitterer Eifersucht und tiefstem Weh heute Nacht bis zur Türe ihres Schlafgemaches sich geschlichen hatte, um ihr seinen letzten Gruß zu senden. Wie er dann still gestorben war in den Wellen des Sees, über die er so oft mit ihr dahin geglitten war in schwankem Kahn. Still gestorben um ihretwillen, um seiner Pagenliebe willen.

Und da lag er und starrte aus gebrochenen dunklen Augen gegen den sich rötenden Morgenhimmel, der einen Schein von Leben auf seine fahlen Züge warf. Und eine heiße Träne fiel aus den Augen der schönen, totenbleichen Frau auf die kalten Lippen des toten Knaben . . .

— — — — — — — — — — — — —

Der Baron und seine schöne Gattin verließen die Sommerfrische am See. Die Baronin hatte das Grab des armen Heini mit wundervollen weißen Rosen schmücken lassen.

Armer kleiner Page! . . .

Die Damenwelt aber fand, daß das Leben am See doch interessanter geworden war, als man es sich gedacht hatte, „obwohl man es hätte voraussagen können, wie es kommen mußte mit dieser überspannten Frau . . .“

beten wurde. Da verdient er erst die höhere Taxe, denn paprizierte Witze stehen hoch im Preis, und dann zeigt er sein zweites Gesicht. Es macht ihm's keiner nach; er bereist jetzt Deutschland und trägt seine Kultur in den Nachbarstaat. Resultat: Volle Häuser, brillante Einnahmen und endliche Anerkennung, daß wir ihnen doch in manchem über sind. — Wollers Kopien wienerischer Persönlichkeiten sind berühmt, er ist ein naturgetreuer Drescher, ein prächtiger Edi Strauß, ein gottbegnadeter Guschelbauer. Stimmporträts macht er nicht. Das ist alte Schule, er will nur als Individualität genommen werden. Er hat mir viele hübsche Begegnungen mit Meister Drescher und dann auch Anekdoten erzählt, aber ich habe die Pointen vergessen.

Interessieren dürfte es, daß er Rosegger, Ganghofer und Perfall als die Autoren angibt, denen er den meisten Dank für seine literarische Ausbildung schuldet. Er hat alle ihre Werke in seiner reichhaltigen Bibliothek und vergnügt sich in jeder freien Sekunde mit Lektüre. Oftmals hat er schon daran gedacht, zur Bühne zurückzugehen, aber er hat gefunden, daß das Theater doch nicht so viel materielle Befriedigung gibt und darum bleibt er schon bei seinem Metier, das er nun durch so viele Jahre, umgeben von allen weltlichen Ehren, betreibt.

Seine Erfahrungen in den Salons?

„Man ist sehr höflich, man sieht in dem Vortragenden den Künstler, man bezahlt ihn gut." Und er war schon bei Hoch und Nieder. Indisponiert war er lediglich einmal bei Anton Dreher. Der lud ihn zur Soirée ein. Die Soirée ist aber alljährlich am Karfreitag. „Ich mußte verdienen," sagt Woller, „deshalb nahm ich an, aber es schnürte mir die Kehle zusammen, man lachte mich aus weil ich gefastet hatte, aber zu Zugaben war ich nicht zu bewegen, ich empfahl mich und ging". Erzherzoge, Fürsten und Grafen haben ihm applaudiert, seine liebste Erinnerung führt ihn ins Schloß nach Donaueschingen, wo er vor der deutschen Kaiserin brillieren durfte. Er erzählt: „Ich bekam von der Kammer den Auftrag, sofort nach dem Schlosse des Fürsten Fürstenberg abzureisen und dort mein ganzes dezentes Programm abzuwickeln. Auch sagte man mir, ich dürfe erst aufhören, wenn die Kaiserin sich erhoben hätte. Da waren nun die Herrschaften und ich begann, vom höchsten Lampenfieber ergriffen, meine Vorträge. Die Kaiserin war entzückend liebenswürdig, sie sah meine Befangenheit und bemühte sich, mir ihre Zufriedenheit zu zeigen, die Prinzen unterhielten sich königlich, lachten laut und waren besonders von meiner Darstellung der Zillertaler Zwergin entzückt. Eineinhalb Stunden stand ich schon auf dem Podium, die Kaiserin machte aber noch keine Miene, sich zu erheben, ich stand vor meinem letzten Vortrag und dachte mit Entsetzen daran, daß ich jetzt sagen müsse, mein Programm sei erschöpft. Aber die Kaiserin kam mir zu Hilfe, erhob sich und dankte für meine Mühe. Später erfuhr ich, die Kaiserin habe den Wunsch geäußert, ich möge noch einen Tag auf dem Schloß bleiben, um vor dem deutschen Kaiser, der am nächsten Tage erwartet wurde, zu sprechen. „Wenn es schlechtes Wetter ist," theilte mir die Kammer mit, „müssen Sie bleiben, wenn es aber schön wird, dann geht der Kaiser zur Jagd, dann können Sie abreisen." Ich wünschte schönes Wetter, denn ich war so aufgeregt, daß ich kein Wort hätte sprechen können. Und es wurde schön, der Kaiser sah mich, nickte freundlich aus dem Wagen und zeigte bedauernd nach dem klaren Himmel."

Man erkennt daraus, wie der Schwarze Adlerorden oft nur an einem Faden hängt. Die Kaiserin ließ ihn fragen, was er wünsche, Anerkennung, Geschenke, Geld. Im Kampfe zwischen Eitelkeit und Klugheit siegte die letztere und er nahm achthundert Mark für die zwei glücklichen Tage.

Theodor Woller ist brav und bescheiden geblieben, sein Lewinsky-Profil und seine klingenden Erfolge machten ihn nicht hoffärtig, er bietet überall das Beste, im kleinsten Verein wie im Salon des Finanziers, und das ist seine Stärke.

Mit Freude und Befriedigung muß es jeden Denkenden erfüllen, daß Theodor Woller einen hübschen Landsitz mit seiner Kunst erworben hat, auf dem er in der kurzen Ferienzeit, die er sich gönnt, neuen literarischen Studien zum Wohle seines Publikums obliegt.

A. D.-G.

Die Nothelferin vom Michaelerplatz.

(Unter dem „Theaterdachl". — Die Frau des Souffleurs und ihr fliegendes Kontor. — Künstlerwirtschaft von ehedem. — Die Nothelferin und ihre Hintermänner. — Die Bürgschaft. — Eine alte Statistin und wie Dingelstedt mit ihr fertig wurde. — Vorschuß- und andere Geschichten aus dem alten Operntheater. — Das Ballettmädel und die „Schicksalswürstel". — Der Freikartenfex vom Theater an der Wien. — Der „alte Pohl" aus der Josefstadt, sein Portemonnaie und sein Schwur.)

Auf der unvergeßlichen „Künstlerbank" unter dem unvergeßlichen „kleinen Dachl" des alten Burgtheaters, dessen Abbildung den alten Burgtheaterleuten das Gemüt so melancholisch stimmt, konnte man um die Sechziger- und Siebzigerjahre herum während der Spielzeit des öfteren eine Frau sitzen sehen, eine dralle Figur mit noch hübschen Gesichtszügen, nicht Wiener Schnittes, sondern nach bayrischer Herkunft deutend, in der Art einer Geschäftsfrau gekleidet und meistens mit einer Tasche am Arm, die den Taschen der Nothelferinnen glich, deren Beruf es ist, dem Menschen beim Eintritt ins Leben behilflich zu sein. Von Zeit zu Zeit kam dann einer der Bediensteten des Theaters herausgeschossen, der angelegentlich mit ihr verhandelte, eine Botschaft von drinnen bestellte, oder eine für drinnen übernahm und damit wieder verschwand.

Eine Nothelferin in ihrer Art fürs Theater war auch die Frau, die im Greisenalter zuletzt auf hölzernem Klumpfuße herumhumpeln mußte und vor ein paar Tagen in armseligster Lage gestorben ist. Nicht in künstlerischen Nöten wurde ihr Beistand reklamiert, sondern in jenen anderen Beklemmnissen, von denen auch „k. k. Hofschauspieler mit dem Dekret", Künstler des ersten Ranges, damals wenigstens, von Zeit zu Zeit heimgesucht wurden. Da war denn die Nothelferin zur Hand, nicht mit eigenen Mitteln — sie war ja nur die Frau eines ehemaligen Souffleurs vom Burgtheater, der ins Irrenhaus hatte gebracht werden müssen, und sie ernährte sich und ihre Kinder zumeist von den Erträgnissen ihrer Mühewaltung bei Hinwegräumung der Schwierigkeiten, in denen sich gerade der und jener Künstler befand. Sie war die Geheimagentin manches Größten und Gefeiertsten, und sie hätte, wenn ihr nicht „Diskretion Geschäftspflicht" gewesen wäre, gar wunderliche Beiträge zu den Hoftheater-Memoiren ihrer Zeit liefern können. Insoferne gehörte die Frau in ihrer sonst doch ganz unbemerkbaren „sozialen" Stellung zu den charakteristischen Figuren der alten Künstlerwirtschaft und zu den sprechendsten Illustrationen der bürgerlichen und wirtschaftlichen Umwälzung, die sich in der Lebensführung der Künstlerschaft vollzogen hat. Die besten „Kundschaften" der einstigen Nothelferin gelangten in ihren Verhältnissen allmählich auf „solide" Basis und nahmen sie immer seltener in Anspruch, bis sie erkennen mußte, ganz entbehrlich geworden zu sein. Auch in ihrer äußerlichen „Position" im Theater selbst markierten sich diese Entwicklungsphasen. In den ersten Zeiten ihrer Geschäftigkeit war sie eine regelmäßige Erscheinung hinter den Kulissen selbst gewesen, wohin ihr, gewissermaßen als „Angehörige" des Hauses, als Frau des Souffleurs, der Zutritt leicht geworden war. Dann aber, nach mancherlei häßlichen Geldgeschichten, bei denen — das Zeugnis mußte ihr gegeben werden — nicht sie die häßliche Rolle spielte, wurde ihre Anwesenheit auf der Bühne für unstatthaft befunden und sie durfte nur mehr ihr „fliegendes Komptoir" draußen auf dem Michaelerplatz unter dem „Dachl" aufschlagen, bis sie endlich auch von da verschwand und einer trübseligen Vergessenheit anheimfiel.

Bis in die schweren Tausende verstieg sich bei manchem Immerbedürftigen ihre Hilfsbereitschaft, sie hatte für alle und alles ihre „sicheren Geldquellen" offen, unglaubliche mitunter, wenn man die Qualität der Geldgeber in betracht zog — so zum Beispiel gehörte zu diesen indirekten „Gönnern" und „Förderern" der Hofschauspieler ein, bereits vom Platze verschwundener und verstorbener, großer Uhrenfabrikant, der sein Gewölbe in der Innern Stadt hatte. Das Kurioseste aber war, daß diese Geldleute gewöhnlich an der Bedingung festhielten, die Vermittlerin, eine so gut wie vermögenslose Frau, müsse die Giroverbindlichkeit auf den Wechseln übernehmen. Und so figurierte auf den verhängnisvollen schmalen Papierstreifen ihr Name neben illustresten Künstlernamen. Das geschah, teils um die Schuldner nicht zum peinlichen direkten Verkehr mit den Gläubigern zu nötigen, teils um auf sie eine „moralische Pression" zu üben, in der Voraussetzung, „so ein Künstler" werde nicht „so eine arme Person" in Verlegenheit bringen wollen und sich darum der skrupulösesten Pünktlichkeit im Zahlen befleißen. Die Verlegenheiten blieben aber doch nicht aus und die gute Frau hatte manche Stunde schwerer Aengsten zu bestehen, wenn es sich um besonders Großes handelte und eine ernste Stockung eintrat — selbstverständlich nie aus bösem Willen der Schuldner, sondern wenn sich wieder einmal die Unzulänglichkeit des Künstlers in der Kunst des Rechnens erwies. So war's in einem recht eklatanten Falle, als zwei von „drinnen", zwei von den seriösen Künstlernaturen für einen ihrer muntersten Kollegen Gutstehung geleistet hatten, bei sehr, sehr hohen Beträgen, und der sanguinische, immer optimistisch zuversichtliche Hauptschuldner neuerlich die schon oft erlebte Enttäuschung erfuhr, daß eine, in bestimmte Rechnung gezogene, Erwartung ihn im Stiche ließ, folglich die beiden Bürgen zur Einlösung ihrer Garantie herangezogen wurden. Das gab viel unangenehmen Spektakel und die zwei unschuldig Schuldigen mußten die schlimmsten Anstrengungen machen und die schwersten Opfer bringen, um den Wert, den sie auf Erfüllung übernommener Verpflichtungen legten, intakt zu erhalten. Allerdings wurde ihnen, wohl erst nach ziemlich langer Zeit, von dem munteren Kollegen voller Ersatz geleistet und — von so wohltuender Liebenswürdigkeit waren damals die kollegialen Verhältnisse — das gute und herzliche Einvernehmen zwischen den Dreien war durch den, mehr als unerquicklichen, Zwischenfall keinen Augenblick gestört. Das „Einer für den anderen" hatte da wirklich noch seine kameradschaftlichste Geltung. Die Nothelferin nahm das Ungemach natürlich auch als eine der unvermeidlichen Begleiterscheinungen ihres Berufes hin — sogar der Trost der angemessenen Entschädigung stellte sich nicht immer ein — und sie setzte ihre Wirksamkeit mit „ungeschwächten Fonds" ihrer Hintermänner fort, die mitunter auch Weiber waren. Im Burgtheater selbst, in der Liste der Engagierten, war eine solche Frau, eigentlich ein Fräulein — wohl nur eine Statistin. Im ganzen eine recht ehrsame Person, die vermutlich keine Wucherzinsen nahm, sondern allenfalls einen bescheiden höheren, als den „landesüblichen Zinsfuß" für ihre anonym oder pseudonym geleisteten Gefälligkeiten — eine Art „altes Hausmöbel" des Theaters, in der Korpulenz und Vierschrötigkeit der äußeren Erscheinung, mit dem blatternarbigen Gesichte, nichts weniger als zu den Ausstattungsreizen des Burgtheaters gehörend, also eigentlich eine lebende Rätselfrage: „Warum wird die noch immer auf ihrem Platze belassen?" Bis unter Dingelstedt erhielt sich das Rätsel — da kam's zu einem brutalen Abschluß. Bei einer Probe vom „Uriel Acosta" war's, in der großen Gesellschaftsgartenszene des zweiten Aktes. Die unglückselige Frauenfigur hatte den Eigensinn oder die Ungeschicklichkeit, sich immer in eine vordere Reihe, so recht in Sicht zu stellen — plötzlich tönt vom Parkett herauf die Stimme Dingelstedts: „Wer ist denn das alte Frauenzimmer dort?" — er konnte bei solchen Gelegenheiten in der verletzendsten Weise „unhofmännisch" sein — ein paar Tage darauf war die Rätselfrage pensioniert.

Das ist eines der dunkelsten Kapitel in der an offensten Geheimnissen so überreichen Geschichte des Theaterwuchers, das der internen Geheimquellen, die zwischen den Kulissen leise, leise und versteckt rieseln, aber wildbachartig anschwellen und verheeren können. Auch aus dem alten Operntheater herüber war darüber mancherlei kuriose Mär geklungen, die in den ersten Jahren des neuen Hauses noch immer nicht recht hatte verklingen wollen. Von einem, nunmehr auch längst verstorbenen, Kassebeamten wurde erzählt, der den Nebenberuf so eines hilfreichen Hausgeistes emsig gepflegt habe und der von dem Drange, seinen Rettungseifer beweisen zu können, derart beseelt gewesen sei, daß er die Gelegenheiten dazu sich zu schaffen wußte, wenn sie sich nicht von selbst boten. Mehr als einmal — wurde gewispelt — sei auffälligerweise ein erbetener Vorschuß, der schon so gut wie bewilligt gewesen, in letzter Stunde auf Hindernisse gestoßen, oder es sei in der Flüssigmachung desselben irgend eine formale Verzögerung eingetreten, die den Vorschußwerber, dem's gewöhnlich schon „an den Fingern brannte", in helle Verzweiflung brachte. Doch da eben, wenn die Not am höchsten, sei der gefällige Kassabeamte am nächsten gewesen und er habe gerne momentan „ausgeholfen", dann, wenn der Vorschuß wirklich kam, verbindlichst die Bemerkung gemacht, daß es mit der Rückzahlung ja nicht pressiere, falls das Geld noch weiter benötigt würde — und dann war auch schon das Netz um die natürlich dankbare Seele fest geschlungen. Einer der tüchtigsten Sänger der Hofoper, nicht von den ersten einer, aber von den vielseitigsten und beschäftigtesten, der unter den bittersten Kümmernissen die Augen schloß, hätte, wie damals im Theater herumgesprochen wurde, viel darüber erzählen können. Sehr ergötzlich, aber doch in tragikomische Akzente überschlagend, hört es sich an, was unter anderem ein intimster Kenner des Hauses und seiner Geheimnisse von dem Urquell weiblicher Ballettschulden zu plaudern wußte. „Ein Paar Frankfurter" habe mehr als eine schon zum Verderben geführt. Die „Frühstückwürstel" bei den Proben nämlich. Da sitzt so ein armes, kleines Ding — wohlgemerkt, das Genrebild trägt kein Gegenwartsdatum — und sieht, wie die Kameradinnen gierig in die saftigen Würstel hineinbeißen. Das Wasser treibt es ihr im Munde zusammen — ach, wie gerne sie auch möchte — aber sie hat keinen Kreuzer bei sich — sie ist erst blutige Anfängerin, liefert ihre paar Gulden getreulich an ihre Eltern ab und das sind arme Leute, die nicht für ein Gabelfrühstück aufkommen können. Da wird eine freundliche Stimme mit ermutigendem Rate vernehmbar: „Sie soll nur zugreifen, sie braucht es ja nicht gleich zu zahlen, sie kann ja auch am Ersten die Rechnung begleichen." Und sie greift zu und es schmeckt so gut, daß sie es am nächsten Tage wieder tut und so weiter und so weiter, bis der Erste da ist und sie nicht zahlen kann und die erste, kleinwinzige Schuld aufnehmen muß, die dann größer und größer wird — bis der kommt, der für sie bezahlt. Die „Frankfurter des Verhängnisses" — die „verbotene Frucht" muß ja nicht immer eine wirkliche Frucht sein und sie kann nicht bloß vom Baume der Erkenntnis, sie kann auch aus einer Selcherei kommen. Der Männer aber, die aus platonischer Nächstenliebe die Schulden kleiner Balletmädchen zahlen, gibt es — ach! — so wenige!

Aber einen „platonischen Theaterwucherer" hat's doch einmal gegeben — vor fünfzig Jahren, im Theater an der Wien draußen. Das war eine ganz originelle Persönlichkeit, ein alter Junggeselle aus einer, „auf dem Grund" vielangesehenen Wiener Bürgerfamilie, der in jüngeren Jahren ein flottes Haus geführt und in seiner wohlhäbigen Garçonwohnung Soiréen veranstaltet hatte, bei denen er manchen Hofkavalier und manchen Hoftheaterkünstler zu Gaste empfing und wo es sehr laut und sehr lustig herging. Als dann seine Vermögensverhältnisse einigermaßen engere geworden waren, hatten natürlich die Soiréen aufgehört, geblieben war ihm aber die Leidenschaft fürs Theater und für — Freikarten, wie er sie von den Theaterleuten in seinen besten Tagen als Revanche für die erwiesenen Gastfreundlichkeiten bekommen hatte. Aber nicht für die eigene Person verlangte er danach, sondern um andere Leute damit glücklich zu machen, Leute, gegen die er nicht die mindeste Verpflichtung hatte und die ihrerseits gar nicht in der Lage waren, ihm durch irgend eine Gegengefälligkeit zu danken. Das beanspruchte er auch gar nicht, er war selig, wenn er Karten herschenken und so zeigen konnte, was er in den Theatern gelte. Er war imstande, in ein k. k. Amtszimmer hineinzustürzen, wo er vielleicht einen ganz oberflächlich Bekannten sitzen hatte, und mit dem Rufe: „Leutl, da sind zwei Sitze fürs Burgtheater" auch schon wieder hinauszustürzen, ohne auch nur die Antwort abzuwarten, ob die Karten willkommen seien — oder er erschien in dem Etablissement eines ihm befreundeten Fabrikanten, wo Mädchen beschäftigt waren, und verkündete: „Madeln, wenn ihr heut' ins Theater geh'n wollt, so erwartet mich um sechs Uhr im Theaterhof." Im Hofe des Theaters a. d. Wien nämlich, in dessen Geldnöten er wiederholt eingegriffen hatte und wo er, wenn's mit den Zinsenzahlungen nicht recht gehen wollte, wenigstens Freikarten in möglichster Quantität auf Abschlagsrechnung reklamierte. Dann mußte man sehen, wie er, verjüngt förmlich, in den Hof hinabeilte, von einem Schwarm jugendlicher Theaterenthusiastinnen erwartet, die ihn begehrlich umflatterten und unter die er, wie ein Volksbeglücker blickend, seine Kartenschätze verteilte.

Ein minder platonischer „Nothelfer" war ein anderer „schöner Theatergreis", eine markante Persönlichkeit der Wiener Vorstadttheaterwelt, der „alte Pohl" von der Josefstadt, mit dem weißen Kraushaar auf dem massigen, kraftvoll geprägten Kopfe, der ebenso zu einem „alten Römer" passen konnte — freilich einem vom Schlage etwa des feisten Schlemmers Lepidus — oder einem „alten Franzosen", einem „Generalsteuereinnehmer", oder von sonst einer solchen Gilde. Unten auf der Bühne schauspielerte er ein Bischen, oben in der Kanzlei hatte er den Titel „Direktionssekretär", war aber gewöhnlich der „Herr des Direktors", der ihm mehr oder weniger verfallen war, wie die größere Menge der Mitglieder. Er hatte sie alle in der Tasche — das heißt, ihre Verschreibungen. Dabei trug er immer eine „wohlwollende väterliche Würde" zur Schau, die er gerne durch gutmütig klingende Reden unterstützte. Er war zu jeder Stunde der bereitwilligste Mensch, dem Nebenmenschen auszuhelfen — nur konnte er leider nicht immer, daß heißt, wenn es ihm nicht paßte. Er trug zu diesem Behufe ein berüchtigt gewordenes Doppelportemonnaie bei sich, dessen leere Hälfte er in jedem solchen Falle des Nichthelfenkönnens öffnete, um zu beweisen, daß er wirklich „nichts bei sich" habe. Zu ähnlichem heiteren Rufe war seine bei solcher Beteuerung übliche Schwurformel gelangt: „So wahr ich auf dem Fleck' hier stehe" — und dabei machte er einen kaum bemerkbaren „Hupfer" von dem Flecke weg.

Das sind ein paar Typen und Skizzen, die in der Erinnerung wieder lebendig geworden sind durch den Partezettel der „Nothelferin vom Michaelerplatz".

S. S.

Advokaten und Polizei.

Die erste Intervention nach 217 Jahren.

(Original-Bericht des „Neuen Wiener Journal".)

Ein Advokat hat vorgestern vor dem Polizeikommissariat im XIII. Gemeindebezirke plädiert. Der Anlaß an sich ist höchst uninteressant, ein Streit zwischen einer Hausfrau und ihrem Dienstboten, wie er so oft die Kommissariate beschäftigt. An dem Falle ist natürlich auch nicht bemerkenswert, daß der Rechtsanwalt die Dienstgeberin vertrat, denn der umgekehrte Fall, wo sich ein Dienstmädchen einen Hof- und Gerichtsadvokaten „leisten" kann, wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach nur selten ereignen.

Was indes der Sache eine besondere Bedeutung verleiht, ist die interessante Tatsache, daß es vorgestern nach 217 Jahren zum erstenmale wieder geschah, daß ein Advokat in Wien als Anwalt bei einer Polizeibehörde erscheinen durfte.

In den zahlreichen Dienstboten-, richtiger Gesindeordnungen, die im XVI. Jahrhundert erflossen — wir kennen solche aus den Jahren 1550, 1556, 1568, 1578, 1581 und 1590 — ist von der Intervention von Advokaten bei Polizeiämtern keine Rede, doch scheint es Brauch gewesen zu sein, daß Advokaten in Streitfällen zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern als Parteienvertreter fungierten. Dafür spricht schon der Umstand, daß dies im Jahre 1688 ausdrücklich verboten wurde. Wäre es nicht erlaubt

die Verfassung auf eine breitere Basis gestellt hätte ... Doch wie gesagt, des Monarchen Wille hält auf das strengste an der Verfassungsmäßigkeit fest und es dürfte der Ausweg von Neuwahlen auf Grund des bestehenden Wahlrechtes ergriffen werden. Klarheit über alle diese Fragen wird der Lostag am fünfzehnten September bringen, der auch noch in anderer Hinsicht als kritisch bezeichnet werden muß. Sowohl die sozialdemokratische Partei als auch die Unabhängigkeitspartei bereitet eine Massendemonstration vor dem Abgeordnetenhause in Budapest vor. Der Ausweg aus der ungarischen Krise könnte auch über blutige Pflastersteine führen ...

Wien, 26. August.

Wie wir erfahren, stehen in den diplomatischen Vertretungen Oesterreich-Ungarns folgende Verschiebungen bevor: Der Gesandte in Stockholm Graf Brandis ist zum Gesandten im Haag designiert; der Gesandte in Lissabon Herr v. Eperjesy zum Gesandten in Stockholm; der Gesandte in Mexiko Graf Hohenwart zum Gesandten in Lissabon; der Gesandte in Rio de Janeiro Herr v. Kuczynski zum Gesandten in Peking; der Gesandte in Dresden Dr. v. Vélics zum Gesandten in München; der diplomatische Agent in Sofia Gesandter Freiherr v. Braun zum Gesandten in Dresden und der Botschaftsrat Graf Thurn-Valsassina zum diplomatischen Agenten in Sofia.

Der Leiter der schlesischen Landesregierung Hofrat v. Marenzeller erklärte einer bei ihm in Troppau erschienenen Deputation, daß ihm von der Erlassung einer Sprachenverordnung für Schlesien nichts bekannt sei. Die für den 4. Oktober geplante Protestversammlung in Troppau dürfte demnach unterbleiben. Der für den 3. September zum Zwecke einer Demonstration gegen die polnischen Parallelklassen einberufene deutsche Volkstag wurde über Intervention des Bürgermeisters Dr. R. v. Demel auf den 17. September verschoben. Die Verschiebung erfolgte, weil für den 3. September auch ein polnischer Volkstag einberufen ist und man Konflikte vermeiden will, die bei der gleichzeitigen Abhaltung der Volkstage eventuell eintreten könnten.

Die serbische Regierung befaßt sich jetzt lebhafter mit der Frage der Ausrüstung der serbischen Artillerie mit Schnellfeuergeschützen. Sogleich nach dem im Oktober erfolgenden Wiederzusammentritt der Skupschtina wird diese Frage auf die Tagesordnung gelangen. Schon im Parteiklub erklärte die Regierung, daß der im vorigen Jahre votierte Kredit von 300.000 Dinars für die fachmännische Beurteilung des besten Modells des Schnellfeuergeschützes verwendet werden soll. Die Meldungen, daß die Regierung definitiv die Wahl des Geschützes durch Vergleichsproben festgestellt habe, entspricht nicht der Wahrheit, und die Nachrichten über vorzunehmende Geschützproben sind demgemäß verfrüht.

Städtische Angelegenheiten.

(Sitzungen im Rathause.) Der Gemeinderat hält voraussichtlich am Dienstag den 5. September seine erste Plenarsitzung nach den Ferien ab. — Der Stadtrat hält am Donnerstag 10 Uhr vormittags und 4 Uhr nachmittags, und am Freitag 10 Uhr vormittags Sitzungen ab.

(Der dritte Fleischstand der Großschlächterei.) Unter womöglich noch größerem Andrange als an den vorhergehenden Tagen vollzog sich gestern die Eröffnung des dritten Fleischstandes der Aktien-Großschlächterei in Ottakring. Auf dem Johann Nepomuk Bergerplatz, der ziemlich weit draußen liegt, an der Vereinigung der Ottakringer- und Neulerchenfelderstraße, ist ebenfalls ein Lebensmittelmarkt untergebracht. Mitten drin in dominierender Größe und Neuheit befindet sich der Fleischstand, ein mächtiger Holzbau mit weithin sichtbarer Aufschrift. Er ist in noch größeren Dimensionen gehalten wie der Brigittenauer Stand, und das Personal besteht aus zwölf Personen, darunter sechs Aufhacknechten. Auch eine Neuheit ist zu verzeichnen, der Verkauf von „Vorderem" und „Hinterem" ist räumlich getrennt an den beiden Eckseiten untergebracht, während sich die Kasse in der Mitte befindet. Die Preise sind die gleichen wie an den Vortagen in der Brigittenau und in Favoriten. Der Ansturm des Publikums war bereits in den frühesten Morgenstunden ein derartiger, daß drei Sicherheitswachleute zur Freihaltung der Passage aufgeboten werden mußten. Bis 9 Uhr waren auch bereits drei große Ochsen ausgeschrotet. Auch in den beiden anderen Fleischständen hält sich das Geschäft andauernd auf der gleichen Höhe. In der Brigittenau dürfte gestern sogar ein um 300 bis 400 Kilogramm höherer Umsatz erzielt worden sein.

(Inspizierung des Hochquellengebietes durch den Bürgermeister.) Bürgermeister Dr. Lueger hat, wie gemeldet, am gestrigen Tage einen Teil der zwischen Wien und Scheibbs gelegenen Wasserleitungsstraße bereist. Er befuhr mittels Wagen die Strecke Rekawinkel—Bierbachgraben—Dürrwien—Pfalzau—Preßbaum—Wolfsgraben—Laab. Nachmittags begab sich der Bürgermeister über Kalksburg—Mauer wieder nach Wien zurück.

(Wien als Muster.) Der ungarische Ministerialsekretär Doktor Elek Petrovic besichtigte dieser Tage den städtischen Zentralwahl- und Steuerkataster sowie das Konskriptionsamt und sprach sich sehr lobend und anerkennend über die Einrichtung dieser Aemter aus. — Brückenbauingenieur Glenis und Professor Dr. Savas, königlicher Leibarzt, beide aus Griechenland, welche sich auf einer Studienreise befinden, haben in den letzten Tagen eine Reihe kommunaler und humanitärer Anstalten in Wien aufgesucht. Besonders eingehend besichtigten sie die Wasserleitung, Kanalisation, Schlachthäuser, Desinfektionsanstalten, Straßenbahnen, Schulen, das Versorgungsheim, das Haus für Obdachlose rc. Auch diese Herren waren voll des Lobes über das Gesehene.

Tagesneuigkeiten.

Weltfrieden.

Ein Projekt des Präsidenten Roosevelt.

Der Präsident von Amerika als Friedensmittler und Friedensstifter zwischen Europa und Asien fühlt sich begreiflicherweise ein ganz klein wenig: Herr der Welt. Der wackere Mann hat es sich einmal in den Kopf gesetzt, „in Frieden zu arbeiten" und bietet nun als ehrlicher Geschäftsmann alles auf, um seine p. t. Kundschaften möglichst solid zu bedienen.

Wie nun aus dem „Weißen Hause" zu Washington verlautet, gedenkt Roosevelt sich nach glücklicher Durchführung seiner russisch-japanischen Transaktion als Professional-Friedensengel zu etablieren und seine segensreichen Dienste allen Streitteilen der Welt zu offerieren.

So bereitet er schon jetzt ein Zirkular vor, in dem er allen Interessenten Nachricht gibt von der Gründung eines großen amerikanischen Friedenstrustes (in Wien würde man jetzt sagen: Friedensplatte) und sich zur Schlichtung aller Gattungen von politischen Differenzen anbietet.

Zum Schlusse des Prospektes heißt es: „Koulanie, solide und diskrete Durchführung auch der schwierigsten Fälle garantiert. (Referenzen bei Baron Witte und Baron Kamura.)

Auch briefliche Ratschläge. Entfernung ist kein Hinderniß.

Bescheidene Vermittlungsgebühr in Bargeld oder in handelspolitischen Konzessionen."

* * *

Man erwartet „im weißen Hause" zuversichtlich, daß in den nächsten Monaten auch die marokkanische, die schwedisch-norwegische und vor allem die österreichisch-ungarische Frage dem amerikanischen Friedenstrust zur Lösung unterbreitet werden. Präsident Roosevelt hat sich bereits eingehend über sämtliche Fragen informiert und angeblich die Ueberzeugung gewonnen, daß alle erwähnten Krisen mit einem Schlage gemeinsam und gleichzeitig aus der Welt geschafft werden können, wenn man den amerikanischen Trust mit dem Schiedsrichtertum betrauen wollte.

Ein Reporter des „Daily Expreß" von Arizona hat nun über die diesbezüglichen geheimsten Pläne des Präsidenten einen amerikanischen Staatsmann interviewt und folgende Details in Erfahrung gebracht:

Anfangs Oktober sollen je zwei deutsche, französische, marokkanische, schwedische, norwegische, österreichische und ungarische Friedensdelegierte nach Washington geladen werden. Als Patronessen sollen Baronin Suttner und Fräulein Alice Roosevelt fungieren.

Betreffend die einzelnen Vorschläge, die Roosevelt den internationalen Vertretern unterbreiten wird, ist bisher begreiflicherweise kein definitives Programm festgestellt, doch werden schon jetzt einige durch ihre Originalität angenehm überraschende Ausgleichsprojekte ventiliert.

Die deutsch-französische Frage bezüglich der Interessen in Marokko soll in einer beide Staaten gleich befriedigenden Weise dahin erledigt werden, daß Marokko eine amerikanische Kolonie wird und durch hohe Einfuhrzölle gegen französische und deutsche Produkte gleich hermetisch geschützt wird.

König Oskar von Schweden willigt in die definitive Lostrennung von Norwegen gegen die Zusicherung, daß er von sämtlichen amerikanischen Universitäten zum Ehrendoktor ernannt werde und daß sein Bild in sämtlichen amerikanischen Blättern erscheine. Bei der Vorliebe des greisen Monarchen für Wissenschaft und Journalistik hat dieser Antrag viel Lockendes an sich.

Ungarn endlich versöhnt sich mit Oesterreich unter der Bedingung, daß in der gemeinsamen Armee der beiden Staaten die von einem amerikanischen Professor erfundene Taubstummensprache als Kommandosprache eingeführt werde.

Dem Ehrgeize einzelner Oppositionsführer soll dahin Rechnung getragen werden, daß Graf Apponyi auf den erledigten Königsthron von Norwegen berufen werde.

Für den Grafen Zichy, den Führer der Volkspartei, ist ein hoher Posten in dem amerikanischen Schutzstaat Marokko in Aussicht genommen, da er bekanntlich besondere Vorliebe für die „Schwarzen" hegt.

Baron Banffy endlich erhält einen hohen Posten auf den Philippinnen. Den eingeborenen Aufständischen ist es dort nämlich ganz egal, ob er sich auf den 1848er, oder auf den 1867er Standpunkt stellt, und sie werden ihn umso mächtiger verehren, als auf den Philippinen das Chamäleon als heiliges Tier gilt. Von wegen des häufigen, unheimlichen Farbenwechsels.

Robert.

Wiener Originale.

XIII.

Georg Jagendorfer.

Ich wüßte nicht bald einen Wiener, der mehr ins Gefüge seiner Stadt passen würde. Kraftvoll und im Gefühl seiner Stärke geht ihm Hantelstemmen und Muskelkraft über alles. Er teilt die Menschen in „Leut'" und in „Katzen". Erstere sind die Gewaltigen dieser Erde, denen man nicht an den Wimpern klimpern kann; die letzteren sind die, denen man ein X für ein U ungestraft vormachen kann.

Ich treffe ihn in seiner Anstalt für Muskelstärkung und anderen körperlichen Sport. Er hat eben eine freie Stunde und erquickt sich an einer respektablen Qualität Gumpoldskirchner. Auf den ersten Blick glaubt man sich in einem Turnsaal: durch eine geöffnete Tür sieht man die sonderbar geformten Geräte, die Jagendorfer zum größten Teil selbst zum Wohle der Menschheit ersonnen hat. Er ist noch immer der Alte. Seine Kraft scheint unbesiegbar. Die Arme gleichen Stämmen und nur die schweren Falten am Genick zeigen, daß er ein bißchen aus dem Training ist. Aber er spielt noch immer mit Zentnergewichten und sieht eifrig nach den Weltrekorden, denn da hält er genaue Rechnung und wacht über den Ruhm der Stadt der starken Männer.

Nach einem erschütternden Trunk führt mich Herr Jagendorfer in seine Schule. Er erzählt mir von seinen Schülern, die sich glücklicherweise nur aus den ersten Kreisen der Residenz zusammensetzen, deren Erfolge er so ernst nimmt, daß er sie höher schätzt, als seine Erfolge. So mancher kam schon auf Krücken und ging als Athlet von ihm. Das macht ihn stolz, denn heute will er der Sandow von Wien sein, der starke Mann, der nach leichtfaßlicher Methode die anderen stark macht.

Ob wir in Wien viel starke Leute haben?

„Na und ob. Können S' lang schau'n in andere Weltstädt', eh' S' so viele ferme Leut' beisamm' finden," sagt er. Besonders die Aristokratie rühmt er, die sich nach der Anstrengung des lebemännischen Berufes hoffnungsfreudig unter sein Szepter stellt. Da kommen die Herren und übergeben sich ihm auf Treu und Glauben. Keiner ist dem Meister schlecht genug. Das heißt, er muß das Notwendige mitbringen: guten Willen für die

---

horchend, nicht dem eigenen Triebe — wohnte ich nun einem freien Vortrag über sachgemäße Herstellung der Frankfurter bei.

Endlich aber ertrug ich's nicht länger und rettete mich in ein Nebencoupé, das nur mehr ein einzelner Herr, ich vermutete, ein Gerichtsbeamter, inne hatte.

Wie das wohl tat, nichts mehr von den Würsteln zu hören!

Ich seufzte erleichtert auf, der Herr, der mit dem klugen Blick und seinen Ohr des Juristen meinen Seelenschmerz erraten hatte, lächelte und wir tauschten ein paar Worte über meine Erlebnisse von drüben. Nun schien ich gerettet. Aber es zeigte sich, daß mein angeborner Optimismus mich wieder einmal getäuscht hatte. Bald darauf stieg ein vierblättriges Damenkleeblatt zu uns. Zwei alte Damen und zwei jüngere. Es dauerte gar nicht lange, so fragte die eine: „Was wirst du denn morgen kochen lassen?" Die andere nahm diese Frage sehr wichtig auf, wollte auch wohl mit dem Besitz einer perfekten Köchin renommieren und so entspann sich im Nu eine lebhafte Debatte über den Speisezettel. Namentlich über Mehlspeisen. Süßverheißungsvolle Gerichte, wie Makronentorte, Erdbeercrème, Oberschaumbaisers und dergleichen wurden umständlich erörtert. Ich muß gestehen, es war mir lieber als die Wurstbereitung, aber ich bekam förmlich Appetit auf all die Leckereien und holte mir zum Troste ein Täfelchen Galapeter aus meinem Täschchen.

Mitleidsvoll und doch ein bißchen spöttisch lächelte der Gerichtsbeamte mich an, und ich nickte seufzend. Ich bekam einen großen Respekt vor der feinen Küche des Damenkleeblattes, aber dennoch fing dieser kulinarische Eilzug an, mir fürchterlich zu werden, und ich übersiedelte — kühn entschlossen — ins Damencoupé.

Für gewöhnlich mied ich dies exklusive Kämmerlein, aber seit den Erfahrungen mit den Gemästeten und dem Damenkleeblatt war mein Vertrauen zum Damencoupé wesentlich gestiegen und so setzte ich mich getrost zu meinen Mitschwestern. Die eine war eine verschlafene Russin mit einem breiten slavischen Gesicht. Sie hatte drei Tage und Nächte im Wagen zugebracht und fuhr direkt von Venedig nach Kiew. Ihre totale Erschöpfung und ihre mangelnde Sprachkenntnis boten eine gewisse Garantie für einen ruhevollen Rest meiner Reise. Aber es waren noch zwei junge, elegante Frauen da, die von Mürzzuschlag nach Gloggnitz fuhren. Sie schienen Freundinnen zu sein und eröffneten gleich eine lebhafte Konversation. Sie waren beide groß, schlank, gut angezogen; nicht eigentlich hübsch, aber wienerisch schick und äußerst selbstbewußt. Sie hatten in Mürzzuschlag Besuche gemacht und wurden nun in Gloggnitz von ihren Männern mit Automobil erwartet. Das Automobil, dieses grauenhafte Ungetüm des modernen Verkehrs, spielte natürlich eine Hauptrolle in ihrem Gespräch. Der Gatte der einen besaß schon eine solche elegante Stinkkiste, der Gatte der anderen war im Begriff, eine zu kaufen.

Die beiden jungen Frauen waren weibliche Geldprotzen erster Güte. Die mit dem Automobil noch ein bißchen mehr. Es war äußerst amüsant zu sehen, wie sie einander herausforderten, wie eine die andere zu übertrumpfen suchte, und wie die guten Freundinnen sich ab und zu ein „Klampferl" versetzten.

„Weißt du, wie viel Blusen mein Stubenmädel mir für die paar Tage eingepackt hat? Zwanzig Blusen!" sagte die mit dem Automobil.

„Nein!" machte die andere pflichtschuldigst erstaunt, fügte aber rasch bei: „Ich habe mein blaues Taffetkleid mit, weißt du, das, was neulich so viel Aufsehen gemacht hat!"

„Es steht dir aber gar nicht," sagte die gute Freundin, „du siehst so alt darin aus — das solltest du gar nicht tragen!"

„Wirklich?" fragte die Gekränkte, die um einen Hauch naiver war, und machte ganz betrübte Augen. Dann, wie in unbewußter Rache, sagte sie der Kinderlosen: „Du, mein Hansjerl ist jetzt schon so lieb, jetzt kriegt er bald Hoserln!"

„Du wirst ihm doch nicht jetzt schon Hoserln anziehen?" tadelte die Freundin, „er ist ja noch zu klein!" Dann aber glitt sie rasch von dem Thema „Kind" hinweg und sprach vom Schneider. Seine Unverläßlichkeit und seine hohen Preise wurden erörtert.

„Fünfzig Kronen hat er nur Fasson verlangt für die violette Bluse!" sagte die Kinderlose. „Und für meine weiße gar fünfundsechzig", gab Hansis Mutter prompt zurück. Im Rekordschlagen waren sie beide Meisterinnen.

Das war der Freundin aber doch zu stark. Wer noch kein Töff-Töff besaß, der mußte bescheidener sein. Also sprach sie rasch wieder von ihrem Automobil. „Weißt du, der Ernst hat es überhaupt für Gäste eingerichtet, wir haben immer ein paar Reservemäntel, Mützen und Brillen mit."

Das wirkte. Hansis Mutter ließ nach. Und als später die Hüte an die Reihe kamen, gab sie gelassen zu, daß sie heuer nur fünf Sommerhüte besitze, während die Freundin von einem Dutzend erzählte. Was mich in Erstaunen setzte, war, daß die Töff-Töff-Besitzerin, jedem eleganten Brauch zum Trotz, ihre Handschuhe auszog und ihre Ringe blitzen ließ. Mir zu imponieren geschah dies, denn die Russin schlief. Menschenkenner waren sie offenbar nicht. Weder die mit dem Automobil, noch Hansi's Mutter, denn sonst hätten sie in meinem Blick, der sie ab und zu streifte, nur eines lesen können: o femina, femina!

Und wenn sich die schlanke Rückenlinie der schnatternden, jungen Frauen mir zuwändte, wunderte ich mich unwillkürlich, daß da nicht plötzlich — als apartester Toilettenneuheit — weiches, weißes Gefieder zu wachsen beginne ...

Dritte Klasse.

„Schön Grüaß Gott! sag i halt", tönt mir's treuherzig entgegen. Ah, da gibt's ja gute Bekannte, Sommerfreunde! Der Kohlensepp, die Angerbäuerin und der kleine Kirchenwastl.

Herzlich drücke ich die braunen, rauhen Hände, die sich mir entgegenstrecken. Das ganze, entzückende Bergdorf, in dem ich nun wieder Kraft und Frieden sammeln will, bewillkommt mich mit diesem „Grüaß Gott" schon eine halbe Stunde vor meiner Ankunft. Es riecht nicht eben nach Veilchen im Wagen — dafür gibt es hier zu viel Loden, Schweiß und Pfeifenqualm —, aber mir ist es dennoch, als schritte ich schon den lauschigen Graben entlang, die leuchtende Rax vor Augen, duftende Zyklamen am moosigen Fußsteig. Und mit strahlendem Lächeln blicke ich in die Augen dieser kleinen Auslese von Bergmenschen. Der Kohlen-Sepp ist gar ein köstlicher Kauz. Im Frühsommer verdingt er sich als Halter auf die Alm. Dann, wenn er es satt hat, kehrt er in seine elende Hütte zurück, die unweit vom Kohlbachergraben liegt, dicht hinter dem kleinen Meiler.

Da verbringt er nun den Rest des Jahres und läßt sich selchen und schwärzen vom scharfen Rauch. Schürt und löscht, betreut und bewacht seinen Meiler, spricht nicht zehn Worte des Tages und denkt über alle Dinge der Welt nach. Er liest auch gerne, weshalb ich ihn den „literarischen Köhler" nenne. Wenn ich ihm Zeitschriften oder irgend ein Buch bringe, dann glänzen seine hellblauen Augen aus dem verschwärzten Gesicht. Das gilt ihm mehr als Braten und Wein. Er kocht seine Handvoll Sterz auf dem primitiven eisernen Herd, schluckt ab und zu ein Glasl Kronawetter hinab — im übrigen ist ihm nichts um essen und trinken.

Athletik, unbedingte Unterwerfung unter den Willen des Lehrers und eine gewisse bürgerliche Lebensstellung, die ihn nicht zu sehr von den anderen Athletikern, die hier ihre Ausbildung suchen, abstechen läßt.

Kommt ein Herr mit vorgeneigten Schultern zu Meister Jagendorfer, so wird ihm vorerst mit freundlichem Zureden eine bessere Haltung beigebracht, dann wird maschinenmäßig Rumpfbeuge, Fuß- und Handstrecke betrieben, es kommen Steigbügelübungen, die Kniebeuge und Bergsteige-Exerzitien bezwecken, und schließlich kommt die Keule. Sie ist ein nicht ungraziöses Instrument, nur barbarisch aussehend, dessen Handhabung einen ungemein geschulten Körper voraussetzt. Der Laie macht sich keinen Begriff, wie schwer es ist, eine nur ein halbes Kilogramm wiegende Keule formgerecht zu schwingen. Ueber die Herkunft der Keule gibt mir Herr Jagendorfer folgende historische Aufklärung:

„Z'erst san die Indianer kummen mit die Keulner, nachher ham s' in Amerika die G'schicht' g'seg'n und nachher in England. Was aber da san, die Keulner, die san alle mein Patent, därf ma kaner ane nachmachen."

Und er demonstriert mir die Schwierigkeit des Keulenschwingens und rühmt wieder die hohen Qualitäten seiner Schüler, denen es so leicht kein Professional nachmacht.

Ob Herr Jagendorfer aus jedem Menschen etwas machen kann?

Er bejaht das. Jeder kann zu der seinem Körpergewichte entsprechenden Kraft kommen. Und es gibt viererlei solcher Gewichtsklassen: Federgewicht, Leichtgewicht, Mittelgewicht, Schwergewicht. Er erzählt mir, wie er zur Athletik gekommen ist. Als Maschinenarbeiter hat er große Kraftleistungen vollbracht, für die sich der damals in Wien durch sein Balanzieren von Fiakerzeugeln populäre Markgraf Pallavicini interessierte. Jagendorfer gab dem Grafen Lektionen und bezog dafür ein Honorar von 150 Gulden monatlich, das ihn in die Lage versetzte, sich ausschließlich für die Athletik interessieren zu können. Er ging nach Amerika, holte sich Ehren und Geld und brachte es so weit, daß er eine Kanone mit einem Finger heben und losschießen oder einen jungen Elefanten trotz alles Sträubens in die Höhe reißen konnte. Das sind Dinge, die ihm noch heute niemand nachgemacht hat, und so grünt sein Lorbeer in der Geschichte der Großtaten von Europas starken Männern noch immer fort.

Die starken Männer vom Schlage Pallavicinis sind ausgestorben, es findet sich niemand mehr, der mit den Fiakern auf ihren Standplätzen Wetten abschließt, ob sie ihr „Zeugl" stemmen können, es setzt niemand Preise für athletische Kunststücke aus, mit den Mäcenen der schweren Athletik ist es vorüber.

Herr Jagendorfer hatte auch einmal das Glück, überfallen zu werden. Das war am Kahlenberg. Das ist ihm aber zu seinem Schmerz nur einmal passiert. Er machte sich damals ahnungslos in klarer Sommernacht auf den Heimweg. Da raubte man seinem Begleiter einen Spazierstock. Herr Jagendorfer kam eben zurecht, um ein Dutzend der Herrschaften aufzuscheuchen. Er spazierte in strengstem Inkognito und die Rowdies freuten sich seiner Einzahl und ihrer Mehrheit. Der Stärkste „rieb auf", Jagendorfer hieb ihm flink die Kinnbacke ein und devastierte noch einige Teilnehmer. Die anderen entflohen. Vergebens suchte er sie mit den lockenden Worten aufzuhalten: „Katzen, bleibt's steh'n, der Jagendorfer ist da!"

Die Sache kam vor Gericht, Herr Jagendorfer begann seine Verteidigungsrede: „Hoher Herr kaiserlicher Rat, i bin der Jagendorfer, da gibt's kane Tanz, ich möcht' nur gern wissen, wer d' Buamer war'n."

Der Richter beruhigte ihn: „Das ist schon festgestellt, die fünf liegen seit der Zeit des Ueberfalles im Spital."

Das sind die Sonnenseiten im Leben eines berühmten Athleten, aber Jagendorfer geht jetzt unangefochten über die Hänge des Kahlenberges.

Sehr interessant ist die Besichtigung der zur Körperstärkung dienlichen Apparate; da finden sich Arm- und Beinstrecker, ungeheure Stangen, massive Scheiben, Keulen, zentnerschwere Gewichte und zwischen einem Arrangement von eisernen Kugeln und Hanteln sieht die Büste des Meisters wohlgefällig hervor. Da ist auch ein Boxapparat, den nur die begabtesten seiner Schüler zu handhaben verstehen, er wird von Jagendorfer sehr empfohlen, denn durch ihn lernt man die Kunst des Dschiu-Dschitsu der Japaner, durch einen flinken Schlag sich eines stärkeren Gegners zu erwehren. Jagendorfer hat auch einen Apparat erfunden, der für militärische Zwecke von höchster Wichtigkeit ist, es ist der „Hochstrecker". Der Rekrut steigt auf ein Brett, das mit leiterförmiger Fortsetzung versehen ist, läßt die Füße frei hängen und hält das Kreuz hohl. Das soll besser sein als fünfstündiges Turnen und tagelanges Marschieren.

Zu seinen besten Schülern zählte Herr Jagendorfer den Fürsten Khevenhüller und den Baron Wertheim. Letzteren rühmt er mir besonders als ausgebildeten Athleten. Ich sehe auch das Handwerkszeug des Barons, das aus Keulen von ungeheurem Kaliber besteht. Baron Nathaniel Rothschild zählte lange Zeit zu den hoffnungsvollen Schülern Jagendorfers. Er unterwarf sich mit größter Geduld den Uebungen, die ihm auferlegt wurden und erreichte bald eine große Fertigkeit im Hantelstemmen und auf den Streckapparaten. Auch Theaterleute suchen seine Schule auf, um ihrem Körper die notwendige Gelenkigkeit zu geben. Herrn Korff vom Burgtheater preist Jagendorfer als eine Zierde seines Standes. Keiner hat sich noch wie er im Verkehr mit Keulen und beim Boxapparat bewährt. Und da Herr Jagendorfer den Manneswert nach den gestemmten Kilogrammen bemißt, begreift man, daß Baumeister und Sonnenthal in seinen Augen neben Herrn Korff nicht bestehen können.

Ehe ich Herrn Jagendorfer verlasse, mache ich noch einen kleinen Kursus mit. Er führt mich in die Geheimnisse der Verteidigung ein, wenn man von übermächtigen Gegnern angegriffen wird. „Sagt aner, die Uhr her oder 's Leben," beginnt er, „so thuan's a so, als ob's Ihner fürchten täten. Dann geh'n's an Schritt z'ruck und hau'n eahm nacher mit'n Schädel ane auf d' Nas'n." Herr Jagendorfer ist der festen Ueberzeugung, daß nach dieser Methode die Russen den unbezwinglichen Japanern längst den Garaus gemacht hätten.

A. D.-G.

Zu dem Kapitel vom Komiker.

(Das Rätsel Willy Thaller. — Ein Wort aus dem Burgtheater. — Der Anfang vor 25 Jahren und der erste Nestroy-Zyklus. — Die Goethe-Legende Laroches und die Nestroy-Legende Thallers. — Der lebenslängliche Komiker. — Das Herüber-Hinüber Wilhelm Knaacks und Karl Rotts. — „Coscolotte" und „Herr Zuckerl und Sohn". — Das erste „Venedig in Wien". — Die große nordische Komiker-Invasion. — Beckmann, der Weltkomiker. — Der Fall Girardi. — Aus den ersten Zeiten des Raimund-Theaters.)

Die Lehre von den Komikern bildet ein ganz besonderes Kapitel des Theaterstudiums, ein vielleicht noch weniger auszulernendes und zu erschöpfendes, als es die übrigen alle sind. Eine seiner interessantesten, aber auch bedauerlichsten Rätselfragen lautet auf den Namen Willy Thaller. Mehrfach hat sich die Theaterrubrik in den letzten Wochen mit dem Schauplatzwechsel dieses wahrhaft großen Charakterkomikers beschäftigt, der ein Stück Nestroys, Meixners, Gabillons und Baumeisters in sich aufgenommen zu haben scheint, dessen Sansquartier und sonstige Nestroy-Rollen von keinem Darsteller noch in solche Verwandtschaft mit dem Original gebracht worden sind, den man sich jedoch ebensogut als „Winkelschreiber" und Egmonts „Bansen", als Selbitz im „Götz", als General im „Richter von Zalamea", ja als den Richter selbst und vielleicht sogar als Falstaff vorstellen kann. Einer der ausschlaggebendsten künstlerischen Wortführer des Burgtheaters hat sich vor nicht langer Zeit geäußert: „Wenn ich einen freien Abend habe, weiß ich mir ihn nicht besser zu nützen, als daß ich ins Raimund-Theater hinausgehe und mir Thaller ansehe." Und ein Schauspieler von dieser Bedeutung und dem tieföstereichischen Grundzuge der Spielnatur und der Spielart ist noch nicht dahin gelangt, in Wien derart festzuwurzeln und bodenständig zu werden, daß er, sozusagen, zum „unveräußerlichen" Inventar des Wiener Theaters gehören würde und sein Fortgehen von hier absolut undenkbar wäre. Seine Uebersiedelung an das „Kleine Theater" in Berlin war bereits gemeldet worden, seine dortige Antrittsrolle sogar schon angegeben — als Richter Adam in Kleists „Zerbrochener Krug" sollte er auftreten, in einer Rolle des klassischen komischen Repertoires also — nun aber heißt es neuestens wieder, daß er doch in Wien zu verbleiben gedenke und mit dem Jubiläumstheater in Unterhandlung stehe.

Es ist gerade das 25jährige Gedenkdatum seiner ersten Verbindung in Wien. Denn im August 1880 war es, als die Notiz in den Zeitungen erschien, „Direktor Tewele" — die Passionszeit der Carl-Theater-Direktion hatte eben für den wahrhaftig doch zu einem sorgenloseren Leben geschaffenen Mann der „unbeschränkten Heiterkeit" begonnen —, „Direktor" Tewele also stehe „mit dem Grazer Komiker" Thaller in Unterhandlung. Im Nestroy-Zyklus lernten ihn dann die Wiener bemessen und das fiel darum von vornherein etwas einseitig aus — gerade weil er hier in dieser Spezialität so sehr überraschte. Denn das war keine Nachahmung — konnte es auch schon darum nicht sein, weil Thaller ein siebenjähriger Junge war, als Nestroy in Graz starb —, es war da eine innere Verwandtschaft vorhanden, eine Art Wiederholungsspiel, in Einzelzügen wenigstens, worin sich die Natur gefallen hatte und was sich die Leute nicht anders als durch eine leibliche Verwandtschaft erklären zu können glaubten. Gerade so, wie bei Karl Laroche, der ja auch infolge der frappierenden Aehnlichkeit zeitlebens die Legende von der Goethe-Abstammung nicht los werden konnte. Und auch durch das Sterben nicht einmal — ja, da noch weniger. Denn wer das von einem wahrhaften Seligkeitsschimmer ewigen Friedens verklärte Antlitz des Todten sah, der war von jener Aehnlichkeit nur noch mehr getroffen, als er es durch das Gesicht des Lebendigen gewesen war — man hätte von dem toten Laroche ohneweiters die überzeugendste Goethe-Todtenmaske abnehmen können. Aehnlich dem hatte sich um Thaller herum eine Nestroy-Mythe gebildet, deren Hauptstützpunkt das Auge mit dem „gewissen" Blick war. Das Nestroy-Auge besonders, dieses unbeschreibliche, nicht zu vergessende Auge mit seinen dämonisch-lustigen, in einem einzigen Zucken eine ganze Satire sprechenden Wetterglanze hätte etwas von seinem Blitzesleuchten in dem Auge Thallers wiederfinden können. Daran hatte man hier seine Herzensfreude, weil der Wiener Witz ja doch immer auf Nestroy schwur, wohl noch schwört, als seinen ausdrucksschneidigsten Vertreter. Auf weiteres wurde dann bei Thaller gar nicht mehr nachdrücklich reflektiert und er verschwand wieder von dem Wiener Schauplatz, nachdem er seine Nestroy-Aufgabe absolviert hatte — um erst im Raimund-Theater wieder, und hier zwar ganz, in Sicht zu treten. Das heißt, ganz und doch wiederum auch hier nicht ganz, nicht so umfassend, daß sein volles Bewußtsein des eigenen Könnens erschöpfende Befriedigung gefunden hätte und gar kein Rest ungesättigten Verlangens nach erweiterter künstlerischer Betätigung zurückgeblieben wäre. Dadurch aber wird in der Seele eines Künstlers leicht Unrast erzeugt, ein Zug der Unstetheit kommt in ihn, der ihn behindert, auf dem Platze zu bleiben und mit seiner Bühne und seinem Publikum so unlöslich zu verwachsen, wie es der Komiker, mehr als der Darsteller irgend eines anderen Faches, sein muß, um zur wahren und dauernden Wirkung zu gelangen.

Da sind wir denn eben beim Kapitel vom Komiker und von den Grundbedingungen seiner Andauer, denn nicht um den einen Thaller handelt es sich hier, sondern weil sich gerade an dieser bedeutenden künstlerischen Individualität abermals, wie in so manchem anderen drastischen Falle, die unwiderlegbare Wahrheit erweist, daß, um es mit einem einfachsten Worte zu sagen, daß jedes Theater eigentlich seinen „lebenslänglichen Komiker" haben, daß das Verhältnis des Komikers zu seiner Bühne sich so unlösbar gestalten müßte, wie etwa die katholische Ehe — nur daß natürlich von einem zwangsweisen Beisammenseinmüssen nicht die Rede sein dürfte. Es gibt ein Sprichwort: „Ortswechsel ist Glückswechsel" — und das Sprichwort scheint wie für den Komiker geprägt. Ich muß dabei immer auf das Schulbeispiel hinweisen, das Wien an zweien seiner „Lieblinge" erlebt hat, die beide an ihren Theatern und bei ihrem Publikum für unentwurzelbar gelten durften: Wilhelm Knaack und Karl Rott. Es war in den Zeiten des Kaitheaters, des hölzernen Notasyls der Carltheater-Gesellschaft. Der vom Publikum gehätschelte Knaack glaubte Ursache zur Unzufriedenheit zu haben, weil die Direktion, d. h. Karl Treumann, oder eigentlich der Bruder Franz, nicht allen seinen Ansprüchen mit gebührender Raschheit und Widerspruchslosigkeit Folge gab. Die Namensgleichheit der zwei Brüder mit dem romantischen Brüderpaare in Schillers „Räubern" wurde von dem Kulissenscherz gern in einer, besonders für Bruder Franz, wenig schmeichelhaften Weise angewendet und der gereizte Knaack gar vergaß nie, den „Franz" ohne das übliche Zitat aus den „Räubern" zu nennen. Die Situation war unhaltbar geworden — geradeso, wie Rott zur gleichen Zeit, nach dem eben erfolgten Zusammenbruche der Pokornyschen Direktion im Theater an der Wien, dieses Theater überhaupt als unhaltbar betrachtete und darum „sich zu verbessern", in Sicherheit zu bringen strebte. Kurz, er und Knaack tauschten ihre Engagements miteinander und — fielen beide auf den neuen Schauplätzen gänzlich ab. Dabei waren sie künstlerisch ganz und gar dieselben geblieben, die mit den nämlichen Natureigenschaften und künstlerischen Mitteln die gleichen Erfolge zu finden hofften. Vergeblich. Das Bezeichnendste dabei war, daß sie diese melancholische Erfahrung auf dem gleichen Repertoireterrain machten — im Offenbach-Repertoire. Knaack erschien im Theater an der Wien in einer der melodiösesten Offenbachschen Operetten, der zweiaktigen „Coscoletto", worin besonders ein burleskes Sextett „Barr—giftet — sind — wir!" sehr gefiel, stürmisch sogar. Aber es blieb beim Detailerfolg und auch die von heiterer Poesie durchlebte Leistung der Geistinger in der Titelrolle, einer Hosenrolle, vermochte nicht die Lücke zu füllen, die der für dieses Theater neue Komiker im Gesamterfolge entstehen ließ. Er wurde natürlich beklatscht, gerufen — man konnte ja schließlich Knaa', dessen Namen sozusagen zu einem Glaubensartikel der Wiener Komik geworden war, nicht mit „schlichtem Durchfall" entlassen — aber „die wahre Liebe" war's nicht. Und beiläufig das gleiche Schicksal hatte am Kaitheater drüben Karl Rott in der, neuerer Zeit erst vom Theater an der Wien zu kurzer Wiederbelebung gebrachten Offenbachiade „Mr. Dunanan et fils", was für die deutsche Aufführung in „Herr Zuckerl und Sohn" umlokalisiert worden war. (Nebenbei bemerkt, könnte daran für „Venedig in Wien" Anlaß zu einem 25jährigen Jubiläum geknüpft werden — für diese Titelbezeichnung nämlich. Denn im Jahre 1880 erschien „Venedig in Wien" zum erstenmal auf den Straßenanzeigen, als Ersatztitel für „Herr Zuckerl und Sohn", und zwar ebenfalls im Prater, in „Ronachers Operettentheater", welches damals unter dem Dache des Dritten Kaffeehauses seine kleine Bühne aufgeschlagen hatte.) Rott glitt vor dem Publikum des Kaitheaters genau so ab, wie Knaack am Wienufer dorten, und beide hielten es baldigst für geraten, „zurückzutauschen". Gute, ja glänzende Tage kamen alsdann wohl noch für Knaack im Carl-Theater, in dem Zusammenspielen mit Ascher und Matras — und Rott lebte auch wieder auf in der glanzvollen Offenbach-Periode des Theaters an der Wien. Aber einen „Knacks" hatten beide doch bei dieser Auswanderungsepisode davongetragen — der Ruf der „Unfehlbarkeit" ihrer Anziehungskraft hatte einen Stoß erlitten, dessen Nachwehen sich um Jahre später erst fühlbar machten: Rott verkümmerte und verschrumpfte in seinem Kunstberuf und kam in seinen materiellen Verhältnissen so herab, daß er auf seinem Kranken- und Sterbelager unter Entbehrungen litt — Knaack mußte die Demütigung erfahren, daß er in Wien kein Engagement mehr finden konnte und zu Wandergastspielen in der Fremde genötigt war, um nur seinen Namen lebendig zu erhalten. Des Attinghäusers Mahnung: „Ans Vaterland, ans teure, schließ' dich an — hier sind die starken Wurzeln deiner Kraft" adressiert sich in sinngetreuer Anpassung auch an den Komiker, dem eine Bühne zur Heimat geworden ist.

Das scheint in gar grellem Widerspruche gegen die mächtige Komiker-Invasion, die gerade Wien in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts vom deutschen Norden her empfangen hat — und zwar nicht junge, werdende Komiker, die allenfalls hier erst ihre Formung und Bildung vollziehen und sich dem Wiener Wesen anpassen könnten, sondern bereits gewordene, die keine gründliche Wandlung mehr an sich hätten vornehmen können, doch aber, wie sie waren, sich rasch in Wien eingelebt hatten und durch den Bodenwechsel keine Einbuße der Wirkung erfuhren. Beckmann und Meixner, die großen Lustigmacher des Burgtheaters, Ascher, der sprudelnde Wortführer und jener Knaack eben, der groteske Wort- und Gliederverdreher des Carl-Theater-Lustspiels, später dann Teodor Reusche, der „jüngere Helmerding" der Berliner Posse, in Laubes Stadttheater — sie hatten alle den „Umzug" von draußen hierher ohne Schädigung vollbracht, ja sie hatten, bis auf Reusche etwa, an Geltung und dominierender Wirksamkeit sogar gewonnen. Aber es waren das doch nur einzelbegnadete Erscheinungen, die etwas Universelles, überall Siegreiches in sich trugen — Beckmann gar, nicht ein Komiker, nein, die lebendig gewordene Komik selbst, die Komik an sich, die, um sichtbar zu werden, diese Körperhülle angenommen,

---

Aber lesen, so viel gern lesen! Beim Tagesschein, beim flackernden Licht des Meilers, beim Kerzenstumpf in der Hütte — immer sucht er zu lesen. Spät kommen die Nachrichten von Krieg und glanzvollen Festen zu ihm — und unregelmäßig. Oft liegen Wochen dazwischen. Das macht nichts. Hat er halt um ein paar Wochen später seine Meinung darüber. Denn seine Meinung hat er immer. Die steht so fest und kernig da, wie irgend ein gesunder Waldbaum. Kümmert sich freilich niemand darum. Aber das macht wieder nichts. Viel gesunde Bäume geben einen gesunden Wald. Und ein gesunder Wald hat seinen bleibenden Wert.

Eisendreher war er in jungen Jahren, der Kohlen-Sepp. Beim Sigl in Währing, dann in Gaaden bei Mödling. Da hat ihm die Maschine die rechte Hand verkrüppelt, und so ist er heimgezogen ins Alpendörfl und hat sich mit der einen Hand sein armselig Leben wieder zurechtgenietet. Für einen wie der Kohlensepp gibt's keine rechte Armut. Der schöpft aus dem Nichts noch eine Handvoll Behagen. Und die Angerbäuerin, die ihre zehn Kinder gestillt und zu braven Menschen erzogen hat! Der Mann seit Jahren tot, Haus und Hof zweimal abgebrannt, aber ihre Zuversicht ist ungebrochen. Immer ist sie arbeitsam und frohen Mutes, und was das Schicksal auch einreißt — die Frömmigkeit der Angerbäuerin baut's wieder auf.

Der Kirchen-Wastl, der kleine Spitzbub, der guckt mich so von der Seite an, als wollt' er sagen: „Gelt, mir gengan wieder miteinander?" Und ich nicke ihm zu: „Ja, Bub, das tun wir!"

Er ist die lebendige Dorfglocke, der Wastl. Er läutet alles aus, was geschieht. Wenn er sich am Glockenstrick müde gependelt, das ewige Licht mit Oel versehen und das Weihrauchfaß gereinigt hat, dann entschädigt er sich für all die frommen Handlungen durch sündhaft weltlichen Dorfklatsch. Er sieht alles, er weiß alles, der Wastl. Er hört das Gras wachsen im Pfarrgarten und versteht, was die Fliegen im Stall summen. Das kommt davon, weil er mächtig große „Wascheln" hat, die alles auffangen. Und flink ist er, wie man es seinen etwas krummen Dackelbeinen gar nicht zutrauen würde. Er hat Reportertalente, der Wastl, hier und dort ist er zugleich, erfährt alles, wispert es in erhöhter Tonart weiter.

Von den Eingeborenen gibt's dafür mehr Prügel als Anerkennung. Aber ich mit meiner Poetenneugier, ich weiß ihn zu schätzen. Darum rückt er auch gleich an meine Seite, wie ich einsteige, der Kirchen-Wastl, und flüstert mir verlockend zu: „I waß schon wieder was neu's — vom Veitschegger Simmerl!"

Das Exekutivkomitee der jungtschechischen Partei wird in den letzten Tagen des Monats September, wahrscheinlich am 24. d. M., zu einer Sitzung zusammentreten.

Die vom Präsidenten der mährischen Ausgleichskommission Grafen Spiegel für den 23. d. M. anberaumte Sitzung des Kurialkomitees des mährischen Permanenzausschusses wurde über Ersuchen des Abgeordneten Freiherrn d'Elvert für einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Einer heute vorliegenden Meldung zufolge soll dem Troppauer Landesgericht die mündliche Weisung zugegangen sein, die ihm unterstellten Gerichtsorgane zu verständigen, daß von nun ab tschechische Eingaben auch bei den Gerichten deutscher Bezirke in Schlesien anzunehmen und tschechisch zu erledigen seien. Dieses allerdings noch nicht beglaubigte Gerücht hat in deutschen Kreisen Schlesiens Erregung hervorgerufen und soll der Volksrat ehestens einberufen werden, um zu dieser Angelegenheit Stellung zu nehmen.

Ein uns aus London zugehender Bericht über die finanziellen Wirkungen des russisch-japanischen Friedensschlusses weist darauf hin, daß es für beide Staaten bei weiterer Fortdauer des Krieges zweifellos immer schwieriger geworden wäre, sich die erforderliche Unterstützung des Geldmarktes zu sichern. Der Friedensschluß eröffnet wieder die sicheren Aussichten, durch welche das Kapital leichter flüssig gemacht wird. Es stehen allerdings beiden Staaten jetzt noch enorme Ausgaben bevor, da der Uebergang zu Friedensverhältnissen unter Umständen sogar kostspieliger sein kann, als eine Mobilmachung. Insbesondere wird die russische Staatsverwaltung für die Rückbeförderung der Truppen wie der russischen Gefangenen, für den bisherigen Unterhalt derselben etc. noch außerordentliche Opfer zu bringen haben. Es handelt sich aber hiebei um die letzten Kriegskosten und es steht die Wiederkehr der normalen wirtschaftlichen Lage bevor, welche lange vor dem Kriege einem gesunden, stetig steigenden Aufschwunge durch die Hände desselben Mannes zugeführt worden war, der seinem Herrscher und Lande jetzt den Frieden auf unblutigem Kampfschauplatze errungen hat. Befreit von dem Kriegsalp, kann Rußland nun mit freien Händen an die Heilung der inneren Krise gehen und dadurch dem Kapital des Auslandes neue Bürgschaften bieten. Es unterliegt keinem Zweifel, daß russische Anleiheverhandlungen für einen Friedensschluß, selbst unter der Voraussetzung einer zu leistenden hohen Kriegsentschädigung, in New-York wie auf dem europäischen Geldmarkte günstige Aufnahme gefunden haben würden. Mit umso größerer Sicherheit ist daher nach dem überraschenden Erfolg, daß Rußland keine Kriegsentschädigung auf sich zu nehmen braucht, mithin alle aufzunehmenden Beträge lediglich Rußland selbst zugute kommen würden, vorauszusehen, daß Eröffnungen des russischen Finanzministeriums in der angedeuteten Richtung — falls sie erfolgen sollten — bereitwilligstes Gehör finden werden. Es steht auch außer Frage, daß sich nach der Wiederkehr geordneter Verhältnisse auch privates Kapital in außerordentlichem Umfange Rußland zuwenden wird, um bei der Entwicklung dieses Reiches, das gleichfalls als ein „Land unbegrenzter Möglichkeiten" bezeichnet werden kann, mitzuwirken. Tatsächlich stand vielen hierauf abzielenden Plänen nur der Krieg hindernd im Wege. Auch in London bestehen, wie wiederholt betont wurde, sehr starke Interessen für eine kommerzielle und finanzielle Annäherung zwischen England und Rußland.

Städtische Angelegenheiten.

(Gallmeyer-Grabdenkmal.) Eine durch ihren Wohltätigkeitssinn ausgezeichnete Dame hat an den Bürgermeister Dr. Lueger den Betrag von 2000 Kronen als Beitrag zur Herstellung des Gallmeyer-Grabdenkmals gesendet. Außerdem wurde vom Direktor Gabor Steiner als Teilerträgnis einer Vorstellung im Orpheum ein Betrag von 600 Kronen für denselben Zweck erlegt. Im Wege einiger Veranstaltungen im Laufe des heurigen Winters und durch etwaige weitere Spenden dürfte der für ein würdiges Denkmal notwendige Mindestbetrag von 6000 Kronen aufgebracht werden können. Josefine Gallmeyer ist gänzlich verarmt und ohne Hinterbliebene gestorben, so daß sowohl die Kosten der Ueberführung des Leichnams in die Anlage für historisch denkwürdige Persönlichkeiten als auch die Kosten für das Denkmal durch freiwillige Spenden aufgebracht werden müssen.

(Sitzungen im Rathause.) Der Gemeinderat hält in der kommenden Woche am Dienstag den 12. d. M. ½5 Uhr nachmittags eine Plenarsitzung ab. Stadtratssitzungen finden Dienstag, Donnerstag und Freitag um 10 Uhr vormittags statt.

(Das Schächtverbot.) Der Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, gegen die Entscheidung des Ministeriums des Innern, mit welcher dem Ministerialrekurse der Gemeinde Wien gegen den Statthaltereierlaß in Angelegenheit des Schächtverbotes keine Folge gegeben wurde, die Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu ergreifen.

Tagesneuigkeiten.

Gaunerhumor.

Ehrlich währt am längsten oder Anderes.

Die Zeiten sind so schlecht, daß es ganz begreiflich erscheint, daß jedem ehrlichen Geschäftsmanne der Humor vergeht. Im Gegensatze hiezu scheinen sich die unehrlichen Geschäftsleute, als da sind: Diebe, Einbrecher etc., der heitersten Laune zu erfreuen.

Ich erinnere nur an einige der letzten Vorfälle auf dem Gebiete des widerrechtlichen Besitzwechsels.

In Budapest wurde auf dem Turfe einem mit der Bewachung der Taschendiebe betrauten Detektive die Taschenuhr gestohlen. Der wackere Diebsfänger weiß jetzt trotz seines Verlustes ganz genau, wieviel es geschlagen hat.

Aus dem Bureau eines Untersuchungsrichters wurde jüngst das Strafgesetzbuch entwendet. Offenbar wollte ein besserungswilliger Häftling sich über den Umfang des gesetzlich verpönten Gebietes informieren.

In die Wohnung eines auf Urlaub weilenden Beamten im neunten Bezirk wurde vor einigen Wochen eingebrochen. Die Täter beraubten den Schreibtisch des Beamten seines wertvollen Inhalts an Schmuck und Effekten, ließen jedoch die gleichfalls in dem Schreibtische aufbewahrten Familienpapiere unberührt. Unter ihnen befanden sich unter anderem die Schulzeugnisse des Sohnes des Beamten, die vorzügliche Noten aufwiesen. Die Herren Einbrecher waren nun so liebenswürdig, dem fleißigen Jungen ihre Anerkennung zu zollen und hinterließen einen Zettel: „Sehr brav!" — Einen so teuer erkauften Fleißzettel werden wenige Schulbuben besitzen.

Das Meisterstück von Gaunerhumor aber lieferten wohl die Herren Verbrecher, die am vorigen Samstag in die Räume der vis-à-vis der Polizeidirektion etablierten „Wach- und Schließgesellschaft" nächtlicher Weile einbrachen und fette Beute holten. Darüber, ob die Herren nicht vielleicht einen Zettel hinterließen: „Wir wachen!", darüber meldete der Polizeibericht nichts.

Diese tragikomischen Vorfälle gehören der Vergangenheit an, vielleicht bringt die Zukunft noch Erweiterung dieser gaunerhumoristischen Chronik. Zum Beispiel:

In die Kanzlei eines Wiener Theaters wird eingebrochen. Die ganze Kasse wird ausgeplündert und überdies der gesamte Einlauf an eingereichten und für die Saison angenommenen Stücken entwendet. Die Einbrecher lassen einen Zettel zurück:

„Der spärliche Inhalt Ihrer Kasse zeugt dafür, daß die Direktion den Geschmack des Publikums nicht zu treffen weiß. Was die zur Verwertung als Makulatur mitgenommenen Theaterstücke betrifft, glauben wir annehmen zu können, daß die Direktion selbst oft den Wunsch gehegt hat, sie könnten ihr gestohlen werden. Was hiemit geschah."

* * *

Einbruch bei dem allgemein beliebten und hochgeschätzten Fleischhauer Hütter.

Hinterlassene Kritik der Diebe: „Wir sind erbitterte Gegner der städtischen Großschlächterei. Wir setzen uns nun durch diesen erfolgreichen Besuch bei Ihnen wieder in die Lage, unseren Bedarf an Rindfleisch bei den Ihrer zu hohen Zielen führenden Leitung folgenden Fleischhauern zu beziehen. Erhöhen Sie ruhig den Preis noch weiter. Wir kommen wieder. Mit kollegialen Grüßen etc. etc.

* * *

Die Kasse des Steueramtes im xten Bezirk wird gründlich ausgeplündert.

Eine kalligraphische Notiz wird auf den Tisch des Amtsvorstandes hinterlegt: „Steuerzahlen ist die erste Pflicht jedes anständigen Staatsbürgers und Patrioten. Aber woher nehmen und nicht stehlen?"

* * *

Dem Zuge der Zeit folgend, ist übrigens dem Vernehmen nach die Gründung einer „I. Wiener humoristischen Einbrecherplatte" unter Mitwirkung hervorragender Kriminalhumoristen im Zuge.

Robert.

Wiener Originale.

XIV.

Luise Montag.

Das sind nur mehr wenige volkstümliche Figuren, die aus der Zeit des fidelen Wien zu uns herüberreichen, Eduard Strauß, der alte Drescher, Karl Blasel, der Guschelbauer und die Montag. Sie sind alle noch stramm und rüstig und erfreuen die heutige Generation so sehr durch ihre liebenswürdige Kunst, wie sie es vor Jahrzehnten mit der vergangenen taten. Nur der „schöne Edi" ist grollender Privatmann, obwohl man auch ihm heute ebenso zujubeln würde, wie damals, da er noch — jeder Zoll ein Walzertakt — an der Spitze seiner Musiker stand. Es liegt wohl etwas Konservierendes in dieser gemütlichen Altwiener Kunst, sie hat nichts von ihrer Wirksamkeit verloren, sie vergnügt und bricht Sorgen und sie taugt nur nicht zu elektrischen Lichtern und zu den modernen Möbeln.

Jahre verfliegen, die „Vatermörder" tauchen auf, auf den Worten liegt der Humor vergangener Tage, wie leichter Hauch von Lavendel, die Harmonien aber sind sorgfältig geblumt, den Erzeugnissen der alten, berühmten Porzellanfabriken gleich.

Die Vorstellung war vorüber, Guschelbauer hatte als alter Drahrer, die Montag als Jodlerin sehr gefallen. Dann kamen wir beim Bier zusammen und sprachen von der Zunft der Volkssänger und ihrer Stellung im Wien der Vergangenheit.

Guschelbauer sagte: „'s is heut' nix mehr, die Theater san schuld dran und die Vereine, die nehmen alles weg."

Die Montag sagte: „Die Zeit is halt anders g'word'n. Heut' braucht a Madel a Larven und muaß si vur die Leut' hinstell'n. Auf a wirkliche Kunst legt kaner an Wert. Und darum schaut's a mit'n Nachwuchs „spatni" aus."

Und beide stimmen sie darin überein, daß es mit der Volkssängerei bergab geht, die „Gawliere" haben ihren Geschmack ge-

---

„So muß ich glauben, daß Papa ein Lügner war?" Auf diese Frage erhoffte sie eine halbwegs begütigende Antwort. Aber er hatte es sich nun einmal in den Sinn gesetzt, daß sie in diesem Falle seiner Meinung werden müsse.

„Ja," antwortete er, „du mußt glauben, daß nicht meine Mutter gelogen hat, sondern er." Das war ihr zuviel. Sie hatte ihren Vater geliebt, ihn für einen Ehrenmann gehalten und mußte bisher nie ein böses Wort über ihn hören. Es erfüllte Ruta mit Zorn und Unwillen, es empörte ihren Stolz, daß nun Karl ein solches Ansinnen an sie stellen konnte. Aber sie beherrschte sich, um ihn nicht noch ungeberdiger zu machen. Daß sie mit dem Manne noch recht wohl auf ihre Rechnung kam, wenn sie auch eine Schrulle von ihm mit in den Kauf nahm, wußte sie ja.

„Gut," sagte sie in dem Tone des sich aus Liebe bedingungslos unterwerfenden Weibes. „Ich will mich von dir zu allem überzeugen lassen, was du glaubst. Ich liebe dich ja grenzenlos, daß diese Liebe auch schon meinen ganzen Verstand und Glauben ausmacht." Dabei umhalste sie ihn. Aber sein Feingefühl war nicht zu betrügen. Er empfand alles, was sie da künstelte, ganz genau. Darum beglückten ihn nun auch zum erstenmale ihre Küsse nicht. Sie entsetzten ihn weit eher. Nachdem er sich von der Umarmung losgemacht hatte, sah er dem Weibe forschend in die Augen.

„Du behandelst mich ja wie einen Narren," sagte er dann.

Sie lachte wie in völliger Ahnungslosigkeit dessen, was er empfand.

„Wie du aber heute bist!" rief sie. Dann hing sie sich schmeichelnd an seinen Arm.

Sie waren nun gerade an dem Kirchhoftor angelangt.

„Gehen wir nach Hause," sagte sie. „Besuchen wir die da drinnen in einer besseren Stimmung. Ihre Geister sollen sich nicht zwischen uns drängen."

„Glaubst du, sie könnten das?" fragte er.

„Glaubst du das?" fragte sie ängstlich wieder.

Er bejahte nun ganz ernsthaft.

Er sah, wie mächtig sie erschrak. Sie tat ihm sehr leid, obwohl er wußte, daß sie nicht ehrlich mit ihm war. Er dachte darüber nach, ob er ihr wohl verzeihen durfte, was sie vielleicht nur log, um seine Liebe nicht zu verlieren.

„Komm," sagte er, „laß' uns am Grabe meiner Mutter Rat suchen."

Sie folgte ihm nun ohne Widerspruch. Vor dem Monument des Bettelweibes standen sie sich gegenüber. Er in seinem reinen, heiligen Kinderglauben rief nun wirklich den Geist der Mutter an.

Seine Unschlüssigkeit war eben zu groß geworden. Er hatte das Gefühl, wie wenn die Hand der Mutter auf seinem Herzen läge und unter dieser Berührung seine Liebe zu Ruta erstürbe. „Laß' mir diese Liebe!" lautete dabei sein Stoßgebet. „Segne sie! Ich war so glücklich damit!" Aber das versöhnende Gefühl, um das er bat und die Erleuchtung blieben aus. Ruta sah ihn heimlich forschend an. Sonst gab sie sich noch den Anschein, als ob sie voll Bangen das Urteil erwartete. Aber dabei war sie nun doch schon voll Zorn über den seltsamen, unentschlossenen Mann. Sie fand ihn nun nicht mehr schrullenhaft, sondern lächerlich, überspannt, unmännlich. Bei dem demütigenden Warten auf seinen Beschluß fing sie ihn zu hassen an. Sie spürte eine wilde Lust, ihm dieses Wartenlassen möglichst grausam zu vergelten. Ehe zwischen den beiden ein Wort fiel, hörten sie sich von einem alten Weibe angeredet, das eben vor dem Grabe stehen geblieben war. Sie sahen allzugleich in ein hohlwangiges, wilddurchfurchtes Gesicht, das von einem hohnvollen Grinsen verzerrt war. Karl erkannte die Alte sofort. Er war recht erschrocken über ihre Veränderung. Sie stand einst ihm und ihrer Mutter nahe, und zwar als Helferin in der äußersten Armut, als Trösterin in der Verfolgung. Nun sah er die einst wohlhabende, geachtete Bäuerin als armseliges Bettelweib wieder. Sie und ihr Mann waren die einzigen wirklichen Freunde seiner Mutter gewesen.

„Betet nicht," sagte das Weib mit seinem Hohngrinsen. „Es hilft nicht. Und Ihr zwei verspottet ja die unter dem Steine, wenn Ihr hier zusammen betet. Verspotten sollt Ihr sie aber nicht. Ich weiß ja, wie sie bis an ihr Ende gebetet hat: „Räche unser unschuldiges Blut an dem sündigen Blute unseres Verfolgers, damit uns der Glauben an deine Gerechtigkeit nicht entfalle. Verhüte, daß uns der Feind zu Gehorsam und Hingabe zwinge, denn was wir ihm auch folgen und was wir auch mit ihm gemein haben, ist ein Verrat an dir, o Herr, und an uns selbst. O Herr, räche uns, die Deinen!" Hier lachte das Weib einmal auf und fuhr dann fort: „Und nun soll sich Blut vermischen. Das hat die Gläubige da erbetet! Ich sage euch, betet nicht. Fürchtet nichts. Die Gerechtigkeit, um welche die Armen flehen, ist nicht und wird nicht sein. Ihr braucht darum die Sünde nicht zu fürchten, die Ihr begeht. Seht, wie das Beten erfüllt wird. Ihr heiratet. Euere Kinder müßten sich wider ihr eigenes Blut empören, wenn das Gebet Eurer Mutter erfüllt würde, sie müßten zugrunde gehen an sich selbst. Und sie werden blühen, sie werden sich mästen in eurem Reichtum und fühllos gegen alles sein, was die Armen fühlen. Siehst du, deine Mutter hat auch für eure Wohltäter gebetet. Weißt du noch, was sie gebetet hat?"

Karl nickte. Er war zu mächtig bewegt, um sprechen zu können. Die alte Bäuerin kannte das Gebet seiner Mutter und sprach es nun weiter: „O Herr, segne meine Wohltäter. Lasse diejenigen nicht weinen und leiden, welche die Tränen der Armen trocknen, damit sie an deiner Barmherzigkeit nicht verzweifeln. So viel deine Barmherzigkeit größer ist als die der Guten, so viel vergelte ihnen, was sie den Armen tun. Der Reichtum deiner Welten soll das Eigen der Guten und ihrer Kinder werden." Die Alte lachte nun wieder. „Gelt, so war's?"

„Ja, so war's," sagte nun Karl leise. Er hatte aus ganzem Herzen mitgebetet. Aber nicht so wie die Alte. Sie war voll Bitterkeit, Hohn und Unglauben. Und er war voll vom Gegenteile. Sein früheres Gebet um Rat und Erleuchtung erfüllte sich. Er wußte nun, was er wollte und was er sollte.

„Nun, und jetzt betrachte die Früchte von dem Gebet," sagte die Alte. „Ich geh' jetzt betteln. Von meinen Kindern kann mir keines helfen. Meine Tochter hat einen Lumpen bekommen, der sich zu Tode soff. Jetzt steht sie mit fünf Kindern da und fragt sich jede Nacht tausendmal, wie es morgen kommen wird. Und deine Mutter hat gebetet! — — Meinen Sohn haben sie mir krank vom Militär zurück geschickt. Er wäre vielleicht noch zu retten, aber das Bettelkind will nicht recht kräftigen. Und deine Mutter hat gebetet —! Nun und meinem Mann, Euerem Wohltäter, dem geht es jetzt gut. Der rastet jetzt da. Aber gestorben ist er in Not und Verzweiflung. Es ist soviel unverschuldetes Unglück über ihn gekommen, daß er endlich unter dem Kreuz liegen geblieben ist. Deine Mutter hat gebetet: „Lasse die nicht weinen, welche die Tränen der Armen trocknen. Er ist weinend gestorben. „Lasse den Dank der Armen zum Urteile über ihre Wohltäter werden," hat deine Mutter gebetet. Siehst du das Urteil der Welt über ihn, er war gerade darum schlecht, weil er gut war. Ob ich auch weinend sterben werd', weiß ich nicht — vielleicht sterb' ich fluchend."

„Nein," sagte Karl rasch. „Dir und den Deinen kann ich helfen. Ich bin reich. Das Gebet der Mutter soll an euch in Erfüllung gehen."

„Du willst uns helfen?" rief das Weib. „So hilf! hilf! Es ist nötig. Und dann wollen wir wieder glauben."

„Ja," sagte er. „Das sollt ihr wieder. Vielleicht bin ich darum reich geworden, daß das Gebet meiner Mutter nicht zuschanden werde." Darauf blickte er zögernd auf Ruta hinüber. Sie kam ihm zuvor: „Wenn du an das glauben willst, was deine Mutter gebetet hat, da können wir miteinander nicht glücklich werden."

Ihre Augen funkelten ihn haßerfüllt an. Dann wandte sie sich rasch zum Gehen. „Renne ihr nur um Gotteswillen nicht nach," bat ihn ängstlich die alte Bäuerin. Er schüttelte den Kopf. „Nein, fürcht' dich nicht um mich. Das Gebet der Mutter soll in Erfüllung gehen."

wechselt und die echten, rechten Volkssängerfirmen kann man an den Fingern einer Hand zählen.

Wie sie entdeckt worden ist?

Wie die Künstlerinnen eben alle entdeckt werden, sie sang als kleines Mädel voll Herzenslust in die freie Luft hinaus, da hörten sie viele und erkannten, daß sie „a Stimm" habe. Dann sang sie beim Sperl und nun begann ihre Glanzepoche. Da flog das Geld, ganz Wien sprach von ihren Jodlern, ganz Wien wollte sie hören und das Scherzwort vom doppelten Feiertag, wenn man die Montag am Sonntag höre, brach sich Bahn. Beim Schwender traf sie mit Guschelbauer, von dem sie sich dann nur mehr selten trennte, zusammen. Er kreierte die „Adelheid", das „Glöckerl", die „schwache Brust" und den „Drahrer", sie schuf ihre berühmten Jodlerlieder und gemeinschaftlich bezwangen sie das fidele Wien. Keine Gage war zu hoch, um die beiden Kräfte zu halten, sie wurden so teuer bezahlt wie Theatersterne ersten Ranges.

Das Publikum von damals?

Luise Montag sagt: „So viel Gawlier gibt's heut' gar nimmer in Wien als wie damals bei die „Fürigspritzt'n", wann i bei die „Engeln" tagt hab'. A Spalier war's wie's ganze Adelsarchiv; wann aner dö Ahnen hätt' zählen woll'n, heut' wär' er no net firti."

Das war eine herrliche Zeit; während Guschelbauer aber dem Wiener Boden treu blieb, zog die Montag in die Ferne und der Erfolg blieb ihr auch weit von der Heimat treu. Sie erzählt von ihren Münchener Gastspielen und vom Herzog Max, dem Vater der Kaiserin. Der alte Herr hatte sie besonders ins Herz geschlossen; als sie einmal ihre Jodler losließ, fragte er sie: „Was möchten S' denn jetzt haben, liebe Luise?"

Die Montag sagte: „Die Kehl'n is mir ganz trock'n, Hoheit, a paar Zuckerln wär'n guat." Es waren aber keine Bonbons da, und die Montag mußte warten, bis sie in ihr Hotel kam. Ein Jahr verflog, dann kam Fräulein Montag wieder nach München, sie sang vor dem Herzog, und als sie in ihre Garderobe kam, fand sie eine Torte, über und über mit den feinsten Zuckerln bedeckt. Bald kam der alte Herzog und sagte lachend: „Na heuer hab' ich's doch gut gemacht, was?" Dann unterhielt er sich mit der Sängerin über Wien, fragte, wie es im Universum aussehe und in den anderen Lokalitäten, und als die Montag die Frage an ihn richtete, warum er denn nicht einmal selbst nach Wien komme, antwortete der Herzog: „Sie wissen ja, meine Elisabeth ist in Wien, aber ich komm' nicht gern, ich tu's nicht, ich hab' schon meine Gründe —"

Beim Kronprinzen war die Montag oft zu Gast, die Jägerlieder schaffte er sich bei ihr und die „Veronika" beim Guschelbauer an. Einmal sangen sie im Brucker Lager, da brach Feuer aus und ergriff auch das Zelt, vor dem sie sangen, trotzdem hörten sie in ihrer Produktion nicht auf, der Kronprinz beglückwünschte sie nach Beendigung des Liedes zu ihrer Tapferkeit und half dann selbst mit, den Brand löschen.

Auch Erzherzog Franz Ferdinand ist ein großer Freund des Volksliedes. Die Montag und der Guschelbauer wurden von ihm vor Jahren nach Enns gebeten, dort mußten sie ihr ganzes Repertoire abwickeln und dann noch viele Wiederholungen geben. Plötzlich fing es an zu regnen, das Klavier wurde naß und der Erzherzog-Thronfolger half persönlich mit, um es in den Hauseingang zu tragen, dort wurde die Vorstellung weitergeführt.

In dieser Weise rühmen die Montag und der Guschelbauer die Leutseligkeit der Erzherzoge in vergangenen Tagen. Heute verirrt sich nur mehr selten ein Graf oder ein Fürst zum Volkssänger, und wenn er es tut, dann kann man wissen, daß irgendeine talentlose „Larv'n" dahintersteckt.

Die Komponisten und Schriftsteller der heutigen Tage?

Sie hängen noch alle am alten Repertoire. Den Wiesberg kann doch keiner überbieten, und von den neueren Komponisten versteht nach Ansicht der Montag nur einer so recht vom Herzen den Volkston, der Gruber-Tonl, der Text und Musik des wirklich wunderschönen „Es wird a Wein sein und mir werd'n nimmer sein" ersonnen hat.

Wie sie ihre Stimme so frisch erhalten hat?

Die Montag sagt: „Gar nix hab' i dazua tan, die Kehl'n hab' i no so g'sund wie vor dreißig Jahr' und singen kann i den ganzen Tag; dö Sängerinnen, dö so hakli tuan mit'n Schnupftüchel und mit'n Reden, dö haß'n alle nix."

Bleibt nur noch zu erwähnen, daß Frau Montag oft in die Oper geht und neidlos den anderen Koloratursängerinnen zuhört und ihnen Beifall klatscht.

Herr Guschelbauer hat unterdes sein Bier ausgetrunken, das ist das Zeichen zum Aufbruch. Es ist nach Mitternacht und die Herrschaften haben die Ruhe wohl verdient. Die Kellner, die die Gläser von den Tischen nehmen und die Servietten abziehen, sehen ihnen bewundernd nach. Kainz und Baumeister dürften die alten Wiener Volkssänger um diese Blicke beneiden. A. D.-G.

Die Eckensteher vom Michaelerplatz.

(Die zwei alten Rotkappen. — Dienstmann und Fiaker. — Der alte Michaelerplatz mit Dehm und Griensteidl und der „Stadt Wien". — Der „Weinseelsorger" — Wirtschafts- und Verwirtschaftssysteme. — Wein und Oel und Kerzen. — Ein Wort aus der Hofküche. — Die testamentarischen Freisitze. — Der galante Hoftheatergewaltige. — „Männliche" und „weibliche" Blumenabende. — Der 78. Geburtstag des „jungen" Baumeister.)

Wie ein jäher Ruck an dem Bildervorhang der Erinnerung war das letzthin, als die Notiz von dem 85jährigen Dienstmann erzählte, der seit 43 Jahren, seit dem ersten Erscheinen der rotkappigen Vertrauensmänner à la minute, seinen Platz an der Ecke der Schauflergasse hält, mit einem jüngeren Genossen an der Seite, der erst 73 Jahre alt ist und nur seit 32 Jahren am Platze — Beide noch mit den Füßen so munter dienstbereit, wie mit dem augenzwinkernden Verständnisse für diskrete Aufträge: „Eh schon wissen." Denn in dem raschen Erfassen einer Situation und in der pfiffig-gewissenhaften Wahrung des Nicht-Amtsgeheimnisses — Amtsgeheimnisse werden bekanntlich am schlimmsten gewahrt — hat sich der Wiener Dienstmann den Wiener Fiaker zum Vorbild genommen, oder er hat vielmehr mit dem raschen Volksinstinkt die gleiche Fährte gefunden für die Wegrichtung seines Berufes. Da stehen nun die zwei alten Männer vor dem ehemaligen, in dem modernen, luxuriösen Neubau schwer wiederzuerkennenden „Café Griensteidl" und sinnieren in den dienstfreien Ruhepausen, deren sie leider nunmehr nur allzuviele haben, über die Zeiten, die gewesen, als noch das Theaterleben da wimmelte, in dem alten Burgtheatergemäuer dort drüben, in den Theaterkanzleien der Schauflergasse, und sie „die Hände voll" zu tun und die Füße in steter Bewegung hatten, die mehr oder minder intimen und delikaten „k.k. Hof"-Missionen zu vollführen. Und bei dem Anblick der beiden Greise steht auch das ganze Straßen- und Gruppenbild von damals vor dem Auge: drüben, an dem sich ausbauchenden verwitterten Mauervorsprung das „Theaterdachl" mit der „Künstlerbank", hüben der in die Schauflergasse eingekeilte Häuserblock mit der Konditorei Demel, die noch Dehne hieß und deren bescheidene Lokalität in einem traulichsten Mißverhältnisse zu ihrer Stadtberühmtheit stand, dann an der Vorderecke das kleine Gasthäuschen „zur Stadt Wien" mit dem versteckten Eingang, ein paar wackelige Stufen hinauf, ein paar Stufen wieder abwärts zu den „inneren Gemächern", einer langgestreckten und einer recht engen Stube, niedriges, in ein beständiges Dunkel gehülltes Gebälke, wo die kleineren Leute vom Theater ihren „Schlupf" hatten, unter Vorsitz des leibesprächtigen, landsknechthaften Inspizienten und „Nachlesers" Koller zumeist, wohin aber auch manch' Größerer, Baumeister zum Beispiel, gerne auf einen Schluck hinüberhuschte. Denn die Schlücke bei „Papa Steib", der sich heute noch als „k. k. beeideter Schätzmeister" für Weine eines gedeihlichen Wohlseins erfreut, hielten die Prüfung der Kundigsten vom Theater aus. Saß doch auch, gewissermaßen als genius loci, regelmäßig beinahe der Hofkellermeister Holub da, ein stämmiger Junggeselle, dessen behäbig gutmütiges Gesicht einen geistlichen Zuschnitt hatte, es gemahnte an die liebwerten „Dicken" Anastasius Grüns, mehr noch an die Klosterkellermeister Grützners. Wie eine Art „Weinseelsorger" schien der Mann.

Ja, das waren Zeiten für die zwei jetzigen Greise, denen die Zunge im „Lobe der Vergangenheit" doch ein bißchen loser gebunden ist, weil alle schier, von denen sie was zu erzählen hätten, unter der Erde sind. Sie reden auch da — in der Nachwirkung der Festeslaune der, dem braven Alten bereiteten. Geburtstagsfeier — nur mit halben Worten und leisen Andeutungen, aber es fügt sich leicht zur Verständlichkeit zusammen für den, der zu hören versteht und so manches davon erlebt hat. Alles natürlich „vom Dienstmannsstandpunkte" aus gesehen und vom Gesichtswinkel der „Rechtsgewohnheiten", die sich da und dort eingenistet hatten und als faktisches, eingelebtes Recht erscheinen ließen, was andere Zeiten und geänderte Systeme als „gröblichen Unfug" qualifizierten. Von der früheren „Hofwirtschaft" — bevor der „eiserne Besen" ins Amt kam — haben sie auch allerlei erfahren, weil sie zur „Mitwirkung" herangezogen wurden, zum „Wegtragen" nämlich — mit der gar nicht weiter denkenden Naivetät einer Dienstmannsverrichtung, bei der alles in Ordnung sei. Es war ja auch damals wirklich in aller Ordnung, daß, zum Beispiel, bei jeder einlangenden Weinlieferung ein gewisses „flüssiges Trinkgeld" für die dabei Beschäftigten abfloß und in vollen Flaschen nach Hause zur „werten Familie" geschickt wurde. Desgleichen, wenn die Fässer Oel daherkamen, an denen der zur „Rechtsgewohnheit" gewordene Aderlaß vorgenommen wurde — desgleichen, wenn ganze Kerzenpakete zur häuslichen Verwendung heimgeschickt wurden, damit sie „nicht da ungebraucht zugrunde gingen" — also aus purem, wirtschaftlichem Erhaltungstrieb. Das alles, wie gesagt, und, man weiß, ganz anderes noch, Größeres und Mehreres — je nach den höheren Diätenklassen — geschah mit einer Selbstverständlichkeit des „traditionellen Herkommens", daß es einem schlichten Dienstmann gewiß nicht hätte beifallen können, es handle sich um anderes, als um rechtlich gebührende Sporteln. Ja, Die selbst waren davon überzeugt, welche diese „Nutznießungen" betrieben, von einem subjektiven Verschulden konnte eigentlich bei ihnen gar nicht gesprochen werden — im Gegenteil, sie empfanden es wie ein bitteres, gar nicht zu verteidigendes Unrecht, als das „neue System" ins Leben trat, noch dazu gar, als dieses neue System in der entgegengesetzten Richtung ebenso über die Schnur hieb, wie es das alte des verschlampenden Geschehenlassens getan hatte. Von köstlicher Drastik war doch das Wort eines Hofküchenbediensteten, der, bald nach Beginn der rauhen Wirtschaftsära, einem Besucher, welcher seine Bewunderung dieser marmornen Küchenherrlichkeiten ausdrückte, mit der ganz ehrlich empfundenen Klage antwortete: „Ja, was nutzen die schönsten Räume, wenn man darin hungern soll!" Selbiger hat freilich in dem „Hungerpalast" nicht lange mehr gelitten. Das Wort aber wurde damals viel belacht.

Es ging ja geradezu ins Parodistische, was es da, auch in den Hoftheatern bis vor nicht allzulanger Zeit sogar noch, für „angestammte Rechte" gab, die sogar testamentarisch nachwirkten. Der Erzieher der Kinder eines obersten Theaterwürdenträgers genoß selbstverständlich das Benefiz des Fortbezuges von Freisitzen auch nach Beendigung seiner pädagogischen Mission, so lange der hochgestellte Herr auf seinem Posten und am Leben war. Aber auch nach seinem Tode, als schon ein Nachfolger an seine Stelle getreten war, hörten darum die Freisperrsitze für den emeritierten Erzieher nicht auf, denn der Verstorbene hatte noch in seiner Aktivitätsperiode den Wunsch ausgedrückt, daß dieses Benefizium, wenn er dereinst von seinem Amte scheide, aufrechterhalten bleiben möge und sein Wille wurde demgemäß auf Jahre hinaus devotest respektiert. Der ditto „angestammte" Kommissionär hatte regelmäßig die „systemisierten" Sitze zu besorgen — ohne bis heute zu wissen, was es eigentlich für ein Bewandtnis damit hatte. Er war und ist durchdrungen von dem Glauben, daß der Herr die Sitze eben „zu bekommen hatte". Aber selbst der blindgläubige Dienstmannssinn mußte stutzig werden bei den Freibillettkommissionen, die er für jenen anderen, gleichfalls schon zur ewigen Ruhe gegangenen Hoftheaterfunktionär zu besorgen hatte — an weibliche Adressen zumeist. Da war eine besonders, für die es kein „Ausverkauft" und keine Premièren-Unmöglichkeit gab — gerade bei solchen, für gewöhnliche Sterbliche nur schwer und gratis schon gar nicht zugänglichen, Vorstellungen mußte sich doch die Macht und auch der Zuneigungsgrad des Protektors erst recht erweisen. Mit zwei Sitzen war's da nicht immer abgetan, in Doppelpaaren wanderten sie an solchen Sensationsabenden zu der Dame hin. Die galanten Botschaften beschränkten sich übrigens nicht auf den prosaischen Billettenpappendeckel, sie kleideten sich auch in poetischere und duftigere Formen. Zarte Fäden spannen sich hie und dort, wirrten sich auch manchmals zu interessantesten Verwicklungen, welche die Bescheidenheit des klugen Theatermannes in manchem schwierigen Falle dadurch zu lösen verstand, daß er sich diplomatisch fein im Hintergrunde zu halten wußte, sich mit den stillen Seligkeiten begnügend und dem anderen die lauten Ehren mit ihren Verantwortlichkeiten überlassend. Nicht gerade die Spatzen auf den Dächern der Ringstraßenpalais pfiffen das laut, aber die Vögelchen auf den Bäumen des Opernringes piepsten es sich vertraulich zu und die Blumen eines nahe gelegenen Blumenladens unterhielten sich in ihrer unhörbaren Sprach davon.

Harmloseres wußten die Blumen vom alten Burgtheater zu erzählen — die Blumen und die Dienstmänner. Da gab es für die einen wie für die anderen „männliche" und „weibliche" Blumenabende — je nachdem sie von Herren an die Künstlerinnen, oder von schwärmerischen Enthusiastinnen an die Künstler geschickt wurden. Die dienstmännliche Erfahrungsphilosophie konstatiert hiebei die vielleicht befremdende Wahrnehmung, daß der männliche Schönheitskultus in diesen blumigen Bekundungen nicht selten von dem weiblichen Enthusiasmus übertrumpft wird. An manchen Abenden, wo derlei Huldigungen einem männlichen Liebling galten, hatten die Sendboten viel mehr Sträuße und Kränze auf die Bühne zu besorgen, als wenn im Gegenteil der Abend einer umhuldigten Künstlerin galt. Baumeister, Hartmann, Krastel, Sonnenthal und später Robert waren natürlich immer die „bekränztesten" — Baumeister aber unter ihnen der am wenigsten dafür Empfängliche. Nach der Beobachtung und dem Urteile der psychologisierenden Rotkappen von der Straßenecke wenigstens: „Der Baumeister hat sich nit viel um so verruckte Weiber g'schert und hat die Blumen glei' wegg'schmiss'n, er hat von so fade Rock'n nix wiss'n woll'n." Das kann man aufs Hören glauben — für parfümierte Sentimentalitäten und Exaltationen war der forsche Naturjunge kaum zu haben — was er fürs Herz brauchte, wußte er sich durch eigene Suche, nach eigenem Geschmack zu finden. Und überhaupt machte er mit Amor nicht viel Federlesens, der war ihm zu anspruchsvoll mit seinen Kultusforderungen — und zu wenig Kneipbruder. Da waren die anderen „Jugendlichen" schon viel empfänglicher für die zarten Aufmerksamkeiten der Huldinnen aller Ränge — wenn auch sie eigentlich die galante Chronik Wiens verhältnismäßig recht wenig beschäftigten, viel weniger, als manche ihrer Kolleginnen, und sie sich insgesamt baldigst hinter die Bastionen der Ehe bargen. Sonst wird gewöhnlich den jungen Mädchen die regere Heiratsbeflissenheit zugemessen — im Burgtheater waren es die jungen Männer, die so geschwind wie möglich „unter die Haube" trachteten. Es war ein rechtes Heiratsnest da am Michaelerplatz.

Am Abend des Tages aber, an dem diese Reminiszenzen rege gemacht wurden, spielte in dem neuen Burgtheater der 78jährige Baumeister zum erstenmale nach den Ferien wieder und nahm die Gratulationen der Kollegen zu seinem Geburtstage entgegen. Ein schönes „Häuferl Alt-Wien", das sich da in den Gedanken zusammenfand. S. S.

Wieder der 10. September.

Zum Gedächtnis der Kaiserin Elisabeth.

Man kann nun einmal mit dem Empfinden und dem Denken nicht vorbei an dem Tag, wenn er wiederkehrt, zum siebentenmale nun seit dem Schicksalstage von 1898, an welchem der Mordstahl Luchenis die edle Frau traf. Diesmal schon gar fühlt man sich festgehalten bei dem Tage und seinem Erinnern, weil sich bei den schweren Wirrnissen und Gärungen des Moments, die so gar keine Aussicht auf die Gestaltungen auch nur der nächsten Zukunft zulassen, unwillkürlich die Betrachtung sich aufdrängt: „Wenn die Kaiserin heute noch lebte, was würde sie dazu sagen?" ...

Sie mit ihren, von den Impulsen einer geschichtlichen Romantik und sprunghafter persönlicher Eindrücke bestimmten, immer gleich rege gebliebenen Sympathien für das Volk der Magyaren, sie, die sich von diesem Volke am glühendsten vergöttert gesehen hatte, als sie an den Sarg Franz Deaks hingetreten war, die Königin am Sarge des Volksmannes, der durch sein Wort und seinen Rat sich mit dem Kronenträger in die Lenkung des Geschickes der Nation geteilt hatte — und dessen Werk heute von denen zerschlagen wird, die sich als Männer und Berater eben desselben Volkes geben. Was bei diesem verhängnisvollen Schauspiel in der Seele der hohen Frau vorgegangen wäre, wie sich ihre Denkweise dazu gestellt und damit abgefunden hätte! Und wenn dabei der Name Andrassy ihr Ohr getroffen, wenn sie unter den Vordersten des Zerstörungswerkes Julius den Jüngeren gesehen hätte, den Sohn des Mannes, in welchem damals, außer dem politischen Gehalt des nationalen Lebens, seiner Strebungen und Ziele, gewissermaßen die Poesie der Ritterlichkeit, das Paladinentum des Magyarenvolkes und seiner Edlen verkörpert erschienen war. Eine Gloriole förmlich umschimmerte diesen Namen Andrassy und die Gestalt seines Trägers, des Helden der romanhaftesten Schicksalsmetamorphose, des in effigie an den Galgen geschlagenen Hochverräters, der nun als Getreuester am Throne stand, als erster Ratgeber seines Monarchen, als richtunggebender Staatsmann nicht bloß des eigenen Volkes, sondern des gesamten Reiches. Der diese Zeilen niederschreibt, ist Augenzeuge zweier interessantester und illustrativster Momente jener Gipfelhöhenzeit des „Romanministers" gewesen, dem der „Feuilletonkanzler" Beust hatte weichen müssen. Das waren: die erste Soirée, die er auf dem Ballplatze gab, und die Ballszene in Venedig, als er im Frühjahr 1875 den Kaiser dahin zum Besuche König Viktor Emanuels begleitete.

Im Empfangssalon des „Ministers des Aeußern und des kaiserlichen Hauses" stand an jenem ersten Soiréeabend die schöne, stolze Gräfin Katinka und begrüßte die frühkommenden Gäste im Namen ihres Gemahls, der in plötzlicher Eile tagsvorher nach Budapest hatte reisen müssen und nun erst mit dem Abendschnellzuge zurückerwartet wurde. Die Häupter der konservativsten und feudalsten Adelsgeschlechter Alt-Oesterreichs drängten sich in galanter Huldigung um die imponierende Frauengestalt, und sie umscharten in nicht minder beflissener Art den bald darauf eintretenden Hausherrn, den „Hochverräter" von einstens. Es war eine wunderlich eindringliche Szene voll des groteskesten Humors der Weltgeschichte. Und mit genug lebhaften Farben prägte sich das Bild in den märchenhaft erleuchteten Sälen der Prokuratien am San Marcoplatze ein: Graf Andrassy an der Spitze der Tanzkolonnen mit der, in jugendlicher Anmut an seiner Seite daherschwebenden Kronprinzessin Margarete — die politische Symbolik mochte da bereits in ihm den „Vortänzer" des nahenden Dreibundes erblicken. Symbolik und Romantik aller Art eben umgaben seine Erscheinung, wohl geeignet, eine sich gerne über das Alltägliche emporschwingende Frauenphantasie als Bundesgenossin zu gewinnen. Daß er seine und seines Volkes Sache in ansprechenderen und empfehlenderen Formen zu vertreten wußte, als die, nicht eben durch die Anmut ihres Wesens die Herzen zwingenden,

bedeutete sein eigenes Todesurteil für seine ministerielle Tätigkeit. Bei den weiteren Verhandlungen in der Hibernia-Angelegenheit wie bei dem Begehren des Fiskus, in das Kohlensyndikat einzutreten, wurden dem abtrünnigen Minister denn auch von seinen einstmaligen Freunden so erhebliche und so deutlich gegen seine Person gerichtete Schwierigkeiten bereitet, daß Herr Moeller zu der durchaus zutreffenden Erkenntnis kam, er sei dieser übermächtigen Partei seiner Gegner nicht gewachsen. Mittelbar aber trifft der Schlag, der den Minister wegfegt, den Reichskanzler, beziehungsweise preußischen Ministerpräsidenten Fürsten von Bülow selbst, dem so klargemacht wird, daß seine Politik den Kohlenmagnaten nach wie vor nicht genehm ist. Wenn, wie in diesem Falle, der leitende Mann zu fest sitzt, so muß eben der weniger „schuldige" Ressortminister daran glauben. So zeigt dieser Ministerwechsel, welchen außerordentlichen Einfluß die Großindustrie heute in politischen Dingen besitzt. Und gerade von diesem Gesichtspunkte aus dürfte die Wahl des Nachfolgers des Herrn Moeller ganz besonderes allgemeines Interesse beanspruchen.

* * *

Ernst Delbrück — der neue Handelsminister?

Klemens Gottlieb Ernst Delbrück wurde als Sohn des 1892 verstorbenen Kreisphysikus und Geheimen Sanitätsrates Ernst Delbrück am 19. Jänner 1856 zu Halle a. S. geboren. Im Jahre 1877 wurde er Referendar am Landgericht in Halle a. S. Im Jahre 1897 trat er zur Verwaltung über und fand zunächst im Vorbereitungsdienst bei der Regierung zu Stettin Verwendung. Vom August 1885 bis August 1891 war er Landrat in Tuchel und vertrat den Kreis Tuchel auch im Provinziallandtag für die Wahlperiode 1887/1892. Zu Anfang des Jahres 1892 wurde er zum Danziger Oberpräsidium versetzt, wo er das Ressort der Landwirtschaft, der Eisenbahn- und der zur sozialpolitischen Gesetzgebung gehörigen Angelegenheiten zu bearbeiten hatte. Am 22. Mai 1896 wurde er zum Oberbürgermeister von Danzig gewählt und vertrat die Stadt Danzig auch im Herrenhause. Während seiner sechsjährigen Wirksamkeit als Oberbürgermeister von Danzig erwies er sich als ein Mann von weitem Blick, außergewöhnlicher Arbeitskraft und den angenehmsten Umgangsformen. Dem damaligen Oberpräsidenten Dr. v. Goßler war er bei dessen Bemühen, eine ostdeutsche Industrie zu schaffen, eine verständnisvolle und energische Stütze und die Provinz begrüßte daher seine Ernennung zum Nachfolger des Herrn v. Goßler, die am 29. September 1902 erfolgte, mit warmen Sympathien. Oberpräsident Delbrück, dessen Vater ein Vetter des verstorbenen Staatsministers Rudolf v. Delbrück war, ist seit dem 6. Oktober 1883 mit Fräulein Meta Magdalena Liedtke verheiratet, einer Tochter des Rittergutsbesitzers Liedtke auf Lowinneck, und Vater von drei Söhnen und einer Tochter. Das Wohlwollen, das Kaiser Wilhelm Herrn Delbrück entgegenbringt, spiegelte sich in der Rede wider, die der Kaiser im Jahre 1901 in Danzig hielt. Er sagte damals: „Von dem bannenden Nebel parteipolitischer Rücksichten, die lange die Stadt Danzig gedrückt und niedergehalten und ihr nicht gestattet haben, sich um ihre Interessen zu kümmern, sehe ich jetzt die Stadt befreit und vor uns aufblühen unter der sicheren Hand eines weitblickenden Stadthauptes."

Wien, 14. Oktober.

Ueber die angeblich bevorstehende Ernennung des jungtschechischen Abgeordneten Dr. Forscht zum Sektionschef im Eisenbahnministerium erhält die „Polnische Korr." eine Zuschrift eines polnischen Abgeordneten, die einige pikante Kulissenvorgänge enthüllt. In der erwähnten Zuschrift wird ausgeführt: Die Berufung des Abgeordneten Dr. Forscht war vor einigen Wochen noch sehr aktuell. Als jedoch gegen diese Ernennung alle beteiligten Seiten Bedenken geltend machten, wurde die Frage dieser Nominierung zwar nicht von der Tagesordnung abgesetzt, jedoch weit weit in den Hintergrund zurückgeschoben. Ob die jetzt wieder auftauchenden Gerüchte über die Ernennung des Dr. Forscht einen realeren Grund haben, kann ich momentan nicht kontrollieren. Daß aber die Sache nicht zur Ruhe kommen will, ist ein Beweis mehr, daß der Plan: den Doktor Forscht ins Eisenbahnministerium zu berufen, einer der unglücklichsten Einfälle war, zu dem sich unsere politischen Drahtzieher aufgeschwungen hatten. Man wird mit dem Parlamentarisieren der Minister nicht fertig, wie soll man erst die Parlamentarisierung der Ministerien zuwege bringen? Kaum ist die Kandidatur des Doktor Forscht als Sektionschef im Eisenbahnministerium aufgetaucht, da hieß es im Polenklub: „Vor den Schäden, die Dr. Forscht mit seiner Tarifpolitik unserem Wirtschaftsleben zufügen würde, könnte uns nur ein polnischer Eisenbahnminister schützen." Wo nehmen sie rasch einen polnischen Eisenbahnminister her? Der bisherige Effekt dieser Aktion ist, daß im Eisenbahnministerium die tollste Wirtschaft herrscht, weil kein höherer Beamter seines Postens sicher ist und die wichtigsten Stellen provisorisch besetzt sind. Und alles dies, damit Herr Dr. Forscht dem guten Doktor Pazak das Leben nicht sauer macht! Wir glauben, daß die Schwierigkeiten, die Dr. Forscht den Führern des Tschechenklubs bereitet, lange nicht so gefährlich sind als der Widerstand jener parlamentarischen Kreise, die auf die Disziplin des Tschechenklubs keine Rücksicht zu nehmen brauchen.

Das in Prag erscheinende sozialdemokratische Organ „Pravo Lidu" bespricht die gestrigen Ereignisse im böhmischen Landtage und schreibt unter anderem: „Wir ermahnen die deutschen Abgeordneten, von dem Frevelspiel mit der Obstruktion abzulassen, da dieselbe im jetzigen Zeitpunkte eine Herausforderung der tschechischen und deutschen Arbeiterschaft wäre. Prag ist ein vulkanischer Boden. Wenn jetzt die Arbeiterbataillone in Aktion treten würden, dann würden die Herren Eppinger, Werunsky und Bachmann einen Augenblick erleben, den man nicht so leicht vergißt. Wir machen diese Herren schon heute für das Resultat dieser Politik verantwortlich, die sich der friedlichen Entwicklung der Dinge in den Weg stellen will."

Städtische Angelegenheiten.

(Aus dem Rathause.) Der Gemeinderat hält in der kommenden Woche am Dienstag und Freitag, 5 Uhr nachmittags, eine öffentliche Sitzung ab. Auf der Tagesordnung stehen bis jetzt 22 Gegenstände, darunter die Stellungnahme der Gemeinde zur Sonntagsruhe, Errichtung eines Gemeindevermittlungsamtes für den IX. Bezirk, Bewilligung eines Kredits von 300.000 Kronen für das Jahr 1906 zur Aufstellung von 1500 bis 1600 Gasautomaten, Einführung eines Automobil-Omnibusverkehres nach Kaiser-Ebersdorf rc. — Stadtratssitzungen finden am Dienstag, Mittwoch und Freitag, 10 Uhr vormittags, statt. — In der kommenden Woche werden drei fertiggestellte städtische Schulen feierlich eingeweiht werden, und zwar am 17. d. M. die Mädchen-Volksschule, XI., Braunhubergasse 3; am 19. d. M. die Knaben- und Mädchen-Volksschule, XII., Hetzendorferstraße 11, und am 20. d. M. die Mädchen-Volksschule, II., Vereinsgasse 29.

(Ernennung.) Der Stadtrat hat im Status des Gartenpersonals den Stadtgärtner Jakob Plohowitz zum Ober-Stadtgärtner ernannt.

(Städtische Straßenbahnen.) Die Winterfahrordnung tritt mit dem morgigen Tage, dem 16. d. M., in Kraft und sind gegenüber dem Sommerfahrplane folgende Aenderungen in der Instradierung der Wagen besonders bemerkenswert: Die Wagen der Linie Prater Hauptallee—Ringstraße—Ottakringerstraße—Hernals verkehren anstatt über die Ottakringerstraße über die Jörgerstraße nach Hernals. Neu eingelegt werden Pendelwagen von Neuwaldegg über die Jörgerstraße sowie von Hernals über die Ottakringerstraße zur Schottengasse. Die durchgehende Linie Schönbrunn-Dreherpark—Margareten—Ringstraße—Hernals wird aufgelassen und verkehren die Wagen einerseits von Schönbrunn-Dreherpark über Margareten zur Operuschleife, anderseits von Hernals und Jörgerstraße zur Schottengasse. Die Wagen der Linie Hütteldorf—Märzstraße—Neubaugürtel—Mariahilf—Babenbergerstraße verkehren nicht mehr von Hütteldorf, sondern vom Bahnhofe Breitensee zur Babenbergerstraße.

Tagesneuigkeiten.

Der griechisch-rumänische Konflikt.

(Stimmungsbericht aus Athen und Bukarest.)

Unser armes altes Europa kann nicht zur Ruhe kommen.

Kaum ist der russische Krieg zu Ende — — kaum ist die Wasserschlacht Sternberg contra Wolf erledigt — — kaum wurde in Brünn die letzte Fensterscheibe wieder eingeschnitten, die dem tschechischen Nationalbewußtsein zum Opfer gefallen war — — kaum hat man mit behaglichem Gruseln gehört, daß Delcassé sich geirrt habe, als er sang: „Mit hunderttausend Mann rückt König Edi an!" — — — kaum also freut man sich des geretteten Friedens, ballen sich auf dem stets lachenden blauen Himmel Griechenlands finstere Wetterwolken zusammen. Und wenn's zu keinem wirklichen Gewitter kommt, hat man es neben kleinen geographischen Hindernissen auch dem Umstande zu danken, daß dem neu-griechischen Zeus das Geld zur Instandhaltung des Donner- und Blitzapparates ausgegangen ist.

Der griechisch-rumänische Konflikt hat bekanntlich bereits zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Balkanstaaten geführt. In Athen und in Bukarest zerbricht man sich den Kopf, wie man kräftige Repressalien gegen den Gegner ergreifen könne, die Stimmung in beiden Hauptstädten ist so erregt, daß nachstehende Berichte unserer Bukarester und Athener Spezialkorrespondenten sicher von Interesse sein dürften.

Athen, 11. Okt. (28. Sept. a. St.).

Ihr Berichterstatter hatte heute Gelegenheit, mit einem führenden griechischen Staatsmann zu sprechen. Der Diplomat versicherte, ein Krieg werde zwischen Rumänien und Griechenland wahrscheinlich vermieden werden, da kein geeignetes Schlachtfeld aufzutreiben sei.

Immerhin sei man auf alle Eventualitäten gefaßt. Die kleidsame Uniform der Hellenen (die berühmten weißen Röckchen) seien schon beim Ausbügeln.

Um die Schlagfertigkeit der Armee zu erhöhen, hat man den Kronprinzen, der im letzten griechisch-türkischen Kriege die Türken mit Ruhm bedeckte, vom Oberkommando abberufen. Als Generalissimus sei irgend ein kriegstüchtiger Bewohner von Kreta (griechisch: Kretin) in Aussicht genommen.

Die Kostenfrage bereite wohl Kopfzerbrechen, doch sei man auch in diesem Punkte bester Hoffnung. Einst habe der alte Griechengott Europa in Gestalt eines Stieres entführt, diesmal werde Europa dem stieren Griechenland helfen. Wohl seien bereits sämtliche Staatsgüter und Einkünfte verpfändet, doch sei der Glaube der Griechen an ihre große Zukunft so fest, daß sie sogar Berge versetzen würden, den Olymp und den Parnaß. (Vielleicht erwirbt irgend ein strebsamer mitteleuropäischer Dichter, Autor oder Librettist diese stimmungsvollen Poetenwinkel zum Privatgebrauche. A. d. R.)

„Wir werden die Geldschwierigkeiten sicher glücklich überwinden, denn wir sind den „Kampf mit den Drachmen" (à 100 Lepta = 72 Heller) gewöhnt. Griechenland wird eine Kriegsanleihe erhalten, denn wir wissen, was wir unserer stolzen Vergangenheit schuldig sind. Was wir dem Auslande schon schuldig sind, weiß selbst der Finanzminister nicht. Die neuen Hellenen werden aber den alten keine Schande bereiten, wir werden früher die Ehrenschuld an unsere großen Ahnen einlösen, als die Coupons unserer Anleihen. Und wenn unsere Gläubiger darob zugrunde gehen!"

Der Diplomat äußerte sich schließlich ziemlich abfällig über die nationalen Bestrebungen der Rumänen, die sich nur einbilden, Nachkommen der alten Römer zu sein, während sie in der Tat nur ein minderwertiges Produkt slawischer, türkischer und anderer asiatischer Stämme seien.

Im Lande selbst ist man friedlich gestimmt, doch verlangt das ganze Volk stürmisch nach Kriegsanleihen als einzige Möglichkeit, Geld vom Auslande zu bekommen.

Bukarest, 12. Oktober.

Die erregte Stimmung gegen Griechenland hat ihren Höhepunkt erreicht. Im königlichen Palais wird fieberhaft gearbeitet.

Carmen Sylva hat sich seit drei Tagen in ihren Gemächern eingesperrt und dichtet anfeuernde Gesänge. In den letzten Stunden sucht sie allerhöchst persönlich einen Reim auf „Kurutzo-Walachen" und auf „griechisches Patriarchat". Wie die Reime gefunden sein werden, soll der Kriegsgesang angestimmt werden.

Inzwischen hat die Regierung auch praktische Maßregeln gegen die Griechen ergriffen. Auf allen Hotelspeisekarten sind die griechischen Weine und das griechische Beefsteak gestrichen worden. Um dem griechischen Export nach Rumänien den Todesstoß zu versetzen, erscheint eine Verordnung, durch die die Anwendung von Korinthen bei der Herstellung von Gebäck und Mehlspeisen untersagt wird.

Die Bewegung gegen Griechenland hat alle Volkskreise ergriffen. Die Jugend marschiert natürlich an der Spitze. Die Gymnasiasten weigern sich, den Homer zu lesen und haben ihn sowie Herodot und andere Lehrbücher auf öffentlicher Straße verbrannt.

Der Held des Tages ist der junge Wallacheskn, der dreimal nacheinander die dritte Klasse des I. Bukarester Staatsgymnasiums repetieren mußte, weil es unmöglich war, ihm auch nur die griechischen Buchstaben beizubringen. Wallacheskn wurde in Anerkennung seines Patriotismus unmittelbar aus dem Untergymnasium von dem Ministerium zum politischen Dienst berufen, wo er übrigens gleichbegabte und gebildete Kollegen schon in verantwortlichen Stellungen vorfand.

Bemerkenswert ist schließlich die Aeußerung eines hochstehenden Diplomaten, der sich Ihrem Korrespondenten gegenüber ziemlich abfällig über die nationalen Bestrebungen der Griechen aussprach, die sich nur einbilden, Nachkommen der alten Hellenen zu sein, während sie in der Tat nur ein minderwertiges Produkt slawischer, türkischer und anderer asiatischer Stämme sind.

Robert.

Wiener Originale.

Rante-Potante.

Sie lesen den Namen erstaunt? Sie wissen nicht, wer Rante-Potante ist? Dann sind Sie kein echter Wiener, oder — was noch schlimmer ist — dann haben Sie niemals die historischen Stätten jener Orte betreten, an denen das ganz echte Pilsener geschenkt wird. Den trunkfesten alten Wienern, die auf Stephansturm, Michaeler-Beisel, blaue Donau, Winter-Bierhaus, Prater, Griechen-Beisel und Rathausmann etwas halten, ist er seit vielen Jahrzehnten bekannt, befreundet, ans Herz gewachsen. Sie sind Exzellenzen geworden, Burgschauspieler, Vizebürgermeister, Oberlandesgerichtsräte und Spießer; sie haben niemals nach seinem Namen gefragt, nach seinem echten, sie wurden von ihm nach Verdienst geschätzt, nach Standhaftigkeit beim Trunk, nach der Anzahl von Krügeln, die Franz oder Jean auf den Tisch strich. Sie sehen ihn täglich vor sich, sie suchen ihn und sie werden sich ohne Zweifel freuen, wenn ich ihn hier als Original festhalte, den alten, treuen Rante-Potante.

Es wäre schlimm um seine Figur, wenn ich ihn nicht im Milieu schildern wollte. Er gehört zum Bier, zum anerkannten, besten, und er gewinnt an Leben, wenn Gaslicht flackert, wenn Tabakrauch und Alkoholdunst ihn umgeben.

Da ist das Reichenberger Beisel mit dem schmalen Eingang, den kleinen gemütlichen Zimmern, mit den Stammtischen, an denen kunterbunt ein prächtiges Stück Wien sitzt. Hausierer kommen, arme Teufel mit Luftpumpen, an denen man die Kraft der

---

duseleien und unnütze Sentimentalitäten eine falsche Entwicklung zu nehmen.

Freunde besaß er nicht. Oberflächliche Bekannte wohl, aber keinen, der ihm näher stand. Er glaubte nicht an Freundschaft. Einer, der stets allein gestanden, trägt auch kein Verlangen darnach, er entbehrt nicht, was er gar nicht kennt. Entbehren heißt ja auf etwas verzichten, was einem lieb gewesen. Er konnte auf alles verzichten — auch auf sein Weib, als es sein mußte. Auch sie entbehrte er nicht. Er wollte nichts entbehren, wollte kein weiches Empfinden in sich aufkommen lassen.

Sein Weib hat ihn allein gelassen, weil es nicht ganz verkümmern wolle in dem kalten, nüchternen Leben an seiner Seite. Sie war mit einem gegangen, dem sie jubelnd um den Hals fliegen konnte, ohne daß er mit einem unmutigen: „Wozu diese Ueberspanntheit?" abwehrte. . .

Die Zeit verging. Durch eisernen Fleiß hatte er so viel erworben, daß er sich ins Privatleben zurückziehen konnte. Seine Bedürfnisse waren die denkbar einfachsten; sorgen mußte er für niemanden. Die Frau war längst das Weib des andern.

Seine Söhne, denen er ein Fremder geblieben, waren ihre eigenen Wege gegangen, er hörte oft monatelang nichts von ihnen. So lebte er ruhig und gleichmäßig, ohne Sorgen, ohne jede Freudigkeit. Ein Tag verging wie der andere, Jahr reihte sich an Jahr — ihm war es gleich, er dachte nicht einmal daran.

Aber jetzt? Was war das für ein fröstelndes Gefühl, das ihm ans Herz kroch, als er sich scheu umsah in dem Raume, in dem er seit Jahren hauste — ganz allein! Auch heute allein an seinem fünfzigsten Geburtstag, der obendrein der Allerseelentag war. An dem Tage, der der Liebe gehört, war er ins Leben getreten — vor fünfzig Jahren! Liebe! Was ist das: Liebe? Heute sollte ja wohl die Erinnerung aufwachen und all das lebendig werden, was jahrelang geschlummert, Längstvergangenes auferstehen und ihn umschweben in seiner Einsamkeit. Aber er blieb allein — auch heute! Wie er auch angstvoll horchte auf die Stimmen seines Innern — es blieb stumm — — totenstill. Ihm erwachte kein liebes Erinnern, keine Sehnsucht, die ihm die Tränen in die Augen trieb. Wie er suchte und grübelte — er fand keinen Menschen, an dem sein Herz hing, keinen, zu dem es ihn heute hindrängte, an einem Tage, an dem der Mensch unwillkürlich den Menschen sucht. Keinen im Leben — keinen im Tode! Er hatte keinen lieb — keinen! Ja, aber — wozu hatte er dann gelebt?! Andere macht das Leben im Herzen oft arm, bettelarm, nimmt ihnen das Teuerste, aber er — er war ja niemals reich gewesen, niemals! Heute, zum erstenmale, seit er denken konnte, empfand er es mit Grauen, daß er einsam durchs Leben gegangen, daß er ein totes Leben gelebt!

Wie sagte die alte Frau: „Ein jeder denkt heute an wen Lieben —." Jeder — nur er nicht, heute so wenig wie jemals! Er hat es nicht gelernt, die Feste des Lebens zu feiern, er war immer abseits gestanden, ein einsamer Mensch! Warum steigt es heute plötzlich so trostlos vor ihm auf, sein ganzes vergangenes Leben? Warum erscheint es ihm heute plötzlich wie eine steinige Wüste, grau — sonnenlos?

Regungslos sitzt er und starrt hinaus in das graue Regengeriesel. Ganz still ist's, nur die alte Uhr tickt eintönig.

Mit einer verzweifelten Gebärde fährt der alternde Mann sich in das Haar. Er will sie nicht hören die Stimmen, die jetzt plötzlich laut werden in seinem Innern, die jammernd von einem verlorenen Leben sprechen. Er will darüber lachen, daß er allein ist, wie er sonst darüber gelacht hat. Nur so ist man frei! Frei — ja! Aber — ein halbes Leben ist es wert, wenn einem in solchen Stunden eine liebe Erinnerung ersteht und ein leises Weh das Herz umkrampft. Wenn der Mensch lacht, ist er im Himmel, wenn er weint, fußt er auf der Erde, für die er geboren ward. Wer hier wie dort ein Fremder ist, den mag man einsam nennen, einen Toten, ob er auch atme. Ganz dunkel ist es geworden.

Der Einsame schlägt die Hände vor das Gesicht! Jeder hat heute wen Lieben, Jeder ein sehnendes Erinnern, nur er nicht! Er ist einsam — ganz einsam, einsamer als die Toten.

Lungen messen soll, Leute mit Hosenstreckern, mit Ansichtskarten, mit Seife und Zündhölzchen. Man läßt sie passieren. Bier macht wohltätig, kaum sieht man nach ihnen, wenn sie die Gabe empfangen.

Dann öffnet sich die Tür und ein kleiner Kerl tritt ein. Die Füße schon ein bißchen wackelig, der Backenbart grau, die Augen hinter scharfen Gläsern und das Ganze ein Männlein in schlechtem Wamms mit kurzen, oft gestützten Hosen, mit fleckigem Gilet und weißer Hemdbrust, auf der Bleistiftstriche sichtbar werden. Irgend ein Gast hat in guter Laune solcherart seine Biere vermerkt. — In der Hand trägt er ein kleines Täschchen und an der Uhrkette baumelt ein großes silbernes Pferd. — Der Alte nähert sich den Tischen, er sieht nur nach bekannten Gesichtern, er kommt ganz nahe an die Gäste heran, er ist kurzsichtig, aber er erkennt sie an der Stimme und er beginnt sein Spiel. Er zieht einen Ring hervor, faltet ihn in ein schwarzes Papier und läßt ihn verschwinden. Nur zwei Worte spricht er, die Zauberformel: „Rante-Potante". — Ueber dreißig Jahre sind es, seit er sich mit diesem Kunststück eingeführt hat, er kennt kein anderes, er weiß sonst nichts von höherer Magie. Und die Formel wurde ihm zum Namen, sie machte den Hausierer zum populären Mann. „Rante-Potante" heißt er, seit er in den Bierhäusern heimisch ist. „Rante-Potante" rufen ihn Gäste, Wirt und Kellner. Er zeigt bereitwilligst seine Kunst, sie lohnen es ihm mit einem „Großartig", „Wunderbar" und dann kramt er seine Schätze aus, früher Bücher, jetzt kleine Bleistifte und Tintencrayons.

Rante-Potante hat seinen Rundgang vollendet, er macht seinen Diener vor dem Tisch des Generalstabsarztes, vor dem Tisch des Dombaumeisters, vor dem Tisch der alten Bürger. Ueberall freundliches Winken, das Begrüßen eines alten Bekannten und hie und da auch Nickelstücke. Dann marschiert er nach dem Schank. Nahe an Mitternacht ist's; Rante-Potante hat sein Handwerk vollbracht, da steht sein Sessel, da hängt seine Pfeife, die Tasche legt er neben sich und hält nun Siesta. Der Zahlkellner bringt ihm Bier und irgend einen Imbiß und Rante-Potante wird redselig.

„Wie lange ich schon herumgehe mit meinen Büchern, mit meinen Bleistiften? No, genau seit Dreiundsiebzig." Er putzt die Brillengläser, streift die Brotkrumen von seinem speckig glänzenden Rock und erzählt von den alten Wiener Bierhäusern, von den guten Menschen, von den herrlichen Getränken. Beim Lothringer ist er Anzengruber begegnet, mit seiner ganzen Stammtischsippe, mit Hans Richter, Albert Lorens, Alt und Juch, im Michaeler Bierhaus traf er Baumeister, beim Winter Robert, Gabillon, Reimers, Speidel, Cischini, Dr. Neumayer, im Griechenbeisel Hans Makart und unzählige andere. Er hat an die meisten persönliche Erinnerungen. Emmerich Robert begrüßte ihn nur als „Herr Kollega", Baumeister sagte ihm mit Bezug auf seine Zauberei: „Ja, wenn ich das könnte, lieber Rante-Potante, gäbe ich das Komödienspielen auf," und Oberlandesgerichtsrat Cischini schüttelte immer das Haupt, wenn der Magier fertig war, und belohnte die schwarze Kunst mit einem glänzenden Sechserl.

Mit besonderer Freundlichkeit spricht er von Gabillon. Sie lachten einmal am Stammtisch über eines der Erlebnisse des Künstlers am Nordpol. Da erschien Rante-Potante. „Was wollt Ihr haben, der hat mich dort gesehen," sagte Gabillon. Und Rante-Potante nickte und meinte in aller Bescheidenheit: „Herr von Gabillon haben mir sogar damals versprochen, mir dieses Buch abzukaufen." Und Gabillon lachte und zahlte.

Im Reichenberger Bierhaus war Makart Stammgast. Damals hatte Rante-Potante Bücher aus aller Herren Ländern zu verkaufen. Makart bestellte ihn ins Atelier. Da sah nun der Hausierer die Kostüme des Festzuges ausgebreitet, die herrlichen Stoffe und eine ganze Reihe von Equipagen standen vor dem Tore. Rante-Potante wartete und beguckte indessen die Skizzen, die Samte und Plüsche und hielt den Bücherpack unterm Arm. Inmitten einer glänzenden Damengesellschaft sah er Hans Makart. Er schien schlecht aufgelegt, er sprach nur wenig, er ließ die meisten Fragen unbeantwortet. Der Hausierer wollte sich entfernen, aber er stolperte über einen Seidenballen und nun gewahrte ihn Makart. Er ging auf ihn zu, reichte ihm die Hand und sagte: „Sie haben gehen wollen, Rante-Potante? Sie müssen noch warten", und laut setzte er hinzu: „Sie sind der einzige, den ich für heute eingeladen habe."

Er hatte Beziehungen zu Schauspielern und Kritikern, zu Dichtern und Sängern. Keiner sagte ihm je ein schlechtes Wort. Kam er einmal nicht, dann fragte man nach ihm, dann fehlte er, dann wurden die Stammgäste unruhig. Die noch am Leben sind und sich des guten Bieres erfreuen, sind auch heute seine Gönner. Er besucht die alten Lokale noch immer, erhält vom Oberlandesgerichtsrat Cischini noch heute die Taxe für seine Künste, wird von Reimers noch immer freundlich begrüßt und zählt den unterdes zum Vizebürgermeister gewordenen Dr. Neumayer noch immer zu seinen Käufern. Hat er gar eine Rarität am Lager, ein seltenes Buch oder eine alte Zeitschrift, dann sind Exzellenz Wilczek, Graf Kolowrat und andere Sammler seine treuen Kundschaften.

Ich frage ihn nach seinen Lebensschicksalen und wie er zu dem Beruf kam.

Rante-Potante steckt eine neue Pfeife an. „1873 war ich Buchhändler, dann Hausierer." Das ist alles. Er hat sich in seine Lage gefügt, er ist mit ihr zufrieden, wenn nur die Füße nicht schon nachlassen würden. Die Zeiten sind auch schlechter geworden, aber es ist kein Grund zum Jammern da. Für Essen und Trinken braucht er keinen Heller auszugeben, die braven Kellner bewirten ihn, wo er auch hinkommt, und was er sonst noch braucht, das verdient er. Manchmal freilich war's recht schlimm um ihn bestellt. Die Frau krank, die Miete unbezahlt, die Not am größten. Da verlor Rante-Potante den Humor. Erst erfüllte er seine Pflicht, zeigte seine Zaubereien, bot Bücher und Bleistifte an, trank sein Glas Pilsner und braute dann mit zitternder Hand einen anderen Trank: Wasser mit Phosphor. Aber er hatte die Rechnung ohne die Stammgäste gemacht, sie hatten ihn bemerkt, sie rissen dem Alten das Glas von den Lippen, sie ließen ihn schwören, das nie wieder zu tun. Und was das Schönste war, sie halfen auch.

Früher ging er mit Büchern hausieren, mit medizinischen, mit religiösen, mit juridischen. Beim Manz schenkten sie ihm die Sachen und er verkaufte sie an Interessenten. Jetzt ist ihm der Pack zu schwer, er trägt nur mehr Bleistifte. Er zeigt mir sein „Lager" im Reichenberger Beisel: zwei Meßbücher, englische Zeitschriften und ein Lehrbuch der Medizin von Anno dazumal. — Zehn Gulden und fünf Gulden hat er manchmals verdient, heute sind's zwei und drei Kronen, aber er läßt sich's nicht verdrießen, er lobt die Menschen, er braucht die Bierkneipen, die fröhlichen, guten Gesichter und das helle, schäumende Bier.

Nachgerade ist sein Renommée als Kenner so groß geworden, daß sie ihn als „Biermännchen" nehmen; wo er ausbleibt, da ist mit dem Pilsner was los, wo er sich niederläßt, da mag man ruhig rasten.

Rante-Potante hält was auf sich. Wenn ihn ein Fremder anschaut, da stellt er sich vor und sagt: „Vorige Woche hat einer gerade so zu mir gesprochen, das war aber bei der Hühnersteigen!" — Und wer dabei ist, gibt sicher dem alten Rante-Potante recht.

Er zieht noch einen Pack Papier hervor und weist ihn mir. Es sind Aktien von 1873, „Baubank", „Brigittenauer" und andere, haben einen aufgedruckten Wert von einigen Hunderttausenden und waren einmal in seinem Besitz. Er streicht ein Zündholz an, macht einen Fidibus aus solch einem Tausend-Gulden-Zettel und bringt die Pfeife wieder in Brand.

Ueber 1 Uhr nachts ist's, der Kellner meldet das letzte Bier und Rante-Potante legt sein Haupt zurück; seine Sprache hat den harten, unverkennbar tschechischen Dialekt, seine Konfession soll nicht ganz einwandfrei sein, er weiß nichts von Parteienzwist, er lobt dieses schöne, goldene Wien mit dem braven, treuen Herzen. Und von den tiefen, weitverzweigten Kellern steigen die Biergeister auf und wiegen den vertrauten Kumpan in sanften Schlummer. Der Schankbursche schließt behutsam die Kellertür, der Pikkolo geht auf den Fußspitzen und im Nebenzimmer verstummt die allzugrelle Heiterkeit.

Rante-Potante schläft! A. D.-G.

Eine Erinnerung an „Exzellenz Frauenlob".

(Zum zwanzigsten Todestage der „Exzellenz Frauenlob". — Das Leichenbegängnis in der Hinterbrühl und der Toast auf die Verwesung. — Das Verhängnis der „Spaßhaftigkeit". — Die erste Ausfahrt des Grafen Beust und Kassandra im Frack. — Der Zersplitterte. — Der „Freund der Frauen". — Das „Trauerspiel des Kindes" und die Empfindlichkeiten im Jahre 2 nach dem großen Krach. — Die Flucht nach Aegypten und die Heimkehr der „verlorenen Tochter". — Liebesleid ohne die „Liebe". — Der Troubadour im Professorenschlafrock.)

Ein Toast schrillt im Gedächtnisse auf, nach zwanzig Jahren zum erstenmale und nicht im eigenen Gedächtnis, denn ich selbst habe ihn damals nicht gehört, aber Ohrenzeugen erzählen mir nun davon, heute noch mit einem leisen Schauergeriesel, von jenem Leichenschmaustoaste, mit dem verglichen Hamlets Todtenschädelhumor wie anmutiges Ballgeplauder sich anhört und Hogarthsche Totentänze heitere Fächerarabesken sind. Es erscheint als das Grauenvollste und Grimmigste, was die Frivolität menschlichen Leichtsinnes je an einem Grabe zu leisten vermochte. Denn nicht die Bosheit einer gesättigten Leidenschaft des Hasses etwa ließ sich zu dem Exzeß des Zynismus hinreißen — zehn Minuten vor dem Leichenbegängnis und zweihundert Schritte weit von dem Sarge eines „gütigen Chefs" kam der Toast aus dem Munde eines ersten seiner Beamten, den der Tote speziell in dieses Amt gebracht hatte als einen persönlichsten Vertrauensmann, mit dem er die Jahre hindurch in gleicher wohlwollender Gesinnung gearbeitet und über den sich der gutgelaunte Toastsprecher nie zu beklagen gehabt hatte. In der Tat, wie gesagt, hatte dieser gar keine „böse Absicht", es war der pure gedankenlose Uebermut, dem der entsetzliche Toast herausfuhr: „Auf glückliche, lange Verwesung!"

An einem Oktobertage des Jahres 1885 war eine Schar „Leidtragender" der k. k. Hoftheater, an ihrer Spitze eben jener höhere Theaterbeamte, in die Hinterbrühl vorausgefahren dem Leichenzuge, der den toten Generalintendanten Baron Hofmann zur letzten Ruhe auf dem dortigen kleinen Friedhof bringen sollte, den wirklich guten Menschen, allen Mitmenschen hold, am holdesten wohl deren schönerer Hälfte, und darum auch des Titels „Exzellenz Frauenlob" wert. Freilich wurde seine Leiche nicht, wie die des „Sängers Frauenlob", von den dankbaren Frauen auf den zarten Schultern zu Grabe getragen — im Gegenteile, die arme Exzellenz hätte sich vermutlich bitter gekränkt, wenn ihr in den Sarg hinein Kunde hätte werden können, eine wie geringe Zahl der künstlerischen Huldinnen, denen er alle Zeit so fördernde, ernstlich fördernde Teilnahme erwiesen, nicht den „weiten Weg" gescheut und ihm doch das letzte Geleite gegeben hatte. Jene „fröhliche Schar" männlicher „Leidtragender" hatte die „Landpartie hinaus" ex offo gemacht und war, der Einladung des munteren Führers folgend, zu einem kleinen antizipierten Leichenschmaus in dem ländlichen Wirtshause eingekehrt, wo alsbald mächtige Schüsseln geselchten Fleisches und Wurstzeug aufgetragen wurden, dazu die entsprechende Zahl von Bierkrügeln — und in der Stimmung erregtester Daseinsfreudigkeit wurde „auf den Toten" getrunken und da fuhr dieser scheußliche Toast heraus: „Auf glückliche, lange Verwesung!" Sprecher und Hörer mochten wohl selbst darüber erschrocken und es mochte ihnen ein bißchen zumute geworden sein, als wäre just damit das Gespenst der Verwesung frevlerisch in die verwegene Runde zitiert worden. Man besann sich denn doch etwas kleinlaut, daß man nicht zu einer Wirtshauspartie, sondern zu einem Leichenbegängnis gekommen war und ging auf den Friedhof.

So streckte sich in bizarrer Weise das Verhängnis des Mannes noch übers Leben hinaus bis aus Grab hin — das Verhängnis, mit den ernstesten Geistesgaben und mit dem ernstesten Herzenseifer einer Allerweltshelferschaft nicht ernst genommen zu werden. Der Kobold der „Spaßhaftigkeit", der ihn auf Schritt und Tritt umschwirrt und geäfft hatte, grinste so noch auf seinen Sarg hinüber. Das war aber derselbe Mann gewesen, der an beinahe leitender politischer Stelle Beweise einer schärfsten Voraussicht gegeben hatte, mit denen er aber auch — „leider"! konnte man öfters hinzusetzen — gleichfalls nicht ernst genommen worden war. Er war's gewesen, der von seinem Bureau am Ballplatze weg dem Grafen Beust im Wagen auf den Bahnhof nachjagte, ihn von der folgenschweren „Ausgleichsfahrt" nach Prag abzuhalten, die ja wirklich der erste Nagel zum Sarge des Reichskanzlers wurde. Der Warner beschwor ihn, eine telegraphische Absage nach Prag zu schicken, wo sich der Kaiser damals aufhielt, und sich mit Verhinderung durch Staatsgeschäfte zu entschuldigen. Beust zuckte die Achseln und erwiderte: „Unmöglich, ich habe Seiner Majestät bereits meine Ankunft angezeigt." Er trat die Reise an und Baron Hofmann hatte später die peinliche Genugtuung einer Kassandra im Frack mit Beamtenkotelettes und lebemännisch schiefgestelltem Zylinder, die er während seiner politischen Laufbahn so häufig genoß. Die Wenigen, die den engsten Kreis seines Vertrauens bildeten, wußten aus eigener Wahrnehmung, daß er nicht etwa ein Prophet nach rückwärts war, sondern daß er in der auswärtigen wie in der inneren Politik die entscheidendsten Wendungen voraussagte, in einem Zeitpunkte, in welchem die Beust und Andrassy, die Giskra und Auersperg von den und jenen Möglichkeiten und Eventualitäten noch absolut nichts wissen wollten. „Auf dem Dache sitzt ein Greis, der sich nicht zu helfen weiß," gab er als Reichs-Finanzminister und Preßleiter einmal mit wehmütigem Spotte zur Auskunft, als er von einem Zeitungsmenschen, auf dessen Diskretion er bauen zu dürfen meinte, um Informationen über die Absichten und Aussichten des Fürsten Adolf Auersperg mit seinem zweiten Bürgerministerium angegangen wurde. Er verspürte die Herandämmerung des Systems Taaffe, ohne die Kraft und die Autorität zu verspüren, dagegen nach seiner Ueberzeugung ankämpfen zu können. Er war just kein Prediger in der Wüste, denn er lebte und atmete im Gesellschaftsrummel der Salons und dem Lärmgewirre der Kulissen — darum eben machte er nur noch weniger Wirkung, als der Prediger in der Wüste.

„Meinen Sie, ich weiß nicht, daß ich im Leben viel mehr hätte erreichen und ausrichten können, wenn ich mich nicht mit den Weibern zersplittert hätte?" — das, gelegentlich bereits einmal zitierte, Selbstbekenntnis, das er im Drange, sein Herz auszuschütten, machte, hätte von ergreifender Tragik sein müssen, wenn er selbst die Geschichte besonders tragisch genommen, oder wenn ihn je der verzehrende Ehrgeiz geplagt hätte, wirklich mehr zu gelten und im Staate und für den Staat mehr durchzusetzen. Er hatte gar kein politisches Autoritätsbedürfnis, ihn füllte es mit viel lebhafterer Zufriedenheit, wenn es ihm gelang, im Theater etwas durchzusetzen, in seinem geliebten Burgtheater zumal, und für die, an denen sein Herz gerade besonders hing. Es mußten sogar nicht immer just Frauen sein — obwohl sein Herz allerdings sich am liebsten an Frauen festhakte. Doch auch da brauchte es durchaus kein „Verhältnis" im trivialen Alltagssinne des Wortes zu sein, was ihn zum Theateranwalt einer Künstlerin machte, es war genug, wenn er sich mit Herzensgewöhnung an sie attachierte, wenn er gern mit ihr plauderte, wenn er sich bei ihr wohl fühlte. Ein bißchen mehr als „Freundschaft" mochte es immerhin sein, ein undefinierbares, prickelndes, auch auf das Sinnenleben reagierendes Etwas, ohne daß sich aber daraus ein richtiges „Verhältnis" herausmaterialisierte. Für den Psychologen der Erotik konnte sich da manche köstliche Studie ergeben und es könnte locken, den „Roman des Baron Hofmann" zu schreiben.

Auch für den Schreiber der Erinnerungen hier fällt in diesen Oktober eine, um noch zehn Jahre weiter, um dreißig Jahre zurückgreifende persönliche Reminiszenz, die auf diese vielgeschäftige Theaterleidenschaft des in politicis so beinahe ehrgeiz- und leidenschaftslosen Staatsmannes hinlenkt. Ich hatte den Zweiakter „Das Trauerspiel des Kindes" eingereicht, das von Dingelstedt angenommen, von Baron Hofmann, als dem Hoftheaterzensor, zugelassen und zur Aufführung im März oder April bestimmt war. Es galt als ein kleines Ereignis, daß die Komödie zur Burgtheaterfähigkeit gelangt war, denn die Situation einer, durch das Börsenspiel verkrachten, Familie des Hochadels war darin behandelt und, so zahm sich die Führung der szenischen Ereignisse, der Charakterstriche und des Dialogs heute, nach einem Menschenalter, vielleicht ausnehmen möchte, damals, zwei Jahre kaum nach dem „großen Krach", der auch in die Fugen manchen aristokratischen Palais einiges Krachen brachte, mußte der zarteste „Tupfer" so sensitive Adelsnerven treffen — und die wehleidigen Besitzer solcher Nerven hatten ja doch die Logen des Hoftheaters inne, sie galten auch sonst etwas in den Appartements der Hofburg und den Kanzleistuben der Hofämter, und es mußte also wohl auf sie einige Rücksicht genommen werden. So weit aber dürfe diese Rücksicht unmöglich gehen — hatte Baron Hofmann mit einer Art schadenfrohem Schmunzeln gemeint —, daß er, der Zensor, die Aufgabe haben sollte, „die Herrschaften vor unangenehmen Empfindungen zu schützen". Und mit dem gleichen maliziösen Schmunzeln hatte er hinzugefügt: „Hätten s' nit gespielt!" — denn er hatte nicht gespielt, er war intakt und unversehrt durch die Sintflut hindurchgeschritten. Und der Fürstin Hohenlohe, der Gemahlin des Obersthofmeisters, die das Stück im Manuskript gelesen hatte und ihm, beim Zusammentreffen in einer Abendgesellschaft, ihre Skrupel bezüglich der „Burgtheaterfähigkeit" des „Krachschauspiels" machte, hatte er mit völliger Gemütserleichterung antworten können: „Ich bedaure, Durchlaucht, aber ich habe dem Autor bereits mitgeteilt, daß sein Stück die Zensur passiert hat und der Aufführung nichts im Wege steht."

Und doch stellte sich ihr, von seiner Seite gerade, etwas in den Weg — in bezug auf das Datum der Aufführung wenigstens. Sein Kopf hatte die Komödie passieren lassen, sein Herz verlangte aber dafür eine Verschiebung bis zum Herbst. Wieso und warum? Weil er die Hauptrolle für Toni Janisch reserviert haben wollte, die allerdings durch die reizvolle Kindlichkeit ihres Wesens und ihres Tones wie dazu bestimmt erschien — die aber momentan nicht da war. Denn sie war bekanntlich nicht nur reizend wie ein Kind, sondern auch kapriziös und nach allem Erdenklichen begehrlich wie ein solches, sorglos auf nichts achtend und nichts berechnend wie ein solches — so war sie denn, halb aus Laune, halb aus anderen Ursachen, die ihr die Wiener Luft verdarben, dem Burgtheater einfach durchgegangen nach Aegypten. Den Baron Hofmann aber hatte es ohne sie nicht gelitten — es ist ja wahr, daß ihre Abwesenheit auch für das Burgtheater einen empfindlichen Verlust bedeutete — und so hatte er es durchgesetzt, daß der „verlorenen Tochter" die Rückkehr für die Herbstsaison ermöglicht wurde. Da sollte sie dann Gelegenheit haben, in einer für wirksam gehaltenen Rolle vor dem Wiener Publikum wieder zu erscheinen — und darum erbat er sich von dem Autor, der ja auch einen Vorteil für die Darstellung darin ersah, den Aufschub bis zum Oktober als „einen Akt persönlicher Freundschaft". Wie lebhaft ihn die Sache beschäftigte, das zeigte sich wieder gleich darauf in Triest, wo bei Gelegenheit der Enthüllung des Kaiser Max-Denkmals der Verfasser des Stückes mit ihm zusammentraf. Obwohl im Gefolge des Kaisers und von den Erfordernissen und Ansprüchen der Hofetikette und des Zeremoniells beinahe gänzlich in Anspruch genommen, hatte der Herzensfanatiker des Burgtheaters und — seiner Künstlerinnen nichts Eiligeres zu tun, als den Schriftsteller zu einer Konferenz heranzuziehen, nur um nochmals mit ihm alles für das Ereignis des Herbstes festzustellen.

Es war etwas so Edelmenschliches, so wahrhaft Herzenstreues in dieser „Liebe", die doch keine „Liebe" war, und

Mama: Der Kurier verließ die Hauptstadt vorgestern abends.

Niki: Und seither? Kein Telegramm?

Mama: Die Telegraphenverbindungen sind gestört. Die Beamten striken.

Niki: Ah! Aber neue Kuriere werden doch mit dem Schnellzuge angekommen sein.

Mama: Es gibt keine Schnellzüge ... es gibt überhaupt keine Bahnverbindung mit Petersburg ... die Eisenbahner streiken auch.

Niki: Da können also keine bösen Menschen mit den Zügen herfahren und vor mein Schloß ziehen —

Mama: Fast in ganz Rußland funktioniert keine Eisenbahn, kein Telegraph, kein Telephon ...

Niki: Herrliche Erfindung!

Mama: Das Telephon?

Niki: Nein ... Der Streik! Seit vielen Monaten der erste Feiertag für mich! Fast jeder Tag brachte mir eine telegraphische Hiobsbotschaft ... Heute habe ich nichts zu befürchten ... Meine guten Russen haben mir wirklich eine große Freude gemacht. Wenn ich wieder ein bißchen regieren darf, ernenne ich die Veranstalter des allgemeinen Ausstandes zu meinen kaiserlichen Hof-Streik-Arrangeuren. Mama! — Dein Sohn ist heute wirklich wieder einmal glücklich! Heute gehöre ich meiner Familie!

Robert.

Wiener Originale.

Ferdinand Leicht.

Das ist ein Wiener Komponist, der bei Opus 250 hält. Außerdem ist er noch Wirt und Kaffeesieder, und sein Ruhm reicht über Brady und Maxim nach Dornbach und Grinzing. Fürsten, Grafen, Natursänger und Fiaker schwärmen für ihn, pfeifen und dudeln zu seinen Liedern und glauben vor Seligkeit vergehen zu müssen, wenn sie bei Weib und Wein seine wienerischen Weisen hören, die von Frauenliebe und Bier, von schöner Betrunkenheit und von dem Verhältnis der Menschen zu den Planeten sprechen.

Ich könnte ihn nicht besser präzisieren, als daß ich einfach sage: Er ist der Mann, der das Lied „I und der Mond" schrieb. Und lebt trotzdem bescheiden in seinem Prater-Gasthaus, schenkt Bier und Wein und komponiert zwischendurch die hübschen Lieder, die dann durch Wien flattern, überall gesungen werden und dem glücklichen Komponisten nur Ruhm und Ehre, aber nicht das kleinste Stückchen Gold eintragen.

Ich treffe den wienerischen Maëstro in seinem Heim im Prater. Ein nebeliger Sonntag ist's, nur vereinzelte Liebespaare lassen sich den Weg in die feuchten Auen nicht verdrießen. Fußhoch liegt das gelbe Laub, süßlich faulige Düfte ziehen durch die Luft und wie erstorbenen Sommerklang hört man die Orgel eines fernen Ringelspiels.

„Ja, man hat nix davon, als die Freud'" sagt Herr Leicht mit Bezug aufs Komponieren. Nun ist er schon seit Jahren einer der populärsten Dichter der Vienna songs und muß gestehen, daß sich's davon nicht leben läßt. Aber er stellt auch keine Anforderungen, er komponiert, weil er's kann. Man kennt seine Werke, man singt sie, man verlegt sie, aber man bezahlt sie nicht. Dreißig, fünfunddreißig Gulden gelten schon als ein Maximalhonorar. Und seinen Bekannten geht's noch schlimmer. Da ist der prächtige Lorens, und da sind die anderen, die „Da habt's mei' letztes Kranl" und andere Schlager ersonnen haben. Fünf Gulden, zehn Gulden, zwanzig Gulden für den Komponisten, die Verleger aber werden reich.

Herr Leicht gedenkt vom Volkslied abzugehen, er wird sich im Studium vertiefen und schon in kurzer Zeit den Wienern eine Ueberraschung bringen. Erstens eine Operette und dann vielleicht auch eine Oper. Denn dazu zieht's ihn. Er ist ein eifriger Opernbesucher, schwärmt für Verdi und meint, daß dieser eher ihn leiten würde als Wagner, obwohl ja auch dessen Begabung für orchestrale Wirkung anzuerkennen sei.

Mit den Wiener Volkssängern steht es seiner Ansicht nach schlimm. Die Stadtetablissements, die Heurigenmusikanten haben ihnen allen Boden unter den Füßen entzogen, so daß heute der Volkssänger auf das geringe Publikum angewiesen ist, das noch übrig bleibt."

Wann er komponiert? Zu jeder Tageszeit. Am liebsten, wenn es schon still ist in der Nacht. Er muß nur einen passenden Text finden und die Sache geht kinderleicht. Es gibt übrigens noch viele geistreiche Textdichter in Wien und speziell das Genre des volkstümlichen Liedes scheint fruchtbarer Boden. Er nennt mir die Namen Bizzo und Merkt und andere, die er obenan stellen möchte. Jetzt eben liest er ein Operettenbuch von Louis Taufstein, das ihm sehr gefällt und außerdem hat er alle Laden voll Lieder und Texte. Die Dichter überlaufen ihn von allen Seiten, jede Post bringt Stöße von Wiener Liedern und er hat gar nicht Zeit genug, um alles dankend abzulehnen.

Leicht erzählt mir von seiner interessantesten Erinnerung, die sich an die Person der armen Draga von Serbien knüpft. Im Jahre 1901 widmete er ihr sein op. 192, einen „Königin Draga-Marsch", der, in flottem Tempo gehalten, eine wirklich liebenswürdige Komposition darstellt. Die Königin ließ Herrn Ferdinand Leicht einige Wochen darauf ein Schreiben zusenden, in dem es hieß: „Kanzlei der Hofverwaltung, Belgrad, 14. Dezember 1901. Geehrter Herr! Im Auftrage der Königin habe ich die Ehre, Sie zu benachrichtigen, daß Ihre Majestät die übersandte Komposition mit Zufriedenheit entgegengenommen hat und Ihnen aufrichtig dankt. Mit Achtung L. M. Petronievics, Hofdame der Königin."

Der Königin Draga gefiel der Marsch so sehr, daß sie ihn zu ihrem Leiblied erkor; er wurde zur Draga-Hymne und Herr Leicht erhielt in einem zweiten Briefe den Auftrag, den Marsch für die serbischen Militärkapellen zu instrumentieren. In Belgrad begegnete man dem Opus 192 des Herrn Ferdinand Leicht auf Schritt und Tritt, der Marsch war in der serbischen Kapitale populärer als die Musik von Mozart, Beethoven und Strauß. Bei jedem Festkonzert wurde er gespielt, im Theater und im Park und selbst die Schulkinder mußten ihn singen lernen, obwohl kein Text vorgesehen war. Dann kam die entsetzliche Blutnacht. Herr Leicht erzählt davon, daß die betrunkenen Offiziere am Abend, ehe die Morde begangen wurden, sich im Kasino dreimal den Königin Draga-Marsch vorspielen ließen. Sie wollten damit den Anschein erwecken, als seien sie gute Patrioten. Dann drangen sie in den Konak und die Metzelei begann.

Als das Morden vorbei war, sangen sie wieder den Marsch, unterlegten ihm aber jetzt angesichts der Leichen entsetzliche Worte als Text.

Und nun ist der Marsch verschollen, die Noten sind verbannt worden, seine Volkstümlichkeit erlosch mit der Dynastie Obrenovic. Es gibt kein Haus mehr in Belgrad, in dem die Noten aufbewahrt würden, keinen Menschen, der ihn zu summen wagte. — So war eine Komposition des Wiener Sängers auserkoren, mit der Erinnerung an jene Blutnacht für ewig verknüpft zu werden.

Gäste kommen. „Jean, machen S' die Gas auf," sagt er dem Kellner, aber im nächsten Augenblick korrigiert er sich: „das Gas natürlich."

Bis jetzt habe ich nur den Komponisten im Auge gehabt, der flott auf das dreihundertste Werk zuschreitet, nunmehr zeigt sich mir Herr Leicht in seiner bürgerlichen Beschäftigung. Im großen Saal wartet das Publikum auf sein Erscheinen, dort gibt's Variété, Konzert, sie verlangen stürmisch nach ihm, sie rufen ihn, sie begrüßen ihn von allen Seiten. Er dankt ihnen musikalisch; entweder spielt er eines seiner hübschen Lieder auf dem Klavier, einem Instrument, das er mit künstlerischer Vollendung beherrscht, oder aber er bringt vertrauten Freunden ein Krügel „Lager" persönlich und singt dabei einen seiner „Schlager", erfindet vielleicht auch einen neuen Refrain und gibt ihn sofort in guter Laune zum besten.

Das Publikum weiß den musikalischen Wirt zu schätzen; sie lauschen seinem Walzer, seinen feschen Liedern, sie bleiben bei ihm so lange, bis es dunkel wird, und wenn sie heimwärts ziehen durch die Oktobernacht, singen sie gehobenen Herzens sein populärstes Lied:

„I und der Mond, wir drah'n mitsamm'
Er gibt ka' Ruah, i gib ka' Ruah."

Dann wird's still im Prater, kein Laut regt sich, die Kellner rechnen ab und schleppen sich schlaftrunken zu Bett, Herr Leicht aber geht ans Klavier. Der Wirt wird zum Komponisten. Und Frau Musika wird sein Stammeln, das aus reinem Herzen kommt, sicher so freundlich aufnehmen wie das Gebet irgend eines Granden, dem sie die Kuh ist, die ihn mit Butter versorgt.

A. D.-G.

Aus den Zeiten des Dr. Klaus.

(Das Geheimnis des Dr. Klaus. — „Mein Leopold" und „Hasemanns Töchter". — L'Arronge als „Einspringer". — Direktor Tewele und seine Klaus-Metamorphose. — Die Drohung mit dem Stuhl. — Das gemaßregelte Extempore. — Tewele in Graz und eine Anfrage Laubes. — Was ihm im Burgtheater bevorstand und wen er in München ausstach. — Wilhelm Knaack und die „Journalisten". — Tewele in Amsterdam. — Die Falten der „Schönen Helena". — Der erste Hausherr des modernen Dramas.)

Gegrüßt wieder einmal, du lieber, alter Dr. Klaus, der du mit deinen guten, klugen Augen auf die Tausende und Zehntausende frohgestimmter Menschen schauen konntest, seitdem du am Weihnachtstage des Jahres 1878 deine Heiterkeitspraxis in Wien eröffnetest. Und nach 27 Jahren nun erscheinst du noch so wenig altersmüde und auf deine Heilkraft wird noch so viel Erwartung gesetzt, daß dir nun erst noch die Auszeichnung zuteil wird, quasi als k. k. Hofmedikus fungieren zu sollen und auf dem Boden der k. k. Hofbühne deine Ordination halten zu können.

Worin lag das Geheimnis des riesigen Zulaufs, welchen der wackere Doktor fand? Weder Zaubermittel waren's, die er besaß, noch Wunderkuren, die er übte — das alles machte sich sehr einfach und von selbst. Er hatte eben das tiefinnerste Theaterbedürfnis des Publikums getroffen. Und welches war das? Was reimt sich auf die Erinnerung aus jenen Tagen? — „Behagen." Die wohlige Gemächlichkeit der Stimmung, das heitere Gleichmaß des Denkens und Empfindens, beides in angenehmer Bewegung erhalten, ohne die Zumutung allzu starker Emotionen und Anstrengungen — ein bequemer Spaziergang in anmutiger Landschaft an einem freundlichen Sommerabend, nicht allzu warm, aber ohne herbkühlen Luftzug, so daß sich ein Wohlgefühl in alle Poren schleicht und man nach kurzer Rast auf dem Zwischenaktbänkchen gern noch eine Strecke Weges weiter macht. „Behagen" war Trumpf damals — und L'Arronge war ein ganz eminenter Spieler, der gar nicht darauf ausging, das Publikum zu „bluffen", sondern mit den aufgedeckten Karten sicher war, Stich für Stich zu gewinnen. Wenige Jahre vorher hatte er mit dieser Sicherheit seinen ersten großen Trumpf gebracht: „Mein Leopold" — das mit anderthalb Augen lachende und mit einem halben weinende Rührspiel des in sein Kind vernarrten Vaters, worin bei uns in Wien Matras so einzig war, daß das Stück mit ihm, trotz des eigenen Wertes und Erfolges, so ziemlich vom Repertoire verschwand. „Hasemanns Töchter" hieß der nächste „Schlager", wieder mit Matras und — dem Verfasser selbst als Darsteller, was dem Interesse des Publikums natürlich auch noch die persönliche Note aufsetzte. Das war nämlich so gekommen. Aus jener Carl-Theaterzeit ist der Name des Schauspielers van Hell wohl vielen noch in Erinnerung, der mit einer einnehmenden Gestalt, etwas gemessen eleganter Haltung und keineswegs vulkanischem Temperament Helden und Liebhaber im Salonrock spielte. Als Phileas Fogg in der gewissermaßen epochal gewordenen „Reise um die Erde in 80 Tagen" hatte er es sogar zu einem gewissen Grade von Popularität gebracht, weil die ruhige Gedämpftheit und der kühle Gleichmut seines Wesens sich zufällig mit den Grundeigenschaften des Jules Verneschen Helden wie auf Bestellung deckte. Aber es kamen ja auch andere Rollen als der Phileas Fogg, für die das holländische Phlegma des mit dem „van" behafteten Schauspielers sich nicht ganz so eignete, weshalb er es später dann vorzog, nach dem kühleren Norden zu gehen, im Berliner Lessing-Theater eine Zeitlang als Regisseur fungierte und in ziemlich frühen Jahren starb. In „Hasemanns Töchter" also war er auch beschäftigt, fröstelte aber auf den Proben den nach höheren Temperaturgraden begehrenden Autor dermaßen an, daß dieser ihn mit kurzem Verdikt für „unmöglich" erklärte. Wo aber geschwind einen anderen Darsteller beschaffen? Da flog an L'Arronge die Frage heran: „Könnten Sie sich entschließen, die Rolle selbst zu übernehmen? Das wäre keine bloße Aushilfe, es wäre durch den Reiz der Außergewöhnlichkeit eine Garantie mehr für den Erfolg." Und rasch entschlossen griff L'Arronge wirklich nach dem Vorschlag und holte sich seine Doppelapplause.

Nun kam der „Doktor Klaus" — und wieder galt's da ein Darstellungsexperiment. Nicht daß ein Dilettant „einspringen" mußte, nein, ein „bewährter Liebling" hatte sich ganz neu zu „bewähren". Tewele hatte einen „schüchternen Versuch" zu „wagen"! Tewele und „spielschüchtern" — „schüchtern" überhaupt! Die Zusammenstellung klingt verblüffend — aber es war doch so. „Doktor Klaus" brauchte drei gewiegte heitere Darsteller: den entschiedenen drastischen Komiker für den Lubowski — das war Blasel, der ja noch heute Abend für Abend munter agiert — den „gemütlichen" für den Griesinger, der abermals auch hier Matras war — nun aber fehlte noch der Titelheld, der die ruhige Ueberlegenheit, das sich und die Umgebung beherrschende Gleichgewicht des lebenserfahrenen Gemütshumoristen mit recht ernstem Empfindungseinschlage beanspruchte. Und dafür eben war nur Tewele da, das menschgewordene Quecksilber, die sprudelnde und übersprudelnde Beweglichkeit, das lustige Drauflosgehen einer, nicht bloß „mit dem Worte", sondern in einem Atem gleich mit dem ganzen Redevorrat und noch etwas darüber, „schnell fertigen Jugend" — also nichts als direkter Gegensatz zu „Gleichgewicht" und „Selbstbeherrschung" und „ruhig dominierender Ueberlegenheit". Der „ernste Einschlag" allenfalls konnte aus der „ernsten Vergangenheit" dieser Perpetuum mobile-Zunge hergeholt werden, die da nicht ganz „unbemakelt" war. Denn Tewele hatte ja doch in seinen Uranfängen auf den „tragischen Liebhaber und Helden" studiert und Graz, wo er den belehrenden Rat des wirklichen Vortragsmeisters Karl Holtei genoß, hatte seine tragischen Blüten verkostet. Die vor einigen Tagen dahingegangene Luise Neumann, die mit ihrem Gatten, dem Grafen Schönfeld, damals in Graz war, konnte das wohl kurioseste Zeugnis dafür bieten, wie ernst es mit dieser „ernsten" Anfangsphase Teweles genommen worden war. An sie nämlich kam eines Tages ein Schreiben Laubes, der allezeit, von frühesten Jahren her, viel auf ihr Urteil gegeben hatte, mit der Anfrage, was sie von einem jungen Grazer Schauspieler namens Tewele halte, der ihm angelegentlichst empfohlen worden sei, und ob der junge Mann vielleicht als eventueller Ersatz für — Josef Wagner in Aussicht genommen werden könnte, dessen Gesundheitsverhältnisse bereits Sorge zu erregen begannen. Nichts weniger denn, als die Nachfolgerschaft des dunkellockigen „Romantikers" des Burgtheaters winkte dem späteren Nachfolger des minder romantischen Anton Ascher. Freilich rechtfertigte Luise Neumann auch diesmal den Kredit ihres Urteils bei Laube, denn sie gab ihm den Bescheid, Talent habe der junge Anfänger entschieden, doch scheine ihr dieses mehr nach der heiteren Seite hinzuneigen. Allerdings mag sie mit der Ansicht noch ziemlich vereinzelt gewesen sein, denn Tewele wurde unmittelbar danach zu einem Gastspiel an das Münchener Hoftheater berufen, wo er den — Don Karlos spielte und engagiert wurde. Ein anderer jugendlicher Bewerber um das tragische Liebhaberfach vor ihm war nicht engagiert worden — Fritz Krastel!

Der Carl-Theater-Tewele aber, in der gewohnten jugendübermütigen Wirbeligkeit seiner brausenden Laune, schien so gar nicht für den graubärtigen, „gesetzten" Doktor Klaus zu passen — doch es ließ sich nun einmal nicht anders machen. Direktor Tewele — denn er hatte nicht lange erst die Direktion des Carl-Theaters angetreten — hatte absolut niemanden dafür, als den Schauspieler Tewele, zur gehörigen Beängstigung L'Arronges, der besonders für die große „Sitzszene" des dritten Aktes und die bedeutsame Erzählung darin fürchtete, deren Wirkung durch zappelige Bewegung leicht geschädigt werden konnte. „Anbinden werde ich Sie an den Stuhl, um sicher zu sein, daß Sie ruhig halten!" drohte er. Und noch eines verbat er sich, was speziell zu den „Gewohnheitsrechten" Teweles und der Carl-Theaterleute im allgemeinen gehörte — das Extemporieren. „Nicht das Extempore auch nur einer Silbe, auch nur einer nicht vorgesehenen Spielnuance!" lautete das Gebot des gestrengen Autors. Nur für den einzigen Blasel wurde eine Ausnahme zugestanden, für einige pantomimische Spielscherze, die auf L'Arronge selbst überwältigend wirkten. Für Teweles geliebte Wortspäße aber gab es keinen Pardon — da mußte der wackere Doktor Klaus sich selber Abstinenz ordinieren. Und es ging, über alle Erwartung ging es, und das „behagliche" Lach- und Rührstück wurde der dritte „große Wurf" der Direktion Tewele, die sich mit „Niniche" und „Boccaccio" vorher schon so glanzvoll, so zu den kühnsten, leider trügerischen Illusionen verlockend angelassen hatte. Darstellerisch wurde die Rolle für Tewele selbst eine Ueberraschung, weil sie ihm so gut wie dem Publikum eine noch nicht gekannte Seite seines Talents vor die Augen rückte. Man erlebt mehr als einmal solche Ueberraschungen an Schauspielern, die sich so lange ausschließlich in einem bestimmten Stil und in der nämlichen Spielfasson bekunden, daß man sie damit identifiziert und ihnen gar nichts Besonderes mehr zutraut. Aehnlich so war's auch seinerzeit mit Knaack gegangen, als er in den „Journalisten" neben Aschers und Emil Devrients Bolz den Piepenbrink spielte, dieses Prototyp behäbigen, breitspurigen Bürgerprotzentums. Und das sollte der clownhafte Spezialist der Glieder- und Wortverrenkkunst, der dramatische Kautschukmensch zu glaubhafter Darstellung bringen können! Und er traf's doch — wie sogar! Nach dem unvergleichlichen und unerreicht gebliebenen Piepenbrink Laroches unbedingt der beste und charakteristischste, den man in Wien gesehen. Das war ja auch das leitende Motiv der vielgescholtenen „Experimentierwut" Laubes, seiner „Passion", den Schauspieler dahin und dorthin zu werfen, ihm vor scheinbar extravaganteste und ihm fernstliegende Aufgaben zu stellen, an dem bereits „Entdeckten" in einemfort herumzuentdecken, um vielleicht eine doch noch verborgene Qualität in ihm herauszuspüren. Man darf überzeugt sein, wenn Tewele als junger Mensch doch ins Burgtheater gekommen wäre mit dem Passe des tragischen Liebhabers, er hätte bei Laube nicht lange den Don Karlos gespielt und wäre vielleicht nach dem „großen Hanswurst" Beckmann, bei dessen Tode Laube diesem Worte die künstlerische Weihe gab, der „Hanswurst" des Burgtheaters geworden, und die gute Stadt Amsterdam wäre um den Anlaß gekommen, ihn als „ein Jübel" zu begrüßen und zu klassifizieren.

Damit verhielt es sich nämlich so. Tewele war zu einem Gastspiel an das Deutsche Theater in Amsterdam gekommen. Als er nach dem ersten, glücklich genug verlaufenen Abend die Kritiken des nächsten Morgens las, fand er in einem Blatte zu seiner nicht geringen Verwunderung die Bemerkung, daß Herr Tewele „ein Jübel" sei. In dem unverklausulierten Bewußtsein, den Anspruch auf das Taufbecken schon in die Wiege mitgebracht zu haben, äußerte er sein Erstaunen darüber, daß überhaupt derlei in der kritischen Besprechung einer Kunstleistung Platz finden könne — man merkt wohl, daß die kleine Geschichte aus langvergangener Zeit datiert — ihm antwortete darauf aber ein helles Gelächter. Was ihn choquiere, wurde er belehrt, das sei ja das schmeichelhafteste Kompliment, das die Amsterdamer für ihn aufbringen könnten, denn ihr einheimischer Lieblingskomiker heiße — Jübel.

Am Deutschen Volkstheater war „Doktor Klaus" zuletzt in Wien gespielt worden. Der feinere, aber um einen merklicheren Grad kühlere Rhil gab ihn da, Tewele den Lubowski.

eitung und Bildungszensus für die Aufteilung der Mandate berücksichtigt werden. Die nationalen Kataster müssen aber auch die Grundlage abgeben für die autonome nationale Verwaltung aller kulturellen Angelegenheiten, die den Nationen allein vorbehalten bleiben müssen, für die jede Nation selbst aufzukommen hat. Die Voraussetzung des allgemeinen Wahlrechtes bleibt also für mich immer die nationale Autonomie, in der ich für die Deutschen den besten Schutz ihrer nationalen Interessen und das beste Mittel, dem Nationalitätenstreite seine ätzende Schärfe zu nehmen, erblicke.

Städtische Angelegenheiten.

(Sitzungen im Rathause.) Der Gemeinderat hält in der kommenden Woche keine Sitzung ab, sondern wird erst am 21. wieder zu einer Plenarsitzung zusammentreten. Stadtratssitzungen finden Dienstag, Donnerstag und Freitag vormittags statt. Der Heimatsausschuß wird Freitag den 17. d. M. nachmittags 4 Uhr zu einer Sitzung zusammentreten. Die alljährlich im Dezember wiederkehrende Generalversammlung der Bürgervereinigung findet Sonntag den 3. Dezember vormittags im Festsaale des Rathauses statt. An demselben Tage nachmittags wird dann die Rentenverteilung aus der städtischen Lebensversicherungsanstalt an arme Wiener Schulkinder vorgenommen werden. Bekanntlich ist für diese Rentenverteilung von Seite der Gemeinde Wien zur Erinnerung an das fünfzigjährige Regierungsjubiläum unseres Kaisers ein eigener Fonds gestiftet worden. In Verbindung mit der Rentenverteilung findet auch heuer wieder die Aufführung eines Festspieles durch Schulkinder statt.

(Der Wald- und Wiesengürtel um Wien.) In der nächsten Sitzung des niederösterreichischen Landtages gelangt der Gesetzentwurf betreffend einige die Walderhaltung bezweckende Maßnahmen (Referent Landesausschuß Pirko) zur Beratung, der die Bedingung für die Schaffung des Wald- und Wiesengürtels um Wien bildet.

(Der 88. Geburtstag des ehemaligen Magistratsdirektors Grohmann.) Der pensionierte Magistratsdirektor Wilhelm Großmann Ritter v. Altenwehr feierte gestern in Pottschach bei Gloggnitz in vollster Frische seinen 88. Geburtstag. Großmann bekleidet sich seit 1885 im Ruhestande.

(Kanzleidirektor Franz Josef Mayer.) In seltener körperlicher und geistiger Frische beging gestern in aller Stille Kanzleidirektor Franz Josef Mayer seinen 60. Geburtstag. Kanzleidirektor Mayer ist seit Jahren dem Präsidium zugeteilt und befindet sich in unmittelbarer Nähe des Bürgermeisters, der zu wiederholtenmalen öffentlich ausgesprochen hat, daß Direktor Mayer ihm einfach unentbehrlich ist. Trotz der Geheimhaltung des Tages haben zahlreiche Gratulanten aus Nah und Fern dem beliebten Beamten ihre Glückwünsche dargebracht. Kanzleidirektor Mayer ist volle 42 Jahre in Diensten der Stadt Wien.

(Kaufmännische Bildung der städtischen Beamten.) Die wissenschaftliche Sektion des Klubs der rechtskundigen Beamten hielt vorgestern unter dem Vorsitze des Obmannes Magistratsrates Doktor Schreiber eine Versammlung ab, in welcher die Angelegenheit der Reform des politischen Verwaltungsdienstes einer eingehenden Erörterung unterzogen wurde. Nach Erstattung ausführlicher Referate durch den Magistratssekretär Dr. Josef Harbich und Magistratsoberkommissär Dr. Wilhelm Hecke, welche die seinerzeit erschienene Studie des Ministeriums Koerber einer gründlichen Kritik unterzogen, und nach einer sich daran knüpfenden lebhaften Debatte wurde einstimmig eine Resolution angenommen, in welcher gegen die Reformvorschläge und deren Begründung Stellung genommen wird. — In derselben Sitzung kam die Zuschrift des Magistratsdirektors betreffend die Errichtung von Sonderkursen in kommerziellen Fächern zur Sprache. Es wurde folgender Beschluß gefaßt: Die wissenschaftliche Sektion erklärt die Abhaltung solcher Kurse als sehr ersprießlich, für manche der Kollegen mit Rücksicht auf ihre Zuweisung geradezu notwendig und sowohl im Interesse der Fortbildung und Unabhängigkeit des Einzelnen als auch im Interesse der Gemeinde gelegen. Die wissenschaftliche Sektion kann daher die Errichtung derartiger Kurse nur freudigst begrüßen. Bei der Durchführung wäre jedoch zur Ermöglichung eines zahlreichen Besuches der Vorträge auf die vielfache dienstliche Inanspruchnahme der rechtskundigen Beamten insbesondere auch in den Abendstunden und auf deren Zeiteinteilung Bedacht zu nehmen. Da sich bei Hörern mit gleichmäßiger Vorbildung die Zeit besser ausnutzen läßt, wäre die Teilnahme an den Kursen auf die rechtskundigen Beamten zu beschränken; höchstens wären noch die technischen Beamten zuzulassen. — In demselben Sinne ungefähr sprach sich auch der Klub in seiner Plenarsitzung aus. Der Klub der Beamten der Hauptkasse der Stadt Wien hat beschlossen, seinen Mitgliedern durch Errichtung von entsprechenden Kursen die Gelegenheit zu geben, sich in den kommerziellen Fächern weiter zu bilden. In diesem Sinne wurde zunächst an der Wiener Handelsakademie ein Kurs über Sparkassenwesen bereits am 3. d. M. eröffnet. An demselben nehmen 65 Beamte teil. Der genannte Klub beabsichtigt hiebei, sowohl auf die Intentionen des Magistratsdirektors einzugehen, wie auch andererseits die Direktion der städtischen Hauptkasse in die Lage zu setzen, der Gemeinde Wien ein auch den modernen Anforderungen vollkommen gewachsenes und in jeder Beziehung geschultes, tüchtiges Kassenpersonal zur Verfügung zu stellen.

Tagesneuigkeiten.

Montenegro — ein Musterstaat.

Die schwarzen Berge in moderner Verfassung.

Während die Augen von ganz Europa auf die blutigen Verfassungskämpfe in Rußland gerichtet waren, blieb die Umwandlung der absolutен Monarchie Montenegros in einen modernen Verfassungsstaat fast ganz unbeachtet. Ohne lange Vorbereitung, ohne durch Volkserbitterung und Aufstände dazu gezwungen zu sein, hat Nikita seinen Untertanen eine Konstitution gewährt.

Ueber die Vorgänge anläßlich dieses historischen Ereignisses erhalten wir von einem außergewöhnlichen Korrespondenten nachfolgenden Bericht, dessen Glaubwürdigkeit wir keinen Moment außer Zweifel ziehen. Der Brief ist datiert: „Cernahora". Nach einigen einleitenden Worten über die geographische Lage, die Geschichte und die Bevölkerung der schwarzen Berge, die wir als allgemein bekannt voraussetzen (siehe Meyer oder Brockhaus unter „Montenegro"), schreibt unser Gewährsmann über seine Erlebnisse in Cetinje:

„Hier herrscht in der ganzen Gasse (es existiert nur eine) frohbewegtes Treiben und Leben. Von Mund zu Mund wird die Nachricht kolportiert, Nikita habe dem Lande eine Konstitution geschenkt. Ueber die Beschaffenheit und über die Bedeutung einer Konstitution herrschten anfangs bedauerliche Mißverständnisse in der Bevölkerung. Die Mehrzahl hielt nämlich „Konstitution" für eine neuartige Zubereitungsart des beliebten Nationalgerichtes: Hammelfleisch.

Zur Aufklärung ließ der gütige Fürst eine Extra-Ausgabe des von ihm persönlich redigierten Amtsblattes erscheinen. Die Riesenauflage von mehr als hundert Exemplaren war sofort vergriffen. Die Blätter wanderten von Hand zu Hand, doch waren alle Montenegriner so ergriffen, daß sie nicht lesen konnten, was allerdings auch auf den Umstand zurückzuführen ist, daß die Herrschaften bisher keine Gelegenheit gehabt hatten, lesen zu lernen.

Ein hoher Funktionär las schließlich der bewegten Menge die fürstliche Kundgebung vor. Ueber den wesentlichen Inhalt verlautet:

Ein neues, modernes Volksschulgesetz tritt in Kraft. Jeder Montenegriner muß im Alter von vier bis zehn Jahren am öffentlichen Unterrichte teilnehmen. Obligate Gegenstände sind: Schießen, Fechten (letztere Kunst wird sowohl als kriegerische Uebung, wie auch als diplomatische Vorbildung für den Verkehr mit Rußland, Oesterreich und Italien gelehrt), ferner in zweiter Linie Religion.

Nichtobligat sind die hier als freie Künste betrachteten Lehrgegenstände: Lesen und Schreiben. Für die Schulbesucher ist gesetzlich Seifen- und Zahnbürstelzwang angeordnet.

Errichtung einer höheren Lehranstalt mit einer juridischen Fakultät für Hammels-Recht und einer zweiten chirurgischen Fakultät behufs kunstgerechter Ausübung des Ohren- und Nasenabschneidens.

Jeder Montenegriner besitzt ferner von nun ab das aktive und passive Wahlrecht für die neu zu errichtende Kammer. Der Fürst behält sich den Zeitpunkt vor, an dem diese Kammer jeweilig einzuberufen ist. Ihr wird in Hinkunft die gesamte Gesetzgebung vorbehalten sein. Zur Beratung haben alle jene Gesetzentwürfe zu gelangen, die der Fürst der Kammer unterbreitet. Die Kammermitglieder, die mit diesen Entwürfen einverstanden sind, haben das Recht, mit „Ja" zu stimmen, die übrigen Mitglieder haben sich vor der Abstimmung zu entfernen.

Einer gründlichen Umwälzung wird das Handels- und Verkehrswesen unterzogen. Russische Waffen und österreichisches Geld genießen vollste Zollfreiheit, dagegen wird von allen anderen Importwaren ein hoher Einfuhrszoll erhoben. Die Viehzucht wird durch hohe Exportprämien für vorher auf österreichischem Gebiete „unentgeltlich erworbene" Hämmel gehoben werden.

Verfassungsmäßig wird sämtlichen Untertanen die vollste Wahrung des Briefgeheimnisses zugesichert. (Bisher übernahm bekanntlich der Fürst höchstpersönlich den gesamten Postenlauf.) Der Fürst behält sich in Zukunft einzig und allein den Empfang aller an seine Untertanen adressierten Postanweisungen und Geldbriefe vor. Die Auszahlung der aus dem Auslande angewiesenen Geldbeträge an die Adressaten erfolgt nach Tunlichkeit und Möglichkeit aus der fürstlichen Privatkasse, die bekanntlich provisorisch aber dauernd diese Geldsendungen in Verwahrung zu nehmen pflegt.

* * *

Nachdem der Inhalt dieses Ukases allgemein bekannt geworden war, kannte der Jubel der treuen Montenegriner gar keine Grenzen. Vermutlich wird man also in den nächsten Tagen wieder von zahlreichen Grenzverletzungen auf österreichischem und türkischem Gebiete hören."

Robert.

Wiener Originale.

XVI.

Das Rathausweiberl.

Unter den vielen interessanten Wiener Figuren, deren Begegnung ich suchte, eine der originellsten! Das Rathausweiberl. Nur ganz dunkel war mir davon erzählt worden, daß da irgendwo in Wien ein altes Mutterl zu finden sei, das „Rathausweiberl" genannt werde und ein sonderbares Gewerbe betreibe. Aber wer wollte in Wien eine alte Frau finden, deren eigentlichen Namen niemand kennt, deren Domizil jede Woche wechselt? Da kam mir der Zufall zu Hilfe. Vor einigen Tagen meldete ein Redaktionsdiener, das Rathausweiberl sei draußen und wünsche mich zu sprechen.

Sie war gekommen, weil sie hörte, daß ich vom Rante-Potante und seinen Gönnern geschrieben hatte, und nun war sie der Meinung, sie verdiene sicher das gleiche Interesse. Ein armseliges, verrunzeltes altes Weibchen, die rechte Hand von einem bösen Anfall etwas zitterig, die Haare weiß, das Kopftuch schimmelig, der Rock geflickt und das grobe Tuch über der Jacke nur dürftig Schutz vor Regen und Kälte gewährend. In dem alten Gesicht leben indes zwei frische, kluge Augen.

„Ich bin das „Rathausweiberl"," stellte sie sich vor, und mit einem Knix fügte sie hinzu: „Wiens letzte Volksdichterin."

Da saßen wir bald im warmen Zimmer und das Rathausweiberl vergaß der schlimmen Zeit, die ihr jetzt das Leben schwer macht, und erzählte mir von ihren Erlebnissen, ihren Triumphen, ihren Geschäften. Sie hatte vorzügliche Erziehung genossen und dichtete frühzeitig; erst für sich, dann für die anderen. Schließlich wurde der Pegasus, der Not gehorchend, ihr Steckenpferd. Viele Hunderte von Gedichten hat sie ersonnen, ihr Wort traf immer ins Herz, sie konnte rühren, wann sie wollte, sie hatte den richtigen Ton und das richtige Publikum. Aus den Vorstädten kamen sie zu ihr in den Siebzigerjahren, vom flachen Land und vom Gebirge zogen sie zu ihr hin. Sie war unfehlbare Ratgeberin in Herzensſachen, sie gab nicht Mixturen, sie wußte nichts von Liebeszauber, sie gab Besseres: Gedichte. Und die wirkten immer. Da schwoll der Kreis ihrer Kundschaften an, das Rathausweiberl, damals nur als „die Dichterin" bekannt, gewann Ehre und Geld, und wenn irgendwo in der Wienerstadt eine Sache recht verzweifelt stand, daß „er" nicht wollte oder „sie" es mit ihm nicht ernst meinte, da rief man das Rathausweiberl als letzte Instanz an. Die brachte durch ihre Strophen oft alles wieder ins rechte Geleise. Sie rühmt sich, Hunderte von Ehen gestiftet und Tausende von Herzen versöhnt zu haben. Sie hatte viele Zauberverslein. War „sie" flatterhaft, dann hieß es am Schlusse der Mahnung:

Nur einmal schlägt ein treues Herz,
Verhöhne nicht der Liebe Schmerz!

Und wurde „er" der Geliebten überdrüssig, wandte er sich einer anderen zu, dann tönte ihr Wort:

Willst du dein Herz der andern weih'n?
Nur eine denkt in Treue dein!

Ihre Gedichte hat sie noch zum großen Teile erhalten, in ihrem Gedächtnis lebt die Erinnerung frisch und sie sagt: „Wenn mir alle die, die ich glücklich gemacht habe, jährlich nur ein Sechserl geben möchten, ich wär' sehr zufrieden und hätte ein ruhiges Alter." — Denn das arme Rathausweiberl klagt über den Niedergang des Metiers. Die Schulen sind schuld daran, die Leute werden gescheiter und schreiben sich ihre Briefe selbst. An Stelle von Gedichten tritt das bare Geld. Ein Seidenstoff oder ein Ringerl ist der Geliebten bedeutend wertvoller als ein Liebesgedicht. Und darum gerlet ihre Kunst in Verfall. Schier verhungert wäre die arme Dichterin, wenn sie nicht die kleine Pfründe hätte, und nun sitzt sie da ohne Quartier, schläft auf einer Bank bei einem Wirt oder im Volkscafé und lohnt dem braven Herbergsvater seine Gutiat durch ein Gedicht.

Hab wohl geruht auf deiner Bank,
Sag' dir, du guter Wiener, Dank.

Sie ist nun bald siebzig Jahre und heißt Elisabeth Freytag-Westhof. Ihr Vater war kaiserlicher Kapitän und sie verbrachte ihre Kinderjahre teils in Wien, teils in der Reiterkaserne in Stockerau. Mit ihrem Vater, unter dessen Aufsicht ihre Erziehung stand, machte sie viele Reisen. Noch stehen ihr die Schreckniſse des Achtundvierzigerjahres in Erinnerung, dann kam sie nach Galizien und als der alte Offizier in Pension ging, in die Provinz. Als sie ihre Eltern verloren hatte, dachte sie daran, sich selbst ihre Existenz zu gründen. Sie wurde Weißstickerin und dann, als diese Tätigkeit ihre Augen zu sehr anstrengte, Dichterin.

Die Volkspoetin sitzt im Sommer unter den Arkaden des Rathauses, strickt und empfängt ihre spärlichen Kundschaften, Köchinnen, die des Schreibens unkundig sind, und Stubenmädchen, die sich von einem Gedicht gute Wirkung versprechen. Dieser Aufenthaltsort hat ihr den Namen des Rathausweiberls eingetragen. Bürgermeister Dr. Lueger hat ihr selbst diesen Titel verliehen und er zählt auch zu den wenigen, die der armen Frau zeitweilig gedenken. Sie ist dankbar. Erst kürzlich hat sie ihm zu seinem Namensfest ein Gedicht übersendet, das sie mir rezitiert. Der Bürgermeister dankte der Gratulantin, die sich jedes Jahr einstellt, herzlich und der Kanzleidirektor verschonerte diesen Dank sofort durch ein goldenes Zehn-Kronen-Stück.

Ein weiterer Klient ist der Kaiser. Sie hat ihm zu seinem siebzigsten Geburtstag ein schönes Gedicht nach Ischl gesandt und erhielt vierzig Kronen. Auch Erzherzogin Marie Valerie quittiert die patriotischen Verslein der Frau Freytag mit zwanzig Kronen. Man sieht daraus, daß diese brave Frau in allen Kreisen ihre Gönner hat. Aber Namensfeste, siebzigste Geburtstage und patriotische Anlässe sind rar, und das Rathausweiberl hat auf fröhliche Wochen immer traurige Monate. Auch mit der Kunst stand sie in Beziehungen. Da war die arme Annie Kalmar, der sie öfters ihre Gedichte brachte. Sie kam in die Garderobe und das

---

bei mir. Ich will hingehen, sie abholen. Wollen Sie mich begleiten? Sie verstehen doch."

Ich verstand und so gingen wir zusammen. Es war ein schweigsamer Weg, wir sprachen kein Wort. Ihre Augen waren immer noch starr. Schmerz war das nicht, sie hatte keine Träne um ihn geweint. Es war fast wie ein Abglanz der alten, knechtischen Furcht, die sich in Grauen verwandelt. Nie vergesse ich die Stimmung der Natur in dieser Mittagsstunde. Der Himmel lag wie ein Bleideckel schwer und mißfarben über den Straßen. Kein Lüftchen regte sich in der trockenen Hitze, es war alles wie verdorrt. Das schweigende Entsetzen vor etwas Schrecklichem, das in den Augen Margas lag, schien sich allem mitzuteilen, den regungslosen Bäumen und der leuchtenden Mühsal des Straßentreibens. Es tönte aus dem dumpfen Rollen und Brausen, der nie schweigenden Stimme der großen Stadt, und ich glaubte es wie einen Angstschrei aus dem fernher gellenden Pfiff der Lokomotive zu hören, wenn die Bahnzüge in die Einfahrtshalle hereindonnerten und stampften.

Nie wieder ist mir eine Bahnhalle so widerwärtig vorgekommen wie in jener Stunde. Voll gähnender Leere in den Pausen zwischen Abfahrt und Ankommen der Züge und qualvoll für alle Sinne, für Augen, Ohren und Nase, sobald der Bahnbetrieb sich einstellte. Der markerschütternde Lärm, das rücksichtslose Hasten des Verkehrs, die beklemmenden Kohlengas- und Schwefelgerüche — alles das erschien mir heut' eine wahre Hölle, während ich mit Marga wartend auf dem Bahnsteig umherging. Endlich kam der erwartete Zug.

Marga hatte sich schwer auf meinen Arm gestützt, doch plötzlich riß sie sich los und eilte durch das Gedränge an die offene Tür eines Wagens dritter Klasse, in dem sie die ihr von früher bekannte Krankenschwester erblickte. Ich folgte ihr und da standen wir beide unter dem Drängen und Stoßen von Reisenden und Kofferträgern, Gepäckkarren und Gruppen sich begrüßender Menschen.

Schwester Hanna wurde vorläufig am Aussteigen durch ihre Mitreisenden verhindert, die sich an ihr vorbei zur Tür herausquetschten. Dann fing sie an, uns ihr Handgepäck zuzureichen, das Marga in Empfang nahm. Zuerst einen kleinen Reisekoffer, dann eine abgenutzte Handtasche und ein in Leinwand gehülltes Paket. Hastig reichte Marga alles dem Gepäckträger, den ich herbeigeholt hatte. Gleich nach dem Paket holte Schwester Hanna noch etwas aus dem Gepäcknetz, das Marga ihr ebenso nervös hastig abnahm, um es dem Gepäckträger zu überliefern. Es war ein längliches Paket in braunes Packpapier verschnürt und von Gestalt einer großen Vase.

„Nein, das nicht," wehrte plötzlich Hanna dem Träger, „das tragen wir selbst."

Marga nahm es zurück und wie sie die schwere Urne in der Hand hatte, kam es wie eine Offenbarung über sie, was es sei. Noch sehe ich das sprachlose Entsetzen in ihren fast versteinerten Zügen, als ich ihr schnell die Aschenurne aus den zitternden Händen nahm. Es war das haarsträubendste, was ich je erlebt, wie sich die Gattin den toten Gatten aus dem Gepäcknetz holen mußte!

Schwester Hanna in ihrer Naivität schien so gar kein Verständnis dafür zu haben, was das bedeutete für ein Wesen mit so feinen Nerven wie Marga. Aber vor meine Seele trat das Bild jener Stunde, als die bis in den Tod beseligte Frau mit einem fast visionären Blick dem Gatten sagte: „Die Stunde wird kommen, wo du Staub vor mir bist!"

Sie war gekommen. Kläglicher ist mir die Nichtigkeit des Menschenlebens nie vor Augen getreten, als wie jenes Weib den harten, gefürchteten Tyrannen ihres Ehelebens als Häuflein Asche in der Hand hielt. Und so stand er vierundzwanzig Stunden lang auf ihrer Spiegelkommode, bis Schwester Hanna die Urne am folgenden Tage mitnahm in sein Heimatland, wo Marga ihn im Grabe seiner ersten Gattin beisetzen ließ. Die furchtbare Nervendepression, die ihr die Anwesenheit der Aschenurne verursacht hatte, endete mit einem heftigen Weinkrampf. Dann war sie wie von einem Bann erlöst. Einige Jahre später heiratete sie zum zweitenmal — ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen."

Onkel Werner schwieg. Man hörte nur den Wind und das Läuten der Glocken.

Leise ging Melanie an den Flügel und sang:

„Im Arm der Liebe ruht sich's wohl,
Doch auch im Schoß der Erde —"

und schwermütig verhallte der Schluß:

„Wo ich wohl ruhen werde?
Das ist dem Müden einerlei — —"

Rathausweiberl trug hier ihre Verse selbst vor. Die Kalmar strich ihr über die Wangen: „Schön, Mutterl, das haben S' sehr schön gesagt," sagte sie und weinte oft über die naiven Dichtungen der Alten und ließ sie nicht ohne Gabe fort. Auch Hansi Niese zählte zu ihren Gönnerinnen. Da war sie noch nicht Frau Jarno und hatte eine hübsche Wohnung in der Gumpendorferstraße. Die alte Frau erzählt leuchtenden Blickes davon, wie sie immer in den Salon eintrat und wie Fräulein Niese ihr sagte: „Ja, hören S'. Rathausweiberl, wo haben denn Sie das her? Sie machen's ja viel schöner wie die beim Theater." Und ließ sich immer und immer wieder die „Mutterliebe" und den „Dragoner und sein Pferd" vorsprechen. „Das sind meine schönsten Gedichte," sagt die alte Frau, „da haben schon die feinsten Damen geweint dabei."

Heute verkauft das Rathausweiberl jedes Gedicht um zehn Kreuzer; das ist ein fixer Tarif, und sie wäre froh, wenn sie zu diesem Preise recht viele Bestellungen hätte. Aber, wie schon erwähnt, die Liebesleute geben heute auf das nichts mehr. Mehr als ein Dutzend ihrer Gedichte rezitiert mir die Alte. Sie erhebt sich dabei, sie spricht mit lieber, wohlklingender Stimme, mit richtiger Betonung, und die linke Hand agiert fleißig. Nur die rechte kann nicht mit.

Dann erzählt sie mir von den vielen schönen Briefen, die sie geschrieben, von der wundervollen Wirkung, die sie mit ihnen erzielt hat. Einmal kam ein Mädchen zu ihr, schön wie der Tag und traurig wie der Tod. „Er hat mich verlassen, er ist jetzt drunten in Ungarn, und er antwortet mir nicht. Er hat eine andere gefunden. Wenn er mich verläßt, dann muß ich sterben." — Und da schrieb das Rathausweiberl einen Brief, das war ein Brief! Und dann noch einen, und der war noch schöner! Und der schlimme Mann kam spornstreichs aus Ungarn und warf sich der Geliebten zu Füßen. Am Tage der Hochzeit kamen sie zu ihr und holten sie dankbar zum Fest, und sie tanzte mit ihren alten Füßen und sprach dann ein Verslein, daß der ganzen fidelen Hochzeitsgesellschaft die Augen übergingen.

Das erzählt sie mir und noch viele andere hübsche Geschichten, wie sie Liebende einte. Und ich höre ihr zu und vermeine, den alten Beppo von der Rialtobrücke zu hören oder den klugen Schreiber von Neapel, der mit seinen Briefen Männer und Frauen behext.

A. D.-G.

„Kaschierte Rechnungen."

(Was „kaschierte Rechnungen" sind. — Wo überall sie sind. — Theaterrechnungen. — Das Kaschierungssystem der Hofoper unter Hofmann und Bezecny. — Die „Schiebungen". — Die Neujahrsdefizite. — Der Theaterökonom mit den zwei Seelen in der Brust. — Der Allerseelenposten und die ersparten achtzehn Gulden. — Die kaschierten Gagen. — Aktivitätszulagen und die „nackte" Pension. — Die Pensionsmisère des Baritonisten Beck. — Die Pensionen der Kleinen. — Die Kaschierungen der Privattheater. — Die „kaschierten Rechnungen" Nestroys und die Geschichte einer Gageerhöhung.)

Als ein für die große Menge des Publikums ungekannt gewesener Begriff mit einer scheinbar ganz neuen Ausdrucksformel ist diese Woche aus dem Schwurgerichtssaal, aus dem Gewirre des dort in Verhandlung gewesenen geheimnißreichen und höchst verwunderlichen kaufmännischen Prozesses, das Wort herausgellungen: „Kaschierte Rechnungen". Und die nicht kaufmännisch gebildete und nicht in die „Usancen" des Marktverkehres eingeweihte Laienwelt erfuhr hieraus, daß diese „kaschierten Rechnungen", die zu den internen Gepflogenheiten, zu den Kulissengeheimnissen des Handelsbetriebes gehören, kurz und in klarem Deutsch gesagt, Wahrheitsverdeckungen sind, Scheinrechnungen mit künstlich konstruierten Ziffern- und Preiseeinstellungen, meist zu Verschönerungszwecken, darauf angelegt, sich selbst und den anderen mit vollem Bewußtsein und vollem Einverständnis eine Illusion, eine „fable convenue" vorzumachen. In gar zu starke, sich unschuldig naiv gebärdende moralische Entrüstung braucht aber deswegen besagte Laienwelt gegen solche kaufmännische Unaufrichtigkeit durchaus nicht zu geraten — denn die Frage tritt sofort den Entrüsteten entgegen: „Aber, Verehrteste, seien Sie selbst vor allem aufrichtig und fragen Sie, wo denn im Leben nicht mit „kaschierten Rechnungen" gewirtschaftet wird?" Nicht im Staatsbetriebe ist der Begriff ein neuer und die Methode eine ungekannte — „Budgetierungskunst" pflegt man's dort zu nennen —, nicht in der Gesellschaft und nicht in der Familie sind die „kaschierten Rechnungen" fremd. Sie gehören von der Erbsünde an zu den „Usancen" der lieben Menschheit.

Auch im Theater wird bekanntlich viel mit „Kaschierungen" gearbeitet: kaschierte Rüstungen, kaschierte Gewächse, kaschierte Speisen sogar, die nicht auf allen Bühnen noch dem immer kategorischer auf „Naturwahrheit" dringenden Realismus gewichen sind. Da konnte und kann es selbstverständlich an „kaschierten Rechnungen" ebenfalls nicht fehlen. Nur so unumwunden eingestanden werden sie nicht, wie im kaufmännischen Betriebe, sie werden gewöhnlich nicht bloß „kaschiert", sondern wirklich verheimlicht. Es wird dabei auch nicht überall so unbedingt systematisch vorgegangen, wie es zum Beispiel viele, viele Jahre lang bei der Aufstellung des Hofopernbudgets der Fall war. Und zwar unter dem „leichtgesinnten" Baron Hofmann ebenso wie unter dem Baron Bezecny, der doch von der Bodenkreditanstalt her aufs genaue Rechnen hätte schauen müssen. Beide doch auch gewiß Männer von intaktester, fleckenloser persönlicher Redlichkeit — aber „das Geschäft" brachte es nun einmal mit sich, daß in der scheinbar besten Absicht, aber in verhängnisvollem Irrtum, das System der „kaschierten Rechnungen" in den Jahresbilanzen und Jahresbudgets betrieben wurde, um sich selbst und andere über die fatalen Defizite hinwegzutäuschen. Das geschah im Wege einer sinnig kombinierten Verschiebung, mit naivster Ignorierung des Sprichwortes, daß „aufgeschoben nicht aufgehoben ist" — die wohlmeinenden Herren gaben sich allen Ernstes der Fiktion hin, daß „aufgeschoben" denn doch „aufgehoben" sei, weil man im nächsten Jahre ja wieder „schieben" könne, bis dann der letzte „Schub" kam, der die „Schieber" selbst schob, in den ewigen Ruhestand hinein.

Das kam und geschah nämlich so. An die Zusammenstellung der Saisonvoranschläge wurde gewöhnlich erst im Herbst gegangen, wenn die Saison schon im Zuge, das Repertoire festgestellt war und sich also schwerlich mehr daran ändern ließ, um etwaige „Ueberschreitungen" zu verhüten. Nun kamen aber da Defizitziffern zum Vorschein, bei denen dem guten Baron Hofmann bei all seiner Liberalität in Sachen des künstlerischen Bedarfs denn doch „die Grausbirn' aufstiegen". Da gab's ja aber einen so hilfreichen und ingeniösen Ausweg: „Wir sind ja doch schon im November, schieben wir den Posten auf das nächste Jahr hinüber!" Und flugs wurden 30.000 bis 40.000 fl. aufs nächste Jahr hinüber geschoben und das laufende Budget natürlich um die Summe erleichtert, wodurch es ein immerhin erträgliches Aussehen bekam — auf Kosten des nächstfolgenden, das mit dem ersten Jahrestage schon folgegemäß die Belastung von den eben „geschobenen" Tausenden einzuregistrieren hatte und also „erblich defizitbelastet" erschien. Das geschah in der „loyalsten" Absicht, den Kaiser, der die Hoftheaterbilanzen vorgelegt erhielt, nicht allzusehr zu „erschrecken" — und so ging es unter Bezecny fort. Daß hiebei das Defizit von Jahr zu Jahr wachsen mußte, daß eine rechtzeitige Sanierung dadurch vereitelt wurde, daran dachten die guten Seelen nicht. Im ersten Halbjahr wurde in Bausch und Bogen „bewilligt", was für die Ausstattungen in oft überflüssigster Weise begehrt wurde, — im zweiten Halbjahr wurde alsdann „geschoben". Und zwar nicht bloß im großen, im Gesamtüberschlag, sondern im Detail, denn es gibt drei Ausgabenrubriken: „Ausstattung" — „Allgemeines" — „Tageskosten". Zwischen diesen Rubriken wurde hin und her changiert, wie man es gerade für das Verschiebungssystem am vorteilhaftesten erachtete. Die eigentümlichste Rolle, eine wahre „Zwickmühl"-Rolle, spielte dabei der ökonomische Verwalter des Hauses, der zugleich Vorstand des technischen Bühnenwesens war, als solcher also dem artistischen Direktor, wie es nicht anders sein konnte, dienstlich untergeben war, als Wirtschaftskontrollor dagegen nur der Generalintendanz unterstand und an diese direkt seine Berichte zu erstatten hatte. „Sind Sie damit einverstanden, daß wir dem Direktor dies bewilligen?" wurde er als „Oekonom" auf der Generalintendanz konsultiert — wie aber hätte er nicht einverstanden sein dürfen, wenn er als „Vorstand des technischen Bureaus" disziplingemäß herschaffen mußte, was sein Vorgesetzter, der Direktor, anordnete? Er hatte die naturwidrige Stellung eines „koordinierten Subordinierten", eines dem Direktor Gleichgestellten und Untergebenen in einer Person. Auf eine Naturwidrigkeit mehr oder weniger kam es allerdings bei dieser „amtlichen Züchtung des Defizits" nicht an.

Wie es seitdem mit den Defiziten geworden? Amtsgeheimnisse der Gegenwart entziehen sich der indiskreteren Betastung. Dunklen Gerüchten zufolge sollen sie, die Defizite nämlich, sich noch mitunter blicken lassen, und zwar nicht als „kaschierte", sondern als höchst reelle. Allerdings wird durch möglichste Ersparnisse dahin getrachtet, ihnen zu seligem Ende zu verhelfen. So ist seit mehreren Jahren ein Ausgabsposten gestrichen worden, der sich gewiß als eine einschneidende Sparmaßregel darstellt. Sechs Kränze für den Allerseelentag sind gestrichen worden. Es hatte sich nämlich die Sitte, oder — vom Standpunkte des Sparens gesprochen — Unsitte eingelebt, daß jährlich am Allerseelentage sechs Gräber von der Hofoper aus mit Kränzen geschmückt wurden: die Gräber Glucks, Mozarts, Haydns, Beethovens, Dingelstedts und Herbecks. Schlichte Kränze, mehr durch die künstlerische Pietät, die sich in ihnen aussprach, als durch Prunkwert Geltung heischend — denn der Preis war nach und nach in sinkender Skala bis auf drei Gulden per Stück niedergegangen. Schließlich wurden aber auch diese 3×6 = 18 fl. gestrichen — zur Bekämpfung des Defizits. Am verödetsten dadurch erscheint das Grab des armen Baron Hofmann, dessen einzige Grabeszier dieser offizielle Kranz zu bilden pflegte — denn keine Freundeshand legt mehr ein Blümlein der Erinnerung auf den Erdhügel, der die „Exzellenz Frauenlob" deckt, und wenn sein Geist von dort oben melancholisch auf diese Vergänglichkeit der Erdengefühle niederschaut, kann er es als einzige tröstende Beruhigung empfinden, daß in seinem Zeichen das Defizit um drei Gulden jährlich verringert worden ist.

Eine andere Art der „kaschierten Rechnungen", die aber offen vor aller Welt sich geben, bilden nicht in der Hofoper bloß, sondern in beiden Hoftheatern die Gagenlisten mit den blendenden Riesenziffern von 15.000 und 20.000 fl., ja mehr noch. Zu welchen schwindelnden Höhen da die jugendlichen Ruhmesaspiranten aufzublicken vermeinen — hoffnungstaumelnd bei dem Gedanken, daß es auch ihnen einmal beschieden sein könne, solche Höhen des praktischen Erfolges zu erklimmen. Nun kommt aber der Tag, dem alle diese vom Geschick Begnadeten mit Bangen entgegensehen und der für alle unvermeidlich kommt, ob im natürlich langsamen Heranschreiten, ob durch das Verhängnis des Zufalls plötzlich hereinbrechend — dies irae, dies illa — der Tag der Pensionierung. Und welcher Sturz nun von dem Gipfel des „kaschierten" Gagenberges, der unter den Füßen des gestern noch darauf Ragenden heute jählings in sich selbst zusammenbricht! Denn nur die „wirkliche Gage" wird zur Grundlage der Pensionsberechnung genommen, die „Aktivitätszulagen", die etwa Zweidrittel des Ganzen, wenn nicht mehr betragen, fallen weg. Man erinnert sich noch, daß ein Gnadenakt des Kaisers dem gewaltigen Barytonisten Beck nach der Pensionierung zu Hilfe kommen mußte, um den grellen Ueberſprung von der Aktivitäts- zur Pensionsziffer einigermaßen weniger fühlbar zu machen. Der Künstler, der an einen Gagenbezug von etwa 12.000 fl. gewöhnt gewesen — nach den damaligen Verhältnissen im Zahlenbegriffe einen weit höheren Ziffernwert darstellend —, erklärte ganz desolat, daß er mit der Pension unmöglich leben könne, und der Kaiser, in Erwägung der Glanzleistungen des großen Sängers, gewährte ihm eine entsprechende Zulage aus der Privatschatulle. Wie mancher „Ewigjunge" von früher und von später, der sich mit fühlbaren physischen Selbstbezwingung seine „Unverwüstlichkeit" vom Publikum und den Zeitungen immer wieder aufs neue bestätigen ließ, hätte gerne auf diese Ruhmesstrapazen verzichtet und sich zwischen den verdorrten Lorbeerkränzen von einstens zur Ruhe gesetzt, anstatt mit den alten Gliedern ans frische Lorbeerpflücken zu gehen, wenn er nicht auf den „Verlust der Aktivitätszulagen" hätte Bedacht zu nehmen gehabt. Und dabei sind das die Großen, die Vier- und Fünfzifferigen, bei denen auch die Pensionsziffer noch immer einen respektablen Wert ausdrückt. Nun aber erst die Kleinen, die mühselig Beladenen, deren Pensionsziffer, aller „Kaschierungen" entkleidet, manchmals für Familienväter nicht mehr als 24 Kronen beträgt. Daher auch die jüngste Bewegung unter Groß und Klein, wenigstens teilweise die „kaschierten Rechnungen" auf dem Gebiete der Gagenziffern in Wirklichkeiten umzugestalten und die Einbeziehung eines Teiles wenigstens der Funktionszulagen in die Pension durchzusetzen. „Wird schwer gehen" — „wird überhaupt nicht gehen" — „eine finanzielle Unmöglichkeit": so lauten allerdings die bisherigen Echos „von oben" — irgend eine Rektifikation aber werden die „kaschierten Gagenrechnungen" mit der Zeit ja doch erfahren.

Ueber die „kaschierten Rechnungen" der Privattheater fehlen natürlich jegliche Fingerzeige und Leitfäden, da existieren nur Vermutungen — Vermutungen über die Bilanzierungen, über die Dividenden, über die Berechnung der Tageseinnahmen und der Tantiemen — doch alles eben nur Vermutungen. Denn das sind hier nur Privatgeheimnisse, keine strengen Amtsgeheimnisse — und deshalb erfährt man weniger davon. In heiterstem Gedenken aber ist eine „kaschierte Rechnung", eine fortlaufende, geheim systemisierte, in einem Privattheater geblieben — die doppelte Rechnungsführung Nestroys während seiner Carl-Theater-direktion, die aber bekanntlich, dem offenen Geheimnis nach, mehr eine „Direktion Fräulein Weiler" war. Ganz Wien wußte, daß sie die Direktion im Hause, wie in der Theaterkanzlei führte — allerdings nicht zum Nachteile der finanziellen Hausordnung. Ein ganzer Schwarm der drastischsten Anekdoten erzählte von dieser „Subordination" des „Herrn Direktors". Nach dem Muster beiläufig der folgenden: Ein junger Schauspieler, dem er gewogen war, bittet ihn um eine Gageverbesserung. Natürlich hat er nichts gegen das Begehren, „aber — und er zuckt verlegen die Achseln — geh'n S' doch zur Weiler, vielleicht setzen Sie's bei ihr durch." Der Petent befolgt die Weisung und findet überraschenderweise gnädiges Gehör bei der Gestrengen. Er bekommt die Erhöhung. Abends trifft ihn Nestroy auf der Bühne, zieht ihn beiseite und sagt: „Na, wie ich mich freu', daß wir's bei ihr durchgesetzt haben!" Sie war die durchaus nicht „kaschierte" Direktorin. Nestroy aber hatte auch seine Freiheitsgelüste und er brauchte regelmäßig einiges Fahrgeld für die „Zweigbahnen" der Lebensstraße. Dazu mußte ihm sein getreuer Stainhauser verhelfen, sein Kassefaktotum, ein Mann, der das Wort „Treu" auch in seinem Adelsbeinamen „von Treuberg" führte, aber gar zu vielen Herren gleichzeitig „treu" zu sein verstand. Er spekulierte in „Treue". Und da Nestroy diese zu lohnen wußte, so konnte er auf seinen Mann rechnen. Stainhauser führte doppelte Buchhaltung, für Fräulein Weiler und für Nestroy — vielleicht sogar auch dreifache, eine für sich selbst. Und so konnte Nestroy darauf rechnen, immer über einige geheime Fonds verfügen zu dürfen für seine — kaschierten Herzensrechnungen.

S. S.

König Alfons von Spanien als Automobilist.

Eine lebensgefährliche Fahrt. — Präsident Loubet in tausend Aengsten. — Die tolle Jagd. — Er gibt eine deutliche Antwort.

(Von unserem Korrespondenten.)

Paris, 9. November.

Der „Eclair", der seit einiger Zeit aus dem Elysée gut unterrichtet scheint, gibt heute folgende Erklärung zum besten:

Präsident Loubet schilderte kürzlich einem Freunde die Eindrücke in Spanien und ließ sich auch über die automobilistischen Heldentaten König Alfonsos aus: „Wenn Sie wüßten," sprach der Präsident, „welche Aufregungen mich dieser junge Mann hat ausstehen lassen! Beinahe hätte es mich das Leben gekostet!"

Auf die verwunderte Frage seines Zuhörers nahm Herr Loubet wieder auf: „Jawohl! Es war am Tage, als wir im Automobil einen Ausflug nach Segovia unternahmen. Der junge König selbst lenkte den Wagen. Anfangs mäßigte er, den Empfehlungen seiner Mutter folgend, die Fahrgeschwindigkeit. Doch als wir bereits die Stadt weit aus den Augen verloren hatten, da war es mit den schönen Versprechungen aus. Der König von Spanien wird zum „Durchgänger", es geht immer rascher und die Promenade verwandelt sich in eine wahnwitzige Jagd!

„Ich liebe ohnehin das Automobil, wie Sie wissen, nicht viel, besonders wenn es wie ein Meteor dahinfliegt. Sie können sich also denken, daß ich nicht beruhigt war, umsoweniger als einige „Anstöße" von Zeit zu Zeit meine Besorgnis erhöhten und meine Angst steigerten.

Gleichwohl trafen wir im Palast zu Madrid wohlbehalten wieder ein. Ich konnte es mir nicht versagen, der Königin-Mutter zu erzählen, wie wenig ihr königlicher Sohn auf ihre guten Empfehlungen hörte. Marie Christine machte eine schmerzlich-resignierte Bewegung. Der Kämmerer erklärte mir später, was die resignierte Geste der Königin zu bedeuten hatte. „Wir alle," sprach er, „machten ihn auf die Gefahren aufmerksam, in die er sich wagt. Aber jedesmal gab er uns dieselbe Antwort, die gelegentlich einmal einer Ihrer Minister gab, als man ihm von Politik sprach."

Der Minister, auf den hier angespielt wird, ist Herr Mesureur, gegenwärtig Direktor der Assistance publique, ehemals Handelsminister im Ministerium Bourgeois. Als man ihn einmal fragte, was er von der Politik halte, erwiderte er: „Auf die Politik pfeife ich!" Man weiß nun, wie die Antworten Alfons auf die Warnungen seiner Angehörigen lauteten.

Eine österreichische Stimme über das deutsche Offizierskorps.

Kaiser Wilhelm und seine Offiziere. — Der starke Nachwuchs. — Erstklassige Menschen. — Adelig oder nichtadelig. — Die Exklusivität des Offizierskorps. — Geistesbildung und Weltanschauung. — Zivil und Militär. — Ausgezeichnete Garnisonsverhältnisse. — Ein Vergleich mit Oesterreich-Ungarn. — Lebensführung. — Die altpreußische Einfachheit — nicht in Preußen.

In „Danzers Armee-Zeitung" erscheint gegenwärtig eine Folge von „Briefen über die deutsche Armee" von Roda Roda. Wir entnehmen daraus die folgenden interessanten Ausführungen über den deutschen Offizier:

Es ist eine stehende Wendung in den Berichten über deutsche Feste: „Nach der Enthüllung des X-Denkmals begab sich der Kaiser ins Kasino des Y-Regiments und nahm dort das Frühstück."

Eine Menge von persönlichen Beziehungen verknüpfen den Kaiser mit seinen Offizieren, und er ist bestrebt, so oft wie möglich den ältesten Kameraden hervorzukehren. Was das in einem Gemeinwesen wie dem deutschen bedeuten will, wo der Offiziersstand ohnehin der erste im Staate ist, sehen wir alle Tage.

Kein Wunder, daß unter solchen Verhältnissen der Rock des Kaisers eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf den jungen Adel und die gutsituierte Bürgerschaft ausübt. Keine Armee verfügt über ein so gewaltiges Reservoir an Nachwuchs wie die deutsche. Sie braucht ihre Fähnriche nicht aufs Geratewohl aus dem ägyptischen Teich aufzufischen, sie darf ganze Volksstämme und Nationalitäten von der Offizierslaufbahn ausschließen, darf unter

der Erledigung zuzuführen. In der Debatte wird auch die Frage der Bedeckung der gemeinsamen Ausgaben aufgerollt und im Zusammenhange damit die ungarische Krise in ihrer Rückwirkung auf die diesseitige Reichshälfte erörtert werden.

Heute fand unter dem Vorsitze des Ministers des Aeußern Grafen Goluchowski eine von ½3 bis ½8 Uhr dauernde gemeinsame Ministerkonferenz statt, an welcher der gemeinsame Kriegsminister FZM. Ritter v. Pitreich, der gemeinsame Finanzminister Freiherr v. Burian, der Chef der Marinesektion Admiral Graf Montecuccoli, ferner von Seiten der österreichischen Regierung der Ministerpräsident Freiherr v. Gautsch, der Finanzminister Dr. Kosel, der Leiter des Eisenbahnministeriums Sektionschef Wrba und von Seiten der ungarischen Regierung der Ministerpräsident FZM. Freiherr v. Fejervary, der ungarische Handelsminister v. Vörös und der Staatssekretär im ungarischen Finanzministerium Dr. Popovics teilnahmen. Den Gegenstand der Konferenz bildete die Feststellung des gemeinsamen Voranschlages pro 1906; gleichzeitig wurde die Angelegenheit einer direkten Eisenbahnverbindung mit Dalmatien besprochen. Wie verlautet, konnte in der Frage der Bedeckung für die gemeinsamen Ausgaben eine Einigung nicht erzielt werden.

Die Mitglieder der parlamentarischen Kommission des Polenklubs treffen morgen in Wien ein und werden mit dem Ministerpräsidenten v. Gautsch konferieren. Die Besprechungen werden sich auf die Wahlrechtsreform beziehen. Auch der Statthalter, Graf Potocki, wird morgen hier eintreffen und dürfte an den Konferenzen teilnehmen. Die Stellung des Polenklubs gegenüber der Wahlreformfrage wird erst entschieden werden, nachdem sich die Klubmitglieder in der parlamentarischen Atmosphäre über die Situation orientiert haben werden.

Wie die „Polnische Korrespondenz" aus sicherer Quelle erfährt, ist die Aufhebung der polnischen Parallelklassen an der Lehrerbildungsanstalt in Teschen, mit Beginn des nächsten Schuljahres, und die Errichtung einer selbständigen polnischen Lehrerbildungsanstalt mit Internat in Ustron — eine feststehende Tatsache.

Der „Moravská Orlice" wird aus Prag gemeldet, der Oberstlandmarschall Fürst Georg Lobkowitz sei entschlossen, seine Funktion in dem neu zu wählenden böhmischen Landtag nicht mehr auszuüben. Sein Nachfolger werde Graf Adalbert Schönborn, Dr. Friedrich Prinz Schwarzenberg oder Graf Franz Thun werden.

Städtische Angelegenheiten.

(Sitzungen im Rathause.) Der Gemeinderat hält in der kommenden Woche keine Sitzung ab. Der Stadtrat tritt viermal zu Sitzungen zusammen, und zwar Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, jedesmal vormittags 10 Uhr. In diesen Sitzungen wird sich der Stadtrat mit dem Hauptrechnungsabschluß der Gemeinde Wien für das Jahr 1904 und mit dem Voranschlage für 1906 befassen. Im Gemeinderate dürften dann diese beiden Gegenstände in der ersten Dezemberwoche zur Beratung kommen.

(Gemeinderätliche Wahlen.) In der vorgestrigen Gemeinderatssitzung wurden zu Mitgliedern in das Kuratorium der Kaiser Franz Josef-Stiftung zur Unterstützung des Kleingewerbes in Wien nachstehende sechs Gemeinderäte gewählt: Karl Ahorner, Felix Hraba, Josef Leitner, Wenzel Oppenberger, Karl Stehlik und Vinzenz Wilhelm.

(Neue Armenräte.) Der Stadtrat hat die Wahl des Herrn Theodor Busek zum Obmann und des Herrn Adolf Spuller zum Obmannstellvertreter der ersten Sektion des Armeninstituts für den X. Bezirk und die Wahl des Herrn Josef Schart zum Armenrat des VII. Bezirkes bestätigt.

(Beförderte Lehrer.) Der Bezirksschulrat der Stadt Wien hat den städtischen Lehrern Josef Lynge, Ernst Manesch und Karl Wellert, sämtliche an der Knabenschule IX., Galileigasse 5, tätig, für ihr eifriges und erfolgreiches Wirken die belobende Anerkennung ausgesprochen; weiters dem Oberlehrer Julius Hofbauer, dem Lehrer Matthias Kirchmayer, ferner der Arbeitslehrerin Fräulein Josefine Hoffmann aus Anlaß der Vollendung des vierzigsten Dienstjahres sowie der Volksschullehrerin Marie Beitl und dem Volksschullehrer Johann Krechnicka für vieljährige und erfolgreiche Tätigkeit die lobende Anerkennung ausgesprochen.

(Die Gesundheitsverhältnisse Wiens.) In der am letzten Mittwoch abgehaltenen Sitzung der städtischen Amts- und Anstaltsärzte erstattete Stadtphysikus Dr. Szongott den Sanitätshauptrapport für den Monat Oktober l. J. Die Gesundheitsverhältnisse der Stadt waren der Jahreszeit entsprechend recht günstig; insbesondere zeigte die Sterblichkeit einen relativ starken Rückgang gegen den Vormonat, während der Krankenstand, wenn auch nur wenig, sich erhöhte. In die armenärztliche Behandlung sind 8855 Fälle zugewachsen; auf die entzündlichen Krankheiten der Atmungsorgane entfielen 2199 Fälle, auf jene der Verdauungsorgane 1136 Fälle, auf Lungentuberkulose und Skrophulose 651 Fälle. Die Zahl der Anzeigen über Infektionskrankheiten ist wie alljährlich nach den Schulferien gestiegen. Es wurden 1800 Fälle gegen 1448 im Vormonate gemeldet. Eine größere Steigerung war bei Diphtherie und Croup (um 115 Fälle) und bei Scharlach (um 121 Fälle) zu konstatieren; dagegen hat sich der Keuchhusten um 163 Fälle vermindert. Im Berichtsmonate starben 2557 Personen gegen 2722 im Vormonate. An der Sterblichkeit partizipierte das männliche Geschlecht mit 5151, das weibliche mit 48·46%.

Tagesneuigkeiten.

Ein Leitfaden der passiven Resistenz.

Eine überflüssig gewordene Broschüre.

Die „passive Resistenz" ist derzeit das modernste Schlagwort geworden. In Ungarn, in Italien, in Oesterreich, überall wird die passive Resistenz fleißig geübt, in Budapest freilich ist man neuerlich zur aktiven Resistenz übergegangen. Ein Vorzug vor Zisleithanien muß denn doch aufrecht bleiben. So begnügt man sich nunmehr in Wien mit dem bescheidenen Titel einer „Haupt- und Residenzstadt", während Budapest die ungarische Haupt- und Renitenzstadt geworden.

Um weltfremden Mitmenschen einigermaßen dienlich zu sein, beabsichtige ich demnächst einen kleinen „Leitfaden der passiven Resistenz" herauszugeben, der gediegene Ratschläge für Resistenzlustige in allen Berufszweigen enthalten wird.

Nachstehend einige kleine Proben aus dem wertvollen Inhalte:

Für Wiener Geschäftsleute (Schuster, Schneider, Tischler 2c. 2c.):

Wenn ihr zum Beispiel einen Auftrag oder eine Bestellung auf Lieferung von Erzeugnissen eures Gewerbefleißes (Schuhe, Kleider, Möbel 2c.) erhaltet, die pünktlich in vier, fünf Tagen zu liefern sind, so versprechet gewissenhafte Einhaltung des bedungenen Termins. Ihr könnt euch dann — insbesondere wenn eine Vorausbezahlung oder wenigstens eine a conto-Zahlung erfolgt ist — gemächlich zwei, drei Wochen Zeit lassen. Beschuldigt man euch dann eventuell des Wortbruches, der Unpünktlichkeit usw., werdet ihr alle Angreifer durch den schlichten Hinweis auf die passive Resistenz entwaffnen.

(Soeben erfahre ich von einem gründlichen Kenner Alt- und Neuwiener Bräuche und Sitten, daß die hiesigen Gewerbetreibenen schon lange vor Erfindung der passiven Resistenz die erwähnte Gepflogenheit übten und noch derselben laben. Meine Ratschläge seien also überflüssig. Schade!)

* * *

Für Telephondamen.

Passive Resistenz wird am wirksamsten geübt, wenn man zuerst den Abonnenten, der die Zentrale anruft, einige Minuten warten läßt oder auch: „Nur ein Viertelstündchen!", dann die gewünschte Nummer dreimal mißverstieht, später erklärt: „Besetzt" oder sich scherzhaft anfragt: „Sprechen Sie schon?" und schließlich den Verkehr mit dem ungeduldigen Abonnenten durch die Mitteilung abschließt: „Die Nummer meldet sich nicht!" oder „Wahrscheinlich ist eine Störung!"

(Hier teilt mir wieder ein schwer und lang leidender Telephonabonnent mit, daß diese Art der telephonischen Verkehrsbehinderung schon seit langer Zeit üblich ist. Die Telephondamen pflegen gewohnheitsmäßig nur unverbindliche Beziehungen mit den Abonnenten. Nur heiße es in diesem Falle nicht passive Resistenz. Ich muß also auch diesen Ratschlag aus meinem Leitfaden streichen. Sehr schade!)

* * *

Für dramatische Schriftsteller.

Für diesen Berufszweig hätte ich eine sehr gute Idee. Auf gute Ideen bekommt man zuweilen von generösen Direktionen sogar Vorschüsse. Man nehme also irgend eine Idee, suggeriere einem Bühnenleiter, daß sich daraus ein bühnenwirksames Stück machen lasse, und verlange den erwähnten Vorschuß.

Weiters mache sich der Autor des zukünftigen Stückes keine Sorge. Wenn der Lieferungstermin nicht eingehalten und der Vorschuß zurückgefordert oder gar noch das bedungene Pönale beansprucht wird, dann wende man einfach und stolz ein: „Mir ist absolut nichts eingefallen, mein Fleiß war willig, aber mein Geist war schwach. . . ." Das wäre praktische passive Resistenz.

(Zu ärgerlich! Ein erfahrener Kollege erzählt mir soeben, daß diese Art der passiven Resistenz doch nicht ganz praktisch sei. Unter Umständen gehe nämlich die Direktion klagen und dann können die Nicht-Einfälle dem schuldigen Dichter mehr kosten, als hundert gute Einfälle tragen. Ich glaube es meinem Gewährsmanne, denn Vor-Mann weiß es. Ich ziehe also auch diese Stelle meiner Ratschläge aus meiner Broschüre zurück. Ueberhaupt: ich gebe das Ratschlagen betreffend die passive Resistenz ganz auf, denn ich glaube, auf diesem Gebiete hat jeder Beruf seine altbewährte Praxis.)

* * *

Epilog.

Ich läute dem Diener.
Und ich läute wieder.
Und noch oft und oft wieder. Er soll das Manuskript in die Druckerei tragen.
Endlich . . . ich habe mich auf den elektrischen Taster gesetzt . . . es läutet Sturm — erscheint . . . nicht der Diener, sondern ein Redaktionskollege, der sich ob des Lärmes beschwert.
Vor einigen Wochen noch hätte ich den Diener arg geschmäht . . . heute bin ich geklärter . . . der brave Mann ist eben hochmodern: ein passiver Resistent.

Robert.

Wiener Originale.

XVII.

Josef Steinbach.

Nun habe ich auch Wiens stärksten Mann kennen gelernt, den Athleten Josef Steinbach, der Weltrekords aufstellt, wie unsereiner Zinnsoldaten.

Es war ein trüber, naßkalter Abend, als ich ihn in seinem Lokal auf der Erdbergstraße besuchte. Da gibt es noch weite, unbebaute Plätze und kleine Häuschen mit großen, finsteren Höfen. Die „Elektrische" fährt wie ein Wunderding sausend und blitzend durch den Nebel. Hart neben hohen, ungelenken Häusern findet sich die Wärmstube, vor der die frierende, hungrige Menge sich drängt und im Weiten türmen sich dunkle, schattenhafte Massen auf. Es ist, als wäre man am Ende der Welt.

Ich trete in das Restaurant und sehe vor der Schank einen Herrn von mächtigen Proportionen.

„Herr Steinbach?"

Er antwortet: „Nein, ich bin nur ein Stammgast."

Einige Schritte führen mich ins Extrazimmer. Ein Mann von kolossalen Formen tritt auf mich zu, er geht nicht, er schiebt sich; in den Händen hält er einen großen Teller, der sieht in dieser Umgebung aus wie Kindergeschirr.

„Herr Steinbach?"

„Ich bin nur der ‚Aushilfskellner'."

Nach diesen beiden Erscheinungen wäre ich nicht einmal mehr durch den Riesen Goliath zu erschüttern gewesen. Und als der Weltmeister Steinbach im Hemdärmeln und mit dem Hangerl vor mir stand, da schienen mir seine gediegene, breite Figur, sein ungeheurer Unterarm und sein Nacken eigentlich gar nicht mehr so ungewöhnlich. Das Auffallende an diesem Athleten ist das frische, junge Gesicht. Herr Steinbach zählt freilich erst 26 Jahre, aber die großen Kraftleistungen lassen bei seinen Berufskollegen sonst auch schon in diesem Alter Spuren zurück, sie sehen dann aus wie die Gladiatoren und ein Zug von Grausamkeit tritt auf ihre Stirne.

Ich spreche mit ihm über seine Karriere. Sie ist nicht minder interessant wie die anderer Größen. Josef Steinbach wurde im deutschen Böhmen als Sohn armer, doch kräftiger Eltern geboren, er ist das zwölfte Kind und seine Brüder und

---

leicht auch nicht, aber mehr konnte und wollte sie nicht erlauben; die wüsten Gelage ekelten sie an und so gingen schließlich die beiden Menschenkinder immer stiller und fremder neben einander durchs Leben.

Nein, das war auf die Dauer nicht zu ertragen, und Hans Adolf ließ sich öfter als sonst sein Pferd satteln oder einspannen und fuhr auf und davon, um erst spät in der Nacht oder gar erst am folgenden Tage heimzukehren; da hatte er sich dann Trost bei seinen beiden Kumpanen geholt und viel Geld wieder bei ihnen gelassen. Frau Inge aber ging bleich im Schlosse herum mit stolzem Munde, aber heimlich bitterlich weinend, da sie niemanden hatte, ihr Leid zu klagen; denn dem Vater, der einst gegen diese Verbindung gewesen, wollte sie nichts sagen, und Freundinnen hatte sie, die ihre ganzes Sein dem Gatten geweiht, sich nicht erworben. Einmal dachte sie daran, dem Pastor Fleming ihr Herz auszuschütten, mußte dann aber selbst bitter lachen: „Mein Gott! Der! Was kann dir der Arme aus seinem Innersten bieten, er, der selbst die schwere Sorge um Frau und fünf Kinder hat und abhängig ist von seinem Patronatsherrn, dem Herrn von Butendorp."

O, wie glücklich hätte sie sonst gerade jetzt sein können, wo das lang Ersehnte eingetreten, wo sie sich Mutter fühlte; wie gerne hätte sie ihm das süße Geheimnis ins Ohr geflüstert, wenn er selbst nur einmal wieder ein gütiges, liebevolles Wort, so wie einst, für sie gehabt hätte; so aber blieb auch ihr Mund stumm, denn nachgeben, diese fremden, bösen Menschen in ihrem Heim dulden, das konnte, das durfte sie nicht.

Da kam ein Tag, wo sie in das nahegelegene Städtchen fahren mußte, um Einkäufe zu machen; sie ließ einspannen und fuhr mit dem Befehle fort, auf ihre Rückkunft abends nicht zu rechnen, da sie bei einer befreundeten Familie übernachten würde; an Ort und Stelle angekommen, erfuhr sie aber zu ihrem Verdruß, daß diese Familie verreist sei, so daß sie gezwungen war, die Rückfahrt noch in der Nacht anzutreten. Es war schon weit nach Mitternacht, als sie ihr Heim erreicht hatte. Ihr treues Kammermädchen empfing sie mit allen Zeichen des Erstaunens und des Schreckens. „Was ist, Rike? Was hast du?" — „Ach, gnädigste Frau, dort — dort — beim gnädigen Herrn — geht's zu." — „Wie, was, red'!" Und das treue Ding fing an zu weinen: „Ach, als Euer Gnaden weg waren, so gegen Abend, kamen die beiden Stein, der Lange, der mich immer küssen will, mit seinem grulichen Bart, und der dicke Braunsberger Herr, und seit der Zeit sitzen sie im Jagdzimmer und trinken und lärmen und singen, und Jochen, der sie bedient, hat gesagt: ‚Uns' Herr is tau gaud, dat sünd jo keene Minschen, dat sünd jo Swin!'"

Die Schloßfrau biß die Zähne zusammen: „Swin, Swin! Und mit denen verbrüdert sich mein Mann! Nein, ein Ende muß sein, und sei es ein Ende mit Schrecken!" Und zum Mädchen sprach sie: „Wart' hier, bis ich wieder komme!" Dann huschte sie hinaus und zum Jagdzimmer, dort zu horchen. Es war ziemlich still dort, Schnarchen hörte man und einzelne rauhe Töne eines Trinkliedes. Sie winkte dem lautlos dastehenden Diener: „Bring' den Herrn in sein Zimmer!" Der in diesem Transporte nicht unerfahrene Jochen tat, wie ihm befohlen; dann horchte Frau Inge weiter, endlich war alles ruhig. — Darauf ging sie in ihr Zimmer zurück: „Rike! Weck' gleich den Großknecht Krischan und er soll sich Leut' nehmen und drei, vier von den Dirnen! Und sollen gleich den einen Schweinestall, den, wo die Mutterjau ist — ausmisten, sollen Laternen nehmen und sich sputen, hörst du, und die Sau kommt hier die Zeit zu den anderen, und dann sollen sie eine gute, dichte Streu von Stroh herrichten und dann wieder hieherkommen!" Rike ging ab, ganz verdutzt; nach zwei Stunden kam Krischan mit den Leuten und meldete, daß alles geschehen sei, wie ‚de Fru' befohlen. Frau Inge stand totenbleich da: „Kommt mit!" Und sie führte ihre Leute zum Jagdzimmer und öffnete es leise. Mein Gott, sah es da aus! Auf dem Tische Flaschen, Gläser, Würfel, Speiseüberreste, die Stühle umgeworfen, und auf dem Boden in widerlichem Schmutz der Herr von Steenburg und der edle Braunsberger Nachbar, und über dem Ganzen eine dichte Wolke von Tabak- und Weindünsten! Die junge Frau schauderte zurück, dann blitzten ihre Augen auf — Jochen erzählte später noch oft: „Dat wär tum verfahren" —: „Packt mir die beiden da und tragt sie in den Schweinestall! Weckt sie aber nicht auf! Verstanden!" — Die Knechte wollten erst ihren Ohren nicht trauen! Dann, als sie sahen, daß es ihrer Herrin Ernst war, schmunzelten sie und trugen sorgfältig wie Kindsmädchen die sinnlos Betrunkenen zum Schlosse hinaus und in — den Schweinestall, wo sie dann weich und friedlich in der warmen Sommernacht lagen, der Schwede feierlich den Würfelbecher in der Hand und sein Schlafgenosse die Perücke schief auf dem kahlen Haupte, so daß der Zopf über der großen Kupfernase baumelte.

Hans Adolf von Webderitz wachte auf, als die ersten Strahlen der Morgensonne in sein Zimmer schienen; etwas wüst noch im Kopfe, aber durchaus nicht verwundert, sich in seinem guten Bette zu finden, derartige Zaubereien hatte er schon oft erlebt; dann aber staunte er, als seine Gattin eintrat, und jäh fuhr er aus dem Bette auf, als nach einigen einleitenden, ungeschminkten Worten seine Frau ihm erklärte, daß seine „Freunde" dort wären, wo sie hingehörten! — „Wo?" stieß er kleinlaut hervor! — „Im — Schweinestall!" — „Weib! bist du toll? was hast du getan? Die Gastfreundschaft verletzt!" und fast sinnlos vor Zorn preßte er ihre verschränkten Arme, daß sie hätte aufschreien können. Doch ruhig sprach sie: „Hör' mich, Herr Adolf; ich, ich hab' die Gastfreundschaft nicht verletzt. Die da sind von mir abgewiesen worden, ich habe ihnen in jeder Weise gezeigt, daß ich mein Haus durch ihre Anwesenheit für beschmutzt erachte, und sie sind doch gekommen, auf deine unmännliche Schwäche pochend! Mein Bitten, mein Leid fand bei dir nur Spott und als sie jetzt wieder gekommen sind, wie — Diebe in der Nacht in meiner Abwesenheit, als ich meinen edlen Gemahl, den, dem ich mich für mein Leben anvertraut habe, in solchem Schmutz fand, da mußte ich ein Ende machen, so oder so!" Der Junker war ganz nüchtern geworden und starrte sein Weib an, das stolz und schön vor ihm stand! — „Weib, sage! was hast du getan?" — „Uns gerettet," erwiderte sie einfach, „die kommen nicht wieder." — Und bitter lächelnd meinte er: „Und warum hast du mich nicht auch zu ihnen gebettet?" Da richtete sie sich hoch auf und mit einem Blick voll Ernst und Liebe antwortete sie: „Weil ich nicht will, daß das Kind, welches ich unter dem Herzen trage, der Erbe deines Namens, sich vielleicht einst seines Vaters schämen muß!"

Hei, wie der Junker da die kleinen Hände seiner Gattin ergriff und küßte; und dann sank er vor ihr auf die Knie und blickte sie an voll Liebe und Dankbarkeit und wie mit einem heiligen Schwur. — —

Von den beiden Schläfern im Schweinestall meldete die Chronika nichts Näheres; nur hatte der biedere Jochen bei dem Transporte des Schweden einen seltsamen Fund gemacht. Diesem waren nämlich aus der Westentasche Würfel gefallen — und die waren falsch.

Schwestern sind — schenkt man ihm Glauben — ganz von seiner Statur, ja einer seiner Brüder ist ihm sogar an Kraft überlegen. Er hat sich bis zu seinem zehnten Jahre hauptsächlich von Milch genährt, das machte ihn stark, und als er zwölf Jahre alt war, stand er keinem seiner weit älteren Kollegen an Kraft nach. Der junge Simson wandte sich behufs weiterer körperlicher Ausbildung dem Schankgewerbe zu, in seiner Eigenschaft als Kellerbursche übte er Athletik ganz insgeheim und hob Fässer, die anderen Kellerburschen hartnäckig Widerstand leisteten. Die mit ihm dienten, ahnten seine Kraft ganz wohl, hüteten sich, seinen Widerspruch zu erwecken und nutzten ihn aus, wenn Zentnerlasten zu heben waren.

Herr Steinbach wird in seiner Lebensschilderung unterbrochen. Herren vom Erdberger Athletenklub kommen, das sind Gäste, denen er persönlich das Bier kredenzt. Unterdes wird rückwärts ein Klubzimmer für Ringkämpfer hergerichtet, die schweren Hanteln und Scheibenstangen werden beiseite geräumt und ein Teppich wird auf den Boden gelegt. Meister Steinbach überwacht alles. Ich sehe mir unterdes die schweren Herren, die an den Wänden hängen, an. Was Rekord im Vaterland hält, ist da zu sehen. Der gewaltige Türk, Stöhr und die anderen. Dann auch Steinbach, wie er einen neuen Weltrekord schafft.

Ein Plüschvorhang wird zugezogen, das Klublokal ist fertig, der römische Ringkampf beginnt, und Herr Steinbach hat jetzt wieder ein paar Minuten für mich.

Wie er trainiert?

Er sagt: „I steh' den ganzen Tag bei der Arbeit, von der Schank weg geh' i und schlag' die Rekord'. Ueben tu i nur zwamal die Wochen."

Wie er lebt? Aeußerst mäßig. Täglich höchstens ein paar Glas Wein. Bier im Sommer gar nicht und im Winter selten. Das Fleischquantum, das er täglich zu sich nimmt, beträgt kaum ein halbes Kilo. Dem Umstand, daß er so peinlich genau auf Mäßigkeit hält, schreibt er seine stets wachsende Kraft zu. Denn er sagt, daß er sicher ist, jeden seiner Weltrekords schlagen zu können. Den Gipfelpunkt seiner Kraft hat er noch nicht erreicht.

Türk, dessen Höchstleistung er überboten hat, ist sein Freund. Er erzählt mir, wie ihm der Athlet als erster gratulierte, als er seinen Rekord zu übertreffen vermochte. — Zum Weltrekord muß er disponiert sein. Ruhig ist er immer, Klavierspiel regt ihn sehr an zur Kraftentfaltung, und wenn ein Rekord einmal mißlingt, dann kränkt er sich nicht lange, dann versucht er's eben das nächstemal.

Er ist stolz darauf, der stärkste Mann von Wien zu sein, aber er trägt den Titel mit Bescheidenheit. Dabei bedauert er's innig, daß Oesterreich keine „Gawlier" mehr hat. Er meint damit, daß sich keine Sportsmen mehr finden, die einen Athleten seines Ranges gebührend unterstützen. Denn es ist bis jetzt eine brotlose Kunst, ein Schwergewichtsathlet zu sein. Preise gibt's nicht, und von Medaillen und Glasservices kann man nicht leben.

Warum er nicht Ringkämpfer wird?

Er sagt: „Es is no Zeit für mi; heut' interessiert's mi no net a so, aber später amal, wann die Großen net mehr san, der Pons, der Beaucairois, dann wir i vielleicht zu die Ringer übergehen."

Und Hackenschmidt?

„Der is a Katz, den schmeiß i, wann i will."

Steinbach freut sich auf eine Expedition nach England, die er unbedingt unternehmen will. Dort, meint er, gäbe es viel Ehren zu holen. Er erzählt mir von seiner Reise nach München und anderen Städten, von den vielen Triumphen, die er errang, von der begeisterten Aufnahme, die er überall fand. Ein Herr seines Klubs, der uns Gesellschaft leistet, erzählt mir von der Gutmütigkeit dieses Riesen. „Ja, 's is wahr," sagt Steinbach, „bei mir gibts ka Aufregung, mi kann a ka Gast beleidigen."

Man schildert mir eine hübsche Szene, Im Lokal Steinbachs kommt's beim Schnapsen zu einer Meinungsdifferenz, einer der Herren erklärt Herrn Steinbach, der intervenieren wollte: „Kumm außa, i zerreiß di!" Herr Steinbach, der über diese Bemerkung ärgerlich wurde, nahm Rock und Hut und blieb fort, bis der Gast sich beruhigt hatte. Das macht er gewöhnlich so, wenn jemand grob wird. Zu Raufereien kommt's indes niemals, er hat auch nie im Leben etwas Ernstes gehabt, er freut sich, daß man ihm in der Regel sehr nett entgegenkommt, daß sich jeder bemüht, etwaige Differenzen mit ihm in Güte zu schlichten. — Seine Umgebung schildert ihn als ungemein gemütlich, als fast gar nicht reizbar, als nachgiebig und stets freundlich, er kennt auch keinen Neid und freut sich, wenn es neben ihm starke Männer gibt.

Ob er nach einem Rekordversuch sehr ermüdet ist? Herr Steinbach sagt: „Müdigkeit kenn' i net, das is 's erste bei mein' Arbeiten, daß i leicht arbeit' und nach an Rekord glei' wieder an neuchen aufstell'n könnt'."

Wir sprechen von seinen sportlichen Leistungen, er hat hundertfünfundsechzig Kilogramm gestoßen und hundert Kilo zwölfmal gestemmt, das sind Rekords, die in beglaubigter Form einzig dastehen. Seine anderen Schwergewichtsarbeiten übergehe ich, denn ein Irrtum von nur ein paar Dekagramm würde mir in der Achtung meines in athletischen Fragen peniblen Redaktionskollegen Balduin Groller erheblichen Schaden verursachen.

Neben unserem Tisch findet sich eine Scheibenstange, die schwerfällig auf dem Boden ruht und wie ein unbezwingbares Ungetüm aussieht. Herr Steinbach hört kaum meine Frage, ob man so ein Ding heben kann, als er auch schon das Hangerl um das Eisen schlägt, ein Ruck, ein Kampf von einer Zehntelsekunde, dann reißt er sie mit einer Hand hoch auf bis zur Bauchhöhe. Ein anwesender Klubgenosse flüstert mir zu „hundertdreiundsechzig Kilo", und ich weiß jetzt, daß ich einen historischen Augenblick miterlebte.

Kraftleistungen, die Herrn Steinbach unmöglich sind?

Der Riese lächelt liebenswürdig: „'s gibt schon was, was i net nachmachen kann und wann i mi derwürg'."

Und er erzählt mir von seinem athletischen Bruder, der Maurer ist und drei Ziegel, einer über den anderen gelegt, mit einer Hand faßt und trägt. Das kann er nicht und dieses Kunststück ist ihm an die Seele gewachsen. So hat's die Natur doch so eingerichtet, daß auch dem Stärksten immer ein Ziel unerreichbar ist. — Herr Steinbach wiegt 113 Kilogramm, es ist sein Bestreben, sich in diesem Gewicht zu erhalten und nicht die Wiener Athletenkrankheit, den dicken Bauch, zu bekommen. —

Herr Steinbach hat Hunger, die Erdberger Athleten ringen römisch auf den Teppichen, eine hoffnungsfreudige Jugend blickt sehnsuchtsvoll durch die Fenster. Der grämliche Aushilfskellner bringt dem Chef das Nachtmahl. Der große Mann ißt ein kleines Gulasch.

A. D.-G.

Die letzten Kaiser Josef-Stücke.

(November 1905 und November 1880. — Rathaus und Universität. — Die Jahrhundertfeier Kaiser Josefs. — Wie sie im Rathaus begangen wurde. — Der Festkommers im Sophiensaal. — Die Studenten voran. — Ihr Theaterabend im Stadttheater. — Die Abstinenz des Burgtheaters. — Das verbotene „Hoch dem Kaiser". — Ein Wort des Kaisers. — Der abgenützte Josef und die verdrängte Legende. — „Im Augarten" und „Die Verschwörung der Hofdamen". — Eine Wiederkehrende von damals. — Der Josef-Schwärmer und die Münchener Königsresidenz. — Was heute im Rathause geschähe.)

„Glücklich ist, wer vergißt, was — so geändert ist!"

Aber während die Erlangung einer Schankkonzession in Wien immer schwieriger wird wegen „mangelnden Lokalbedarfes", infolge der schon allzu stark befundenen Anhäufung, hat sich noch nirgends dem Universalbedarf die ersehnte Letheschenke aufgetan: „Zum glücklichen Vergessen."

Und in diesem November 1905 gerade meldet sich gar so lebhaft das Erinnern an den vor 25 Jahren, an den November 1880. Im Wiener Rathaus heute die Gäste jenes auferbaulichen Kongresses, der in seinem Ansturme gegen alles „Josefinische", gegen die „Staatsschule" namentlich, die Stadthäupter Wiens zu seinen enragiertesten Kampfesgenossen zählt — an der Wiener Universität die wüsten Studentenraufereien und gegenseitigen Vergewaltigungen um recht oder übel verstandener nationaler Schlagworte willen.

In den Schlußtagen des November 1880 war dieses ganze, so herrlich begabte, so reich begnadete, so geistig funkelnde und herzfreudige Wien um das Kaisermonument am Josefsplatze geschart, die Bürger mit ihren Kränzen, die Studenten mit ihren Fackeln, zu andachtsvoller Gedenkfeier, zum Massenprotest zugleich gegen das beginnende Werk der Zersetzung aller zusammenhaltenden Staatsgedanken und der Verhetzung aller bürgerlichen Gemeinschaftsideen. Im Zeichen des staatlichen Zusammenhaltens, des freien Denkens, des gesellschaftlichen und religiösen Friedens scharte man sich um das Josefs-Monument.

Denn am 30. November 1880 wurde die hundertjährige Feier der Thronbesteigung Josefs II. begangen.

Ausschließlich eine Volksfeier war es ganz und gar, von der „oben" so gut wie keine Notiz genommen wurde. Es fehlte jedwede Beteiligung der regierenden Kreise. Das Ministerium Taaffe war bereits ein Jahr im Amte und sein, der gründlichsten Entwurzelung des Josefinismus nach jeder Richtung hin zustrebendes, Programm hätte die Teilnahme an einer Kaiser Josef-Feier als eine so grelle innere Lüge erscheinen lassen, wie sie selbst für ein verlogenstes Regierungssystem zu stark gewesen wäre. Auch im Parlament gab's keine Majorität josefinischen Geistes mehr, und nur die Deputierten der liberalen Parteien traten als Repräsentanten ihrer Klubs an die Stufen des Denkmals hin. Im formellsten Sinne und tatsächlichst offiziell war bei der Feier nur die Stadt Wien vertreten durch ihre Rathauskorporation, die sich in demonstrativer Weise zu den Gedankenzielen des edlen Kaisers bekannte. Eine Festkommission war im Rathause eingesetzt, eine Festschrift wurde in Zehntausenden von Exemplaren verteilt, der Schuljugend wurde der Tag des 30. November freigegeben, im Ratsaale selbst fand vor der blätterbekränzten Büste Kaiser Josefs eine Feierlichkeit statt, bei welcher der Bürgermeister Dr. v. Newald die Festrede hielt, während bei dem großen Festkommers im Sofiensaale drüben der, aus der damaligen demokratischen Partei hervorgegangene, Vizebürgermeister Dr. v. Schrank in begeisterten Worten vor der glänzenden Versammlung das Glaubensbekenntnis des damaligen Wien ablegte. Auch zwei der gewesenen Bürgerminister hörte man da, Hasner, den Schöpfer der, heute jammervoll verlästerten und von frommen Händen beinahe schon halbdemolierten, „Neuschule" — und Herbst, den Kronjuristen des Freisinns. Ebenso ließ Eduard Sueß seine, noch heute nicht verhallte, sondern noch recht eindringlich hörbare Stimme vernehmen. Und dazwischen mengten sich die hellen Stimmen einer akademischen Jugend, in welcher der, von Schlacken geläuterte, Geist der Studentenschaft von 1848 lebendig geworden zu sein schien. Die Studenten waren's ja überhaupt, die diesen Kaiser Josefs-Tagen die wärmsten und treibendsten Impulse trachten, denen die „alten Herren" und Wiens Bürger stimmungsbereit folgten.

Sie waren es auch, die dem bedeutsamen Gedenktage den, in einem solchen Festlichkeitsprogramm nicht wohl zu missenden theatralischen Gedenkabend gaben. Der akademische Leseverein veranstaltete ihn, und zwar in dem Theaterhause, über welchem noch immer der Nachschimmer von dem frischen Geiste des „alten Burschen" Laube schwebte. Damit ist nicht etwa das Burgtheater gemeint — denn dieses war ja im vorneherein von irgend einem Mittun bei der Gedenkfeier seines eigentlichen Begründers ausgeschlossen. Nicht aber, weil die Lebens- und Herrscherrichtung des Sohnes Maria Theresias allzusehr von den Traditionen des Erzhauses abwich — es war eine viel unverfänglichere und scheinbar plausible Erklärung für diese „Abstinenz" des Burgtheaters gegeben, die allerdings dem Volksempfinden nicht recht eingehen wollte, die man aber doch gelten lassen mußte. Das Burgtheater — so formulierte und kommentierte sich die Ursache dieses Sichfernehaltens — müsse, unbeschadet seines Charakters eines öffentlichen Schauspielhauses, immerhin doch als das „Theater des Kaisers" gelten, und es widerstrebe dem Taktgefühl der kaiserlichen Familie, ihre Mitglieder auf der eigenen Bühne, im eigenen Hause, verherrlichen zu lassen. Damit wurde ja auch die anfängliche Abweisung des Grillparzerschen „Ottokar" und das nie ganz überwundene Widerstreben gegen die Wiederholungen des Stückes motiviert — auf mancher Seite wurde es dabei sogar als Verletzung der Pietät gegen die Erhabenheit der Fürstlichkeiten empfunden, daß sie sich gefallen lassen sollten, Schauspielern ihre Namen und ihre Maske leihen zu müssen und sie als Repräsentanten ihres fürstlichen Ichs zu akzeptieren. Vorwiegend wird aber der Nachdruck auf die Vermeidung auch nur des leisesten Scheines einer übelanstehenden „Selbstreklame" gelegt, und man weiß, mit welch sensitiver Scheu Kaiser Franz Josef alle derlei Huldigungen abwehrt. Das geht so weit, daß bei der Aufführung des militärischen Festspieles im Hofoperntheater zur Enthüllung des Radetzky-Monuments Obersthofmeister und Generalintendant die strenge Weisung hatten, die patriotische Stimmung der im Festspiel auftretenden soldatischen Personen nur ja in keine „Hoch auf den obersten Kriegsherrn" ausklingen zu lassen. Und ein bei anderer Gelegenheit gesprochenes Wort des Kaisers über allzu farbig aufgetragene Loyalitätsreimereien ist bekannt geworden: „Man tut des Guten allzuviel — man schmeichelt uns zu sehr und verwöhnt uns damit." So konnte denn auch nur von einem Ansatze zu einer Kaiser Josef-Feier im Burgtheater nicht die Rede sein und — bei aller respektuösen Anerkennung des Bescheidenheitssinnes der Herrscherfamilie — darf man doch in Bezug auf die Hofkreise zu behaupten wagen, daß sie nie mit dieser feinfühligen Zurückhaltung einverstandener waren, als diesmal, wo es ihnen dadurch erspart blieb, den gekrönten Wortführer der „Aufklärung" und der „Toleranz" mitfeiern zu müssen. Und das eben fühlte der Volksinstinkt recht gut heraus und machte seine stillen und auch lauten Randglossen dazu.

In den übrigen Theatern war wohl kein rechtes „Kaiser Josef-Stück" zur Hand, denn das knappe Repertoire derselben enthält zumeist nur derbgeratene Banalitäten im Stile weiland des Fürst-Theaters, und das Carl-Theater allein markierte aus eigenem Antriebe den Tag mit einer Aufführung des überaus volkstümlich gewordenen Einakters: „Der Gevatter von der Straße" mit Tewele in seiner frappanten Josef-Maske, die den Photographen ein so gutes Geschäft brachte, mit Matras und der Gallmeyer. Für das Stadttheater aber hatte das Studentenkomitee seit Wochen schon den Spielplan in Vorbereitung gebracht und eine gegliederte Neuvorstellung zurechtgestellt. Sie hatten sich von zwei Wiener Autoren, deren einer Eduard Mautner war, Gelegenheitsstücke erbeten, natürlich mit der Gestalt des Kaisers Josef im Mittelpunkte, und von Ferdinand Saar einen Prolog erlangt, zu dessen Vortrag sich die, dem Stadttheater damals nicht mehr angehörende Kathi Frank zur Verfügung stellte. Jene beiden Festdramolets aber konnten zum mindesten insoferne die Bedeutung eines Theaterdatums beanspruchen, als es die letzten „Kaiser Josef-Stücke" waren, die geschrieben worden sind. Denn der in den Neunzigerjahren im Raimund-Theater zur Aufführung gebrachte „Mann ohne Vorurteil" von Sacher-Masoch, worin Josef als noch knabenhafter Jüngling auftritt, datiert von früherer Zeit. Die derben Hände, die sich mit der, vom Geschick so groß- und so feinzügig geformten, Kaiserfigur auf der Bühne zu schaffen gemacht, haben sie derart abgegriffen, daß das Theaterinteresse für sie ziemlich zur Gänze verloren gegangen ist. Aber auch der historisch-politische Anreiz, den kaiserlichen Ideologen im Bühnenbilde zu zeigen, ist, dermalen wenigstens, geschwunden, denn — dessen kann man sich wohl kein Hehl machen — die Kaiser Josef-Legende ist stark in den Hintergrund geschoben, teils von der nach rückwärts treibenden, teils von den nach vorwärts hastenden Ideen, der geniale und großherzige Autokrat der Aufklärung, der, bei aller Gleichachtung der Menschen, kaum für das allgemeine Wahlrecht, gar noch ohne Bildungszensus, zu haben gewesen wäre, ist keine moderne Figur, er paßt den Fortschrittlern des XX. Jahrhunderts so wenig, wie den Rückschrittlern, er ist für die gegenwärtige Gegenwart — denn wer mag die zukünftige Gegenwart ermessen — nur mehr eine leuchtende historische Erinnerung und wer weiß, ob er, von der Bühne herabsprechend, ein genügend tönendes Echo fände!

Damals, an jenem Stadttheaterabend, war es noch ein stürmisches Echo. In Prosa und Vers war Kaiser Josef redend eingeführt durch die Rede- und Darstellungskunst Siegwart Friedmanns. Das Versstückchen, das den Schluß der Vorstellung bildete, eine Mischung von Wirklichkeit und Vision, war von Eduard Mautner und hieß: „Im Augarten" — mit der Erscheinung der Klio, die dem Kaiser den Spruch der Geschichte kündet. Dem voran ging eine lustspielhaft dramatisierte Hofanekdote: „Die Verschwörung der Hofdamen". Der Grundstoff war dem Briefwechsel Kaiser Josefs mit seinem Bruder Leopold entnommen. In einem Briefe erzählt er da von der Verlegenheit, in welche ihn der angekündigte Besuch des Herzogs Karl von Württemberg, des Gründers der Karls-Schule, des Zwingherrn Schillers, gebracht habe. Der Herzog wurde nämlich mit seiner, ihm damals noch nicht angetrauten „Franzl", der Gräfin Franziska, erwartet und da — wurde in dem Briefe geklagt — habe eine Art Streik der Hofdamen gedroht, die sich geweigert hätten, bei der Hoftafel zu erscheinen und sich mit der, in so zweifelhafter gesellschaftlicher Position daherkommenden, Dame zu Tische zu setzen. Die Pointe des Stückchens lief darauf hinaus, daß gegen diese heuchlerische Prüderie ein wirklich unschuldreines Mädchen dem Kaiser zu Hilfe kommt und sich erbötig erklärt, als die erste an der Seite des boykottierten „anrüchigen" Gastes Platz nehmen — Kathi Schratt spielte die junge, tapfere Verächterin der Anstandstartüfferie, Mitterwurzer ihren Paladin, Bukovics und Mizzi Marberg ergötzten in den zwei Episodenfiguren des ersten, von Kaiser Josef geadelten Juden und seines Töchterchens. Das feine, pikante, gescheite Köpfchen von Mizzi Marberg schaut dabei aus der Gruppe hervor in das frische Heute herein. Sie ist seither Gräfin geworden — und will nun zum Theater zurück. Mit Jarno ist sie bereits in Unterhandlungen gewesen, die aber zu keinem Resultat geführt haben, aber ihr Wiederauftreten in Wien gilt für bestimmt. Ihren prickelnden schauspielerischen Witz wird ihr die Gräflichkeit wohl nicht geschädigt haben.

Und ein königliches Schattenbild taucht gleichfalls aus der Lustspielgruppe empor — der Schatten des unglücklichen Romantikers auf dem bayrischen Throne, des zweiten Ludwig. Er war ein Kaiser Josef-Schwärmer und begehrte alles zu lesen, was über diesen, sein Herrscherideal, geschrieben und gedruckt wurde. Und so kam denn, sofort nach der Aufführung der zwei Feststücke, an die beiden Autoren durch Vermittlung einer Münchener Buchhandlung das Ersuchen, Abschriften einzusenden, weil der Wunsch von einer Seite herrühre, die Berücksichtigung verdiene. Weitere üble Konsequenzen hatte die Sache nicht — nicht einmal ein bayrischer Orden kam.

Der 30. November 1880 war die letzte Kaiser Josef-Feier in Wien. Die hundertste Wiederkehr des Tages fand schon „ein anderes Geschlecht" — heute vollends würde bei einer solchen Feier die Stadt Wien am allerwenigsten offiziell vertreten sein und im Rathaussaale würde die Büste des „Toleranzkaisers" gewiß keinen Platz finden.

S. S.

Die Affäre Coburg und kein Ende.

„Geza Mattachich kein Justizopfer."

Der Scheidungsprozeß des Prinzen Philipp von Coburg gegen die Prinzessin Luise von Coburg ist zurzeit beim Koburger Gericht anhängig und soll, falls die von der Prinzessin bestrittene Kompetenz dieses Tribunals auch von der obersten Instanz anerkannt werden sollte, im Dezember durchgeführt werden. Die Prinzessin hat durch ihren Rechtsvertreter erklären lassen, daß sie auf gar keinen Fall die Kompetenz des Koburger Gerichtshofes anerkennen werde und unter allen Umständen vor einem ungarischen Gerichte ihren Eheprozeß werde zur Verhandlung zu bringen wissen. Für diesen Fall

Graf Friedrich **Schönborn** bekennt sich als Anhänger des Dualismus und des allgemeinen Wahlrechtes unter gewissen Voraussetzungen. Ohne eine bedeutende Erweiterung des allgemeinen Wahlrechtes wird es nicht gehen oder vielmehr, da wir eigentlich schon das allgemeine Wahlrecht in einer sehr großen Ausdehnung besitzen, ohne eine bedeutende Vermehrung der Mandate. Daß ich aber bei jeder bedeutenden Vermehrung der Mandate oder, wenn man gar so weit gehen wollte, das allgemeine Wahlrecht wirklich als ein gleiches zu statuieren, nach anderen Richtungen hin Kautelen für unbedingt notwendig halte, wollte ich mir mit ebensolcher Offenheit auszusprechen gestatten. Die nähere Erörterung dieser Fragen, bemerkt Redner, könne erst erfolgen, wenn eine detaillierte, textierte Vorlage vorhanden sei. Er wendet sich sodann den Bemerkungen des Ministerpräsidenten über eine Umgestaltung des Herrenhauses zu und bemerkt hiebei: Wenn dieses Haus verbesserungsbedürftig ist, so wäre die Verbesserung vor allem im parlamentarischen Kalendarium zu suchen, damit wir nicht immer im letzten Momente genötigt sind, Vorlagen, die fertiggestellt sind und bald in Wirksamkeit treten sollen, zu übernehmen und herunterzuschlucken wie sie sind. (Zustimmung.)

Die Antwort des Freiherrn v. Gautsch.

Ministerpräsident Dr. Freiherr v. **Gautsch**: Der erste Redner, Graf Franz Thun, hat erklärt, er könne zur Regierung kein Vertrauen haben, ja ich habe den Eindruck gewonnen, daß dieser Mangel an Vertrauen sich bei ihm bis zum Mißtrauen verdichtet hat. Ich nehme das zur Kenntnis und zähle es all demjenigen zu, was heute jeder Minister in leitender Stellung in diesen schwierigen Zeiten ertragen muß. Denn ich kann es wohl ohne Uebertreibung sagen: es hat vielleicht seit vielen Jahren kaum einen Mann gegeben, der unter so außerordentlich schwierigen und verantwortungsvollen Verhältnissen sein Amt geführt hat, wie ich. Gegen die Regierung wurde der Vorwurf der Schwäche gegenüber gewissen Demonstrationen erhoben, ja, es hat Seine Durchlaucht Fürst Karl Schwarzenberg sogar ganz bestimmte Fälle als Belege für diese Behauptung vorgebracht, Fälle, von denen ich offen sagen muß, daß sie mir unbekannt sind und daß ich Sr. Durchlaucht zu Danke verpflichtet gewesen wäre, wenn er sie etwas genauer und präziser vorgebracht hätte, um es der Regierung zu ermöglichen, auch in diesen Fällen ihres Amtes zu walten. Wenn man diesen Vorwurf gegen die Regierung erhebt, so kann sie ihn mit aller Ruhe ertragen. Ich habe schon vor vielen Jahren Gelegenheit gehabt, angesichts großer Unruhen die äußersten Gewaltmittel, welche einer Regierung überhaupt zur Disposition stehen, anzuwenden. Ich erinnere an die Anwendung des Standrechtes in Prag im Jahre 1897, und ich darf es dem hohen Hause gegenüber aussprechen, daß gegenüber den jüngsten Ausschreitungen in Prag die Regierung keinen Augenblick gezögert hat, diese äußersten Machtmittel vorzubereiten, daß der Herr Statthalter in Prag bereits die Ermächtigung der Regierung hatte, in jedem Augenblicke, der ihm entsprechend erschien, das Standrecht in Prag zu verkünden, und daß die Verordnung vorbereitet war, welche den Ausnahmszustand über Prag hätte verhängen sollen.

Kein feiges Zurückweichen.

Die Regierung ist nicht aus Männern zusammengesetzt, die vor irgend einer Demonstration oder Kundgebung feige zurückweichen. Das ist nicht unsere Art. Am 28. v. M. hat es sich nicht darum gehandelt, etwas zu verbieten oder etwas zu gestatten, sondern bloß darum, ob die Regierung jene Machtmittel anwenden soll, welche notwendig gewesen wären, um diese Kundgebung, die übrigens der Wache keinen Anlaß zum Einschreiten geboten hatte, zu unterdrücken. Ich bespreche diesen Fall nämlich deshalb, weil es leider bei uns Politiker gibt, bei denen merkwürdigerweise stets derartigen Dingen gegenüber der erste Gedanke derjenige zu sein pflegt, welcher bei anderen Menschen der Weisheit letzter Schluß ist, nämlich die ultima ratio. Vielleicht könnte ich an die geehrten Herren Redner, welche sich mit dem Umzuge am 28. November beschäftigt haben, eine Gegenfrage richten, die nämlich, welches Urteil in allen Kreisen und auch in denen des Herrenhauses gefällt worden wäre, wenn ein ungeheures Unglück, wenn der Verlust zahlloser Menschenleben zu beklagen gewesen wäre, ob dann nicht vielleicht ebenso wie heute, diejenigen, die zur Gewalt mahnen, gesagt hätten: Die Anwendung der Gewalt sei unrichtig gewesen, man hätte mit einer anderen Methode viel Besseres und viel Richtigeres erreicht.

Die Wahlreformfrage muß gelöst werden.

Der Ministerpräsident tritt sodann der Behauptung entgegen, daß er in der Wahlreform inkonsequent gewesen sei, und führt fort: Ich habe die Ueberzeugung gewonnen, daß diese Frage nicht mehr ohne Lösung bleiben kann, wenn nicht große Gefahren herbeigeführt werden sollen. Hiebei mußte ich mir die Frage vorlegen, ob es wirklich die Aufgabe einer Regierung ist, sich den Ruhm der Konsequenz in allen Lagen und um jeden Preis zu erwerben. Oder soll sie vielleicht auch dann unbeweglich bleiben, wenn durch ein starres Festhalten an ihrem Standpunkte der Staat und seine ruhige Entwicklung offenkundigen Gefahren ausgesetzt ist? Wir haben uns daher entschieden, den Weg der Wahlreform zu betreten, und ich möchte auch, um bezüglich der Zukunft keinerlei Zweifel aufkommen zu lassen, hier erklären, daß ich auf diesem Wege auch weiter schreiten werde, trotz aller Hindernisse, trotz aller Schwierigkeiten und Hemmungen. Ich bin zur Ueberzeugung gekommen, daß jedes weitere Zögern in der Wahlreformfrage von Gefahren begleitet gewesen wäre, denn eine Regierung, welche sich ihrer Verantwortung bewußt ist gegenüber dem Staate und der Gesellschaft, konnte und kann nicht anders handeln als wir. Es gibt heute meines Erachtens überhaupt nur noch zwei Wege. Entweder nichts tun und dafür die Verantwortung übernehmen, oder aber sich der Ausgestaltung unseres Wahlrechtes in der Richtung des allgemeinen Wahlrechtes anzuschließen. Ich trete für das Projekt ein, das ich im Abgeordnetenhause im allgemeinen skizziert habe und das ich auch seinerzeit im hohen Herrenhause vertreten werde. Dann werde ich auch die Ehre haben, dem hohen Hause gegenüber meine Anschauungen über dasjenige darzulegen, was ich in meinen Erklärungen als eine Ausgestaltung des hohen Herrenhauses selbst bezeichnet habe.

Der Erfolg oder der Sturz.

Der Ministerpräsident schließt: Hohes Haus! Ich bin mir klar, daß dieser Weg bis ans Ende gegangen werden muß; und das Ende kann nur sein: Der Erfolg oder der Sturz (Bewegung.) Ich werde das eine wie das andere mit Ruhe und Kaltblütigkeit zu ertragen wissen, so, wie es einem Patrioten und einem Manne geziemt, der — und in diesem Gedanken befinde ich mich mit dem ganzen hohen Hause und mit jedem einzelnen Redner des heutigen Tages in vollster Uebereinstimmung — nichts anderes will als die Größe seines Vaterlandes und den Frieden der österreichischen Völker. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen. — Der Ministerpräsident wird beglückwünscht.)

Fürst **Auersperg**: Was uns schreckt, ist die Unklarheit, die Ungewißheit und der Umstand, daß die Regierung in gar keiner Richtung eine Aufklärung über eine Sache gibt, über die sie mindestens heute schon sich ganz klar sein muß, wenn sie wirklich die Führung in der Hand behalten soll. Es macht uns daher den Eindruck, daß sie, welches immer ihr Programm sein mag, wenn sie auch ein solches hat, es nicht wird festhalten können. Dieser Besorgnis möchte ich angesichts der soeben gehörten Mitteilung des Herrn Ministerpräsidenten in diesem Hause nochmals Ausdruck gegeben haben. (Beifall.)

Da sich niemand mehr zum Worte meldet, erklärt der Präsident die Debatte für geschlossen. Damit ist die Tagesordnung erledigt.

Der Tag der nächsten Sitzung wird im schriftlichen Wege bekanntgegeben werden.

* * *

Die Lage des Kabinetts Gautsch.

In parlamentarischen Kreisen wurde gestern vielfach behauptet, daß infolge der scharfen Opposition des Herrenhauses die Lage des Kabinetts Gautsch eine höchst prekäre geworden sei. Auch im Abgeordnetenhause stünden die Dinge für ihn nicht günstig. Eine Klärung der Lage dürfte freilich erst bei Beratung des Budgetprovisoriums, die für den 14. d. M. in Aussicht genommen ist, erfolgen. Angesichts der gespannten Situation ist es allerdings fraglich, ob es überhaupt zu einer parlamentarischen Beratung und Beschließung des Budgetprovisoriums kommen wird. Nach der in der nächsten Woche stattfindenden Obmännerkonferenz, in welcher Freiherr v. Gautsch sprechen wird, wird sich übrigens schon zeigen, inwieweit die Parteien entschlossen sind, die sogenannten Staatsnotwendigkeiten, wie Rekrutenvorlage und Budgetprovisorim, parlamentarisch zu erledigen. Es heißt, daß die Tschechen wieder mit ihrer Universitätsforderung hervortreten wollen.

* * *

Polenklub.

In der gestrigen Sitzung des Polenklubs wurde die vertrauliche Debatte über die Wahlreform zu Ende geführt, worauf folgender Beschluß gefaßt wurde: „Der Polenklub ermächtigt den Obmann Grafen Dzieduszycki, im Plenum des Hauses das Wort zu ergreifen und in dem von ihm angekündigten Sinne den Standpunkt des Klubs in der Wahlreformfrage zu präzisieren“.

* * *

Die Demokraten des Polenklubs und die Wahlreformfrage.

Vom Reichsratsabgeordneten Professor Dr. Glabinski.

In einigen Blättern sind irrtümliche Gerüchte aufgetaucht, daß dem Polenklub wegen der Wahlreform eine offene Spaltung drohe. Diesen Gerüchten zufolge soll nämlich die demokratische Fraktion des Klubs gesonnen sein, aus dem Polenklub auszutreten. Es ist natürlich, daß im Polenklub verschiedene Anschauungen über die von der Regierung vorgeschlagene Wahlreform herrschen und geäußert werden, es steht jedoch fest, daß die Gruppe der Demokraten, die zwanzig Mitglieder zählt, in überwiegender Mehrheit ihre nationale Pflicht nicht verkennt und die Solidarität des Klubs wahren wird. Sie wird den Weg des Kompromisses betreten. Mag auch ein kleiner Teil dieser Gruppe dem allgemeinen und gleichen Wahlrechte ohne Rücksicht auf die gefährdeten nationalen und sozialen Interessen der polnischen Bevölkerung ihr Wort sprechen, so ist dennoch nicht anzunehmen, daß dieselbe sich der Erkenntnis der Notwendigkeit verschließen werde, auch in Galizien, namentlich in Ostgalizien, den Schutz der Minoritäten im Wege des Plural- und Proportionalsystems, eventuell durch Bildung nationaler, territorial abgegrenzter Wahlkreise zu beanspruchen. Nur unter der letzteren Voraussetzung hat sich die Mehrheit der Demokraten für das allgemeine Wahlrecht erklärt, indem sie entschlossen ist, das nationale Interesse in erster Linie zu wahren. Die Ausschließung der Analphabeten vom Wahlrechte findet auch im Polenklub zahlreiche Anhänger, allein unter der Voraussetzung, daß dieser Umstand das Recht des Landes auf die seiner Bevölkerung entsprechende Zahl nicht beeinträchtigen werde.

Städtische Angelegenheiten.

(Aus dem Rathause.) Der Gemeinderat hält in der kommenden Woche am Donnerstag den 7. d. M., 5 Uhr nachmittags eine Plenarsitzung ab. Auf der Tagesordnung stehen bis jetzt zwölf Geschäftsstücke, darunter: Beitragsleistung der Gemeinde Wien zur Fertigstellung der Kaiser-Jubiläumskirche in der Donaustadt in Wien; Beteiligung der Gemeinde Wien an der österreichischen Ausstellung in London 1906; Erhöhung der Witwenpensionen nach Beamten der I. bis IV. Rangsklasse und Versorgungsgenüsse für Witwen und Waisen nach städtischen Kanzlisten; Vermehrung des Standes der Beamten und Diurnisten des Zentralwahl- und Steuerkatasters anläßlich der Neuanlage und Evidenzführung des Gewerberegisters; Organisierung eines Betriebs- und Erhaltungsdienstes für die Hauptsammelkanäle beiderseits des Donaukanales; Subvention für das Scheffel-Nationaldenkmal, ferner ein Zuschußkredit und drei Baustücke. In dieser Sitzung wird auch die Wahl von acht Vertrauensmännern und vier Ersatzmännern für das Gemeindevermittlungsamt im X. Bezirk vorgenommen werden. — Der Stadtrat hält am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 10 Uhr vormittags Sitzungen ab. In denselben wird der Hauptvoranschlag der Gemeinde Wien für das Jahr 1906 zu Ende beraten werden. — Am Donnerstag den 7. d. wird Bürgermeister Dr. Lueger dem Komponisten und Ehrenchormeister des „Schubertbundes“ Adolf Kirchl das diesem vom Kaiser verliehene goldene Verdienstkreuz mit der Krone, dann dem Provinzial des Ordens der Barmherzigen Brüder in Wien Fr. Michael Stur und dem k. k. Bezirksschulinspektor August Hofer die Ehrenmedaille für vierzigjährige treue Dienste überreichen. Ferner wird dem kaiserlichen Rat Dr. Kaspar Schwarz und dem katholischen Religionsprofessor am Wiener Pädagogium Franz Stauracz die große goldene Salvatormedaille, den Armenräten Leopold Aimeth (V. Bezirk), Franz Badroth, Josef Graß, Karl Spaß und Anton Franz Winter (VI. Bezirk), schließlich den freiwilligen Feuerwehren Gersthof und Neustift am Walde die goldene Salvator-Medaille überreicht werden. Eine Reihe von Mitgliedern dieser beiden Feuerwehren erhalten Anerkennungsschreiben, beziehungsweise Ehrengeschenke. — Heute (Sonntag), 10 Uhr vormittags, findet im Festsaale des Rathauses die 6. Generalversammlung der Bürgervereinigung der Stadt Wien statt. Eine Stunde vorher findet in der Votivkirche ein feierlicher Gottesdienst statt. — Um 4 Uhr nachmittags findet dann ebenfalls im Festsaale die Beteilung von Knaben und Mädchen mit Altersrenten-, beziehungsweise Aussteuerpolizzen der städtischen Kaiser Franz Josefs-Jubiläums-Lebens- und Renten-Versicherungsanstalt aus dem vom Gemeinderate der Stadt Wien anläßlich des 50jährigen Jubiläums des Kaisers gestifteten Kaiser Franz Josefs-Jubiläumsfonds statt.

(Keine Absperrung des Dornbacher Parkes.) Es verlautet in der Affäre des Dornbacher Parkes, daß von einer Absperrung des Parkes überhaupt keine Rede sei. Die Verfügung, den vielbenutzten Zugang durch die verlängerte Waldegghofgasse zu sperren, ist nicht vom Majoratsherrn Fürsten Adolf Josef, sondern von dem Erbprinzen Johann ausgegangen. Der augenblicklich in Protivin weilende Erbprinz — so versicherte man uns — beabsichtigt die Absperrung des bezeichneten Zuganges lediglich im Interesse des Publikums, da dieser Weg sehr viel von Automobilen befahren wird; doch ist der Prinz entschlossen, für das Publikum in nächster Nähe einen neuen, fast parallel mit dem alten laufenden Weg an der linken Seite des Schlosses anlegen zu lassen.

(Das Oesterreichische Schulmuseum in seinem neuen Heim.) Gestern nachmittags fand in feierlicher Weise die Wiedereröffnung des Oesterreichischen Schulmuseums statt, das nun im XIX. Bezirk, Haydngasse 19, in dem historisch denkwürdigen Gebäude, in welchem die österreichische Volkshymne entstanden ist, untergebracht ist. Der Präsident der Gesellschaft, Landtagsabgeordneter Dr. v. Baechle, begrüßte die Festgäste mit einer Ansprache. Der Vizepräsident des Landesschulrates Doktor v. Marenzeller dankte allen jenen, welche sich um die Ausstellung verdient gemacht und begrüßte herzlichst das neue Unternehmen. Das Museum ist an Sonntagen von 10 bis 12 Uhr vormittags und an Samstagen von 2 bis 5 Uhr nachmittags für den allgemeinen Besuch, am Mittwoch von 2 bis 5 Uhr für den korporativen Besuch von Schulen geöffnet.

(Die Gemeinde Wien und die Wientalwasserleitung.) Wie wir vernehmen, hat die Compagnie des Eaux de Vienne als Konzessionärin der Wientalwasserleitung beim Magistrat der Stadt Wien als der zuständigen politischen Behörde erster Instanz eine Anzeige gegen die Gemeinde Wien wegen Wasserfrevels erstattet. Die Unternehmung erblickt eine Uebertretung der Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes darin, daß die Gemeinde am 6. September d. J. einen Schieber an dem Rohrstrange der Wasserleitung eigenmächtig geschlossen und Hochquellenwasser in das Reservoir der Gesellschaft in Breitensee eingeleitet hat. Bekanntlich erfolgte die erwähnte Maßregel auf Grund eines Beschlusses, welchen der Gemeinderat anläßlich der einseitigen Auflösung des mit der Gesellschaft geschlossenen Vertrages am 5. September d. J. gefaßt hat.

(Ehrengrab.) Der Stadtrat hat nach einem Berichte des Stadtrates Dr. Krenn zur Ehrung des Andenkens und der wissenschaftlichen Leistungen des am 21. Dezember 1862 verstorbenen und auf dem katholischen Matzleinsdorfer Friedhofe beerdigten ersten Direktors der meteorologischen Zentralanstalt Karl Kreil ein Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhofe gewidmet.

(Wärmestuben.) In der Woche vom 24. bis 30. November wurden die sechs Wärmestuben des Wiener Wärmestuben- und Wohltätigkeitsvereines von 17.630 Männern, 15.407 Frauen und 39.955 Kindern, zusammen 72.992 Personen aufgesucht. Zur Nachtzeit wurden dieselben von 8833 Männern, 282 Frauen und 10 Kindern benutzt. Unter diesen befanden sich 174 Personen, die von der Polizei den Wärmestuben überstellt wurden.

Tagesneuigkeiten.

Theatersitten in Wild-West.

Eine Première in Arizona.

Dem führenden Organ von Arizona (U. S. Amerika), dem „Daily Liar“, entnehmen wir nachstehenden Bericht. Vorkommnisse ähnlichen Charakters in Wien lassen die Schilderung des amerikanischen Kollegen einigermaßen aktuell, hoffentlich aber nicht vorbildlich erscheinen. In freier Uebersetzung lautet der Artikel:

„Ein vergnügter Abend in unserem Theater.“

(Publikum spielt mit. — Galeriebesucher macht vorlaute Zwischenrufe. — Regisseur Will Entin stiftet Frieden. — Zehn Schüsse zehn Treffer. — Bravo Will!)

Gestern fand in unserem Opera House die erste Aufführung des Schauspiels „Ich“ von unserem lieben Mitbürger Barton statt. Wahrlich ein gutes Stück! Wurde aber von einigen Leuten nicht verstanden. Doch davon später.

„Ich“ behandelt ein eigenartiges Problem. Die Heldin ist eine junge Dame . . . Doch lassen wir den Autor selbst sprechen:

„Daisy ist einundzwanzigeinviertel Jahre alt. Ihr blondes Haar ist gelockt. Eine Locke hängt über das linke, nicht durchstochene Ohrläppchen hinunter. Wenn Daisy erregt spricht, wirft sie den Kopf zurück, so daß diese Locke auf das rechte Ohr zu liegen kommt. Wenn sie zärtlich ist, pflegt sie das rechte Auge halb zu schließen, das linke groß aufzureißen. Beim Gehen wiegt sich Daisy leise in einer Hüfte und beugt den Oberkörper so weit vor, daß man bemerkt, daß sie ein niederes Korsett trägt. Eine leichte Schwellung des rechten Nasenflügels deutet an, daß Daisy einseitig verschnupft ist, doch darf sich dieses Leiden nicht allzu deutlich in der Sprache bemerkbar machen.“

Nach dieser kleinen Regiebemerkung des Autors, durch die wohl die äußere Erscheinung von Daisy genau charakterisiert wird, ganz kurz das Problem des Stückes. Daisy ist ein treues, hingebendes Wesen. Sie liebt stets nur Einen allein. Und zwar stets nur den, mit dem sie gerade allein ist. Dabei hat das Werk viele solcher Duoszenen.

Es war also im dritten Akt. Das Problem der treuen Liebe war eben zum neunten Male ad oculos demonstriert worden, da machte ein Herr in der sechsten Orchesterreihe eine kleine Bemerkung, die etwa klang wie „Pfui Teibel!“ Gerade da brach ein starker Beifallssturm los. Die Künstler auf der Bühne bedankten sich, da rief ein anderer Herr auf der zweiten Galerie: „Wir applaudieren ja dem Kritiker in der sechsten Orchesterreihe, nicht euch!“

Natürlich war das den Schauspielern nicht recht und einer von den jüngsten Kräften machte die zarte Bemerkung: „Auf eure Kritik wird gepfiffen!“ Dadurch fühlten sich sonderbarerweise einige Herren im Parkett verletzt und sprangen von ihren Sitzen auf, um das Haus zu verlassen.

Nun mengte sich der Spielleiter Herr Will Entin in die Diskussion ein und rief in den Saal: „Wir dulden nicht, daß ihr das Theater vor Schluß der Komödie verlaßt. Wir müssen ja auch bis zum Ende mittun!“

Ein Theaterreferent erwiderte: „Aber wir glücklicherweise nicht!“ Und wollte gehen. Der Regisseur aber schrie ihm zu: „Wie wollen Sie dann ein Referat über unsere Novität schreiben?“ „Ich schreibe über diese Komödie gar keine Kritik!“ entgegnete der Schriftsteller. Doch da wurde Herr Will Entin sehr erregt und donnerte in das Publikum:

„Keine Kritik?! Das ist eine Roheit!“

Das Publikum nahm nun zum Teile gegen die en Fest- und Gelegenheitsredner Stellung und pfiff und zischte. Herr Will Entin verließ einige Augenblicke die Bühne, erschien dann wieder bei der dritten Kulisse links und überschrie mit Stentorstimme den brausenden Lärm: „Ich werde gleich Ruhe stiften!“ Dann zog er einen sechsläufigen Revolver aus der Tasche, zielte auf den oppositionellen Kritiker, drückte los . . . und brachte so diese böse Zunge zum Schweigen.

In rascher Folge gab der treffsichere Spielleiter noch neun weitere Schüsse ab, wodurch er sämtliche mißliebigen und übelwollenden Theaterreferenten unserer größeren Journale radikal beseitigte. Beim Kritiker der „Morgenposaune“, der zuweilen auch milde Referate geschrieben hatte, machte der Regisseur eine kleine Ausnahme. Rücksichtsvollerweise sandte er ihm nur ein Projektil in rückwärts gelegene Weichteile, um den betreffenden Referenten hiedurch wohl an der Benützung eines Sitzplatzes, nicht aber an seinem sofortigen Fortkommen zu behindern.

Nach diesem amüsanten Intermezzo trat wieder vollkommene Ruhe ein und der überlebende Teil des Publikums folgte den letzten Szenen der Novität mit zitternder Spannung.

Das energische Auftreten des Regisseurs fand bei allen Objektiven die größte Anerkennung. Anständige Leute gehen in ein Theater, um zu applaudieren, um die Schauspieler und die Autoren herauszurufen und um den Damen reiche Blumenspenden zu bringen, und um eventuell berufsmäßig glänzende Referate zu schreiben. Solche Besucher aber, die zu wenig Selbstzucht besitzen, um ruhig auf ihren Plätzen sitzen zu bleiben, wenn ihnen auf der Bühne etwas gegen den Strich geht, oder die gar Mißfallsbezeigungen laut werden lassen, solche Besucher also müssen vertilgt werden. Was Mr. Will Entin auch tat.

* * *

Nachträglich erfahren wir, daß die Direktion den Regisseur Will Entin seiner Funktion enthoben hat. Sie mißbilligt es, daß dieser Herr zwei weitere Schüsse, die er in seinem Revolver hatte, nicht auch abgefeuert hat und durch diesen Mangel an Energie ein Oppositioneller lebend das Haus verlassen konnte. Zum Nachfolger des entlassenen Regisseurs ist Texas Bill, der weltberühmte Schütze und Nationalheld von Wild-West, auserseher.

Robert.

Wiener Originale.

XVIII.

Tailleur Hoffmann.

Schneiderei gehört längst schon zu den anerkannten Künsten. Alle Welt liegt den großen Tailleuren zu Füßen, alle Welt drängt in ihre Salons, prunkt mit ihren Namen. Sie kaufen sich die päpstliche Freiherrnkrone wie Drecoll, sie heiraten Fürstinnen der Bühne wie Worth, sie sind umschmeichelt von schönen Frauen und die Sterne des Theaters sind mit ihnen solange per Du, bis es zum Zahlen kommt. In der großen Gesellschaft, bei Premièren, beim Derby gehören sie zum Bild, sie beherrschen den Korso, ihre Macht reicht über Baden und Vöslau nach Ostende, Nizza und Karlsbad.

Im eleganten Wartesalon des Herrn Hoffmann treffe ich vorerst einige seiner Angestellten, es sind ein paar entzückende schlanke Mädel in diskretem Schwarz darunter. Sie blicken zu

Boden und heften mit seidenen Fäden. Peter Altenberg hätte sie sofort zur Herstellung seiner „indischen Mariazell" genommen. Nach einigen Sekunden kommt Herr Hoffmann. Er sieht aus wie ein Dichter, er spricht leise, seine Sätze brechen halb ab, seine Augen blicken von unten nach oben, er sucht immer nach Stimmungen, er kennt nur sich und seine Sachen, er weiß nur von seiner Mode, und die anderen sind Nachbeter. Kurzum, so stelle ich mir Hugo v. Hofmannsthal vor. — Er ist halb Modekönig und halb Kavalier. Das Gilet zum Beispiel und die blaßblau gestreifte Krawatte könnten jedem Auersperg zur Ehre gereichen, der Rock ist tailleurhaft, der soll indes nur den wahren Menschen verdecken. Das Taschentuch, so groß wie eine Grenobler Nuß, steckt im Aermel, die Manschetten sind letzter Schnitt und nur einige Nadelköpfe im Sakko sagen: „Siehe da, wir bezeugen es, der Mann ist ein Schneider, um euch zu gefallen."

Es riecht nach dem letzten Parfum, ich glaube er heißt „Bülbül", und ich sitze Herrn Hoffmann gegenüber und spreche von der Mode, weil uns das näherbringen soll.

Von der Wiener Mode. Herr Hoffmann sagt: „Die Zeiten sind vorbei, da Paris geherrscht hat. Bisher waren die Konfektionäre zu bequem, um sich die Sache zu ändern, nun aber ist's anders geworden." Er zeichnet Kleider, er komponiert Stoffe, er analysiert Wirkungen, er nimmt seine Anregungen von der Bühne, aus der Literatur, von der bildenden Kunst und aus der Natur. Und ist sein Werk vollendet, dann begibt er sich nach Monte Carlo und sagt: „Hier bin ich", und die Amerikaner und die Franzosen kommen zu ihm. Er reist nach Paris und sie sagen: „Man muß sich beeilen, Herr Hoffmann ist hier!" und dann geht er nach Karlsbad und die Fremden nehmen ihm alles ab, als ob er Ok[k]asion veranstalten würde. Der Rest seiner Tätigkeit bleibt für Wien.

Ob die Wienerin sich zu kleiden versteht?

Herr Hoffmann bekommt einen Zug von müder Entsagung um die Mundwinkeln, schließlich sagt er „Nein". Und da ich ihm vorhalte, daß man so viele chic gekleidete Frauen sieht, wird er noch müder. Ich will ihn freundlicher stimmen: „Die Frauen Ihres Ateliers!"

Er spricht: Es gibt zweierlei Frauen, die einen haben Geschmack; das sind die, die zu mir kommen und sagen: „Bitte, ziehen Sie mich an." Und dann solche, die keinen Geschmack haben, das sind die, die zu mir kommen und sagen: „Ich möchte das Kleid in dieser und jener Weise haben."

Er läßt Individualität und Formensinn beim Publikum nicht gelten, er ist der Mann, der Individualitäten zeigt, der Formen erschafft und Wirkungen erkünstelt. Aber man muß ihm vertrauen.

Unsere Aristokratin?

„Geht sehr schlecht angezogen und wundert sich immer, daß die bürgerliche Gesellschaft besser gekleidet ist." Je höher der Rang, desto schlechter wird's mit der Kleidung. Es gibt Aristokratinnen, die an ihren Kleidern nur das große Aermelloch oder den hohen Stehkragen wünschen, alles andere ist ihnen egal, wenn nur ihre diesbezüglichen Aufträge erfüllt werden. Und es gibt im ganzen in Wien nur fünfhundert Damen, die Toilette machen, da aber fünfhundert Damenschneider auf dem Platze sind, so meint er mir mit diesen Daten den Umstand illustriert zu haben, daß ein Wiener Tailleur sich um das Ausland bekümmern muß. Die Amerikanerinnen, das sind Kundschaften! Er zählt mir von seiner Klientel die Damen Gould, Vanderbilt und Rockefeller auf. Sie kommen nur deshalb nach Wien, um sich Toiletten zu kaufen. Mistreß Vanderbilt sagte ihm einmal: „Warum ich in Wien bin? Weil ich Van Dyck hören will und mir Kleider bei Ihnen machen lassen muß." Und Mistreß Rockefeller kam ihm ins Atelier geschneit und bestellte Kleider um wahre Unsummen und zahlte nicht einen Kreuzer, sie ließ sich alles übers Wasser schicken, statt es mitzunehmen. „Warum wollen Sie denn diesen ungeheuren Zoll bezahlen?" fragte Herr Hoffmann teilnahmsvoll. „Papa erlaubt mir nicht, die Einkünfte Amerikas um einen Cent zu schmälern," sagte Frau Rockefeller, und die Kleider wurden ihr geschickt und der hohe Zoll hat Papa wirklich nichts geschadet.

Wir kommen dann auf die Toiletten unserer Schauspielerinnen, und ich sehe, daß Herr Hoffmann um einigen Nuancen elegischer wird. „Es gibt nichts Angenehmeres," sagt er, „als den Verkehr mit hübschen, talentierten Schauspielerinnen; in der Sekunde aber, da man die Rechnung schickt, ist's mit dem guten Einvernehmen aus." Herr Hoffmann klagt bitter darüber, daß der Tailleur niemals bei den Richtern oder beim Gewerbegericht Schutz findet; er wird immer als Ausbeuter behandelt. Und besonders die Richter! Er erzählt mir von einer Szene. Um Herrn Hoffmann jede Unannehmlichkeit zu ersparen, erkläre ich hiemit, daß es ganz leicht möglich ist, daß er jenen antiken Fall gemeint hat, in dem eine hübsche junge Dame durch ihre ebenso sympathische als unbekleidete Erscheinung auf eine Reihe von Männern so günstig wirkte, daß man sie von aller Schuld freisprach. Herr Hoffmann erzählt von der schönen Mascha Markwordt. Er richtete ihr ein Kleid, bekam dafür nichts gezahlt, mußte die Prozeßkosten ersetzen und bereitet sich jetzt darauf vor, daß er ihr noch das alte Kleid bezahlen muß.

Wir lassen jetzt ab von dem düsteren Thema des Zahlens und sprechen von dem Talent der Schauspielerinnen, mit dem sie Roben zu kreieren verstehen. Da war ja Frau Odilon zum Beispiel. Herr Hoffmann wird wärmer: „Das glaub' ich, das war eine geniale Frau, aber denken Sie nur ja nicht, daß sie die Roben schuf.

Sondern?

„Frau Odilon erzählte mir ihre Rolle, ich las das Buch und dann studierte ich fieberhaft, welchen Charakter ich der Robe zu geben hatte." Kurzum die Sache spielte sich so ab: Herr Hoffmann schuf die Robe und Frau Odilon trug sie. Bei der Generalprobe besah er sich sein Werk und fand hier oft Anlaß zu Korrekturen. Da waren zum Beispiel „Die beiden Schulen". Frau Odilon trug bei der Probe einen Mantel, der sie klein machte. „Vorzüglich, Madame, Sie sehen plump aus," sagte Hoffmann. Und bis zum Abend war ein anderes Kleidungsstück zur Stelle.

Ein anderesmal gab es einen noch stärkeren Konflikt. Herr Hoffmann erblickte Frau Odilon nach der Probe: „Sie haben mir die Rolle schlecht erzählt, Sie haben die Partie nicht erfaßt, Sie kommen in dieser Toilette zur Verführung. Er hat sie aber schon in dieser Robe gesehen, man verführt einen Mann nicht, wenn man die gleiche Robe wie beim letzten Rendezvous trägt. Aber — mir kann's recht sein." — Und Frau Odilon sah das wuchtige Argument ein, am Abend wurde ihr Partner in einem funkelnagelneuen Kleid verführt.

Bei solchen Anlässen heißt es fix sein. Geschwindigkeit ist keine Hexerei. „Ich muß heute zum Concordiaball," sagte Frau Kopacsi zu Herrn Hoffmann — das war um $^{1}/_{4}$8 Uhr abends — „und ich brauche ein neues Kleid." Um $^{3}/_{4}$11 Uhr nachts war Probe, um $^{1}/_{4}$12 Uhr trat Frau Kopacsi in den Sophiensaal und um 2 Uhr morgens stand die Schilderung ihrer Robe schon in einigen Blättern.

Ein anderes Husarenstück. In der Vorwoche hatte eine glückliche Braut zwei Verlobungssoupers mitzumachen. Eines bei sich zu Hause und eines beim Bräutigam. Die Toilette war fertig. Als die Dame das Kleid anzog, sagte Herr Hoffmann: „Welche Toilette nehmen Gnädigste zum Souper bei Ihrem Herrn Bräutigam?" „Die gleiche." Herr Hoffmann lachte ironisch und die arme Braut verstand was er meinte. „Helfen Sie mir, teurer Meister! Sie haben recht, ich kann zwei Soupers nicht in derselben Robe mitmachen." Hoffmann half und die Braut hatte in drei Stunden ein zweites Sensationskleid.

Herr Hoffmann erzählt mir dann, daß die grande cocotte noch immer maßgebend für den Geschmack der wirklichen Dame ist, daß es noch immer für bon ton gilt, das, was die anerkannte Halbwelt trägt, in den Salons von Klasse nachzumachen. Er erzählt mir ferner, daß es heute keine große Schauspielerin mehr gibt, daß die Prachttoiletten nicht mehr auf der Bühne zu suchen sind und daß die Mode jetzt kleine, häßliche Pelzärmel verlangt, die er aber nicht nachahmt, weil er sich nichts aufoktroieren läßt.

Wie er Kleider dichtet?

Nach Impressionen. Da war er einmal in Amsterdam und sah einen Van Dyck und da fiel ihm eine wundervolle Robe ein, und ein andermal promenierte er im Park von Eisgrub. Der Gärtner hatte Stiefmütterchen von sonderbarer Farbe zusammengestellt. Hoffmann aber stellte sich hin, nahm einige von den Blumen, zeichnete ein Kleid und kreierte neue Dessins. Oder er geht in die Oper oder ins Burgtheater, oder er liest ein Buch. Sehen muß man und künstlerisches Gefühl muß man haben, das ist die Vorbedingung für den großen Tailleur.

Zwei Damen kamen; ich sah noch, wie ein ganz nichtssagender Mantel am Leibe einer Probiermamsell zum Sensationsstück wurde, und dann waren Hoffmanns Erzählungen verklungen. Es gibt viele Dichter mit Schneiderseelen, der Tailleur, in dem ein Poet schlummert, ist eine Seltenheit. A. D.-G.

Wettringen im Theaterskandal.

(Wien und Berlin. — Kulissenskandal und offener Skandal. — Die Schlachtfelder des Parketts. — „Der literarische Salon" von Bauernfeld und M. G. Saphir. — Politische Skandale. — Windisch-Graetz und die Seressaner. — Der kopflose Feldherr. — Die zwei Theresen und ihre blutigen Verehrer. — Das Trauerspiel im Schauspiel. — Auch eine Coburg-Affäre. — Die Wenzel Scholz-Abende. — Die Skandalen Premiere der „Familie Wawroch". — Berliner Sonntage von einstens im Wallner-Theater. — Das gelynchte „Opfer der Wissenschaft". — Wien auch auf diesem Wege zur Weltstadt.)

„Sie müssen schon so manchen Theaterskandal miterlebt haben und einiges davon zu erzählen wissen — erzählen Sie doch!" wurde ich nach den zwei gewiß anregenden Bahr-Abenden im Deutschen Volkstheater aufmunternd interpelliert. Ach, dieses leidige Vergnügen, sich an vieles erinnern und einer geehrten Zuhörerschaft darüber vorplaudern zu können — ein billiges Vergnügen, es kostet blos so ziemlich das ganze bißchen Leben als Sammelzeit — und die Jugend ist nur darum so herrlich schön, weil man sich an so wenig noch zu erinnern hat! Nun, Zeit- und Erinnerungsraum hätte ich allerdings genügend gehabt für das Miterleben aller erdenklichen Theaterskandale, in Wien speziell — wenn es deren überhaupt recht viel erzählenswerte gegeben hätte. Darin aber hat sich die alte Kaiserstadt an der Donau von der jungen Kaiserstadt an der Spree unterschieden, daß sie bis in die jüngstvergangene Zeit nie einen rechten Boden für die hier in Betracht kommende Gattung des Theaterskandals geboten hat — für das laute Kampfesgetümmel bei offener Szene nämlich, auf den Schlachtfeldern des Parketts. Was hinter dem Vorhang, hinter den Kulissen, was zwischen den vier Wänden der Direktionskanzleien und der Schauspielerinnenboudoirs sich abzuspielen pflegte — das freilich gehört in ein anderes Kapitel. Man kann sogar zur richtigen Kennzeichnung dieses Moments der Wiener Theaterpsychologie sagen, daß, je bodenständiger hier allezeit das lauschige, amäßerliche, nur durch den gemütlichen Tratsch verlautbarte Kulissenskandälchen war, umsoweniger geschaffen erwies sich die alte Wiener Art für die tobenden und johlenden Parteienkämpfe, für die Demonstrationsexzesse — am wenigsten, wenn es sich um literarisierende und ästhetisierende Geschmacksurteile handelte, die, sozusagen, mit Brachial- oder wenigstens Lungengewalt entschieden werden sollten.

Das einzige Ereignis im alten Wien, das annähernd an diesen Begriff von „Theaterskandalen" rühren konnte, sich aber in äußerst „hoffähigen" Formen hielt — denn es spielte im Burgtheater — war gegen Ende der Dreißigerjahre die mit den Akzenten eines scharfen Publikumsprotests ausgesprochene Ablehnung der Bauernfeldschen Lustspielsatire „Der literarische Salon", worin der damalige „Beherrscher der Wiener Kritik", der die Schellenkappe als Krone trug, der „Humorist" M. G. Saphir, angegriffen und verhöhnt erschien. Nicht die mächtige Gönnerschaft allein, deren sich Saphir in den Reihen der „Oberen Zehntausend" erfreute, und nicht seine auch sonstige unbestreitbare Popularität waren die alleinbestimmenden Faktoren dieses Protests gegen den damaligen „Beherrscher des Wiener Lustspiels" gewesen, — es war ebensosehr der Ausdruck eines widerstrebenden Empfindens der Burgtheaterwelt dagegen, diese Bühne zum Schauplatz von Persönlichkeitsspielen und Persönlichkeitskämpfen zu machen. Wie gesagt, das war der erste und vereinzelt gebliebene Fall des scharfen Lautwerdens von Dissonanzen an einem Theaterabend, weil grundsätzliche Meinungen sich verletzt fühlten.

Politische Lärmszenen allerdings gab's in den Wiener Theatern in und unmittelbar nach dem Jahre 1848 öfters. So wurde einmal eine Komödie „Die Schule der Philister" von Karl Elmar im Theater an der Wien nicht zu Ende geführt, weil sie dem radikalen Publikum dieser Bühne zu „reaktionär"

(Nachdruck verboten.)

Der Schiedsrichter.

Eine Szene nach beliebtem Muster.

Von

Sigmund Schlesinger.

Humbert, Schriftsteller; Ludolf, Schriftsteller; Selma, Humberts Frau.

Selma, Ludolf.

Ludolf (lebhaft erregt): Begreif's ein Mensch, warum du so außer dir bist! Ich nur hab' ein Recht, außer mir zu geraten darüber, daß du außer dir bist. Und warum das? Weil ich Humbert sagen will, wie es zwischen mir und dir steht? Das bringt dich in Alarm? Ja, was hast du dir denn gedacht? Du hast doch nicht vielleicht gar erwartet, daß ich bei einem ménage à trois im alten Stil die Rolle des Hausfreundes übernehmen werde? Ich, ein Soldat der „Moderne"! Und Humbert, mein Waffenkamerad. Zwischen Kameraden muß doch so was ins Reine gebracht werden! So was Einfaches! Du hast ihn zufälligerweise früher kennen gelernt als mich, sonst hättest du mich gleich gewählt — soll dir dein ganzes Leben durch so einen Kalenderzufall verdorben sein? Und was würde er dabei profitieren? Lieben kannst du ihn ja doch nicht mehr. Also ist das Natürlichste die sofortige Klarstellung der Verhältnisse. Das gehört doch zu den allerersten Lehrsätzen unserer Schule, der neuen Lebensschule.

Selma: Ach was, alte Schule, neue Schule — für mich gibt's da nur die eine, immer gleiche Schule, in welcher die Männer die unbeholfensten, dümmsten Schüler sind und bleiben und das Gescheiteste, was sie tun können, ist darum, uns Lehrerinnen aufs Wort zu folgen. Gerade weil ich mir mein Leben nicht verderben will, will ich keine Auseinandersetzungen, keine Szenen und Kämpfe, wo ich in Stille ein bißchen Glück genießen kann.

Ludolf: In der Stille der Verlogenheit?

Selma: Nein, in der Stille des Geheimnisses, dessen Zauber den Genuß erhöht! Ist's denn ein Genießen, was so plump ans große Tageslicht geschleppt wird? Mich verdrießt's sogar, daß wir offen Bruderschaft getrunken haben und vor aller Welt „Du" sind, der Reiz des vertraulich süßen, verstohlenen „Du" geht dadurch verloren. Aber nun gar alles an die große Glocke hängen — das lasse dir nur ja nicht einfallen, Ludolf, denn du kannst dann Humbert gleich auch sagen, daß alles vorbei ist —

Ludolf: Aber, Selma, was du von mir begehrst, ist eine Verleugnung aller meiner Prinzipien, ein Verrat an meiner Fahne.

Selma: Geh', du wirst langweilig — liebt man denn mit Prinzipien? Damit du aber siehst, wie engelsgut ich bin, will ich Nachsicht mit deiner Pedanterie haben und dir eine Gewissensberuhigung verschaffen. Ich will die Frage einem Schiedsrichter vorlegen, dessen Ausspruch du gewiß gelten lassen wirst.

Ludolf: Und der wäre?

Selma: Humbert.

Ludolf (überrascht): Humbert? Meine Zunge bindest du, und du . . .?

Selma (ihm mit spöttischem Lächeln die Wange tätschelnd): Kindskopf! Sage mir doch nur, warum die Männer gar so dumm sind — besonders die geistreichen! Ja, ich werde Humbert zum Schiedsrichter aufrufen, aber die Fragestellung wirst du gefälligst mir überlassen, denn nicht von der Frage selbst, sondern von der Fragestellung hängt zumeist die Antwort ab. Ich würde ihn fragen —

Humbert (tritt ein).

Humbert (der das letzte gehört hat): Was?

Selma: Ludolf hat mir den Plan seiner neuen Novelle „Das zehnte Gebot" entwickelt. Wir sind in einem Meinungsstreite über die entscheidende Wendung, die ich für grundfalsch halte. Da hab' ich dich zum Schiedsrichter machen wollen.

Humbert: Da fürchte ich wohl im vorhinein, ich werde dir unrecht geben müssen, du weißt, daß ich und Ludolf in literarischen Dingen nicht nur prinzipiell die gleiche Richtung haben, sondern daß auch unser persönlicher Geschmack gewöhnlich zusammentrifft.

Selma (hinterhältig lächelnd): Ja, das weiß ich — auch euer Geschmack, mitunter sogar in nicht literarischen Dingen. Aber trotzdem, oder vielmehr gerade darum rufe ich dich auf, weil du ja von vorneherein eher geneigt bist, Ludolf recht zu geben. Also er soll dir die Streitfrage vortragen. —

Ludolf (peinlich getroffen, blickt sie verlegen fragend an): Ich?

Selma: Natürlich du. Humbert muß doch beide Parteien in ihrer eigenen Mundart hören.

Ludolf (ärgerlich entschlossen): Nun denn, wie du willst (Zu Humbert gewendet.) Also, zwei Freunde, durch gemeinsamen Beruf, durch gemeinsame Denkart verbunden . . .

Humbert: Wie wir zwei . . .

Ludolf (nach einem Moment der Stockung): Jawohl, wie wir zwei. Aber eigentlich sind sie zu dreien, denn der eine ist verheiratet.

Humbert: Das bin ich.

Ludolf (wieder nach einem Augenblick der Befangenheit): Richtig, das bist du (leise in sich zusammenschreckend und das Wort rasch zurücknehmend) das heißt, nein, das bist du nicht. Nun will es das Verhängnis, daß sich der Freund leidenschaftlich in die Frau des Freundes verliebt und daß ihre Seele sich mit der seinen zusammenfindet.

Humbert (arglos lächelnd): Hier hört schon die Aehnlichkeit auf. Nein, das sind wir wirklich nicht.

Selma (ungeduldig drängend): Wenn du immer unterbrichst, kommt Ludolf nie zu dem Streitpunkte.

Humbert (wieder lächelnd): Und du möchtest schon gern recht behalten. (Zu Ludolf): Also der Streitpunkt.

Ludolf (mit gesteigerter Anstrengung): Also, der Freund will den Freund sofort von der veränderten Situation in Kenntnis setzen und ihn, den Grundsätzen der Wahrheit und des Rechtes der freien Selbstbestimmung gemäß, benachrichtigen, daß die Frau über sich anders verfügt hat, daß also die Ehe, deren einzige Rechtsgrundlage in unserer Ideenwelt die Seelengemeinschaft ist, für sie und ihn aufgehört hat. Das ist doch die natürliche, die einzig mögliche Lösung, der Freund erfüllt damit die Pflicht gegen den Freund, die Frau gegen den Mann und beide gegeneinander die Pflicht, ihren Bund zu betätigen.

Humbert: Liebe Selma, wenn ich Ludolfs Novelle schriebe, ich könnte ihr auch keine andere Lösung geben. Oder sollen die zwei vielleicht das lügnerische Versteckspiel der alten Ehebruchskomödie aufführen?

Ludolf (triumphierend zu Selma): Der alten Ehebruchskomödie — wie aus dem Herzen gesprochen. Siehst du, genau das, was ich gesagt habe, beinahe mit denselben Worten. Das ménage à trois-Spiel der alten Schule habe ich gesagt.

Selma: O, ihr glorreichen Apostel des allein seligmachenden Dogmas von der Wahrheit! Das haltet ihr für wahr, für natürlich? Von Liebe wollt ihr was verstehen?

gestört werden." — Aus dieser Darstellung ergibt sich zwar, daß die serbisch-bulgarische Zollunion so gut wie gescheitert ist, allein es fragt sich, ob bei einiger Wachsamkeit unserer Diplomatie oder bei größerem Respekt vor unserem Auswärtigen Amte es überhaupt zu diesem Unionsplane gekommen wäre. Des weiteren ist zu erwägen, ob die infolge des Scheiterns der Union bestimmt zu gewärtigende Spannung zwischen Serbien und Bulgarien für die Ruhe auf dem Balkan besonders förderlich sein wird. Jedes der beiden Länder wird nun durch seine Sympathien für die mazedonische Bewegung zu beweisen suchen, daß es trotz Oesterreich-Ungarn, dem man sich in diesem Falle beugen mußte, doch nicht darauf verzichte, selbständige Befreiungspolitik zu machen. Und ob dann die Großmacht Oesterreich-Ungarn wirklich so groß dasteht, wenn das kleine Serbien nach dieser frechen Herausforderung einfach sagt: „San mir wieder gut!", was mit großer Herzenserleichterung akzeptiert werden wird.

Tagesneuigkeiten.

Karneval 1906.

Aktuelle Faschingsfeste.

Originelle Ideen als Grundlagen für stimmungsvolle Faschingsfeste sind zur Karnevalszeit ein gesuchter Artikel. So seien denn nachstehend einige Vorschläge aus unserem Leserkreise der Oeffentlichkeit unterbreitet. Vielleicht findet der eine oder der andere Anklang.

* * *

Narrenabend verbunden mit Lumpenball.

Devise: „Eljen a haza!"

Einige Ehrengäste erscheinen als von der jetzigen Regierung ernannte ungarische Komitatswürdenträger. Das sind die armen Narren.

Die Mehrzahl der Festbesucher sind natürlich — Lumpen. Das frohe Fest, das lebenswahre Treiben erreicht seinen Höhepunkt, wenn die erwähnten Funktionäre halbtot geprügelt werden und ihnen unter Absingung patriotischer Sänge die Brieftasche, Geld, Uhr und Kette gestohlen werden.

Der beste Patriot und geschickteste Taschelzieher wird dann freigewählter Obergespan des Ball-Komitats.

* * *

Russenball.

Devise: Ein toller Abend.

Dieses Elitefest zeichnet sich dadurch aus, daß es kein „Vor der Ruhe" und „Nach der Ruhe", sondern nur ein „Während der Unruhen!" gibt.

Statt der „Damenwahl" im Kotillon gibt es nur „Dumawahl". Wenn gut arrangiert, fällt die Neuerung sehr scherzhaft aus.

Das Musikprogramm enthält unter anderem einen Chor: „Das Leben für den Zar?" gespielt von der letzten treugebliebenen russischen Militärkapelle.

Dann einen scherzhaften Hymnus: „Ich knüpfte manche zarte Bande...", exekutiert von den vereinigten Scharfrichtern Treptows.

„Paris, Paris ... du Zauberparadies" (aus Ch. Weinbergers Operette „Das gewisse Etwas"), gesungen von dem Chor der pflichtbewußten Großfürsten.

Dem Russenball könnte ein Bombenerfolg prophezeit werden können.

* * *

Kartellball.

Devise selbstverständlich: Car tel est mon plaisir.

Das Ballfest steht im Zeichen des Eisens. Ihr Erscheinen stellen in sichere Aussicht: Ein in eine Eisen-Aktiengesellschaft umgewandeltes Mitglied der allerhöchsten Aristokratie, viele Finanzgrößen mit eiserner Stirne, der eiserne Rathausmann und Herr Angelo Eisner von Eisenhof.

Als Kotillonorden wird die Prager-eiserne Krone verteilt.

Damenspende: Eisenwerte mit Miniatur-Dividenden.

* * *

Wiener Plattenball.

Der Phantasie ist weitester Spielraum gegeben. Natürlich Maskenzwang. Ausgeschlossen sind nur Phonographen- und Photographenplatten.

Von Gruppen sind angemeldet: „Autorenplatte" unter dem Untertitel: „Die Bühnenleerer", ferner „Parlamentsplatte" (Leiter: Graf Adalbert Sternberg) unter der Devise „Bildung macht frei!", ferner „Wohltätigkeitsplatte", bestehend aus Hunderten von Damen und Herren, die ein großes goldenes Wiener Herz, begraben und zerdrückt durch tausend Ehrenkarten für allerlei Wohltätigkeitsfeste, vor sich tragen lassen.

Robert.

Wiener Originale.

XX.

Ludwig Gruber.

Am 14. Januar wird er beim „Grünen Tor" sein Opus 1000 vorführen!

In Worten: Opus tausend! Damit nicht vielleicht jemand glaubt, es sei ein Druckfehler. Ist rund einunddreißig Jahre alt und wird wohl noch so viel schreiben, wie alle Unsterblichkeiten vor ihm zusammengenommen. In besseren Familien mit erwachsenen musikalischen Töchtern kennt man etwa dreißig von ausgewählten Schubert-Liedern; von Gruber kennt man fünfhundert. Man hat sie nicht alle im Kopf, aber man erinnert sich an sie, wenn man Text oder Melodie hört. Und es sind viele reinliche, hübsche Dinge darunter. Sie haben Erfindung und Witz und tragen ein Stückchen Wiener Farbe mit sich herum, sind keine Schweinigeleien und keine billigen Dalliähs.

In der Vorstadt ist sein bescheidenes Heim. Ein Zimmer mit altmodischem Klavier, mit ein paar hübschen, zierlichen Bildern, mit vielen Noten und einer lieben, kleinen, wienerischen Frau. Das ist Salon, Arbeitskabinett und Schlafzimmer. Es geht schon nicht anders, wenn man das Wiener Lied als Verdienstgebiet erwählte. Da heißt's Tag und Nacht schreiben, kopieren und instrumentieren, davon bekommt man in jungen Jahren rote Augen und zittrige Hände.

Er ist als Sohn des „Gruber Toni" schon mit dreizehn Jahren zur Volkssängerei gekommen, damals entstanden Opus 1 und 2 und seit dieser Zeit geht's flott weiter. Seine erste Jugendzeit ist erfüllt von dichterischen Bestrebungen. Er sandte einen Band Lyrik der Prinzessin von Montleart, die diese Widmung mit hundert Gulden honorierte. Dann kam er durch Vermittlung des bekannten Musikschriftstellers Albert Kauders ins Konservatorium. Alle, die ihn hörten, erkannten sein Talent an und freuten sich, daß ihm Gelegenheit zur weiteren Ausbildung geboten sei. Tagsüber studierte er und abends verdiente er als Volkssänger-Kapellmeister soviel, um leben zu können. Zwei Gulden, drei Gulden, fünf Gulden per Nacht. Je nach der Qualität der Gesellschaft. Gruber schrieb unterdes auch für die Montag und für Guschelbauer, attachierte sich an Wiesberg, den Beherrscher des Volksliedes, und gelangte in erstaunlicher Frist zu Opus 100.

Generalbaß, Kontrapunkt und Harmonielehre halfen ihm nicht viel. Sie schützten ihn nicht vor Hunger, er mußte also in die Provinz und lernte dort viele Größen des Variétés kennen. Er zählt sie mir auf: Schenk, Mizzi Bansy und Sami Neumann. Ich vermute, daß diese Namen auf ihrem Gebiete so viel bedeuten wie Girardi, Geistinger und Blasel auf dem der Operette. In jener Zeit entstand „Die alte Uhr", ein vielgesungenes, schönes Lied, dessen Text von Schenk stammt und turmhoch über die Sorte der sentimentalen Waschlappenliteratur reicht.

„Fix sein, ist alles," sagt Herr Gruber. „Wie's die „Elektrische" in Wien ring'führt hab'n, da hab' i a Lied g'schrieben „D'Elektrische kummt", und a so bin a allweil mit der Zeit gangen." — Das scheint wohl die ganze Kunst der Popularität zu sein. Auf dem Gipfel seines Triumphes als Wiener Liederkomponist stand Gruber aber erst, als ihm Hornig das Lied brachte:

Es wird a Wein sein
Und mir werd'n nimmer sein,
's wird schöne Madeln geb'n
Und mir wer'n nimmer leb'n.

Gruber schuf zu diesem prächtigen Text, der in die innerste Wiener Volksseele greift und, ans nahe Ende erinnernd, die Menschen noch einmal zum Genießen all der Dinge aufmuntert, die dem Wiener Inbegriff des Genießens sind: der Wein und die Maderln, eine fließende, leichte, liebenswürdige Musik, die wir nun schon seit Jahren summen, die sich noch immer auf der Oberfläche hält und in Grinzing und Sievering an schönen Herbsttagen, wenn der Heurige einmal recht geraten ist, den Höhepunkt aller Stimmung charakterisiert. — In barem Gelde trug sie fünfundzwanzig Gulden ein, diese Popularität! Das ist schon ein Höchstsatz der Verleger, und man kann sich nun denken, was die Anfänger auf dem Gebiete des Wienerliedes für ihre Erzeugnisse erhalten, wenn Komponisten von Talent, von den Kenntnissen und von der Beliebtheit Grubers derartige Honorare beziehen. Gruber würde sich natürlich glücklich schätzen, wenn man ihm alle seine tausend Lieder mit diesem Honorarsatz bezahlt hätte, aber nicht jedes Opus war ein Schlager, und die Honorare der Anfangszeit betrugen nur zehn und zwanzig Kronen. Und da mußte man froh sein, wenn sich schnell ein Abnehmer fand.

Es ist seiner Ansicht nach noch nicht aus mit der Wiener Musik, er hat sie von Natur aus erlernt, ohne Vorbild, dann hat er Johann Strauß gehört und Ziehrer, das sind seine Meister gewesen. Im Wiener Walzer thun sie's allen zuvor, im Volkslied aber, das mit einfachen Melodien wirkt und dem Charakter und der Stimmung der Leute gerecht wird, glaubte er an den verstorbenen Komponisten Krakauer, dessen wenige Lieder eine Fülle von echten, ungekünstelten Melodien, in schier unversiegbarem Strom fließend, bargen.

„Viel plagt hab' i mi", sagt Gruber, „und es is heut' a no nix Leicht's, ohne 's Klavierspiel'n in die Gasthäuser zu leb'n, aber froh bin i do, daß i nix anders word'n bin als a Musiker". Er sollte nämlich als Neffe des Altbürgermeisters Uhl Magistratsbeamter werden, als er indes seine Neigung für das Metier seines Vaters kundgab, ließ ihn Uhl fallen. — Wir sprachen dann wieder vom Wiener Walzer. Gruber lächelt über die Bemühungen der heutigen Komponisten, Walzer zu schreiben, das Publikum will keine Introduktionen mehr, alle die tausend Gedanken, die der Musiker auszusprechen hat, müssen verkürzt werden, oft ganz unterdrückt, und Josef Strauß würde, wenn er aufstehen könnte, sehr erstaunt sein über die Geschmackswandlungen und über die Ideen der Wiener von einem echten Walzer.

Einfluß von Brody und Maxim auf das Wienerlied?

Er meint mit leisem Seufzen, es sei sehr traurig, daß das heute die Stätte sei, an der man wienerischer Musik begegnen wolle.

Seiner Ansicht nach handle es sich in solchen Lokalen nur um Lärm und Rausch, und Sieger im Kampfe sei der, der die lärmendste Musik gemacht habe. Das seien gewöhnlich die Amerikaner, die es meisterlich verstünden, in ihrer Musik tollste Rauschlaune anzudeuten.

Wo man echte Wiener Musik hört?

Bei den Volkssängern älteren Genres, denn der Nachwuchs ist unbedeutend, und bei den Natursängern, die beim Heurigen paschen und dudeln und mit Strenge darauf sehen, daß kein unwienerisches Lied gesungen wird. Dann aber auch in Deutschland. Herr Gruber erzählt mir davon, daß fast alle deutschen Kapellen Wienerlieder bestellen, daß sie mit ihnen die schönsten Erfolge haben und sie gern gut bezahlen.

Die Wiener Liedersängerinnen?

Mit wenigen Ausnahmen ist nach Ansicht des Herrn Gruber dieses Genre fast ganz verloren gegangen. Die Wiener Liedersängerin, die sich heute als solche ausgibt, reicht entweder stimmlich

---

oder ein Ende zu machen. Es war ein schöner Sommerabend, voll schwülen Erd- und Blumendufts nach lauem Gewitterregen. Als ich im Herrenhause ankam, waren die Damen nicht anwesend, nur der Major, der mich bei der offenen Tür seines Wohnzimmers vorbeigehen sah und hineinrief: „He, Fritz, alter Junge, woher noch so spät, wie geht's?" Ich merkte gleich, daß er seine gute Stunde hatte, wie er so gemütlich am offenen Fenster saß, neben sich eine Flasche Sherry, der sanft goldig leuchtete. „Setz' dich, schenk' dir ein!" und dabei blies er behaglich den Rauch seiner Zigarre vor sich, die eigentümlich aromatisch-brenzlich duftete und die er einer kleinen eisernen, silbertauschierten Kiste entnommen hatte. „Was machst du denn für ein Leichenbittergesicht, geht's nicht zusammen? He? Kenne das! Also schieß' los! Viel Geld kann ich dir freilich selbst nicht geben, du weißt ja wie hier die Sachen stehen, aber vielleicht als erfahrener Mann einen guten Rat, also was ist's?" Na, ich fing denn also an und klagte und schilderte ihm mein ganzes Elend, ohne aber von der Gertie etwas zu erwähnen, weil ich schon lange das Gefühl hatte — wie ich schon erwähnt habe — daß er mit der Geschichte nicht recht einverstanden war. Als ich endlich fertig war, schwieg er lange nachdenklich. „Hm, my fellow, ich will dir was sagen. Da gibt's nichts anderes als heiraten, eine einfache, gute Hausfrau dir suchen, die dich und deine Wirtschaft in Ordnung hält, ja, mein Junge, verzeih', dich auch, denn —" hier wurden wir durch einen Diener unterbrochen, der den Major dringend in den Stall rief, und ich blieb mit meiner Weisheit wieder allein. Mein Blick fiel auf das Zigarrenkästchen und fast mechanisch entnahm ich ihm eine jener feinen, ungewöhnlich sorgfältig gearbeiteten Zigarren, die seinen Inhalt bildeten und zündete sie an. Der Onkel kam längere Zeit nicht zurück, ich wurde ungeduldig und ging an das andere Ende des langen Ganges, der in eine Veranda mündete, um von dort aus die Rückkunft der Damen zu erwarten. Ich setzte mich auf den zwischen blühenden Gewächsen halb versteckten Diwan und blickte rauchend erwartungsvoll auf den Schloßhof, meine Seele durchwogt von den verschiedensten Gedanken, die immer zartere, immer fröhlichere Gestalten annahmen; die Zigarre hatte ich halb ausgeraucht weggelegt, ihr Geschmack wurde mir mit der Zeit zu süßlich, doch ihr Duft, vermischt mit dem der Blumen, umzog mich und schien auch emporzutragen, so daß ich fast meinen Körper nicht mehr fühlte und zu schweben glaubte; auf einem Tische standen schwerduftende Tuberosen; mir war es, als ob sie leise, ganz leise läuten möchten, eine Weise, die ich nie gehört und die sich dann mit dem Klange der von ferneher tönenden Abendglocken harmonisch verband. Die schon tiefstehende Sonne sandte ganze Garben Lichts über die Erde, ein Flammen, so rein und mild, wie ich es nie gesehen, und in diesen goldig purpurnen Strahlen sah ich die beiden Schwestern über den Hof kommen.

„Fröhlich winkte ich ihnen zu; mein Vorhaben, das mir noch vor kurzem so unendlich schwer erschienen war, kam mir wie eine Leichtigkeit vor, und so sah ich der entscheidenden Begegnung mit Gertie entgegen. Sie kam, das heißt nein, sie kam nicht; eine Gestalt trat auf mich zu, daß ich unwillkürlich den Namen Gertie ausstoßen wollte, schnell mich aber besann, denn Martha war es, die vor mir stand. Aber wie verändert, wie ganz anders als sonst; das waren ja fast dieselben feinen Züge, dieselbe zarte, schlanke Gestalt, in die ich so verliebt war, dieselben großen, schönen Augen, doch nein, nein, weit ernster und sinnender waren sie, und verwirrt, betäubt sprang ich auf und begrüßte die Eingetretene. Beide Hände streckte sie mir entgegen, so einfach und doch so herzlich: „Grüß' dich Gott, Vetter. Du hier?! Seit langer Zeit?!" Und wie sie so vor mir stand zwischen den Blumen, umflossen vom Abendrot, und wie es rings um mich duftete und klang und wie ich mich so frei und klar und mutig fühlte, da war es mir, als ob die Vergangenheit all' entschwände und eine schönere, reinere Zukunft vor mir erstehen möchte, und sanft sie zu mir niederziehend, sprach ich zu ihr; zuerst von der Freundschaft, die uns so lange verband — und dabei ruhte ihre Hand in der meinen — und dann, dann schien es immer freudiger um mich zu läuten und aus dem rosigen Nebel, der alles ringsum erfüllte, trat Gerties Gestalt vor mich hin und ihr Antlitz blickte mich so stolz, so spöttisch an, daß ich mich all der Stunden vergeblicher Qual erinnerte, die sie mir bereitet, und daß ich fühlte, meine Liebe zu ihr sei erstorben und eine andere, schönere, vielleicht schon längst in mir schlummernde, erwacht. Da schlang ich meinen Arm um Martha und sagte ihr, daß ich sie liebe und ob sie mein Weib werden wolle? Jähe Röte überflog ihr Gesicht; sie sprang auf: „Aber Fred! Fred! Was sprichst du? Das kann ja nicht sein! Gertie ist es ja doch, die —" und wie sie so verschämt, verwirrt vor mir stand, schien sie, die mir einst neben der anderen, blendendern so unbedeutend vorgekommen war, so lieb und schön, daß ich vor ihr niederkniete und noch einmal sie beschwor, die Meine zu werden. Leise küßte sie mich auf die Stirn. „Ja, Fred, ich will dein treues, tapferes Weib werden, und stehen uns auch noch viele Kämpfe bevor, ich will sie mit dir teilen, ich will mit dir arbeiten und sorgen — denn ich lieb' dich schon lange, lange! — und jetzt geh'. Heute nichts mehr, zu niemandem mehr! Versprich mir, dich drei Tage — Tage der Ueberlegung und Ruhe" — diese Worte sprach sie mit einem lieben, fast traurigen Lächeln — „von mir, von Welsburg ferne zu halten. Wenn du dann dein Herz mannhaft geprüft hast und diese Stunde kein Wahn war, so komme wieder!"

„Dann trennten wir uns; wie ich zu Hause gekommen bin, ich weiß es nicht; ich fiel dort in einen langen, tiefen, traumlosen Schlaf und als ich erwachte, trat erst allmählich das Geschehene klar vor meine Seele. Und seht! Was ich wie ein Somnambuler getan, das billigte, wie von einem ruhigen Glücke durchströmt, mein waches Herz.

„Meinem Versprechen gemäß erschien ich erst nach drei Tagen wieder auf Welsburg. Die Mutter war erschrocken, erstaunt, als wir vor ihr standen und segnete tief gerührt unseren Bund. Gertie wünschte uns mit dem bezauberndsten, unbefangensten Lächeln Glück und erklärte unsere Wahl als „geradezu himmlisch", kniff mir aber in einem Augenblicke des Alleinseins in das Ohr und flüsterte: „Ein Schlingel bist du aber doch" — und der Major! Der war ganz wunderlich, er rieb sich die Hände, dann umarmte er Martha und mich immer und immer wieder und erklärte uns auf englisch, holländisch und deutsch für ein verd— passendes Paar, und dabei trank er unmenschlich viel Sherry und schnitt dazu mit seinem schwarzen Totenkopfgesicht Grimassen, daß einem angst und bange wurde.

„Nachmittags zog er mich auf sein Zimmer: „Fred, mein Junge," sprach er, „du hast mir eine große Freude gemacht, einen wahren Herzenswunsch von mir erfüllt, aber jetzt sag' mir, du Teufelskerl, wie das alles so plötzlich gekommen ist." Und ich schilderte ihm alles ganz genau, meinen eigentümlichen Zustand und erwähnte auch nebenbei scherzend der gestohlenen Zigarre. Da blitzte es in seinem Gesichte auf; erst lachte er, dann wurde er ernst! „Hör' mich," sprach er, „ich bin viel herumgekommen, habe vieles gesehen und bin alt geworden, ich habe über das Leben nachgedacht, und ich sage dir, ob jetzt hier, im gebildeten Europa, ob im wunderbaren Indien, ob bei den Botokuden oder den Eskimos, die Sache ist immer dieselbe, alle Menschenherzen sind von einem Gedanken erfüllt, die ganze Philosophie läßt sich in ein Wort zusammenfassen: die Sehnsucht nach dem Glücksgefühl." Wohlgemerkt, nicht nach dem Glücke! Der Begriff ist zu vage; nun — jeder der armen Bewohner dieser oft recht niederträchtig unbehaglichen Erde will, und zwar jeder auf seine Weise wenigstens für kurze Zeit sich frei fühlen, frei von den,

nicht aus oder sie hat zu wenig Intelligenz und wird weder den Intentionen des Textdichters noch jenen des Komponisten gerecht.

Am 14. Jänner werden die Wiener sein Opus 1000 hören können, sie sind alle geziemend eingeladen, dem Jubelwerk ihres fruchtbarsten Komponisten beizuwohnen. Hoffentlich gibt es da Geld und Ehren. Gegen die letzteren ist er zwar etwas abgestumpft, seit er in seinem vierzehnten Lebensjahre zum Ehrenmitglied der „Hainbacher Bauern" ernannt wurde, aber ich glaube, eine kommunale Auszeichnung täte ihm herzlich wohl. Viele Erzherzoge haben zu seinen Werken gedudelt, viele Potentaten haben zu seiner Musik freundlich genickt. Der Khedive sagte sogar, als er in Aegypten vom Wiener Männergesangverein einige Gruber-Sachen hörte: „Das ist echt wienerisch". Und der Khedive, der im Theresianum erzogen wurde, soll ein Kenner sein.

Gruber findet frohe Stimmung, wenn er in den Vorstädten herumspaziert, wenn er die alten, echten, kernigen Wiener sieht, ihre Sprache hört und ihren Wein trinkt. Sein höchstes Ziel ist es, seiner Frau irgend ein kleines Geschäft einrichten zu können, dann will er ruhig und ohne Sorgen arbeiten — vielleicht eine Operette oder Ernsteres.

Ich wünsche ihm's vom Herzen, daß man von irgend einem seiner zukünftigen Werke mit solcher Hochachtung sprechen möchte, wie von seinem hübschen Lied:

Es wird a Wein sein
Und mir wer'n nimmer sein ꝛc.

A. D.-G.

Von Hoftheaterdirektoren.

(Zwei neue Männer. — Der transleithanische Oesterreicher. — Was Girardi einmal in Budapest passierte. — Das Kontrastspiel zwischen Wien und Berlin. — Der pflichtgebotene Kampf gegen die Heimat. — Der einzige Oesterreicher. — Hermann Bahr in München. — Die bayerischen und die österreichischen Klerikalen. — Hoftheatertoleranz. — Die Glaubensmatrikel der Burgtheaterdirektoren. — Ein kleiner Versuch zur Glaubenshetze. — Geringe Sterblichkeit der Hoftheaterleiter. — Dingelstedts Tragik. — Herbeck und Jauner. — Der Trost aus Weimar. — Legitime und illegitime Weiberintrigen.)

Die Berufung zweier neuer Direktoren an deutsche Hoftheater hat jüngster Tage die Theaterwelt in vielfache Bewegung gebracht. Wien speziell ist dabei von ganz besonderem Interesse berührt, weil der eine der zweien, Hermann Bahr, ja doch bis zur Stunde einer der vehementesten Rufer im literarischen Streite Wiens ist, beide überdies engere oder weitere Landsleute sind — die glorreichen Nationalhelden des ruhmvollen Tages von Debreczin mögen es uns verzeihen, daß wir uns unterstehen, Ludwig Barnay, den aus Budapest stammenden neuen Direktor des Berliner Hofschauspiels, als deutschösterreichischen Landsmann zu rangieren. Seine Heimat zu besuchen und sich dort irgendwie laut und augenfällig bemerkbar zu machen, wäre auch bei der Disposition der nationalen Geister kaum ratsam für ihn, selbst wenn es ihm zum Beispiel einfiele, in Budapest eine Wohltätigkeitsvorstellung, sagen wir, um ins Aeußerste zu gehen, zum Besten der „patriotischen" Beamten zu veranstalten, die gegen die Regierung streiken. Würde ihm schwerlich viel helfen. Dieser Tage gerade hörte ich Girardi mit lachendem Behagen die wirklich kostbare Reminiszenz an den grotesk-lustigen „Zigeunerbaron"-Abend in Budapest erzählen, als er, zu „wohltätigem Zwecke" wohlgemerkt, unten gastierend, etwas ganz Besonderes zu dem guten Werke beizutragen geglaubt hatte, indem er seine Glanzrolle spielte, bei der ja doch auch Ungarns Dichterruhm selbst mit dem gefeierten Namen Jokais ein bißchen beteiligt war. Ja, schön — mörderisch „angeblasen" wurde er von dem ausverkauften Hause, in Grund und Boden gezischt, weil man seinen deutsch-magyarischen Pracht-Zsupan als „Verhöhnung der Nation" aufnahm. Die in ihren „heiligsten Empfindungen" schwer beleidigte Zuhörerschaft verließ in immer zahlreicheren Gruppen empört das Haus und der letzte Akt spielte vor total leeren Bänken. Doch ließ man es dabei nachsichtsvoll bewenden, ein Gesetz, wodurch Girardi für alle Zeiten von dem Betreten ungarischen Bodens ausgeschlossen geblieben wäre, wurde nicht begehrt — und heute ist er ja doch sogar ungarischer Staatsbürger.

Da indes Ludwig Barnay dermalen weit vom Schusse und einigermaßen in Sicherheit ist, so schadet's ihm nicht weiter, wenn wir ihn als Oesterreicher gelten lassen, um die eigentümliche und interessante Kombination ins rechte Licht zu setzen, welche sich nunmehr an den Hoftheatern von Wien und Berlin ergibt. Direktor des Wiener Burgtheaters ist ein Preuße, Direktor des Berliner Hofschauspielhauses ein Oesterreicher. Fehlt nur, daß ein Italiener Direktor einer der beiden Hofopern würde, und der Dreibund hätte seine drastischste Theaterillustration gefunden. Jene Wechselbeziehungen zwischen Wien und Berlin aber ergeben noch eine weitere, ganz wunderliche Kontraststellung. Ludwig Barnay hat in seiner Antrittsrede das, ihm vorschwebende, Programm dahin gegipfelt, daß alles aufgeboten werden müsse und kein Preis zu hoch sein dürfe, das Berliner Hofschauspiel zur „ersten deutschen Bühne" zu machen — selbstverständlich ist es dagegen, daß Schlenther in Wien keinen anderen Gedanken hegt und hegen kann, als dem Burgtheater den noch lange nicht aufgegebenen Anspruch auf den, übers Jahrhundert behaupteten, Rang der „ersten deutschen Bühne" weiter zu konservieren und möglichst zu mehren. Und so ergibt sich denn das kuriose Gegenspiel, daß der Oesterreicher wie der Preuße berufen erscheinen und die höchste Aufgabe ihrer Pflicht darin ersehen müssen, der Theaterkunst ihres Vaterlandes die energischeste Konkurrenz zu machen und der rivalisierenden des anderen Landes zum Siege zu verhelfen.

Für das Burgtheater allerdings ist das durchaus keine neue Erscheinung, denn es hat ja doch bekanntlich seit länger als einem halben Jahrhundert, seit Laubes Direktionsantritt, außer Max Burckhard keinen in Oesterreich geborenen Direktor gehabt, sondern durchwegs „aus dem Reiche draußen" herberufene: Laube, Wolff, Dingelstedt, Wilbrandt, Förster, Schlenther. Weniger also die mancherlei fragwürdigen „vaterländischen Dichter", die „jambisch fünffüßigen" des damaligen Wiener „Tragödien-Krätzels" hatten Ursache oder Vorwand zu der obligaten Klage über „Vernachlässigung", als die vaterländischen Direktionskandidaten, denen immer so ein „Ausländer" vorgezogen wurde. Den Vorwurf der Engsinnigkeit nach der Richtung einer exklusiven Landsmännerei konnte man also den Machthabern der Hoftheater so wenig machen, wie den Wienern überhaupt. Diese Konstatierung aus den theatergeschichtlichen Daten heraus ist schon gemacht worden — aber sie gewinnt neuerdings aktuelle Bedeutung, Angesichts dessen, was in München vorgeht, wo die Berufung des „aufwühlerischen" Bahr, in kleineren Dimensionen wohl, ähnliche Gährungen und Agitationen zu zeitigen scheint, wie sie seinerzeit zu dem gewaltigen, der Größe des Zielpunktes entsprechenden, Ansturme gegen Richard Wagner führten. Die „Patrioten", denen alles Nichtbayrische der „Fremde", der „Ausländer" ist, der in Bayern nichts zu suchen habe, im Bunde mit den „Schwarzen" — insofern die beiden Begriffe nicht überhaupt zusammenfallen — mühen sich um die Wette, dem Wiener „Eindringling" die Reklame eines „effektvollen Abganges" zu verschaffen, noch bevor er sein Amt angetreten hatte, indem sie ihn ganz einfach gar nicht dazu gelangen lassen wollen. Vorläufig zeigt er sich allerdings noch gewillt, stand zu halten — den Nimbus des um seiner Freigeisterei willen Befehdeten hat er aber jedenfalls den fanatischen Anremplern schon zu danken.

Damit verglichen, erscheint die freie Auffassung, die, in Bezug auf den Glaubenspunkt sogar, bei der Berufung Wiener Hoftheaterdirektoren von seiten der doch gewiß strenggläubigen Hofkreise geübt wurde, um so erfreulicher, und man muß immer auf die, doch gewiß ganz merkwürdige und wahrhaft kulturhistorisch verbliebene, Erscheinung zurückkommen, wie in Oesterreichs sonst finsterster Epoche des vorigen Jahrhunderts, in der Konkordatsperiode, der Protestant Laube im „Theater des Kaisers" waltete, hochangesehen und respektiert bei Hofe und weniger behindert in der Gestaltung des Repertoires, als die Leiter mancher protestantischen Hoftheater. Und wie es seit ihm nur einen österreichischen Burgtheaterdirektor gab, so auch nur einen Nichtprotestanten — denselben Max Burckhard, der aber gewiß auch für keinen „Frommen im Lande" galt. Nie aber hatte man etwas davon gehört, daß bei der Beurteilung eines Burgtheaterdirektors in den oberen Sphären sein Glaubenswandel in Betracht gezogen würde, daß je eine krittelnde Glosse darüber verlautet hätte, oder nur ein Gewispel darüber durch die Lüfte geglitten wäre. Ein kaum hörbares Geraune hingegen, das allerdings rasch genug verstummte, huschte vor einiger Zeit, nicht in einem Kulissenwinkel, sondern zwischen einigen Schreibtischen umher. Von keiner „bigotten Hofkamarilla", sondern von einer Seite her, wo das „vorurteilslose Walten des freien Geistes in Sachen der Kunst" seinen Anwalt vermuten sollte, sei die leise Anregung ergangen, ob es nicht an der Zeit wäre, die Posten der Hoftheaterdirektoren nur mit rechtgläubigen Landeskindern zu besetzen. Die Anregung sei aber auf vollständig taube Ohren gestoßen und habe sich sofort verflüchtigt. Der „Glaube" sollte natürlich bei der Gelegenheit nur Kulissenintrigendienste tun, so einen Direktorsposten für einen anderen Petenten frei zu machen.

Auf „natürlichem" Wege, ohne die kleinen Zwischenspiele der Kulissenbetriebsamkeit, schwindet kaum je ein Hoftheaterdirektor aus seinem Amte — am allerseltensten auf dem „natürlichsten" Wege, indem er nämlich zugleich aus dem Leben scheidet. Charakteristisch genug ist es doch, daß während des ganzen vergangenen Jahrhunderts ein einziger Burgtheaterdirektor als solcher gestorben ist — Dingelstedt. Denn Försters Direktionsübernahme und sein Tod waren durch ein so kurzes Intervall auseinandergehalten, daß sie fast zusammenfielen und nur eine kaum bemerkbare, flüchtige Episode bildeten. Dingelstedt, wie gesagt, war der einzige, dem es gegönnt blieb, bis zur letzten Stunde, in den erstarrenden Händen noch, die Herrschaft zu halten. Aber auch dieser melancholisch-stolzen „Befriedigung" fehlte trotzdem nicht auch die Tragik des unerfüllt gebliebenen eigentlichen Wunsches. Mit dem Ehrgeizprogramm, „Direktor beider Hoftheater" zu werden, war Dingelstedt nach Wien gekommen und nur auf des ersten Generalintendanten, Baron Münch's, Zusage hin, hatte er sich entschlossen, vorläufig mit der „Abschlagszahlung" der Hofoperndirektion vorlieb zu nehmen. Immer weiter hinaus aber wurde die Realisierung des Versprechens geschoben, und, nachdem er nur Operndirektor gewesen, wurde er wieder nur Burgtheaterdirektor. Da endlich, nach mehr als einem jahrzehntlangen Warten, kam durch Baron Hofmann die Erfüllung, die Direktion der beiden Hoftheater wurde ihm, nach dem Rücktritte Jauner's von der Leitung der Hofoper, übergeben; das Schicksal aber kann ein recht böse schadenfroher Geselle sein — nun das leidenschaftlich erstrebte Ziel erreicht war, mußte sich der kranke Dingelstedt das traurige Geständnis machen, daß seine physischen Kräfte nicht mehr hinreichten, die Doppelarbeit zu tun und er mußte den ihm angebotenen Machtzuwachs ablehnen. Nur aufs Burgtheater konnten seine letzten Blicke gerichtet bleiben. Als Hofoperndirektor aber ist an unserer Musikbühne überhaupt noch keiner gestorben, während eines ganzen Jahrhunderts.

In den „wohlverdienten Ruhestand", wegen „vorgerückten Alters" ist schon gar nicht je einer versetzt worden, sondern es waren immer noch recht lebenskräftige „Pensionisten", die da geschaffen wurden. Mitten im rüstigsten Wirken wurden sie, nicht von „Gevatter Hein", sondern von einem simplen Kanzleidiener abberufen, der das Entlassungs- und Pensionsdekret überbrachte. Gar mancher wurde davon mehr oder minder unvorbereitet überrascht, — nicht von der formalen Ueberreichung des Dekrets selbst, wohl aber von der jähen Wendung zur Ungnade, welche die Katastrophe brachte. Laube sogar, der ja den Bruch hartnäckig herausgefordert hatte, mochte bis zum letzten Tage die stille Illusion gehegt haben, daß man ihn nicht werde ziehen lassen. Ziemlich perplex dagegen mußte es den naiv ehrlichen Wilbrandt gemacht haben, als ihm zu verstehen gegeben wurde, daß seine Position unhaltbar geworden sei. Und warum? Weil er in seiner Naivität gewisse Uebelstände in dem Gebaren des damaligen eigentlich geschäftsführenden Funktionärs der Intendanz in einer Denkschrift auf Grundlage „glaubwürdiger Zeugenschaften" dargelegt hatte. Er hatte in der Geradheit seines ideal optimistischen Denkens nur übersehen, daß derlei „glaubwürdige Zeugen" sich regelmäßig in die Büsche schlagen, wenn's Ernst wird. So kam er in schiefes Licht als voreiliger Ankläger, und er, der Redlichmeinende, war's, der vom Platze mußte. Ebenso war in der Oper drüben Herbeck ganz „paff", als er, nachdem ihm kaum erst die Versicherungen schmeichelhaftester Zufriedenheit gegeben worden waren, eines Tages der unbezweifelbaren Anzeichen seines Sturzes ansichtig wurde. Er mußte dem, von den hoffnungsgeschwelltesten Kombinationen emporgetragenen, Jauner weichen, dem er beim Scheiden nicht die freundlichsten Wünsche hinterließ. Und diese realisierten sich bald genug. Fünf Jahre später sah sich Jauner ebenso unerwartet hinausbugsiert — unter gefälliger Mitwirkung von Vorgesetzten und Untergebenen — und der nervöse Mann konnte seine schmerzlichen Empfindungen darüber so wenig wahren, daß er dem eben eintretenden Franz Gaul, der sein kunsttechnischer Beirat gewesen war, weinend in die Arme sank.

So fügt's nun einmal die Weltordnung in aller Hoftheaterwelt. Die davon getroffenen Direktoren können sich mit dem mustergültig bleibenden Theatergeschicke eines berühmten Kollegen trösten, der dem Grolle einer, in hoher Gunst stehenden, schönen Frau weichen mußte. Der Mann hieß, wie man weiß, Johann Wolfgang Goethe, der wohl das Ohr seines Fürsten besaß, die Jagemann aber dessen Herz.

Durch Launen einer Favoritin ist in den Wiener Hoftheatern noch nie ein Direktor aus dem Amte gebracht worden. Es waren immer männliche Bemühungen dabei tätig, und wenn sich je Frauen hie und da in die Sache mischten, waren es stets nur äußerst legitim verheiratete Frauen, die ihren Männern treulich bei dem Geschäfte halfen.

S. S.

„Friedensheer."

Von Baronin Berta v. Suttner.

Tausend Kriegslustige und Millionen Friedensfreunde. — Die deutsch-englische Verhetzungskampagne. — Doppelselbstmord zweier Nationen. — Abwehr gegen die Schürer. — Eine neue Friedensheilsarmee. — Deutsch-englische Entente cordiale als Apotheose.

Die kürzlich erst durch Verleihung des Nobel-Preises ausgezeichnete Friedenskämpferin Baron Berta Suttner läßt soeben in der „Deutschen Revue" eine „Anregung" publizieren, die als Friedensbestrebung, wenn auch nur von idealem Werte, für die praktische Politik einiges Interesse findet:

„Mobilisieren! Ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend Menschen gibt es in jedem Lande, die ein Interesse — sei es nun ein materielles oder nach ihrer Gesinnung ein moralisches Interesse — daran haben, einen Zukunftskrieg herbeizuführen oder wenigstens an die Wand zu malen. Millionen und aber Millionen Menschen gibt es jedoch in denselben Ländern, denen ein solcher Krieg den tiefsten Jammer bereiten müßte. Nun aber trifft es sich leider so, daß jene paar Hundert reden, schreiben, schüren, während die andersgesinnten Millionen schweigen. Energie entfalten diejenigen, die etwas wollen — untätig, resigniert bleiben die Massen derer, die es nicht wollen. Sie werden vom Lärm, den die ersteren machen, so sehr umdröhnt, daß sie glauben, dort seien die Millionen und sie seien die Vereinzelten, deren Protest jedoch ungehört verhallen würde.

Seit einer Reihe von Jahren — in den letzten Monaten besonders heftig — wird in deutschen und englischen Blättern eine systematische Aufreizungskampagne geführt. Daraus muß naturgemäß, wenn die Hetzkraft nicht durch eine gleichstarke Gegenkraft paralysiert wird, eine Haßexplosion folgen. Schon ist das gewissenlose Wort gefallen: „Ein Krieg zwischen England und Deutschland ist unvermeidlich." Ein Verbrecherwort ist es von denjenigen, die es als Mittel zum Zweck hinausstreuen, und von der gedankenlosen Menge wiederholt, wird es zum Schlagwort. Es ist an der Zeit, an der höchsten Zeit, daß die Selbstdenkenden und Rechtfühlenden ebenso laut verkünden: Ein solcher Krieg muß — nicht nur — nicht kommen, er darf nicht kommen. Ein solcher wahnwitziger Doppelselbstmord zweier hochentwickelter stamm- und kulturverwandter Nationen muß gehindert werden.

Vergebens versichern die Regierungen hier und dort, daß nicht die mindeste Absicht der Befehdung vorliegt; vergebens sträubt sich der vernünftige Teil der beiden Bevölkerungen gegen die bloße Annahme der Möglichkeit eines Waffenganges zwischen den Vaterländern von Shakespeare und von Goethe — die Hetzer setzen unbeirrt ihr böswilliges Werk fort!

Was soll geschehen? In Deutschland philoanglikanische und in England philogermanische — aber in beiden Ländern anglogermanische Verbrüderungsvereine bilden? Auch dieses Mittel wäre zu schwach und könnte allenfalls nur einen Teil der Gesamtaktion abgeben. Vereine sind gewöhnlich arm an Mitgliederzahl und arm an äußerem Einfluß. Nein, die Gemeinde, die da geschaffen werden sollte, müßte ganz zwanglos sein, ganz losgelöst von Formalitäten, ganz unabhängig von bestimmten Funktionären. Ein freiwilliges, kaderloses Heer, dessen einzige Pflicht darin bestünde, bei jeder Gelegenheit gegen jedes gedruckte und gesprochene Wort der,

---

Stacheln und Daumschrauben des Geschickes. So will der Arme sich mit Schnaps betäuben, daß er seinen Hunger vergißt, der Reiche mit Champagner, um vielleicht eine quälende Erinnerung zu bannen, so greift der Schmerzensreiche zum Morphium, so führt selbst Tanz und Musik für Augenblicke zum ersehnten Glücksgefühle! Und doch ist alles nur Illusion, Suggestion, wie du willst, denn der feste Körper des wahren Glückes fehlt. Aber diese Illusion, dieses Trugbild herrscht einmal auf der Welt! In ihr steckt das Wesen der Liebe, ja der Ansporn zu großen Taten."

„Der Major hielt eine Zeitlang inne, dann fuhr er fort: „Ich bin von der eigentlichen Sache abgekommen, bin eben ein schwacher Philosoph; deshalb jetzt nur in Kürze: In Borneo lag ich einst schwer krank, schmerzdurchwühlt danieder; ein mir befreundeter einheimischer Fürst besuchte mich; beim Abschied ließ er mir eine dieser Zigarren zurück. Ich rauchte sie und dasselbe Gefühl des Glückes, des Freiseins von allem Schmerze, allem Drucke, die herrliche Verklärung der ganzen Umgebung, ja neuer Mut erfüllte mich, wie vor kurzem dich! Gut! Sie heilte mich nicht, die Reaktion war sogar empfindlich! Und doch, als ich von dort Abschied nahm, verschaffte ich mir ein Kistchen dieser Wunderzigarren, unter deren Deckblatt eine geheimgehaltene Mischung von Opium und anderem Teufelszeug sich befindet, und jetzt, wenn es meinem alten Knochengerüste gar zu jämmerlich geht und ich böse, finster, unausstehlich werde, erlaube ich mir eine davon, um mich wenigstens für kurze Zeit in ein Zauberland zu versetzen. Das darf ich tun, der alte Mann, um den nicht mehr schade ist; du aber nicht mit der Kraft deiner fünfundzwanzig Jahre, du kämpfe und arbeite mit klarem Blicke und festem Willen. Das gütige Geschick aber wollen wir preisen, das dich einmal mit holder Illusion umschmeichelte und dir den richtigen Weg wies! Denn das ist er, mein Junge, das ist er!"

Mit diesen Worten des Majors beendete auch der Hausherr seine Erzählung. Nach längerem Sinnen fuhr er fort: „Und ich bin sehr glücklich durch diese Verwechslung geworden. Gertie, die bald nach uns heiratete, richtete binnen kurzem ihren Mann zugrunde; mein Weib aber, dem ich auch noch eine namhafte Hilfe des Majors verdanke, schaffte und arbeitete mit mir, unermüdlich; milde und gut, als echte Frau, teilte sie meine Sorgen und tröstete mich; und wenn ich jetzt hier frei dastehe und meine Blicke über den altererbten Besitz meiner Väter stolz kann gleiten lassen, so verdanke ich dies alles nur ihr, und — ich gestehe es offen ein — einem Stückchen Zigarre."

Dumpfe Entschlossenheit malte sich auf allen Gesichtern. Ein höherer s c h l a c h t erprobter Offizier — er hat auf seinem Gute bei Schabatz mehr denn 10.000 Säue eigenhändig geschlachtet und sich auch am 10. Juni 1903 ausgezeichnet — hielt eine anfeuernde Rede auf offener Straße:

„Serben! Söhne eines alten Heldenvolkes! Die heiligsten Güter unserer Nation sind bedroht: Unsere Schweine! Der übermütige Nachbar will unsere Freiheit beschränken, die Freiheit unserer Viehausfuhr. Seit Jahrzehnten war es unser Stolz, Zivilisation, Kultur und Zucht zur Blüte zu bringen, natürlich Bodenkultur und Schweinezucht. Nun verbietet uns der Nachbar die Früchte unserer Arbeit zu genießen und verwehrt unsern Landesprodukten die Einfuhr, zur Strafe dafür, daß wir uns dem bluts- und stammverwandten Brudervolke der Bulgaren innig verbunden haben. (Bei den letzten Worten hielt sich der Redner die südliche Partie der Rückseite, auf die er in der Schlacht bei Slivnitza von einem der bulgarischen Brüder, der ihn auf der Flucht einholte, einen äußerst schmerzlichen Schlag mit dem Gewehrkolben erhalten hatte.)

Doch wir werden beweisen, daß wir Nationalbewußtsein haben. Der Kampf gegen Oesterreich — mit Ungarn sind wir teilweise ganz gut, der Kossuth hat uns sogar eine Sympathiekundgebung gesandt — ist für uns ein K a r a g e o r g i s c h e r I m p e r a t i v unserer Ehre!"

Stürmische Zivioruse unterbrachen den Redner.

Ein Kaufmann trat dann vor und sprach: „Es gibt auch eine kaufmännische Ehre. Sie notiert in Serbien nicht niedriger als die Offiziersehre. Ich schulde österreichischen Kaufleuten an 5000 Denar für gelieferte Waren. Am Altar des teuren Vaterlandes bringe ich nun das schwere materielle Opfer und gelobe, daß ich nicht einen Centime zahlen werde. Mein Schuldbuch sei vernichtet!"

Zahlreiche andere Kaufleute schlossen sich dieser „Demonstration" gegen die Oesterreicher durch gleichlautende Gelöbnisse an.

Ein jüngerer Serbe sprang dann vor und verkündete blitzenden Auges, daß die Demütigung des teuren Vaterlandes nach Rache schreie, und zwar nach Taten, nicht nach Worten. Er habe persönlich die Feindseligkeiten tätlicher Natur bereits eröffnet. Und stolz wies der Jüngling eine goldene Uhr vor, die er einem österreichischen Fremden im Hotel abgezwickt hatte.

Ein Kampfgenosse des Vorredners wollte gleichfalls eine einem Oesterreicher entfremdete goldene Kette vorweisen, doch war ihm diese Siegestrophäe im Gedränge von einem unbekannten Landsmann heimlich abgenommen worden.

Hunderte von patriotischen Demonstranten beabsichtigten denn eine Exkursion nach Semlin zu unternehmen, um dort Kundgebungen zu veranstalten, doch sahen sie von diesem Projekt später ab, da sie einerseits die Semliner Polizei und anderseits Schwierigkeiten wegen der inzwischen erfolgten Grenzsperre auf Grund des Tierseuchengesetzes fürchteten.

* * *

In den allerletzten Tagen wurde die Stimmung noch erbitterter und man forderte vielfach eine Kriegserklärung an Oesterreich. Die hiesigen Politiker rechnen darauf, daß sich die u n g a r i s c h e n K o m i t a t s c h i in Debreczin und andere Koalierte der serbischen Armee bei einem Einfalle in Ungarn anschließen werden.

Prinz Arsen soll zum Armeekommandanten ausersehen werden. Der zukünftige Kriegsschauplatz ist ihm umso vertrauter, als er während des Gastspieles einer bekannten Schauspielerin sein Hauptquartier wochenlang im Wiener „Orpheum" aufgeschlagen hatte.

Bei Absendung dieses Berichtes ertönt überall das jüngste serbische Kriegslied:

„Prinz A r s e n, der edle Ritter," das von einem begabten serbischen Dichter auf dem landesüblichen Wege mit teilweiser Benutzung einer fremden Idee verfaßt ist.

N a c h s c h r i f t. In später Stunde verlautet: Die patriotische Stimmung und das Gosdagio in Serbien sind rapid gestiegen.

R o b e r t.

Wiener Originale.

XXI.

Direktor Baumgärtner.

Vorsichtig setze ich Schritt für Schritt. Es ist tiefes Dunkel im Sophiensaal; draußen heller Tag, drinnen künstlich erzeugte Finsternis und heillose Wirtschaft. Die Einjährig-Freiwilligen geben am Abend ihren Ball, da wird rumort, geschoben, gewichst, Palmen kommen aus den Glashäusern, Kellner numerieren sich ihre Tische und einige Herren in Uniform überwachen persönlich den Aufbau der Estrade. Die ist beim Freiwilligenball das Wichtigste; wenn sie einstürzt, muß das ganze Komitee in den Arrest.

Mitten im tollen Wirbel der Feldherr des Ballsaales, Direktor Baumgärtner; er übersieht die Dekoration, er gibt die Anzahl der Tische an, bestimmt den Temperaturgrad für den Abend und leitet das Arrangement der Beleuchtung. Die Elastizität des alten Herrn ist bewundernswert. Das ist nun der sechsundzwanzigste Fasching, den er als Leiter unseres größten Ballsaales mitmacht, aber die Sache interessiert ihn noch immer. Allabendlich guckt er den tanzenden Paaren zu, macht seine Bemerkungen über Qualität und Quantität der Besucher, brummt so manches ironische Wort in den Bart und läßt sich immer noch von schönen Masken und neckischen Dominos intrigieren, obwohl er's am besten weiß, was darunter steckt.

Da sitzen wir auf zwei Plüschfauteuils und sehen in den Saal, der am Abend immer so freundliche, lebensfrohe, jugendfrische Bilder bietet: Walzerwellen, wogende Paare, wienerischen Tanz. Ja, wenn so ein Ballsaal seine Erlebnisse erzählen könnte! Die hübschen Romane, die er in den letzten sechzig Jahren aufkeimen gesehen, die Geschichte der Herzen, die sich hier fanden, die Historie von den Kindern, die an der gleichen Stelle und beim gleichen Walzer wie einst die Eltern Brust an Brust auf dem Parkett dahinflogen.

Aber ein Ballsaal kann nichts erzählen und das hat vielleicht auch seine guten Seiten. Ich muß mir's also an dem Direktor des Sophiensaales genügen lassen und der alte Herr spricht ganz gern von der Vergangenheit, obwohl ihm die vielen Besucher und seine zahllosen Agenden das Sprechen gar nicht leicht machen.

Soweit er aus seiner Reserve herausgehen darf, gesteht er mir es unumwunden ein: Es ist nichts mehr mit dem Fasching. Erstens ist der Zeitpunkt ein schlechter, zweitens gehen die Leute mehr und mehr der Hetz halber auf den Ball und drittens haben sie das noble Tanzen verlernt. Er erinnert sich an die ersten Bälle im Sophiensaale. Technikerball, Medizinerball, Juristenball, das waren durchwegs Veranstaltungen, bei denen es so feierlich zuging wie beim Ball bei Hofe. Man riß sich um die Einladungen, auf Grund deren man die Karten erhielt; im Saale war freies Büfett aufgestellt, und den Gedanken, daß man Speisen oder Bier und Wein erhalten hätte, würde jeder Besucher als Profanation des illustren Festes angesehen haben.

Wie man heute tanzt?

Herr Baumgärtner lacht. „Wer es gesehen hat, wie die Leute früher einmal tanzten, wie sie gewalzt haben, wer die Zeit noch mitgemacht hat, da das Menuett regierte, der wird sich nie mit dem heutigen Walzer befreunden können."

Er erzählt mir vom Sperl, bei dem das feinste Patrizierpublikum verkehrte, bei dem die Gemütlichkeit als höchstes Gesetz galt. Damals wußten die Wiener noch, was Tanz war, der alte Rabensteiner, der Vater des verstorbenen populären Professors, lehrte es sie, und sie hielten sich genau an die Regeln. Eduard Rabensteiner hat es oft dem ihm befreundeten Direktor des Sophiensaales gesagt, die Wiener wollen nichts mehr vom vornehmen Tanzen wissen, sie finden es als guten Spaß, gegen die Anstandsregeln zu remonstrieren. „Die allgemeine Verrohung zeigt sich auch im Ballsaal beim Tanz," sagt Herr Baumgärtner. „Und es gibt nur wenige, die heute noch so tanzen, daß sie im alten Wien sich hätte sehen lassen können." Er nennt mir auch so einen weißen Raben. Herr Armbruster ist es, dessen Tanzbeinschwung vor den Augen des gestrengen Kritikers noch Gnade findet.

Damals gingen die Wiener auch auf Maskenbälle und Kostümfeste und ein hoher Adel hielt es für durchaus angemessen, sich dem Patriziertum anzuschließen, wenngleich er von diesem nicht gar sonderlich estimiert wurde. Ganz Wien sprach von den Rosenmädchenbällen im Sophiensaal und die allerersten Kreise der Residenz setzten Stolz drein, bei keiner Veranstaltung zu fehlen. Dann kamen die Maskenbälle; der Debardeur und die Pierrette wurden umschwärmt und die kaufkräftige Börse drängte sich zu den Festen. „Die Karte kostete zweieinhalb Gulden," sagt Herr Baumgärtner, „aber der Börseaner legte zehn Gulden hin, ließ dem Kassier das übrige, dann begab er sich in den Saal, gab einige Hunderter aus, ging auf ein anderes Fest und kam dann wieder. Heute ist der Börseaner eine rare Erscheinung im Ballsaal, und wenn er kommt, dann zahlt er genau soviel, als er muß, keinen Kreuzer mehr. Die „leichte Hand" existiert nicht mehr."

Die Ursache des Niederganges der Maskenbälle?

Herr Baumgärtner meint, daß die Kabaretts, die vielen Vergnügungslokale, die Nachtcafés daran Schuld tragen; der Kavalier, der sich heute amüsieren will, war früher einmal gezwungen, auf die Maskenbälle zu gehen, heute unterhält er sich anderswo gerade so gut. Aber Redouten locken seiner Ansicht nach noch immer das große und vornehme Publikum. Die Opernredoute würde heute genau das gleiche Interesse erwecken wie früher, wenngleich auch die Erfindung der Damenwelt, soweit sie die Maskierung betrifft, niemals großartig war. Von den Sophiensaal-Redouten erzählt Herr Baumgärtner mit großem Stolz. Er achtet sonderlich auf die strenge Toilette. Einmal kam ein Herr im Smoking, der Direktor ließ ihn nicht eintreten. „Bedauere, mein Herr, Sie können nur im Frack kommen, das hätten Sie wissen müssen." — Rabensteiner, der glatte Hofmann, hatte die Szene gesehen, er stürzte auf den Direktor zu: „Das war ja der Fürst Trauttmansdorff!" — Eine Stunde später kam der Fürst in Balltoilette und entschuldigte sich bei Herrn Baumgärtner, daß er nicht gleich richtig adjustiert gekommen sei.

Wir sprechen von der Musik. Baumgärtner hat Johann, Josef und Eduard Strauß gehört und in den sechzig Jahren des Bestandes des Sophiensaales hat Wien an jedem Fasching einen Repräsentanten der Dynastie Strauß gehört. „Sie haben alle mit voller Seele dirigiert," erzählt Herr Baumgärtner, „besonders aber Johann und Eduard. Die haben sich so recht wohl gefühlt, wenn die Paare um sie herum wogten und wenn die einen oder die anderen den Walzer so tanzten, wie der Komponist sich ihn vorstellte, da traf das Paar ein freundlicher Blick aus dem Auge des Dirigenten, der ihm sagte: „Ja, so will's der Strauß". — Das ist übrigens bis auf den heutigen Tag das gleiche geblieben. Wer einen Walzer tanzen will, der läßt sich einen Walzer von Strauß spielen, ich glaube, das wird sich niemals ändern, solange noch die Wiener für den Tanz Interesse haben." — Unter den Maskenfesten, die im Niedergang begriffen sind, zählt Direktor Baumgärtner auch den Narrenabend des Männergesangvereines auf, der einst so hoch im Ansehen stand. Die Besucher sind heute zu bequem, um selbst zur Unterhaltung beizutragen, sie wollen amüsiert werden, und das landläufige Vergnügen besteht heute im Schreien und Skandalieren. Der wirkliche Maskenscherz ist verloren gegangen, Johlen und Toben ist alles. Kremser hat schon im Vorjahre gesagt: „Gesungen wird auf dem Narrenabend nicht mehr, es ist schade um unsere Mühe."

„Vergessen Sie ja nicht auf die Metternich, wenn Sie vom Wiener Fasching sprechen," sagt der Direktor. Und der Mann hat recht. Diese energische, an Einfällen überreiche Frau gibt dem Wiener Fasching wirklich noch ein letztes Lustre. Es ist kein „Ins-Volk-Hinabsteigen", wenn die Fürstin Pauline das Schlagwort zu irgend einer Redoute gibt, es ist ihr ehrliches Bestreben, sich und anderen Freude zu machen. Baumgärtner erzählt mir davon, wie die Komitees, die Aristokratinnen und die Bürgerlichen vor ihr zittern, wenn sie Anordnungen trifft. Er selbst ist immer froh, wenn eine Metternich-Redoute aus dem Hause ist, denn die Fürstin läßt nicht mit sich spielen. — Einmal findet sie Stockerln entlang das Spaliers aufgestellt. „San mir denn in einem Beisel?" fragt die resche Fürstin, öffnet höchst eigenhändig die Saaltür und wirft nicht minder eigenhändig ein Stockerl über die Stiege. — Oder sie ruft eine Komtesse zum Rapport. „Nicht wahr, Gräfin, heute ist die weiße Redoute?" — „Ja, Durchlaucht!" — „Sie tragen aber rote Rosen! Wahrscheinlich steh'n sie Ihnen sehr gut. Darf ich Sie bitten, Ihren guten Geschmack heute mit dem allgemeinen in Einklang zu bringen?"

Baumgärtner schwärmt für die populäre Fürstin. Er hört von ihr lieber Grobheiten, als von allen anderen Komitees Belobungen: „So ein paar Aristokratinnen könnten wir brauchen," sagt der Direktor, „wie die Fürstin Metternich, dann hätte ich Ihnen über den Wiener Fasching nicht so viel vorjammern müssen."

Ich verlasse ihn und Baumgärtner stürzt sich wieder in den Trubel der Geschäfte. Am Abend aber ist er den ganzen Fasching über auf seinem Posten, sieht sich die Tänzer an, macht seine Beobachtungen, hört einen der modernen Walzer an und zieht sich in die Konditorei zurück. In wenigen Sekunden kann man den alten Herrn im leichten Schlummer sehen. — Da zieht wohl das farbenfreudige alte Wien an seinem Aug' vorbei, an sein Ohr aber dringt der unsterbliche Schönbrunnerwalzer: „Wann der Strauß und wann der Lanner amal geignen tuan mitsamma . . ."

A. D.-G.

Mein Schreiblehrer.

(Das Schriftstellerheim in der Kettenbrückengasse. — F r i e d r i c h U h l und seine Engländerin. — Die Freundin M. G. S a p h i r s. — Alexander B e r g e n und das Einakterrepertoire des Theaters an der Wien. — Aus der „Liebhaber"zeit L o u i s G a b i l l o n s. — Im Redaktionsbureau der „Morgenpost". — Die Schanzel-Phantasie. — Ernst v. S c h w a r z e r und die „Donau". — Friedrich U h l als Heiratsvermittler. — Der „Botschafter" und die „Theaterprinzessin". — Der eine Druckbogen. — Eine Burgtheaterkandidatur.)

Nicht der Bedauernswerte ist gemeint, dem die pädagogische Aufgabe geworden war, mir die Hantierung mit Kiel- und Stahlfeder beizubringen — ich möchte das Andenken dieses braven Mannes nicht kompromittieren, indem ich mich als seinen Schüler melde mit dem lieblichen Gekritzel, das rings um mich Schreck verbreitet. So gering den Wert meiner geistigen Schreibekunst anzuschlagen die obligate Bescheidenheitspflicht gebietet, weniger kompromittierend ist sie immerhin für den, der mir die Anleitung gab, sie auf das Zeitungsschreiben anzuwerden. Und von ihm ist hier die Rede, dem nie gealterten, rastlosen und doch nie hastenden und sich überhastenden Zeitungskünstler, den sie vor wenigen Tagen als Einundachtzigjährigen in seinem geliebten Mondsee zur Ruhe gebettet haben — von F r i e d r i c h U h l.

Wie ich als blutjunger Mensch ihm so nahe gekommen war, daß er damals schon nicht bloß m i c h duzte — es war und blieb das seine Gewohnheit gegen alle, wenn er zutraulich wurde — sondern das „Du" mit mir tauschte, an das kann ich mich absolut nicht erinnern. Ich sehe mich nur bei ihm in der kleinen, echt altwienerischen Wohnung auf der Wieden draußen, in der Kettenbrückengasse — es war das zu Beginn der Fünfzigerjahre — wo er mit seiner damaligen Lebensgenossin Haus hielt. Das heißt, nicht „offenes" etwa, in reicher Behaglichkeit; er lebte in recht einfacher Zurückgezogenheit, die allerdings viel genug von Theaterleuten überfallen wurde, denn er zählte bereits zu den „gefürchteten Kritikern". Mit der Lebensgefährtin aber hatte es ein ganz eigenes Bewandtnis. Es war eine Engländerin, Mrs. G o r d o n, eine flachsblonde, hausmütterlich breit gewordene Frau mit ziemlich gewöhnlichem, aber klug blickendem Gesichte, wie sie in der Tat auch eine Frau von überlegenem Geiste war, um etwa fünfzehn oder mehr Jahre älter, als er, der neben ihr noch unverhältnismäßig viel jünger aussah, obwohl er bereits an die Dreißig streifte. Sie war die Freundin des einstigen „Witzesdespoten" von Wien, M. G. Saphir, gewesen, mit allem Gehaben der legitimen Frau, gesellschaftlich allerdings nicht anerkannt und in keinem Wiener Zirkel an seiner Seite erscheinend. So weit hatte sein absolutistisches Machtgebot über Wien doch nicht gereicht: — oder die gescheite Frau war einsichtsvoll genug gewesen, es nie auf diese Kraftprobe ankommen zu lassen. In der Redaktion des „Humoristen" erschien nun damals ein wirklich „interessanter" junger Mann mit dunkelbleichem Gesicht, feingeschnittenem, sich leicht zum Spotte einkräuselndem Munde, hellem, grauem, geistesoffenem Auge, das sich indessen ebensogut decken und aus der Verdecktheit hervor recht verschlagen schlau blinzeln konnte, im ganzen, wie gesagt, ein „interessanter Kopf" mit gewelltem Dunkelhaar. Wie es dann gekommen, was vorgegangen war, auf welche Weise die Annäherung zwischen dem jungen Manne und der alternden Frau geschah, ob er zuerst sich von ihrem Geiste angezogen gefühlt hatte, ob die Initiative zur Annäherung von ihr ausgegangen war, darüber war in jener späteren Zeit nichts weiter bekannt geblieben — man wußte nur, daß eines Tages S a p h i r den Mitarbeiter seines Blattes und die Freundin zugleich verloren hatte. So war der „neue, freie" Haushalt entstanden, den ich in der Kettenbrückengasse antraf und der bis zum Tode der Frau aufrecht blieb.

War's Geistes-, war's wirkliche Herzenstreue, er erwies sich als der unwandelbare Paladin, nicht bloß der Frau, sondern auch der Schriftstellerin, denn sie schriftstellerte ein bißchen fürs Theater, zwar nur sozusagen „im übertragenen Wirkungskreise", als Uebersetzerin und Bearbeiterin nämlich, zumeist englischer Sachen, oder richtiger Sächelchen. Es waren meistens kleinere Stücke, die sie mit gutem Geschick zu lokalisieren wußte und die im Theater an der Wien ihren Stammplatz und ihr Stammpublikum hatten. In dem anspruchslosen Repertoire dieser seligen Direktionszeiten, wo mit ein paar Einaktern oft wochenlang ununterbrochen fortgewirtschaftet werden konnte, bildeten diese Bluetten von A l e x a n d e r B e r g e r — das war das Pseudonym der Mrs. G o r d o n — mehr als einmal eine wirkliche „Repertoirestütze". So erinnere ich mich besonders einer kleinen Posse „D e r S c h a r l a t a n", eines Wunderdoktor-Ulks, mit dem Karl R o t t geradezu brüllendes Gelächter erregte und die Direktion Kassenerfolge, wie mit irgend einem großen Zugstück erzielte. Dadurch bekam die Position der Frau an der Seite und im Hause des jungen Schriftstellers etwas von dem Ansehen nicht nur einer Lebens-, sondern auch einer Arbeitskameradin, was einigermaßen ausgleichend auf die Erklärung und Beurteilung des sonst so ungleichen Bundes wirken mochte. Man nahm's für eine Art „geistiger Ehe" und Geisteslust durchwehte auch das kleine Empfangszimmer „in der Vorstadt" draußen. Recht scharfe mitunter. Denn U h l's Zunge, wie seine Feder, hatten allezeit die Schärfe der daherschnellenden Pfeilspitze. Der Besucher, dessen Beruf in den Bereich der Kritik fiel, durfte nicht allzu empfindlich sein, denn mit ganz heiler Haut kam er schwerlich davon. Einmal war ich dabei, wie der auf das erste Gastspiel am Burgtheater in seiner strammen, schönen, jungen Männlichkeit daherkommende L o u i s G a b i l l o n das zu verspüren bekam. Er hatte, wie die Burgtheatergeschichte es oft genug erzählt hat, den, von Laube auch nicht sofort erkannten und verhinderten, Mangel an Selbsterkenntnis verschuldet, sich als „tragischer Liebhaber" zu melden und als Don Karlos zu debütieren. Mit gar betrüblichem Ausgange, der wohl genug bald darauf durch seinen entscheidenden Erfolg im „Urbild der Tartüffe" in der Lustspielcharakterrolle des jungen Ludwig XIV. repariert und in das natürliche Geleise gelenkt wurde. Als ich ihn aber bei U h l traf, stand man noch unter dem Eindrucke der verunglückten ersten Rolle und der, mit der Zunge schonungsloser als mit der Feder dreingehende, Kritiker — weil die Zunge ja doch die weniger Schaden bringende Waffe war — geriet in einige Heftigkeit, weil der junge Schauspieler mit dem, mehr als die Selbsterkenntnis entwickelten, Selbstbewußtsein